



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Sochineniia

СОЧИНЕНІЯ

Котляревскій, Aleksandr Aleksandrovich

А. А. КОТЛЯРЕВСКАГО.

554/7

ТОМЪ II

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лн., № 12.)

1889.

105-2 76421

Напечатано по распоряжению Импер.
С.-Петербургъ, Декабрь 1889 года.
Непрѣлный Сек.

Sochineniia

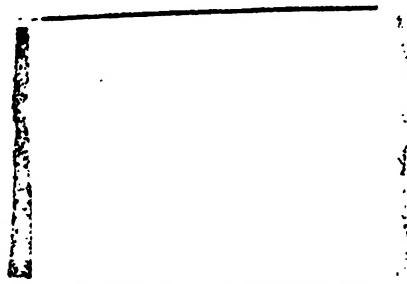
СОЧИНЕНІЯ

Kotliarevskii, Aleksandr Aleksandrovich

А. А. КОТЛЯРЕВСКАГО.

85-17

ТОМЪ II



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лн., № 12.)

1889.

105-276421

Напечатано по распоряжению Императорского
С.-Петербургъ, Декабрь 1889 года.

Непрерывный Секретарь,

Русское періодическое изданіе Академіи Наукъ.

Записки Академіи Наукъ. Спб., 1862, 2 т., 4 книжки.

1863.

Слѣдящимъ за ученою дѣятельностью Академіи Наукъ извѣстно, что съ прошлаго года она предприняла изданіе «Записокъ». Причина основанія новаго литературнаго органа заключалась какъ въ прекращеніи прочихъ русскихъ повременниковъ Академіи (каковы: Ученыя Записки по I и III отдѣленіямъ, Ученыя Записки и Извѣстія по Отдѣленію русскаго языка и словесности), такъ и въ желаніи, соединенными силами ученыхъ всѣхъ трехъ Отдѣленій, способствовать русской литературѣ къ пріобрѣтенію самостоятельности въ дѣлѣ науки. Если для науки можетъ существовать *свое* мѣсто и *свое* время, то нельзя не сознаться, что литературное предпріятіе Академіи является очень кстати: самый поверхностный взглядъ на современную журналистику убѣдитъ, мы думаемъ, cadaго, что такъ-называемые *современные* вопросы и интересы текущей минуты почти исключительно завладѣли общественною мыслію. Порипать или хвалить это было бы и странно и смѣшно, но мы желали бы, чтобъ и нынѣ, не менѣе существенныя потребности нравственной природы чловѣка находили также свое удовлетвореніе. Мы говоримъ о потребности знанія, науки, безъ которой и самыя современныя начинанія будутъ рядомъ заблужденій и оступей и часто — ка-

кахъ оступей! Поэтому мы съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ смотримъ на періодическое изданіе, посвященное исключительно цѣлямъ науки. Намъ кажется, что въ такихъ изданіяхъ настоптъ дѣйствительная потребность для современнаго русскаго общества, илп, по крайней мѣрѣ, для той части его, которая не успѣла еще обрѣтись до отрицанія пользы и пригодности науки...

Вышедшіе въ прошломъ году два тома, или четыре книжки «Записокъ Академіи Наукъ», представляютъ собою не только начало, но и прочный залогъ будущихъ, болѣе обширныхъ и разнообразныхъ изслѣдованій въ области отечественной науки. Изъ протоколовъ засѣданій членовъ Академіи и изъ нѣкоторыхъ указаній въ статьяхъ, уже напечатанныхъ, видно, что для «Записокъ» готовится очень многое, имѣющее высокій интересъ для науки, и что, во всякомъ случаѣ, русская публика въ правѣ ждать добрыхъ плодовъ отъ новаго повременника Академіи; но, не гадая о будущемъ, мы позволимъ себѣ остановиться на томъ, что уже есть.

По отдѣлу наукъ историко-филологическихъ прежде всего обращаетъ вниманіе трудъ г. Геденова: «Отрывки изъ изслѣдованій о варяжскомъ вопросѣ» (кн. 2-я и 4-я). Мысль, лежащая въ основѣ труда — это, что *Варяги были западно-славянскаго происхожденія; а Русь — народъ восточно-славянскій*. Вышедшіе доселѣ отрывки не представляютъ еще пока рѣшительныхъ доказательствъ такой мысли, а потому мы не можемъ и сказать о ней ничего положительнаго; но критическая часть сочиненія г. Геденова для науки весьма важна: она основана на самомъ тщательномъ, добросовѣстномъ изученіи источниковъ и подкреплена остроумными и часто блестящими соображеніями. Главнымъ образомъ, эта часть направлена противъ теоріи норманскаго происхожденія Руси, и если она не сильна убѣдить послѣдователей этой теоріи въ ложности ихъ системы, то, по крайней мѣрѣ, послѣ критики г. Геденова, уже становится невозможнымъ рѣшеніе вопроса тѣмъ путемъ, какимъ онъ рѣшался до сихъ поръ изслѣдователями-норманистами. Потому мы думаемъ, что

«Отрывки» г. Геденова должны непременно имѣть значеніе, хотя бы и отрицательное, въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи Руса: говоримъ — отрицательное, такъ какъ положительная часть системы остается еще за г. Геденовымъ, а нѣкоторые отрывочныя замѣчанія (какъ напримѣръ о росопоклоненіи, о характерѣ начальнаго лѣтописца и т. д.) своею явною несостоятельностью даютъ противъ себя же оружіе и убѣждаютъ только въ томъ, какія еще трудности представляетъ рѣшеніе основныхъ вопросовъ исторической этнографіи, что ни знаніе, ни остроуміе не спасаетъ отъ очевидныхъ ошибокъ и мечтаній!

Статья академика И. И. Срезневскаго: «Чтенія о древнихъ русскихъ лѣтописяхъ» (к. 4-я), представляетъ, сколько намъ извѣстно, первый опытъ реставраціи древнѣйшаго періода русской лѣтописи. Отправляясь отъ несомнѣннаго положенія о существованіи лѣтописнаго дѣла до Владиміра, г. Срезневскій выбираетъ изъ извѣстныхъ лѣтописей все, что должно было находиться въ древнѣйшихъ, до насъ не дошедшихъ и, такъ сказать, первичныхъ лѣтописныхъ замѣткахъ. Конечно, такая реставрація не можетъ быть полною: многое, что имѣло мѣсто въ первоначальныхъ лѣтописныхъ замѣткахъ, могло и не войти въ лѣтописи вторичной формаціи; тѣмъ не менѣе самая попытка отдѣлать древнѣйшій слой отъ позднѣйшаго была необходима уже и для того, чтобы не путаться въ опредѣленіи историческаго и литературнаго характера различныхъ эпохъ, чтобы въ старину не внести относительно новыхъ чертъ и тѣмъ не обезобразить ея, не лишить своей особой оригинальной окраски. Признавая плодотворность такой попытки для исторической науки, мы должны признать за г. Срезневскимъ не только честь перваго начинанія въ этомъ дѣлѣ, но честь перваго удачнаго исполненія его. Въ этомъ отношеніи особенно любопытны и важны страницы, посвященные разбору быта русскаго народа по лѣтописнымъ сказаніямъ X вѣка, хотя авторъ иногда бываетъ чрезчуръ скупъ на обширныя объясненія и ограничивается, по большей части, краткими указаніями и намеками. Академику Срезневскому же

принадлежитъ не менѣе любопытная статья: «Русскіе калки древняго времени» (кн. 2-я). Существенно новое въ ней — это объясненіе круты или одежды каликъ переходящихъ и, между прочимъ, загадочнаго *колокола*, который, по новгородской былинѣ о Васильѣ Буслаевѣ, помѣщается на головѣ у старчища пилигрима. Г. Срезневскій видитъ въ немъ верхнюю неразрѣзную одежду въ родѣ плаща (*klakol, clocche, clossa, etc.*) у племени романскаго, и въ доказательство приводитъ одинаковыя наименованія плаща и у Чеховъ. Не останутся также безъ вниманія и нѣкоторыя общія соображенія академика, каковы напр. о западномъ источникѣ русскаго калчества, о связи каликъ съ нищими и нѣкоторыя другія. Не останавливаясь на многихъ мелкихъ, хотя и любопытныхъ статьяхъ (нѣкоторыя изъ нихъ, какъ ст. ак. Бэра и Шифнера: «О собираніи доисторическихъ древностей въ Россіи для этнографическаго музея», уже извѣстны русской публикѣ изъ издавнаго въ 1861 г. сочиненія Ворсо: «Сѣверныя древности», другія же, какъ напр. ст. акад. Шифнера: «Сампо». Опытъ объясненія связи финскихъ сказокъ съ русскими» — переведены изъ *Bulletin и Mélanges*, издаваемыхъ Академіей), — нельзя не обратить вниманія на любопытные матеріалы по русской исторіи и литературѣ XVIII вѣка, обнародованные акад. Гротомъ со многими объясненіями и замѣчаніями, таковы: «Письма Ломоносова и Сумарокова къ И. И. Шувалову» (кн. 1-я), «Матеріалы для исторіи Пугачевского бунта, бумаги Бибикова и Кара» (кн. 2), «О дополнительныхъ матеріалахъ для біографіи Державина» (кн. III)...

По славянской исторіи и литературѣ «Записки» представили двѣ статьи: «О подлинности суда Любуши и Краледворской рукописи», акад. Куника, и «Петръ Скарга, іезуитъ и проповѣдникъ Сигизмунда III» — бывшаго академика Дубровскаго. На сколько статья г. Куника, несмотря на свою неоконченность, можетъ служить образцомъ ученаго бібліографическаго изслѣдованія, на столько коротенькое сочиненіе г. Дубровскаго способно возбудить недоумѣніе насчетъ своей цѣли и значенія. Для

того, кто знакомъ съ жизнью и сочиненіями извѣстнаго Скарги *ex ipso fonte* или изъ изслѣдованій польскихъ ученыхъ, статья г. Дубровскаго не представляетъ рѣшительно никакого значенія, а для людей несвѣдущихъ — она слишкомъ поверхностна, чтобы научить, или внушить интересъ къ изученію. Много разъ въ протоколахъ Академіи намъ приходилось читать каталоги обширныхъ историко-филологическихъ изслѣдованій, предпринятыхъ бывшимъ академикомъ Дубровскимъ; если они не уступятъ въ своемъ достоинствѣ настоящему его труду, то не мы, конечно, поздравимъ историческую науку съ этими новыми пріобрѣтеніями!

По отдѣлу наукъ физико-математическихъ «Записки» также предлагаютъ много любопытныхъ монографій и изслѣдованій; но, не будучи въ состояніи оцѣнить ихъ, мы довольствуемся тѣмъ, что сообщимъ здѣсь заглавія важнѣйшихъ изъ нихъ, таковы: «О звѣздныхъ системахъ и туманныхъ пятнахъ», рѣчь акад. Струве, «О черепкахъ ретійскихъ романцевъ», акад. Бэра, «О проектѣ разведенія устрицъ у русскихъ береговъ Балтійскаго моря» — его же, «О теоріи параллельныхъ линій», акад. Буяковского, «О солнцѣ», разсужденіе Виннеке, «Амурскій край — географія», очеркъ г. Максимовича, и нѣк. другія.

Таково любопытное и важное содержаніе четырехъ, доселѣ вышедшихъ, книжекъ «Записокъ Академіи Наукъ». Остагся прибавить, что оба тома снабжены довольно тщательно составленными указателями личныхъ именъ, встрѣчающихся въ нихъ. Есть здѣсь, конечно, свои недосмотры и ошибки (такъ напр. *Вильгельму* Гримму приписано сочиненіе *Deutsche Rechtsalterthümer*, тогда какъ оно принадлежитъ *Якову*, и нѣк. др.), но все же этотъ указатель весьма значительно облегчаетъ справочный трудъ. Внѣшность изданія, несмотря на его дешевизну, можно сказать даже изящная и мало оставляетъ мѣста требованіямъ самымъ разборчивымъ. Но, окончивая нашу бѣглую замѣтку о содержаніи первыхъ двухъ томовъ «Записокъ», — мы позволимъ себѣ еще на минуту остановиться: не покажется ли нѣкоторымъ пѣ-

сколько страшнымъ то обстоятельство, что въ періодическомъ изданіи высшаго ученаго сословія нѣтъ мѣста исторической критикѣ и библиографіи? Кто какъ смотритъ на это дѣло; но мы сознаемся откровенно, что считаемъ это опущеніе капитальнымъ недостаткомъ превосходнаго повременника Академіи. Дѣло въ томъ, что ученая критика нашихъ періодическихъ изданій или вовсе прекратилась, или дошла до послѣдняго предѣла пустоты и безпомощности. Кому же, какъ не специальнымъ ученымъ, слѣдуетъ, въ этомъ случаѣ, направить на добрую дорогу безкритичное блужданіе общественной мысли, случайно и негвердою ошупью идущей въ своихъ стремленіяхъ къ наукѣ и знанію? Мы не говоримъ уже, сколько можетъ выиграть сама наука, если каждое явленіе въ ея области будетъ подвергаться тщательному критическому осмотру, составляемому специалистами по превосходству. Если въ ученой повременной литературѣ Англіи, Франціи и Германіи — критическій и библиографическій отдѣлы занимаютъ самое видное мѣсто, то развѣ одна дурно понятая *самообразность* могла бы еще удержать отъ внесенія такого полезнаго обычая къ намъ; но вѣдь о ней не можетъ быть и рѣчи, коль скоро общество со знало, что наука есть общее благое достояніе всѣхъ людей!

Палеографическіе снимки съ греческихъ и славянскихъ рукописей Московской синодальной библіотеки VI — XVII вѣковъ.

Издаль Савва, епископъ Можайскій. М. 1863 4°.

1863.

Слухъ о томъ, что бывшій синодальный ризничій, архимандритъ Савва (нынѣ епископъ Можайскій) готовится къ изданію палеографическіе снимки, извлеченные изъ греческихъ и славянскихъ рукописей богатой синодальной библіотеки — подтвердился: на дняхъ это изданіе вышло въ свѣтъ, подъ заглавіемъ, которое мы привели выше. Обращая на него вниманіе

всѣхъ интересующихся наукою о русской старинѣ, мы позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ о современномъ состояніи науки русской палеографіи.

Едва ли существуетъ необходимость говорить о важномъ значеніи *палеографіи* въ отношеніи къ историческимъ наукамъ: если послѣднія невозможны и немыслимы безъ строгой исторической достовѣрности, безъ прочныхъ залоговъ исторической правды, то и великое значеніе палеографіи не подлежитъ никакому сомнѣнію. Стоять вспомнить прежніе длинные споры о знаменитомъ *Texte du Sacre*, Реймскомъ евангеліи и послѣдніе горячіе споры о достовѣрности *Суда Любуши* и *Краледеворской рукописи*, чтобы убѣдиться въ значеніи палеографіи, какъ рѣшительницы запутанныхъ историческихъ вопросовъ. Только молодостью науки и отчасти пренебреженіемъ къ ея указаніямъ, можно объяснить себѣ продолжительность этихъ споровъ, и то, почему они до сихъ поръ не привели ни къ какимъ положительнымъ и для всѣхъ равно убѣдительнымъ результатамъ. Въ строгомъ смыслѣ слова, палеографія—наука обширная: она объемлетъ всѣ дошедшіе до насъ памятники старины преимущественно со стороны вопросовъ, относящихся къ нимъ, какъ къ таковымъ; она имѣетъ дѣло только съ самимъ памятникомъ, а если пользуется его содержаніемъ, то затѣмъ, чтобы опредѣлить степень его достовѣрности, время и обстоятельства его возникновенія.

Потому палеографія есть то же, что критика историческаго памятника, или, какъ говорилъ знаменитый Шлецеръ, *низшая критика*. Принимаемая въ этомъ обширномъ смыслѣ, наука русской палеографіи уже можетъ похвалиться многими важными приобрѣтеніями, а если остается еще много сдѣлать, то уже совершенное достаточно ручается, что не будетъ недостатка ни въ дѣлателяхъ, ни въ общемъ интересѣ къ ихъ специальнымъ занятіямъ. Обозрѣвая все, что успѣла приобрѣсти наука русской палеографіи отъ перваго, въ собственномъ смыслѣ, палеографическаго труда Оленина («О Тмутараканскомъ камнѣ» 1806 года) до настоящаго времени, легко замѣтить не только увеличеніе матеріаль-

наго благосостоянія науки, но и самыхъ понятій и приемовъ палеографическаго изученія. Въ этомъ отношеніи съ особенною признательностію должно упомянуть имена гг. Строева, Кеппена и Востокова; ихъ безкорыстнымъ и самоотверженнымъ трудамъ наука обязана главнѣйшими своими основаніями. То, что теперь, въ силу историческаго закона преемственности понятій, сдѣлалось общою ходячею истиною, добыто или трудомъ продолжительнымъ и упорнымъ, трудомъ, который кажется чуть ли не сказкою въ наше тревожное, легкомысленно гонящееся за новизною, время. Палеографическія изслѣдованія этихъ и нѣкоторыхъ другихъ труженниковъ науки по необходимости ограничивались изслѣдованіями частныхъ вопросовъ: объ общемъ нечего было и думать! Но, несмотря на подробности ихъ трудовъ, они успѣли намѣтить и много общихъ вопросовъ, потому нельзя не пожелать, чтобы кто-нибудь принялъ на себя трудъ сведенія воедино общихъ палеографическихъ приемовъ, руководившихъ вышеозначенныхъ ученыхъ при ихъ изслѣдованіяхъ. Такой трудъ успѣшно совершилъ только относительно одного Востокова, но онъ въ равной степени былъ бы необходимъ и относительно другихъ: множество мелкихъ замѣчаній, щедро разсыпанныхъ въ трудахъ предшествовавшаго поколѣнія русскихъ палеографовъ, будучи сведены вмѣстѣ, представитъ не только надежное руководство для начинающихъ, но и страницу изъ исторіи русской науки, важную уже и потому, *чтобы воздать ей долгъ должная*. Для вѣрной оцѣнки предшествовавшихъ палеографическихъ трудовъ не слѣдуетъ забывать и того, что многіе изъ нихъ по разнымъ причинамъ остались не изданы: такъ не издано и превосходное, богатое собраніе палеографическихъ снимковъ П. И. Кеппена, которое онъ приготовилъ къ своему «Списку русскихъ памятникамъ»; такъ не издано и превосходное, богатое собраніе палеографическихъ снимковъ еще одного любителя и знатока рукописной старины, почти совершенно оконченное и отпечатанное.

Въ послѣднее время палеографическія занятія все болѣе и болѣе привлекали вниманіе ученыхъ. На первомъ планѣ здѣсь

должно поставить дѣятельность ученыхъ обществъ, предлагающихъ средства для изданія памятниковъ русской рукописной старины.

«Древнія русскія грамоты XII, XIII и XIV вв.», изданныя акад. Кунякомъ, «Сказанія о святыхъ Борисѣ и Глѣбѣ», изданныя акад. Срезневскимъ на изданіи Археологическаго Общества, «Матеріалы для исторіи славянскихъ писемъ», извлеченныя изъ рукописей синодальной библіотеки проф. Буслаевымъ, многія палеографическія изданія г. Бодянского, помещаемыя въ «Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей», а также и г. Срезневскаго въ «Извѣстіяхъ Академіи Наукъ» и въ «Извѣстіяхъ Археологическаго Общества» — вотъ важнѣйшіе палеографическіе труды послѣдняго времени. Конечно, не всѣ эти изданія въ одинаковой степени могутъ похвалиться палеографической точностью и вѣрностью оригиналу: кое-гдѣ проглядываетъ, хотя неумышленная, прикраса исполнителя-литографа, но тѣмъ не менѣе, ученое значеніе ихъ велико, и мы нисколько не подивились, когда въ протоколахъ Археологическаго Общества прочли извѣщеніе о томъ, что скоро поступитъ въ печать общая *славяно-русская палеографія* г. Срезневскаго. Кто знаетъ предыдущія палеографическія работы нашихъ ученыхъ и кому не безызвѣстны обширныя познанія г. Срезневскаго въ славяно-русской письменной старинѣ, тому не покажется такое предпріятіе преждевременнымъ или чересчуръ смѣлымъ. Въ общемъ, русская палеографія дошла до нѣкоторыхъ положительныхъ заключеній и выводовъ, которымъ едва ли когда предстоитъ коренная перемѣна: дальнѣйшее движеніе науки можетъ измѣнять только частности, пополнять недостающіе пробѣлы; но никакъ не основное, потому что оно основано не на личномъ произволѣ, а на строгомъ и тщательномъ изслѣдованіи памятниковъ.

Обратимся къ труду пр. Саввы. Все изданіе состоитъ изъ шестидесяти таблицъ; изъ нихъ *пятьдесятъ одна* заняты снимками греческихъ и славянскихъ рукописей, начиная съ шестого вѣка и кончая семнадцатымъ; четыре — посвящены свободному

извѣсту греческихъ и славянскихъ писемъ (кирилловскихъ и глагольскихъ); остальные пять—заняты греческими словосокращеніями. Главное достоинство палеографическихъ снимковъ пр. Саввы, по нашему мнѣнію, заключается въ строгой палеографической точности. Это первый палеографическій трудъ, имѣющій хотя сколько-нибудь систематическій характеръ. Конечно, точный палеографъ можетъ сдѣлать небольшой упрекъ въ нѣкоторой неточности снимка; но тѣмъ не менѣе, изданіе пр. Саввы имѣетъ свое положительное достоинство: всѣ снимки, за исключеніемъ весьма немногихъ, *заимствованы изъ рукописей, означенныхъ годами.* Дѣйствительно, отъ этихъ твердыхъ основаній, достовѣрность которыхъ стоитъ выше личныхъ толкованій, слѣдуетъ отправляться палеографу затѣмъ, чтобы возвести свою науку на степень положительнаго, достовѣрнаго знанія. Со временемъ навѣкъ замѣнять отсутствіе хронологическихъ помѣтокъ; но приобрѣсти этотъ навѣкъ только и можно предварительнымъ изученіемъ рукописей, рожденіе которыхъ отмѣчено, такъ сказать, въ метрической книгѣ, потому въ изданіи пр. Саввы мы видимъ не только богатый вкладъ въ науку отечественной палеографіи, но и прочное руководство тѣмъ, кто захочетъ приобрѣсти палеографическій навѣкъ. Могутъ сдѣлать упрекъ, что изданіе пр. Саввы заключаетъ нѣкоторые снимки уже извѣстные; но мы думаемъ, что почтенный палеографъ иначе и поступить не могъ, если желалъ сообщить своему изданію возможную полноту: пусть будетъ повтореніе, лишь бы не было важныхъ опущеній. Не безъ пользы для русской науки пройдутъ и снимки съ греческихъ рукописей (начиная съ VI вѣка): отъ ближайшаго изслѣдованія ихъ зависитъ рѣшеніе самаго основного вопроса славянской палеографіи, именно о связи и хронологическихъ отношеніяхъ кирилловскихъ писемъ съ греческими. Вопросъ этотъ долгое время считался рѣшеннымъ, и только года два тому назадъ снова поднять г. Срезневскимъ (Извѣстія Академіи Наукъ, т. 9-й, вып. 3-й) съ доказательствами, указывающими на необходимость новаго изслѣдованія и на важность его для науки.

Весьма важное условіе палеографическаго труда — умѣніе выбрать наиболѣе существенное и характеристическое, — выполнено пр. Саввою удовлетворительно: рукописи нмѣ избранныя, дѣйствительно могутъ служить образцами письма данной эпохи. Объясненія на счетъ рукописи, ея вѣка и состава, хотя не велики, но до нѣкоторой степени достигаютъ своей цѣли. Внѣшность изданія даже роскошна, по крайней мѣрѣ такъ должно сказать о рисункахъ; но они бы заслуживали если не красивѣйшаго текста, то бумаги почище той, на которой онѣ напечатанъ. Изъ сказаннаго нами ясно, что палеографическіе снимки пр. Саввы есть явленіе въ высокой степени утѣшительное, и важно не только по своему значенію для науки, но и для общества, среди котораго оно является, какъ укоризна бездѣйствію тѣхъ, кто можетъ сдѣлать многое и дѣлаетъ такъ мало. Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о ближайшихъ задачахъ, какія предстоятъ наукѣ отечественной палеографіи. Мало одного изслѣдованія рукописей; необходимо также точный разборъ писменъ, сохранившихся на матеріалѣ болѣе грубомъ, на камнѣ, металлѣ и деревѣ, а также и на шелкѣ, холстинѣ. Сказать правду, у насъ имѣется не малое количество удовлетворительныхъ снимковъ, снятыхъ со старинныхъ вещей, камешныхъ, металлическихъ, съ шелковыхъ и холстинныхъ тканей, но, сколько мы знаемъ, до сихъ поръ не было ни одного серьезнаго палеографическаго труда по этому вопросу. Необходимо было бы хотя на первый разъ сдѣлать сводный хронологическій алфавитъ изъ всѣхъ писменъ, подлежащихъ вѣдѣнію палеографіи: это сообщило бы заключеніямъ науки ту широту и прочность, какой она не можетъ имѣть, ограничивалась кругомъ одной рукописной старинны. Такого труда русская наука вправе ожидать отъ г. Срезневскаго, который въ своемъ «По-временномъ спискѣ памятниконъ русскаго языка и письма», съ истинно ученою осмотрительностью, не только не брезгуетъ самыми, повидному, мелочными памятниками, но и удѣляетъ мѣсто въ наукѣ и тѣмъ, которые когда-то были и отъ которыхъ намъ ничего не сохранилось кромѣ глухой поминки современниковъ.

Однимъ изслѣдованіемъ писменъ не ограничивается однако дѣло палеографіи; она должна удѣлить часть вниманія и самому матеріалу, на которомъ сохранились эти писмена: различные виды пергамента, бомбицина и бумаги, время ихъ употребленія и господства, фабричныя клейма, всѣ мелочи, ускользящія отъ неопытнаго глаза, должны быть взвѣшены и опредѣлены до послѣдней возможности. По этой части русскому палеографическому труженничеству предстоитъ еще долгая работа: сдѣлано такъ мало, а дѣла такъ много! Не менѣе, если не болѣе, важно изслѣдованіе рукописной орнаментировки: раскраска заставокъ и главныхъ буквъ; въ этомъ случаѣ палеографія соединяется съ исторіею художествъ, важности которой, мы думаемъ, не станутъ отрицать и самые отчаянные противники, такъ-называемыхъ *вып.*, *безплодныхъ* знаній. Укажемъ, наконецъ, на нѣкоторые частные вопросы русской палеографіи. Такъ какъ русская письменность не имѣла туземнаго характера, а пришла къ намъ готовою отъ южныхъ Славянъ, то едва ли, имѣя въ виду палеографическую полноту, должно ограничиться рукописями собственно русской редакціи; необходимо, по крайней мѣрѣ, въ началѣ, на первыхъ страницахъ науки дать мѣсто разсмотрѣнію древнѣйшихъ рукописей и церковно-славянскихъ по сербской и болгарской редакціи, иначе исчезнетъ необходимая связь и преемственность явленій. Приведеніе въ извѣстность и палеографическое изслѣдованіе древнѣйшихъ юго-славянскихъ рукописей обязательно для насъ Русскихъ болѣе другихъ: огромное количество этихъ рукописей навсегда переселилось въ наше отечество, и даже въ чисто-матеріальномъ отношеніи мы имѣемъ гораздо болѣе средствъ, чѣмъ иноземные славянисты. Не безъ вниманія должна остаться также и глагольскія письменности, потому что связь ея съ кирилловскою не подлежатъ нынѣ никакому сомнѣнію, да къ тому же извѣстно, что при началѣ письменности въ русской землѣ, глаголица нашла въ ней довольно радушный пріемъ. Отъ болѣе или менѣе тщательнаго изслѣдованія названныхъ нами вопросовъ, будетъ зависѣть отчасти и самое рѣшеніе о пропе-

хожденіи обоихъ славянскихъ алфавитовъ и ихъ отношеніяхъ къ алфавиту греческому, а также и къ народной письменности Славянъ, извѣстной подъ именемъ рунической, отвергать существованіе которой, въ настоящее время, едва-ли возможно!

Слово о послѣдней дѣятельности Общества любителей россійской словесности.

1863.

«Московское Общество любителей россійской словесности» имѣетъ свои открытыя публичныя собранія; оно постоянно доводитъ до свѣдѣнія публики о своей дѣятельности, печатаетъ въ газетахъ протоколы своихъ частныхъ собраний; однимъ словомъ, оно подвергаетъ свою дѣятельность публичному обсужденію, признаетъ законность суда со стороны публики, суда не домашняго, не частнаго, а открытаго, публичнаго, какъ открыта и самая его дѣятельность. Поэтому наше намѣреніе сказать нѣсколько словъ о его дѣятельности не должно показаться неумѣстнымъ вмѣшательствомъ въ чужія дѣла: что дѣлается публично, о томъ можно и говорить публично, и если многіе у насъ еще не доросли до сознанія этой простой истины, то, конечно, не члены Общества любителей россійской словесности. По великимъ затрудненіямъ, сопряженнымъ съ полученіемъ права на входъ въ публичныя засѣданія Общества, мы не могли регулярно посѣщать эти собранія: въ текущемъ году мы были лишь на первомъ и на послѣднемъ изъ нихъ.

Въ характерѣ человѣка, какъ и въ характерѣ цѣлыхъ учреждений, бываютъ черты типическія, по которымъ почти безошибочно можно заключать обо всемъ прочемъ: если среди обыденныхъ недомысленныхъ мыслей и пошлыхъ сужденій, мы вдругъ встрѣчаемся съ свѣтлой геніальной мыслью, брошенной не случайно, не съ чужого голоса, а съ глубокимъ, трезвымъ созна-

нѣмъ, не въ правѣ ли мы заключить о нравственной силѣ носителя этой мысли, о томъ, куда можетъ быть направлена его дѣятельность? Если въ цѣлой массѣ энергій и дѣйствій человѣческихъ мы не видимъ никакой путеводной звѣзды, никакой руководящей мысли, не правы ли мы будемъ назвать эту дѣятельность ребячески-легкомысленною, не установившеюся, подобно кораблю безъ вѣтриль и кормила, посямому вѣтрами по житейскому морю? Не можетъ быть и рѣчи о прочной пользѣ такой дѣятельности: она имѣетъ свою полезную сторону, но это капля въ морѣ того, что можетъ и что должна она сдѣлать. И дѣятельность Общества любителей россійской словесности проходитъ не даромъ: многіе — если не все — добромъ помянутъ изданіе пѣсень Кнѣзевскаго и «Толковаго Словаря» г. Даля, но тѣмъ не менѣе вся совокупность настоящей дѣятельности Общества отличается полнѣйшими признаками неустановившагося умственного несовершеннолѣтія, пдущаго ощунью впередъ только потому, что шествіе назадъ не столь удобно и представляетъ больше случаевъ къ паденію.

Хорошо было быть *любителямъ россійской словесности* въ годы, когда впервые возникло *старое Общество*: то была пора наивной геронческой любви къ *россійской словесности*; одно чувство соединяло всѣхъ членовъ, и понятно, почему выразилось оно въ такой несприпужденной, шутивно-наивной формѣ, о какой говорить намъ воспоминанія литераторовъ эпохи Карамзина и Жуковскаго: прочесть свое или переводное стихотвореніе, оду, балладу, басню, гимнъ и т. п. — все это было тогда у мѣста и у времени, возбуждало общій интересъ и проходило не безъ пользы; во если теперь, почти полстолѣтіе спустя, опять читаются стихотворенія въ прежнемъ духѣ и старикъ литераторъ-любитель составляя пальцами перебираетъ ветхую тетрадку, чтобы прочесть предъ публикой какое-нибудь прозаическое переложеніе, то все это становится грустнымъ анахронизмомъ и звучитъ живымъ упрекомъ молодымъ членамъ Общества — зачѣмъ, воскресивъ дряхлое тѣло, они не умѣли вдохнуть въ него свѣжихъ силъ

жизни! Или это злая насмѣшка надъ старческимъ маразмомъ прежняго поколѣнія нашихъ литераторовъ, или же — ясный звукъ, что за дѣло обновленія взялись не размысливъ, *зачѣмъ, какъ и куда идти!*

Мы помнимъ первое время *возрожденія* Общества: казалось, оно обѣщало строгую и во всякомъ случаѣ опредѣленную дѣятельность. Тактъ и талантъ, всегда отличавшіе Хомякова (перваго предсѣдателя Общества), внесли порядокъ въ ряды новыхъ членовъ, указали цѣль дѣятельности болѣе слабымъ, поддержали и ободрили другихъ, болѣе сильныхъ. Несмотря на патріархально-клерикальный характеръ, которымъ Хомяковъ обладалъ свои наставленія и напутственные слова, Общество сформировалось и довольно дружно принялось за работу; началось изданіе пѣсенъ Кирѣевскаго, отыскиались средства къ изданію капитальнаго труда г. Даля, поговаривали даже объ особомъ изданіи журнала Общества; не обошлось, конечно, безъ скабрёзныхъ приключеній и скабрёзныхъ чтеній, но умъ предсѣдателя ловко заглаживалъ эти неровности, и многіе ждали добрыхъ плодовъ отъ Общества, но крайней мѣрѣ думали, что изъ него можетъ выйти много полезнаго.

Хомяковъ умеръ — и что же случилось съ Обществомъ? Въмѣсто прямого отвѣта, взгляните на первое и послѣднее его засѣданія въ текущемъ году.

Первое засѣданіе началось отчетомъ новаго предсѣдателя, г. Погодина, о литературной и ученой дѣятельности членовъ Общества и о финансовомъ его благосостояніи. Оказывается, что всѣ заняты своимъ дѣломъ, печатаютъ или готовятъ къ изданію свои труды. Деньги, пожертвованныя членомъ Кошелевымъ на изданіе «Толковаго Словаря живого русскаго языка», г. Даля, всѣ истрачены, но продолженіе его достаточно обезпечено выручкою изъ изданія; довольно значительное денежное пособіе правительства (если не ошибаюсь 3 тысячи р. с.) предназначается на изданіе сочиненій *нашего общаго учителя* (слова г. Погодина)—А. Ѳ. Мерзлякова! Мы ничего не гово-

ривъ о весьма похвальныхъ чувствахъ уваженія къ памяти стараго учителя, но едва ли одинъ этотъ мотивъ покажется настолько уважительнымъ въ глазахъ публики, чтобы оправдать затрату денегъ на литературныя поминки объ этомъ учителѣ: она въ правѣ потребовать иныхъ, болѣе серьезныхъ основаній, въ правѣ спросить: за что такое предпочтеніе Мерзлякову, и есть ли настоятельная нужда изданіи сочиненій этого плохого ученаго, не замѣчательнаго поэта и превосходнаго эстетика-критика своего времени? Дѣло идетъ о пользѣ настоящаго поколѣнія, а потому ссылки на любовныя чувства къ *старому* учителю становятся просто смѣшны, и теперь пусть члены «Общества любителей россійской словесности», позабывъ на время *нечестивыя* отношенія—потрудятся объяснить побужденія, руководившія ихъ въ этомъ литературномъ предпріятіи.... Мы не думаемъ, чтобы они сослались на великую пользу и важность такого дѣла: это значило бы торжественно сознаться въ своемъ непониманіи потребностей современной литературы и науки. Не говоря уже о томъ, что груды любопытнѣйшихъ памятникѣвъ протекшей жизни Русскаго народа лежатъ нетронутыми, достаточно упомянуть, что сочиненія нашихъ первыхъ писателей прошлаго и текущаго столѣтій до сихъ поръ нуждаются въ сколько-нибудь порядочномъ изданіи, а между многополезною и блестящею литературною дѣятельностью Фонвизина, Новикова, Карамзина и др., какое скромное мѣсто принадлежитъ литературнымъ произведеніямъ краснорѣчиваго профессора Московскаго университета! Роскошь попяти тамъ, гдѣ удовлетворены первыя необходимыя потребности, а гдѣ онѣ еще требуютъ удовлетворенія, тамъ стремленіе къ роскоши обнаруживаетъ только отсутствіе яснаго сознанія о цѣли дѣйствій, прихоть или капризъ нравственной распущенности и умственнаго несовершеннолѣтія. И какое заключеніе можно вывести о *любви* членѣвъ Общества къ успѣхамъ россійской словесности, если это чувство, мняща предметы болѣе его достойные, бросается на скромныя произведенія Мерзлякова только потому, что онъ «нашъ общій старый учитель! Если бы Общество

любителей было частное, мы не имѣли бы никакого права разсуждать о его симпатіяхъ и зависящихъ отсюда литературныхъ предпріятіяхъ, но при публичномъ характерѣ его дѣятельности намъ кажется непростительнымъ молчать о его странныхъ распоряженіяхъ.

Откуда происходятъ эта финансовая и литературная безтактность—пусть рѣшаютъ другіе, но, по нашему мнѣнію, она служитъ рѣшительнымъ доказательствомъ отсутствія крѣпкой внутренней связи между членами Общества, отсутствія организаціи и яснаго сознанія предполагаемой цѣли. Этимъ же характеромъ не выспившейся, не опредѣлившейся, безцѣльной дѣятельности отличаются и публичные чтенія членовъ Общества. Благодаря движенію политическихъ событій, чтенія приняли общественный отгѣнокъ: не только гг. Погодинъ и Аксаковъ, но даже извѣстный библіографъ М. Н. Лонгиновъ сочли долгомъ отвѣчать духу времени. Манера г. Погодина достаточно извѣстна, чтобы о ней распространяться: дѣло шло о польскомъ вопросѣ; ораторъ, отправляясь отъ указаній исторіи и современнаго состоянія дѣла, очень долго разсуждалъ и заключилъ свою рѣчь любимую мыслию о соединеніи славянскихъ племенъ въ одно цѣлое подъ супрематіей Русскаго государства. Вопросъ о пропорціональных отношеніяхъ славянскихъ племенъ по религіи и степени умственнаго и нравственнаго развитія, и о возможности согласить имѣющія здѣсь различія, остался въ сторонѣ, а потому доводы и мысли оратора не могли быть равно для всѣхъ убѣдительны и рѣчь не произвела особаго впечатлѣнія на публику, тѣмъ болѣе, что самая форма ея не отличалась ясностью и литературнымъ изяществомъ: по обыкновенію, въ ней было много нелитературныхъ выходокъ и намековъ на то, чего не вѣдаетъ пикто.

Чтеніе г. Аксакова на тѣму: *что дѣлать*, хотя и заключало въ себѣ нѣкоторыя влюзіи, тѣмъ не менѣе предлагало и нѣкоторыя мѣры, достойныя серьезнаго вниманія; мы не распространяемся о нихъ потому, что русской публикѣ онѣ уже извѣстны изъ газеты «День»; но были два пункта въ чтеніи г. Аксакова,

на которыхъ нельзя не остановиться. Мы сказали, что г. Погодинъ очень много говорилъ о невозможности уступить Польшѣ западно-русскія области и Литву; г. Аксаковъ, напротивъ, съ самаго начала объявилъ, что даже всякія разсужденія по этому вопросу — дѣло праздное и нецѣльное! Это было неумоно въ отношеніи къ предсѣдателю, который разсуждалъ именно по этому вопросу. Новый признакъ отсутствія нравственнаго единства и сознательной цѣли впереди. Другое замѣчаніе г. Аксакова имѣетъ еще болѣе странный характеръ: къ слову о политической организаціи Россіи онъ упомянулъ о какихъ-то домашнихъ врагахъ, которые безсмысленно стремятся раздѣлить вѣками созданное, прочно сложившееся политическое тѣло! Кто же эти враги? Въ литературѣ, сколько мы знаемъ, никто никогда не выражалъ подобной дикой мысли, или, быть-можетъ, это дѣло, стоящее внѣ литературы: тогда, какаго цѣль упомянуть о немъ въ литературномъ чтеніи и мрачнымъ призракѣ мнимыхъ враговъ понапрасну пугать и безъ того достаточно запуганную русскую публику!

Но все сказанное нами блѣднѣетъ предъ чтеніемъ извѣстнаго нашего библіографа и секретаря Общества, М. Н. Лонгинова. Дѣло шло о томъ, чѣмъ можетъ и должно «Общество любителей россійской словесности» помочь распущенному, бѣдственному состоянію нашей современной литературы. Ораторъ сначала чрезвычайно яркими красками изобразилъ развращенность современной литературы и журналистики, сдѣлалъ нѣсколько упрековъ покойному Бѣлинскому о томъ, что онъ былъ весьма слабъ въ библіографіи, и затѣмъ, поблагодаривъ г. Тургенева за разоблаченіе такъ-называемыхъ *нигилистовъ*, принялся за строгое ихъ обвиненіе. Это былъ — громъ и молнія; Зевсъ, мещущій перуны, — показался бы слабѣе въ сравненіи съ нашимъ ораторомъ: по крайней мѣрѣ Зевсъ никогда не вызывалъ такихъ отчаянно дружныхъ рукоплесканій. «Нигилисты, эти пустозвонныя головы, эти литературныя горланы — развратили современную журналистику и литературу, молодые умы и общество; необходимо помочь дѣлу, и это должно исполнить «Общество любителей россійской сло-

весности»: мы, люди серьезные, станемъ крѣпко на сторожѣ, подыместъ павшую литературу, внушимъ ей добрые нравы....» и т. д. Таковъ общій смыслъ Филиппики г. Лонгинова, произведшей самое сильное впечатлѣніе на старческую половину посѣтителей этого публичнаго собранія; но кто не подчинился обаятельному краснорѣчію оратора, тотъ, отстранивъ вопросъ о физиологикѣ какихъ-то нигилистовъ, — въ правѣ спросить: достаточно ли одного звонкаго голоса и громкихъ фразъ для убѣжденія публики въ важной роли «Общества любителей російской словесности»? Поправится ли большая литература отъ той дѣятельности, какую находимъ мы въ Обществѣ? Нѣтъ, не выходками и библиографіей, не политическими грѣзами, не стишонками исправляется литературное дѣло, а путемъ честной, серьезной мысли и науки. Нѣтъ, до тѣхъ поръ, пока въ «Обществѣ любителей російской словесности» будутъ возможны такія явленія, какъ чтеніе г. Лонгинова — пусть оставитъ Общество гордую мысль о своей великой миссіи исправлять развращенную литературу и испорченный общественный вкусъ! Мы не слишкомъ печально смотримъ на современную литературу; но если справедливо, что она находится въ болѣзненномъ состояніи, то этой болѣзни прежде и болѣе всего причастно «Общество любителей російской словесности»: говорить о порчѣ журналистики и литературы и не чувствовать этой порчи въ себѣ, когда симптомы ея очевидны — это признакъ полнѣйшаго болѣзненнаго разстройства, забытья или безпамятства. Признавать и цѣнить свои дѣйствительныя заслуги свойственно каждому человѣку и даже полезно, какъ поддержка энергій и чувства собственнаго достоинства; но когда кичатся заслугами мнимыми или еще не существующими, когда, не сдѣлавъ ничего прочнаго, серьезнаго, — торжественно облачаютъ себя въ роль спасителя добрыхъ нравовъ литературы и кричатъ, что «мы-де люди серьезные и должны стать на сторожѣ противъ литературнаго разврата», тогда такая претензія поистинѣ становится жалка и указываетъ на крайне-болѣзненное состояніе умственныхъ отравленій!

«Люди серьезные»! Но вѣдь серьезные люди дѣлають и дѣла серьезные, а чѣмъ серьезнымъ можетъ образумить гибнущую литературу «Общество любителей россійской словесности», что, кромѣ нетвердыхъ умственныхъ блужданій и нехитрыхъ выходовъ, можетъ представить это Общество, какъ залогъ серьезнаго образа мыслей и дѣйствій; чѣмъ можетъ уничтожить такъ-называемыхъ нигилистовъ рѣчь г. Лонгинова, когда она въ цѣломъ составѣ представляетъ самый блистательный образецъ пустозвоннаго крика, журнальной болтовни безъ всякаго содержанія? Ужъ не пипилить ли и самъ г. Лонгиновъ? Намъ пріятно допустить эту мысль потому, что въ такомъ случаѣ—намъ не пришлось бы упрекнуть г. Лонгинова въ одномъ весьма непріятномъ качествѣ, обладая которымъ люди обыкновенно не только не понимаютъ того, что говорятъ другіе, но даже и того, что они сами говорятъ!

«Серьезные люди»! А что сдѣлали эти серьезные люди съ памятью дорогихъ для всего славянскаго міра первоучителей его, св. Кирилла и Меѳодія, чѣмъ помянули они этихъ первыхъ миротворцевъ и насадителей науки на славянской почвѣ! Намъ стыдно сказать и тяжело сознаться, что русское литературное Общество встрѣтило день славянскихъ апостоловъ жалкой пародіей на ихъ великое дѣло. Они проповѣдывали примиреніе и спокойствіе, а г. Погодинъ (главный ораторъ этого публичнаго собранія) металъ укоризны и осужденія; они возвѣщали науку, знаніе, просвѣщеніе, а г. Погодинъ бросилъ камнемъ въ науку затѣмъ, чтобы дать волю своимъ политическимъ грѣзамъ и своимъ псевдоученымъ мечтаніямъ. Кто былъ въ этомъ собраніи—тому понятны наши слова, а для читателей мы приведемъ два примѣра: день памяти св. Кирилла и Меѳодія совпалъ со днемъ памяти обновленія Цареграда; г. Погодинъ такое совпаденіе счелъ замѣчательнымъ, какъ новое пророчество въ пользу своей теоріи о томъ, что-де Цареградъ есть настоящая столица русской исторіи и что слѣдуетъ намъ прибрать его къ своимъ рукамъ! Разбирая вопросъ о языкѣ перевода священныхъ книгъ, г. Погодинъ

рѣшилъ, что это языкъ русскій, потому что онъ ближе всего походить на нынѣшній великорусскій. Приѣмъ, употребленный имъ для доказательства этой мысли, понятенъ, замѣчательнъ: онъ предложилъ какому-то молодому болгарину прочесть «Отче нашъ» на всѣхъ славянскихъ нарѣчійхъ¹⁾ и потомъ заключилъ, что языкъ перевода есть языкъ русскій. Не говоря уже о томъ, что для допущенія такой мысли слѣдуетъ отвергнуть всѣ истины, добытыя наукой славянской филологіи: зналъ ли г. Погодинъ, что этимъ онъ провозносилъ самый невыгодный приговоръ надо всею русской исторіей, надъ всѣмъ развитіемъ русскаго народа? Языкъ есть живая исторія народа: чѣмъ менѣе онъ развитъ, чѣмъ ближе къ старинѣ, тѣмъ менѣе жилъ и дѣйствовалъ самый народъ, тѣмъ менѣе онъ имѣетъ правъ на историческое вниманіе. Если русскій народъ въ своемъ языкѣ недалеко ушелъ отъ языка древнѣйшаго перевода, то и въ жизни онъ не много подался впередъ отъ времени св. Кирилла и Меодія! Приговоръ слишкомъ невыгодный для русской исторіи, а главное: какъ согласить съ этимъ прежнюю теорію г. Погодина о соединеніи всѣхъ славянскихъ племенъ подъ руководствомъ Россіи: вѣдь, по вашему, Русскіе-то оказываются всѣхъ отсталѣе въ исторіи!

Конечно, все это шутка, полученное мечтаніе, и намъ приходится только пожалѣть, что г. Погодинъ свое долгое литературно-ученое поприще заключаетъ парадоксами, убѣждающими въ бренности бытія человѣческаго! Особенно же неприятно, что это случилось въ день памяти св. Кирилла и Меодія!

«Серьезные люди!»! припомните изреченіе: «врачу — исцѣлися самъ», — и подумайте, что вы дѣлаете и куда идете!

1) Это чтеніе было рѣшительно комическою стороною настоящихъ литературныхъ поминковъ: вмѣсто живыхъ, ясныхъ звуковъ славянскихъ нарѣчій, здѣсь слышалось что-то нестройное, ни на что не похожее, какіи-то новыя, только не славянскія нарѣчія. А тутъ еще по слогамъ предлагаютъ заключать о тождествѣ церковнаго языка съ русскимъ.

Публичное засѣданіе Московскаго Общества любителей россійской словесности, 17-го ноября.

1863.

Нынѣшнимъ открытымъ засѣданіемъ начинается рядъ зимнихъ сеансовъ Общества любителей россійской словесности. При томъ отсутствіи единодушной цѣли и положительныхъ, опредѣленныхъ стремленій, какимъ отличается дѣятельность этого Общества со дня его «возрожденія» — по началу нельзя заключать о продолженіи: сегодня чтенія могутъ быть разнообразны и занимательны, завтра скучны и пусты, послѣзавтра — хотя и не скучны, но зато не доброкачественны и т. д. Все это въ порядкѣ вещей у нашего «Общества», отличительный характеръ котораго состоитъ въ безхарактерности. Какъ бы то ни было, но *начало* чтеній вышло не блестяще: кипрско-меоодіевская ревность г. Погодина угомонила, затихли и гражданственные перуны г. Лонгинова, этого великаго прокурора-обвинителя петербургской литературы; одинъ только О. Б. Миллеръ, равно смиренный и въ радости и въ горѣ, не измѣнилъ себя и предложилъ публикѣ невпиглѣйшій цвѣтокъ скромной музы своей, — цвѣтокъ, который хотя и носитъ названіе «Турецкой бомбы», но въ сущности не заключаетъ въ себѣ ничего смертоноснаго и совершенно неповиновенъ въ соблазнительныхъ намекахъ на современность. Но говорить о «бомбѣ» нашего поэта не время: сю заключилось настоящее засѣданіе, а мы еще ни слова не сказали, изъ чего состояло оно.

Предсѣдательствующій Общества, г. Погодинъ открылъ засѣданіе докладомъ о томъ, чѣмъ занимались члены Общества въ теченіе лѣтняго времени: предпріятій множество! Одни уже окончены, другія приводятся къ концу, третьи — только замышляются, и вообще, если будетъ выполнена хоть поло-

вина того, о чемъ докладывалъ г. Погодинъ, то мы первые поздравимъ русскую публику и литературу съ полезѣйшими приобрѣтеніями и первые, отъ лица публики, скажемъ членамъ Общества любителей россійской словесности горячее, искреннее спасибо!

Но вотъ вещь, непріятно поразившая насъ въ докладѣ г. Погодина: «Послѣдніе выпуски «Словари» г. Дала плохо поддерживаются публикой, такъ что можетъ затрудниться дальнѣйшее продолженіе изданія!» Но кого же винить въ этомъ? Публику—странно, а главное бесполезно: это не прибавитъ ни одного лишняго рубля на дальнѣйшее изданіе, нѣтъ—вась, члены Общества любителей россійской словесности, вась должно винить, что, не сообразивъ средствъ, вы принимаетесь за обходимыя, покамѣсть, изданія сочиненій Мерзлякова и какого-то новаго еще «Сборника» въ память св. Кирилла и Меодія, и тѣмъ затрудняете продолженіе изданія такого многополезнаго труда, каковъ «Словарь» г. Дала. Вы рассчитывали на публику, но вы забыли, что сами же вы, въ вашихъ прежнихъ публичныхъ засѣданіяхъ, отводили глаза этой публики отъ серьезнаго занятія литературой и наукой: вы устремляли ея вниманіе на суету памфлета, терніемъ текущаго дня вы безъ нужды раздражали и безъ того раздраженную мысль и чувство — и теперь, не давъ пройти лихорадкѣ страсти, вы жалуетесь на равнодушіе публики къ серьезному изданію г. Дала! Равнодушіе понятное и даже законное, конечно, не по отношенію къ почтенному труду г. Дала, а по отношенію къ увлеченіямъ мимолетной минуты, — увлеченіямъ, которымъ вы такъ много содѣйствовали, хотя въ то же время и провозглашали себя жрецами самаго серьезнаго направленія въ литературу и науки. Нѣтъ, прежде чѣмъ жаловаться на равнодушіе публики, умѣйте воспитать въ ней серьезную мысль, серьезную любовь и уваженіе къ наукамъ: тогда и всякое страстное увлеченіе добро и полезно, ибо оно коренится на прочныхъ основаніяхъ и ведетъ за собою прочныя и благія послѣдствія. Не самовосхваленіемъ не по разуму и не по заслугамъ, не отсталыми выход-

ками и бранью, а трудомъ серьезной мысли, распространеніемъ свѣта науки, науки, которая одна озаряетъ блуждающія тропинки темной жизни—можете вы насадить и укрѣпить въ публикѣ уваженіе къ литературѣ, *образовать* публику, а вы *можете* это, по крайней мѣрѣ, у васъ есть на это средства: была бы добрая воля, да болѣе вниманія къ публичному слову, болѣе мысли о томъ, что дѣлаешь и говоришь; тогда бы и изданіе г. Дала не осталось безъ поддержки, тогда бы — скажемъ откровенно — и все пынѣшнее засѣданіе «Общества» едва ли могло появиться въ томъ видѣ и въ той формѣ, какъ оно происходило: въ самомъ дѣлѣ — взгляните серьезнѣе на дѣло.

Г. Погодинъ, докладывая публикѣ о трудахъ гг. сочленовъ, не ограничился ролью простого лѣтчика, но еще постоянно вдавался въ хвалебный панегирикъ, что-де такое-то и такое произведеніе есть образецъ ума, знанія, крѣпости, принципиальности, остроумія, таланта и т. д. Къ чему это? Не можемъ думать, чтобы цѣлью такой оцѣнки было желаніе устранить на будущее время тѣ обстоятельства, которые легли пренітствомъ къ продолженію изданія «Словаря» г. Дала. Вѣроятно г. Погодинъ хотѣлъ предложить публикѣ оцѣнку и характеристику трудовъ своихъ сочленовъ, но какое же понятіе объ этихъ трудахъ можетъ дать этотъ кивалъ, бряцающій въ одну хвалебную ноту? Да, это опять оно, по мѣткому выраженію русской пѣсни—*мало слово похвальное*; а *похвала*, заключаетъ та же пѣсня—*живетъ человеку наизуба!*

Въ заключеніе своего отчета г. Погодинъ, упомянувъ о недавней смерти члена Общества, И. И. Давыдова, прочелъ его послужной формулярный списокъ. Хотя мы и не сомнѣваемся, что на нѣкоторыхъ это послѣднее чтеніе произвело впечатлѣніе сильное, но на самомъ дѣлѣ — какое отношеніе между рангами покойнаго члена, *россійскою* словесностію и *русскою* публикою? Если уже г. Погодинъ хотѣлъ чтеніемъ формулярнаго списка уладить свою душу и почтить память покойнаго, то этотъ актъ, и съ гораздо болѣе широкимъ чувствомъ, можно было исполнить у себя

въ кабинетѣ въ одиночку, или со знакомыми, для которыхъ подобныя поминки не были бы странностію!

За докладомъ г. предсѣдателя, г. Аксаковъ прочелъ стихотвореніе члена М. А. Дмитриева, подъ названіемъ «Правда и поэзія», стихотвореніе хотя и мрачнаго, пессимистическаго содержанія, но не лишенное нѣкотораго поэтическаго достоинства, относительно своей основной мысли, что въ настоящее время «правда — стала лишь поэзіей одной!»

Самое значительное и по объему, и по содержанію чтеніе — было чтеніе одной главы изъ 3-го тома записокъ Ф. Ф. Вигеля. Г. Лонгиновъ предносилъ чтенію этихъ записокъ небольшое предисловіе, въ которомъ объяснилъ, по своему разумѣнію, что за человекъ былъ этотъ Вигель, каковы характеръ и достоинства его записокъ. Судя по этому предисловію, мы ожидали услышать нѣчто необыкновенное, новое и чрезвычайно важное для исторіи русской литературы и общества въ первой половинѣ текущаго столѣтія: г. Лонгиновъ буквально не находилъ словъ, чтобы достойно восхвалять эти записки, ихъ историческія и литературныя достоинства; а автору ихъ отводилъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи русской литературы XIX вѣка. И что же? Какое разочарованіе! Скукнѣе и пустѣе перваго читаннаго отрывка, обыкновеніе второго — намъ рѣдко приходилось что-нибудь читать или слушать! Въ первомъ говорилось о русскомъ и иностранныхъ театрахъ въ Петербургѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и какъ говорилось: такая-то актриса имѣла пріятный голосъ, такая же не имѣла его, но играла страстно; одна была неуклюжа и толста, другая смерть-смертью; одна жила въ незаконномъ бракѣ съ такимъ-то, другая убѣждала и тайно обвинялась съ другимъ; но что изъ всей этой театральнаго закулисной и публичной кутерьмы, какой литературный или историческій интересъ имѣетъ она — этотъ вопросъ остался для слушающей публики нерѣшеннымъ, а для чтеца, выбравшаго этотъ отрывокъ для открытаго, публичнаго чтенія, кажется и вовсе не существовалъ, по крайней мѣрѣ, предложивъ себѣ этотъ вопросъ напе-

редъ, едва ли бы г. Лонгиновъ рѣшился предлагать публикѣ то, что гораздо занимательнѣе и съ гораздо болѣе подробностями уже извѣстно изъ театральныя воспоминаній не только Аксакова и Жихарева, но даже и г. Рафаила Зотова.

Второй отрывокъ о литературѣ русской того же времени былъ гораздо интереснѣе, хотя и не заключалъ въ себѣ ничего такого, что бы оправдывало отзывъ г. Лонгинова о достоинствахъ записокъ Вигеля: удивленіе и восхваленіе Карамзина и Жуковского, скандальная, хотя, можетъ-быть, и остроумная и не лишенная нѣкоторой справедливости—скандальная хроника прочаго литературнаго міра того времени, вотъ и все. Все это болѣе или менѣе извѣстно занимавшимся исторіею новой русской литературы, а для прочихъ, равнодушныхъ къ судьбамъ ея, не имѣетъ особенно высокаго интереса. Но неизвѣстенъ многимъ остается только авторъ записокъ, самъ Ф. Вигель, а интересенъ этотъ *рыцарь правды*, ума и *благородства*, предъ строгимъ судомъ котораго все выходитъ глупо, пошло и подло; интересно и *замычательно* его благородное негодованіе на противниковъ Карамзина за то, что они употребили не совсѣмъ честное средство покарать своего врага; интересно и то, что этотъ же самый Вигель негодуетъ и скорбитъ, зачѣмъ не употребили *этого* средства противъ пр. Гаврилова, который въ своемъ журналѣ печаталъ (о ужасъ!) цѣлыя рѣчи Мирабо; интересно, скажемъ мы наконецъ, какъ этотъ же самый Вигель прибѣгнулъ къ выше-сказанному средству въ дѣлѣ противъ издателя «Телескона», а еще интереснѣе, какъ-то онъ разсказалъ объ этомъ въ своихъ запискахъ!

Какъ бы то ни было, если судить по прочтеннымъ отрывкамъ, выходитъ одно изъ двухъ: или записки Ф. Вигеля вовсе не имѣютъ того космическаго значенія, какое имъ приписалъ г. Лонгиновъ, или же г. Лонгиновъ сдѣлалъ крайне-неудачный выборъ изъ нихъ; мы не рѣшаемся судить объ этомъ, такъ какъ эти «Записки» извѣстны намъ только по слухамъ.

Скажемъ въ заключеніе: не хорошо поступило Общество лю-

бителей российской словесности, допустивъ съ своей стороны публичную вигелевскую клевету на покойнаго Каченовскаго, одного изъ дѣлательнѣйшихъ своихъ членовъ, котораго заслуги русской наукѣ долго останутся памятны.

«Турецкой бомбой» г. Миллера заключилось настоящее открытое засѣданіе Общества любителей российской словесности. Это была благоуханная капля цѣлительнаго бальзама послѣ желчныхъ діатрибъ Вигеля!

Русская народная сказка.

Народныя русскія сказки. А. Н. Леонасьева. М. 1855—1863 г. 8 томовъ.

1864.

Если бы, столѣтіе тому назадъ, кому-нибудь пришла въ голову мысль собрать и издать народныя сказки въ томъ видѣ, какъ онѣ живутъ въ народѣ, едва ли такая попытка избѣжала бы насмѣшекъ и литературныхъ пересудовъ.

Ни историческая наука, ни педагогика XVIII вѣка не знали цѣны народнымъ произведеніямъ: изъ рукъ брюзгливой науки старинныхъ книжниковъ общество перешло подъ опеку чопорнаго свѣтскаго аристократизма; прежній взглядъ на народныя произведенія, какъ на душевредную бѣсовскую забаву, замѣнился новымъ, не менѣе строгимъ и исключительнымъ. Не страшась болѣе соблазна для души и даже открыто бросаась къ нему въ объятія, общество уже не *страшилось* ни пѣсенъ, ни сказокъ: оно съ высоты своего образованія *презирало* ихъ, находя, что этотъ *вздоръ* приличенъ только людямъ *подлаго* происхожденія, а отнюдь не благовоспитанному образованному человѣку. Чопорный вкусъ напудренного литератора оскорблялся наввиюю простотою этихъ произведеній, а историческая наука и не думала о нихъ, потому что не знала и не подозрѣвала ихъ цѣны и значенія. Въ воспитаніе они входили лишь контрабандой, проскользая мимо

глазъ воспитателей въ то время, когда ихъ питомцы какъ-нибудь позамѣшкаются въ горничной, передней или на дворѣ съ крестьянскими ребятишками. Даже въ Германіи, этой классической странѣ науки, еще въ концѣ прошлаго вѣка у серьезныхъ людей народныя сказки пользовались дурною репутаціей: онѣ распространялись, но исключительно между дѣтьми, и когда въ 1796 году извѣстный Людвигъ Тикъ издалъ свою стихотворную передѣлку сказокъ, онѣ подвергся серьезнымъ укоризнамъ со стороны своихъ друзей и знакомыхъ, конечно, не потому, что онѣ рѣшился *передѣлывать* сказки, а вслѣдствіе убѣжденія, что неприлично серьезному поэту заниматься такимъ суетнымъ и пустымъ предметомъ, каковы народныя сказки и преданія. Долго ли имѣлъ силу у насъ такой исключительный взглядъ — сказать трудно, но, если вѣрить г. Снегиреву, еще въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія члены Общества любителей русской словесности серьезно разсуждали о томъ, можно ли допустить въ ихъ обществѣ разсужденіе о такомъ пошломъ, площадномъ предметѣ, какъ *любочныя изображенія народа!* Всему свое время. Теперь то же самое Общество гордится изданіемъ нѣсенъ, собранныхъ П. Кирѣевскимъ, та же самая публика поддержала изданіе русскихъ народныхъ сказокъ г. Афанасьева и такимъ образомъ дала ему средства привести къ концу свое многотрудное и полезнѣйшее предпріятіе.

Было бы слишкомъ неблагоразумно съ нашей стороны на страницахъ газеты пускаться въ подробный разборъ богатаго матеріала, предлагаемаго изданіемъ г. Афанасьева: нѣтъ сомнѣнія, оно со временемъ вызоветъ спеціальную оцѣнку и можетъ быть, спеціальное изслѣдованіе, но мы хотѣли бы угадать мысль публики и науки, когда онѣ съ такимъ вниманіемъ встрѣчаютъ эти простыя, незамѣтныя созданія народной фантазіи; намъ же-
 лалось бы перевести на опредѣленный языкъ это чувство уваженія къ народнымъ произведеніямъ, разъяснить его смыслъ и причины. Чтобы не потеряться въ предметѣ, мы ограничимся только народною сказкою и представимъ нашимъ читателямъ

нѣсколько соображеній о ея ученomъ и литературномъ значеніи.

Еще Платонъ, въ своемъ идеальномъ государствѣ, предписывалъ, чтобы матери и кормилицы образовывали душу ребенка разсказами мифовъ и сказокъ. Это служило началомъ воспитанія. Несмотря на коренное различіе современнаго намъ взгляда на науку воспитанія отъ классической педагогикъ, мысль великаго философа имѣетъ за собою залoги неопровержимой истинны и оправдывается вѣковымъ опытомъ. Если необходимымъ условіемъ каждой педагогической книги должна служить занимательность разсказа и его соотвѣтствіе съ понятіями дѣтскаго возраста, то едва ли какая иная книга выдержитъ соперничество съ народными сказками, — такъ родственно близки онѣ дѣтямъ и такую богатую поживу предлагаютъ онѣ юному воображенію. Въ справедливости этого явленія легко убѣдиться каждому: пусть дастъ онъ дѣтямъ народныя сказки вмѣстѣ съ разсказами à l'usage des enfants, разсказами, въ которыхъ и слогъ опрятнѣе, и содержаніе, кажется, занимательнѣе, и нравовученіе искусно повершаетъ все дѣло, онъ скоро увидитъ, какъ, пренебрегая всѣми педагогическими и литературными достоинствами послѣднихъ, дитя съ жадностью бросается на сказку, простой и безыскусственный разсказъ которой удовлетворяетъ его гораздо болѣе всѣхъ тонкихъ моральныхъ повѣствованій. Причину понять не трудно: живой воспріимчивой натурѣ дѣтей рѣшительно противны эти искусственныя растенія, усиленъ выращенныя въ педагогической теплицѣ безъ вольнаго воздуха и свѣта, безъ поэтической фантазіи и души. Мы не говоримъ, чтобы таковы были всѣ повѣствовательныя педагогическіе разсказы для дѣтей, но таковы они по большей части. Иначе, впрочемъ, и быть не можетъ: нужно имѣть громадный поэтический гений, чтобы создать *свою собственную* сказку, которая могла бы удовлетворить дѣтское воображеніе, любознательность и чувство; писателю эпохи образованной чрезвычайно трудно отрѣшиться отъ *серьезнаго, зрѣлаго* взгляда на вещи, и вполне перенестись въ область наивной дѣтской жизни,

о которой каждый взрослый человекъ сохраняетъ лишь смутныя, неясныя воспоминанія; усиленъ ума и воображенія поэтъ можетъ возстановить образы этой жизни, но за ними всегда будетъ виденъ иной взглядъ, не похожій на простодушный, наивный взглядъ ребенка. Вотъ почему всѣ попытки *создать* для дѣтей сказку не имѣли и не имѣютъ успѣха; талантливейшіе писатели понимали это: ни Тикъ, ни Андерсенъ, ни Жуковский, ни Пушкинъ не *создавали* сказокъ, они только *пересказывали* ихъ, сообщая изящную литературную форму содержанію, уже давно готовому, которымъ утѣшались и на которомъ воспитывались сотни народовъ и цѣлыя тысячи поколѣній. Сверхъ этого, если глядѣть на народную сказку съ точки зрѣнія *нравственной* (а въ педагогикѣ, конечно, это — первое дѣло!), то едва ли кто, внимательно вникавшій въ смыслъ и значеніе народной сказки, станетъ отрицать нравственное ея основаніе: изъ всего запаса *чисто-народныхъ* сказокъ, какому племени и народу онѣ ни принадлежали бы — пусть укажутъ намъ хотя одну, гдѣ преступленіе законовъ человѣческой природы, несправедливость, порокъ, безнравственность находили оправданіе и участіе: временно они торжествуютъ, но лишь за тѣмъ, чтобы своею гибелью оправдать законъ нравственности и укрѣпить нравственную вѣру живыхъ въ добро и истину. Въ этомъ нравственномъ значеніи народной сказки заключается первое и главное условіе ея долговѣчности, всл, такъ сказать, сила ея: народъ, въ жизни котораго такъ много заботъ и горестей (а у каждого народа ихъ не много ли?!), не находя утѣхи и удовлетворенія своему нравственному чувству даже и въ поэзіи, — такой народъ не можетъ любить своей поэзіи и рано или поздно долженъ погибнуть подъ бременемъ непривѣтливой тяжелой жизни. Но такого явленія не представляетъ еще исторія человечества! Съ полною увѣренностію можно сказать, что, подобно пѣсни, сказка не простая забава праздныхъ головъ — съ забавой легко разстаться — но нравственное подспорье существованія народа, столь часто грубо оскорбляемаго противорѣчіями жизни: она удовлетворяетъ нравственное чувство, возму-

щепное людскою неправдою, облегчаетъ грудь отъ накопившихся
 болѣе и заботъ, которыми всегда бываетъ полна пизменная жизнь
 простолюдина. Сомнѣнія въ нравственномъ характерѣ сказки
 происходятъ, какъ кажется, отъ того, что многіе еще не умѣютъ
 отдѣлать общій мотивъ сказки отъ подробностей ея содержанія:
 спору нѣтъ, что въ иныхъ случаяхъ эти подробности переходятъ
 за предѣлы, приличныя дѣтскому пониманію, что чтеніе ребен-
 комъ всѣхъ сказокъ безъ разбора можетъ преждевременно сму-
 тить юное чувство и даже испортить его; но кто же говоритъ о
 чтеніи безъ разбора? У опытнаго педагога всегда есть средство
 отвратить такое явленіе посредствомъ разумнаго *выбора*: какъ
 въ поэзіи, такъ и въ жизни есть много *преждевременнаго* для
 дѣтей, но изъ-за этого какой педагогъ рѣшится отказать дѣтямъ
 въ объясненіи доступныхъ ихъ пониманію явленій жизни вообще,
 или оставить въ небреженіи ихъ умственное развитіе, только изъ
 опасенія, чтобы они не выучились *слишкомъ многому*! Были у
 насъ когда-то и послѣдователи этой предупредительной педа-
 гогіи, но они принадлежатъ теперь далекому прошедшему, а
 потому пора, кажется, оставить и мысль, что игривыя вольности
 нѣкоторыхъ сказокъ мѣшаютъ народной сказкѣ имѣть важное
 педагогическое значеніе: оно, какъ мы сказали, оправдано вѣко-
 вымъ опытомъ и подтверждается голосомъ людей, которыхъ
 никто не упрекнетъ въ легкомысліи: «нашимъ намѣреніемъ—го-
 ворятъ бр. Гриммы въ предисловіи къ своему классическому
 изданію пѣмекскихъ сказокъ — нашимъ намѣреніемъ было и то,
 чтобы поэзія, которая въ сказкахъ является такъ живо — дѣй-
 ствовала и утѣшала тѣхъ, кто можетъ ею утѣшаться, чтобы эти
 сказки служили также *воспитательною книгою*. Мы ищемъ для
 нея не той чистоты, которая достигается боязливымъ устрани-
 ніемъ всего, что касается извѣстныхъ обыденныхъ положеній и
 отношеній, которыя не могутъ быть скрыты никакимъ образомъ...
 Мы ищемъ чистоты *въ истинѣ разсказа, не заключающей въ
 себѣ ничего несправедливаго*». Намъ кажется, русское общество
 имѣло ту же мысль, выражая свое сочувствіе къ изданію г. Аза-

насева; по крайней мѣрѣ, такого широкаго¹⁾ распространенія «Народныхъ русскихъ сказокъ» нельзя объяснить однимъ признаніемъ *ученаго* достоинства этихъ произведеній, такъ какъ число людей, привыкшихъ обращаться къ сказкѣ съ научными требованіями и вопросами, еще очень не велико сравнительно съ массою читающей публики.

Сказка сама по себѣ — произведеніе дѣтское, плодъ дѣтской живящей фантазіи народа; но какъ ребенокъ, его воспитаніе, развитіе — могутъ и должны быть предметомъ науки, строгой серьезной мысли педагога, такъ и сказка имѣетъ весьма важное научное значеніе. Мысль старалъ, общензвѣстная; но по крайней мѣрѣ у насъ — она до сихъ поръ остается мыслью.... Мы попытаемся въ общихъ чертахъ предложить оправданіе этой мысли и рассмотримъ значеніе народной сказки въ отношеніи къ сравнительной мифологіи, исторіи литературы и древностей, при чемъ, для большей убѣдительности, представимъ и нѣкоторые примѣры изъ русскихъ народныхъ сказокъ.

I.

Въ послѣднее время въ русской ученой литературѣ не рѣдкость встрѣтить выраженія: *доисторическая эпоха, эпическій періодъ народной жизни*. Мы употребляемъ этотъ общій терминъ для обозначенія періода времени, лежащаго за предѣлами положительной исторіи, мы употребляемъ его, какъ нѣчто опредѣленное, извѣстное, а между тѣмъ, самъ по себѣ — онъ до того туманно-неопредѣленъ, что даже и тѣ предметы его, которые доступны наблюденію современной науки, сливаются въ немъ въ одну безраздѣльную кучу: какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ народъ объявился извѣстнымъ народомъ до времени появленія его на историческое поприще — онъ не сдѣлалъ никакихъ успѣховъ въ умственномъ развитіи, гражданственности и средствахъ матеріальнаго существованія, какъ будто все это долгое время онъ

1) Говоримъ *широкаю* потому, что нѣкоторыя части «Нар. рус. ск.» выдержали *два* и даже *три* изданія.

жизль *одною* жизнью безъ измѣненій, безъ эпохъ, безъ своихъ періодовъ! Еще не пользуясь указаніями исторіи, теоретически можно утверждать, что такая мысль *немыслима*, что такой періодъ слишкомъ неопредѣленъ и обширенъ, и требуетъ болѣе точныхъ подраздѣленій. Нѣкоторыя изъ этихъ подраздѣленій наука успѣла отмѣтить, если не съ надлежащей полнотой, то съ достаточною ясностію.... И такъ, мы очень мало скажемъ, если скажемъ, что сказка происхожденіемъ своимъ относится къ древнѣйшему эпическому періоду народной жизни; гораздо важнѣе опредѣлить время и причины ея появленія относительно прочихъ формъ народной поэзіи и въ особенности относительно мифа и героической былины. Какъ по содержанію, такъ и по формѣ, сказка не можетъ быть признана за первичную форму народной поэзіи: въ ней нѣтъ этой первобытной торжественности, той теплоты вѣрующаго чувства, которую мы видимъ въ молитвенномъ гимнѣ, мифологической и героической пѣснѣ; она могла явиться только тогда, когда народъ уже умѣлъ отдѣлять поэзію отъ религіи и вѣрованія, словомъ — она могла явиться только въ эпоху относительно позднѣйшую. Первоначально существуетъ мифъ, какъ разсказъ о жизни и дѣлахъ небожителей, правящихъ міромъ, какъ прославленіе ихъ могущества и молитва къ нимъ (религіозный гимнъ). Если мифъ сходитъ на землю и облекается въ форму эпическаго сказанія, гдѣ дѣйствуютъ или герои, или обыкновенные смертные, то все же за тѣмъ, чтобы выразить идею о присутствіи божества въ исторіи, о томъ, что и въ низменномъ мірѣ все происходитъ по волѣ вѣчнодержавныхъ боговъ. Вотъ почему въ мифѣ владычествуетъ поэтическая фантазія, ее не стѣсняють историческія событія и воспоминанія, она свободна, измѣнчива и разнообразна; въ эпическомъ сказаніи же фантазія не можетъ имѣть этого широкаго полета, его затрудняетъ воспоминаніе о томъ, что случилось или что слыветъ за случившееся, и она окрашиваетъ своимъ цвѣтомъ сказаніе только потому, что самое божество принимаетъ участіе въ судьбахъ цѣлыхъ народовъ и отдѣльныхъ людей. Съ теченіемъ времени сказаніе и мифъ часто такъ тѣсно

сплетаются другъ съ другомъ, что между ними трудно и даже невозможно бываетъ положить границу: мифъ изводится на землю, получаетъ народный и мѣстный отпечатокъ, переходитъ въ героическое сказаніе и, наконецъ, въ обыкновенную историческую пѣсню, помѣченную извѣстнымъ событіемъ и извѣстнымъ годомъ. Такое перерожденіе обыкновенно бываетъ тогда, когда система древнихъ мифовъ начинаетъ колебаться и разстроиваться, когда вѣрованіе, корнящееся на этой системѣ, слабѣетъ и, само себя переживая, уступаетъ мѣсто новому, являющемуся откуда бы то ни было. Мифы сливаются съ народными сказаніями, или — что бываетъ чаще — сбрасываютъ съ себя все народное, все что дѣлало ихъ мифами *изъстнаго* народа, и удерживаютъ только общечеловѣческія черты, общечеловѣческую форму воззрѣнія: они становятся *сказкой*. Такое превращеніе обезпечиваетъ для древней мифологіи вѣрныя средства дальнѣйшаго существованія; тѣсно соединенная съ народнымъ вѣрованіемъ, мифологія должна была бы погибнуть при вторженіи новой чужеземной вѣры, но, потерявъ народныя черты и удержавъ только общечеловѣческія воззрѣнія, общій характеръ — ей нечего болѣе опасаться за свое существованіе: новая религія приходитъ съ такимъ же общечеловѣческимъ характеромъ, а потому она или дружитъ съ сказкою, или становится къ ней въ отношенія терпимости, хотя эта терпимость часто бываетъ соединена съ пренебреженіемъ. Таково происхожденіе сказки. Понятно, каковъ долженъ быть ея характеръ: въ противоположность *народному* сказанію, сказка не только лишена всякаго народнаго историческаго основанія, она почти не имѣетъ никакого дальнѣйшаго отношенія къ народной исторіи, она обходитъ стѣснительныя историческія и этнографическія элементы: то, о чемъ рассказываетъ она, никогда — даже произвольно — не относится къ какому-нибудь опредѣленному времени или мѣстности: и дѣйствующія лица ея, и мѣста, гдѣ происходитъ дѣйствіе, не носятъ опредѣленныхъ названій, это обыкновенно какой-то царь, царьца, слуга, пастухъ или конюшій, тридесятое царство, заморское государ-

ство и т. д. Если же попадаются собственные имена, то одни из них не имѣютъ никакой исторической достовѣрности: ихъ носили и носятъ сотни тысячъ другихъ лицъ, другія же — являются только, какъ чистая игра фантазіи, какъ прилагательное качественное, отвердѣвшее въ имя собственное. То, что сказка рассказываетъ о какихъ-нибудь мифическихъ существахъ, змѣяхъ, великанахъ и т. д., не имѣетъ ни малѣйшей опоры ни въ мѣстѣ, ни во времени: стоитъ сравнить похождения и подвиги муромскаго героя Ильи съ нѣкоторыми русскими сказками и посредствомъ сравнительнаго анализа возстановить первоначальный мифъ, тогда станетъ ясно, что богатырская былина искажила этотъ мифъ, а сказка — вывѣтрила его. Если народные сказанія у различныхъ племенъ представляютъ сходныя между собою черты, то они сходны вопреки ихъ національному характеру; если же сказки сходны, то это имѣетъ свою необходимость: освободившись отъ всего ограниченного, народнаго, сдѣлавшись общечеловѣческимъ, мифъ сталъ сказкой, а какъ эпоха созданія первоначальныхъ мифовъ падаетъ на то время, когда родственныя племена (напримѣръ, индо-европейскія) составляли одинъ народъ, еще не раздробившійся на племенные розни, то понятно, почему, напримѣръ, славянскія сказки иногда дословно сходны съ литовскими, нѣмецкими и даже сказками романскихъ племенъ: оттого сказка какъ будто бы лишена исключительной родины. Есть еще и иная важная черта въ характерѣ сказки. Пѣсня или народное сказаніе — даже и тогда, когда фантазія принимаетъ въ нихъ огромное участіе — всегда идутъ за дѣйствительную исторію, сказка же сама говоритъ, что она происхожденіемъ своимъ обязана фантазіи; вѣра въ истину и правдивость сказки совершенно иная, чѣмъ въ правдивость народнаго сказанія: ей вѣрятъ не потому, чтобы считали за истину, а потому, что видѣтъ въ ней идеальную истину, какъ отблескъ вѣчнаго, переживаемаго изъ первоначальнаго мифа. Вотъ почему сказка дѣйствуетъ свободнѣе. Смыслъ, такъ часто приходится въ столкновеніе

съ разумомъ и чувствомъ, является насмѣшка, шутка, юморъ. Эти качества не чужды и мѣоу, такъ какъ и мѣоу образуется главнымъ образомъ при участіи фантазіи, — но въ сказкѣ они принадлежатъ къ существеннымъ, характеристическимъ мотивамъ.

Эта общая характеристика сказки, какъ поэтической формы, намъ показала необходимость затѣмъ, чтобы привести въ надлежащую ясность вопросъ объ отношеніи сказки къ мѣологіи. Кажется, нѣтъ сомнѣнія, что даже и въ томъ видѣ, въ какомъ этотъ родъ поэзіи живетъ до сихъ поръ въ народѣ — онъ представляетъ собою не иное что, какъ *поблекшіе старинные мѣоы*: измѣнились и мѣсто дѣйствія, и дѣйствующія лица, вмѣсто области воздушной рассказъ перенесенъ на землю, хотя, какъ бы помня свое неземное происхожденіе, онъ рѣдко сидитъ на ней прочно и проводитъ своего героя по многимъ подземнымъ и надземнымъ областямъ; вмѣсто боговъ, дѣйствовавшихъ въ первоначальномъ мѣоѣ, выступили обыкновенные люди, отношенія которыхъ устроились уже совершенно по образцу человѣческаго быта, со многими бытовыми подробностями, какихъ не могло быть въ мѣоѣ; величіе физической силы замѣнилось силою нравственною, хитростью и смышленностью, прибавились цѣлыя исторіи и поэтическіе эпизоды; но несмотря на все это, мѣоическое зерно уцѣлѣло, какъ главный мотивъ, какъ смыслъ сказки: оно сквозитъ изъ-за искаженій времени и позднѣйшей романтической обстановки. Наука давно уже оцѣнила важное значеніе сказки по отношенію къ мѣоологіи, но, кажется, эта мысль долго не имѣла прочной ученой заручки, она была болѣе предчувствіемъ, чаяніемъ, чѣмъ строгою сознанною и доказанною истиною: исследователи не разъ пытались объяснять сказки и сказкамъ объяснять языческую старину, но выходила страшная разноголосица: одни, не принявъ во вниманіе космополитическаго значенія сказки, искали въ ней исключительно народности, приписывали, напримѣръ, исключительно славянскому язычеству то, что только принадлежало ему только, какъ равная часть общаго родового имущества, доставшагося всѣмъ родственнымъ племенамъ отъ эпохи первоначальнаго еди-

способы объясненія, имѣлъ *это*, а не *иное* воззрѣніе на мѣологію сказки. Предназначая свое изданіе, главнымъ образомъ, для изслѣдователей, г. Аоанасьевъ не считъ нужнымъ объясняться по этому поводу: нѣкоторыя общія воззрѣнія разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ его примѣчаній, но вообще же онъ полагалъ ихъ достаточно извѣстными; но рецензентъ — говорящій съ читающей публикой — не имѣетъ этого права, потому онъ долженъ представить *оправдательную* статью къ разбираемой книгѣ. Исполняемъ это тѣмъ охотнѣе, что надѣемся снять съ почтеннаго издателя незаслуженный упрекъ, какой намъ приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ читателей его книги, упрекъ въ произвольности объясненій. Уже болѣе полустолѣтія наука считаетъ за доказанную истину, что Индусы, Персы, Греки, Римляне, Кельты, Нѣмцы, Литовцы и Славяне суть разрознившіеся члены одной общей семьи, называемой обыкновенно арійскою или индо-европейскою. Сравнительное языкознаніе показало, что еще въ отдаленнѣйшую эпоху, во время, предшествовавшее распаденію этой семьи на отдѣльныя племена и народности, она достигла уже извѣстной степени нравственной и физической культуры, знала начала земледѣлія, имѣла свои обычаи, религію и общественное устройство. Къ этому же времени должно отнести и первыя основы поэтической мѣологіи индо-европейскаго племени: тщательное сравненіе мѣологическихъ представленій различныхъ народовъ, пошедшихъ отъ этого корня, убѣждаетъ насъ, что, несмотря на видимое этнологическое качественное и количественное различіе ихъ мѣологій, основа, закладка, первичное зерно ихъ — одно и то же у всѣхъ этихъ народовъ; оно обще имъ не какъ простое независимое произведеніе человѣческаго духа, дающаго одинакій результатъ при одинакихъ жизненныхъ условіяхъ, но какъ явленіе *общеродственное*, какъ наслѣдіе, вынесенное отдѣльными народностями изъ эпохи своего первоначальнаго этнологического единства и сохранившееся то въ измѣненномъ, то въ своемъ древнемъ суровомъ видѣ. Еще слѣдуя одному только сравненію мѣологическихъ образовъ и представленій, преданій и по-

вѣрій этихъ народностей—можно сомнѣваться въ справедливости такой мысли, такъ какъ не всегда имѣется прочное ручательство, что сравниваемые представленія дѣйствительно *родственно-тождественны*, а не *сходны* только случайнымъ внѣшнимъ образомъ, не возникли путемъ внѣшняго заимствованія, или вслѣдствіе одинакихъ условій матеріальной и нравственной жизни народовъ; но когда строгій лингвистическій разборъ мпѳологической терминологіи предлагаетъ прочную опору этой мысли, показывая тождество многихъ мпѳологическихъ наименованій, тогда она получаетъ значеніе неопровержимой истины и, такъ сказать, оправдываетъ сравнительныя сближенія самихъ *предметныхъ* мпѳологическихъ представленій. Исслѣдователю здѣсь предстоитъ не легкая задача: онъ долженъ извлечь общія мпѳическія начала изъ позднѣйшаго матеріала, потерпѣвшаго на долгомъ жизненномъ поприщѣ различныя крушенія и видоизмѣненія. Это пытались сдѣлать съ успѣхомъ нѣкоторые нѣмецкіе ученые (назовемъ Куна, Шварца, Манпгардта), это съ не меньшимъ успѣхомъ пытался сдѣлать и г. Аванасьевъ относительно русской народной сказки. Главная мысль его объясненій та, что въ сказочныхъ существахъ, ихъ похожденіяхъ, борьбѣ съ другими, смерти или побѣдѣ, народъ олицетворялъ—конечно, путемъ безсознательнаго наивнаго творчества—важнѣйшія явленія изъ жизни природы и преимущественно явленія весеннія, когда атмосфера и природа вся находится въ возбужденномъ состояніи и представляетъ собою какъ бы борьбу растревоженныхъ элементовъ. Дѣйствительно, сказка, мы сказали, есть мпѳъ *поблекшій* и *пересаженный на землю* и притомъ—не забудемъ—мпѳъ первоначальный, возникшій не на особой народной почвѣ, но на племенной, индо-европейской. Что же было въ эту эпоху предметомъ мпѳовъ, что сообщало имъ содержаніе? Земля не могла въ началѣ оказать сильнаго вліянія на воображеніе первобытнаго человѣка: вѣчная и чуждая внезапныхъ переменъ и потрясеній, она могла занять его умъ и несколько не потревожить его воображенія; сверхъ того, она была въ слишкомъ близкихъ связяхъ съ человѣкомъ, слыш-

комъ послушна и уступчива его велѣніямъ, чтобы вызвать въ немъ религіозный трепетъ, растревожить душу и фантазію. Земля не могла быть предметомъ вѣрующей поэзіи первобытнаго человѣка (мы говоримъ о первобытномъ человѣкѣ такъ-называемыхъ *активныхъ расъ*). Но на твердомъ голубомъ небесномъ сводѣ человѣкъ видѣлъ постоянное движеніе и смѣну, здѣсь всегда происходило что-нибудь, что возбуждало его чувство, вызывало вниманіе и тревожило умъ. Въ особенности внезапныя и грозныя явленія съ сферѣ воздушной производили на него сильное и глубокое впечатлѣніе: предъ ихъ могуществомъ и силою онъ вполне чувствовалъ свое безсиліе и слабость, отъ нихъ зависѣло благосостояніе природы и самаго человѣка. Задумываясь о причинѣ такихъ явленій, ему естественно было прійти къ понятію причины дѣйствующей, одушевленной и самопроизвольной: эти силы дѣятельныя и беспокойныя, то злобно скрывающія радостное небесное свѣтило, то снова очищающія дорогу его побѣдному шествію—кто они? Кто эти существа, поражающія землю зноемъ и засухою и снова оживляющія ее небесною влагою, погружающія всю природу въ сонъ и окаменѣніе и снова съ бурною грозой вызывающія ее къ жизни и радостямъ? На эти вопросы не могъ дать отвѣта спокойный разсудокъ, еще не имѣвшій точки опоры въ положительномъ знаніи: за него отвѣчала юношески наивная, то притивная, то возвышенная фантазія. Понятно, что она могла отвѣчать только созданіемъ боговъ живыхъ, дѣйствующихъ, борющихся, побѣждающихъ и побѣждаемыхъ. Такимъ образомъ, олицетворились явленія воздушной сферы: человѣкъ перенесъ на нихъ отвлеченную отъ самого себя и другихъ земныхъ существъ и неодушевленныхъ предметовъ — идею дѣйствія, образа или формы: идею *иной* дѣйствія, *иной* формы онъ не могъ себѣ вообразить; но такъ какъ рядъ послѣдовательныхъ положеній и дѣйствій слагается въ цѣлую исторію, то изъ послѣдовательнаго ряда природныхъ явленій развились рассказы о жизни и подвигахъ небожителей, рассказы, называемые *мифами*. При такомъ бессознательномъ, можно сказать роковомъ стремленіи къ олице-

творенію, къ метафорѣ, всѣ понятія древняго человѣка о природѣ должны были превратиться въ поэтическую міеологію; впечатлѣнія, производимыя явленіями природы на человѣка, были необыкновенно разнообразны и живы: одно и то же явленіе часто производило нѣсколько разныхъ впечатлѣній, и на оборотъ — разные явленія нерѣдко производили одинаковое впечатлѣніе; отсюда эта роскошь міеологическихъ олицетвореній и метафоръ, сближающихъ между собою самые разнообразные предметы и раздѣляющихъ самые близкіе: одно и то же явленіе природы олицетворяется въ разныхъ формахъ и образахъ, для олицетворенія разныхъ явленій часто употребляется одинъ и тотъ же образъ, такъ напримѣръ, *облака* представлялись то въ видѣ *скал*, то какъ *озеро*, *дерево*, какъ *косматая кожа*, какъ *лебедь*, *режущая корова*, ниспосылающая молоко на землю, какъ *корабль*, какъ *плащ* или иная одежда; *радуга* олицетворялась въ образѣ *моста*, *лука* съ молниеносною стрѣлою, *пояса*, *ожерелья*, *остраго серпа*, въ образѣ послѣдняго олицетворялась также и самая *молнія*, и т. д.

Всѣ эти образы — взяты ли они изъ природы неорганической и неодушевленной, или заимствованы отъ существъ одушевленныхъ: птицъ, звѣрей и самого человѣка, находились не въ неподвижныхъ, остывшихъ формахъ, но пзмѣнялись сообразно эпохамъ племенной жизни: въ періодъ быта кочевого, пастушьяго и охотничьяго — они были одни, въ земледѣльческую эпоху возникли другіе, потому изслѣдователь по нимъ однимъ можетъ до нѣкоторой степени слѣдить развитіе племенной жизни, ея до-историческую исторію, хотя, конечно, это еще самая слабая сторона современной науки, сравнительной міеологіи и исторіи культуры. Приведемъ примѣръ. Такъ-называемый *животный эпосъ*, гдѣ дѣйствуютъ звѣри, какъ существа разумно-правственные — когда могъ возникнуть онъ и къ какой эпохѣ племенной жизни должно отнести его происхождение? Конечно, не въ тревожномъ бытѣ звѣролововъ, недопуславшихъ разумно-правственного начала въ звѣряхъ и относившихся къ нимъ враждебно, и не въ

спокойной эпохѣ осѣдой земледѣльческой жизни — должно искать корня животной сказки: создать ее могла только жизнь пастушеская, когда человѣкъ, неразвлекаемый посторонними заботами, имѣлъ столько случаевъ выпикать въ природу звѣрей, общаться съ ними; и должно полагать, что періодъ пастушьяго быта у племени индо-европейскаго былъ довольно продолжителенъ: кромѣ слѣдовъ, оставленныхъ имъ въ языкѣ, нравахъ и обычаяхъ народной жизни, это подтверждается довольно широкимъ распространеніемъ животной сказки у всѣхъ народовъ арійскаго корня.

Итакъ, не правъ ли былъ г. Аоанасьевъ, когда, понимая, что сказки суть остатки мифовъ, онъ при объясненіяхъ ихъ держался мифологическаго объясненія и сказочные образы понималъ, какъ олицетворенія, метафоры природныхъ явленій и преимущественно явленій быстрыхъ, мгновенныхъ, движеній вѣтра, облаковъ, грозы, грома? Кто бы вмѣстѣ съ д-ромъ М. Мюллеромъ ¹⁾ захотѣлъ держаться исключительно солнечной теоріи объясненія мифовъ, тотъ, конечно, во многомъ разойдется съ г. Аоанасьевымъ, но, намъ кажется, въ этомъ случаѣ онъ разойдется и съ главнѣйшими положеніями всей науки сравнительной мифологіи.

Имѣютъ ли народныя сказки, кромѣ мифологическаго, еще иное значеніе, допускаютъ ли онѣ иныя объясненія — объ этомъ рѣчь впередъ.

Странная участь выпала на долю русской народной сказки: со времени ея появленія и образованія до вчерашняго, можно сказать, для она не имѣла исторіи, никому не воодушевила къ поэтической обработкѣ ея матеріала, никому не впустила мысли создать на ея основѣ художественную новеллу, рассказъ, или романтическую повѣсть. Какъ будто она прошла даромъ для исторіи русской литературы, какъ будто благотворная теплота и искренность ея согрѣвала одного только простолюдина и оказы-

1) Образцовый русскій переводъ превосходной «Сравнительной мифологіи» Макса Мюллера исполненъ И. М. Живаго и появился въ V т. Лѣтописей русской литературы и древности, изд. г. Тихонравовымъ.

валась несостоятельною и низкою относительно человека образованнаго! Правда, на страницахъ исторіи русской литературы кое-гдѣ мелькаетъ стремленіе сообщить сказочному матеріалу художественную обработку; но до половины прошлаго вѣка это стремленіе не имѣло смысла свободнаго художественнаго творчества: сказка — противъ воли литератора — вторгалась въ исторію, окрашивала своимъ цвѣтомъ историческую быль и шла за вѣрную историческую дѣйствительность. Повѣствовательная легендарная наша литература XIV—XVI вѣковъ можетъ представить нѣсколько примѣровъ такой помѣси сказочныхъ мотивовъ съ историческимъ матеріаломъ; само собою разумѣется, что сочинитель этихъ назидательныхъ повѣствованій былъ далекъ отъ мысли свободно воспользоваться сказкою для сообщенія художественнаго интереса своему разсказу: имѣя въ виду одно только спасеніе души, благочестивое назиданіе, онъ былъ далекъ вообще отъ всякихъ литературныхъ цѣлей, не понималъ и не могъ понять ихъ смысла и значенія. Онъ бралъ готовый матеріалъ, ни сколько не подозревалъ, что дѣйствительность и правда здѣсь вставлены въ широкія рамы фантастической *складки* и изобилуютъ сказочными подробностями, и, нѣтъ сомнѣнія, если бы на минуту подобная мысль запала въ голову нашего благочестиваго писателя, онъ бросилъ бы перо и никогда не рѣшился бы на такое еретическое литературство. Ясно, что если русскія легендарныя повѣствованія и важны для исторіи народной сказки, то уже никакъ не въ смыслѣ свободной художественной ея обработки. Не могутъ въ этомъ отношеніи похвалиться и особенною важною и значеніемъ попытки образованныхъ русскихъ литераторовъ прошлаго и текущаго столѣтія: Чулковъ, передѣливавшій нѣкоторыя русскія сказки, какъ намъ кажется, былъ совершенно далекъ отъ художественно-литературныхъ цѣлей и имѣлъ въ виду угодить вкусу особаго круга читателей, для которыхъ занимательность разсказа заключалась лишь въ фантастической нечѣстности, скандальной интригѣ и грязныхъ подробностяхъ; романтическое направленіе, въ лицѣ Жуковского, въ

русской сказкѣ не нашло предмета, достойнаго для художественнаго воспроизведенія и предпочло лучше обработать нѣмецкую сказку, чѣмъ обращаться къ родному творчеству; художественные пересказы русскихъ сказокъ Пушкина, оставаясь урокомъ для будущихъ поэтовъ, представляютъ не болѣе, какъ пробы гениальнаго пера промежъ прочихъ серіозныхъ литературныхъ занятій; одиѣ только попытки г. Дала сообщить русской сказкѣ литературную обработку — имѣютъ видъ серіозной литературной мысли; но за то исполненіе не соотвѣтствуетъ намѣреніямъ; оно чуждо художественнаго элемента: лишивъ сказку первобытной ея наивности и свѣжести красокъ, г. Даль, взявъ этого, далъ ей лишь холодныя, а иногда и скучныя подробности.

Такова, въ общихъ чертахъ, незавидная литературная судьба русской народной сказки. Не ясно ли, что она не имѣла гражданскихъ правъ въ русской литературѣ, что всѣ попытки художественной ея обработки — попытки случайныя, не твердыя и, быть-можетъ, болзливныя! Въ западной Европѣ народная сказка представила богатый матеріалъ для художественныхъ литературныхъ произведеній, она свободно переходила въ новеллу, повѣсть и даже романъ, а у насъ цѣлые вѣка она оставалась безплодна для литературнаго дѣла. Причина такого явленія лежитъ, конечно, въ исключительности направленій, господствовавшихъ въ русской литературѣ, и нельзя, говоря правду, не пожалѣть, что подъ вліяніемъ этой исключительности, безвременно и безплодно погнбло столько роскошныхъ цвѣтовъ народного творчества, полныхъ здоровой силы и свѣжести!

Попытка вознаградить потерянное, возвести сказку на степень художественнаго разсказа или повѣсти — едва ли не должна быть признана запоздалою въ отношеніи къ современному образованному обществу: оно оставило далеко позади за собою и самое содержаніе сказки, и образъ ея воззрѣнія; оно не можетъ довольствоваться ими, потому что не довольствуется вообще одною художественностію произведеній, а требуетъ отъ нихъ и современной мысли; только для дѣтскаго міра и для простоголю-

дина такіа попытки не только желательны, но и крайне необходимы — въ этомъ-то, по нашему мнѣнію, и заключается современное литературное значеніе народной сказки; въ другихъ отношеніяхъ она принадлежитъ исторіи, становится предметомъ науки, къ которой мы и возвращаемся теперь.

Незначительность вліянія русской сказки на развитіе литературы и недостатокъ свидѣтельствъ о судьбѣ ея — даютъ ли право историку русской литературы исключить ее изъ круга предметовъ своей науки? Несмотря на незрѣлость этой науки, до сихъ поръ ни одинъ историкъ ея¹⁾ — каковы бы ни были его воззрѣнія — не рѣшался на такое исключеніе: уже одно то, что сказка и пѣсня суть единственныя поэтическія формы, которыми пользовался простой неграмотный простолюдинъ въ продолженіе длиннаго ряда вѣковъ — достаточно свидѣлствуетъ объ ихъ историко-литературной важности. Весь вопросъ въ томъ, съ какой точки зрѣнія смотрѣть на сказку, съ какой стороны подойти къ ней, если она не имѣетъ опредѣленной исторіи²⁾. Мы думаемъ, что литературная оцѣнка сказки можетъ быть только *художественно-бытовая*. Трудно понять значеніе сказки для народа, мѣряя ее одною мѣркою искусства: сказка правится простолюдину не потому только, что въ художественныхъ образахъ представляетъ идеальную истину, но и потому, что самая обстановка сказки, бытъ ея — близкій, или фантастически-далекій отъ

1) Одинъ г. Шевыревъ дѣлаетъ въ этомъ случаѣ исключеніе, но и онъ, повидимому, сберегаетъ рассмотрѣніе сказки для одного изъ послѣдующихъ выпусковъ своего труда.

2) Есть, впрочемъ, возможность до нѣкоторой степени отдѣлать эпохи въ ростѣ и развитіи сказокъ, по крайней мѣрѣ можно сказать, какаа сказка — древняя и какаа — позднѣйшаго происхожденія. Тамъ, гдѣ главный мотивъ сказки вращается среди обыкновенныхъ людскихъ отношеній, гдѣ дѣйствуютъ простые смертныя, гдѣ менѣе чудеснаго міеологическаго элемента — тамъ можно сомнѣваться въ глубокой древности. Конечно, сказка можетъ спуститься съ міеологической высоты до низменной житейской обстановки, но никогда она не возвыситъ простыхъ людскихъ отношеній до міеологическаго чудеснаго, потому можно ошибаться на счетъ позднѣйшаго происхожденія сказки, но трудно ошибаться и не отличить дѣйствительно древней сказки.

слушателя и рассказчика, есть быть не будничным, потому что онъ даетъ пищу для мечты, иногда самой отрадной, успокоительной мечты, иногда тревожной, но во всякомъ случаѣ — благотворной. Заманчиво рисуя торжество угнетаемаго, побѣду правды и добра, сказка поддерживала въ народѣ душевную энергію, такъ часто изнемогавшую подъ тяжестью житейской нужды и тревоги; она будила и вызывала новыя силы для борьбы съ жизнью, однимъ словомъ — имѣла не только художественное, но и жизненное значеніе. Съ этой точки зрѣнія сказка является однимъ изъ незримыхъ, но дѣятельныхъ началъ въ исторіи народа: что при другихъ обстоятельствахъ дѣлаетъ наука.

Какъ произведеніе художественно-бытовое, сказка является предметомъ, необыкновенно важнымъ въ исторіи литературы: до появленія письменности, она, вмѣстѣ съ пѣсней, наполняетъ дѣльный періодъ литературной дѣятельности народа, и потомъ долго, цѣлые вѣка, остается любимѣйшею формою, отвѣчающею его поэтическимъ и литературнымъ потребностямъ.

Не малые матеріалы предлагаетъ сказка и для исторической эстетики, именно въ опредѣленіи того, какъ самъ народъ понималъ красоту и преимущественно красоту человека, такъ какъ во взглядѣ на искусство и природу народъ до сихъ поръ держится прикладнаго практическаго взгляда и на первый планъ всегда ставитъ вопросъ объ удобствѣ и пользѣ, мало заботясь о художественномъ наслажденіи. Если эстетикѣ, наукѣ нынѣ почти всѣмъ забытой, суждено поконить и обновиться, то она не пройдетъ мимо драгоценнаго матеріала, представляемаго народной поэзіей, сказкой и еще болѣе пѣсней.

Разсматривая значеніе народной сказки въ исторіи литературы, встрѣчаемся еще съ однимъ чрезвычайно важнымъ вопросомъ, — мы разумѣемъ вопросъ о литературной сказкѣ. Въ древній, и въ особенности въ средній, періодъ исторіи нашей литературы заходили къ намъ изъ-чужи, путемъ письменности или простого изустнаго пересказа, много сказочныхъ рассказовъ, повѣстей. На русской почвѣ она или сохраняла признаки

своей первоначальной національности, принимали русскій народный оттѣнокъ и мало-по-малу становились какъ бы русскими.

Исслѣдователю предстоитъ здѣсь благородный, хотя и не легкій трудъ: онъ долженъ отыскать и первообразъ сказки, и ближайшій источникъ, откуда она перешла къ намъ (такъ какъ часто она являлась къ намъ изъ вторыхъ и даже третьихъ рукъ!), долженъ отдѣлать свое отъ чужаго, объяснить всѣ усвоенія и передѣлки чужого элемента на народный ладъ, всѣ народныя привнесения въ чужой источникъ... Понятное дѣло, что такой трудъ не легокъ: даже въ Германіи, гдѣ народная сказка обсмотрѣна почти со всѣхъ сторонъ, разработка исторіи литературной сказки только-что началась; упомянемъ имена Бенфея, Либрехта, двухъ Келлеровъ (Köhler'a и Keller'a), труды которыхъ, значительно расширя наши понятія объ этомъ предметѣ, въ то же время даютъ чувствовать и трудность его, и необходимость самой тщательной осторожности въ конечныхъ выводахъ и результатахъ. Въ самомъ дѣлѣ, до тѣхъ поръ, пока не будутъ выполнены всѣ названныя нами условія исторической критики, едва ли наука можетъ пользоваться литературной сказкой, какъ историческимъ памятникомъ извѣстнаго времени: согласіе такого произведенія съ началами русской жизни, русская обстановка, даже русскія имена — еще не представляютъ ручательства въ его русскомъ происхожденіи: часто это историческій призракъ, который разсѣвается сравнительнымъ изслѣдованіемъ предмета. *Примѣры увлеченія подобными призраками не рѣдки у насъ. Мы приведемъ два изъ нихъ, какъ доказательство необходимости утѣной осторожности въ дѣлѣ историческихъ выводовъ изъ народныхъ сказокъ.*

Въ 5-мъ изд. «Русская сказка» (1884), за истекшій годъ, напечатанъ вѣстникъ Шибаршѣ (просто-вѣстникъ бродяги, пройдохи), любопытнымъ дѣйствующимъ лицомъ

является Иванъ Васильевичъ Грозный, и по тѣмъ историческимъ объясненіямъ, какія она вызвала со стороны г. Бѣляева 2-го (Ил. В.). Мы не обинуясь признали бы справедливость этихъ объясненій, если бы противъ г. Бѣляева не говорилъ одинъ очень важный въ этомъ случаѣ историко-литературный фактъ: изслѣдователь принимаетъ эту сказку за *чисто-народное русское произведение*, объясняетъ ее русскою исторіею, русскимъ бытомъ и обстоятельствами; а сравнительная исторія литературы говоритъ, что эта сказка не русская, что она не возникла среди народа, а зашла въ него путемъ литературнымъ, что народъ взялъ готовое содержаніе и перевелъ его на русскую жизнь, приурочилъ только къ родной исторіи. Если послѣднее справедливо, то и весьма рѣшительныя объясненія г. Бѣляева не могутъ быть признаны за вполне справедливыя. Похожденія искуслаго и ловкаго вора — главный мотивъ нашей сказки — составляютъ предметъ многочисленныхъ народныхъ разсказовъ не только въ Европѣ, но и въ Азіи и даже въ Африкѣ. Не затрудняя нашихъ читателей библіографическими справками по этому предмету, мы отсылаемъ ихъ къ изданіямъ Гримма, Келлера и Либрехта¹⁾, гдѣ они найдутъ подробную и обстоятельную его литературу; выскажемъ только, къ чему привело насъ тщательное разсмотрѣніе нашей сказки сравнительно съ однородными произведеніями прочихъ народовъ: какъ въ общемъ ходѣ разсказа, такъ и въ большинствѣ эпизодовъ сказка о Шибаршѣ обнаруживаетъ чужое происхожденіе; собственно русскихъ важныхъ историческихъ эпизода — два: 1) Иванъ Васильевичъ подговариваетъ Шибаршу обокрасть царскую казну и получаетъ за это отъ него заушеніе, 2) царь чрезъ Шибаршу узнаетъ о

1) *Grimm's Kinder- und Hausmärchen*, pars 3, стр. 260—1. *Keller: «Les Romans des Sept sages»*, стр. CXCIII—VII; *то же: Diocletianus Leben v. Hans v. Babel*. 1841, стр. 55—6; *Liebrecht: Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen*. 1851; стр. 263—4. Та же сказка находится и у Чулкова, ч. 6-я (1820 г.), стр. 32—53, и въ нѣсколько отличномъ, сокращенномъ видѣ у Аонасьева, ч. VI, № 10.

намѣреніи министра (?) извести его лютымъ зельемъ. На эти русскіе эпизоды и слѣдовало бы обратить особенное вниманіе при сравнительномъ разборѣ сказки¹⁾; остальные русскія черты, не встрѣченныя нами въ иноземныхъ сказкахъ, совершенно незначительны: онѣ остались безплодны даже для широкой мысли г. Бѣляева. Но имѣя въ виду несомнѣнный чужеземный источникъ сказки, имѣетъ ли право изслѣдователь, основываясь только на двухъ выпезамѣченныхъ русскихъ эпизодахъ, да на русскомъ складѣ сказки—имѣетъ ли онъ право утверждать, что герой сказки Шибарша есть представитель русской земщины, русскаго простонародія XVI в., а не злого исчадія опричнины; митрополита же, которому Шибарша «отсмѣялъ насмѣшку», считать митроп. Филиппомъ и весь этотъ эпизодъ сказки объяснять русскими историческими данными, тогда какъ объ немъ почти дословно говоритъ нѣмецкая сказка, называя только простого священника вмѣсто митрополита?

Поневогѣ пожалѣешь, что осторожность и осмотрительность въ выводахъ и заключеніяхъ еще не составляетъ отличительнаго качества многихъ нашихъ историческихъ изслѣдователей! Намъ думается, что отдѣливъ русскія черты въ этой чужеземной повѣсти, объяснивъ ихъ событіями и обстоятельствами русской жизни, г. Бѣляевъ пришелъ бы къ выводамъ не менѣе любопытнымъ, и къ тому же гораздо болѣе вѣрнымъ и для науки пригоднымъ.

Нѣчто еще болѣе странное случилось съ покойнымъ К. Аксаковымъ: въ сказкѣ о Шибаршѣ мы, по крайней мѣрѣ, имѣемъ дѣло съ обрусѣлою сказкою, въ которую внесены народные историческіе мотивы, но въ «Повѣсти о бражникахъ» съ перваго раза бросается въ глаза отсутствіе чисто-народнаго элемента: рѣчь княжна, содержаніе также княжное, не обличающее въ себѣ ни

1) Первый эпизодъ тѣмъ болѣе любопытенъ и важенъ, что о подобномъ происшествіи съ Грознымъ упоминаетъ Коллинсъ въ X главѣ своего сочиненія «О нынѣшнемъ состояніи Россіи».

юты русской, и, несмотря на это, когда въ первый разъ напечатана была повѣсть въ «Русской Бесѣдѣ» (1859, № 6), Аксаконъ счелъ необходимымъ приложить свое объясненіе, гдѣ, утверждая прямо, что эта повѣсть есть произведеніе, *безъ сомнѣнія, народное*, и полагая, что она заслуживаетъ многосторонняго изслѣдованія, онъ пускается въ обширное толкованіе нравственнаго смысла повѣсти, съ цѣлью зацѣпить чистоту народнаго русскаго воззрѣнія на *веселіе жизни* ¹⁾. Нѣтъ сомнѣнія, что подобная апологія не состоялась бы, если бы покойному изслѣдователю было извѣстно, что эта повѣсть не есть произведеніе *народное русское*, а взята нашими книжниками изъ неизвѣстнаго, покажется, книжнаго источника: мы находимъ ее и у Французовъ (Méon, Recueil de fabliaux. T. III, с. 282, t. IV, с. 114), и у Нѣмцевъ (какъ говорилъ намъ одинъ знатокъ исторіи русск. лит.), и у Литовцевъ (Schleicher, Lit. Märch. p. 108). Полагать, что эта повѣсть возникла въ эпоху до-историческую единства племенъ — будетъ вопіюще нелѣпностью, а стало быть нужно предположить литературный источникъ ея, тѣмъ болѣе, что варианты очень близки между собою и прямо свидѣтельствуютъ, что она не была и не могла быть произведеніемъ *народнымъ*.

Всего менѣе можно ожидать литературныхъ заимствованій въ тѣхъ русскихъ народныхъ сказкахъ, которыя заключаютъ въ себѣ какія-нибудь черты народнаго быта, оправдывающіяся другими историческими данными, или туземными свидѣтельствами; нужды нѣтъ, что такія черты и представленія могутъ встрѣтиться и у прочихъ народовъ индо-европейскаго корня: мы говорили уже о причинѣ такого явленія; но и здѣсь, гдѣ готовъ дать полную вѣру народности произведенія, гдѣ такъ обольстительно заманчивы дѣлаются выводы о своемъ — нужно соблюдать край-

1) Замѣчательно, что отъ этой «Повѣсти о бражникахъ» сочли нужнымъ отказать и самые старообрядцы, которые уже никакъ не могутъ похвастаться разборчивостью въ уваженіи къ подобнымъ писаніямъ: въ своемъ стѣ «Окружномъ посланіи» (1862 г.) они отвергаютъ повѣсть, «яко отъ нѣкоего кошуна сочиненную»!

ною, чтобъ не сказать брюзгливую, осторожность въ историческомъ употребленіи памятника: не имѣя вѣрныхъ залоговъ его народнаго происхожденія, благоразумнѣе будетъ, покажеться — вовсе оставить его въ сторонѣ, чѣмъ идти, можетъ-быть, къ обманчивымъ и призрачнымъ заключеніямъ. Въ собраніи г. Аванасьева (т. V № 32, т. VIII, № 20) находятся двѣ редакціи сказки о томъ, какъ одинъ человекъ нанялся служить у богача и прослужилъ у него три года; каждый годъ, вѣсто полнаго жалованья, онъ бралъ только по одной копейкѣ и бросалъ ихъ въ воду, говоря: «если я служилъ вѣрой и правдой — моя копейка не утонетъ». Первые двѣ копейки потонули, но когда онъ бросилъ третью — всѣ три выплыли поверхъ воды. На эти деньги онъ купилъ котенка, который и сталъ источникомъ его богатства и счастья: въ неизвѣстномъ царствѣ водилось множество крысъ и мышей, царь и жители не знали, чѣмъ и какъ отъ нихъ избавиться; заѣзжій купецъ случайно привезъ туда этого котенка, и царь, удостовѣрившись въ его способности уничтожать вредныхъ животныхъ, купилъ его за огромную сумму денегъ, которыя купецъ, по возвращеніи на родину, и отдалъ хозяину котенка. Съ пернаго взгляда очень привлекательнымъ покажется это свидѣтельство русской сказки о существованіи у насъ древняго обычая ордалій, именно *испытанія водою*. Что испытаніе водою дѣйствительно имѣло мѣсто у насъ въ старину, въ этомъ удостовѣряетъ и Русская Правда, и народные обычаи, испытанія вѣдьмъ и колдуній посредствомъ вверженія въ воду. Повидимому, русская сказка предлагаетъ еще одинъ подтвердительный документъ этого юридическаго обычая, и документъ тѣмъ болѣе важный, что онъ взятъ прямо изъ среды народа, удержавшаго въ памяти то, что давно исчезло изъ практической жизни. Но осторожный исследователь откажется воспользоваться свидѣтельствомъ русской сказки о существованіи у насъ юридическаго обычая испытанія водою. Причина очевидна: какъ главный мотивъ сказки, такъ, быть-можетъ, и самая подробность объ испытаніи водою чистоты денегъ — зашли въ народъ путемъ литературнаго заимствованія.

Въ средневѣковой литературѣ сказка объ обогащеніи бѣдняка чрезъ котенка, купленнаго имъ на послѣднія деньги, нашла довольно широкое распространеніе, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до того освоилась, что получила даже мѣстное и историческое примѣненіе: она встрѣчается въ Англіи (извѣстное сказаніе о кошкѣ Ричарда Уайттингтона, род. 1360 г.), въ Германіи, въ Даніи, въ Италіи. Иногда эта сказка рассказываетъ просто исторію обогащенія чрезъ кошку, опуская важную для насъ черту испытанія водою; иногда же (какъ, напримѣръ, въ датской *Sagt*) прямо и почти дословно сходится съ русскою въ этой подробности; но, несмотря на всѣ историческія осложненія и различія и варианты, основной мотивъ ея одинъ и тотъ же. Очевидно, что она могла возникнуть только путемъ литературнаго заимствованія, и дѣйствительно, извѣстный саксонскій библіографъ и историкъ литературы, Грессе, основательно изслѣдовавшій эту сказку¹⁾, находитъ ее и на Востокѣ. Грессе съ большою вѣроятностью предполагаетъ, что она была занесена въ Европу путешественниками въ эпоху крестовыхъ походовъ. Быть-можетъ, при дальнѣйшей разработкѣ литературной исторіи новѣстей и сказокъ, отыщется и восточный первообразъ этой сказки, но и при тѣхъ средствахъ, какими теперь располагаетъ наука, изслѣдователь также вправѣ отказать этой сказкѣ въ русскомъ народномъ происхожденіи и не принимать ее въ число свидѣтельствъ о существованіи у насъ обычая испытанія водою.

Предметомъ, о которомъ мы сейчасъ говоримъ, мы приблизились къ послѣднему пункту нашихъ замѣчаній о значеніи народной сказки, къ *археологіи* ея.

III.

Въ какой степени сказка можетъ служить матеріаломъ при изслѣдованіи быта, народныхъ обычаевъ, правовъ извѣстнаго

1) Статья Грессе помѣщена въ энциклопедическомъ сборникѣ Ромберга: *Die Wissenschaften im 19-ten Jahrhundert*, т. 1-й L. 1856 г. Она носитъ названіе «*Ueber Sagenverwandschaft*»; къ нашему предмету относятся стр. 570—575.

ниоудь историческое основание, или — подобно мифологии сказки — должна быть признана за произведение наивной вѣрующей фантазии? Если не можетъ быть сомнѣнія, что мифологическія происхожденія и взаимныя отношенія боговъ, самые типы ихъ опредѣлялись въ народныхъ понятіяхъ по образу чисто-человѣческихъ дѣйствій и отношеній, по дѣйствительному, а не фиктивному быту, то еще болѣе это должно сказать о сказкѣ, такъ какъ она мифологическое происшествіе низводитъ на землю, заставляетъ его совершаться среди обыкновенныхъ людей, въ обстановкѣ обыкновеннаго человѣческаго быта и его порядковъ! Утверждать, что при этомъ сказка *создала* особую бытовую обстановку, совершенно отличную отъ дѣйствительной — значитъ предполагать въ народной поэзіи сознательное, умышленное творчество, и притомъ творчество, обдуманною прихотью искажающее дѣйствительность. Да и могли ли подобныя произведенія разстроеннаго воображенія встрѣтить любовь и привѣтъ въ народѣ, могли ли они имѣть такое широкое распространеніе, такую прочную долговѣчность? Безъ внутренней истины и правды, составляющихъ необходимое условіе всякаго поэтическаго произведенія, сказка не могла бы существовать, истина же и правда для народа опредѣляются всегда дѣйствительностью, жизненнымъ бытомъ, а не пустыми фантастическими грѣзами и мечтаніями. Итакъ, обстановка сказки идетъ отъ дѣйствительнаго народнаго быта, отъ обстоятельствъ исторіи, хотя и не помѣченной событіями, опредѣленнымъ временемъ и мѣстностью, но тѣмъ не менѣе дѣйствительной и достовѣрной. Въ этомъ смыслѣ сказка становится важнымъ историческимъ памятникомъ народнаго быта, обычаявъ, правовъ и заслуживаетъ серьезнаго вниманія историковъ и изслѣдователей русской древности. Стоитъ только взглянуть на бытовую сторону сказки, чтобы убедиться въ справедливости этой мысли. Развѣ не историкъ создалъ тотъ взглядъ на семейную русскую сказку: строгое повино-

веніе волѣ отца идетъ за нерушимый вѣковѣчный законъ, отступленіе отъ котораго всегда ведетъ за собою наказаніе и несчастіе преступившихъ, и наоборотъ — покорность ей вѣнчается счастьемъ и успѣхомъ; супружеская любовь рисуется довольно слабо, преимущественно со стороны вѣрности жены; напротивъ, любовь матери къ дѣтямъ, сестры къ братьямъ — выступаютъ въ довольно яркихъ чертаніяхъ; отношенія отца къ дѣтямъ не обнаруживаютъ особенной мягкости и очень смутны, еще менѣе она видна въ отношеніяхъ между братьями, наслѣдниками отцовскаго имуществва: сказка представляетъ ихъ постоянно несправедливыми и завистниками относительно младшаго брата. «Цѣлый рядъ сказокъ, скажемъ словами г. Афанасьева, преслѣдуетъ нелюбовь и ненависть мачихи къ падчерицамъ и пасынкамъ и излпшнюю зловредную привязанность ея къ своимъ собственнымъ дѣтямъ. Этотъ типъ мачихи составляетъ одно изъ самыхъ характерныхъ указаній на особенности патріархальнаго быта и вопогѣ оправдывается и древнимъ значеніемъ сиротства, и свадебными плспіями о судьбѣ молодой среди чужой для нея семьи» (Пред. стр. XV).

Любопытны въ сказкахъ сословныя отношенія и занятія: видиѣе другихъ выступаютъ на сцену кушцы, и почти всегда торгующіе за моремъ въ чужихъ краяхъ. Рѣзкаго различія сословій не замѣчается въ русской сказкѣ: всѣ они находятся между собою въ свободныхъ отношеніяхъ.

Слѣды нагушьяго и охотничьяго быта довольно значительны: любимое занятіе *охота*, и притомъ всегда съ *лукомъ*, верженіемъ *стрѣлы*, чья упадетъ далѣе, — рѣшаются и спорныя дѣла, и выборъ невѣсты, и выборъ старѣйшины; въ нѣкоторыхъ сказкахъ занятіе нагуха разсматривается, какъ занятіе низкое, и опредѣляется въ наказаніе.

Много чрезвычайно любопытныхъ и важныхъ археологическихъ подробностей предлагаютъ наши сказки. Вотъ нѣсколько примѣровъ:

- 1) По древне-германскому праву (Grimm Rechtsalth. 455—

61), находящему подтвержденіе въ юридическихъ постановленіяхъ народовъ Востока; грековъ и римлянъ, отецъ новорожденного ребенка имѣлъ право *выбросить* (exponere) его, оставить на произволъ судьбы. Поводомъ къ такому суровому обычаю бывали обыкновенно или физическіе недостатки ребенка, дѣлавшіе его неспособнымъ къ труду воинской жизни, или подозрѣнія въ незаконности его происхожденія, или, наконецъ, недостаточное существованіе его родителей. Славянскія сказки свидѣлствуютъ, что этотъ обычай имѣлъ мѣсто и у Славянъ; но такъ какъ эти племена отличили себя въ исторіи преимущественно иррлымъ характеромъ, то сказка по большей части забываетъ настоящую причину экспозиціи и объясняетъ ее иными побужденіями (Kulda I, 289, Erben, Citanka I, such. Аван. I, № 13, II, № 35), иногда же, впрочемъ, прямо указываетъ на *бѣдность* (Худяк. III, стр. 126), или на подозрѣнія въ незаконности происхожденія (Аван. VI, № 68—66).

2) Между многими родами смертной казни, о которыхъ упоминается въ нашихъ сказкахъ, чаще всего встрѣчается *размычка конями*. Преступника привязывали къ хвосту длиной лошади, или къ нѣсколькимъ лошадямъ и пускали въ открытое поле (Аван. I—II, с. 266; IV, с. 148; VII, с. 24; VIII, 230; Худяк. II, 30—43; III, 6; и мн. др. Сравн. В. С. Карад. пѣсни II, стр. 114, *ibid.* 17—18).

Нельзя думать, что этотъ способъ смертной казни есть плодъ народнаго вымысла: дѣйствительное существованіе его въ средне-вѣковой старинѣ подтверждается свидѣлствами памятниковъ древне-германской литературы (Grimm, Rechtsalh р. 692—3). Сказка возстановляетъ здѣсь забытый фактъ юридической жизни Славянъ.

3) *Выбросить тѣло усопшаго зѣрямъ на съѣденіе* (Аван. ск. VIII, 87), *оставить кости безъ погребенія* (Аван VII, 165; срав. В. Карад. пѣсни т. II, с. 197) по понятіямъ языческой старины было величайшимъ несчастіемъ для души усопшаго: она не находила себѣ покоя до поры, пока не совершено погребеніе

бренныхъ остатковъ и не справлена тризна по нихъ. Съ большею ясностью, чѣмъ въ русскихъ сказкахъ, эти понятія выступаютъ у племенъ греческихъ (Иліада, Антигона Софокла) и нѣмецкихъ (см. Simrock. Der gute Gerhard und die dankbaren Todten. 1856 г.), но нѣтъ причинъ думать, что они были чужды и славянской старинѣ, такъ какъ объ этомъ, кромѣ нѣкоторыхъ чисто-историческихъ свидѣтельствъ, мы имѣемъ довольно ясное свидѣтельство народной сказки.

Этихъ немногихъ примѣровъ, думаемъ, достаточно для убѣжденія, что сказка не пустой вымыселъ, а важный памятникъ народной жизни, драгоценный матеріалъ исторической науки.

IV.

Излагая въ общихъ чертахъ значеніе народной сказки, мы очень мало сказали о самомъ изданіи г. Афанасьева. Возвратимся же къ нему и посмотримъ, на сколько собиратель удовлетворительно выполнилъ задачу изданія. Кому случалось имѣть передъ собою груды рукописныхъ сказокъ, разбирать ихъ, отдѣляя годное отъ негоднаго, приводить въ порядокъ, тому не покажется страннымъ, если мы скажемъ, что это работа трудная и утомительная, требующая и вниманія и умѣнія понимать цѣну и значеніе сказки. Какъ въ области прочихъ произведеній народной поэзіи, такъ и въ сказкѣ, рядомъ съ чистымъ источникомъ народнаго творчества идетъ иногда мутная струя искаженій и порчи, любопытная лишь въ отрицательномъ смыслѣ. Можно и должно не оставлять ее безъ вниманія, но дорожить ею не слѣдуетъ: и въ поэтическомъ, и въ ученомъ отношеніи это хламъ обременительный и скучный для читателя, да едва ли не излишній для изслѣдователя, въ особенности для русскаго изслѣдователя, еще нуждающагося въ самомъ необходимомъ насущномъ. Г. Афанасьевъ исполнилъ эту часть задачи совѣстливо и удовлетворительно: важнѣйшія сказки напечатаны въ цѣльномъ, подлинномъ видѣ, изъ другихъ того же содержанія, но менѣе важ-

правила, то должно вспомнить, что начиная свое издание Г. Аванасьевъ располагалъ, какъ видно, не слишкомъ богатымъ матеріаломъ и спѣшилъ подѣлиться тѣмъ, что у него было; а между тѣмъ запасъ сказокъ умножался, явились новые лучшіе списки, и издатель предпочелъ снова напечатать уже извѣстное только въ лучшемъ видѣ, чѣмъ опустить его вовсе изъ-за того, что оно—хотя и по худшему списку—было напечатано прежде. Разумный изслѣдователь, конечно, скорѣе поблагодаритъ за это издателя, чѣмъ укоритъ его, тѣмъ болѣе, что число такихъ образомъ напечатанныхъ сказокъ не можетъ назваться значительнымъ сравнительно съ объемомъ всего сборника. При новомъ изданіи—мы не сомнѣваемся, что оно потребуется—такой недостатокъ исправить не трудно! За *вѣрность* изданія, за отсутствіе самовольныхъ передѣлокъ и подправокъ—на нашъ взглядъ, можетъ поручиться уже одно то обстоятельство, что даже и тамъ, гдѣ перемена была и желательна и необходима (какъ напримѣръ въ правописаніи, или вѣрнѣе произношеніи нѣкоторыхъ сказокъ, зависѣвшемъ не отъ какихъ-либо лингвистическихъ областныхъ особенностей, а просто отъ физическаго недостатка рассказчика, отъ личнаго коверканья словъ, см. Нар. р. ск., т. IV, № 20), г. Аванасьевъ вполнѣ остался вѣренъ подлиннику. Это скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, но, повторяемъ, такой недостатокъ, который прямо свидѣтельствуетъ о томъ, какъ честно обращался издатель съ памятниками народнаго творчества. Понимая преждевременность систематическаго распредѣленія сказокъ, издатель не держался никакаго особаго порядка при печати и представилъ сказки такъ, какъ онѣ накоплялись въ его рукахъ; но чтобы *облегчить дѣло* будущей систематизаціи, онъ всегда прибавлялъ *указку* сказки и ссылки на нѣкоторые подобныя прочіяхъ выпускахъ. Читателю не систематизировать весь запасъ, но *возможныя* по крайней мѣрѣ *обозрѣть* однимъ разомъ всѣ ва-

ріанты какого-нибудь сказочнаго мотива. А это далеко не послѣднее дѣло при изслѣдованіи. Излпшпмъ намъ показались частые пересказы (въ примѣчаніяхъ) содержанія сказокъ, напечатанныхъ въ текстѣ: примѣчанія имѣютъ цѣлью объясненіе сказки; никто не станетъ читать примѣчаній, не прочтя напередъ самой сказки, для чего же и для кого нужны эти вторичные пересказы, такъ какъ они, не объясняя самаго дѣла, являются только какъ впѣшпня прибавка къ дальнѣйшему аналитическому объясненіямъ!

Что касается самихъ объясненій, то мы уже имѣли случай замѣтить, что г. Афанасьевъ ограничился только изслѣдованіемъ мппоческаго содержанія сказки и очень мало, или почти совершенно не коснулся другихъ ея сторонъ. Это зависѣло, впрочемъ, не отъ особаго исключительнаго взгляда собирателя, или его личной прихоти: гдѣ разработка предмета только начинается, тамъ естественно ограничиться одною какою-нибудь частью, чтобы не растеряться въ разнообразіи. Сверхъ этого, кто же и когда представитъ намъ полное мпологическое, историко-литературное и археологическое изслѣдованіе о сказкѣ? Мы видѣли, что наука о литературной исторіи повѣстей и сказокъ только что начинается, а безъ ея прочныхъ выводовъ кто отважится строить цѣлое зданіе науки о народныхъ сказкахъ? Требовать, чтобы г. Афанасьевъ сверхъ силъ и средствъ — исполнилъ все, значить не понимать развитія науки, которая нигдѣ и никогда не создается въ короткое время и за одинъ разъ. Нельзя, однако же, сказать, чтобы изданіе г. Афанасьева совершенно пренебрегло литературной исторіей сказокъ: въ примѣчаніяхъ предлагаются значительные матеріалы для рѣшенія этого вопроса, варианты чужихъ сказокъ приведены тщательно и еще тщательно исполнена такая работа надъ сказками русскими, напечатанными прежде или въ отдѣльныхъ изданіяхъ, или по разнымъ сборникамъ и журналамъ. Въ послѣднемъ отношеніи можно безъ преувеличенія сказать, что трудъ г. Афанасьева для изслѣдователя вполне замѣняетъ всѣ прочія собранія и освобождаетъ его

отъ предварительныхъ библіографическихъ справокъ по этому предмету.

Но, распространяясь о достоинствахъ изданія г. Аонасьева, выскажемъ откровенно и то, что показалось намъ существеннымъ его недостаткомъ: прежде всего это—крайнее неудобство въ расположеніи примѣчаній послѣднихъ четырехъ выпусковъ: примѣчанія къ нимъ всѣ отнесены къ послѣднему (8-му) выпуску, и притомъ такимъ образомъ, что требуется значительное количество времени при присканіи ихъ; нумера ихъ даже не обозначены въ короткомъ указателѣ въ концѣ книги. Намъ думается, было бы гораздо лучше всѣмъ примѣчаніямъ дать нѣсколько иной порядокъ, и отнести ихъ въ отдѣльную книгу; конечно, трудно разсчитывать на расходъ ея, но за то какъ бы облегчилось пользованіе всѣмъ изданіемъ! Второй, по нашему мнѣнію, еще болѣе важный, недостатокъ заключается въ отсутствіи *алфавитнаго предметнаго указателя* книги: изслѣдователю приходится самому составлять его, а это отнимаетъ очень много времени; къ тому же, кому, какъ не опытному и навывкшему въ этого рода занятіяхъ издателю — кому же было и заняться этимъ. О пользѣ и выполнимости указателя едва ли слѣдуетъ распространяться: кто пользовался превосходными изданіями нѣмецкихъ народныхъ преданій и сказокъ А. Куна, Панцера и др., тотъ согласится въ удобоисполнимости этого дѣла и легко пойметъ, какъ огромное облегченіе для изслѣдователей представляютъ съ толкомъ составленные предметные указатели.

Припомнивъ все, что было сказано нами о важномъ значеніи народной сказки, и мѣрля этою мѣркой изданіе «Русскихъ народныхъ сказокъ» г. Аонасьева, мы не преувеличимъ его достоинствъ, если скажемъ, что между всѣми изданіями послѣдняго времени по предмету народной русской поэзіи, оно занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, представляя богатые и драгоценные матеріалы для науки о русской старинѣ и народности. Такого полнаго и обстоятельнаго изданія до сихъ поръ не существуетъ ни въ одной изъ славянскихъ литературъ.

Отъ души желая, чтобы примѣръ г. Афанасьева вызвалъ другіе труды въ этой, все еще темной и невоздѣланной области, заключаю наши замѣтки пріятнымъ извѣстіемъ, что г. Афанасьевъ готовитъ къ изданію цѣльный большой трудъ по предмету славянской мѣнологіи, а также, въ скоромъ времени, надѣется подарить русскую педагогическую литературу выборомъ сказокъ для дѣтскаго чтенія.

Поминка о С. В. Ешевскомъ.

(Читана въ засѣданіи Археологическаго Общества въ Москвѣ 18 октября 1865 года).

1865.

Почти годъ тому назадъ происходило первое обыкновенное засѣданіе нашего Общества. Каждый изъ присутствовавшихъ въ немъ вынесъ грустное впечатлѣніе, каждый невольно подумалъ, что Общество скоро должно лишиться одного изъ дѣятѣльнѣйшихъ и полезнѣйшихъ членовъ своихъ, что чтеніе С. В. Ешевскаго «о свайныхъ постройкахъ» будетъ первымъ и вмѣстѣ послѣднимъ его чтеніемъ. Вскорѣ затѣмъ онъ слегъ въ постель, съ которой ученики, друзья и товарищи подняли его, чтобы снести на мѣсто вѣчнаго покоя (1865 г. май 30 дня). Всего два-три раза присутствовалъ Ешевскій въ засѣданіяхъ Общества, но не этою мѣркою должно мѣрить его участіе въ нашихъ трудахъ, его доброе нравственное значеніе для Общества; нельзя отрицать этого значенія: оно было — и имѣетъ полное право на добрую память и признаніе съ нашей стороны. Вотъ почему, я думаю, не неуужѣстно будетъ сегодня, при открытіи 2-го года нашей дѣятельности, отдать должную справедливость заслугамъ этого честнаго товарища по наукѣ, во имя которой мы соединяемся здѣсь для общаго труда. Пусть тяжелое чувство нашей утраты хотя отчасти вознаградится доброю и правдивою о немъ поминкою.

въ Ешевскомъ мы встречаемъ рѣдкій примѣръ душевной
энергіи и высокой любви къ наукѣ, уцѣлѣвшихъ среди полнаго
разстройства организма и упадка физическихъ силъ: интересы
знанія и науки были для него всѣмъ, онъ ими жилъ и согрѣвалъ
свою недолговѣчную жизнь, ими воодушевлялся до крайней ми-
нуты послѣдняго разсчета съ жизнью. Среди общественнаго рав-
нодушія къ наукѣ — зачѣмъ скрывать его — такой человѣкъ былъ
не изъ ряда обыкновенныхъ: и теперь мы имѣемъ право говорить
о его почтенной дѣятельности, но не то сказали бы мы, если бы
судьба не обидѣла его физическими силами. Немного ученыхъ
трудовъ оставилъ послѣ себя Ешевскій, но каждый изъ нихъ
въ нѣкоторомъ смыслѣ можетъ быть названъ приобритеніемъ
науки; археологъ и историкъ съ благодарностью помянетъ его
Этнографическое введеніе въ курсъ всеобщей исторіи, его опи-
саніе Пермскихъ древностей, его Аноллинарін Сидонія, его труды
по исторіи русскаго масонства, которое составляло предметъ
его любимѣйшихъ занятій въ послѣдніе годы; но грубо посту-
пить тотъ, кто скажетъ, что въ этомъ немногомъ заключался
весь подвигъ его дѣятельности по наукѣ: при оцѣнкѣ нравствен-
ной дѣятельности человѣка не должно забывать и того, что же-
лалъ онъ сдѣлать и къ чему стремился: когда — за нѣсколько
дней до его кончины — я посѣтилъ его, онъ былъ далекъ отъ
мысли о смерти, съ одушевленіемъ говорилъ о близкой своей по-
ѣздкѣ за границу (какая безсознательная горькая пропія судьбы
звучала въ этихъ словахъ!) и прибавлялъ «жалко, что едва ли
буду въ состояніи окончить ко 2-й книгѣ «Древностей» мою
статью о свайныхъ постройкахъ, но за то критическихъ разбо-
ровъ книгъ я привезу много, множество, множество. Можно ли
будетъ удѣлать мнѣ для нихъ около 3-хъ печатныхъ листовъ?»
Этотъ вопросъ онъ на канунѣ смерти, и послѣ этого можно ли су-
дить о томъ, что онъ написалъ или издавалъ; при-
нимъ въ тишинѣ, что, можетъ-быть,
занималъ друзей и знакомыхъ, что —
въ его слушателяхъ и что —

быть-можетъ — взростетъ добрымъ плодомъ!¹⁾ Въ характерѣ Ешевскаго была еще черта, которую нельзя не цѣнить и не уважать: воспитанный въ одной изъ русскихъ гимназій, онъ вынесъ изъ нея ограниченныя познанія въ классическихъ и ново-европейскихъ языкахъ; въ университетѣ онъ усиленнымъ трудомъ познакомился съ языками латинскимъ, французскимъ и нѣмецкимъ, но греческій и другіе европейскіе языки остались для него закрытою книгою: захваченный болѣзью, онъ не успѣлъ освоить ихъ. Этотъ недостатокъ знанія много затруднялъ его историческія занятія — и какъ нравственно тяготился онъ этимъ, какъ свято бывалъ недоволенъ своими знаніями, какъ искренно и усердно — въ ущербъ своему, и безъ того хилому, здоровью — искалъ большаго, стремился пополнить роковые пробѣлы первоначальнаго обученія... Никогда я не слыхалъ отъ Ешевскаго гордаго самодовольства или похвалыбы знаніями, еще менѣе щегольства тѣмъ, что было ему извѣстно по слухамъ, и въ этомъ отношеніи, какъ ни странно можетъ показаться нѣкоторымъ, я не затрудняюсь назвать его *скромнымъ ученымъ*. Видѣть и сознавать недостаточность своихъ знаній, чувствовать тяжесть этого — признакъ обширнаго ума и искренней, честной любви къ наукѣ. Не часто приходится встрѣчать такую честность — и тѣмъ болѣе должно цѣнить и уважать ее. Общество считало Ешевскаго въ числѣ своихъ членовъ-основателей: вмѣстѣ съ предсѣдателемъ и секретаремъ ему принадлежить честь первыхъ начинаній. Всею душою отдаваясь онъ мысли соединить разрозненные силы для взаимной помощи и труда: когда Общество, еще до своего офи-

1) Поздн. приписка. Укажу здѣсь одинъ интересный фактъ изъ ученой дѣятельности Ешевскаго. Какъ-то разъ, оставаясь одинъ въ его рабочей комнатѣ, случайно я взялъ одну книгу съ полки. Это была пѣснь о Роландѣ въ изданіи Génin: всѣ поля мелко исписаны карандашомъ, каждая страница содержала много исправленій текста. На мой вопросъ о причинѣ, Ешевскій отвѣчалъ, что онъ *проверилъ* и *сличилъ* все изданіе съ лучшими рукописями парижской публичной бібліотеки. Быть-можетъ, найдутся и другіе такіе труды его; невидны и незамѣтны для общей пользы проблудятъ они, но при оцѣнкѣ личности человѣка — непростительно забывать ихъ.

дѣльнаго открытія, собиравлось на квартирѣ у гр. Алексѣя Сергѣевича Уварова Ешевскій уже былъ въ полномъ смыслѣ слова *дѣйствительнымъ ея членомъ*: не проходило ни одного вопроса, къ которому онъ относился бы равнодушно, его серіозное обсужденіе вопросовъ науки, его подчасъ игривая, остроумная бесѣда постоянно оживляла тѣсный кружокъ присутствовавшихъ и увлекала ихъ къ дальнѣйшему продолженію начатаго дѣла. Въ одну изъ такихъ бесѣдъ Ешевскій прочелъ лекцію о швейцарскихъ свайныхъ постройкахъ и новѣйшихъ открытіяхъ по части такъ-называемыхъ кельтскихъ древностей. Въ сжатомъ извлеченіи эта статья напечатана въ 1 т. «Древностей». По открытіи Общества, тотъ же самый предметъ послужилъ ему темою для чтенія въ 1-мъ обыкновенномъ засѣданіи, и многіе изъ васъ, мм. гг., конечно, помнятъ эти интересные сообщенія, подтвержденные объясненіемъ вещественныхъ памятниковъ изъ значительнаго собранія древностей, принадлежавшихъ покойному. Болѣзнь не остановила участія Ешевскаго въ трудахъ Общества: по званію члена редакціонной комиссіи, онъ съ постели посылалъ намъ добрые совѣты и указанія и дѣятельно старался примирить противорѣчія, если они возникали. Можно положительно сказать, что мысль о «Трудахъ» Общества занимала послѣднія минуты его существованія. Мѣсяца за два до его кончины я принесъ ему первые отпечатанные листы; онъ обрадовался имъ, какъ ребенокъ, и просилъ присылать далѣе по мѣрѣ выхода. Несмотря на запрещенія докторовъ читать что-нибудь серіозное, онъ жадно читалъ эти листы, они возвратились потомъ ко мнѣ, и каждая страница носитъ слѣды его внимательнаго осмотра, отмѣтокъ карандашомъ его руки, уже давно повиновавшейся движенію волп. Еще когда Ешевскій былъ на ногахъ, я просилъ у него согласія напечатать въ «Трудахъ» Общества его короткій, сжатый экстрактъ изъ чтеній о швейцарскихъ свайныхъ постройкахъ; онъ многократно согласился на это, но потомъ забылъ; когда же получилъ первый листъ библіографическаго отдѣла и увидѣлъ свое имя, онъ былъ глубоко тронутъ и утѣшенъ этимъ:

«по крайней мѣрѣ, говорилъ онъ, въ 1-й книжкѣ есть и моя капля, ко второй я приготовлю вамъ много мелкихъ статей, къ третьей же обширную статью...» По увѣренію людей, бывшихъ при немъ до самой его кончины, послѣднюю книгою, пробудившею въ немъ гаснувшую силу мысли, былъ только что вышедшій въ свѣтъ *первый выпускъ изданія нашего Общества!*

Такого честнаго дѣятеля лишилась наука, такого преданнаго, усерднаго члена лишилось наше Общество въ лицѣ С. В. Ешевскаго!

Да будетъ же — по сѣрдечному слову народа — *земля ему перомъ!*

Помянувъ добромъ искреннія, усердныя заботы Ешевскаго о нашемъ Обществѣ, я позволю себѣ сдѣлать вамъ, мм. гг., бывшіе сочлены его, одно предложеніе: въ числѣ нѣкоторыхъ бумагъ археологическаго содержанія, оставшихся послѣ Ешевскаго и обязательно доставленныхъ мнѣ однимъ изъ близкихъ покойника, сохранились двѣ записки: одна экстрактъ статьи о свайныхъ постройкахъ, другая — начало обширной статьи о томъ же предметѣ, — статьи, предназначавшейся для «Трудовъ» Общества. Я предлагаю вамъ, мм. гг., соединивъ эти статьи въ одномъ переплетѣ съ печатною біографіей Ешевскаго, внести ихъ въ бібліотеку Общества и поставить это подъ особымъ № въ каталогѣ: пусть память о дѣятельномъ членѣ-основателѣ Общества сохранится въ немъ до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать самое Общество.

Замѣтки о значеніи гончарныхъ знаковъ.

1867.

Замѣтка къ статьѣ гр. К. П. Тышкевича: *О септиковыхъ оттискахъ, найденныхъ въ рѣкѣ Буль у Дроичина* (см. Древн. I. стр. 115).

Въ своей статьѣ гр. К. П. Тышкевичъ упоминаетъ о знакахъ, какіе встрѣчаются на вѣшной сторонѣ дна сосудовъ, находящихся въ дохристіанскихъ, западно-русскихъ, литовскихъ и чешскихъ могилахъ. По приглашенію А. С. Уварова почтенный археологъ доставилъ въ Общество 4 таблицы такихъ знаковъ; помѣщая ихъ здѣсь (табл. I—IV), считаемъ не лишнимъ дать мѣсто и нашей *догадкѣ* о ихъ происхожденіи и значеніи.

Въ своемъ сочиненіи «О курганахъ въ Литвѣ и западной Руси» (В. 1865 г.) гр. К. П. Тышкевичъ высказываетъ предположеніе, что эти оттиски или знаки имѣли какое-то мистическое или символическое значеніе: «на многихъ изъ нихъ находятся оттиски круговъ, въ нѣкоторыхъ крестъ внутри. Кругъ — всегда означалъ вѣчность... въ соединеніи съ крестомъ онъ составлялъ мистическій ключъ. Поэтому подобные оттиски, выдавленные на жертвенныхъ горшкахъ, ставившихся въ могилѣ, могли быть эмблемою ожидаемой въ будущемъ боже благополучной жизни, соединенной съ вѣчностью по ту сторону могилы...» Далѣе, говоря о сходствѣ этихъ западно-русскихъ и литовскихъ керамическихъ знаковъ съ подобными же знаками на разныхъ памятникахъ Чехіи, Польши, Скандинавіи, гр. К. П. выражается еще опредѣленнѣе: «Подобіе оттисковъ на жертвенныхъ горшкахъ въ странахъ, столь отдаленныхъ другъ отъ друга, отнюдь не можетъ быть случайнымъ только знакомъ мѣстныхъ горшечниковъ, какъ и мнѣ это самому казалось до сличенія ихъ; не подлежитъ

сомнѣнію, что это *мнем*, высказывающіе сродство упомянутыхъ народовъ въ ихъ религіозныхъ и нравственныхъ понятіяхъ (см. стр. 62 и 64 1. с.). Такова догадка гр. Тышкевича. Прежде чѣмъ мы позволимъ себѣ противопоставлять ей нашу собственную, считаемъ нужнымъ замѣтить, что знаки на внѣшней сторонѣ дна могильныхъ горшковъ встрѣчаются и во многихъ другихъ мѣстностяхъ: въ Силезіи, Лужицахъ, Помераніи, Пруссіи, Мекленбургѣ, Шлезвигъ-Гольштейнѣ, Баваріи и др. Такое распространеніе ихъ уже само по себѣ заставляетъ предполагать, что они имѣли какое-нибудь значеніе; но какое — это вопросъ, который позволительно считать не вполне разрѣшеннымъ и послѣ догадки гр. К. П. Тышкевича. Остановимся сначала на очевидностяхъ. Эти знаки не могли имѣть значеніе простаго украшенія съ цѣлью сообщить сосуду болѣе изящный видъ: украшенія помѣщаются на видимыхъ частяхъ сосуда, а не на *днѣ* его; украшенія всегда состоятъ изъ непрерывно повторяемыхъ симметрическихъ витковъ, ломаныхъ или прямыхъ линій: симметрія знаковъ есть первое и послѣднее условіе красоты простыхъ глиняныхъ погребальныхъ горшковъ; ничего подобнаго нѣтъ на знакахъ, о которыхъ мы говоримъ: они — не симметрически расположенныя украшенія, а *единичные* знаки. Единственнымъ путемъ къ разрѣшенію вопроса — какъ намъ кажется — можетъ служить сравненіе съ знаками, значеніе которыхъ не подлежитъ сомнѣнію. Изъ такихъ знаковъ мы прежде всего останавливаемся на *рунахъ*. Что славянскія племена имѣли руны, образныя или звуковыя начертанія — это фактъ, засвидѣтельствованный исторіей (напр. глѣтон. Титмаромъ, Ибнъ-Фоцланомъ, мон. Храбромъ и др.): *маголица*, быть-можетъ, стоитъ въ связи съ *чертами* и *рызами*, т. е. рунами; иной вопросъ: откуда взяли Славяне эти письмена, сами ли изобрѣли, или заимствов. извнѣ отъ Нѣмцевъ, — вопросъ, разсмотрѣніе котораго сюда не входитъ; довольно сказать, что у Славянъ, какъ и у Нѣмцевъ, были *руны*. Сравнимъ же теперь наши изображенія, и мы увидимъ поразительное сходство, даже полное тождество нѣкоторыхъ знаковъ съ рунами, какъ

будто остается только *читать ихъ*; но не говоря уже о томъ, что искусство чтенія этого письма Славянъ потеряно, что бывшія доселѣ попытки объяснить его не могутъ внушать довѣрія, — представляется еще другая трудность: только нѣкоторые, весьма немногіе *знаки* горшковъ представляютъ рѣшительное тождество съ рунами, остальные же — большая часть — представляютъ совершенно обратное явленіе; они не только не сходны съ рунами, но по своей склонности къ кругу, *звѣздѣ* и *кресту* рѣшительно противорѣчатъ руническому способу написанія. Такихъ руны, какъ большинство этихъ знаковъ, — нѣтъ, а потому и объяснять ихъ рунами невозможно, но можно и должно сказать, что *нѣкоторые знаки тождественны съ рунами*. Вышеприведенное объясненіе гр. К. П. Тышкевича также едва ли можетъ быть применено ко всей совокупности *церамическихкихъ знаковъ*: если относительно нѣкоторыхъ изъ нихъ можно предположить мифъ или символическое выраженіе религіозныхъ понятій, относящихся до будущей жизни, то большинство знаковъ не покоряется никакому символическому объясненію, даже и въ томъ случаѣ, когда мы допустимъ, что только для насъ утраченъ этотъ мифическій или символическій смыслъ, все же — остается вопросъ о его существованіи вообще, о его *возможности*: племена, ведущія природную, простую жизнь, незнакомыя еще ни съ образованностью, ни съ наукой, ни съ искусствомъ въ собственномъ смыслѣ: — могутъ ли они дойти до отвлеченно-философской мысли о вѣчности и выразить ее въ такомъ неопредѣленномъ знакѣ, какъ кругъ? Сверхъ этого, зачѣмъ эта верховная мысль, этотъ символъ, не встрѣтили болѣе приличнаго мѣста для своего помѣщенія, почему они уступили видное мѣсто беззначительнымъ, нехитрымъ черточкамъ и липли въ открытыя бока сосуда и скромно помѣстились на темное дно его? Чуждыя отвлеченности, мысли народа, не тронутаго образованіемъ, находятъ и выраженіе не въ отвлеченной, а въ чувственной формѣ; потому, если и предположить въ нѣкоторыхъ знакахъ смыслъ, то этотъ смыслъ долженъ быть чувственный, а не отвлеченный; знакъ долженъ выражать

видимое, осязательное подобіе извѣстнаго предмета или форму впечатлѣнія, имѣ произведеннаго на душу человѣка. Въ догадкѣ почтеннаго гр. К. П. Тышкевича намъ кажется истинною та сторона ея, по которой *нѣкоторые* гончарные знаки будутъ видными въѣшнимъ подобіемъ извѣстныхъ представленій и предметовъ, какъ житейскихъ, такъ и неразлучно съ ними связанныхъ — мифологическихъ, напр. лука и стрѣлы, солнца и звѣзды; но выражали ли эти знаки болѣе связную, глубокую символическую мысль примѣнительно къ будущей жизни и погребенію — это подлежитъ сильному сомнѣнію, потому и объяснять предметъ съ этой точки зрѣнія едва ли возможно. Итакъ руны — и вмѣстѣ съ тѣмъ не руны, изображенія нѣкотор. житейскихъ предметовъ и мифол. представленій и вмѣстѣ съ тѣмъ случайные значки, линіи и круги — все это указываетъ, что гончарные знаки не имѣютъ особаго глубокаго, такъ-сказать нарочитаго смысла примѣнительно къ погребенію; не ради ихъ существуетъ и поставляется въ могилу горшокъ, но они существуютъ ради горшка, представляя только добавочную, обходимую часть его: горшки могутъ исполнять свое погребальное назначеніе и безъ этихъ знаковъ, ибо сотни вскрытыхъ могилъ представляли горшки безъ всякихъ подобныхъ знаковъ; сколько извѣстно напр. на центральной русской территоріи до сихъ поръ не встрѣчались сосуды съ такими оттисками. Очевидно, что мы имѣемъ дѣло съ знаками, принадлежащими не погребальному обычаю, а единственно сосудамъ. Какіе же знаки должны были принадлежать горшкамъ, и для какой цѣли, по какой причинѣ? Выше я замѣтилъ, что это не были украшенія, ибо помѣщать украшенія на въѣшной сторонѣ дна, которое, при обыкновенномъ положеніи сосуда, всегда закрыто, — болѣе чѣмъ странно; потому, кажется, эти знаки могли имѣть только единственное значеніе, значеніе *клейма*. И въ теперешнемъ своемъ значеніи клеймо не только обозначаетъ фабриканта, мастера или производителя извѣстной вещи, но и владѣльца, собственника; клеймо — знакъ происхожденія столько же, сколько и знакъ собственности. Въ отдаленнѣйшую эпоху, когда всѣ матеріальныя

семейнаго или родового порода, не играли никакой общественной роли, — естественно, что клеймо обозначало въ одно и то же время и владѣльца, и производителя. Такое значеніе, по моему мнѣнію, имѣютъ и эти гончарныя клейма: они были знаками *домовой* собственности — *haus und hofmarken*, по общеупотребительному нѣмецкому термину. Мы представляемъ здѣсь таблицу (рис. XI 6) изображеній такихъ марокъ, взятыхъ нами какъ изъ документовъ письменныхъ: грамотъ, завѣщаній, гдѣ онѣ замѣняютъ мѣсто подписей, такъ и съ памятниковъ вещественныхъ: зданій, погребальныхъ горшковъ, камней и т. д. № 1—3 изображаютъ марки изъ Шлезвигъ-Гольштейна (нордальбингскія); № 14—17 — марки изъ Тюрингін; № 18—19 — нѣмецкія марки, приведенныя профессоромъ Гомейеромъ въ *Zeitschrift für Deutsche Mythologie*; № 20—29 — марки изъ Помераніи, Мекленбурга, Силезіи; № 30—47 — марки чешскія на зданіяхъ Звикова и малостранскаго моста, и наконецъ, № 48—52 — марки, употреблявшіяся на русской землѣ. Сравнивъ гончарныя знаки съ марками, нельзя не замѣтить ихъ основнаго разительнаго сходства. Нѣкоторые знаки — совершенно тѣ же, другіе нѣсколько различаются, и понятно почему: это различіе времени, народности, различіе матеріала, на которомъ тѣ и другія находятся: шлезвигъ-голштинскія марки взяты съ печатей 16 в. и съ письменныхъ памятн., грамотъ, завѣщаній, другія — взяты со зданій и мебели...

Но сколько бы ни было различій, достаточно, думаю, бросить лишь бѣглый взглядъ, чтобы убѣдиться, что наши гончарныя знаки и германскія марки принадлежатъ къ одному и тому же роду предметовъ. Какъ тѣ, такъ и другія — знаки собственности владѣльца-производителя, символъ его лица или семьи въ древнѣйшихъ временахъ употреблялись и теперь у полудикихъ азіатцевъ, засвидѣтельствованный наукою.

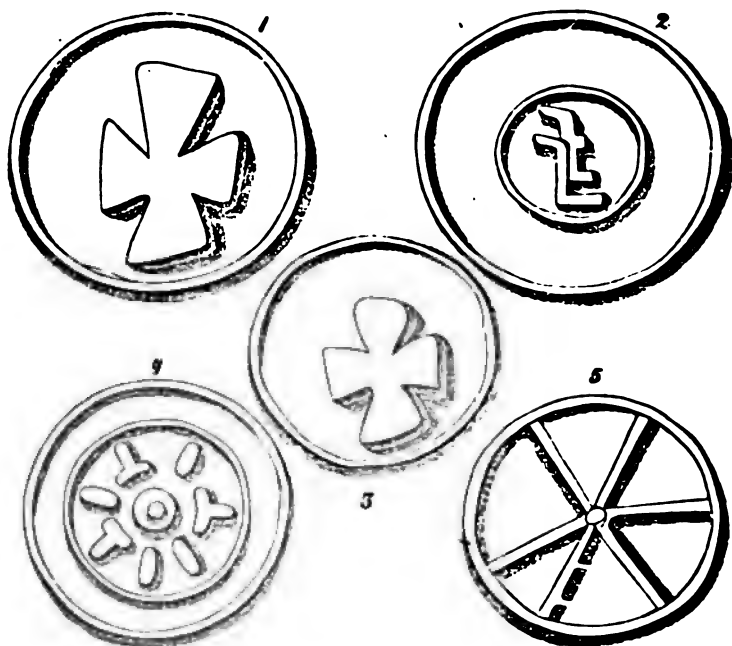
и путешественниками; что онѣ имѣли и имѣютъ мѣсто и въ теперешнемъ быту Славянъ, въ этомъ не трудно убѣдиться, обративъ вниманіе на помѣтки, котор. кладутъ наши крестьяне преимущественно на движимую собственность, скоть или иные неодушевленные предметы. Позволяю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе отъ главнаго предмета и представить нѣсколько соображеній объ археологическомъ значеніи *домовой марки*. Домовая марка есть извѣстный знакъ или фигура, обозначающая юридически — во всеобщее вѣдѣніе — извѣстный предметъ въ его принадлежности и лицу временнаго владѣльца предмета. По большей части марка состоитъ изъ прямыхъ линій, круга, креста, а позднѣе изъ единичныхъ буквъ алфавита. Марки находятся на дверяхъ дома, притолкахъ, оконныхъ рамахъ, старинныхъ шкапахъ, стульяхъ и другихъ домовыхъ вещахъ и утвари, на погребальныхъ камняхъ, на печатяхъ и письменныхъ документахъ вмѣсто подписи, наконецъ на живой движимой собственности, какъ у насъ на домашнемъ скотѣ. Служа съ древнихъ временъ постояннымъ знакомъ собственности, марка имѣетъ важное значеніе не только для сфрагистики, но и въ особенности для юридическихъ древностей, для бытовой старины. Маркою объясняется напр., почему въ древне-германской правѣ присягающій владѣлецъ бралъ за ухо отчуждаемую скотину, при передачѣ недвижимой собственности, въ средн. вѣка передавалась и бирка съ маркою этой собственности. Последний обычай существуетъ и теперь въ нашемъ простонародьи. Маркою помѣчались предметы межевые. При ближайшемъ изслѣдованіи, ихъ встрѣтится не мало и у насъ, и потому марка заслуживаетъ полнаго вниманія русскихъ археологовъ. Возвращаясь къ нашимъ гончарнымъ маркамъ, замѣтимъ прежде всего, что не было ничего естественнѣе, какъ положить марку на такой необходимый въ житейскомъ обиходѣ предметъ, какъ горшокъ. Нѣтъ никакихъ свидѣтельствъ, чтобы погребальные горшки у доисторическихъ народовъ средней и сѣверной Европы были какіе-нибудь особые сосуды, отлпчавшіеся отъ обыкновенныхъ, употребляемыхъ въ житейскомъ быту; напротивъ можно думать,

что и въ могилу они полагались съ цѣлью служить житейскимъ потребностямъ покойника, наравнѣ съ другими предметами, — утварью и вооруженіемъ: на это указываютъ остатки веществъ, въ нихъ открываемыхъ, — напитков и пищи. Если таково дѣйствительно было ихъ назначеніе, то не можетъ быть сомнѣнія, что они ни въ чемъ не отличались отъ обыкновенныхъ хозяйственныхъ горшковъ, и въ такомъ случаѣ явленіе *клейма* представляется намъ совершенно естественнымъ. При бѣдномъ состояніи хозяйства — а другаго для той эпохи и предположить нельзя, — и простые горшки могли быть предметомъ спора, и они составляли собственность, требовавшую юридической помѣты для доказательства своего происхожденія и принадлежности; такъ дѣйствительно должно было быть до поры, пока не возникло гончарное ремесло въ собственномъ смыслѣ, и мастерская фабрикація не замѣнила домашнее, семейное производство. При этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ первоначальныя домовыя марки собственности перешли въ ремесленныя марки производства, въ фабричныя клейма, и удалившись отъ своего первоначальнаго назначенія, конечно, перестали быть юридическимъ знакомъ собственности. Къ какому роду марокъ принадлежать наши гончарныя знаки — я не могу сказать, за неимѣніемъ данныхъ. Немаловажнымъ обстоятельствомъ при рѣшеніи этого вопроса можетъ служить точное описаніе раскопокъ и изслѣдованіе самихъ сосудовъ. Если въ одной и той же могилѣ семейной встрѣчаются сосуды съ одиными и тѣми же марками, если эти сосуды сдѣланы отъ руки, а не на гончарномъ кругѣ, если они или вовсе не обожжены или обожжены не въ гончарной печи, а на открытомъ огнѣ, — тогда можно прямо полагать, что знаки на горшкахъ суть *домовыя марки собственности*: всѣ обстоятельства указываютъ прямо на до-ремесленный періодъ гончарнаго производства, а въ этотъ періодъ — марки не могли имѣть другаго значенія, какъ только знаковъ собственности; если же, напротивъ, въ одной и той же могилѣ — предполагаю могилу не разновременную — встрѣчаются горшки съ *разными* знаками, если эти горшки выдѣланы на гончарномъ кругѣ,

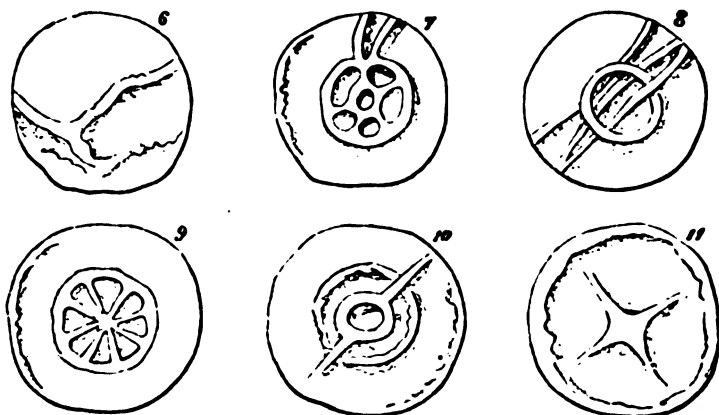
по правиламъ гончарнаго ремесла, обожжены въ гончарной печи, то знаки, на нихъ изображенные, нѣтъ сомнѣнія, принадлежать уже къ фабричнымъ клеймамъ. Къ сожалѣнію, всѣ эти обстоятельства мнѣ неизвѣстны, и относительно гончарныхъ оттисковъ, присланныхъ въ Общ. гр. Тышкевичемъ, я не могу ничего сказать: были ли это знаки собственности или просто фабричныя клейма. Нахожу нужнымъ прибавить еще нѣсколько словъ о самыхъ знакахъ. Я указалъ, что, во 1-хъ, они сходны съ рунами, во 2-хъ, они не всегда случайно придуманы, они имѣютъ какое-нибудь значеніе. Ученый изслѣдователь германскихъ марокъ Михельсенъ («Die Hausmarke» 1853, стр. 11) говоритъ, что тотъ рѣшительно зашелъ бы слишкомъ далеко, кто отважился бы предположить, что домовыя марки произошли именно изъ рунъ, которыя онѣ такъ сильно напоминаютъ, но что, впрочемъ, нельзя отрицать въ нѣкоторыхъ домовыхъ и фамильныхъ клеймахъ присутствія азбучнаго элемента. Зная, что у Славянъ были руны — и можетъ-статься руны звукового характера, что эти руны такъ сходны съ нѣкоторыми горшечными клеймами — нельзя ли предположить, что онѣ обозначали первые звуки имени владѣльца? — предположеніе, правда, глухое, но и его опустить нельзя, потому что оно представляется само собою, хотя доказать его, пока, нельзя, да и доказавъ, нельзя извлечь изъ него пока никакого вывода. Другіе гончарные знаки напоминаютъ нѣкоторые мифическіе символы природы, напр. колесо — мифическое представленіе солнца, молоть — громовой молніи; нѣтъ сомнѣнія, что они произошли изъ мифическаго міросозерцанія, но ставъ условнымъ знакомъ собственности, они, кажется, отрѣшились отъ своего религіознаго основанія, остались лишь *знаками, клеймами* и рассматриваются пародомъ, какъ простыя клейма. Впрочемъ, я объ этомъ предметѣ трудно сказать что-нибудь положительнаго: до-историческая древность еще такъ мало намъ извѣстна!

Представляемъ наше предположеніе о связи керамическихъ знаковъ съ марками собственности въ видѣ *простой догадки*, потому и воздерживаемся до-пору-времени отъ дальнѣйшихъ из-

Дна жертвенныхъ горшковъ найденныхъ въ дохристианскихъ славянскихъ могилахъ хранящихся въ Виленскомъ музѣ древностей.



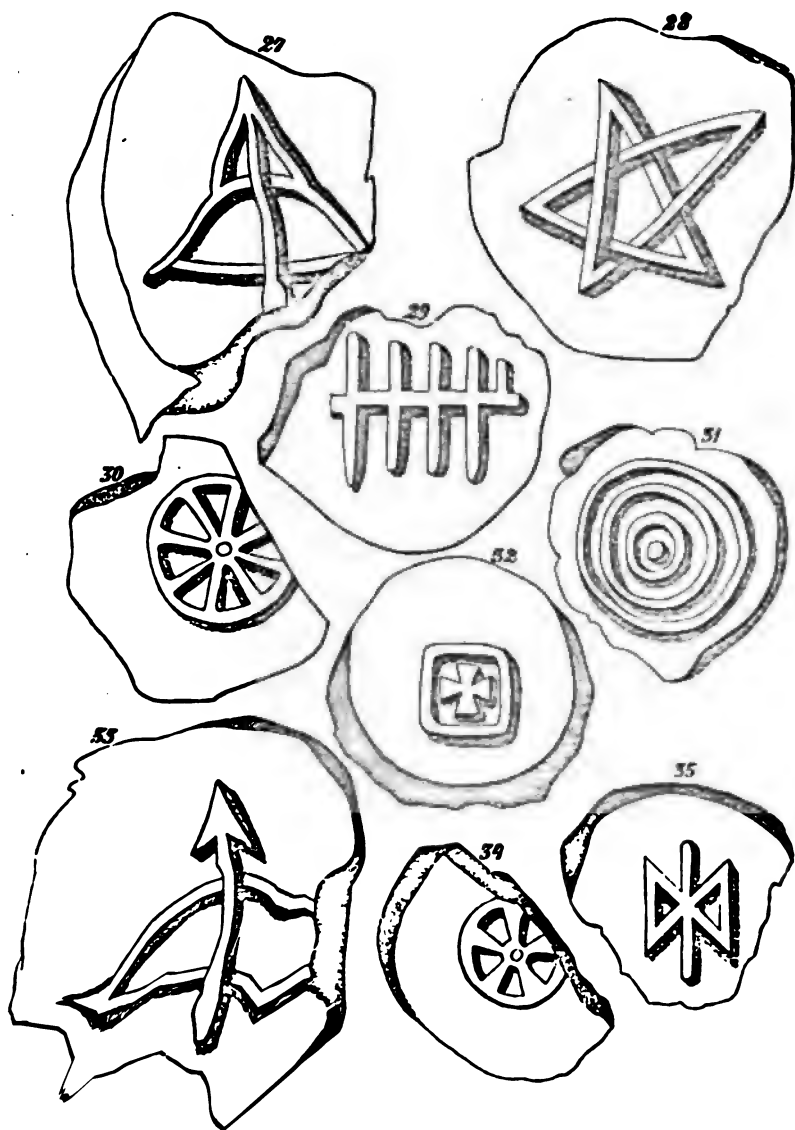
Дна горшковъ хранящихся въ частной коллекціи древностей графа К. Тышкевича въ Логойскѣ.



Дна горшковъ хранящихся въ частной коллекціи древностей
графа К. Тышкевича въ Логойскѣ.



Дна горшковъ хранящихся въ Народномъ Чешскомъ музеѣ
древностей въ Прагѣ.



слѣдованій, равно какъ и отъ разсмотрѣнія ученыхъ мнѣній¹⁾ по этому предмету; быть-можетъ, собравъ болѣе матерьяла, чѣмъ сколько имѣется у насъ подъ руками въ настоящее время, мы найдемъ возможность впослѣдствіи осмотрѣть этотъ предметъ во всемъ его объемѣ.

Славяне и Русь древнѣйшихъ арабскихъ писателей.

1868.

Обозначимъ сначала, слѣдуя хронологическому порядку, имена арабскихъ свидѣтелей и тѣ сочиненія ихъ, гдѣ говорится о землѣ и племенахъ Славянскихъ; ограничиваемся только *древнѣйшими*, до XI-го вѣка и притомъ такими, которые представляютъ извѣстія самостоятельныя²⁾, незаимствованныя изъ сочиненій предшественниковъ, таковы:

Аль Фергани (пис. около 844) составилъ *начала Астрономіи*, въ которыхъ онъ обозрѣваетъ важнѣйшія земли и города 7-ми климатовъ³⁾.

1) Въ особенности заслуживаетъ вниманія мнѣніе Я. Э. Воцеля, высказанное имъ недавно въ сочиненіи: «*Pravěk země české*». Pr. 1886, p. 207 и слѣд. Мы намѣрены возвратиться къ этому предмету при критическомъ отчетѣ о сочиненіи Воцеля, по выходѣ заключительной (второй) его части.

2) Говоримъ *относительно*, съ точки зрѣнія современной науки: быть-можетъ, многое, что въ арабскихъ писателяхъ теперь кажется намъ *оригинальнымъ*, было лишь *копіей* неизвѣстнаго или неуткрытаго доселѣ оригинала, быть-можетъ впослѣдствіи оно и окажется *таковою*. Примѣры въ этомъ отношеніи не рѣдки.

3) Латинскій переводъ мѣста, относящагося къ Славянамъ, перепечатанъ у г. Геденова: «Отрывки изъ Исслѣдованій о Варяжскомъ вопросѣ». Спб. 1862, p. 82—3, при чемъ г. Геденовъ, слѣдуя Френу, позагааетъ, что Аль-Фергани черпалъ свои показанія изъ греческихъ источниковъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что Аль-Фергани былъ знакомъ съ греческой географіей, но заимствовалъ *лишь* онъ изъ нея свои показанія—это вопросъ, и пока не разрѣшится онъ, свидѣтельства его сохраняютъ для насъ цѣну прямого показанія.

Ибнъ-Кхордадъ-Бегъ († 912), написавшій «Книгу дорогъ и странъ»¹⁾.

Массуди († 956) написалъ пространное историко-географическое сочиненіе «Лѣтописи времени» или «Историческія Лѣтописи»; изъ него доселѣ извѣстны только небольшіе отрывки; изъ этого большого труда авторъ сдѣлалъ сокращеніе, озаглавивъ его именемъ «Золотые Луга»²⁾.

Ибнъ-Фоцланъ, посланникъ калифа Муктедвиръ къ Булгарамъ волжскимъ (путешеств. съ 921 г.); отрывокъ изъ его путешествія, именно о Руси, внесенъ въ географическій Словарь Якута³⁾.

1) Отрывки о Славянахъ изданы у Рено: *Géogr. d' Aboulféda. t. I. Intr. p. LVIII—LIX*, и съ объясненіями въ статьѣ И. И. Срезневскаго: «Слѣды давняго знакомства Русскихъ съ южной Азіей» въ *Вѣст. Геогр. Общ.* 1864, № 1, стр. 49—68; мы пользовались новымъ французскимъ переводомъ (им. съ подлин.) Barbier de Meynard'a: *Le livre des routes et des provinces, texte arabe, publié, traduit et annoté. Par. 1865* (отд. оттискъ изъ *Journal asiatique* 1865, № 9).

2) До 1860 г. полагали, что «Лѣтописи временъ» Массуди — утрачены, такъ думалъ Рено (*Géogr. d'Ab. I, p. LXVI*) и др., но въ 1849 нѣмецкій ориент. Кремеръ открылъ, если полагаться на точность его извѣстія, экземпляръ этого сочиненія въ Халебѣ (Алеппо) въ библіотекѣ одного изъ тамошнихъ Медресетовъ (училищъ); Кремеръ напечаталъ объ этомъ краткое извѣщеніе въ *Sitzungsberichte d. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, philosoph.-hist. classe.* 1850, Heft IV и V p., гдѣ представилъ любопытныя, хотя къ сожалѣнію очень краткія, выписки касательно Славянъ и Борджанъ. Сравни также замѣчаніе Рёдигера объ открытіи Кремера въ *Zeitschr. d. deutsch. Morgenland. Gesellsch. t. V p. 429*: Рёдигеръ полагаетъ, что Кремеромъ открытъ только 1-й томъ «Лѣтописей временъ». Выдержки о Славянахъ изъ «Золотыхъ Луговъ» Массуди изданы Оссономъ: *Les peuples du Caucase P. 1828 p. 85 sq.*, потомъ Шармуа: *Relation de Mas'oudy et d'autres auteurs musulmans sur les anciens Slaves* въ *Mém. de l'Acad. de Spb. 1834 t. VI, p. 397—408* (или 1—112 от. от.). Теперь, на иждивеніи парижскаго азіатскаго Общества, выходитъ полное изданіе текста съ французск. переводомъ Barbier de Meynard'a и Pavet de Courteill'a: *Maçoudi-Les Prairies d'Or, P. 1861—1865*, всего вышло до сихъ поръ 4 тома. Мы указываемъ главы и текстъ по этому послѣднему, какъ болѣе доступному, отмѣчая, однако, и разнорѣчія въ другихъ переводахъ.

3) Текстъ съ нѣмецкимъ переводомъ и обстоятельнымъ комментариемъ изданъ Френомъ: *Ibn Fouzlan's und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. Spb. 1823*; потомъ у Оссона: *Les peuples du Caucase. P. 1828, p. 85 sq.* и Расмуссена: *De Orientis Commercio cum Russia... etc. H. 1825, p. 32—45.*

Эль-Истахри ($\frac{1}{2}$ X вѣка) написалъ «Книгу Земель»; хотя онъ, какъ кажется, и пользовался Ибнъ-Фоцланомъ и Мас-суди, но представляетъ свѣдѣнія, до сихъ поръ не замѣченныя у этихъ писателей¹⁾.

Ибнъ-Хаукаль составилъ сочиненіе (около 976 г.): «Книгу дорогъ и земель». Главнымъ источникомъ его былъ трудъ Истахри, но нѣкоторыя показанія его имѣютъ для насъ и самостоятельное значеніе²⁾.

Мы не остановимся на извѣстіяхъ Ахмедъ-Эль-Катэба (пис. въ 889—891 г.), потому что они уже получили вѣрную оцѣнку въ трудѣ г. Геденова³⁾.

Хотя и Шармуа и былъ того мнѣнія, что Арабы IX—X-го вѣка владѣли *точными* историко-этнологическими и географическими свѣдѣніями, какъ ни одинъ изъ современныхъ народовъ⁴⁾, но въ сущности эта *точность* не шла далѣе простаго и случайнаго знакомства съ предметами. Арабы не были людьми науки въ строгомъ смыслѣ этого слова, подобно современнымъ путешественникамъ, которые посѣщаютъ отдаленныя страны и народы съ цѣлью *изслѣдовать* ихъ нравы и обычаи; они не имѣли и не могли имѣть никакихъ точныхъ приемовъ историко-этнографическаго изслѣдованія и наблюденія; но, по своему времени хорошо образованные и начитанные, они въ своихъ странствіяхъ и сношеніяхъ съ невѣдомыми народами, многое видѣли соб-

1) Полный нѣмецкій переводъ съ комментариемъ сдѣланъ Мордтманомъ: Das Buch der Länder von Schech Ebu Ishak el Farsi el Iastachri. Hamb. 1845 г., 4°.

2) Извлеченія изъ него представлены у: Оссона, Les peupl. du Cauc. глава V; Френа (о Руссахъ), *passim*; Шармуа (о Славянахъ), Relation, etc. p. 323—4 или 27—8 отд. отт... Сравни Reinaud, Géogr. d'Aboulféda, I, p. LXXXIV. Замѣтимъ здѣсь, что между древнѣйшими источниками арабскими мы не поставили Ибнъ-Досты, потому что намъ пока неизвѣстны его показанія, кромѣ отрывковъ о погребальныхъ обычаяхъ.

3) Отрывки изъ изслѣдованій о Варяжскомъ вопросѣ. Спб. 1862, стр. 90—93.

4) Charmoü. Sur l'utilité des langues orientales pour l'étude de l'histoire de Russie, Spb. 1834, p. 8.

ственными глазами; еще болѣе слышали отъ людей бывалыхъ или туземцевъ, къ которымъ любознательно обращались за объясненіями; свѣдѣнія, доверчиво собранныя между дѣломъ, они приводили въ систему, заботясь главнымъ образомъ о томъ, чтобы дать имъ характеръ, соотвѣтствующій мусульманской историко-географической наукѣ того времени, привести ихъ въ связь съ тѣмъ, что было замѣчено прежде ихъ, и что они могли читать въ разныхъ сочиненіяхъ; но такое стремленіе къ систематизаціи, замѣчаемое у большинства арабскихъ географическихъ писателей, не развило въ нихъ критическаго такта, и вся арабская географическая наука стоитъ еще на переходѣ отъ древняго баснословнаго взгляда къ точной наукѣ нашего времени: рядомъ съ положительными открытіями и историко-этнографическими фактами она заключаетъ въ себѣ еще цѣлую массу полупопескскихъ воззрѣній и понятій, географическихъ и этнографическихъ неточностей, непримиренныхъ противорѣчій; оттого при разборѣ арабскихъ извѣстій необходимо полагать различіе не только между прямымъ свидѣтельствомъ опыта и темнымъ слухомъ или литературнымъ заимствованіемъ, но и между сообщаемымъ фактомъ и его объясненіемъ, откуда послѣднее ни шло бы, между наблюденіемъ и системою, подъ которую подводится оно. Только взвѣсивъ по возможности всѣ эти обстоятельства, можно приблизительно уяснить себѣ противорѣчія арабскихъ источниковъ, можно понять, почему напр. у однихъ Турки относятся къ племенн Славянъ и считаются самыми красивыми, многочисленными и сильными изъ нихъ, у другихъ — земля Славянъ граничитъ съ Китаемъ, Руссы причисляются то къ Славянамъ, то къ Туркамъ, то наоборотъ — Славяне составляютъ часть Руссовъ или состоятъ изъ турецкихъ племенъ и т. д.

Не принимая на себя подобнаго труда, мы ограничимся разсмотрѣніемъ арабскихъ извѣстій о Руссахъ и Славянахъ.

Что подъ именемъ Сакалибовъ, Саклабовъ, С(и)еклабовъ арабскіе источники разумѣютъ славянскія племена — это не мо-

жетъ подлежать сомнѣнію¹⁾: въ этомъ убѣждаетъ не только тожество имени съ греческими и латинскими названіями Σκλαβηνοί, Σκλαβοί, Sclavi, Slavi, но и арабская топографія славянскихъ земель и многія подробности быта, нравовъ и обычаевъ Саклабовъ, находящія полное подтвержденіе въ современныхъ свидѣтельствахъ—своихъ и чужихъ—о Славянахъ. Всѣ доселѣ извѣстные арабскіе источники говорятъ объ этомъ съ опредѣленностью, которая не допускаетъ сомнѣній²⁾.

Арабы знаютъ имя Славянъ не въ его народной, но въ византійской или латинской формѣ Саклибы, Саклабы; но отсюда неосновательно будетъ заключать, что всѣ свѣдѣнія Арабовъ о Славянахъ идутъ изъ византійскаго источника: греческая форма имени получила общее ученое распространеніе, она была усвоена и арабскими географами точно такъ напр., какъ имъ было усвоено имя озера Мэотійскаго, моря Евксинскаго и пр.: Арабы могли быть лично въ земляхъ Славянъ и въ то же время обозначать ихъ по византійской географической терминологіи, ибо имъ знакомы были сочиненія греческихъ географовъ и историковъ.

1) Попытка Гаммера (Sur les Origines russes, Spb. 1825 p. 59—60) связать Геродотовыхъ Саковъ съ Сакалибами Арабовъ — не получила признанія: она сближала между собою слишкомъ отдаленныя эпохи. Впрочемъ, вопросъ о происхожденіи имени *Славянъ* не можетъ еще называться рѣшеннымъ.

2) Френтъ замѣтилъ (р. LX), что Якутъ смѣшиваетъ Булгаръ волжскихъ съ Славянами, на основаніи этого пок. Сеньковский (въ ст. «Скандинавскія саги» Собр. соч. т. V, стр. 466) полагалъ, что Арабы на Руси называли Славянами однихъ Булгаръ волжскихъ; но не слѣдуетъ забывать: а) общей неточности этнографическихъ понятій и терминологіи Арабовъ, б) что это смѣшеніе есть исключительный случай, стоящій въ видимомъ противорѣчій съ показаніями другихъ Арабовъ, потому и возводитъ его въ общее правило арабской этнографіи не позволяютъ условія строгой науки; да и кромѣ того, неизвѣстнымъ остается, кому принадлежитъ эта этнографическая ошибка: Ибнъ-Фоцлану ли или Якуту: въ послѣднемъ, жившемъ въ 13 вѣкѣ, она понятнѣе; ибо Болгарское царство ждало тогда послѣдней минуты своего существованія. Если трудно иногда бываетъ пользоваться извѣстіями арабскихъ писателей, то вовсе не «потому, что подъ именемъ Славянъ они часто (?) разумѣютъ Булгаръ» (Гедеоновъ. О Варяжскомъ вопросѣ, стр. 37), а по общей запутанности ихъ географическихъ и этнографическихъ понятій, по легковѣрному характеру ихъ показаній.

Аль-Фергани опредѣляетъ пространство седьмого климата съ востока на западъ, отъ сѣверной страны Ягоговъ (*Jagógum*) чрезъ землю Турковъ, сѣверные берега Каспійскаго моря, Евксинское море и озеро Маотійское, потомъ чрезъ страны *Борджаніи* и *Славоніи* и до самаго моря Гесперійскаго (Атлантическій океанъ); остальная населенная полоса земли, лежащая выше этихъ климатовъ, по словамъ Аль-Фергани, также начинается на востокѣ, идетъ чрезъ страны Тагаргаровъ, Турковъ, Татаръ и Алановъ, потомъ чрезъ *Борджанію* и *Славонію* и оканчивается у моря Гесперійскаго¹⁾. *Славонія*. Аль-Фергани лежитъ на западъ отъ Черпаго моря, на одной линіи за *Борджаніей*, а послѣдняя на линіи къ западу за Константинополемъ²⁾. Что же это за страна *Борджанія*? На этомъ вопросѣ считаемъ умѣстнымъ здѣсь остановиться, чтобы не возвращаться къ нему впослѣдствіи: онъ имѣетъ особую важность для изслѣдователя славянской древности. *Борджанія*—страна Борджанъ. Имя этого народа нерѣдко упоминается арабскими писателями, и кажется не можетъ быть сомнѣнія, что подъ *Борджанами* они разумѣли *Болгаръ дунайскихъ*. *Борджанія* это—Мизія: въ первый разъ, сколько извѣстно, упомянулъ о ней Аль-Фергани, за нимъ *Борджанъ* называетъ арабъ Эль-Гарамъ (пис. 845—46), текстъ котораго сохранился въ выпискѣ у Ибнъ-Кхордадь-Бега; изъ Аль-Фергани ясно только, что Борджанія лежала къ западу отъ Константинополя;

1) «Septimum denique clima ob oriente itidem sc. boreali Jagógum regione exoritur protenditur per Turcarum terras, borealia Caspii maris littora, tum per mare Euxinum et paludem Maeotidem, porro per regiones *Burgianae* atque *Sclavoniae*. Terminatur item mari Hesperio».

«Reliquum vero habitat tractus, quod quidem cognovimus ultra haec climata proferri, initium quoque capit ab oriente scil. Jagógum regno. Dehinc Tagárganum, Turcarum, Tatarorum et Alanorum regna secut. Diende per *Burgianam* et *Sclavoniam* tendit, tandemque a mari Hesperia finem habet». Fe'rgani Elem. astr. Amst. 1669 Cap. IX, p. 38—39 apud Гедеоновъ: Отрывки о Варяжск. вопр. p. 82—3.

2) «Clima sextum quoque ab Oriente per Jagóges porrigitur, tum per Cházaros et medium mare Caspium transit, usque Romanorum ditionem et secut Charasānam, Amasiam, Heracleam, Chalcedonem, Constantinopolim, tractus *Burgianae*, et tandem finitur ad mare Hesperium». *ibid.*

Эль-Гарами говоритъ, что Византійская имперія раздѣляется на четырнадцать провинцій, вторая изъ нихъ, Θρακία (Dogaqua, Tagakia), граничитъ на западѣ со *страною Борджанъ*, съ Македоніей — на югѣ и съ Хозарскимъ моремъ (Черное) на сѣверѣ; *третья* провинція, Македонія граничитъ на югѣ съ Сирійскимъ моремъ, на западѣ съ *страною Славянъ*, на сѣверѣ съ *страною Борджанъ*¹⁾. Собирая эти топографическія указанія, нельзя не видѣть, что Борджанія какъ разъ совпадаетъ съ *страною Болгаръ дунайскихъ*, Славонія же или земля Славянъ — съ *страною юго-западныхъ, адриатическихъ Славянъ*; подтверждается это и показаніемъ Массуди: «Борджане, говоритъ онъ, идутъ отъ колѣна Юнапа сына Яфетова, ихъ область велика и обширна, они дѣлаютъ нападенія на *Грековъ* и *Славянъ*, *Хазаръ* и *Турковъ*, но *всего сильнѣе* на *Грековъ*. Отъ Константинополя въ *землю Борджанъ* 15 дней пути, а самая ихъ страна простирается на 20 дней ѣзды — въ длину и 30 — въ ширину. Область Борджанъ окружена колючимъ плетнемъ (dornigen Zaune), въ которомъ находятся отверстія на подобіе оконъ изъ дерева. Деревни не огорожены подобнымъ плетнемъ. Борджане — Маги (язычники) и не имѣютъ священнаго закона (книги); ихъ кони, употребляемые на войнѣ, всегда вольно пасутся на лугахъ и никто не ѣздитъ на нихъ въ не военное время; если поймаютъ человѣка, который

1) Barbier de Meynard. Le livre des routes d'Ibn-Khordad-beh. P. 1865, p. 224—5. Cf. Reinaud. Géographie d'Aboul-féda. t. 2, p. 283 not. На тождество Борджанъ и Болгаръ дунайскихъ первый указалъ Оссонъ: Les peuples du Caucase, p. 260—2; въ пользу этой мысли онъ привелъ и нѣкыя свидѣтельства, почерпнутыя изъ болѣе позднихъ арабскихъ и персидскихъ источниковъ. Эту догадку Оссона раздѣляютъ и другіе ученые: Дефреми: Fragments de géographies et d'historiens arabes et persans inédits, relatifs aux anciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale. P. 1849. (отт. изъ Journal asiatique 1849, № 10), p. 203—4 nota; Рено: Géographie d'Aboulféda t. II, p. 331 not.; Гедесонъ: О Варяжск. вопросѣ, p. 83 et not; Шармуа: Relation de Mas'oudi, p. 386 (или 90 отт.) not. 169 — видитъ здѣсь Бургундовъ, Бургунговъ (Burgiones, Burgundiones), обитавшихъ въ прибалтійскихъ странахъ, но такое мнѣніе основано лишь на одномъ внѣшнемъ созвучіи именъ и противорѣчитъ яснымъ топографическимъ указаніямъ Арабовъ.

сидеть на военную лошадь въ мирное время, его предають смерти. Когда они выходятъ на войну, то строятся въ ряды. Стрѣлки (лукари) образуютъ передовую часть, а за ними находятся женщины и дѣти. Борджане не имѣютъ ни золотыхъ, ни серебряныхъ монетъ, всѣ ихъ покупки и свадьбы платятся коровами и овцами. Когда между ними и Греками существуетъ миръ, то Борджане привозятъ Грекамъ въ Константинополь дѣвицъ и отроковъ¹⁾ изъ рода Славянъ... Далѣе, между ними существуетъ обычай, ежели рабъ какъ-нибудь ошибся или провинился, и его господинъ хочетъ его бить, то рабъ падаетъ предъ нимъ на землю — безъ всякаго съ чьей-либо стороны принужденія, и господинъ бьетъ его сколько душѣ угодно. Ежели же рабъ встанетъ прежде позволенія, онъ терлетъ жизнь. Еще существуетъ между ними обыкновение при наслѣдованіи надѣлять женщинъ богаче, чѣмъ мужчинъ²⁾. Такихъ близкимъ къ Грекамъ народамъ, ведущимъ съ ними, а также съ Славянами и Хозарами, постоянную войну, берущимъ рабовъ на Славянахъ, могли быть только *Болгаре дунайскіе*³⁾. И въ приведенномъ извѣстіи ничто

1) Мѣсто, испорченное въ нѣмецкомъ переводѣ Кремера: Ist Frieden zwischen ihnen und den Griechen, so führen die Bordschan Mädchen und Knaben aus dem Geschlechte der Slawen oder der (?) Griechen nach Constantinopel. Аль-Бекри, передающій то же о Борджанахъ въ сокращеніи, говоритъ яснѣе: «Когда Греки заключаютъ съ ними миръ (Борджанами), они платятъ имъ дань молодыми дѣвицами и отроками, которыхъ они берутъ на Славянахъ. Defrèmerg. Fragments etc. p. 24—5. Нельзя при этомъ не вспомнить словъ Святослава о Болгаріи: «яко есть середѣ въ земли моей: яко ту вся благая сходятся... изъ Руси скоро и воскъ, медъ и челядь».

2) Изъ неизданнаго сочиненія Массуди «Лѣтописи времени» v. Kremer: Bericht über meine wissenschaftl. Thätigkeit in Haleb, въ Sitzungsberichte der philosoph.-hist. Classe d. Wien. Akad. 1850, p. 210—211. Мы нарочно привели это — за вычетомъ извѣстій о погребальныхъ обычаяхъ Борджанъ, это, въ высшей степени замѣчательное, мѣсто Массуди о Болгарахъ: въ археологическомъ отношеніи оно — истинная драгоценность, тѣмъ болѣе, что несомнѣнно принадлежитъ очевидцу. Замѣтимъ также, что это извѣстіе въ сокращеніи перешло въ сочиненіе Аль-Бекри († 1094) «Пути и Области», извлеченіе изъ котораго представилъ Дефреми.

3) Рено, Géog. d' Ab. II, 813 пом. замѣчать, что вѣроятно, ния Борджанъ придавалось также Аварамъ и Сербамъ.

не противорѣчить ихъ полу-славянскому, полу-азіатскому характеру. Причина, почему названіе Болгаріи, Болгаръ выродилось въ Борджанію, Борджанъ, можно полагать съ Дефреми, чисто-лингвистическая: у арабскихъ писателей не рѣдко употребляются имена Borghar, Borghal ви. Bulgar, Bolghar; такое наименованіе представляло удобный поводъ къ дальнѣйшей порчѣ собственнаго имени, и изъ Borghar—явилось Bordjan. Конечно, такую ошибку языка (lapsus linguae) сдѣлать какой-нибудь одинъ писатель, но съ той поры она могла войти въ общее употребленіе тѣмъ легче, что Арабы всегда пользовались трудами своихъ предшественниковъ.

Итакъ, *Борджанія* и *Славонія* (Sclavonia) Аль-Фергани—будутъ страны *нынѣшнихъ юго-западныхъ Славянъ*.

Ибнъ-Кхордадъ-бегъ помѣщаетъ землю Славянъ на западѣ, въ Европѣ, на ряду съ Андалузіей, землею Грековъ и Франковъ. Изъ Германіи¹⁾, по его словамъ, можно идти чрезъ землю Славянъ—въ городъ Хозаръ и къ Каспійскому морю, изъ земли Славянъ вывозятся рабы чрезъ Западное море (? Maghreb), лежащее за страню Славянъ до города Boulyah и не посѣщаемое никакими кораблями и торговыми суднами; мало этого — Ибнъ-Кхордадъ-бегъ знаетъ и *Руссовъ, принадлежащихъ къ племени Славянъ*: «они, говоритъ онъ, ходятъ въ самыя отдаленныя страны отъ земли Славянъ, спускаются съ товарамъ по *рѣкѣ Славянъ* (Волгѣ) въ Каспійское море²⁾. Торгуютъ русскіе и съ Греками, императоръ которыхъ взимаетъ десятину съ ихъ товаровъ, и на Средиземномъ морѣ, гдѣ они продаютъ бобровые и лисьи мѣха, а также и сабли (épées)». Определеннымъ представляется намъ

1) У Барбье де Мейнара, р. 265, вмѣсто Германіи стоитъ Армнія, что имѣетъ весьма затруднительный географическій смыслъ, если не вовсе не имѣетъ никакого смысла; Рено, Géogrph. d'Ad. I, LIX, предполагаетъ ошибку писца и ставитъ Германію: ошибка была тѣмъ возможна, что зависѣла отъ одной черточки.

2) Le livre des routes. ed. Barbier de Meynard's p. 213, 214, 264—5. Cf. Reinaud. Géograph. d'Aboulséda. t. I p. LIX.

только послѣднее показаніе, принадлежность *Руссовъ* къ племени *Славянъ*; что же касается до *земли Славянъ*, то можно думать, что подъ ней Ибнъ-Кхордадъ-бегъ разумѣлъ земли, лежавшія на сѣверо-западъ отъ Чернаго моря и преимущественно *землю русскую*; иначе зачѣмъ было называть *Волгу* — *рѣкою Славянъ*, зачѣмъ было говорить, что *русскіе* кунцы ходятъ въ отдаленнѣйшія страны отъ *земли Славянъ*¹⁾!

Массуди знаетъ о Славянахъ гораздо болѣе, онъ знакомъ съ ними не по однимъ слухамъ: территорія ихъ, по его извѣстію, касается необитаемаго²⁾ сѣвера, граничить съ востокомъ и отсюда распространяется на западъ; Славяно раздѣлены на многія племена и ведутъ войну съ Греками, Франками, Ломбардами (Лонгобардами?) и другими варварскими народами³⁾; Массуди знаетъ и отдѣльныя племена южныхъ и западныхъ Славянъ; онъ приводитъ собственныя имена ихъ, изъ которыхъ нѣкоторые съ перваго взгляда, какъ Лужане, Кышане, Сербы, Хорваты, Моравы, Дулѣбы; другія ждутъ еще объясненія⁴⁾; онъ передаетъ любопытныя, и во многихъ случаяхъ подтверждающія другими источниками, свѣдѣнія о бытѣ и нравахъ Славянъ, однимъ словомъ, онъ коротко знаетъ Славянъ, какъ очс-

1) Вопросъ — откуда идетъ мнѣніе нашего путешественника о генерической принадлежности Руссовъ къ Славянскому племени: самъ ли онъ вывелъ это вѣрное этнографическое заключеніе, или какое изъ русскихъ племенъ — подобно Лонгобардамъ — носило племенное имя Славянъ, — вопросъ этотъ, по крайней мѣрѣ здѣсь, насъ не касается, хотя мы и не можемъ не замѣтить, что эти Руссы — Славяне, по всему вѣроятію, были отъ одного изъ сѣвернорусскихъ племенъ, носившихъ племенное названіе *Словенъ*; сравни объ этомъ прекрасн. замѣчанія г. Геденкова въ III главѣ (стр. 31—43) его сочиненія о Варяжскомъ попросѣ.

2) Этотъ необитаемый сѣверъ, по замѣчанію Рено, Géogr. d'Aboulf. 1, CCXCIV, начинался для Массуди въ недалекомъ разстояніи на сѣверъ отъ Чернаго и Каспійскаго морей.

3) Barbier de Meynard. Maçondi гл. XXIV, Шармуа. Relation etc. гл. XXII, стр. 16 и сл. от. Krieger I. c. p. 208—9.

4) Объясненіемъ этихъ именъ, кромѣ Оссона: Les peuples du Caucase p. 220 sq, въ особенности занимался Шармуа, Relation p. 380 (или 84) et sq. и Леаевель—Géographie du Moyen âge, Br. 1852, t. III—IV p. 47—52.

видецъ, или по крайней мѣрѣ, какъ человекъ, черпавшій свои свѣдѣнія изъ первыхъ рукъ, изъ разсказовъ правдивыхъ очевидцевъ¹⁾. Славянская земля Массуди—это почти вся огромная территория, занятая Славянскими племенами 10 в.; онъ перечисляетъ племена западные и южные, восточные же собираетъ въ одно общее, коллективное, племенное имя *Руси*. Руссы, говоритъ онъ, генерическое названіе для огромнаго числа племенъ; самое многочисленное изъ нихъ называется Лудане (*Loudaaneh, el-Losa'ane*, по Френу=Ладожане, по Лелевелю=Лучане изъ Луцка, на Стирѣ), т. е. русскіе Лужане, Лютичи (cf. Šafařík, *Starož.* 2 vyd. t. 2, p. 150—1); осыдлое жилище Руссовъ Массуди помѣщаетъ на побережьи Русскаго (Чернаго) моря, и всю землю на сѣверъ отъ Чернаго моря и западъ отъ странъ Хозаръ и Булгаръ онъ рассматриваетъ, какъ землю Руссовъ²⁾.

Предположивъ даже, что имя Руссовъ пришло къ восточнымъ Славянскимъ племенамъ съ (скандинавскаго) Сѣвера, нельзя не видѣть, что Массуди все же подъ нимъ понималъ не скандинавскихъ выходцовъ, а русское племя Славянъ; вообще, въ извѣстіяхъ Массуди мы не встрѣтимъ ни одной черты, обличающей норманское происхожденіе Руссовъ: Норманны не могли быть огромнымъ осыдлымъ народомъ, состоящимъ изъ безчисленнаго множества племенъ; морскіе разбои Руссовъ на Каспійскомъ морѣ также не говорятъ ничего въ пользу ихъ норманскаго происхожденія; напротивъ, народъ осыдлый на морскомъ побережьи, могущій выставить около 50 тысячъ воиновъ—необходимо ука-

1) Былъ ли Массуди въ странахъ Славянъ—достоверно сказать нельзя: известно только, что въ этой части своего труда онъ пользовался какими-то (письменными?) источниками; см. начало XXXIV главы (Шармуа XXXII, p. 321 или 10): «Les Slaves descendent de Mar, fils de Japhet... telle est du moins l'opinion la plus généralement soutenue par les hommes qui ont appliqué leur intelligence à l'étude de cette question». Къ извѣстіямъ, почерпнутымъ изъ темнаго VI) о баснословныхъ славянскихъ храмахъ. заръ, на это существуютъ указанія въ его Fozzian's Berichte p. X и Рено, Géogr. t. 1, 1, p. CCXCV et sq.

зываетъ на коренныхъ туземцевъ, которые сами хорошо должны были быть знакомы съ тревогами морскаго набѣдничества¹⁾; Пираты—*маджусъ*, дѣлавшіе набѣгъ на Испанію въ 912 г., которыхъ Массуди принимаетъ за *Руссовъ*, объясняются странностью географическихъ понятій Араба: онъ допускалъ соединеніе Чернаго и Мэотійскихъ морей съ Балтійскимъ посредствомъ канала, и такъ какъ за страню Руссовъ, по его понятіямъ, была уже необитаемая пустыня, то естественно, что, слыша о набѣгѣ на Испанію варваровъ съ Сѣвера чрезъ Океанъ, онъ долженъ былъ прийти къ мысли, что это—Руссы, переправившіеся чрезъ воображаемый каналъ изъ Чернаго моря въ Балтійское²⁾; ко всему этому мы можемъ прибавить еще, что рассказывая о *Руссахъ* въ Хозаріи, Массуди всегда ставитъ ихъ въ ближайшую связь съ *Славянами*: *Руссы* и *Славяне*—его обыкновенное выраженіе: они *вмѣстѣ* обитаютъ въ одномъ концѣ Итіля, имѣютъ *одинакую* религію и обычаи, управляются *однимъ* судьей, находятся *вмѣстѣ* на службѣ у хозарскаго владыки...

О хозарскихъ Славянахъ позволительно думать, что они—не тѣ, (юго-западные) племена, обычаи и зданія которыхъ Массуди описалъ въ XXXIV и XLVI главахъ, что эти Славяне—тѣ же русскія сѣверныя племена, въ отличіе отъ южныхъ (Руссовъ) именовавшіяся племеннымъ именемъ *Словенъ*³⁾; такое заключеніе естественнѣе, чѣмъ мысль, что на службѣ у хозарскаго владыки были Славяне, приходившіе съ юго-запада.

1) Объ осѣдлыхъ поселеніяхъ Руси на Черномъ морѣ много прекрасныхъ замѣчаній высказано г. Гедеоновымъ: «Отрывки о Варяжск. вопросѣ», г. V, р. 53.

2) Reinaud. Géographie d'Aboulfeda t. 1. Intr. p. CCXCVIII—IX. При чемъ онъ прибавляетъ: «si quelques savants se sont autorisés de ce passage pour dire que dans l'opinion de Massoudi les Russes étaient les Normands, ils ont commis une grave erreur». Во франц. переводѣ Barbier de Meynard'a, t. 1, p. 364—5, вмѣсто *Океана*, по которому приплываютъ Пираты (Маджусъ) въ Испанію—стоитъ *Средиземное море*, хотя потомъ, далѣе говорится объ Океанѣ!!

3) Гедеоновъ. Отрывки о Варяжскомъ вопросѣ, глава III: «Словене и Русь».

Итакъ, если ничто не говорить въ пользу *норманскаго* происхожденія массудіевой Руси, если ничто не противорѣчитъ въ ней происхожденію *славянскому*, если многое прямо указываетъ на послѣднее, то мы имѣемъ полное право заключать, что *Саклабы* Массуди были преимущественно племенемъ юго-западныхъ Славянъ, *Русь* же его, несомнѣнно—племя Славянъ восточныхъ, русскіе Славяне X-го вѣка.

Ибнъ-Фоцланъ упоминаетъ о *Славянахъ* опредѣлительно только одинъ разъ¹⁾, что они повинуются хозарскому Хакану и состоятъ въ его власти (Fgāhn, De Chasaris Spb. 1822, p. 18), о *Руси* же — онъ говоритъ подробно. Ибнъ-Фоцланъ далекъ отъ какихъ бы то ни было ученыхъ, этнологическихъ и географическихъ замѣчаній: онъ просто передаетъ то, что онъ видѣлъ и что успѣлъ свѣдать отъ постороннихъ лицъ, Булгаръ и Русскихъ; его извѣстія нужно разбирать совершенно иначе, чѣмъ извѣстія предшествующихъ Арабовъ; критика ихъ можетъ быть только этнографическая, бытовая. Съ этой стороны на Ибнъ-Фоцлана обратилъ вниманіе до сихъ поръ только пок. акад. Кругъ, черновой комментарій котораго изданъ по его смерти А. А. Куникомъ²⁾. Кругъ смотритъ на Ибнъ-Фоцлановыхъ Руссовъ, какъ на племя скандинавское и съ этой точки зрѣнія ищетъ въ скандинавскихъ источникахъ подтвержденія извѣстіямъ Ибнъ-Фоцлана; мы становимся на совершенно иную точку зрѣнія: для Круга, Ибнъ-Фоцлановы Руссы — напередъ рѣшенное скандинавское племя, онъ идетъ отъ *несомнѣнной*, по его мнѣнію, *истины* о скандинавскомъ происхожденіи Руси, онъ приводитъ только *объяснительныя статьи* къ ней, не *доказываетъ*, а *объяс-*

1) На основаніи сказаннаго въ примѣч. на стр. 50-й мы не можемъ отнести къ Славянамъ того, что Ибнъ-Фоцланъ говоритъ о придворныхъ и нѣкоторыхъ частныхъ обычаяхъ Булгаръ—въ извѣстн, занесенномъ въ географію Казвини (у Шармуа Relation etc. p. 340—1 или 44—5 от. от.).

2) Комментарій Френа—сюда неидетъ: онъ почти весь состоитъ изъ этнологической критики текста и только кое-гдѣ касается самаго содержанія. Объясненія Круга напечатаны въ его Forschungen in der älteren Geschichte Russlands. II, Spb. 1848 p. 465—535.

няетъ ее; мы оставляемъ совершенно въ сторонѣ эту *гипотезу* и *ничемъ* затерянный племенной корень Ибнъ-Фоцлановыхъ Руссовъ; готовой мысли о скандинавствѣ Руси мы противопоставляемъ вопросъ объ этнологіи Руссовъ Ибнъ-Фоцлана. Зная уже, что Ибнъ-Кхордадъ-бегъ и Массуди подъ именемъ *Руссовъ* разумѣютъ *племена восточныхъ Славянъ или Славянъ русскихъ*, естественно и здѣсь, прежде всего, остановиться именно на нихъ.

Итакъ, не должно ли въ Руси Ибнъ-Фоцлана видѣть русскихъ Славянъ?

Чтобы отвергнуть или доказать эту мысль, мы пройдемъ извѣстія Ибнъ-Фоцлана, подвергнемъ ихъ усиленной повѣркѣ какъ норманскими, такъ и славянскими источниками, обращая при этомъ особое вниманіе на комментарий Круга; если явный перевѣсъ останется на сторонѣ скандинавскаго характера Иб.-Ф. Русп, то вопросъ, поставленный нами, упадетъ самъ собою; въ случаѣ же равновѣсія, онъ останется въ силѣ и потребуетъ дальнѣйшаго изслѣдованія. Замѣтимъ, что объясненія Круга имѣютъ отрывочный, необработанный характеръ: иногда—это объясненія, прямо идущія къ дѣлу, иногда—это просто личное мнѣніе изслѣдователя, хотя и подкрѣпленное доказательствами, но доказательствами, относящимися не къ извѣстіямъ Ибнъ-Фоцлана, а къ личнымъ же мнѣніямъ комментатора. Само собою разумѣется, что мы опустимъ всѣ личные мнѣнія ученаго и остановимся только на его прямыхъ объясненіяхъ словъ Ибнъ-Фоцлана.

Мы уже прежде имѣли поводъ говорить о характерѣ извѣстій Ибнъ-Фоцлана, при чемъ замѣтили, что къ нимъ нельзя относиться безъ критики: они не чужды вольныхъ и невольныхъ преувеличеній, проптекавшихъ какъ отъ руководителей, которымъ онъ довѣрился, такъ и отъ личнаго взгляда писателя, его стремленія поразсказать своимъ читателямъ необычныя дѣла, какія ему пришлось увидѣть. Здѣсь мы найдемъ полное подтвержденіе нашего взгляда. Обозначимъ предварительно всю сравнительную выгоду норманскаго комментатора предъ славян-

скимъ: послѣдній владѣетъ лишь немногими свидѣтельствами о языческой Руси, первый же имѣетъ множество памятниковъ норманскаго язычества; самый характеръ ихъ, скупой относительно Руси, слишкомъ щедръ для Нормановъ: мы видимъ ихъ среди мелочей домашняго быта, въ живой обстановкѣ нравовъ, одежды, вооруженія и украшеній; все это ближе подходитъ къ характеру извѣстій Ибнъ-Фоцлана, чѣмъ отрывочныя и глухія извѣстія о русскомъ язычествѣ; потому, гдѣ русскій комментаторъ долженъ довольствоваться *приблизительными* указаніями и вѣроятностью, гдѣ онъ можетъ заключать только о томъ, что извѣстное явленіе не *противорѣчитъ* языческому русскому быту и его порядкамъ, тамъ послѣдователь норманскаго происхожденія Руси въ состояніи бываетъ представить аналогіи прямыя, имѣющія на первый взглядъ всю силу убѣдительности; но позволительно ли на нихъ основывать этнологическія рѣшенія — это вопросъ, на который можно отвѣчать отрицательно и потому, что Норманы и Славяне — были племена одного происхожденія, что они и до настоящаго времени имѣютъ много общаго въ правахъ и обычаяхъ, общаго не въ смыслѣ заимствованія, а въ смыслѣ правственнаго наслѣдія, вынесеннаго изъ общей колыбели; эти черты независимаго родства въ X вѣкѣ были, конечно, еще ближе и тождественнѣе; да и самая степень гражданственности Нормановъ X-го вѣка не стояла въ рѣзкомъ противорѣчій съ степенью культуры русскихъ Славянъ; иначе не будетъ понятенъ самый первый фактъ русской исторіи, призваніе чужихъ (скандинавскихъ?) правителей, если только должно принимать это призваніе за *дѣйствительный* историческій фактъ, а самыхъ князей — за *дѣйствительныхъ* Нормановъ.

Изъ всего этого видно, какія, почти непреоборимыя, трудности встрѣчаютъ изслѣдователя въ точномъ опредѣленіи этнологіи Ибнъ-Фоцлановыхъ Руссовъ. Переходимъ къ его извѣстіямъ и замѣтимъ напередъ, что рѣчь идетъ не о простомъ народѣ, но о зажиточныхъ купцахъ, пріѣзжавшихъ торговать въ Булгаръ.

«Я видѣлъ Руссовъ (Русь), какъ они пришли съ своими товарами и расположились на рѣкѣ Итилѣ».

Кругъ (стр. 507) приводитъ изъ сѣверныхъ источниковъ достаточное количество свидѣтельствъ о распространенной торговлѣ древнихъ Скандинавовъ съ другими странами (между прочимъ и съ Русью); остается неяснымъ, какихъ Скандинавовъ видѣлъ Кругъ въ русскихъ купцахъ Ибнъ-Фоцдана: потомковъ ли пришедшихъ когда-то съ 3-мя братьями князьями и уже осѣдлыхъ на Руси, или просто кунцовъ, выѣхавшихъ временно изъ сѣвернаго отечества для торговли съ Русью и Востокомъ? Это вопросъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, вовсе не маловажный. Между тѣмъ, не мало можно также указать и свидѣтельствъ о торговыхъ сношеніяхъ собственно русскихъ племенъ съ Булгарами и Хозарами: для девятаго вѣка мы имѣемъ ясное, положительное извѣстіе Ибнъ-Кхордадъ-бега, который, какъ мы видѣли, не допускаетъ сомнѣній на счетъ народности русскихъ купцовъ, прямо выводя ихъ изъ племени Славянъ. Свидѣтельство Мас-судъ, какъ ни рѣшительно и важно оно, мы опускаемъ, слѣдуя правилу, что спорное — не объясняется спорнымъ; Эль-Истахри прямо говоритъ, что Булгарскіе купцы ходили до Ку-табы (Кулбе = Кіева); стало быть русскіе въ 10 в. стояли въ торговыхъ сношеніяхъ съ Булгарами, и нѣтъ сомнѣнія, что эти сношенія были взаимныя: третья вѣтвь *русскихъ племенъ*, по Эль-Истахри — Утане, мѣсто пребыванія князя ихъ — Арба (по др. Эрза), по сюда не приходитъ никто изъ кунцовъ (булгарскихъ и арабскихъ), а между тѣмъ самъ Истахри говоритъ, что изъ Арбы *вывозятъ черныхъ соболей* и олово, вывозятъ, конечно, русскіе купцы — въ Булгарію и въ Хазарію, два средоточія восточной торговли того времени. Ясно, что эти мѣста посѣщались русскими (изъ племени Славянъ) купцами. «Повѣсть временныхъ лѣтъ» знаетъ путь изъ Руси по Волгѣ въ Болгары и Хвалиссы (Лавр. см. стр. 3); нѣтъ сомнѣнія, что этотъ путь былъ исключительно торговый; Татищевъ въ своей Исторіи¹⁾ сберегъ одно

1) Исторія Россійская... кн. 2-я, М. 1773, стр. 88—89, подъ 1006 годомъ.

древнее извѣстіе, относящееся ко времени Владимира, о привилегіяхъ, данныхъ кіевскимъ княземъ болгарскимъ купцамъ, «дабы они вездѣ и всѣмъ вольно торговали и русскіе купцы со печатями отъ намѣстниковъ въ Болгары съ торгомъ ѣздили безъ опасенія»; не малымъ доказательствомъ *собственно русскихъ* торговыхъ сношеній съ Булгарами и Хозарами служить и топографія восточныхъ кладовъ. «Кіевъ, по словамъ пок. Савельева, велъ непосредственно торговлю съ Булгаромъ и Итилемъ. Ближайшій путь въ Булгаръ лежитъ отсюда по Деснѣ и волокомъ въ Оку. Этотъ путь и разумѣли арабскіе писатели (Истахри, Ибнъ-Хаукаль), говоря, что купцы изъ Булгара доходили до Кіева черезъ мордовскую землю¹⁾. Это подтверждается и кладомъ съ арабскими монетами VIII, IX и X в., вырытымъ въ Тульской губерніи. Но этотъ путь былъ повидному не самый употребительный, крайней мѣрѣ со времени Руссовъ (Савельевъ считалъ Руссовъ вообще и арабскихъ Руссовъ — несомнѣнными Норманами... см. стр. CLXXIX его Мухаммед. Нумизм. и его Ахметъ эль-Катебъ, Ж. М. Н. Пр. 1838 г. № 6). Они обыкновенно спускались изъ Кіева по Днѣпру, такъ, какъ описываетъ Константины Порфирородный, и вступали въ Черное море, обогнувъ Таврическій полуостровъ, гдѣ были уже значительные торговые города..., изъ Азовскаго моря они подымались въ Донъ, и отсюда уже волокомъ втягивались въ Волгу, которая открывала имъ свободный путь и въ Итиль и въ Булгаръ»²⁾. Эти ясныя свидѣтельства дѣлаютъ позволительнымъ въ купцахъ Ибнъ-Фоцлана подозревать и русскихъ (изъ племени Славянъ). Можно ли съ такимъ же правомъ въ нихъ видѣть Скандинавовъ? Естественно, что этотъ вопросъ приводитъ насъ снова къ обстоятельству, оставленному Кругомъ въ тѣни, именно — какихъ Скандинавовъ: туземныхъ или временно пришедшихъ? Кажется, что на счетъ послѣднихъ

1) Замѣтимъ, что въ нѣкоторыхъ спискахъ сочиненія Эль-Истахри — здѣсь нѣтъ и поминъ объ Эрзѣ или Мордовской землѣ... Объ этомъ см. ниже.

2) П. Савельевъ, Мухаммеданская Нумизматика въ отношеніи къ русской исторіи Сиб. 1847. р. CXLIII—IV, р. LXIII—IV.

не можетъ быть и рѣчи: нѣтъ ни одного свидѣтельства, чтобы они назывались Русью, равнымъ образомъ и нѣтъ свидѣтельствъ, чтобы они вели непосредственно торговлю съ Булгарами: скандинавскіе источники знаютъ 3 торговыхъ пути: *западный* (Vesturgveg) — въ Европу западную, *восточный* (Austurgveg) чрезъ выѣшнюю Россію въ Царьградъ, т. е. лѣтописный путь изъ Варягъ въ Греки, и *сѣверный* (Norgveg), обгибавшій Скандинавскій полуостровъ и чрезъ Нордъ-капъ приводившій въ Біармію; о торговлѣ Скандинавовъ по этимъ путямъ свидѣлствуютъ многіе памятники (Савельевъ, Мухам. Нунизм. CLXXX—II); но о *прямыхъ* сношеніяхъ Скандинавовъ съ Булгарами мы до сихъ поръ не встрѣтили никакихъ указаній. Зная торговую предприимчивость Скандинавовъ, можно, конечно, предполагать, что они приходили и въ Булгаръ, изъ Біарміи или изъ Кіевской Руси по вышеуказанному пути; но безъ прямыхъ доказательствъ это предположеніе останется лишь вѣроятностью¹⁾. Савельевъ указываетъ на клады съ арабскими монетами, мѣстонахожденіе которыхъ прямо подтверждаетъ существованіе русской туземной торговли съ Булгарами и Хозарами: въ самомъ дѣлѣ, не временные же, заѣзжіе гостинные люди хоронили въ русской землѣ эти сокровища; потому слѣдуетъ допустить, что это скандинавская Русь осѣдая, дѣти или внуки тѣхъ, которые пришли съ 3-мя князьями; но допустивъ эту мысль, не исчезнетъ ли причина, по которой соединяють имя Руси исключительно съ Норманами: въ 922 году, когда, по всему вѣроятію, Ибнъ-Фодланъ имѣлъ случай увидѣть Русь въ Булгарѣ, этимъ именемъ, даже съ точки зрѣнія норманской теоріи, могли назваться и племена славянскаго происхожденія. Кромѣ того, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что самые защитники норманской Руси ограничиваютъ значеніе норманскаго элемента преимущественно сферой политической жизни.

1) Къ тому же, по самой теоріи норманскаго происхожденія имени Русь — Арабы преимущественно называли Варенгами жителей Скандинавіи, а Русами — Нормановъ, господствовавшихъ въ Россіи. Савельевъ, Мухам. Нунизм. стр. CLXXIX.

Итакъ, съ одной стороны мы видимъ несомнѣнные *факты* торговыхъ сношеній русскихъ Славянъ съ Булгарами, съ другой — *предположенія* о торговлѣ Нормановъ съ тѣмъ же народомъ, и къ тому — имя *Руси* безъ норманскаго знаменованія.

«Никогда я не видѣлъ людей болѣе рослаго тѣлосложенія: они высоки, какъ пальмы, имѣютъ русые (рыжіе) волосы и цвѣтъ лица румяный»¹⁾.

Въ комментарий къ этому мѣсту Кругъ (стр. 509) приводитъ мѣста изъ Иорнанда и другихъ свидѣтелей-лѣтописцевъ о высокомъ ростѣ Нормановъ; но сколько ни нашлось бы подобныхъ указаній, они едва ли могутъ имѣть значеніе отличительнаго этнографическаго признака: о Славянахъ русскихъ никакъ нельзя сказать, чтобы они были небольшого роста²⁾; русый (рыжій?) цвѣтъ волосъ и румяное лицо подали Расмуссену поводъ замѣтить: «*id minime in Sclavos (plebem Russicam), sed egregie in Scandinavos, Vargos quadrat*»³⁾. Напрасно! Еще Прокопій (Lib. III, с. 24) замѣчалъ, что Славяне имѣютъ цвѣтъ лица не *совсѣмъ блѣдный* и волосы *рыжеватые*; далѣе — *русые* волосы (русы кудри) — постоянный идеалъ физической красоты русской народной поэзіи, такъ сказать типъ русскаго лица.

«Они не носятъ ни камзоловъ, ни кафтановъ. У нихъ мужчины носятъ грубую одежду, которую онъ набрасываетъ на одно плечо, такъ что одна рука его остается свободна»⁴⁾.

Ибнъ-Фоцланъ глядитъ съ точки зрѣнія арабской одежды, въ которой постоянно употреблялись и кафтанъ и полукафтаны; дѣйствительно, ни въ памятникахъ письменности, ни въ памятникахъ

1) Слѣдуемъ въ этомъ мѣстѣ опредѣленному переводу Оссома: *ils ont les cheveux blonds et le teint vermeil* (р. 90); Френъ (р. 5) передаетъ: *fleischfarben und roth*; Расмуссенъ (р. 32) *russei rubique* (sc. blonds). Смыслъ, впрочемъ, одинаковъ.

2) Сравненіе съ пальмою — восточная реторическая фигура. Френъ. р. 72.

3) *De Orientis Commercio cum Russia et Scandinavia medio aevo*. Нав. 1825 р. 32.

4) У Расмуссена (р. 32): *neque tunicis Orientis neque chastanis se cingunt* (i. e. *more Orientis haud vestiuntur*); *sed viri pallio se induunt*; Оссома (р. 90): *ni vestes, ni tuniques*.

древне-русской миниатюрной живописи такая одежда не представляется намъ обыкновенною, но что она существовала, въ этомъ убѣждаютъ насъ слова того же Ибнъ-Фоцлана, который рассказываетъ далѣе, какъ русскіе одѣли своего покойника въ куртку и кафтанъ изъ золотой парчи. Обыкновенною древне-русскою одеждою представляется *корзно*, *матль*—плащъ, она набрасывалась на лѣвое плечо и застегивалась запонкою на правомъ, такъ что правая рука оставалась *совершенно свободною* ¹⁾.

«Каждый носить при себѣ топоръ (сѣкиру), ножъ и мечъ. Они всегда ходятъ съ этимъ оружіемъ. Ихъ мечи широки, волнообразно отточены и европейской (французской) работы. На одной сторонѣ ихъ отъ острей до рукоятки изображены деревья, фигуры и другое, тому подобное» ²⁾.

Кругъ въ комментарий (р. 510—11) документально показываетъ, что у Скандинавовъ была въ употребленіи *стыкира*, но здѣсь же приводитъ и нѣкоторыя мѣста русскихъ лѣтописей, свидѣтельствующія, что то же оружіе было военнымъ оружіемъ и русскихъ племенъ, напр.: I новг. стр. 281: секирою и ножемъ, с. 360: съ топорцемъ, с. 361: топоръ; 332: ножъ. Какому народу ни принадлежало бы изобрѣтеніе обоюдоостраго меча, но въ IX—X вѣкахъ это оружіе является *обычнымъ* у русскихъ Славянъ: имъ они такъ отличались отъ южныхъ тюркскихъ кочевниковъ, употреблявшихъ *сабли*, что даже создавалась особая сказка, какъ бы въ прославленіе *меченосныхъ* Полянъ предъ *сабеляными* Хозарами ³⁾; самый терминъ, послѣ основательныхъ разъясненій

1) См. Изображенія такой одежды въ соч. г. Срезневскаго: Древнія изображенія Св. княз. Бориса и Глѣба. Спб. 1863, рисунки съ фресокъ церквей новгородскихъ, см. на стр. 26 и сл. разсужденіе о самой одеждѣ. Замѣтить, что сложная одежда была у Скандинавовъ: *tdttull*, она была *безъ рукавовъ*, какъ теперешній плащъ. Cf. Weinhold. Altnordisches Leben. В. 1856, р. 167—8.

2) Последнее представляется въ текстѣ въ испорченномъ видѣ. Оссонъ, loc. c., слѣдуя Сильвестру де Саси, думаетъ, что здѣсь рѣчь идетъ о *танжуровкѣ* (!) Русскихъ; Расмуссенъ (р. 33, not.) seq. haud intelligo. Auctor loquitur de ornamentis vaginalium gladiatorum. Я перевелъ по Френу. I. с. р. 77—8.

3) Хозары заставляютъ Полянъ платить имъ дань, они «сдумавше» даютъ *отъ дала мечъ*; Хозары принесли мечи и показали своему князю. «Рѣша же

г. Срезневскаго ¹⁾, не можетъ считаться заимствованнымъ отъ Нормановъ. Широкіе, волнообразные мечи западной (французской = ефранджие?) работы, по указаніямъ Круга, въ Скандинавіи считались *редкостью* и высоко цѣнились; дѣйствительно — въ сѣверныхъ могилахъ, представившихъ огромное количество мечей, *волнообразные* попадаются въ небольшомъ количествѣ ²⁾; видно — это оружіе не было обыкновеннымъ оружіемъ народа, а только нѣкоторыхъ, знатныхъ и богатыхъ; могли его имѣть и русскіе богатые купцы, чрезъ землю которыхъ шелъ торговый путь изъ «Варягъ въ Греки». Извѣстіе о фигурахъ, изображенныхъ на мечахъ, сколько знаемъ, не встрѣчаетъ подтвержденія ни въ скандинавскихъ, ни въ русскихъ источникахъ, и если правильно чтеніе и объясненіе Френа, мы приобретаемъ здѣсь новый археологическій фактъ X-го в., къ кому бы ни относился онъ: къ Норманамъ или русскимъ Славянамъ.

Женщины носятъ на груди небольшую коробочку изъ жѣлаза, мѣди, серебра или золота, смотря по состоянію и обстоятельствамъ своего мужа; къ коробочкѣ прикрѣплено кольцо, на которомъ виситъ ножъ также на груди. На шеѣ женщины носятъ золотыя и серебряныя цѣпи; именно, если мужъ имѣетъ состояніе въ десять тысячъ диргемъ, онъ заказываетъ женѣ своей цѣпь, если въ — двадцать, то она получаетъ двѣ цѣпи, и такъ жена его получаетъ по цѣпи по мѣрѣ того, какъ состояніе его увеличивается десятию тысячъ диргемъ, потому часто русская

старцы Козарстін: недобра дань, княже! Мы ся донскахомъ оружіе одиною стороною, рекше *саблалми*, а сихъ оружіе обоюдо остро, рекше *мечи*; си имуть имати дань на насъ и на нѣхъ странахъ. Се же сбытсья все..в. Полн. Соб. рус. лѣт. I, стр. 7.

1) Мысли объ Исторіи русскаго языка. Спб. 1850, стр. 145—6.

2) Если принять за норму такого меча тотъ, который находится въ дрезденскомъ собраніи (изображенъ у Lerkowski'ego, Bron wiejska, Кг. 1857, tab. III, № 22) и представляетъ т.к. наз. *мечъ пламенный*, то въ сѣверныхъ могилахъ не отыщется ничего подобнаго; волнообразная линія сѣверныхъ бронзовыхъ мечей не рѣзка (см. Atlas de l'Archéologie du Nord, Сор. 1857, tab. II—III), въ *железномъ* же вовсе не *существуетъ*: они имѣютъ лезвіе прямое (см. Ворсо, Сѣверныя Древности, Спб. 1861, стр. 79, 119. 168—9).

женщина носить на шеѣ цѣлое множество цѣпей. Самое роскошное украшеніе женщинъ — бусы зеленого стекла ¹⁾, подобныя тѣмъ, какія находятся на корабляхъ ²⁾. Они слишкомъ гоняются за ними, платятъ за каждую бусину по диргеми и составляютъ изъ нихъ ожерелье своимъ женамъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что коробочка, о которой говоритъ И. Ф., была женскимъ украшеніемъ: Расмуссенъ замѣчаетъ при этомъ (р. 33, not.): «*harum capsularum multae: aureae, deauratae, argenteae, argentatae et aeneae in Museis nostris servantur*»; онѣ разной формы: овальны, круглы, съ отверстіями и при нихъ когда-то (olim) висѣло кольцо. Положимъ, что дѣйствительно такія коробочки были въ употребленіи у норманскихъ женщинъ, спрашивается — однѣ ли онѣ ихъ носили, и исключаетъ ли это такія же украшенія женъ богатыхъ русскихъ купцовъ? При отсутствіи положительныхъ свѣдѣній, какъ, откуда и какими путями распространялись по Европѣ металлическія украшенія, нельзя сказать ничего достовѣрнаго объ этихъ предметахъ роскоши: были ли они туземнаго, европейскаго производства, или привозились изъ-внѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и ограничивать ихъ употребленіе Скандинавіей: подобныя украшенія были распространены по Европѣ и находятся нерѣдко въ земляхъ Славянъ: такъ въ одной, по мнѣнію Воцеля чешской, могилѣ ³⁾, принадлежащей уже къ желѣзному вѣку культуры и потому съ вѣроятностью усвоиваемой Славянамъ, найдены были двѣ бляхи, которыя первоначально составляли одну коробочку, она украшена выбитымъ изображеніемъ четвероногого животнаго, внизу имѣла четыре отверстія,

1) По другому списку: зеленныя бусы или кораллы изъ глины.

2) Расмуссенъ понимаетъ это мѣсто такъ: *haud omnes promiscue uniones (бусы) volunt, sed quales e Persia per mare Caspium exportatos Arabs noster in navibus per Volgam navigantibus ipse vidit.* р. 34 п. Френъ р. 90 not. тоже держался вначалѣ этого мнѣнія, но потомъ, подкрѣпленный Сильвестромъ де Сасъ — онъ полагаетъ, что здѣсь разумѣются *восточные корабли, украшенные (на задней части) бусами*, которыя, по мнѣнію моряковъ, предохраняютъ отъ бури.

3) Въ деревнѣ Желенки (Schelenken).

и въ срединныхъ изъ нихъ еще уцѣлѣли остатки серебряной проволоки; на нихъ, конечно, висѣлъ какой-то предметъ, б. м. ножъ, черенокъ котораго найденъ въ могилѣ пониже ладунки. Воцелъ, подробно описавшій находку¹⁾, не находитъ для нея другаго объясненія, какъ извѣстіе о грудной ладункѣ русскихъ женщинъ Ибнъ-Фоцлана. Сюда мы не задумываемся поставить и чудско-русскіе *сустуи*, о которыхъ упоминаетъ «Повѣсть временныхъ лѣтъ» въ преданіи о мести Ольги, какъ Древляне сидѣли «въ великихъ *сустулахъ* гордящеся». Слово уцѣлѣло донинѣ въ сѣверо-восточной полосѣ Россіи для обозначенія груднаго металлическаго украшенія, бляхи, снизу которой спускаются цѣпи; нѣкоторые древніе *сустуи* были найдены въ пермской и другихъ мѣстностяхъ Руси; они, судя по изображеніямъ²⁾, совершенно подходятъ къ ладункѣ Ибнъ-Фоцлановыхъ женщинъ... Не была ли богатая и обильная металлами Біармія главной производительницей ихъ, не отсюда ли эти украшения шли и къ русскимъ Славянамъ и къ Скандинавамъ? *Цѣпи*, которыя носили женщины на шеѣ, также не могутъ служить доказательствомъ норманскаго происхожденія Русскихъ Ибнъ-Фоцлана: Кругъ приводитъ только мѣсто изъ Инглинга-Саги, гдѣ одной женщинѣ даютъ, какъ Mogen-gabe — три помѣстья и одну золотую цѣпь; въ могилкахъ Славянскихъ земель цѣпи находятъ не рѣдко: онѣ были найдены въ той же чешской могилѣ и въ нѣкоторыхъ русскихъ³⁾; кромѣ того, кажется, что Ибнъ-Фоцланъ *цѣпями* могъ назвать и *витыя шейныя трионы* (Оссонъ передаетъ это мѣсто арабскаго путешественника словомъ *collier*), которыя были довольно распространеннымъ украшеніемъ и у насъ и на западѣ Европы. *Зеленыя бусы*, по

1) Archäologische Parallelen (aus d. Sitzungsber. d. wien. Akademie 1853 т. XI), I, 1854, p. 38—46, особ. 41—2.

2) См. Ешевскій. Замѣтка о Пермскихъ древностяхъ, въ Пермскомъ Сборникѣ, т. I, М. 1859, рисунки № 1, 23; превосходный *сустуи* изъ серебра найденъ въ Лихвенскомъ уѣздѣ (Калужск. губ.), снимокъ и описаніе его во Временникѣ Общ. истор. и древностей, кн. V-ая, смѣсь, стр. 37.

3) Wosel, Archäol. Parall. I, p. 40. Ешевскій, l. c. Гр. К. Тышкевичъ. О курганахъ въ Литвѣ и западной Руси. В. 1865, стр. 40—2.

свидѣтельству Фина Магнусена и Расмуссена (р. 34, not.), очень цѣнились въ Скандинавіи, онѣ могли высоко цѣниться и на Руси, какъ товаръ чужеземный, привозимый съ Востока на корабляхъ. Такія бусы были находимы гр. К. П. Тышкевичемъ въ могилѣхъ западной Руси ¹⁾, встрѣтились онѣ и въ другихъ мѣстахъ, напр. въ извѣстномъ Перепетовомъ курганѣ Кіевской губерніи ²⁾.

Извѣстіе Ибнъ-Фоцлапа, что русскіе купцы платили арабскою монетою, должно объяснить тѣмъ, что она была единственнымъ представителемъ монетной цѣнности на Руси того времени.

«Русь—самый нечистоплотный народъ, какой только созданъ Богомъ: они не очищаются по совершеніи естественныхъ нуждъ, не моются послѣ оскверненія ночнаго (R. post pollutionem v. coitum), точно дикіе ослы. Они приходятъ изъ своей страны, становятъ на якорь свои корабли въ Итилѣ, большой рѣкѣ, и на берегу ея строятъ большіе деревянные дома (баракы). Въ такомъ помѣщеніи живетъ ихъ десять, двадцать, болѣе или менѣе, человекъ. Каждый изъ нихъ имѣетъ свою лавку для отдохновенія (постель), на которой сидятъ онъ и его красавицы-рабыни, назначенныя къ продажѣ; иногда какой-нибудь изъ нихъ забавляется съ рабынею, а товарищъ смотритъ; иногда и многіе изъ нихъ находятся въ такомъ положеніи предъ глазами другихъ. Случается, что какой-нибудь купецъ, желая купить рабыню, входитъ къ нимъ въ домъ и застаётъ ее въ сладострастныхъ объятіяхъ господина, который не прекращаетъ этого занятія, пока не удовлетворитъ своей похоти. Каждый день постоянно моютъ они лицо и голову самую грязною водою, какую только можно найти, именно: каждое утро приходитъ служанка, приноситъ большую лохань съ водою и ставитъ ее предъ своимъ господиномъ. Онъ моетъ въ ней руки и лицо, также волосы, чешетъ ихъ гребнемъ въ лохань, потомъ сморкается, плюетъ въ нее и не выплывы-

1) О курганахъ въ Литвѣ и западной Руси, стр. 30 и 36—7.

2) Древности издан. Кіевск. ирем. Комисіей, К. 1848, таб. IX. N 1—2.

васть нечистоты вонъ, а въ ту же воду¹⁾. Когда онъ окончитъ что слѣдуетъ, служанка переноситъ тотъ же самый сосудъ къ его сосѣду, и онъ дѣлаетъ то же. Такъ, поочередно, отъ одного къ другому, обноситъ она лохань, и каждый туда сморкается, плюетъ, моетъ лицо и волосы. Какъ скоро ихъ корабли стали на якорь на стоянку, каждый изъ нихъ идетъ въ городъ, имѣя при себѣ хлѣбъ, мясо, лукъ (чеснокъ), молоко и крѣпкій напитокъ (медъ), отправляется къ высокопоставленному чурбану, который имѣетъ точно человѣчье лицо и окруженъ небольшими изваяніями, за которыми поставлены снова высокіе колья (частоколъ). Онъ подходитъ къ большому деревянному изображенію, бросается предъ нимъ на землю и говоритъ: «Владыка мой, я пришелъ издалика, привезъ столько-то рабынь съ собою, столько-то соболинныхъ шкуръ», и пересчитавъ такимъ образомъ всѣ свои привезенные товары, онъ продолжаетъ: «тебѣ принесъ я этотъ подарокъ», потомъ кладетъ принесенное предъ деревяннымъ идоломъ и говоритъ: «я прошу тебя, пошли мнѣ купца, богатаго чистыми золотыми и серебряными деньгами, который купилъ бы у меня все это и не перечилъ никакому моему требованію». Сказавъ это, онъ уходитъ прочь. Если его торговля идетъ плохо, и его пребываніе тамъ слишкомъ затягивается, онъ приходитъ снова, приноситъ второй и потомъ третій подарокъ. И если послѣ того, онъ все-таки не достигаетъ того, чего желалъ, онъ приноситъ одному изъ небольшихъ идоловъ подарокъ и проситъ его о помощи, говоря: «это нашего бога — жоны и дочери», и такъ переходитъ онъ отъ одного идола къ другому, прося ихъ о заступничествѣ и въ благоговѣніи преклоняясь предъ ними. Часто случается, что его торговля потомъ идетъ хорошо, и онъ продаетъ весь свой товаръ, онъ говоритъ: «мой Владыка исполнилъ мое желаніе, теперь мой долгъ его возблагодарить»; затѣмъ, онъ убиваетъ извѣстное число рогатаго скота и овецъ, раздаетъ одну часть мяса

1) Оссеонъ переводитъ послѣднюю фразу: «il s'y mouche, il y crache, enfin il jette toutes ses ordures dans cette eau», p. 92.

бѣднымъ, остальное приносить большому идолу и стоящимъ вокругъ него малымъ, вѣшаетъ головы овецъ и быковъ на колья, вбитые въ землѣ позади небольшихъ идоловъ. Ночью приходятъ собаки и пожираютъ мясо, тогда онъ говоритъ: «мой Владыка благосклоненъ ко мнѣ, онъ принялъ (сожралъ) мою жертву».

Съ нѣкоторымъ изумленіемъ останавливается Я. Гриммъ¹⁾ на чертѣ нечистоплотности и сладострастія русскихъ купцовъ, онъ находитъ эти качества совершенно несогласными съ порядками древне-сѣвернаго и вообще древне-нѣмецкаго быта; дѣйствительно, не только древне-сѣверному быту, но и быту всякаго народа противорѣчатъ эти извѣстія; ибо трудно подумать, чтобы какой человѣкъ сталъ умываться помоями другого, имѣя подъ рукою чистую воду (въ Волгѣ)! Ибнъ-Фоцланъ недоумѣлъ и преувеличилъ видѣнное; преувеличеніе естественно вытекало изъ пресловутой чистоплотности Арабовъ, получившей значеніе религіознаго предписанія; не находя у русскихъ тѣхъ постоянныхъ омовеній и оцищеній, которыя соблюдаются право-вѣрными мусульманами, путешественникъ съ отвращеніемъ взглянулъ на простое, и до сихъ поръ вездѣ на Руси употребительное, обыкновеніе умываться изъ одной посуды, перемѣняя лишь воду; ему показалось, что каждый моется помоями другого... Могло такое преувеличеніе произойти и отъ неточнаго разсказа руководителя: Ибнъ-Фоцланъ слышалъ, что русскіе купцы поутру умываются поочередно изъ *одной* лохани, и его воображеніе дорисовало остальное, когда онъ взялся за писчую трость, чтобы передать своимъ чистоплотнымъ соотечественникамъ видѣнное. То же должно сказать и о сладострастіи русскихъ: частный случай могъ дать поводъ къ картинѣ, краски же для нея представила арабская противоположность. Отстранивъ преувеличенное, мы въ этой части разсказа получимъ правильное наблюденіе, что русскіе купцы въ Булгарѣ имѣли свои домашнія обыкновенія, со-держали себя *по-своему*, т. е. *не по арабски*, и пользовались тѣми

1) Kleinere Schriften, II p. 294.

правами, какія предлагало рабство, для удовлетворенія своихъ естественныхъ потребностей. Очевидно, такое извѣстiе не имѣетъ рѣшительно никакой этнографической цѣны: въ равной мѣрѣ оно идетъ и къ Славянамъ, и къ Скандинавамъ, и ко всякому другому народу.

Торговля требуетъ внимательнаго осмотра. Прежде всего возникаетъ вопросъ: откуда приходила торгующая Русь. Изъ словъ Ибнъ-Фоцлана видно, что она приходила въ Булгаръ изъ своей земли путемъ рѣчнымъ и оттуда привозила свои товары: его купцы — *исключительно купцы* по роду занятiй, они *исключительно ради торговли* приходятъ въ Булгаръ изъ своей страны и привозятъ *оттуда же* свой товаръ, они просятъ своихъ боговъ только объ *успѣшной распродажѣ* товара и ни о чемъ болѣе...; ни одна черта не указываетъ въ нихъ воиновъ - разбойниковъ, которые, случайно захвативъ добычу, продавали ее въ Булгарѣ; они ведутъ *постоянную* торговлю, потому имѣютъ опредѣленное мѣстопребыванiе въ Булгарѣ (сравни выше, свидѣт. Массуди, стр. 012), опредѣленное мѣсто святилища; случайные удалыцы не стали бы заводить его. И какимъ путемъ пришли бы Норманы изъ своего отечества въ Булгаръ? Городъ лежалъ внѣ знакомаго имъ сѣвернаго и восточнаго путей, они могли проникнуть сюда или изъ Біармiи, или изъ Кіева чрезъ Черное и Азовское моря, Дономъ и волокомъ въ Волгу; но послѣднее крайне невѣроятно, а Біармiя сама предлагала выгодный торговый рынокъ; допустить среднiй путь, чрезъ Ладожское, Онежское и Бѣлоозеро Шексною въ Волгу, мы не можемъ по совершенному отсутствiю всякихъ указанiй. Въ такомъ положенiи, какъ были русскiе купцы Ибнъ-Фоцлана, могли быть только или природные русскiе Славяне, или Норманы переселенцы, избравшіе русскую землю своимъ вторымъ отечествомъ; и соображая всѣ обстоятельства разсказа Ибнъ-Фоцлана, нельзя не прійти къ мысли, что это были — первые, т. е. русскiе Славяне. Въ этомъ убѣждаетъ насъ какое-то постоянство торговыхъ связей купцовъ съ Булгаромъ, ясно чувствуемое изъ разсказа Ибнъ-Фоцлана: торговля соболями пред-

полагаетъ развитіе туземной промышленности¹⁾, которую трудно допустить для недавнихъ колонистовъ, пришедшихъ притомъ съ военно-административными цѣлями; торговля рабами у русскихъ Славянъ находитъ подтвержденіе въ словахъ Святослава, что изъ Руси идетъ воскъ, медъ и челядь (Пов. вр. лѣтъ, подъ 6477 годомъ).

Ошибаются тѣ изслѣдователи, которые думаютъ, что язычество русскихъ Славянъ не доросло до обычая придавать видимую форму образамъ боговъ, что истуканы, поставленные въ Кіевѣ Владиміромъ, были произведеніемъ его личныхъ соображеній, его желанія установить общественное богослуженіе: намъ извѣстно, что кумиры — *dii manifacti* по выраженію Титмара, стояли и въ другихъ мѣстностяхъ русской земли, что ниспроверженіе ихъ сопровождалось *плачемъ* народа о своихъ богахъ; обычай придавать видную форму божествамъ существуетъ и у племенъ, стоящихъ на самой низкой ступени развитія, потому нѣтъ причинъ не относить извѣстія Ибнъ-Фоцлана къ русскимъ Славянамъ; нѣтъ причинъ и *родственный союзъ* русскихъ боговъ араба объяснять скандинавскими понятіями²⁾: слѣды затерянной, можетъ-быть нетвердой, генеалогіи боговъ видны и въ скудныхъ извѣстіяхъ о славяно-русскомъ язычествѣ. Жертвы богамъ ро-

1) «Бобры, соболи и горностан, говорить пок. Савельевъ, вывозились изъ земли Веси или нынѣшней Вологодской губерніи, соболи ловились въ странѣ Эрзы (губерн. Нижегородской и Симбирской); лучшія чернобурья лисицы, продававшіяся по 100 динаровъ, носили названіе буртаскихъ по имени страны Буртасовъ, гдѣ онѣ добывались (Саратовская и Пензенская губерніи); выдры водились въ сѣверныхъ рѣкахъ, въ земляхъ Булгара, Руси и Кіева, и привозились въ Булгаръ Руссами». Мухаммедаискіе нумизматики въ отношеніи русской исторіи. Спб. 1847. стр. ССIV—V. Неужели въ странѣ, столь обильной пушнымъ товаромъ, торговлю производили не свои промышленники-купцы, а чужіе люди, неужели и самый товаръ шелъ не изъ ближайшей Руси, а изъ далекой Скандинавіи?

2) Какъ это дѣлаетъ Расмуссенъ, видящій въ женахъ и дочеряхъ божества скандинавскихъ Фриггу, Герту (?) и Скаде, Гунладу, Ринду и Гриду. *De Orientis Commercio*. p. 36 in notis.

гатымъ скотомъ достаточно подтверждаются свидѣтельствомъ Проконія¹⁾.

«Если они (руссіе) поймають вора или разбойника, то приводятъ его къ высокому толстому дереву, затягивають прочную веревку вокругъ его шеи, привязываютъ ее къ дереву и оставляють его висѣть, пока онъ, разложившись отъ вѣтра и дождя, не распадется въ куски».

Способъ казни, весьма обычный на Руси: лѣтопись (подъ 1071 годомъ) рассказываетъ, что такъ повѣшены были волхвы на Бѣлоозерѣ, въ 1489 г. такая казнь была совершена надъ двумя преступниками²⁾, позднѣе — законодательство усваиваетъ этотъ народный обычай.

«Они предаются пьянству самымъ негѣшимъ образомъ и пьютъ день и ночь напролетъ. Часто случается, что кто-нибудь изъ нихъ умираетъ со стаканомъ въ рукѣ».

Въ своемъ комментаріѣ Кругъ приводитъ много свидѣтельствъ о чрезмѣрномъ употребленіи Скандинавами крѣпкихъ напитковъ. Едва ли не болѣе свидѣтельствъ въ этомъ родѣ можетъ представить и русская старина. Почти съ самаго введенія христіанства церковная проповѣдь протестовала противъ этого порока, и притомъ иногда прямо называла его «поганскимъ норовомъ»; въ русской народной поэзіи — пиръ и пьянство принадлежать къ самымъ основнымъ, обыкновеннымъ мотивамъ: съ этого идетъ починъ всякому дѣлу, отсюда иногда выходятъ послѣдствія, наполняющія все содержаніе былины. Довольно указать на Ваську Буслаева съ его разгульными товарищами, чтобы видѣть, что купеческая Русь въ Булгарѣ не представляла исключенія изъ общаго правила и что поэтому только ее нельзя ставить въ рѣшительное родство съ Скандинавами³⁾.

1) Καὶ θροονὶ αὐτῶν (т. е. богу-громовержцу) βῶας τε καὶ ἰερῶν ἀπαντα. De bello Goth. L. III, cap. 14.

2) Карамзинъ. Ист. Г. Р. т. VI прим. 312.

3) По извѣстности предмета считаемъ излишнимъ приводить документальныя ссылки: кто знаетъ слова *Беоодосіа Печерскаго*, тотъ не потребуетъ дальнѣйшихъ подтвержденій извѣстіямъ арабскаго путешественника.

«У князей русскихъ существуетъ обыкновеніе, что вмѣстѣ съ княземъ, въ княжеской палатѣ (или на княжескомъ дворѣ) живетъ четыреста храбрѣйшихъ, надежнѣйшихъ людей изъ его свиты, которые готовы умереть съ нимъ, или пожертвовать за него жизнью; каждый изъ нихъ имѣетъ дѣвушку, которая ему прислуживаетъ, моетъ ему голову, приготовляетъ ѣду и пищу, но при этомъ онъ имѣетъ еще и другую, которая служитъ ему наложницей. Эти четыреста сидятъ у (внизу) княжескаго стола, большаго и украшеннаго драгоценными камнями. За столъ съ собою онъ садитъ сорокъ дѣвокъ, назначенныхъ для его постели. Иногда онъ забавляется съ одной какой изъ нихъ въ присутствіи упомянутыхъ знатныхъ мужей своей свиты. Своего сѣдалища (дивана) онъ никогда не покидаетъ; когда же онъ захочетъ удовлетворить естественной нуждѣ, онъ употребляетъ для этого особую посуду; если онъ хочетъ выѣхать, ему подводятъ коня къ самому сѣдалищу, откуда онъ на него и садится; захочетъ онъ сойти съ коня, то подъѣзжаетъ къ своему престолу такъ близко, что съ коня прямо садится на него.

«Онъ имѣетъ своего намѣстника, который предводительствуетъ его войсками, сражается съ врагами и заступаетъ его мѣсто въ отношеніи къ подданнымъ».

Въ своемъ разсужденіи о «Варяжскомъ вопросѣ» (стр. 107) г. Геденовъ ¹⁾ останавливается на этомъ странномъ извѣстіи Ибнъ-Фоцлана, говоря, что оно, по всей вѣроятности, относится не къ Олегу и Игорю, а къ предшествующимъ турецкимъ (т. е. хозарскимъ) династамъ. Не входя здѣсь въ разсмотрѣніе вопроса о существованіи Хозарскаго каганата въ Кіевѣ, вопроса если и не рѣшеннаго достаточно, то, по крайней мѣрѣ, основательно по-

1) Сочиненіе г. Геденова, безспорно, замѣчательнѣйшее явленіе русской исторической литературы послѣднихъ годовъ; только ослабленію нашей любви къ занятіямъ этого рода должно приписать, что до сихъ поръ оно вызвало лишь краткія, но значительныя замѣтки г. Куника и пространныя, но незначительныя разсужденія г. Погодина. Сочиненіе заслуживало бы большаго вниманія и уваженія.

ставленнаго г. Гедеоновымъ, мы замѣтимъ, что мысль его находить не малую поддержку въ извѣстіяхъ Арабовъ о Хозарскомъ хаганѣ, его образѣ жизни и правленіи ¹⁾: отличаясь по подробностямъ отъ вышеприведеннаго, эти извѣстія не разнятся отъ него въ общемъ характерѣ восточнаго деспотизма; тѣмъ не менѣе, княжеская дружина, воевода, существованіе многихъ наложницъ, образъ пирующаго князя — черты, не противорѣчащія русской жизни X-го вѣка; но способъ его жизни — несомнѣнно восточный, столь же мало идущій къ русскому, какъ и къ скандинавскому быту. Допустимъ ли мы дѣйствительное присутствіе восточнаго начала въ бытѣ русскихъ династовъ (до Олега), припишемъ ли Ибнъ-Фоцлану преувеличеніе или этнографическое смѣшеніе Русскихъ съ Хозарами, во всякомъ случаѣ мы не найдемъ въ его извѣстіи поддержки для мысли о норманскомъ происхожденіи русскихъ купцовъ въ Булгарѣ.

Всѣ прочія показанія Ибнъ-Фоцлана касаются погребальныхъ русскихъ обычаевъ и уже подробно разсмотрѣны нами; здѣсь мы пополнимъ результатъ нашего осмотра авторитетнымъ мнѣніемъ Якова Гримма, который находитъ, что сожженіе въ кораблѣ или ладѣ не можетъ быть исключительно выводимо изъ Скандинавіи, потому что оно представлялось само собою какъ бы необходимостью для чужеземцевъ русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Булгаръ ²⁾, принесеніе же въ жертву животныхъ — есть общераспространенный обычай, встрѣчающійся и у Литвы; поэтому Гриммъ не находитъ причины относить къ скандинавскимъ Варягамъ тѣ обычаи, какіе Ибнъ-Фоцланъ наблюдалъ въ Булгарѣ. «Естественное всего принять, говорятъ нѣмецкій ученый, что какъ у Славянъ, такъ и у Нѣмцевъ издревле былъ общій, разнящійся лишь въ частностяхъ, обычай сжигать мертвецовъ; мы бы убѣдились въ этомъ вполнѣ, еслибы наши писатели

1) Ohsson. Les peuples du Caucase... p. 34 sq. Григорьевъ. Объ образѣ правленія у Хозаровъ. Ж. Мин. Н. Пр. 1834, стр. 3—8 отд. оттиска.

2) Мы позволили себѣ объяснить этотъ фактъ, какъ обычай и указали на его основаніе.

сумѣли представить обычаи съ тою наглядностью, съ какою Геродотъ изобразилъ скинскіе, Прокопій — герульскіе, Вульфстанъ — обычаи Эстовъ (Пруссовъ), а Ибнъ-Фодланъ — русскіе (?)¹⁾.

Земля Славянъ извѣстна и другому арабскому путешественнику половины X-го вѣка — *Эль-Истахри* ²⁾, но, кажется, главнымъ источникомъ его свѣдѣній объ ней былъ Массуди: Истахри знаетъ только, что Славяне живутъ въ сосѣдствѣ съ Русскими и Булгарами (какими?), земля ихъ граничитъ съ Римлянами (Греками) и землями Ислама. Ширину земли онъ опредѣляетъ, проводя линію отъ крайняго сѣвера до крайняго юга, т. е. отъ береговъ Океана до земли Яджусъ и Маджусъ (Гогъ и Магогъ) вдоль *Славоніи*, чрезъ землю Булгаръ и *Славянъ*. Говоря о торговлѣ въ Хорасанѣ, Истахри замѣчаетъ, что изъ земли *Славянъ*, Хозаръ и прилежащихъ странъ привозятся много рабовъ и восходныя кожи³⁾.

О Руси Истахри знаетъ гораздо болѣе: по немъ — она живетъ въ нынѣшней южной Россіи, сосѣдя съ землями Хозаръ и Булгаръ, между Булгарами и Славянами, такъ что землю Русскихъ (изъ ихъ земли) предъ входомъ въ Булгары протекаетъ Атель (Волга), которая потомъ вливается въ Каспійское море⁴⁾.

«Русскіе раздѣляются на три вѣтви: первая живетъ по близости къ Булгарамъ, князь ея живетъ въ городѣ Кутабъ (Куябъ = Кіевъ), который болѣе, чѣмъ Булгаръ; вторая вѣтвь

1) *Kleinere Schriften*, t. II, p. 293—4.

2) Иѣкоторые ученые несправедливо усвоивали сочиненіе Истахри—Ибнъ-Хаукалу: еще Френъ (*I. F.*, 266 sq.), за нимъ Шармуа (*Rel.* 301 или 5), Мордтманъ (*Buch der Länder*, p. XII sq.) и Рено (*Géogr. d'Ab. F. I.*, LXXXV) указали и исправили эту ошибку. Мы пользовались указаннымъ выше изданіемъ Мордтмана: *Buch der Länder*. 1845. Къ великому изумленію своему читатель не найдетъ на картѣ, приложенной къ этому изданію, ни *Славоніи*, ни *Славянъ*, а между тѣмъ карта составлена такимъ знаменитымъ картографомъ, какъ *Кипертъ*!

3) У Шармуа (*Relation*, p. 322 или 26 от. от.) нѣтъ извѣстія о рабахъ, за то есть иное: «въ Карисѣ можно видѣть ковры изъ земли Славянъ и Хозаръ».

4) *Mordtmann. Buch der Länder.* p. 1, 4, 103, 129.

называется *Славянами* (Словѣне), третья *Утане*, ихъ князь живетъ въ Арбѣ. Купцы ходятъ лишь до Кутабы, въ Арбу же не приходитъ никто изъ нихъ, потому что жители убиваютъ каждаго иноземца и бросаютъ его въ воду. Потому никто ничего не знаетъ о ихъ дѣлахъ, и ни съ кѣмъ они не состоятъ ни въ какихъ сношеніяхъ... Изъ Арбы вывозятъ черныхъ соболей и олово... Русскіе носятъ короткія платья. Арба лежитъ между землею Хозаръ и великими Болгарами (мизійскими), которые соудятъ съ Римлянами (т. е. съ Греками), на сѣверѣ ихъ (т. е. Римлянъ). Эти Болгары такъ многочисленны и сильны, что налагаютъ на сосѣднихъ Грековъ дань. Внутренніе Болгары — христіане»¹⁾

Истахри хотя и заимствовалъ многое изъ Ибнъ-Фодлана и Массуди, но приведенныхъ мѣстъ не встрѣчается въ извѣстныхъ ихъ сочиненіяхъ; потому можно думать, что онъ самъ зналъ описываемые народы и мѣстности; или, по крайней мѣрѣ, получилъ свѣдѣнія о нихъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что онъ былъ въ земляхъ прикаспійскихъ²⁾. Много темнаго, спутаннаго находимъ мы въ извѣстіяхъ Истахри:

1) Mordtmann I. с. p. 106. Касательно Утанъ мы слѣдовали чтенію Мордтмана; Френъ (I. с. 162 sq.) читаетъ Арсане или Ерсане, Оссонъ (I. с. p. 84) Ertzayens; Абулѣда въ передачѣ этого мѣста Истахри пишетъ: вторая вѣтъ — Alsalaouye, третья — Alautsanye. (Géogr. d'Ab. F. II. p. 405); если чтеніе Френа вѣрно, то это будетъ народъ чудскаго происхожденія и Арабы причислили его къ русскимъ племенамъ по причинѣ, достаточно объясненной пок. Савельевымъ (Мухаммед. Нумизмат. стр. СХХІ); но быть-можетъ — чтеніе Утане правильно, потому что это имя встрѣчается, какъ названіе одного изъ славянскихъ племенъ, см. Šafarik. Slov. Starož., 2 vyd. p. 648. Для нашей цѣли — дѣло въ сущности не измѣнится, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ. Что же касается до преувеличеннаго извѣстія о неюдимой дикости этого племени, то оно придиктовано торговою ревностью Булгаръ, которымъ было не выгодно, чтобы Арабы вступили въ непосредственныя сношенія съ этимъ племенемъ, и для того они пугали ихъ ложными страхами. Последнее мѣсто *Истахри* о Болгарахъ — Рено (I. с. II, p. 308) читаетъ не такъ, а именно: «Русскіе изъ Арбы простираются до древнихъ греческихъ провинцій и находятся на сѣверѣ ихъ; они такъ многочисленны и такова ихъ сила, что они наложили дань на Булгаръ, прилежащихъ къ Римлянамъ».

2) Reinaud. Géogr. d'Aboul-Feda, I, p. LXXXIII.

странно напр. его заключеніе, что Китай граничитъ съ Славянами, неизвѣстно, что за городъ Арба или Арза¹⁾, и гдѣ былъ онъ; но главное передано вѣрно: Истахри не знаетъ пришлои дружины Руси, но осѣдлыхъ туземцевъ средней и южной полосы восточной Европы, онъ ставитъ ихъ въ связь съ Славянами (м. б. Словѣнами сѣверной части Руси), говорить о дѣйствительномъ, многочисленномъ Славяно-русскомъ народѣ и вѣтвяхъ его, а не о дружинѣ норманскихъ пришельцевъ, которая на русской землѣ могла имѣть лишь политически-административныя, но не этнографическія подраздѣленія.

Ибнъ-Хаукаль заимствовалъ большую часть своихъ извѣстій изъ Истахри; но не все. О Славянахъ, сколько могу судить по доступнымъ мнѣ источникамъ, онъ не упоминаетъ вовсе, но нѣсколько разъ говоритъ о нападеніяхъ Руси на Булгаръ и однажды, кажется, на Болгаръ дунайскихъ²⁾; о торговлѣ Руси съ Хозарами и Булгарами, которымъ они продаютъ шкуры выдръ³⁾.

«Русь — по его словамъ — многочисленное и сильное племя, потому что когда-то они наложили дань на Римлянъ; съ одной стороны они торгуютъ съ Римлянами, съ другой — перевозятъ свои товары (мѣха) въ Булгаръ и оттуда спускаютъ въ Персію; ихъ корабли ходятъ до Хорасана, они носятъ короткія платья, и одни изъ нихъ брѣютъ бороду, другіе отпускаютъ ее и заплетаютъ точно, какъ мы (Арабы) заплетаемъ гриву у лошадей... Изъ Руси Хозары получаютъ медъ и мѣха⁴⁾».

Извѣстное мѣсто Истахри о трехъ племенахъ Руси *Ибнъ-Хаукаль* повторилъ съ добавленіемъ, что

«Арсан (Arsaja, по Френу — Ergsanja) приходятъ водою (въ Булгаръ или къ Хозарамъ?) и производятъ торговлю, они ни-

1) Рено (I. c. II, p. 306) полагаетъ, что это Биармія = Пермь; древніе писатели упоминаютъ объ Арбѣ, Арсѣ, Рабѣ въ землѣ нынѣшнихъ юго-западныхъ Славянъ. Šafarik. Abkunft der Slaven, Of. 1828, p. 159—160.

2) Frähn. Ibn Fozzlan, p. 66.

3) ibidem, p. 66. 147.

4) ibidem, p. 71. Ohsson. Les peuples du Caucase.. p. 89—90.

чего не говорятъ о своихъ дѣлахъ и товарахъ (?), никому не позволяютъ сопровождать себя и приходить въ ихъ страну. Изъ Арбы (Arba, Erga) вывозятъ мѣха черныхъ соболей, черныхъ лисицъ и оловѣ¹⁾.

Ибнъ-Хаукаль, какъ извѣстно, лично былъ въ Булгарѣ на Волгѣ, потому, не смотря на запутанность его извѣстій, на не-самостоятельный характеръ большинства изъ нихъ, все-таки для насъ можетъ имѣть нѣкоторую цѣну то, что онъ принимаетъ Русь за народъ туземный, обитателей Южной Россіи, и ничего не знаетъ о ихъ сѣверномъ происхожденіи.

Послѣдующіе арабскіе писатели не входятъ въ наше разсмотрѣніе: свидѣтели XI, XII и послѣд. вѣковъ едва ли должны быть приводимы въ доказательство норманскаго или славянскаго происхожденія Руси IX—X-го вѣковъ; замѣтимъ только, что значительный изъ нихъ — Муккадеси († 1052) также не даетъ никакого права видѣть въ Руси Нормановъ, ибо устранивъ мнимый островъ Вабію²⁾, въ его извѣстіяхъ не останется ни одной черты исключительно норманской.

Осмотрѣвъ бѣгло свидѣтельства древнѣйшихъ арабскихъ путешественниковъ о Славянахъ и Руси, нельзя не прійти къ убѣжденію, что ихъ Саклабы — несомнѣнное племя Славянъ, по преимуществу западныхъ; *Русь* же — племя Славянъ восточныхъ.

Нѣтъ ни одного факта, ни одного даже намека, который изобличилъ бы чуждое, скандинавское происхожденіе послѣднихъ....

Остается только самое наименованіе Руси, но можно и должно ли соединять съ нимъ скандинавское происхожденіе, когда подъ рукою нѣтъ никакого доказательства въ существованіи особаго скандинавскаго племени *Руси*? Мы не касаемся здѣсь неразрѣшеннаго понинѣ вопроса о происхожденіи этого наименованія, а

1) Frähn, I. с. p. 268.

2) Frähn, I. с. p. 3, 47, sq. отождествляетъ его съ Даніей, но Вабія есть не иное что, какъ дурное чтеніе имени прилагательнаго въ смыслѣ сырой болотистой земли.

дѣлаемъ лишь простое заключеніе по извѣстному. Арабы постоянно называютъ племя *Русь* и указываютъ на южныя ихъ жилища, съ первыхъ страницъ лѣтописи мы встрѣчаемъ Русь въ коллективномъ смыслѣ *русско-славянскихъ племенъ*, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ мы не находимъ этой Руси, ни одна черта въ бытѣ и характерѣ арабской Руси не обличаетъ исключительно скандинавскаго ея происхожденія, ни одна черта, за вычетомъ преувеличеній, не противна быту и характеру Славянъ — русскихъ; напротивъ, многое прямо подходитъ только къ нимъ и только ими объясняется... Къ кому же, какъ не къ русскимъ Славянамъ, должно отнести извѣстія Арабовъ? Къ такому выводу неминуемо придетъ всякій, для кого вопросъ о происхожденіи имени Русь имѣетъ значеніе дѣйствительно нерѣшеннаго вопроса.

Но станемъ на другую точку зрѣнія: примемъ распространенное историческое *спроверженіе* о скандинавскомъ происхожденіи этого загадочнаго имени, убѣдимся, что Русь, русская земля стала такъ называться лишь съ прибытіемъ трехъ норманскихъ братьевъ съ дружиною, — дастъ ли это намъ право утверждать, что арабская Русь была дѣйствительно Русь норманская, пришлая, не славянская? Выше мы замѣтили, что во время, когда Ибнъ-Фозланъ наблюдалъ обычаи и образъ жизни русскихъ купцовъ — этимъ именемъ могли называться уже и русско-славянскія племена, и они должны были такъ называться потому, что нигдѣ нѣтъ никакого слѣда, чтобы въ то время именемъ Руси обозначалась исключительно шведская Русь; имя становится общимъ, земскимъ, имъ необходимо должны были назваться славянскіе купцы, пріѣзжавшіе въ чужую страну: это было какъ бы залогомъ ихъ безопасности, порукой неприкосновенности ихъ и ихъ имущества; для Булгаръ они были *только русскіе*, сами для себя они могли быть и Полянами, и Сѣверянами, и Кривичами. И не покажется ли страннымъ, что едва лишь приходитъ чуждая *воинная* дружина, едва успѣваетъ взять подъ свой надзоръ неустроенныя массы туземцевъ, какъ изъ среды ея выдвигается уже мирное торговое сословіе, цѣли котораго совершенно иныя.

О прїѣзжей скандинавской Руси изъ отечества — и думать нечего; иначе, кромѣ прочаго, придется допустить немислимую этнографическую странность: туземной скандинавской Руси не знаютъ ни свои, ни сосѣди (иначе она заявила бы себя въ памятникахъ, въ особенности въ такой богатой литературѣ, какъ сѣверная): ее въ маломъ количествѣ знаютъ только Булгары да Арабы.

Съ двухъ противоположныхъ концовъ мы приходимъ къ одному и тому же результату.

Русь арабскихъ писателей была *славянскою Русью*.

Къ стр. 013. Текстъ мѣста Ибнъ-Фоцлана о Славянахъ въ латинскомъ переводѣ Френа: «Slavi et quicunque iis conterminant, sub ejus imperio (sc. regis Chazarorum) serviliter sunt eique obedientes parent». Frähn. De Chazaris. P. 1812, p. 18.

Къ стр. 017—018. А. А. Куникъ замѣтилъ намъ, что Austrvegg, Vestrvegg, Norvegg — вовсе не значать пути, но страны или земли.

На память будущимъ библиографамъ.

Замѣтка о библиографіи въ отношеніи науки о русской старинѣ и народности.

1863.

Мы живемъ въ чрезвычайъ-требовательное и строгое время: отъ каждой науки, отъ всякаго знанія мы требуемъ немедленнаго практическаго приложенія и не задумываемся окликнуть такое знаніе именемъ пустой и бесполезной игры, если оно на наши торопливые вопросы отвѣчаетъ глухо и неопредѣленно. Людей, преданныхъ такой наукѣ, мы считаемъ или слишкомъ ограниченными, или *потерявшимися*: ихъ сложили, говоримъ мы, безвыходныя аномаліи жизни, и вотъ они ушли отъ волненій ея

въ безплодную пустыню схоластики, подобно тому, какъ въ средніе вѣка анахореты уходили въ идальную область мистицизма, ища позабыться, отдохнуть отъ бурь и невзгодъ суровой дѣйствительности. Такимъ образомъ оцѣнивая область человѣческихъ знаній, отдѣляя годное и новое отъ стараго и износившагося и негоднаго, мы почти всегда мѣримъ мѣрою слишкомъ личною, упускаемъ изъ виду, что при видимомъ разнообразіи явленій нравственной жизни человѣка, полезное для однихъ можетъ быть вовсе бесполезно для другихъ: мы какъ будто забываемъ реальное, истинное значеніе пользы и, схвативъ верхушку ея, требуемъ, чтобы польза имѣла всеобщее благое значеніе, была для всѣхъ въ равной мѣрѣ доступна, всѣмъ въ равной степени полезна. Въ какія безвыходныя противорѣчія впадаемъ мы при такомъ взглядѣ — понять нетрудно. Не говоря уже о томъ, что этимъ бросается тѣнь на чистоту одной изъ благороднѣйшихъ потребностей человѣческой природы — *потребности знанія*, самое исключительное признаніе гражданскихъ правъ за однимъ родомъ занятій и презрительное отрицаніе ихъ за другимъ, когда оба они, другъ безъ друга, и существовать не могутъ — вотъ прямое слѣдствіе такого опрометчиваго воззрѣнія. Мы не изслѣдуемъ причинъ этого явленія: быть-можетъ, онѣ имѣютъ свое уважительное право на существованіе, но мы не могли не оправдаться въ нашемъ намѣреніи, когда рѣшаемся предложить нѣсколько мыслей о современныхъ задачахъ русской библіографіи.

Многочисленные, почтенные труды совершены русскими учеными на этомъ поприщѣ: Сильвестръ Медвѣдевъ, Сопиковъ, Калайдовичъ, Строевъ, Анастасевичъ, Кеппенъ, Востоковъ, Сахаровъ, Ундольскій, Максимовичъ, Горскій и Невоструевъ — имена, которыя не разъ помянутъ добромъ всякій трудолюбивый изслѣдователь русской науки; но это, говоря вообще — старина, отъ которой отклонилось новое поколѣніе русскихъ библіографовъ, и отклонилось, сказать правду, съ видимымъ ущербомъ для науки: библіографія послѣдняго десяти-

лѣтія какъ будто отказалась отъ служенія исторической наукѣ: она стала занятіемъ случайнымъ, отрывочнымъ или, говоря технически — *искусствомъ для искусства*, безъ опредѣленной цѣли, безъ строгаго метода—занятіемъ, отъ котораго никому не тепло, а многимъ холодно. Мы вовсе не раздѣляемъ насмѣшекъ, которыми отъ поры до времени преслѣдуетъ русская критика это *тробоконательство*; но нельзя въ самомъ дѣлѣ не сознаться въ безплодности и пустотѣ этихъ занятій, видя, какъ въ спискѣ сочиненій Гоголя опускаются «Мертвыя души», какъ въ указателѣ къ Губернскимъ Вѣдомостямъ, по ошибкѣ переплетчика, одинъ годъ предлагается вмѣсто другого, какъ въ каталогѣ записокъ русскихъ людей помѣщается, наприм., статья Сер. Аксакова о Дм. Б. Мертваго, и не упоминаются самыя записки Мертваго, какъ въ спискѣ русскихъ писательницъ — за писательницу принято даже одно названіе мѣстности, какъ «Рѣчь о любви къ отечеству» относится къ разряду государственнаго и сельскаго хозяйства, и такъ далѣе. . . . Мы бы могли огыскать сотни подобныхъ примѣровъ, вызывающихъ невольную улыбку сожалѣнія, что за такое многополезное и важное дѣло берутся люди, неуполномоченные наукою и предварительными строгими занятіями, и думаютъ, что вся суть дѣла въ простой регистратурѣ. Эти спѣшныя валовые труды достойнымъ образомъ можетъ оцѣнить только тотъ, кто рѣшался пользоваться ими и слѣдовать ихъ указаніямъ! Сверхъ этого, библіографы послѣдняго времени всѣ какъ-то бросились на новизну и въ особенности на новый періодъ исторіи русской литературы. Упрекать ихъ за это, конечно, странно, но въ то же время нельзя не посѣтовать, что старина отодвинулась на задній планъ, ибо относительно старины библіографія можетъ оказать несравненно большую пользу, чѣмъ относительно новаго времени. Кто думаетъ, что для старины сдѣлано уже все возможное людьми, имена которыхъ мы приведемъ выше, тотъ подтверждаетъ только нашу мысль о плохомъ знакомствѣ библіографовъ съ русскою историческою наукою и ея современными задачами и о полнѣйшей безотчетности ихъ заня-

тій¹⁾. Очевидно, что при такомъ такъ сказать *артистическомъ* направленіи новѣйшихъ библіографическихъ занятій, ими не можетъ воспользоваться русская наука: ученому у насъ еще нужно до всего доходить самому, въ одно и то же время быть и библіографомъ, и изслѣдователемъ предмета въ собственномъ смыслѣ; какъ отъ такого отсутствія раздѣленія труда страдаетъ современная наука—легко можно видѣть на каждомъ новомъ явленіи въ области русской исторической науки: не только старина выдается за новое, но и часто предлагаются такія мнѣнія, о которыхъ не могло бы быть и помину, еслибы изслѣдователь былъ знакомъ со всею предыдущею литературою предмета; часто строятся цѣлыя системы, оказывающіяся потомъ совершенно ложными, и все это только потому, что изслѣдователь упустилъ изъ виду какое-нибудь свидѣтельство или документъ, помѣщенный гдѣ-нибудь въ старомъ, забытомъ изданіи.

Мы желаемъ именно сказать нѣсколько словъ о томъ, какую пользу библіографія можетъ принести наукѣ о русской старинѣ и народности; выберемъ эту часть русской исторической науки потому, что считаемъ ее фундаментомъ, краеугольнымъ камнемъ всему остальному зданію. Замѣтимъ предварительно, что всѣ указанія, какія намъ придется дѣлать въ продолженіе этой замѣтки,

1) Что библіографическія занятія могутъ быть дѣломъ прихоти, а не науки, это доказываютъ и наши старые библіографы, все еще посвящающіе свои досуги Альдамъ и Эльзевирамъ. Конечно, *grandes marges, papier vélin, vergé* — вещи очень замѣчательныя, но кто же будетъ относить это къ области исторической науки, а тѣмъ болѣе науки русской, гдѣ и безъ этого такъ много жатбы и такъ мало дѣлателей. Это—библіографы-поэты: для нихъ библіографія уже чистое искусство, какъ для музыканта — музыка: они не будутъ на практическую пользу—и потому стоятъ внѣ похвалы или осужденія, хотя всякій, конечно, согласится, что занятіе книгой, какой бы ни былъ ея характеръ—все-таки занятіе почтенное. О такомъ библіографѣ очень метко говоритъ одна эпиграмма Pont-de-Verdun'a.

La voilà, Dieu que je suis aise
 Oui, c'est une bonne édition
 Car, voici page douze et seize
 Les deux fautes d'impression
 Qui ne sont pas dans la mauvaise.

мы дѣлаемъ на память, безъ всякихъ справокъ съ книгами, которыя въ настоящую минуту, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, совершенно намъ недоступны, а потому просимъ извинить отсутствіе строгой библиографической точности, столь необходимой вездѣ, гдѣ дѣло касается библиографіи.

Нѣкогда намъ случилось читать превосходное сочиненіе Альфреда Моръ: «*Les forêts de France*» (4°); насъ особенно занимали тѣ отдѣлы сочиненія, въ которыхъ говорится о вліяніи лѣсовъ на образъ жизни, нравы, обычаи, вѣрованія и вообще на цивилизацію лѣсныхъ поселенцевъ. Увлеченные гениальными соображеніями автора, мы желали его точку зрѣнія провѣрить на отечественной территоріи и ея обитателяхъ, предвидя, сколь многое въ русской народности можетъ объясниться отъ такого приѣма. Статья, помѣщенная въ «*Beiträge zur Kenntniss d. Russisch. Reiches*», издав. академиками Бэромъ и Гельмерсеномъ, а равно и извлеченіе изъ этой статьи, сдѣланное въ 1-мъ годѣ «Русскаго Вѣстника», не удовлетворили нашихъ исканій: намъ необходимы были историко-статистическія и географическія свѣдѣнія о лѣсахъ въ Россіи. Не обладая спеціальными свѣдѣніями о предметѣ, не имѣя подъ руками никакихъ библиографическихъ указаній, не пользуясь досугомъ, чтобъ предпринять самостоятельныя разысканія, мы должны были отказаться отъ нашего намѣренія и такимъ образомъ лишили себя возможности объяснить многія важныя явленія въ русской народности, только потому, что не имѣли подъ руками библиографіи вопроса. Что послѣдняя возможна, въ этомъ убѣдились мы, когда поздиѣ, по совершенно другому побужденію, мы перечитывали разные путешествія по Россіи, но часть извѣстныхъ намъ фактовъ — капля въ морѣ предъ тѣмъ богатствомъ извѣстій, какое заключается въ разныхъ спеціальныхъ журналахъ, газетахъ, губернскихъ вѣдомостяхъ, и т. д. и до котораго не можетъ коснуться рука этнографа или историка безъ опытныхъ библиографическихъ указаній.

Всякому извѣстно, что русская народность не можетъ быть

въ строгомъ смыслѣ названа цѣльною, чуждою всякой чужеплеменной примѣси: обрусеніе инородцевъ чудскаго племени—фактъ, совершающійся предъ нашими глазами, но оно началось не вчера и не за сто лѣтъ предъ симъ: оно проходить чрезъ всю русскую исторію, слѣды его видны на первыхъ страницахъ лѣтописей; но принимая русскую народность, чудская культура въ свою очередь не прошла безслѣдно для русской цивилизаціи, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напр. въ художественной обработкѣ металловъ) она стояла выше послѣдней; да, сверхъ этого, предположить отсутствіе чудскаго элемента въ той части русскаго населенія, которой приходилось быть въ постоянныхъ сношеніяхъ съ инородцами—это такая историческая невозможность, которая даже и теоретически, помимо фактовъ, немыслима. Воздѣйствіе инородческой народности на русскую замѣчается не только на сѣверѣ и востокѣ и западѣ, гдѣ оно такъ сказать во-очію у насъ, но и тамъ, гдѣ чужая народность только мимоходомъ коснулась русской, какъ на югѣ: ибо присутствіа азіатскаго элемента въ бытѣ украинскихъ казаковъ этнографически, какъ кажется, отрицать невозможно. Какъ важны намѣченныя нами явленія для науки о русской старинѣ и народности — очевидно для каждаго; для усиленнаго рѣшенія этихъ вопросовъ въ нашей ученой литературѣ имѣются богатѣйшіе матеріалы¹⁾, но они до того разбросаны по разнымъ изданіямъ (Жур. Минист. Внутрен. Дѣлъ, Горный журналъ, Губернск. Вѣдомости, Сибирск. Вѣстникъ и проч. и проч.), что для приведенія ихъ въ порядокъ потребно гораздо большее количество времени, нежели какое можетъ удѣлать изслѣдователь русской старины и народности, для котораго эта часть только небольшой уголокъ въ программѣ его обширныхъ занятій. Библиографическій указатель, составленный съ толкомъ и знаніемъ дѣла, не по однимъ только заглавіямъ, а съ

1) Въ прошломъ году изданы подъ редакцію акад. Кеппена «Матеріалы для исторіи инородцевъ въ Россіи». Это — извлеченіе изъ лѣтописей и правительственныхъ актовъ. Вотъ, въ полномъ смыслѣ, достойный библиографическій трудъ.

ученою оцѣнкою и краткимъ изложеніемъ содержанія сочиненія, принесъ бы здѣсь огромную пользу и далеко подвинулъ бы науку. Все доселѣ высказанное нами насчетъ задачъ библіографіи становится еще необходимѣе, когда остановимся на собственно-нравственныхъ элементахъ русской народности: на народномъ бытѣ, нравахъ, обычаяхъ, понятіяхъ о поэзіи и вообще литературѣ. Огромное количество матеріала областныхъ видоизмѣненій русской народности хранится въ нашей прежней литературѣ: почти нѣтъ журнала, нѣтъ газеты, сборника или книжки путешествій, гдѣ бы изслѣдователь не нашелъ для себя дорогихъ свѣдѣній или указаній, и между тѣмъ, странно подумать, что весь этотъ матеріалъ представляетъ какъ бы мертвый капиталъ науки, по крайней мѣрѣ ни одинъ еще изслѣдователь не воспользовался имъ въ должной мѣрѣ, да и едва ли можемъ воспользоваться безъ помощи библіографическихъ тщательныхъ указаній. Изъ многихъ примѣровъ остановимся на нѣкоторыхъ, болѣе яркихъ. Въ нѣмецкой наукѣ существуетъ цѣлая огромная литература народныхъ преданій: по пути, проложенному братьями Гриммами, изслѣдователи пустились собирать мѣстные народные преданія, и труды ихъ увѣнчались полнымъ, превосходящимъ ожиданія, успѣхомъ: цѣлую огромную библіотеку можно составить изъ книгъ, посвященныхъ этому одному предмету. Что выпала при такомъ стремленіи наука, легко видѣть изъ каждаго новѣйшаго сочиненія, посвященнаго разработкѣ нѣмецкой старины и народности, въ особенности же изъ трудовъ Вольфа, Куна, Маингардта и Шварца; но что представляетъ эта область науки у насъ? Три тощія, вполнѣ наполненные вздоромъ, книжонки Макарова («Русскія преданія» М. 1838—41), и больше ничего! Въ матеріалѣ ли недостатокъ? Но довольно пересмотрѣть нѣсколько лѣтъ губернскихъ вѣдомостей и старыхъ журналовъ, чтобы убѣдиться, что матеріалъ существуетъ, хотя, конечно, не въ такой степени, какъ въ нѣмецкой наукѣ, гдѣ на этой области спеціально были посвящаемы многочисленныя и обширныя изысканія; но и въ томъ видѣ, въ какомъ онъ мертвымъ капиталомъ

лежить въ архивахъ старой журналистики, путешествій, описаний и т. д., собранный и приведенный въ порядокъ библиографически, онъ принесъ бы несомнѣнную пользу наукѣ. Взгляните на отрывки изъ лекцій г. Буслаева, помѣщенные въ послѣднихъ книжкахъ журнала, издаваемого г. Тихонравовымъ («Лѣтопись русской литературы и древности»), и вы увидите, какъ, за невѣдѣемъ библиографически обследованныхъ указаній, наука должна ограничиваться мелкими крохами, случайно попавшимися трудолюбивому изслѣдователю. Само собою разумѣется, что при такомъ характерѣ изслѣдованій не можетъ быть и рѣчи о той законченной полнотѣ, о той ясной убѣдительности доводовъ, которыя составляютъ необходимую принадлежность всякой серіозной науки. Въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ «Отеч. Записокъ», мы намѣрены познакомить читателей съ небольшою частью архивнаго матеріала русскихъ преданій; тогда будетъ видно, какъ часто въ самой пустой, давно забытой книжкѣ, даже въ какой-нибудь повѣсти хранятся драгоцѣннѣйшіе факты русской народности, невошедшіе въ науку только потому, что эта послѣдняя чужда прочныхъ библиографическихъ основаній. Какъ важны для науки такіа произведенія народной словесности, какъ загадки, пословицы, поговорки — объ этомъ и говорить нечего; такъ теперь никто уже не сомнѣвается въ этомъ, но еслибы изслѣдователь имѣлъ настоящую нужду познакомиться, напр., съ пословицами, поговорками украинской народности, какія средства для этого нашелъ бы въ подручной ученой литературѣ? По одному сборнику г. Закревскаго («Старосвѣтскій бандуристъ». М. 1861 г.), совмѣстившему въ себѣ предыдущія (русскія и галицкое) изданія, онъ, пожалуй, заключилъ бы о бѣдности этого рода произведеній украинской народности, а между тѣмъ, самые дорогіе и обширные матеріалы по этому предмету залегли правдымъ сномъ въ черниговскихъ, полтавскихъ, курскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ, въ какомъ-нибудь «Малѣ» или трудѣ г. Арандаренко о Полтавской губерніи. Нужды нѣтъ, что здѣсь зачастую чистое золото смѣшано съ грязью, вещи серіоз-

ныя и важныя съ самымъ наивнымъ вздоромъ: опытный изслѣдователь легко отличить первыя отъ второго; ему нужны только строгія, методическія библиографическія указанія, чтобы знать, куда обратиться и за чѣмъ, а до остального онъ дойдетъ самъ, такъ какъ предыдущія разысканія могли развить въ немъ критическій тактъ и способность оцѣнки.

Еще примѣръ—изъ сферы народнаго быта, касающейся русской народной годовщины и дневника. Въ недавно вышедшей книгѣ «Памятники народнаго быта болгаръ» (М. 1862), находится болгарскій народный дневникъ и въ pendant къ нему нѣкоторыя черты изъ русскаго дневника. Эти черты крайне отрывочны и неполны, несмотря на то, что составитель или редакторъ видимо старался и думалъ о полнотѣ. Такое явленіе произошло опять отъ отсутствія ученой библиографіи предмета: составитель не воспользовался ни превосходными изслѣдованіями г. Максимовича («Рус. Бесѣда». 1856), ни описаніемъ праздниковъ малороссіянъ, составленнымъ когда-то г. Сементовскимъ и помѣщеннымъ въ «Маякѣ» 1843 г. Положимъ, серіозный изслѣдователь долженъ былъ знать объ этихъ трудахъ, такъ какъ они принадлежатъ къ числу самыхъ капитальныхъ по предмету народной годовщины и, сверхъ того, не могутъ быть отнесены, въ строгомъ смыслѣ, къ библиографическому архиву; но откуда знать ему, что самое главное по этой части помѣщено въ воронежскихъ и владимирскихъ вѣдомостяхъ (ст. Ан. фон-Кремера); всѣ такъ-называемые «Указатели» къ губернскимъ вѣдомостямъ могли указать ему только одно заглавіе, безъ всякой оцѣнки вѣроятнаго содержанія и ученаго значенія труда, да и сами прежніе «Указатели», помѣщавшіеся въ «Вѣстникѣ Географическаго Общества», мало кому доступны. По древне-русской литературѣ мы приведемъ примѣръ, отчасти знакомый читателямъ «Отечественныхъ Записокъ». Въ августовской книжкѣ «Отеч. Зап.» (Отд. русской литературы) помѣщена рецензія перваго выпуска лекцій г. Костомарова. Рецензентъ, на стр. 261, говоритъ: «Спеціальныхъ сочиненій о лѣтописяхъ мы знаемъ три: Иванова,

Полѣнова и Перевощикова». Рецензія обнаруживаетъ въ себѣ человека, хорошо знакомаго и съ предметомъ и съ литературою его, но, несмотря на это, онъ выставилъ только *три* специальныхъ сочиненія о лѣтописяхъ, а ихъ существуетъ болѣе (напр. сочин. Срезневскаго: «О новгородскихъ лѣтописяхъ» въ «Извѣстіяхъ Академіи Наукъ», Погодина, о томъ же и тамъ же, неизвѣстнаго автора въ «Православномъ Собесѣдникѣ» 1859 г.)¹⁾.

Предположить незнаніе со стороны рецензента трудно, такъ какъ мы уже сказали, что этому противорѣчитъ весь характеръ рецензіи. Чтѣ же за причина? Причина очевидна: это — отсутствіе строгой библіографіи предмета, безъ которой изслѣдователь легко можетъ упустить изъ виду то или другое важное явленіе. Какъ часто самая повидимому мелочная замѣтка можетъ имѣть важность при изученіи исторіи литературы, это доказываютъ замѣтки г. Горскаго, разсѣяныя по «Москвитяину» (позднѣе онѣ были перепечатаны г. Погодинымъ въ его «Изслѣдованіяхъ»); иногда какая-нибудь рецензія важнѣе для науки самаго сочиненія, и эта рецензія проходитъ даромъ только потому, что не существуетъ ученой библіографіи, умѣющей по достоинству оцѣнить ее и такъ сказать спасти для потомства.

Сказать ли, что относительно рукописной и печатной старины наша библіографія уже покончила свое назначеніе, теченіе скончала и вѣру соблюла; но всякій, сколько-нибудь знакомый съ русскою наукою въ ея современномъ состояніи, согласится, что она только *начала* это дѣло, что много времени пройдетъ еще, пока она озаритъ свѣточемъ науки и воскреситъ старыя запыленные хартии, въ которыхъ опочила жизнь, нелишенная своей энергіи, своихъ тревожныхъ интересовъ.

Вотъ обильная и плодоносная жатва для нашихъ библіографовъ. Только прочнымъ знакомствомъ съ потребностями русской

1) Имѣя въ виду болѣе или менѣе общіе обзоры, рецензентъ не упомянулъ о статьяхъ, касающихся новгородскихъ лѣтописей, какъ не упомянулъ ни объ изслѣдованіи г. Лавровскаго касательно іоакимовской лѣтописи, ни о трудахъ гг. Буткова, Кубарева и т. д. о Несторѣ.

науки и ея наличнымъ капиталомъ, вниманіемъ къ этимъ потребностямъ могутъ они сообщить своимъ занятіямъ характеръ, достойный науки, достойный настоящаго времени. Безъ этого всякое библиографическое занятіе будетъ праздною игрою досужаго ума и, чего добраго, заслужить то поощреніе, какимъ наградило французское правительство время революціи одного изъ своихъ согражданъ, посвятившаго долготѣннй трудъ на созданіе восковой модели Париза и достигшаго въ этомъ дѣлѣ удивительнаго совершенства.

Оставивъ регистраторскіе труды и составленіе каталоговъ людямъ, на это призваннымъ, пусть библиографы наши послужатъ русской наукѣ, но для этого нуженъ строгій предварительный трудъ, строгій систематическій методъ. Прекрасныя начала и того и другого они найдутъ въ трудахъ такихъ предшественниковъ, какъ Строевъ, Кеншенъ, Востоковъ, Ундольскій и др. Конечно, единичному человѣку трудно и почти невозможно дойти до всего самому, а потому нельзя не пожелать, чтобъ и предметъ библиографическихъ занятій и самый методъ опредѣлялись сообща людьми опытными и пылующими любовью къ этому роду занятій.

Мы указали только на одну часть библиографическихъ занятій, но часть, которая, по нашему понятію, должна лечь во главу угла прочему зданію.

Замѣтка о трудахъ Ѳ. Н. Глинка по наукѢ русской древности¹⁾.

1867.

Мм. Гг.

Не современникамъ извѣстнаго дѣятеля политической и общественной жизни принадлежитъ право окончательной, правдивой оцѣнки его подвига жизни: слишкомъ непроченъ и скоръ бываетъ этотъ судъ, слишкомъ много входитъ въ него живаго на-

1) Статья эта была также прочтена въ публичномъ собраніи Общества Л. Р. С., посвященномъ празднованію пятидесятилѣтія со времени избранія въ дѣйствительные члены Общества князя П. А. Вяземскаго и Ѳ. Н. Глинка.

чала личной страсти, симпатій и антипатій, чтобъ быть ему воистинѣ справедливымъ и безпристрастнымъ; потому лишь *немногіе* дѣтели при жизни своей находятъ правдивую, навѣки нерушимую оцѣнку, для огромнаго большинства лицъ послѣдующія поколѣнія всегда измѣняютъ — и иногда въ конецъ измѣняютъ этотъ судъ: много прежнихъ героевъ, умѣвшихъ на долгое время обмануть и подкупить историческій судъ, нисходятъ въ послѣдніе ряды обыкновенныхъ слабыхъ смертныхъ; много прежде неизвѣстныхъ и темныхъ именъ выходятъ съ теченіемъ времени на свѣтъ, окруженныя признательностью и славой, въ которыхъ отказало имъ легкомысліе современниковъ или ближайшаго потомства; но если правдивый историческій приговоръ принадлежитъ грядущему, то за современниками остается право признательности къ лицамъ, заслуги которыхъ по крайней мѣрѣ въ данное время не могутъ подлежать вопросу. Такъ позволяю я себѣ понимать значеніе сегодняшняго празднества нашего Общества: никто изъ насъ, мм. гг., не возьметъ на себя непринадлежащаго намъ суда надъ литературною дѣятельностью старѣйшихъ *дѣйствительныхъ* нашихъ сочленовъ; но кто же изъ насъ не помнитъ этой дѣятельности должною признательностью?...

Съ нашей стороны — это не мимолетное выраженіе оффиціальнаго почета на случай, а столько же необходимая потребность чувства правды и уваженія къ полувѣковой благородной дѣятельности, сколько и стремленіе привести въ ясность отношенія между нашимъ прошедшимъ и настоящимъ. Публичное выраженіе общей признательности къ литературному и ученому труду уместно вездѣ, но всего болѣе уместно у насъ, гдѣ занятія литературой и наукой въ сознаніи чуть ли не большинства не достигли полнаго признанія и все еще стоятъ за чертою, внѣ круга граждански-полезнаго дѣла, какъ занятія обходимыя, излишнія и даже суетныя: привѣтствуя признательностью литературную дѣятельность кн. П. А. Вяземскаго и Ѧ. Н. Глинки, мы въ лицѣ ихъ привѣтствуемъ благородное званіе литератора, мы требуемъ большихъ общественныхъ правъ для науки и лите-

ратуры, большаго общественнаго признанія и уваженія къ нимъ!

Оцѣнка литературной дѣятельности Ѳ. Н. Глинки будетъ не полна, если не обратитъ вниманія на ту сторону ея, которая, быть-можетъ, всего менѣе видна для образованной публики: молодая поколѣнія съ плечемъ Глинки знакомятся съ первыхъ шаговъ своего обученія, со школьной скамьи: вмѣстѣ съ другими немногими писателями, съ Карамзинимъ, Жуковскимъ, Крыловымъ — Ѳедоръ Николаевичъ раздѣляетъ имя русскаго педагогическаго классика, его стихотворенія и «Письма русскаго офицера» принадлежатъ къ числу необходимыхъ статей первоначальнаго чтенія воспитывающихся поколѣній — и вотъ одна изъ причинъ, почему его имя пользуется такою широкою популярностью; но изъ тѣхъ, кому извѣстно оно, многіе ли знаютъ Ѳедора Николаевича какъ человека родной науки, оказавшаго ей немаловажныя и, во всякомъ случаѣ, достойныя добраго слова, услуги. При настоящемъ праздникѣ непростительно, какъ-то совѣстно будетъ позабыть о нихъ. Я позволю себѣ остановитъ на нихъ ваше вниманіе, мм. гг., и постараюсь въ немногихъ словахъ показать значеніе того, что сдѣлано Ѳ. Н. Глинкой для отечественной науки.

Въ 30-хъ годахъ усиленные служебные труды разстроили, и безъ того некрѣпкое, здоровье Ѳедора Николаевича. Повинуясь предписаніямъ врачей, онъ отправился въ тверское имѣніе своей тещи, Е. И. Голенщевой-Кутузовой. Это обстоятельство и было поводомъ одного весьма важнаго открытія, сдѣланнаго Ѳ. Н. Глинкой. «Тамъ — писалъ онъ къ извѣстному археологу и статисту П. И. Кеппену — тамъ на древнихъ высотахъ Алаунскихъ, плавая въ сухомъ горномъ воздухѣ и дыша испареніемъ сосенъ и можжевельниковъ кустарниковъ, началъ я много ходить. Долго, лѣса одѣтые листьями, и жатвы еще не снятыя, закрывали *тайну окрестностей*. И не впдалъ быта историческаго, но видѣлъ ясныя и яркіе слѣды моря. Море какъ будто вчера тамъ было! Множество окаменѣлыхъ мадреноровъ, морскихъ рако-

виѣ, гнѣзда морскихъ червей, въ разныя породы вѣдренныя, разсѣяны по полямъ этой стороны, любопытной и въ геологическомъ отношеніи. Наконецъ, когда осень стала сближаться, и лѣса и поля, по снятіи жатвъ, обнажились, я сталъ замѣчать какія-то *пятна*, видѣ задвинутыя камнями. Онѣ разсѣяны по полямъ и нивамъ на великое пространство. На вопросы: «что такое *эти лоскутья неоспаханные*», крестьяне отвѣчали: «это, ба-тюшка, *старинныя могилки*, ихъ соха не беретъ!» Но впослѣдствіи, всмотрѣвшись и развѣдавъ объ этомъ дѣлѣ, узналъ я, что эти мнимыя могилки суть *поддоны бывшихъ кургановъ*, которыхъ потомъ нашелъ я цѣлыя *круговины*, восторжествовавшія надъ временемъ и множествомъ разрушительныхъ случаевъ. Слѣдя за курганами, я нашелъ также многіе камни — особенно любопытные — рѣзнаго искусства въ Россіи. Но всѣ эти камни обросли, затянуты болотными кочками, утонули въ гривы; а товарищи ихъ курганы утаены лѣсами и жатвами!... Надобно было много ходить, *всматриваться* и расспрашивать, чтобы напасть на слѣдъ любопытнаго, — на слѣдъ запаханный, заселенный, почти изглаженный. За то доселѣ никто и понятія не имѣлъ, что за Тверью есть или былъ цѣлый огромный бытъ какого-то неизвѣстнаго народа. Исторія молчитъ, преданія не говорятъ объ этомъ. Отъ Москвы до Твери нѣтъ ничего подобнаго. Откуда же въ Тверской Карелии взяли курганы? Объ этомъ знаютъ или знали развѣ во времена *незапамятныхъ* ¹⁾).

Вотъ что привлекало вниманіе нашего поэта! Не одиѣ картины дѣйствительной сѣверной природы, которую онъ съ такимъ искусствомъ умѣлъ рисовать въ своихъ произведеніяхъ, но главнымъ образомъ слѣды опочившей жизни древняго человѣка, загадочные и молчаливые свидѣтели его быта, понятій и вѣрованій. Много потерпѣли эти памятники отъ разрушительной силы

1) См. О древностяхъ Тверской Карелии. Извлеченіе изъ писемъ О. Н. Глинки къ П. Н. Кеппену. Сиб. 1836, стр. 2 и слѣд. (отд. отт. изъ 3-й кн. Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ 1836 г.).

времени, всѣ они, выражаясь его же словами—заброшены, утасны въ гѣсахъ, утоплены въ болотахъ, но прилежно наблюдательный взглядъ неутомимаго ходака открылъ

«Могилы.... камней рядъ,
«На камняхъ дивныя сказанья!»

Плодомъ внимательнаго осмотра этихъ памятниковъ было: «Краткое извѣстіе о признакахъ древняго быта неизвѣстнаго народа и камняхъ, найденныхъ въ Тверской Карелии»; Ѧеодоръ Николаевичъ отправилъ эту статью къ Кеппену, который и напечаталъ ее вмѣстѣ съ письмомъ его — въ Журн. Мин. Вн. Дѣлъ (1836). Нѣсколько позднѣе Ѧеодоръ Николаевичъ дополнилъ и измѣнилъ это «краткое извѣстіе» и въ такомъ видѣ напечаталъ его въ Русскомъ Историческомъ Сборникѣ (т. 1, к. 2), издававшемся Обществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ. На важные памятники исчезнувшей народной жизни Гленка взглянулъ не легучимъ взглядомъ равнодушнаго путешественника, но какъ человѣкъ, полный серіознаго интереса къ загадкѣ ихъ существованія, какъ поэтъ, души котораго сочувственно коснулись эти одинокіе камни и могилы, подъ которыми уснула исполнинская мощь отшедшихъ невѣдомыхъ народовъ и поколѣній. «Можетъ-быть—думалъ и говорилъ онъ—можетъ, быть—подъ загадочными извѣтіями на этихъ мертвыхъ камняхъ трепещется мысль еще живая, еще мощная, ожидающая только возможности вырваться изъ вѣковаго плѣна своего, чтобы высказать себя на языкѣ для насъ понятномъ. Разрѣшивъ нѣсколько неизвѣстныхъ знаковъ, мы узнали бы, можетъ-быть, по крайней мѣрѣ имена тѣхъ народовъ, которыхъ невидимая роковая звѣзда могущественно влекла отъ плѣнительныхъ странъ Востока на Сѣверъ нашъ, тогда еще болѣе угрюмый, но богатый сокровищами природы, — непочатыми!»

Какъ былъ, такъ и здѣсь остался Гленка поэтомъ: тѣмъ сумрачнѣй и отдаленнѣй стояла передъ нимъ эта недослгаемая, сѣдая древность, тѣмъ болѣе она давала пищи фантазіи поэта,

тѣмъ шире и свободнѣе она представлялась глазамъ его. Такимъ поэтическимъ міросозерцаніемъ запечатлѣны всѣ общія воззрѣнія и заключенія нашего археолога-поэта. Такъ одинокіе, забытые, разсѣянные камни поражаютъ его одной своей странною особенностью: всѣ они сдѣланы такъ, что поставленные на своемъ подножіи, непремѣнно накрепиваются на одну сторону и остаются всегда въ наклонномъ положеніи, составляя уголъ съ линіей горизонта. Простой ли случай, фактъ неразумной природы или дѣйствительный разумный фактъ народной жизни, только эта особенность карельскихъ камней вызываетъ въ душѣ наблюдателя слѣдующее поэтическое предположеніе: «Если вообразить—говорить онъ—что нѣкогда-быть-можетъ нѣсколько сотъ такихъ разнovidныхъ камней стояли вмѣстѣ, всѣ склоныя печально къ одной сторонѣ (можетъ-быть къ востоку), то нельзя не согласиться, что въ совокупности должны были они выражать одну общую мысль и—безъ сомнѣнія—мысль *умную*...». Вопросъ—почему эти камни испровергнуты, разбиты и разсѣяны по полямъ, снова даетъ поводъ къ такой поэтической догадкѣ: «однѣ стихіи не могли, кажется, раскрошить на такіе мелкіе и часто правильные обломки этого стараго каменнаго быта! Можетъ-быть, какое-нибудь *враждебное племя*, сдѣлавъ набѣгъ на племена, *сидѣвшія* въ огромномъ каменномъ гнѣздѣ въ нынѣшней Тверской Кареліи, разбило ихъ домашнюю утварь, раздробило разноцвѣтные *палисады*, *изображенія птицъ*, завалило пескомъ *сухіе колоды* (вѣроятно подземные входы и выходы), въ которыхъ находятъ иногда оружіе и вещи изъ домашняго быта; сорвало надгробные камни съ могилъ, словомъ—разрушило весь бытъ древнихъ алаунцевъ. Время, принявъ въ жернова свои остатки удѣлѣвшаго, истерло ихъ почти въ пыль, болотная влага затлила могилы по долинамъ, и бытъ нѣкогда цѣльный, огромный, ярко песгрѣвшій среди необозрѣмыхъ лѣсовъ, на темени Алауна, теперь едва примѣтенъ въ разсѣянныхъ отрывкахъ своихъ!» Сводя свои наблюденія къ общему итогу, Глинка еще съ большимъ, истинно поэтическимъ воодушевленіемъ и фанта-

зіей рисуетъ картину быта древней Кареліи: «Перенесемся — говорить онъ — на минуту въ глубокую древность, вообразимъ нынѣшнюю Тверскую Карелію — страну, пересѣченную холмами, оврагами и рѣчками, покрытую дремучими непроходимыми лѣсами, которыхъ теперь почти не осталось и признака; вообразимъ множество земляныхъ (тогда еще *сысожи*) насыпей, кругообразно уставленныхъ по лѣсамъ; вообразимъ длинные ряды пестрыхъ каменныхъ *палисадъ*, смыкавшихъ курганы; прибавимъ множество *птицъ*, животныхъ и разнообразныхъ символическихъ фигуръ, все высѣченныхъ, округленныхъ изъ камня; представимъ себѣ долины съ ихъ могилами и надгробными камнями, склоненными къ *одной известной сторонѣ*; представимъ, что въ одну изъ темныхъ ночей, въ густотѣ древнихъ лѣсовъ, засверкали, въ видѣ обширнаго круга, огни на курганахъ, служившихъ алтарями; что бурное дыханіе сѣвера раздуваетъ эти *священные огни* и тысячи могучихъ великановъ, вооруженныхъ суковатыми каменными *палицами* — молятся!... Представимъ все это, и мы будемъ имѣть очеркъ картины дикаго, вѣроятно грознаго, землекаменнаго быта, существоваващаго задолго до *Нестора*, можетъ-быть — во времена незапамятныхъ! Исторія моложе сихъ *построений* и самое *преданіе* не умѣетъ ничего сказать о началѣ оныхъ. Теперь все, что могло остаться, переживъ вѣка, утаено лѣсами, потонуло въ болотахъ, разсѣяно по полямъ, облитымъ зеленымъ и золотымъ моремъ жатвы, и смѣшалось съ произведеніями дна настоящаго моря, которое нѣкогда въ бурныхъ порывахъ своихъ захлснуло верхи Алауна!» Позднѣе еще разъ возвратился Федоръ Николаевичъ къ своимъ любимымъ древнимъ курганамъ и насыпямъ Тверской Кареліи; онъ снова вызвалъ въ душѣ его мечту о жизни, опочившей подъ ихъ развалинами¹⁾. Къ прекрасному стихотворенію онъ присоединилъ прозаическое примѣчаніе, дополняющее его прежнія изслѣдованія и описанія. Позволяемъ

1) Стихотвореніе въ Москвитинѣхъ 1851, № 8, стр. 291—3.

себѣ привести здѣсь небольшую выдержку, имѣющую интересъ и для археологовъ и для геологовъ:

«Надпись, найденная на одномъ изъ камней Тверской Карелии, возбудила вниманіе Датскаго Общества Древностей, и одинъ изъ членовъ его прочелъ самую надпись, составленную изъ двойныхъ рунъ — *doppelte Runnen*. Именитый академикъ нашъ, г. профессоръ Шегренъ, занявшись тѣмъ же предметомъ, открылъ, въ той же надписи, и славянскій смыслъ.

«Оказывается, что на томъ мѣстѣ, или въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лежалъ камень, князь *Имварь* (норманскій рыцарь) былъ поднятъ на щитахъ, т. е. провозглашенъ *вождемъ*. Какъ будто подъ пару надписи, на томъ же полѣ найдена каменная голова рыцаря, разумѣется, пострадавшая отъ времени, но шлемъ и кое-что уцѣлѣло.

«Въ мѣстахъ сдѣланныхъ находокъ всего примѣчательнѣе подземные дубы. Я называю ихъ подземными, потому что, по крайней мѣрѣ, на шесть аршинъ засыпаны они пескомъ и землею. По всей рѣкѣ Медвѣдицѣ, при спаденіи весеннихъ водъ, выказываются, изъ-подъ высокихъ береговъ, вѣтвистыя верхушки. Крестьяне, цѣлыми селеніями, посредствомъ каната и ворота, овладѣваютъ этими верхушками и извлекаютъ, изъ-подъ берега, дубы огромныхъ размѣровъ. У меня есть пластинки этихъ подземныхъ дубовъ, употребляемыхъ мѣстными жителями на разные подѣлки. Тверская губернія почти сплошь покрыта теперь однимъ только краснымъ лѣсомъ: когда жь росли въ ней дубы, и такіе еще огромные?!—Въ тѣхъ же берегахъ находятъ и зубы мамонта, можетъ-быть современника былыхъ дубовыхъ рощей.

«Должно полагать, что нѣкогда (а когда это было?) грозный ураганъ, однимъ разомъ, повалилъ всѣ дубовые лѣса: ибо дубы всѣ лежатъ рядомъ и вершинами *все въ одну сторону*. Тотъ же ураганъ навалилъ откуда-то и глыбы песковъ, составляющихъ теперь зыбучіе берега тамошнихъ рѣкъ. — Касательно камней съ надписями, изъ которыхъ одна, какъ сказано, уже прочитана Датскимъ Обществомъ и нашимъ ученымъ Шегреномъ, у

меня есть два-три камня съ явственными знаками, заключающими въ себѣ мысль. И недавно получилъ я отъ (бывшаго, нынѣ уже умершаго) тверского губернатора (А. П. Бакунина), вмѣстѣ съ изданною имъ прекрасною статистическою книгою: «Описаніе состоянія Тверской губерніи», и одинъ камень (довольно большой), весь исчерченный знаками, имѣющими видъ переплетенныхъ между собою неизвѣстныхъ буквъ. Можетъ-быть, когда-нибудь исторія или догадливость ученыхъ *спрыснетъ живою водою* эти признаки и знаки древности, а до тѣхъ поръ поэту вольно любоваться ими, какъ *остатками* какого-то бывшаго міра».

Строгая наука устраняетъ изъ своей области поэтическую фантазію, она не жертвуетъ ей истинною, она требуетъ лишь дознаннаго факта, какъ бы суровъ, скупъ и непривлекателенъ ни былъ онъ, она признаетъ догадку осмотрительно, лишь въ крайнемъ случаѣ и то, когда существуютъ достовѣрныя для нея основанія, но да позволено будетъ нашему поэту и въ дѣлѣ науки не измѣнять призванію своей жизни; не станемъ упрекать его, что послѣ бесѣды съ нѣмыми памятниками сѣдой древности, онъ не остался холоденъ къ загадочной судьбѣ ихъ и далъ волю крылатой мечтѣ поэта. Отстранивъ поэзію, мы найдемъ и другую сторону въ небольшомъ трудѣ Ѧ. Н. Глнкі, и она-то останется надолго достояніемъ строгой науки: это—внимательное, подробное описаніе того, что, выражаясь его же словомъ, случилось ему встрѣтить въ Тверской Кареліи. Ѧ. Н. Глнка первый обратилъ вниманіе на каменные древности сѣверной Россіи, первый указалъ на важные слѣды древняго исчезнуващаго быта, сохранившіеся въ каменныхъ постройкахъ и сооруженіяхъ, отъ его взгляда не ускользнула ни одна крупная черта ихъ, которою такъ дорожитъ изслѣдователь старины: обстоятельная топографія памятниковъ, подробное и точное описаніе внѣшняго ихъ вида, украшеній, способа постройки и вещей, въ нихъ находимыхъ — все осмотрено по возможности тщательно, насколько позволили средства и силы; даже и нѣкоторымъ догадкамъ его, при всей ихъ поэтической смѣлости, нельзя отказать ни въ убѣ-

дательности, ни въ остроуміи. Сохраняя всю свѣжесть литературнаго произведенія, небольшой трудъ Ѳ. Н. Глинки и понынѣ сохраняетъ все серьезное значеніе, пока ничѣмъ незамѣпнаго, ученаго описанія: несмотря на успѣхи русской науки древности, мы до сихъ поръ не можемъ указать ни на одно сочиненіе, которое сдѣлало бы непужнымъ этотъ трудъ—и вотъ почему, независимо отъ своихъ историческихъ достоинствъ, онъ все еще имѣетъ за собою и достоинства такъ сказать современные. Это заслуга прочная и нельзя съ благодарностью не помянуть о ней въ тотъ день, когда Общество Любителей Россійской Словесности празднуетъ пятидесятилѣтіе вступленія Ѳ. Н. Глинки въ число своихъ членовъ!

Некрологъ проф. Иванова.

1869.

30-го марта скончался въ Дерптѣ бывшій профессоръ русской исторіи въ Казанскомъ и Дерптскомъ университетахъ, Николай Алексѣевичъ Ивановъ. Въ скорбную книгу отшедшихъ дѣлателей русскаго просвѣщенія заносится еще одно имя, заслуживающее доброй памяти. Извѣстное непогимъ, оно тѣмъ не менѣе имѣетъ право на такую память, ибо путь жизни пройденъ этимъ человекомъ не безслѣдно для общаго блага — просвѣщенія.

Н. А. Ивановъ принадлежалъ къ тѣмъ миссіонерамъ, которыхъ умѣло отыскать и выслало на подвигъ блестящее министерство Уварова. Воспитанникъ Нижегородской гимназіи и Казанскаго университета, онъ довершилъ свое образованіе въ такъ-называемомъ второмъ профессорскомъ институтѣ въ Дерптѣ; здѣсь еще живы были преданія Эверсовой школы, и если тогдашній профессоръ исторіи Крузе могъ быть полезенъ молодому русскому ученому лишь своею богатою библіотекой, то онъ обильно вознаграждалъ себя въ слушаніи лекцій и бесѣдахъ съ

Рейдомъ, Бунгеи Нейманномъ младшимъ; не мало, по его словамъ, обязавъ онъ и своему старшему товарищу Прейсу, который уже тогда изучалъ славянскія нарѣчія, исторію и литературу славянскихъ племенъ. Изъ такой школы Ивановъ вынесъ не только основательное знакомство съ историческими источниками и критическую отчетливость, но и цѣльность общаго воззрѣнія на историческія судьбы родной земли. Только при условіи этого общаго взгляда можно объяснить себѣ, что въ двадцати-четырёхлѣтнемъ юношѣ возникла мысль написать сочиненіе, которое представило бы полную картину Россіи въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и литературномъ отношеніяхъ; но мысль, конечно, и осталась бы мыслью — за недостаткомъ средствъ къ приведенію ея въ исполненіе, еслибъ г. Булгарину не вздумалось обратить ее въ свое прославленіе: онъ принялъ на себя доставить Иванову всѣ средства къ исполненію задуманнаго труда, съ обязательствомъ, однако, чтобы сочиненіе вышло въ свѣтъ не подъ именемъ настоящаго автора, а подъ псевдонимомъ издателя. Молодой ученый былъ настолько чуждъ литературнаго самолюбія, что принялъ это условіе, и въ 1837 г. появилась такимъ образомъ «Россія въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и литературномъ отношеніяхъ», 4 части исторіи и 2 части статистики. Объ Ивановѣ упомянуто только, какъ о сотрудникѣ статистической части, а настоящимъ авторомъ — объявленъ Булгаринъ. Дѣло прошлое: оба виновника лежатъ въ могилахъ, и можно, кажется, объявить истину, и безъ того, впрочемъ, многимъ извѣстную. Самъ Ивановъ не любилъ рассказывать объ этомъ происшествіи: на мои неоднократные вопросы онъ отсылалъ меня къ статьѣ профессора Крузе въ *Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung*, гдѣ, по его словамъ, описано все, какъ было; но однажды — въ добрую минуту — самъ рассказалъ все дѣло, прибавляя, что все-таки онъ обязанъ Булгарину доставленіемъ важнѣйшихъ литературныхъ пособій. Трудъ, о которомъ говоримъ, теперь забытъ многими, но едва ли потому, что онъ заслуживалъ забвенія, а — ка-

жется — по милости своего ложнаго паспорта; по крайней мѣрѣ такой глубокой знатокъ славянскаго міра, какъ Шафарикъ, въ свое время отозвался объ этомъ сочиненіи съ полнымъ уваженіемъ (см. Часописъ чешскаго музея 1837 г., стр. 372—4), да и теперь тридцати-семилѣтніе успѣхи науки не сдѣлали его совершенно лишнимъ.

Выдержавъ въ Дерптскомъ университетѣ экзаменъ на степень доктора философіи, Ивановъ въ 1839 году публично защищалъ диссертацию: «Cultus popularis in Rossia originis at progressus adumbratio», и вслѣдъ затѣмъ отправился въ Казань профессоромъ русской исторіи. Судя по тому, что удавалось намъ слышать отъ непосредственныхъ учениковъ его, дѣятельность его была особенно плодотворна въ первые годы профессорства, когда непривѣтливая среда и разныя обстоятельства еще не успѣли ослабить его благородной энергіи. Въ эту свѣтлую эпоху своей жизни онъ имѣлъ не только внимательныхъ слушателей, но и пасторщихъ учениковъ¹⁾; читанные имъ курсы русской и всеобщей исторіи и русскихъ древностей возбуждали общій интересъ къ историческимъ занятіямъ и историческому образованію. Ихъ вліянію, кажется, должно приписать возникновеніе казанской исторической литературы, органомъ которой были сначала «Ученыя Записки» университета, а позднѣе — «Православный Собесѣдникъ». Къ этой же порѣ относятся и печатные труды Иванова, бывшіе результатомъ его прілежныхъ архивныхъ занятій въ библіотекахъ Москвы и С.-Петербурга, таковы: 1) «Краткій обзоръ русскихъ временниковъ, находящихся въ Москвѣ и С.-Петербургѣ». К. 1843 года, и 2) «Общее понятіе о хронографахъ и описаніе нѣкоторыхъ списковъ ихъ». К. 1843 г. Можно ожидать, что эти труды окажутся теперь во многомъ недостаточными, но оказаться бесполезными они не мо-

1) Вспомнимъ г. Артемьева, которому принадлежитъ замѣчательная диссертация «О вліяніи варяговъ на славянъ»: она писана подъ руководствомъ Иванова.

гутъ уже и потому, что представляютъ плодъ самостоятельной отчетливой работы надъ рукописными источниками. Последнее сочиненіе представляетъ живую картину развитія русской исторической науки до 1843 года и мѣткую оцѣнку ея явленій. Если ко всему этому мы присоединимъ небольшую статью «О сношеніяхъ папъ съ Россіей», то будемъ имѣть почти все, что издано Ивановымъ при жизни. Не велико число этихъ трудовъ, но нужно знать, гдѣ и при какихъ условіяхъ дѣйствовалъ человѣкъ, чтобъ воздержаться отъ празднаго укора въ недѣтельности.

Въ 1856 году Ивановъ перешелъ изъ Казани на кафедру русской же исторіи въ Дерптскомъ университетѣ, а черезъ три года, по обстоятельствамъ, долженъ былъ выйти въ отставку. Дѣятельность его возобновилась нѣсколько лѣтъ спустя, но уже на другомъ поприщѣ: прежній профессоръ становится педагогомъ, преподавателемъ русскаго языка и русской исторіи въ Митавской *gymnasium illustre*. Его благородныя усилія возвести преподаваніе русскаго языка на степень, достойную педагогическаго предмета, его приемы преподаванія, какъ намъ извѣстно, находили полное признаніе со стороны всѣхъ людей безпристрастныхъ, и приносили добрые плоды; еще болѣе, мы увѣрены, стремленія его будутъ признаны и оцѣнены въ настоящее время, когда дѣлаются попытки замѣнить ихъ иными... Во время своей педагогической дѣятельности Ивановъ получилъ порученіе отъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа составить обстоятельную программу русской исторіи для гимназій, и онъ съ увлеченіемъ юноши посвятилъ на это свои послѣднія силы. Произведеніе его вышло, въ своемъ родѣ, классическое: это не программа въ строгомъ смыслѣ, но полное руководство къ изученію русской исторіи, равно полезное и для педагогическихъ цѣлей, и для серіозныхъ специальныхъ занятій предметомъ. Къ сожалѣнію, Ивановъ успѣлъ напечатать только періодъ до времени Іоанна Грознаго; остальное, конечно, по нахожденіи оригинала, будетъ издано заботливымъ начальствомъ.

Должность преподавателя Ивановъ занималъ до февраля

текущаго года, когда Дерптскій университетъ пригласилъ его снова принять на себя обязанности доцента русскаго языка. Привязанный къ Дерпту съ юности, Ивановъ поспѣшилъ къ прежнимъ пенатамъ, надѣясь найти здѣсь успокоеніе своей тревожной, одиокой жизни — и встрѣтилъ *дѣйствительное успокоеніе!* Вмеѣстѣ съ останками человѣка могила должна схоронить въ себѣ и память о мелкихъ слабостяхъ его природы, о страстяхъ, которыми, быть можетъ, омрачалась жизнь его. Только черствое чувство можетъ вспоминать о нихъ, когда рѣчь идетъ о доброй памяти почившаго, о правѣ его на добрую память... Вотъ почему, признавая безпристрастно это право за нашими близкими покойникомъ, мы простимся съ нимъ сердечнымъ пожеланіемъ: «да будетъ земля ему перомъ»!

Исторія русскаго права,

сочиненіе О. Леонтовича, выпускъ 1-й. Одесса. 8°, 151 стр.

1870.

Необходимость имѣть исторію русскаго права особенно стала чувствительна теперь. Къ высокому, безотносительному интересу самой науки, присоединились живые интересы практической жизни, и поучительныя истины первой могутъ свободно входить въ послѣднюю и имѣть свое доброе руководящее значеніе въ ней. То обстоятельство, что не всѣ еще матеріалы русскаго права извѣстны и вполне разработаны, едва ли можетъ служить помѣхой къ попыткѣ общаго изложенія исторіи этой науки. Пробѣлами страдаетъ каждая историческая наука; это — прямое слѣдствіе недостаточности матеріала, которымъ можетъ располагать историкъ, и естественный признакъ роста науки: внося свѣтъ въ одинъ, темный область, она вмѣстѣ съ тѣмъ открываетъ другія, новыя, дотошѣ незамѣченныя, стороны, которыя также бываютъ темны и нуждаются въ подобныхъ же раз-

ясненіяхъ. Съ расширеніемъ взгляда, расширяются и самыя требованія. Преслѣдуя требованія безусловной полноты, должно навсегда отказаться отъ всякихъ попытокъ общаго изложенія историческихъ наукъ; а между тѣмъ подобныя попытки могутъ имѣть не только общеобразовательное значеніе, но и содѣйствовать дальнѣйшему развитію самой науки. Потому предпріятіе г. Леонтовича написать полную исторію русскаго права кажется намъ и своевременнымъ, и заслуживающимъ полного признанія и привѣта. Имя г. Леонтовича не въ первый разъ встрѣчается въ нашей историко-юридической литературѣ: онъ успѣлъ уже издать три замѣчательныя монографіи («Русская правда и Литовскій статутъ», «Крестяне юго-западной Россіи по Литовскому праву» и «Древнее хорватско-далматское законодательство»), и нѣсколько статей по исторіи славянскаго права (въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія»). Къ области собственно славянскаго права принадлежитъ и первый выпускъ сочиненія, заглавіе котораго нами выписано выше, потому что въ немъ, главнымъ образомъ, излагается обычное право древнихъ славянъ и русскихъ въ особенностяхъ (до призванія князей). Эта часть служитъ какъ бы вступленіемъ въ исторію отечественнаго права, которая откроется со второго выпуска. Желая познакомить читателей съ этимъ трудомъ, мы представимъ обзоръ ея содержанія и критическую оцѣнку тѣхъ, впрочемъ главнѣйшихъ, частей ея, которыя соприкасаются съ предметами нашихъ собственныхъ занятій; оцѣнка же немногихъ страницъ чисто-юридическаго содержанія можетъ быть сдѣлана только юристами.

Во введеніи авторъ сначала предлагаетъ понятіе о предметѣ исторіи русскаго права, о внѣшней и внутренней сторонѣ ея, о раздѣленіи исторіи русскаго права на періоды. Здѣсь онъ входитъ въ подробную оцѣнку различныхъ мнѣній объ этомъ предметѣ и, представляя свое дѣленіе на шесть періодовъ, обозрѣваетъ кратко характеръ cadaго изъ нихъ. Не касаясь вопроса о важности и необходимости дѣленія исторіи русскаго права на

періоды и даже допуская, что авторъ сумѣлъ классифицировать предметъ лучше и вѣрнѣе своихъ предшественниковъ, все же едва ли можно признать сообразнымъ съ цѣлью общаго курса этотъ пространный переборъ мнѣній, иногда только тѣмъ и замѣчательныхъ, что они составлены помимо всякаго знакомства съ фактической стороной предмета. Авторъ, безъ всякаго ущерба своему дѣлу, могъ избавить себя отъ такого труда и ограничиться только изложеніемъ своей собственной системы: степень основательности ея была бы лучшею критикой предшествовавшихъ мнѣній.

Слѣдующій затѣмъ отдѣлъ обнимаетъ обзоръ источниковъ исторіи русскаго права, т. е. простое библиографическое перечисленіе ихъ. Сознаемся откровенно, что этотъ перечень, какъ и исчисленіе трудовъ по исторіи русскаго права (стр. 60—65), мало удовлетворилъ насъ: мы не нашли здѣсь указанія на многое, несомнѣнно важное (напримѣръ, на «Исторію російской іерархіи»—Амвросія); напротивъ, нашли указанія на многое, ненужное никакого значенія и даже такое, въ чемъ нѣтъ ни единого слова о славянскомъ или русскомъ правѣ (напримѣръ, изд. «Рукописи графа Уварова» «Gildemeister»—*Scriptorum arabum de Rebus indicis* и ми. др.); въ особенности же непріятно поражаютъ cadaго внутренній безпорядокъ этого каталога и библиографическія неточности его. Для примѣра мы укажемъ, что извѣстное изданіе Тобина: «Die Prawda Russkaja» приводится три раза (стр. 35, 38), какъ-будто это три особыя сочиненія! Очевидно, что при многихъ указаніяхъ авторъ слѣдовалъ не собственному опыту, а такимъ же неточнымъ указаніямъ другихъ.

Вообще эти два параграфа книги г. Леонтовича нуждаются въ обстоятельной критической повѣркѣ, безъ чего они не достигнутъ своей цѣли — служить указаніемъ источниковъ и пособій по исторіи русскаго права.

Далѣе авторъ разсматриваетъ научную обработку исторіи русскаго права и вмѣстѣ съ тѣмъ методъ, которому должно слѣдовать въ обработкѣ его. Изъ трехъ главныхъ направленій въ

изученіи предмета: западнаго, византійскаго и славянскаго, онъ считаетъ послѣднее (т. е. сравнительное изученіе славянскихъ законодательствъ) наиболѣе цѣлесообразныхъ въ примѣненіи къ исторіи русскаго права, хотя признаетъ въ то же время и важность изученія его параллельно съ правомъ другихъ народовъ неславянскаго происхожденія. Важность изученія византійскаго права авторомъ вовсе не уяснена и едва мимоходомъ затронута; нельзя признать справедливою мысль, что изслѣдователи, разработывавшіе исторію русскаго права сравнительно съ западнымъ, «не замѣчали общечеловѣческой природы юридическихъ явленій и объясняли сходство юридическихъ установленій у разныхъ народовъ — заимствованіемъ ихъ другъ у друга»; по крайней мѣрѣ это не совѣтъ вѣрно относительно Эверса. Нѣсколько словъ въ этомъ отдѣлѣ посвящено и старой домашней распрѣ о родовомъ и общинномъ бытѣ, при чемъ авторъ вмѣняетъ въ особую заслугу покойному К. Аксакову и г. Бѣляеву разработку теоріи общиннаго быта. Сколько намъ извѣстно, Аксаковъ вовсе не пускался въ разработку этого предмета, а за г. Бѣляевымъ едва ли можно признать заслугу осторожнаго изслѣдователя. Теоріи общиннаго и родового быта еще ждутъ своего изслѣдователя. Если теорія строго замкнутаго родового быта не встрѣчаетъ оправданія въ исторіи, то столь же мало согласна съ исторической истиной и идеальная картина древне-русской общины, которую до сихъ поръ рисуютъ намъ нѣкоторые изслѣдователи. Изложенію собственнаго предмета, т. е. обычнаго права древнихъ славянъ вообще и русскихъ въ особенности (до призванія князей), авторъ предпосылаетъ библиографическій обзоръ источниковъ и пособій для этого времени; онъ составленъ хотя и нѣсколько обстоятельныѣ предыдущихъ двухъ, но также страдаетъ неполнотой и неточностями всякаго рода и также нуждается въ передѣлкѣ. Не указаны, напримѣръ, вовсе новыя, исправлѣнншія изданія латинскихъ источниковъ, пройденъ молчаніемъ столь важный для исторіи славянской культуры Саксонъ Грамматикъ, не упомянутъ въ отдѣлѣ изслѣдованій

и прекрасный трудъ Воцеля *Pravěk země české*; наоборотъ указаны сочиненія и статьи, неимѣющія никакой цѣны и значенія...

Затѣмъ слѣдуетъ полное интереса разсмотрѣнiе вопросовъ: о правдѣ, законѣ и обычаѣ у древнихъ славянъ, о мѣстныхъ и племенныхъ обычаяхъ и о консервативномъ характерѣ обычнаго права славянъ, о формахъ, символизмѣ и обрядности славянскаго права, о юридическихъ пословицахъ и формулахъ, о значеніи вѣщбъ, сказаній и пѣсенъ, о доскахъ и книгахъ, о внутреннемъ характерѣ и направленіи обычнаго права древнихъ славянъ, о религіозно-общинномъ характерѣ ихъ юридическихъ обычаяхъ, наконецъ о дальнѣйшей судьбѣ обычнаго права у насъ и другихъ славянъ въ позднѣйшія эпохи государственной ихъ жизни. Вопросы, какъ видно — высокой важности и интереса! Но авторъ разсматриваетъ ихъ такъ бѣгло, въ такихъ общихъ чертахъ, что едва ли можетъ удовлетворить чье-либо пытливое вниманіе: собственныхъ разысканій — нѣтъ никакихъ; все ограничивается, не скроемъ этого, поверхностною передачей уже извѣстнаго; вмѣстѣ съ вѣрнымъ и доказаннымъ передается иногда и вовсе невѣрное или недоказанное. Укажемъ, напрямѣръ, на невѣрную русскую передачу того мѣста изъ Суда Любуши, гдѣ говорится о «святоочистительной водѣ» (*svatocudna voda*), которую авторъ переводитъ беззначительнымъ словомъ: *святотудная вода*; укажемъ дажѣ на повтореніе стараго, нынѣ всѣми оставленнаго, мнѣнія, будто бы у балтійскихъ вагровъ былъ особый *deus juris*, *Прове* — богъ правды, каратель кривды... Изъ сказаній Гельрольда намъ дѣйствительно извѣстно существованіе вагрскаго божества *Prove*, *Proven*, но чтобъ онъ былъ богомъ правды и карателемъ кривды — этого ни откуда не видно: до такого отвлеченія въ религію не доходили балтійскіе славяне, и потому гораздо вѣрнѣе въ этомъ племени видѣть уменьшительное наименованіе Перуна.

Книгу заключаютъ *приложенія*, содержащія въ себѣ свидетельства о бытѣ древнихъ славянъ, извлеченныя изъ лѣтопис-

цевъ, географовъ и народныхъ (сербскихъ и чешскихъ) пѣсень. Такія приложенія нельзя не найти вполне умѣстными, если они будутъ составлены съ извѣстной полнотой и критической осмотрительностью. Къ сожалѣнію, поспѣшность, бѣлыми нитками проходящая черезъ всю книгу автора, отразилась и здѣсь — и едва ли не болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Что авторомъ заимствовано изъ «Древностей» Шафарика, то, хотя и неполно, хотя и нуждается въ нѣкоторыхъ корректурахъ по новѣйшимъ изданіямъ, но вообще составлено критически; но то, что онъ приводитъ отъ себя, поразить каждого своею неточностью. Таковъ его сборникъ извѣстій арабскихъ писателей. Здѣсь авторъ вовсе не различаетъ оригиналовъ или того, что, пока, должно считать за оригиналы, отъ простыхъ заимствованій, неимѣющихъ никакой цѣнности. Сверхъ того, онъ, напримѣръ, дѣлаетъ выдержки изъ доселѣ почти неизвѣстнаго сочиненія Массуди (*Histoire des siècles etc.*), тогда какъ эти мѣста находятся вовсе не тамъ (или, быть-можетъ, они существуютъ и тамъ, но этого — покаместъ никто не знаетъ), а въ другомъ сочиненіи того же араба, извѣстномъ всѣмъ подъ названіемъ «Золотыхъ Луговъ»; въ довершеніе же всего — авторъ открываетъ *новый арабскій* источникъ исторіи славянъ, именно писателя *Абу-эль-Кассира*, жившаго будто бы въ половинѣ X-го вѣка, и приводитъ изъ него выписки... Каждый, знакомый съ дѣломъ, догадается, что этотъ писатель есть подставное, вымышленное лицо, изобрѣтенное извѣстнымъ ориенталистомъ Оссономъ для того, чтобъ, странствуя съ нимъ, удобнѣе было свести въ одно цѣлое разнообразныя арабскія показанія о Кавказѣ и странахъ Южной Руси: Оссонъ самъ объявилъ это на 2-й же страницѣ предисловія къ своей книгѣ «*Les peuples du Caucase*», а авторъ поспѣшилъ принять этотъ «*faux riva*» за дѣйствительность и приписалъ небывалому Абу-эль-Кассиму то, что въ дѣйствительности принадлежитъ Ибнъ-Хаукалю, Массуди и Ибнъ-Фадляну. Такія торопливыя, невѣрные указанія могутъ ввести въ заблужденіе людей, не близко знакомыхъ съ предме-

томъ. Въ заключеніе скажемъ, что и корректура книги носитъ на себѣ слѣды такой же спѣшной работы.

Мы не скрывали важнѣйшихъ недостатковъ книги г. Леонтовича. Къ нѣкоторой строгости насъ обязывала и высокая важность предмета, и убѣжденіе, что такая необходимая книга скоро потребуетъ новаго изданія, что даровитый авторъ, при бо́льшей методической отчетливости въ трудѣ, можетъ обогатить нашу историко-юридическую литературу прекраснымъ и долговѣчнымъ произведеніемъ. Съ этой точки зрѣнія мы и просимъ его взглянуть на наши краткія, безпритязательныя замѣтки.

Сравнительное языкознаніе.

«Sprache ist der volle Athem menschlicher Seele». J. Grimm.

I.

Очеркъ исторіи языкознанія. Филологія и лингвистика.

1870.

«Я васъ прошу—писалъ Гёте къ гр. Уварову—и, въ случаѣ необходимости, я требую отъ васъ обѣщанія: не вѣрять никому изъ нѣмцевъ исправленія вашихъ (нѣмецкихъ) сочиненій. Навѣрно это отыметъ у нихъ именно то, что составляетъ ихъ особое достоинство въ моихъ глазахъ и придастъ имъ много такихъ достоинствъ, къ которымъ я совершенно равнодушенъ. Пользуйтесь мирно всею огромною выгодною вашего невѣдѣнія *правильна* нѣмецкой грамматики: вотъ уже тридцать лѣтъ, какъ я стараюсь позабыть ее!»

Полстолѣтіе придало много смысла этимъ словамъ перваго знатока нѣмецкой рѣчи!

До конца прошлаго вѣка наука о языкѣ находилась въ очень незавидномъ положеніи: классическіе филологи скромно ограничивались изученіемъ рукописныхъ вариантовъ въ произведеніяхъ

писателей древности и не шли далѣе — такъ называемой — практической грамматики, имѣвшей цѣлью научить правильно говорить и писать на языкахъ греческомъ или латинскомъ.

Общее направленіе литературы и образованности какъ средне-вѣковой, такъ и новой (съ эпохи *Возрожденія*) — не позволило языкознанію стать на родную почву и, ограничивъ его классической стилистикою, стѣснило весь его кругозоръ въ узкія рамы книжнаго употребленія. Несмотря на то, что грамматическое изученіе довольно рано коснулось народнаго языка, — прежняя схоластическая схема удержала свои права и выродилась, наконецъ, въ довольно послѣдовательную доктрину, слѣды которой не совершенно исчезли еще и понынѣ. Въ такомъ примѣненіи филологическаго метода къ изученію роднаго языка заключалась большая ошибка: по весьма справедливому замѣчанію г. Буслаева «отношеніе учащихся къ чужому и къ родному языку — не одинаково.» Въ первомъ случаѣ ему должно — въ полномъ смыслѣ слова — *научиться употребленію языка* затѣмъ, чтобы понимать произведенія, на немъ написанныя; а во второмъ — съ колыбели практически знакомый съ языкомъ, онъ только приводитъ къ сознанію то, что употребляетъ дотогѣ безсознательно. Этого не понимали практическіе филологи, выросшіе на схоластической грамматикѣ — и потому очень серіозно преподавали *правила* правильнаго употребленія роднаго языка такимъ ученикамъ, которые, быть-можетъ, говорили гораздо правильнѣе своихъ наставниковъ.

Такого рода направленіе въ изученіи роднаго языка господствовало въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка въ Германіи; представителями его были двое извѣстныхъ ученыхъ того времени: Готшедъ и Аделунгъ. Несмотря на довольно близкое знакомство съ памятниками готскаго и древне-верхне-нѣмецкаго языковъ — они не извели изъ этого знанія никакой существенной пользы: имъ обомъ недоставало историческаго смысла; оттого они не поняли ни историческаго движенія языка, ни того преимущества, какое имѣлъ старинный языкъ предъ новымъ;

по ихъ понятіямъ — вторая четверть прошлаго вѣка была золотою эпохою нѣмецкой литературы и языка, эпохою, предъ которою всѣ памятники древней литературы оказывались грубыми и необразованными по содержанію и по языку. «Самоувѣренно — говоритъ Вильг. Гриммъ — выступила тогда грамматика подъ начальствомъ Готшеда — и думала поставить языкъ на ноги; но не имѣла основанія въ историческомъ изслѣдованіи и навязывая языку законы мелкаго разсудка, она не могла попасть на истинную дорогу. Такое зданіе было не прочно: подчиненный произволу языкъ получилъ однообразіе и кажущуюся прочность, но внутренняя живость въ немъ исчезала».

Такъ называемая — общая или философская грамматика, появившаяся еще въ концѣ прошлаго вѣка, внесла живой элементъ въ однообразную, схоластическую область грамматическаго изслѣдованія: произвольныя, тощія правила съ тѣхъ поръ утратили всякій кредитъ; потребовалась *разумная основа* въ построеніи языка, и даже техника доктрины не ушла отъ нападокъ, когда сдѣлалось яснымъ, что она относится только къ двумъ классическимъ языкамъ, уже умершимъ, и не можетъ быть приимима къ языкамъ живымъ¹⁾. Но, при всемъ томъ — философская грамматика была крайне односторонняя и общала болѣе, чѣмъ дать могла. Имѣя въ виду извлечь общіе результаты и подвести разумный философскій итогъ тому, что было сдѣлано по языкознанію до той поры — сама она приняла этотъ готовый матеріалъ за чистую монету и нисколько не сомнѣвалась ни въ пользѣ, ни въ законности филологическаго способа изученія родного языка. Да — къ тому — она имѣла дѣло съ вопросами слишкомъ общими, философскими или логическими, и почти никогда не спускалась додробнаго фактическаго анализа. Такимъ

1) Кому покажется наше мнѣніе о значеніи философской грамматики конца прошлаго вѣка — преувеличеннымъ, того мы отсылаемъ къ статьѣ извѣстнаго Потта о Сравнительной грамматикѣ Боппа, въ *Hallische Jahrbücher* 1838, № 54, 55 и сл. Авторитетомъ извѣстнаго лингвиста мы скрѣпляемъ, въ этомъ случаѣ, наше мнѣніе.

образомъ, безъ твердыхъ основаній, безъ отчетливаго изслѣдованія огромнаго матеріала, она торопливо хотѣла построить цѣлую разумную грамматическую систему, и само собою разумѣется, могла построить одну пустую форму, безъ внутренняго содержанія и жизни.

Въ то же время, если еще не ранѣе, развилось и направленіе *сравнительное*, но и здѣсь успѣхъ не соотвѣтствовалъ усиліямъ и ожиданіямъ! Выѣстѣ съ небольшою долею вѣрныхъ сближеній — въ науку вошло столько лжи и произвола, что сдѣлалось невозможнымъ положить между ними различіе. Самые выводы и общія заключенія ни къ чему не вели и ничего вѣрнаго не говорили: изъ голыхъ сравненій словъ можно было только заключать о сродствѣ языковъ, но ни степень этого сродства, ни его причина — не находили надлежащаго объясненія. Лингвисты, обыкновенно, отправлялись отъ положеній, заранѣе принятыхъ на вѣру и ни на чемъ не основанныхъ, каково напр. положеніе о существованіи общаго *праязыка*, котораго искали то въ еврейскомъ, то въ египетскомъ, китайскомъ, мечтательномъ скиѣскомъ, кельтскомъ и даже — фламандскомъ!

Лингвистическія доказательства сводились къ тому, чтобы подтвердить такое, напередъ сложившееся мнѣніе, что и оказывалось весьма не труднымъ при совершенномъ произволѣ въ сближеніяхъ. Вообще языковѣды прошлаго вѣка мало заботились о томъ, чтобы путемъ историческаго анализа вывести прочные законы развитію языка: для нихъ не существовало правильности въ переходѣ звуковъ и измѣненій словъ; каждое слово у нихъ оказывалось способнымъ ко всевозможнымъ растяженіямъ и измѣненіямъ. Говоря правду — иначе и быть не могло при отсутствіи основательнаго знакомства съ историческими памятниками языковъ и при несуществованіи критеріума, на который бы можно было опереться, потому что изъ языковъ не-европейскихъ изучались только тѣ, которые стояли въ связи съ текстами Ветхаго Заветѣа. Основательному взгляду на сущность и отношенія языковъ кромѣ того — много вредила разныя анти-

научные, теологическіе предразсудки, заранѣе облекшіеся въ испзмѣнную форму, не допускавшую никакихъ ученыхъ изслѣдованій, или сочиненій.

Наконецъ, послѣ долгихъ неудачъ, для языкознанія выдалась счастливая минута: владычество англичанъ въ Остѣ-Индіи повело къ открытію, что древнѣйшая литература индусовъ носитъ на себѣ неопровержимые знаки первобытной, дѣвственной красоты и совершенства. Первая заслуга въ этомъ отношеніи принадлежитъ англичанину Уильяму Джонсу († 1794 г.), который въ 1783 году отправился въ Индію и въ 1784 основалъ въ Калькуттѣ *Азіатское общество*; такимъ образомъ нѣкоторые изъ англичанъ усвоили себѣ выработанную систему древней санскритской грамматики. Эта грамматика образовалась совершенно независимо отъ эллинской науки, и даже гораздо ранѣе ея, потому-что уже въ III вѣкѣ до Р. Х. мы встрѣчаемъ полную грамматическую систему Санскрита (Панини Віакáрана), гдѣ тщательно отдѣлено все, что относится къ флексіямъ и производству словъ, отъ собственныхъ корней. Такого рода познанія были принесены англичанами въ Европу — и лингвисты узнали древнѣйшій языкъ, съ которымъ стоятъ въ ближайшей связи всѣ (индо-европейскіе) нарѣчія Европы и Азіи. Это открытіе составляетъ поворотную точку въ языкознаніи.

Рѣшительный шагъ въ этомъ отношеніи — прежде всѣхъ — сдѣлалъ Францъ Боппъ (род. 1791 г.) своимъ сочиненіемъ: «О системѣ спряженій въ санскритѣ сравнительно съ греческимъ, латинскимъ, персидскимъ и нѣмецкимъ языками.» (*Über das Conjugationssystem der Sanscritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Fran. am. M. 1816 г.*). Подробнымъ разборомъ спряженія и образованія частей рѣчи — онъ показалъ, что различіе между этими языками не было первоначальнымъ, а произошло съ теченіемъ времени, что, напротивъ, они имѣютъ общее основаніе и стоятъ между собою въ тѣсной связи. Въ 1824 году Боппъ читалъ въ Прусской Королевской Академіи Наукъ свой

«Сравнительный анализ санскрита и родственных съ нимъ языковъ» (Vergleichende Zergliederung des Sanscrits und der mit ihm verwandten Sprachen. В. 1824). Такимъ образомъ *санскритъ* послужилъ основаніемъ для гениальныхъ грамматическихъ изслѣдованій — и весьма понятно почему: въ санскритѣ мы имѣемъ тотъ живой отпечатокъ древнѣйшаго языка, которому обязаны своимъ происхожденіемъ всѣ индо-европейскія нарѣчія; если и они сохраняютъ въ себѣ много первобытныхъ свойствъ, объясняющихъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ самый санскритъ, то все же онъ занимаетъ между ними первое мѣсто по богатству корней, полнотѣ флексій и способности къ образованію словъ. Въ санскритѣ открывался ключъ къ разъясненію всей обширной области индо-европейскихъ языковъ: здѣсь уже не могло быть мѣста тѣмъ недалекимъ и нехитрымъ сблженіямъ, какими пробавлялись лингвисты прошлаго вѣка: поразительное сходство его съ языками европейскими уже не находило объясненія ни въ заимствованіи, ни въ историческомъ вліяніи одного народа на другой; оставалось принять за несомнѣнную истину родство племенное. Вопросъ о праязыкѣ, отъ котораго будто бы пошли всѣ прочіе языки земного шара — также устранился самъ собою, за неимѣніемъ прочной точки опоры: признать таковымъ языкомъ санскритъ было невозможно уже и потому, что онъ самъ не свободенъ отъ нѣкоторой позднѣйшей испорченности и находилъ свое полное объясненіе только въ сравненіи и связи съ прочими родственными языками, съ зендомъ, кельтскимъ, латинскимъ, греческимъ, нѣмецкимъ и славянскимъ, между которыми онъ былъ старѣйшимъ по своей первобытной чистотѣ и органической правильности строя. Сверхъ этого разработка языковъ азіатскихъ показала въ нихъ такое коренное различіе отъ языковъ индо-европейскихъ, что мысль объ общемъ праязыкѣ стала чистою невозможностію въ смыслѣ научномъ.

Итакъ санскритъ былъ принятъ за исходный пунктъ при сравнительныхъ сблженіяхъ. Отсюда — прежде всего — долженъ былъ измѣниться самый сравнительный методъ. Необходимость

его была давно уже признана и тѣмъ живѣе чувствовалась, тѣмъ глубже шло убѣжденіе, что безъ него нельзя ни опредѣлить сродства и соотношенія различныхъ языковъ, ни понять первоначальнаго значенія словъ и тѣхъ внутреннихъ законовъ, каковымъ слѣдуютъ языки въ своемъ образованіи и развитіи. Сравнительная этимологія теперь перестала быть дѣломъ прихоти и промывла: языковѣды не смотрѣли уже на нее лишь какъ на средство для подтвержденія заранее принятыхъ убѣжденій, иногда составившихся, помимо всякаго знакомства съ фактами, путемъ темныхъ, антинаучныхъ выводовъ. Поэтому, прежде чѣмъ вывести общія заключенія, лингвисты озабочились точнымъ сравнительнымъ изученіемъ матеріала; тогда открылось, что всѣ родственные языки главнымъ образомъ сходны въ именахъ числительныхъ и мѣстоименіяхъ, а иногда и въ образованіи падежей и глагольныхъ флексій. Изъ сравнительнаго анализа этихъ частей рѣшительно опредѣлялись отношенія и законы перехода звуковъ въ различныхъ языкахъ, явилась возможность почти съ математическою точностью узнать: какіе элементы родственныхъ языковъ должны соответствовать извѣстному элементу въ санскритѣ и, такимъ образомъ, прежнія сравнительныя сближенія по одному пустому созвучію—должны были уступить осторожной лингвистикѣ, основанной на прочныхъ законахъ перехода звуковъ. Конечно, это совершилось не вдругъ, и въ исторіи сравнительнаго языкознанія можно замѣтить нѣсколько измѣненій. На первой порѣ изумительнаго открытія о сродствѣ языковъ — о чемъ прежде едва подозрѣвался, — само собою разумѣется, изслѣдователи должны были перейти границы настоящей правильной точки зрѣнія: съ жадностью лингвисты бросились на огромное количество матеріала, стремясь сперва взять его съ боя, овладѣть имъ и оставить на время всякіе выводы и заключенія. Такое направленіе обнаруживается всего яснѣе въ первыхъ трудахъ Бенфея и Потта. Въ своемъ «Греческомъ корнесловѣ» (*Griechische Wurzellexicon*. В. 1839—42) Бенфей предложилъ опытъ сравнительнаго объясненія всего запаса греческаго языка, обращая

при томъ вниманіе и на языки родственные. Ав.-Фр. Поттъ не ограничилъ своихъ разысканій какимъ-нибудь однимъ языкомъ и распространилъ ихъ на всю индо-европейскую область (за исключеніемъ языковъ славянскихъ, тогда еще мало извѣстныхъ нѣмецкимъ ученымъ); таковы его: «Этимологическія разысканія въ области индо-германскихъ языковъ» (1833—36 2 т.); въ 1856—61 гг. они вышли вторымъ изданіемъ въ совершенно новомъ видѣ: здѣсь уже приняты во вниманіе и языки литовскій и славянскій (*Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen unter Berücksichtigung ihrer Hauptformen Sanscrit, Zend-Persisch, Griechisch-Lateinisch, Littauisch-Slavisch, Germanisch und Keltisch. II Aufl. in völlig neuer Umarbeitung L. 1859—61 2 v.*). Тогда же и Боппъ началъ собирать всѣ отдѣльныя свои изслѣдованія въ одно цѣлое и въ 1833 году вышелъ первый выпускъ его знаменитой «Сравнительной грамматики». Она выходила выпусками и съ каждымъ выпускомъ постепенно расширяла свой объемъ: сначала онъ ограничивался только санскритомъ, зендомъ греческимъ, латинскимъ, литовскимъ, готскимъ и нѣмецкимъ языками; а потомъ, въ послѣдующихъ выпускахъ, являются: славянскій, древне-персидскій и армянскій. Съ пятого выпуска Боппъ принимаетъ во вниманіе и ударенія.

Въ другихъ своихъ трудахъ Боппъ назначаетъ также и кельтскому, и осетинскому мѣсто въ кругъ индо-европейскихъ нарѣчій. Съ 1857 года «Сравнительная грамматика» выходила вторымъ, совершенно переработаннымъ изданіемъ, и окончилась въ 1861 году. Она обнимаетъ всю формальную сторону языка: звуки, флексіи и образованіе словъ. Но при всемъ томъ, методъ изслѣдованія все еще не имѣлъ бы той безукоризненной точности и правильности, при которой бываютъ невозможны всякаго рода гаданія, если бы этому недостатку не помогли съ одной стороны — классическая филологія, съ другой — исторія, или вѣрнѣе — историческій методъ. Курціусъ, одинъ изъ основательнѣйшихъ знатоковъ классической филологіи, справедливо замѣчаетъ, что

сравнительное языкознание въ томъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ въ настоящее время, едва ли было бы возможно безъ тщательныхъ изслѣдованій по классической филологіи, безъ Аристарха, Геродіана, Бутмана, Лобека и др. ¹⁾ Однако, вначалѣ, новая наука долго не получала признанія и была встрѣчена насмѣшками филологовъ, воспитавшихся на строгомъ изученіи языка образцовыхъ писателей древности; они съ недовольствомъ встрѣчали этимологическія сближенія лингвистовъ, видя въ нихъ посягательство на честь науки, приносимой очевидную пользу при чтеніи древнихъ текстовъ. Но когда изъ тумана мифическихъ сказаній и темнаго преданія, мало-по-малу, выступила старая Италія, какъ новая земля, тогда и филологи должны были поступиться и признать нѣкоторое значеніе сравнительнаго языкознанія; препираніе о *санскритистахъ* (т. е. о людяхъ, которые, по понятіямъ классическихъ филологовъ, все выводили изъ Индіи) утихло и филологи начинали уже признавать важность изслѣдованія корней; наконецъ Готфридъ Германъ, старѣйшій и основательнѣйшій изъ филологовъ, къ удивленію своихъ учениковъ, въ одной изъ академическихъ программъ, сравнилъ греческое *ésti* съ санскритск. *asti*; а Лобекъ объявилъ, что если бы онъ былъ помоложе, онъ непременно началъ бы учиться санскритскому языку. Съ тѣхъ поръ почти исчезаетъ презрѣніе классическихъ филологовъ къ сравнительному языкознанію: такіе авторитеты, какъ К. О. Мюллеръ и Ав. Бэкъ, благородно подняли свой голосъ въ пользу новой науки. «Классическая филологія, по словамъ перваго, должна теперь или вовсе отвергнуть историческое значеніе развитія языковъ и пользу изслѣдованія корней словъ и грамматическихъ формъ, или же вполне вѣрять во все, что касается этихъ предметовъ, указаніямъ и объясненіямъ сравнительной

1) G. Kurtius: Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältnis zur classischen Philologie. B. 1849 и статья того же автора въ Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft. 1853. Heft. 1.

филологін». То же самое говоритъ и Августъ Бэкъ, прибавляя, что «при современномъ состояніи языковѣдѣнія, грамматика классическихъ языковъ не можетъ уже обойтись безъ сравнительной грамматики языковъ индо-германскихъ» ¹⁾. Такимъ образомъ установилось принятіе о наукѣ сравнительнаго языкознанія: она ограничилась только тѣми языками, которые между собою родственны. На эту связь указалъ еще Боппъ, когда въ предисловіи въ своей «Сравнительной грамматикѣ» говорилъ, что «цѣль его труда есть сравнительное изслѣдованіе организма *языковъ* между собою *родственныхъ*, каковы: санскритъ, zendъ, армянскій, греческій, латинскій, литовскій, славянскій, готскій и пѣмецкій». Но что значить *родство языковъ*, какъ не изъ первоначальнаго единства происшедшее множество? Въ обыкновенномъ юридическомъ языкѣ родственниками называются лица, имѣющіе общаго родоначальника; такъ и народы, родственные по языку, хотя бы въ послѣдующемъ историческомъ развитіи и далеко отошедшіе другъ отъ друга, развившіеся самостоятельно, необходимо составляли когда-то одинъ цѣльный народъ, цѣльное единство. Говоримъ мы, напримѣръ, о родствѣ славянскаго языка съ литовскимъ — это значитъ, что было время, когда славяне и литва еще не отдѣлялись другъ отъ друга и составляли *одинъ народъ*.

Потому сравнительное языкознание разсматриваетъ отличія въ родственныхъ языкахъ не какъ нѣчто первоначальное, но какъ слѣдствіе дальнѣйшей жизни языковъ, ихъ *исторіи*, потому что оно можетъ быть названо въ полномъ смыслѣ слова — *историческою наукою*. Жизнь человѣчества есть постоянный рядъ видовзмѣненій, постоянно идущая исторія, которую остановить или задержать не въ силахъ никакая частная воля, никакой капризъ или прихоть лица: она совершается по своимъ невѣдомымъ законамъ въ строгомъ порядкѣ: такъ и превраще-

1) См. рѣчь Ав. Бэка: «О филологін и отношеніяхъ ея къ настоящему» въ журналѣ Прута Deutsches Museum. 1851. стр. 39.

ніл въ мірѣ языка и его *исторія*. Въ современномъ своемъ состояніи языки представляютъ нестройную груду неорганическихъ частей, гдѣ старое перемѣшано съ новымъ и гдѣ трудно отыскать ту гармонію, тотъ божественный порядокъ, которымъ былъ отмѣченъ его организмъ въ эпоху созданія. Историческія и мѣстныя условія положили на него свою неизгладимую печать. Старинная живость и изобразительность языка исчезали вмѣстѣ съ исчезновеніемъ первобытныхъ воспоминаній народа, и онъ получалъ смыслъ болѣе и болѣе отвлеченный. Древнюю свѣжесть и красоту языка намъ, до нѣкоторой степени, даетъ чувствовать только наука. Но если языкъ встарину дѣйствительно отличался органическою живою природою, то первую задачу языкознанія должно быть открытіе такой древней формы языка, оттого и первый приемъ въ изслѣдованіи языковъ есть приемъ *историческій*: слѣдя по памятникамъ постепенное измѣненіе формы или звука какого-нибудь слова въ языкѣ, изслѣдователь доходитъ, такъ сказать, до послѣдняго историческаго предѣла, до древнѣйшаго элемента, далѣе котораго въ историческомъ изслѣдованіи идти нѣкуда. Тогда на выручку является процессъ *сравнительный*, который и приводитъ къ *корню* слова, скрывающему первичное его значеніе. Отсюда очевидна связь сравнительнаго языкознанія съ историческимъ. Другъ безъ друга они будутъ не полны и не приведутъ ни къ какимъ окончательнымъ, плодотворнымъ результатамъ. Еще историческое — можетъ принести нѣкоторую пользу въ практическомъ отношеніи, объясняя тѣ формы языка, которыя обыкновенно употребляются безсознательно; но сравнительное, безъ исторической основы, непременно введетъ изслѣдователя въ произвольныя, основанныя на одномъ пустомъ созвучіи, сравненія и производства. Иначе и быть не можетъ: сравненіе имѣетъ смыслъ только между предметами однородными, хотя и имѣющими свои отличія; если же мы пустямя въ сравненія старинныхъ формъ языка съ новыми, не принявъ во вниманіе тѣхъ посредствующихъ терминовъ или измѣненій, какіе ихъ связываютъ, мы никогда не придѣмъ къ ихъ

правильному объясненію. Ясно, что изслѣдователь долженъ от-
правляться отъ историческаго изученія отдѣльнаго языка, и
только, изслѣдовавъ это поле, онъ можетъ вступить на широ-
кую почву сравненія съ другими родственными языками.

Такимъ образомъ языкознаніе изъ сравнительнаго дѣлается
сравнительно-историческимъ.

Если за Францомъ Боппомъ остается имя творца сравни-
тельнаго языкознанія, то создателемъ историческаго, по всей
справедливости, можетъ быть названъ Яковъ Гриммъ.

Въ то время, когда сухое руководство грамматики Аде-
лунга выходило уже шестымъ изданіемъ, появилась «Нѣмецкая
грамматика» Гримма (1819), и многіе не могли понять и нади-
виться, почему въ *нѣмецкую* грамматику входятъ и *готскій*, и
древне, и *средне-верхне-нѣмецкіе* языки. Геніальный грамматистъ
предвидѣлъ это и потому счелъ нужнымъ предварительно объ-
ясниться. Мы приводимъ здѣсь эту блестящую, мѣткую харак-
теристику стараго и новаго филологическаго метода, потому что
никто лучше Як. Гримма не сумѣлъ оцѣнить значеніе и опре-
дѣлить отличительныя черты и противоположности того и другого.
«Цѣль филолога, говорятъ онъ, достигнута, если онъ мало-по-
малу сживается съ древнимъ языкомъ, и, долго и непрерывно
упражняясь въглядываться въ него и чувственно и духовно, такъ
усвоиваетъ себѣ его образъ и составъ, что свободно можетъ
употреблять его, какъ собственное, врожденное достояніе, въ
разговорѣ и чтеніи памятниковъ литературы отжившей. Сoder-
жаніе и форма взаимно условливаются другъ другомъ, такъ что
съ возрастаніемъ уразумѣнія рѣчи и поэзіи богатѣетъ и содер-
жаніе для грамматики. Идетъ она шагомъ болѣе твердымъ, чѣмъ
смѣлымъ, со взглядомъ болѣе здравымъ, нежели пропѣвающимъ
вдалѣ на богато разнообразной поверхности, и, кажется, боясь
исказать ее, не любитъ вскапывать ее въ глубину. Такая грам-
матика преимущественное вниманіе обращаетъ на синтаксисъ,
котораго иѣжная ткань даетъ знать о цвѣтахъ и плодахъ из-
учаемой почвы, и въ которомъ особенно высказывается душа

языка. Она не заботится о происхожденіи измѣнчивыхъ звуковъ и отдѣльных формъ, довольствуясь тщательнымъ и обычнымъ употребленіемъ ихъ въ рѣчи. Въ ученіи объ образованіи словъ занимается она не столько обнаженіемъ корней, сколько производствомъ и сложеніемъ словъ. Всѣ правила языка направляются къ лучшимъ произведеніямъ литературы и неохотно распространяются на области языка, необработанныя искусствомъ и запущенныя. Все грамматическое изученіе неукоснительно служитъ критикѣ словесныхъ произведеній, полагая въ томъ свое призваніе и цѣль. Другой родъ изученія, лингвистическій, углубляется въ языкъ, какъ въ непосредственную цѣль свою, и менѣе заботится о живомъ цѣломъ выраженіи. Дѣйствительно, можно изучать языкъ самъ по себѣ и открывать въ немъ законы, наблюдать не то, что на немъ выражается, а то, что живетъ и вращается въ немъ самомъ. Въ противоположность предыдущему, такое языкоученіе можно назвать члено-разлагающимъ, ибо оно болѣе любитъ разнимать по частямъ составъ языка и высматривать его кости и жилы, менѣе заботясь наблюдать свободное движеніе всѣхъ членовъ и подслушивать иѣжное его дыханіе. Какъ успѣхи анатоміи вообще зависятъ отъ сравненій, такъ и здѣсь возникло сравнительное языкоученіе, извлекающее законы изъ сближенія цѣлыхъ языковъ, или формъ одного и того же языка, *исторически* развивающихся другъ изъ друга, хотя различныхъ, однако — сродныхъ и между собою соприкасающихся. Это изученіе мало слѣдитъ за ходомъ и судьбою литературы и находитъ себѣ такую же пищу въ языкѣ необразованномъ, даже грубомъ діалектѣ, какъ и въ возвышеннѣйшихъ произведеніяхъ классическихъ. Прежде всего берется оно за простѣйшія стѣпи въ звукѣ и флексіяхъ, и въ гораздо меньшей степени занимается синтаксисомъ. Исслѣдователь сравнительнаго языкознанія прилагаетъ свои правила къ безграничной области, которую онъ никогда не можетъ обозрѣть совершенно, изумляеть множествомъ открытыхъ и извлеченныхъ корней изслѣдованія; но трудно побѣдить заманчивость къ разнообразію: онъ

легко может разсѣяться и послѣдовательные выводы возводить иногда на такую крутую высоту, съ которой какъ-разъ упадетъ, кто легко спутывается. Плодоносная жатва, столь падежная на нивахъ филологіи, огранпченныхъ и огороженныхъ, удастся сравнительному языкоученію единственно тогда, когда оно медленно и осмотрительно поднимается отъ надежнаго основанія. Въ органическомъ языкѣ нѣтъ неправильностей, которыя не исходили бы отъ глубоко коренящагося закона, нѣтъ исключеній, которыя, основательно понятыя, не подходили бы подъ правило. Все дѣло въ томъ, чтобы дать первенство закону передъ неправильностью и правилу передъ исключеніемъ¹⁾. Не надобно забывать, что это писано еще въ 1819-мъ году, когда ученикъ Аделунга достигъ уже *шестого* изданія, а новая наука зачиналась въ лицѣ молодого Бонна, прилежно изучавшаго ипдусскіе тексты въ Парижѣ и Лондонѣ! Свою книгу Як. Гриммъ посвятилъ главѣ *исторической школы*, *Савини*, желая, конечно, этимъ выразить сѣ направленіе. «За 600 лѣтъ до насъ, говорилъ онъ, каждый простой крестьянинъ зналъ и практически употреблялъ нѣмецкій языкъ въ совершенствѣ, о которомъ и не снитъя современнымъ грамматистамъ: въ стихахъ Вольфрата фонъ Эшенбаха, Гартмана фонъ-Ауе, которые никогда не слышали ни склоненій, ни спряженій и, можетъ-быть, едва умѣли читать и писать, въ этихъ стихахъ мы еще живо чувствуемъ различіе въ существительномъ и глаголѣ, и съ такою чистотою и положительностью въ склоненіяхъ и приставкахъ, какую мы можемъ открыть только теперь, путемъ ученаго изслѣдованія». Это мнѣніе нашло въ «Нѣмецкой грамматикѣ» свое полное оправданіе и приложеніе: Як. Гриммъ показалъ, что всѣ нѣмецкія нарѣчія со всѣми разнообразными областными особенностями развились изъ общаго основанія, образецъ котораго можно видѣть до нѣкоторой степени въ языкѣ *готскомъ*!

1) Мы приводимъ слова Гримма по переводу г. Буслаева въ его книгѣ: «О преподаваніи отечественнаго языка». М. 1844 ч. 1-я стр. 4—5.

Съ этой поры исчезаютъ странныя мнѣнія о мнимой грубости и несовершенствѣ древняго языка: историческое изслѣдованіе отдѣльныхъ языковъ легло въ основу языкознанія и этимъ методомъ счастливо устранились всѣ недостатки, какіе дотогѣ встрѣчала наука, разрабатываемая единственно съ сравнительной точки зрѣнія.

Самый существенный и важный законъ, открытый Яковомъ Гриммомъ въ языкѣ, былъ законъ такъ называемаго *перебоя звуковъ* (Lautverschiebung); ему-то сравнительное языкознание обязано устраненіемъ произвольныхъ, ни на чемъ не основанныхъ сближеній.

Какъ въ постепенномъ усовершенствованіи выпускъ «Сравнительной грамматики» Боппа — можно прослѣдить всю исторію сравнительнаго языкознанія, такъ на «Нѣмецкой грамматикѣ» Гримма можно видѣть исторію сравнительно-исторической грамматики: въ первомъ томѣ ея сравнительный элементъ является еще чрезвычайно слабымъ, и растетъ только по мѣрѣ выхода въ свѣтъ остальныхъ частей, по мѣрѣ усовершенствованія самой науки!

Такими тяжелыми, громадными грамматическими трудами готовился Як. Гриммъ къ «Исторіи нѣмецкаго языка» и «Нѣмецкому словарю», изданіе котораго безостановочно подвигается въ настоящее время впередъ, несмотря на преклонныя лѣта гениальнаго грамматиста и смерть его брата и ближайшаго сотрудника, Вильгельма Гримма.

Успѣхи сравнительно-историческаго языкознанія не остались безплодными для философской мысли, нисколько не похожей на ту, какая была въ ходу у грамматистовъ-философовъ прошлаго столѣтія. Путемъ продолжительнаго, глубокаго анализа языковъ Европы, Азіи, Америки и острововъ Океаніи — Вильгельмъ Гумбольдтъ создалъ философію человѣческаго слова, или вѣрнѣе — философію человѣческаго духа, выражаемаго въ языкѣ. По его гениальной идее, въ послѣдніе годы, нѣмецкими учеными предпринято построеніе новой науки — *народной психологіи* (Völker-

psychologie), обещающей богатые результаты для разъясненія исторіи человѣчества и тѣхъ тайныхъ пружинъ, которыя управляютъ ея движеніями и которыя, до сей поры, были недоступны человѣческому вѣдѣнію...

Но главная мысль, на которой зиждется лингвистическая система Вильгельма Гумбольдта, — о такъ называемомъ *организмѣ* языка — явилась слишкомъ рано и была принята не во всемъ въ одинаковомъ смыслѣ. Гумбольдтъ умеръ, не успѣвъ ее высказать съ надлежащею полнотою: сочиненіе (*Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*. Ber. 1836 г.), гдѣ эта мысль развита до малѣйшихъ подробностей — было издано уже по его смерти, братомъ его, извѣстнымъ естествоиспытателемъ Александромъ фонъ-Гумбольдтомъ; потому многіе послѣдователи идеи, брошенной В. Гумбольдтомъ, умѣли схватить только наружную сторону ея и постарались не по разуму вывести цѣлое зданіе, прежде, чѣмъ усвоили себѣ надлежащимъ образомъ весь запасъ грамматическаго матеріала. Такой характеръ именно имѣетъ грамматическая система языка Фердинанда Беккера, которой онъ далъ названіе «*Organism der Sprache*». Въ 1855 году, приватъ-доцентъ Берлинскаго университета Г. Штейнталь издалъ книгу подъ названіемъ: «*Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander*». Бóльшая половина ея посвящена критикѣ Беккеровой системы. Хорошо знакомый съ современною наукою и притомъ самъ самостоятельный изслѣдователь, Штейнталь мастерски разоблачилъ ложь системы Беккера и показалъ все противорѣчіе ея съ словомъ живой науки, основанной на сравнительно-историческихъ началахъ. Когда Беккеръ появился на литературное поприще, мысль объ *организмѣ* языка была господствующею мыслью, находившею отголосокъ во всѣхъ сферахъ умственной дѣятельности. Высказанная впервые Вильг. Гумбольдтомъ, она была проведена Беккеромъ и въ практическую грамматику, и въ этомъ состоитъ главная заслуга его

ученія, но заслуга, уже принадлежащая прошедшему: *Organism der Sprache* нанесъ послѣдній ударъ изученію родного языка по старинному филологическому способу и познакомилъ нѣмецкую съ немногими результатами, добытыми сравнительной лингвистикой; но недостатокъ матеріала и ранняя попытка построить цѣльное, оконченное зданіе философіи языка увлекли Беккера въ сферу отвлеченныхъ соображеній, и въ основу своей системы онъ положилъ начало логическое, смѣшая такимъ образомъ грамматику, философію языка съ логикой. Нѣтъ сомнѣнія, что языкъ никогда не протпворѣчитъ законамъ логики, но и не подчинился ей. Онъ выше ея уже и потому, что представляетъ собою живую организмъ, неуловимое сочетаніе всѣхъ душевныхъ способностей: фантазіи, мысли, зарождавшихся подъ вліяніемъ свѣжихъ впечатлѣній и выражаемыхъ въ словѣ часто помимо закона строго-логическаго процесса. Логическое начало стѣсняетъ свободу языка, вводитъ его въ сферу отвлеченную, гдѣ исчезаетъ его жизненность, и остается механическій наборъ звуковъ, связанныхъ сухою логическою нитью, безъ жизни, безъ внутренней красоты и силы. Таковъ именно организмъ у Беккера. Ратуя за него, Беккеръ безсознательно отрицалъ вмѣстѣ все органическое, живое въ языкѣ, и его грамматика, при самомъ появленіи своемъ, оказалась уже не современною. Беккеръ былъ тотъ же старинный схоластическій грамматистъ: онъ только обновилъ одну сторону этого ученія, на которую другіе мало обращали вниманія, именно—ученіе объ организмѣ слова, существовавшее еще у древнихъ, присоединивъ къ этому мысль о логическомъ началѣ въ языкѣ, эту *ахиллову пяту* всѣхъ схоластическихъ грамматистовъ. Организмъ языка, по понятіямъ В. Гумбольдта, далеко не таковъ, какимъ онъ является у Беккера; и Штейнталь убѣдительными доводами доказалъ, что между системою Гумбольдта и Беккера не было ничего общаго: Беккеръ — ученый стараго времени, пересадившій старинное ученіе на новую почву, Гумбольдтъ — свѣтило новой современной науки. Однимъ словомъ, ученіе Беккера устарѣло прежде своего

появленія, и, разрушая основы старинной практической грамматики, Беккеръ поднималъ руку на самого себя. Къ сожалѣнію, ученіе это имѣло довольно значительные успѣхи въ Германіи и, перенесенное къ намъ, не мало способствовало къ распространенію ложныхъ идей о языкѣ и наукѣ языкознанія¹⁾. Философское языкоученіе В. Гумбольдта нашло себѣ талантливаго истолкователя въ лицѣ того же Штейнтала: большая часть лингвистическихъ трудовъ этого ученаго посвящена объясненію и развитію какой-нибудь мысли, высказанной В. Гумбольдтомъ или слишкомъ кратко, или же мимоходомъ—и потому не вполне ясно. Таковы напр. его труды: «Humboldt's Sprachwissenschaft und Hegelische Philosophie B. 1848», «Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues» 1860. В. Всѣ мелкіе лингвистическіе труды свои Штейнталь соединилъ въ 1856 г. подъ общимъ заглавіемъ: «Gesammelte Sprachwissenschaftliche Abhandlungen».

Послѣднія по времени, замѣчательная попытка изложенія философской грамматики принадлежитъ Гейзе. Его сочиненіе носитъ названіе: «System der Sprachwissenschaft», и издано уже по смерти автора (1856) Штейнталемъ отчасти изъ черновыхъ бумагъ, почему послѣдняя часть сравнительно съ первою лишена строгой отдѣлки и не доведена до конца; но несмотря на это, оно представляетъ самостоятельное, въ уровенѣ съ успѣхами сравнительно-историческаго языкознанія стоящее, ясное изложеніе философской грамматики и общихъ результатовъ философіи языка.

Съ сороковыхъ годовъ текущаго столѣтія настаетъ какъ бы новый періодъ въ исторіи сравнительнаго языкознанія: изслѣдователи начинаютъ изученіе отдѣльныхъ языковъ и фамилій ихъ. До того времени санскритъ эпическихъ поэмъ и позднѣй-

1) Прекрасное изложеніе труда Штейнтала на русскомъ языкѣ сдѣлано г. Биларскимъ въ Извѣстіяхъ II Отдѣленія Академіи Наукъ. Т. X. вып. 1-й и 4-й.

шаго періода въ лингвистическихъ изысканіяхъ почти исключалъ древнѣйшій языкъ Ведъ. Тщательное знакомство съ этимъ послѣднимъ и туземными грамматиками выставило многое въ немъ свѣтъ, и особенно много содѣйствовало утвержденію языкознанія на прочныхъ историко-генетическихъ основаніяхъ. Изученіе классическихъ языковъ и ихъ парѣчій также значительно подвинулось впередъ: старая латынь, оставляемая прежде безъ вниманія, благодаря односторонней привязанности къ Цицерону и писателямъ золотого вѣка, подвергается основательному изслѣдованію, и этому не мало способствуетъ знакомство съ родственными языками, изученіе надписей и точнѣйшее изслѣдованіе рукописей.

Въ настоящее время почти нѣтъ ни одного индо-европейскаго языка, который бы не нашелъ своего талантливаго изслѣдователя. Мы еще будемъ имѣть случай, при обзорѣ индоевропейскихъ языковъ индо-европейскаго корня, указать важнѣйшіе изъ этихъ трудовъ, а теперь возвратимся къ точнѣйшему опредѣленію сравнительно-историческаго языкознанія и его составныхъ частей.

II.

Сравнительно-историческое языкознаніе. Его пріемы и задачи.

Исторія языковъ.

По мнѣнію величайшаго изъ языковѣдовъ нашей эпохи В. Гумбольдта, языкъ есть произведеніе внутренней духовной силы, лежащей въ человѣкѣ, непостижимой въ своей сущности и недоступной предварительному разсчету въ своихъ дѣйствіяхъ; разнообразіе же языковъ есть произведеніе стремленія раскрыть врожденный людямъ даръ слова, различными успѣхами этого стремленія, по мѣрѣ дѣйствія, какое оказываетъ имъ умственная сила національнаго духа. *Прослѣдить и изобразить это стремленіе, раскрыть полноту языка есть послѣдняя задача языкознанія.*

Въ современномъ своемъ состояніи языки представляютъ

нестройную груду неорганических частей, гдѣ старое перемѣшано съ новымъ и гдѣ трудно отыскать ту гармонию, тотъ божественный порядокъ, которымъ былъ отмѣченъ его организмъ въ эпоху созданія. Историческія и мѣстныя условія положили на него свою неизгладимую печать. Старинная живость и изобразительность языка исчезали вмѣстѣ съ исчезновеніемъ первобытныхъ воспомнаній народа и онъ получалъ смыслъ болѣе- и болѣе отвлеченный.

Древнюю первобытную свѣжесть и красоту языка намъ, до нѣкоторой степени, даетъ чувствовать только наука, достигшая этого путемъ *сравнительно-историческаго анализа*; потому, если языкъ встарину дѣйствительно отличался органическою, живою природою, то первою задачею языкознанія должно быть открытіе такой древней формы языка; оттого и первый приѣмъ въ изслѣдованіи языковъ есть приѣмъ *историческій*; слѣдя по памятникамъ постепенное измѣненіе формы или звука какого-нибудь слова въ языкѣ, изслѣдователь доходитъ, такъ сказать, до послѣдняго историческаго предѣла, до древнѣйшаго элемента, далѣе котораго въ историческомъ изслѣдованіи идти некуда; тогда, на выручку ему, является *процессъ сравнительный*, который и можетъ привести его къ корню слова, скрывающему первичное его значеніе. Отсюда очевидна связь *историческаго* языкознанія съ *сравнительнымъ*. Другъ безъ друга, они будутъ неполны и не приведутъ ни къ какимъ окончательнымъ, плодотворнымъ результатамъ. Еще *историческое* можетъ принести нѣкоторую пользу въ практическомъ отношеніи, объясняя тѣ формы языка, которыя обыкновенно употребляются безсознательно; но *сравнительное*, безъ исторической основы, непременно введетъ изслѣдователя въ произвольныя, основанныя на одномъ пустомъ созвучіи, сравненія и производства. Иначе и быть не можетъ: сравненіе имѣетъ смыслъ только между предметами однородными, хотя и имѣющими свои отличія. Ясно, что изслѣдователь долженъ отправляться отъ историческаго изученія отдѣльнаго языка, и только, изслѣдовавъ это поле, онъ можетъ вступить на широкую почву срав-

ненія съ другими, родственными языками. Такимъ образомъ, сравнительное языкознание входитъ какъ необходимая часть въ исторію языка каждаго племени, ибо безъ него изслѣдователь долженъ остановиться на полдорогѣ и отказать себѣ въ живомъ пониманіи языка и тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ складывается такъ называемая *народность*.

Самою важною частію сравнительно-историческаго языкознанія должно быть ученіе о *звукахъ*, потому что, не опредѣливъ законовъ перехода звуковъ въ различныхъ языкахъ, нельзя прійти ни къ какимъ положительнымъ результатамъ относительно измѣненія словъ и первоначальнаго значенія корней. Еще Боппъ и Поттъ собрали все важнѣйшее о соотвѣтствіи и развитіи звуковъ; но ихъ выводы не были чужды нѣкоторой неточности: напримѣръ, они довольствовались истиною, что въ санскритѣ *ñ*бная *ç* соотвѣтствуетъ элементу *ж* другихъ языковъ (санскритскому *çata-m*, греческому *é-kato-n*, латинскому *centu-m*, готскому — чрезъ переходъ звука — *hun-d*), не рѣшая вопроса о томъ, какой элементъ древнѣе. Въ этомъ отношеніи особенно много грѣшили своимъ пристрастіемъ къ санскриту, когда отдавали предпочтеніе санскритскому элементу, уже испорченному и измѣнившимся, предъ древнѣйшимъ элементомъ другихъ языковъ. Приведеніе ученія о звукахъ къ положительно-прочнымъ законамъ, чему еще Гриммъ своею таблицей перебора звуковъ (*Lautverschiebung*) указалъ прямой путь, случилось только въ недавнее время, когда началъ болѣе обращать вниманія на историческое развитіе звуковыхъ измѣненій въ отдѣльныхъ языкахъ. Такимъ образомъ, каждый изслѣдователь, прослѣдивъ фонетическія измѣненія въ исторіи отдѣльнаго языка, повѣряетъ полученный результатъ и ищетъ ему объясненія въ сравненіи съ соотвѣтствующими звуками другихъ, древнѣйшихъ языковъ.

На ученіи о звукахъ коренится и ученіе о *флексіяхъ* и измѣненіяхъ словъ, постоянныя и легко различаемыя формы которыхъ представляютъ важнѣйшій признакъ для опредѣленія рода языка.

Во всей этимологии, образовавшейся, бесспорно, въ эпоху гораздо ранѣе, чѣмъ синтаксисъ, особенно въ ученіи объ образованіи словъ, сравнительно-историческая грамматика пользуется не только письменными источниками, но и народными, то есть, областными нарѣчіями, которыя, бывъ удалены отъ центра исторической дѣятельности, сохранили чрезвычайно много древнѣйшихъ свойствъ языка, во многихъ отношеніяхъ пополняющихъ пробѣлы письменныхъ памятниковъ, потому и народный языкъ справедливо называютъ *древнѣйшимъ* періодомъ въ исторіи какого-нибудь языка. Обыкновенно языкъ измѣняется (портится) съ усложненіемъ элементовъ общественной жизни, съ принесеніемъ различныхъ чуждыхъ вліяній, съ распространеніемъ грамотности и просвѣщенія; при отсутствіи этихъ условій, нѣтъ достаточныхъ причинъ и къ измѣненію языка, и онъ цѣлыя столѣтія можетъ сохранить тотъ же живой характеръ, какимъ былъ отмѣченъ его организмъ въ эпоху доисторическую. Народный языкъ есть камень, который благоразумный лингвистъ кладетъ во главу угла своей науки. Вообще изслѣдователь не долженъ упускать изъ виду ни отношенія языка къ прочимъ родственнымъ, кругъ которыхъ въ настоящее время уже почти окончательно обозначенъ, ни тѣхъ матеріаловъ, какіе ему можетъ предложить исторія языка, его областныя видоизмѣненія, а отчасти и историческія вліянія. Только при соблюденіи этихъ условій онъ можетъ удовлетворить современнымъ требованіямъ науки.

Остановимся теперь на нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ о языкѣ, которые уже успѣла намѣтитъ наша наука.

Можетъ-быть, ни одинъ изъ вопросовъ въ языкознаніи не вызывалъ столькохъ разнообразныхъ рѣшеній, какъ вопросъ о происхожденіи языка; самое свойство его давало широкій просторъ всякаго рода догадкамъ и гаданіямъ: одни признавали откровенное, высшее его начало, другіе относили его къ произведеніямъ человѣческаго духа, происшедшимъ сознательно, то есть вслѣдствіе изобрѣтенія. Философія XVIII вѣка полагала, что языкъ былъ такъ же изобрѣтенъ человѣкомъ, какъ и ремесла,

путемъ постепеннаго прогресса. Было время, по ея понятіямъ, когда человѣкъ еще не былъ человѣкомъ и находился въ животномъ состояніи (*mutum et turgre pecus*); необходимыя нужды привели его къ созданію *природнаго языка*, состоящаго въ извѣстныхъ движеніяхъ лица и тѣла и въ интонаціяхъ голоса. Съ увеличеніемъ идей почувствовали несостоятельность подобнаго способа выраженія и изобрѣли языкъ *искусственный*, или членораздѣльный. Какъ всѣ произведенія человѣческія, этотъ языкъ вначалѣ былъ бѣденъ и недостаточенъ, совершенствуясь только съ теченіемъ времени, такъ что позднѣйшее его состояніе есть самая высшая эпоха его процвѣтанія. Какъ видно, это убѣжденіе философовъ прошлаго столѣтія ничѣмъ не разнится отъ убѣжденій практическихъ грамматистовъ школы Готшеда и Аделунга, а потому сравнительное языкознаніе, открывъ истинную природу языка, нанесло ему такой же ударъ, какъ и старинной схоластической грамматикѣ, какъ и другому, не менѣе схоластическому, мнѣнію о *соерхъестественномъ* происхожденіи языка. Если бы языкъ былъ созданъ свыше, то его происхожденіе осталось бы для нашего взгляда такъ же непропущаемымъ, какъ и первозданныя животныя и растенія; но онъ созданъ не высшею силою, а самъ возникъ и образовался изъ человѣческой свободы, потому и его начало должно быть доступно для человѣческой мысли или, какъ говорятъ Як. Гриммъ, языковѣду не слѣдуетъ отступать предъ этимъ вопросомъ: онъ можетъ идти далѣе естествоиспытателя, потому что предметомъ своего изслѣдованія онъ изпраетъ произведеніе человѣка, коренящееся на его свободѣ и исторіи, образовавшееся не разомъ, но постепенно ¹⁾). Плодомъ такого убѣжденія было нѣсколько попытокъ объяснить происхожденіе языка; между ними мы отмѣтимъ прежде всего брошюру извѣстнаго Якова Гримма: *Über den Ursprung der Sprache*, имѣвшую уже четыре изданія, потомъ сочиненія: Э. Ренана

1) Grimm. *Ursprung der Sprache*. 1852. Стр. 11—12.

(De l'origine du langage. P. 1858. 2-me edit) и Штейнталя (Der Ursprung der Sprache im zusammenhange mit den letzten fragen alles Wissens. B. 1858. 2-е изд.). Образование и происхождение языка объясняется совокупнымъ дѣйствіемъ всѣхъ душевныхъ способностей, прирожденныхъ человѣку, и это творится невольно, безъ предварительнаго расчета, отъ котораго былъ далека первобытный человѣкъ, безъ сознанія, подъ непосредственнымъ влияніемъ природы и ея явленій. «Первоначально языкъ, по словамъ Вильгельма Гумбольдта, исходитъ изъ такой глубины человѣческой природы, что его нельзя назвать произведеніемъ или твореніемъ самого народа: онъ видимо обнаруживаетъ въ себѣ самобытную силу, хотя въ существѣ своемъ она остается необъяснимою. Съ этой точки зрѣнія языкъ не есть произведеніе дѣятельности, а невольное изліяніе духа, не дѣло народа, а даръ, назначенный ему въ удѣлъ судьбою. Народъ употребляетъ языкъ, не зная, какъ онъ образовался... Рѣчь и пѣсня лились свободно, и языкъ образовался по мѣрѣ вдохновенія, свободы и мысли, дружно дѣйствующихъ силъ, а въ этой совокупности должны были участвовать всѣ отдѣльныя лица; каждый человѣкъ долженъ былъ находить подкрѣпленіе во всѣхъ другихъ, потому что вдохновеніе только тогда предается вольному полету, когда увѣрено, что всѣмъ будетъ понятно и принято умомъ и чувствомъ». Словомъ, языкъ создается въ ту эпоху жизни человѣчества, когда въ немъ пробуждается человѣческая внутренняя духовная сила и обнаруживаются внутреннія потребности въ цѣломъ рядѣ творческой дѣятельности, которую французы очень удачно называютъ словомъ *la spontanéité*. Такимъ характеромъ отмѣчены всѣ произведенія человѣческаго духа въ его первобытномъ состояніи: вмѣсто творящей личности, здѣсь выступаютъ цѣлыя народныя массы, имѣющія какъ бы одну волю и одно душевное настроеніе, воодушевляющіяся однимъ чувствомъ. Оттого какъ языкъ, такъ и первобытная поэзія не носятъ на себѣ никакого личнаго характера: въ нихъ выражаются откровенія всего народа, не принадлежація никому отдѣльно, но составляющія общее достояніе

всѣхъ и cadaго. Первобытный языкъ былъ совокупнымъ произведеніемъ народнаго духа и явленій природы, въ немъ отражающихся. «Какъ бы ни представляли себѣ языкъ—міросозерцаніемъ, или системою мысли, или вѣтъ и другимъ вѣстѣ, такъ какъ онъ дѣйствительно совмѣщаетъ въ себѣ оба направленія, во всякомъ случаѣ онъ долженъ основываться на *всей совокупности духовныхъ силъ челоѣка*, не исключая ничего, что есть въ нихъ, потому что языкъ все обнимаетъ» (Вял. Гумб.). Поэтому характеръ древнѣйшаго языка отличается этою свѣжестью, живостью, которыми прямо указываютъ на впечатлѣніе, какому обязано слово своимъ происхожденіемъ. «Въ продолженіе первобытнаго періода—говоритъ Максъ Мюллеръ—предшествующаго образованію отдѣльных національностей, каждое арійское слово было въ извѣстномъ отношеніи *миоомъ*. Всѣ слова вначалѣ были нарицательными: они называли одинъ изъ многочисленныхъ характеристическихъ признаковъ предмета; выборъ этихъ признаковъ указываетъ на своего рода инстинктивную поэзію, которую совершенно утратили новѣйшіе языки». То же можно сказать о всѣхъ первобытныхъ языкахъ, созданныхъ и образовавшихся подъ вліяніемъ живаго чувства явленій природы внѣшней.

Въ эпоху созданія языка мысль представлялась въ сжатой, если можно такъ выразиться, смѣшанной формѣ: челоѣкъ не сознавалъ тѣхъ элементовъ, которыми распорядился. Впечатлѣнія такъ быстро слѣдовали одно за другимъ, что память и матеріалъ языка, вмѣсто того, чтобы воспроизводить каждое отдѣльно, отражали ихъ вмѣстѣ. Мысль имѣла характеръ сжатый, синтетическій, потому-то и въ древнѣйшихъ языкахъ каждое слово было фразою, особымъ организмомъ съ своимъ тѣсно-связаннымъ частями. Конечно, такой способъ выраженія мало благопріятствуетъ логической ясности рѣчи, но мысли первобытнаго челоѣка были очень просты и не требовали большихъ успѣхъ разума: онѣ понимались болѣе путемъ внутренняго живаго ощущенія, нежели логикой. Дальнѣйшее развитіе языка идетъ путемъ аналитическимъ: отъ синтеза къ анализу. Древнѣйшій языкъ богатъ

флексіями для выраженія тончайшихъ отношеній мысли, живъ и изобразителенъ въ своемъ значеніи, хотя и бѣденъ отвлеченными идеями; языкъ новый, напротивъ, болѣе логически опредѣленъ и болѣе даетъ мѣсто отдѣльному самостоятельному выраженію каждой мысли и каждого отношенія. Отдѣльныя слова или элементы древнѣйшаго языка, по большей части, коротки, односложны (моносиллабы), составлены почти всѣ изъ краткихъ гласныхъ и простыхъ согласныхъ; но эти слова входятъ въ выраженіе и до того срастаются съ другими, что бываетъ трудно отдѣлить ихъ невооруженнымъ глазомъ. То же самое должно сказать и относительно пропизошенія словъ: необыкновенная простота звуковъ ясно передаетъ всѣ составныя части ихъ организма. «Никакой изъ первобытныхъ языковъ—по словамъ Якова Гримма — не удваиваетъ согласной. Это удвоеніе рождается только отъ постепенной ассимиляціи различныхъ согласныхъ». Далѣе—появляются двугласныя, сокращенія и наконецъ смягченія и другія измѣненія гласныхъ. Эти законы постепеннаго измѣненія языковъ лучше всего можно видѣть на санскритѣ: въ языкѣ Ведъ мы встрѣчаемъ еще вполне тѣ характеристическіе признаки древнѣйшаго состоянія языка, о которыхъ мы говорили выше. Въ санскритѣ эпическихъ поэмъ, при всемъ его первобытномъ характерѣ, можно замѣтить уже болѣе гибкости. Скоро, однако, грамматическій составъ языка разстроивается и въ языкѣ *Пали* (Pali) видны уже замѣчательные успѣхи анализа; еще болѣе это замѣтно въ Пракритѣ; онъ съ одной стороны менѣе богатъ, съ другой—простѣе; наконецъ, языкъ Кавпи (на островѣ Явъ) есть уже прямая порча санскрита, когда этотъ языкъ, утративъ измѣненія словъ по флексіямъ, заимствовалъ изъ языка туземцевъ предлоги и вспомогательные глаголы. Всѣ эти три языка, происшедшіе отъ санскрита, скоро испытываютъ и участь, ему подобную: они дѣлаются языками священными, мертвыми, учеными. Причина измѣненій языка лежатъ въ немъ самомъ, въ способахъ, которыми, если такъ можно выразиться, языкъ приравнивается къ выраженію впечатлѣній и потребностей разума.

Какъ все органическое, и языкъ подлежитъ закону развитія. «Языкъ не слѣдуетъ разсматривать — говоритъ Вильгельмъ Гумбольдтъ — какъ нѣчто мертвое, однажды образовавшееся; напротивъ, онъ всегда живъ и производителенъ. Человѣческая мысль вырабатывается вмѣстѣ съ развитіемъ разумѣнія, а языкъ есть откровеніе этой мысли; поэтому никакой языкъ не стоитъ неподвижно: онъ движется, развивается, растетъ и умираетъ, наконецъ, старѣетъ и исчезаетъ».

При безграничномъ разнообразіи языковъ земного шара, при относительной молодости сравнительно-историческаго языкознанія, было бы несвоевременно отважиться на полную классификацію языковъ по ихъ внутренней, такъ сказать, физиологической природѣ и характеру; потому нѣкоторые современные лингвисты (напр. Шлейхеръ) основываютъ классификацію языковъ по признакамъ *морфологическимъ*¹⁾. Въ жизни языка вообще они различаютъ три эпохи: моносиллабизмъ, агглютинацію и эпоху флексій. Языки *моносиллабические* состоятъ только изъ неизмѣняемыхъ неорганическихъ звуковъ или корней, выражающихъ только *значеніе* словъ (Bedeutungslauten); въ нихъ нѣтъ способовъ для выраженія отношеній мысли, а потому они не имѣютъ грамматическихъ формъ, — таковъ напр. языкъ китайскій. Языки *агглютинирующие*, приставочные (zusammenfügende) къ первичнымъ неизмѣняемымъ элементамъ значенія прибавляютъ уже спереди, съ среднѣ, на концѣ и во многихъ иныхъ мѣстахъ — элементы, *выражающіе отношеніе мысли*; но они прибавляютъ ихъ къ корню слова совершенно внѣшнимъ способомъ, не измѣняя его, — таковы языки племени финно-татарскаго. Наконецъ — третью группу составляютъ языки съ флексіями (flectierende): здѣсь грамматическая форма можетъ выражаться не только внѣшнею приставкою элементовъ къ корню слова, но измѣненіемъ самаго корня. Слѣдовательно *значеніе*

1) Schleicher. «Zur Morphologie der Sprache». Spb. 1859 и также его «Die Deutsche Sprache». St 1860 p. 11—33.

слова, выражаемое корнемъ, и его *отношеніе*, выражаемое приставкою, флексією, являются здѣсь въ такомъ тѣсномъ единствѣ, какъ и въ самой мысли, которой вѣрнымъ впечаткомъ бываетъ языкъ. Сюда принадлежатъ языки народовъ историческихъ, каковы племена индо-европейское и семитическое¹⁾. Сравнительное языкознание до нѣкоторой степени опредѣлило тотъ путь, по которому идетъ языкъ въ своемъ развитіи. Первичнымъ элементомъ его бываетъ звуковой корень, передающій впечатлѣніе и чувство во всей его простотѣ. Это ни глаголъ, ни существительное, ни прилагательное, но слово, передающее общія впечатлѣнія и чувства: на практикѣ языкъ сообщаетъ ему или существительное, или глагольное значеніе, но самый корень, по своей формѣ, не имѣетъ такого грамматическаго смысла. Древнѣйшіе языки именно находятся въ этой формѣ. Позднѣе только образуются части рѣчи. Возможность ихъ, конечно, существовала въ самомъ языкѣ; но онъ не чувствовалъ надобности въ ихъ обособленіи. Грамматическія формы усложняются и получаютъ развитіе сообразно съ характеромъ племени, или природою страны. Въ эту эпоху творческая дѣятельность человѣка была смѣлѣе и свободнѣе, чѣмъ нынѣ, и потому въ самыхъ грубыхъ языкахъ мы замѣчаемъ такіе тончайшіе оттѣнки, какіе совершенно невозможны въ языкахъ позднѣйшихъ.

Тотъ бы глубоко ошибся, кто бы подумалъ, что всѣ языки должны проходить свое развитіе по тремъ указаннымъ ступенямъ. По справедливому замѣчанію Ренана²⁾, каждое семейство языковъ идетъ своимъ путемъ въ развитіи, слѣдуя не абсолютному закону, для всѣхъ одинаковому, но повинуваясь необходимости своего собственнаго строя и гениа: языки, испоконвѣка бывшіе моносλλαбическими, каковы языки восточной Азіи, никогда не теряли своего природнаго (моносλλαбическаго) характера. И

1) Schleicher. *Die Sprachen Europas*. стр. 5—20.

2) Renan. *De l'origine du langage*. P. 1858. 14—16. См. также 165—8. См. также статью: Alf. Maury, въ «*Revue des deux mondes*». 1857. Avril.

если бы языки индо-европейскіе и семитическіе находились когда-нибудь въ этомъ періодѣ развитія, они никогда бы не получили грамматической организаціи, никогда бы не достигли той грамматической гибкости, какую мы встрѣчаемъ у нихъ уже въ древнѣйшую эпоху ихъ существованія. Какъ замѣчаетъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, языкъ народа не могъ иначе образоваться, какъ весь въ одинъ разъ (*aus einem gusse*), — оттого съ перваго дня рожденія характеръ его былъ опредѣленъ, какъ отчасти уже былъ опредѣленъ самый характеръ народа, его создавшаго. Въ языкѣ, какъ въ матеріи, лежитъ возможность моносиллабизма; но, какъ живое произведеніе творческаго духа человѣка, языкъ можетъ обойтись и безъ этой первой ступени развитія, перешагнуть ее и сразу образовать своеобразную грамматику.

Итакъ, если языкъ создалъ грамматику, значитъ въ немъ лежала возможность этого, и такіе языки принадлежатъ всегда народамъ *историческимъ*.

Съ образованіемъ грамматическихъ формъ, всѣ *живыя* превращенія и перемѣны въ языкѣ совершаются уже въ лексическомъ отношеніи, то есть въ созданіи большаго или меньшаго количества словъ, обозначающихъ предметы или, вѣрнѣе, обозначающихъ впечатлѣнія, производимыя предметами на человѣка. Подъ двойнымъ вліяніемъ роскошной природы и живой фантазіи увеличивался запасъ словъ, потому что предметъ могъ производить впечатлѣніе на человѣка съ разныхъ сторонъ. Отсюда множество словъ однозначныхъ, синонимовъ, которыми такъ богаты древнѣйшіе языки и въ особенности санскритъ; такъ, въ немъ одинъ *сломъ* имѣетъ нѣсколько названій, напр. *два раза пьющій*, *двузубый*, *трубачъ* или *хоботникъ*. Въ иныхъ языкахъ, вмѣсто именъ и прилагательныхъ, которыя также не иное что, какъ имена, усиливаются глаголы: это особенно замѣтно у народовъ, преданныхъ строгой напряженной дѣятельности, каковы, напримеръ, жители Америки. Такимъ образомъ и природа, и климатъ, и самый образъ жизни племенъ обнаруживаютъ немалое вліяніе на историческое развитіе отдѣльныхъ языковъ. Къ этимъ при-

чинамъ, въ нѣкоторой степени, должно присоединить и сліяніе расъ и вліяніе одного языка на другой, при чемъ природный организмъ языка неминуемо подвергается порчѣ. Лучшимъ свѣдѣтелемъ этого могутъ служить *романскія* нарѣчія, въ которыхъ искаженіе шло такъ глубоко, что даже разстроило самую грамматику. Но какъ живуча сила народнаго духа, создавшаго языкъ, ясно изъ того, что, несмотря на величайшія искаженія и перемѣны, какія претерпѣваетъ языкъ въ своемъ движеніи, онъ почти никогда не можетъ утратить своего первоначальнаго типа, который ясно бываетъ виденъ изъ-за глубокой порчи позднѣйшихъ привнесеній.

Въ Сѣверной Америкѣ раздѣлилось нѣкогда индійское племя на двѣ части, избѣгая внутреннихъ несогласій и раздоровъ; каждая изъ частей поселилась далеко другъ отъ друга и не имѣла между собою никакихъ сношеній. Новыя привычки и мѣстные впечатлѣнія не замедлили въ скоромъ времени измѣнить и лексиконъ словъ, ими употребляемыхъ. Дѣйствительно, небольшое количество словъ такъ псказилось, что стало почти невозможнымъ открыть ихъ древнее родство: создался новый словарь, но грамматика осталась та же. Глагольныя формы одинаково лежатъ въ основѣ рѣчи каждаго племени, а одинаковое устройство скелета — вопреки измѣненію цвѣта кожи — обнаруживаетъ тоже единство происхожденія¹⁾. Есть языки, которымъ можно дать болѣе трехъ тысячъ лѣтъ и которые терпѣли много различныхъ перемѣнъ, но основа ихъ осталась та же, что была и встарину, какъ она со-
здалась вмѣстѣ съ созданіемъ самаго языка. Мы думаемъ, что эти факты могутъ убѣдить каждаго въ глубокой истинѣ мысли Вильгельма Гумбольдта, который сказалъ, что языкъ не есть произведеніе дѣятельности, а невольное изліяніе духа, не дѣло народа, а даръ, назначенный ему въ удѣлъ судьбою и обнаруживающій самобытную силу.

1) Maury, artic. citée.

II.

Индо-европейская вѣтвь языковъ и ея подраздѣленіе.

Мы много разъ упоминали объ индо-европейской вѣтви языковъ и дали имъ первое мѣсто въ ряду языковъ съ флексіями; теперь время взглянуть на эту область языковъ нѣсколько ближе.

Можно думать, что въ незапамятную эпоху, которая еще не знаетъ хронологіи, по сѣверной сторонѣ Гималая жило цѣлое племя, хранившее въ себѣ свѣжіе элементы исторической цивилизаціи и развитія; но положительная исторія уже не застаётъ этого племени: на ея долю достаются только позднѣйшія его подраздѣленія. Когда и по какимъ причинамъ они совершились, — это, покажѣтъ, неизвѣстно: сравнительно-историческое языкознание убѣждаетъ насъ только въ томъ, что они произошли не вдругъ, а постепенно: арійское племя ¹⁾ (индо-европейское) сначала должно было раздѣляться на нѣсколько вѣтвей, которыя, въ свою очередь, испытали дальнѣйшія подраздѣленія. Относительное время и путь, какому слѣдовало это расчлененіе, тоже опредѣляется до нѣкоторой степени сравнительною лингвистикою: изъ восьми главныхъ языковъ, составляющихъ индо-европейскую семью, не всѣ находятся между собою въ одинаковомъ отношеніи и не всѣ равно богаты относительно старинны. Положительно извѣстно, что санскритъ и Zendъ сходны и сродны между собою ближе всѣхъ другихъ; въ такомъ же отношеніи стоятъ греческій и латинскій, хотя между ними и менѣе сродства. Славянскій, литовскій и нѣмецкій языки образуютъ одно близкое цѣлое. Языкъ кельтовъ стоитъ совершенно особо.

1) Это первичное племя называютъ — то *индо-германскимъ*, то *индо-европейскимъ*; мы утверждаемъ последнее, хотя и оно не вполне обозначаетъ предметъ. Всего бы лучше, какъ предполагалъ Март. Гаугъ (*Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft*. 1854. стр. 785 и сл.), назвать это племя и этотъ періодъ жизни — *арійскими*. Срав. также замѣчанія объ этомъ предметѣ Ав. Ф. Потта въ его статьѣ: *Indo-germanischer Sprachstamm* (Энцикл. Эрша и Грубера) стр. 2 и слѣд.

Эта классификація языковъ подтверждается и географическими доказательствами: путь, которому слѣдовало индо-европейское племя, по выходѣ изъ прародины, былъ путь съ востока на западъ; чѣмъ ранѣе выдѣлился какой-нибудь народъ изъ общаго источника, тѣмъ западнѣе должно было быть его географическое положеніе, и тѣмъ менѣе языкъ его сохранялъ старины; таково напр. племя кельтовъ: зашедшіе на отдаленный западъ Европы, они должны были отдѣлиться первые, и оттого ихъ языкъ представляетъ такое значительное уклоненіе отъ общаго корня. За ними выселилось предполагаемое племя славяно-германское, позднѣе раздѣлившееся на три вѣтви: славянскую, литовскую и нѣмецкую. Пелазги, давшіе происхожденіе двумъ классическимъ народамъ, должны были въ продолженіе долгаго времени составлять одно цѣлое съ арійцами (въ тѣсномъ смыслѣ) и наконецъ, отдѣлившись, заняли юго-востокъ Европы. Единственнымъ остаткомъ древняго индо-европейскаго племени были арійцы, въ свою очередь раздѣлившіеся на индійцевъ и персовъ ¹⁾.

Такимъ образомъ вся семья индо-европейскихъ языковъ систематически распадается на двѣ группы: азіатскую и европейскую.

Азіатская группа индо-европейскихъ языковъ снова распадается на двѣ половинны: юго-восточную, преимущественно *индійскую*, и сѣверо-западную — преимущественно *персидскую*. Мы уже упоминали о высокомъ значеніи, какое имѣетъ для сравнительнаго языкознанія древнѣйшій языкъ индусовъ, какъ по причинѣ глубокой древности сохранившихся его памятниковъ (Веды, по мнѣнію ученыхъ, возникли за полторы тысячи лѣтъ до Р. Х.), такъ и по удивительной чистотѣ и первичности своихъ формъ. Съ ранняго времени этотъ языкъ называется *санскритомъ*

1) См. ст. Шлейхера: Die Ersten Spaltungen des Indo-germanischen Volkes. (Allgem. Monatschrift für Literatur und Wissenschaft. 1863, стр. 786—7) и его сочиненіе: Die Deutsche Sprache. St. 1860 стр. 71 и слѣд.

(Sanskrito — *оконченный, совершенный*), въ противоположность позднѣйшему *пракриту* (prākrito — *производный*). По всему вѣроятію, санскритъ пересталъ быть языкомъ народнымъ еще за нѣсколько столѣтій до Р. Х., но письменное его употребленіе продолжалось гораздо долѣе. Санскритъ — священная рѣчь брахмановъ — сохранился въ двухъ, между собою довольно различныхъ языкахъ; языкъ *ведійскій*, болѣе древній и для самихъ брахмановъ менѣе понятный, чѣмъ языкъ въ собственномъ смыслѣ *санскритскій*, на которомъ писаны всѣ прочія произведенія индійской литературы. Позднѣйшую ступень санскрита представляетъ *пали*, языкъ послѣдователей Будды въ Цейлонѣ и Индіи. Языкъ кави, употреблявшійся на Явѣ и другихъ островахъ, по своей основѣ собственно языкъ малайскій, но, благодаря продолжительному вліянію индійскаго, самъ сдѣлался индійскимъ. Переходъ отъ древне-индійскаго къ новому представляетъ такъ называемый *пракритъ*, хотя онъ встрѣчается уже и въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ эпохи до-христіанской (такъ напр. въ санскритскихъ драмахъ онъ употребляется, какъ языкъ женщинъ и низшаго сословія ¹⁾). Между языками ново-индійскими — *индустанскій* представляетъ языкъ образованный, распространенный во всей передней Индіи. Онъ восходитъ до XI вѣка по Р. Х. и въ своей чистой, неспорченной чужеземнымъ вліяніемъ, формѣ носитъ названіе Hindi. Новыхъ нарѣчій извѣстный Лассенъ насчитываетъ около 24-хъ, между ними находится извѣстный языкъ цыганскій (о немъ см. особое сочин. *Потта: Die Zigeu-*

1) О языкахъ санскритскаго корня писали многие. Упомянемъ замѣчательнѣе: Bopp — *Grammatica linguae Sanscritae*. В. 1834. Benfey — «*Vollständige Grammatik der Sanscrit-Sprache*». 1852. Oppert — «*La Grammaire Sanscrite*». Р. 1859 W. Humboldt — «*Über die Kavi-Sprache*» 3 — т. 70 В. 1836—39 г. Lassen — «*Institutiones linguae praecliticae*». 1837. Bon. Lassen и Bignon — «*Essai sur le Pali*. Р. 1826. Сверхъ этого — много превосходныхъ частныхъ грамматическихъ изслѣдованій санскритской вѣтви языковъ помѣщено въ «*Zeitschrift der Deutschen morgenländisch. Gesellschaft*», «*Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*» hrsg. v. Kuhn. II t. «*Journal Asiatique*», «*Zeitschrift für Wissenschaft der Sprache*» hrsg. v. Höfer etc.

per in Europa und Asien». Hall. 1844—45 2 v.). Къ сѣверо-западной азіатской группѣ принадлежитъ прежде всего языкъ *персидскій*. Древнѣйшіе памятники его сохранились въ древнеперсидскихъ клинообразныхъ надписяхъ времени Ахеменидовъ (VI и V вв.); объясненіе и разборъ этихъ надписей, начатый съ успѣхомъ Гротендумъ, продолжается въ трудахъ Лассена, Шпигеля и Опперта. Языкъ восточной Персіи, древней Бактріи, такъ называемый *зендъ*, дошелъ къ намъ въ древнихъ священннхъ книгахъ персовъ; позднѣйшія ступени его языки: *пелесви* или *хузварешъ*, заключающій въ себѣ много чужихъ элементовъ, и такъ называемый *пазендъ* или *парси*, образующій переходъ къ *новоперсидскому*; древнѣйшіе памятники этого послѣдняго относятся къ IX вѣку; позднѣе этотъ языкъ испытываетъ сильное вліяніе арабскаго, принадлежащаго, какъ вѣстно, къ отрасли языковъ семитическихъ. Въ близкомъ родствѣ съ персидскимъ стоятъ языки: на востокѣ — *авианскій*, *белуджи*, на сѣверо-западѣ — *курдскій* ¹⁾.

Языкъ *армянскій* простирается до подошвы Кавказа; его древнѣйшіе памятники восходятъ къ V или VII вѣку по Р. Х. ²⁾. Языкъ *осетинскій*, несомнѣнно принадлежащій къ индо-европейскому корню, стоитъ къ азіатской группѣ языковъ гораздо ближе, чѣмъ къ европейской. Древнихъ памятниковъ языка осетиновъ не существуетъ; формы его записаны въ позднѣйшее время изъ устъ народа ³⁾.

1) Литература персидской лингвистики не такъ обширна, какъ санскритской: замѣчательнѣйшіе труды принадлежатъ Ев. Бюрнуфу: *Commentaire sur Yaçna* P. 1833 г. и Шпигелю: *Grammatik der Parsi Sprache*, L. 1851 г. *Grammatik der Huswareesch Sprache*, L. Kurz er Abriss der Geschichte der Crânischen Sprachen (въ *Beiträge zur vergleich. Sprachforsch.* hrsg. v. Kuhn und A. Schleicher. t. 2. О языкѣ курдовъ — см. Потта статьи въ *Zeitschrift d. deutschen morgenländ) Gesellschaft* — и П. Дерха «Исслѣдованія объ Иранскихъ Курдахъ». Спб. 1856.

2) О языкѣ армянъ см. ст. Виндишмана — *Die Grundlage des Armenischen im arischen Sprachstamme* въ 4 т. *Abhandlungen Bavarischer Akademie*.

3) Берлинская Академія наукъ послала экспедицію на Кавказъ нарочно для изученія осетинскаго языка. Результаты этой экспедиціи обнародованы

Европа почти исключительно населена племенами индо-европейского корня. Только на сѣверо-восточной окраинѣ Россіи, на югѣ за Дунаемъ, да среди Австріи залегли массы народовъ чуждаго финно-татарскаго происхожденія, но число этихъ, можетъ-быть первобытныхъ обитателей Европы — незначительно, сравнительно съ племенами, говорящими языкомъ индо-европейскаго корня. Всѣ эти племена, по языку, легко могутъ быть раздѣлены на семь большихъ группъ, стоящихъ между собою въ большемъ или меньшемъ родствѣ.

Крайній отдаленнѣйшій западъ занимаютъ *кельты*. Извѣстный лингвистъ Цейссъ принимаетъ двѣ главныя вѣтви кельтскаго языка: *ирландскую* и *британскую*. Къ первой принадлежатъ нынѣшній *ирландскій* (irische) или *новоирландскій* и *гаэльскій* въ Шотландіи. Британская вѣтвь, къ которой всего ближе стоятъ *древне-гальскій языкъ*, включаетъ въ себѣ нарѣчіе *камбрійское* (на западѣ Англіи), *корнійское*, уже съ прошлаго вѣка исчезнувшее, и *армориканское* (въ западномъ углу Франціи). Древнѣйшія ирландскія рукописи содержатъ въ себѣ по большей части *глоссы* и восходятъ къ IX или VIII вѣку; британскія же, много уступая въ значеніи первымъ, не идутъ далѣе XIV столѣтія. Камбрійское нарѣчіе менѣе древне, чѣмъ древне-ирландское; старшій памятникъ корнійскаго языка — глоссарій относится къ XIII вѣку, а армориканскій — къ XI ¹⁾.

Изъ географическаго положенія кельтскаго племени и изъ степени сродства его съ прочими языками индо-европейскаго корня — становится несомнѣннымъ, что кельты — *первые оста-*

Розеномъ и Боппомъ, — см. его Die kaukasischen Glieder des Indo-europäisch. Sprachstammes В. 1847 и Шёгрена — Осетинская грамматика. 2 ч. 1844. Спб.

1) Важнѣйшее сочиненіе по части кельтской лингвистики есть «Grammatica Celtica» Zeuss'a (1853 г. 2 т.). Боппъ посвятилъ кельтскому языку также особое сочиненіе: «Die Celtische Sprache in ihrem Verhältniss z. Sanscrit, Zend...» etc. В. 1839. Равнымъ образомъ и Ад. Пикте: «De l'affinité des langues Celtiques avec le Sanscrit». 1837 г. Касательно историческаго значенія кельтскаго языка — огромная услуга наукъ оказана трудами Л. Дибенбаха: «Celtica» 2 т. 1839 и «Origines Europeae». 1862.

вили азіатскую прародину, за ними, по тому же пути, слѣдовало племя нѣмецко-славянское.

Первое мѣсто изъ нѣмецкихъ нарѣчій принадлежитъ ютскому какъ по древности его памятниковъ (переводъ Библіи сдѣланъ Ульфилою въ 4-мъ в.), такъ и по чистотѣ и правильности его формъ. За готскимъ слѣдуетъ *древне-верхне-нѣмецкое нарѣчіе* (althochdeutsch), къ которому Як. Гриммъ относитъ памятники многихъ юго-нѣмецкихъ народовъ съ VIII по XII-е столѣтіе. Слѣдующая ступень верхне-нѣмецкаго языка носитъ названіе *средне-верхне-нѣмецкаго* (mittelhochdeutsch); изъ него, начиная съ XIV или XV вѣка развивается *ново-верхне-нѣмецкій* (neuhochdeutsch) языкъ всей современной литературы и образованности.

Верхне-нѣмецкое нарѣчіе противопоставляется всѣмъ прочимъ нѣмецкимъ нарѣчіямъ: между ними прежде всего слѣдуетъ назвать распространенный по всей сѣверной Германіи *нижне-нѣмецкій* (niederdeutsche) языкъ. Древнѣйшій памятникъ его (Heliand) относится къ IX вѣку и написанъ на такъ называемомъ *древне-саксонскомъ* (altsächsisch) нарѣчій. Младшія ступени этого языка суть: *древне-нижне-нѣмецкое* (mittelniederdeutsch), къ нему примыкающее *ново-нижне-нѣмецкое* (neuniederdeutsch) и на западѣ—*средне-нидерландское* (mittelniederländisch), за которыми позднѣе идетъ *новонидерландское* или *голландское* (neuniederländisch, holländisch). Гораздо самостоятельнѣе выступаетъ языкъ *англо-саксонскій* съ своими древнѣйшими памятниками (VIII или IX вѣка), которые по формѣ хотя и принадлежать къ христіанскому времени, но по содержанію относятся еще къ языческой эпохѣ. Со II в., подъ значительнымъ вліяніемъ французскаго, возникаетъ въ собственномъ смыслѣ *англійскій* языкъ, вмѣстѣ съ англійскою цивилизаціею получившій такое широкое всеобщее распространеніе. Еще въ большей связи съ нижне-нѣмецкимъ нарѣчіемъ стоитъ *фризское* или *древне-фризское* (altfriesisch) въ древнѣйшемъ своемъ видѣ. Оно уже совершенно исчезло, и даже въ устахъ народа замѣнилось нижне-нѣмецкимъ.

Сѣверная вѣтвь нѣмецкаго языка стоитъ какъ бы совершенно отдѣльно. Древнѣйшіе памятники *древне-сѣвернаго* (altnordisch) нарѣчія, продолжавшагося до конца XV вѣка, сохранились въ нѣсяхъ древней Эдды, нѣкоторыя части ея могутъ быть отнесены даже къ VIII в. Къ древне-сѣверному нарѣчію съ одной стороны примыкаетъ *шведское*, съ другой — *датское* съ *норвежскими* и *исландскими* ¹⁾.

Литовскій языкъ стоитъ въ тѣсной связи съ славянскимъ. Шлейхеръ принимаетъ слѣдующія его раздѣленія: 1) вѣтвь *литовская* въ собственномъ смыслѣ, подраздѣляющаяся на *верхне-литовскую* и *нижне-литовскую* или *земайтскую* (древнѣйшій литературный памятникъ этой вѣтви есть Катехизисъ 1547 г.), 2) вѣтвь *древне-прусская* между Вислою и Мемелемъ, и наконецъ 3) вѣтвь *леттская* или *латышская* въ Курляндіи и большей части Ливляндіи ²⁾.

По первобытной чистотѣ и правильности своихъ формъ литовскій языкъ представляетъ предметъ высокой важности для сравнительной лингвистики и въ особенности для славянской лингвистики, такъ какъ извѣстно, что литовскія и славянскія племена составляли некогда одинъ народъ, потому изслѣдованіе литовскихъ нарѣчій можетъ пополнить многіе пробѣлы славянской лингвистики, уничтожить которыя она не въ силахъ домашними средствами.

1) Главнѣйшіе и самые важные труды по части нѣмецкихъ нарѣчій принадлежатъ Я. Гримму: Deutsche Grammatik 4 Th. Gött. 1819—1837. Geschichte der Deutschen Sprache. L. 1848. 2 v. Gebr. Grimm—Deutsches Wörterbuch. L. 1832—62. Graff—Althochdeutscher Sprachschatz. 7 vv. 4^o 1834—46. Gabelentz und Loebe. Ulfila 2 v. 1836—1843—47. 4^o. Dieffenbach. Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache 2 v. 1851. Schleicher. Die Deutsche Sprache 1860. St. Отдѣльныя нѣмецкія нарѣчія нашли многихъ обработывателей; изъ нихъ мы назовемъ: Ettmüller'a (Lexicon Anglo-saxonici 1850), Dietrich'a (Altnordisches Lesebuch 1843 и др.), Rask'a (Lexicon Island. lat. danicum. 2 v. 1814), Benecke's (Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 1842—63), Weinhold'a (Grammatik d. deutschen Mundarten. 1863. 1 Th.), и многихъ другихъ.

2) Schleicher—Litthauische Grammatik P. 1856—67. 2 v. Nesselmann—Litthauisches Wörterbuch 1851 и Die Sprache der alten Preussen. 1845. Bopp—Die Sprache d. alten Preussen 1853.

Славянская вѣтвь языковъ, какъ по своей географіи, такъ и по внутреннимъ лингвистическимъ признакамъ, распадается на три главные отдѣла: 1-й) *восточный*, къ которому принадлежить языкъ *русскій* съ тремя главными нарѣчіями: *велико-рускимъ*, *южно-рускимъ* и *бѣлорусскимъ* и множествомъ подрѣчій; 2) *юго-западный*, къ которому принадлежатъ: *старо-славянскій* (какъ думаютъ, древне-болгарскій), *новоболгарскій*, *сербскій*, *хорватскій* и *хорутанскій*, наконецъ 3) *сѣверо-западный*, къ которому принадлежатъ: нарѣчіе *полабское*, яз. *польскій* (съ подрѣчіями), *лужицкій* (верхне- и нижне-лужицкій), *чешскій* (съ моравскимъ подрѣчіемъ) и *словацкій* ¹⁾.

Славянская рѣчь занимаетъ собою весь юго-востокъ Европы, и нѣтъ сомнѣнія, что литовско-славянское племя было послѣднею по времени колоніей аріевъ, перешедшихъ чрезъ Кавказъ на западъ.

Остаются еще аріискіе колонисты, населившіе южную полосу Европы, это: греки и племена *италійскія*.

Древне-греческій языкъ еще очень рано раздѣляли на три главныхъ нарѣчій: *эоійское*, *дорійское* и *іонійское*. *Эоійское* имѣло наименьшее распространѣніе: оно употреблялось въ Фессаліи, Бэотіи, на сѣверныхъ островахъ и на сѣверѣ западной Малой Азіи. Памятники этого нарѣчія восходятъ къ VI вѣку до Р. Х. (Алкей и Сафо). Гораздо богаче развилось нарѣчіе *дорійское*, памятники его сохранились въ многочисленныхъ произведеніяхъ поэтовъ (Пиндаръ V в. до Р. Х., Біонъ, Москъ III в. и мн. др.), прозаическихъ отрывкахъ и надписяхъ. Областью его была дорійская часть сѣверной Греціи, большая часть Пелопонеса,

1) Почти всѣ важнѣйшіе труды по славянской лингвистикѣ указаны г. Бузлаевымъ въ предисловіи къ его «Опыту Исторической Грамматики Русскаго языка» стр. XXXV—XL. Мы укажемъ только на тѣ, которые явились позднѣе выхода въ свѣтъ «Опыта». Miklosich — Vergleichende Grammatik † III. w. 1860; его же Bildung der Nomina im altslovenischen 1858. Hattala — Slovňváci mluvnicе jazyka českého a slovanského. P. 1837. Востоковъ — Словарь Церковно-Славянскаго языка. Спб. 1858—61. О трудахъ русскихъ ученыхъ мы говоримъ подробно въ Приложеніи (II).

ос. Критъ и дорійскія колоніи въ Малой Азіи, Сициліи и Италіи. Но самымъ важнымъ изъ греческихъ нарѣчій, какъ по своей старинѣ, такъ и по богатству своихъ памятниковъ, было нарѣчіе *іонійское*, употреблявшееся въ Атикѣ, на многихъ островахъ и въ западной сторонѣ Малой Азіи и многочисленныхъ колоніяхъ. На этомъ нарѣчій дошли къ намъ древнѣйшіе памятники греческаго языка—эпическія поэмы Гомера и произведенія Гезіода. Къ іонійскому нарѣчію принадлежитъ также *аттическое*, которое съ довольно ранняго времени развило такія оригинальныя особенности, что позднѣе представляло скорѣе противоположность іонійскому, чѣмъ ближайшее сродство съ нимъ. Особенную обработку получало оно въ великихъ произведеніяхъ греческихъ драматурговъ и философовъ. Выѣстъ съ политическимъ возвышеніемъ Аѳинъ, съ третьяго вѣка до Р. Х. аттическое нарѣчіе получило значеніе *общаго греческаго языка* (*è koinè dialectos*). Позднѣе, когда широко распространенный греческій языкъ испыталъ чужеземныя вліянія и греческая наука переселилась въ Александрію — образовалось *александрійское нарѣчіе*, которое получило довольно значительное распространеніе, какъ языкъ *Семидесяти толковниковъ*, и имѣло сильное вліяніе на языкъ христіанскихъ писателей даже до VI вѣка по Р. Х., послѣ чего греческій языкъ окончательно приходитъ въ упадокъ. Письменное употребленіе его сохранилось въ Византіи даже до взятія ея турками; съ этого времени древній греческій уступаетъ просто-народному нарѣчію, называемому также языкомъ *новогреческимъ* или *ромейскимъ* ¹⁾.

Языкъ *албанскій* хотя и имѣетъ большое сродство съ греческою семьею языковъ, но по своимъ особенностямъ можетъ

1) Не упоминая о богатой нѣмецкой филологической литературѣ по части греческаго языка, замѣтимъ только послѣдніе лингвистическіе труды въ этой области: G. Curtius — *Grundzüge der griechischen Etymologie*. 1860—62. 2 Th. Ahrens — *De dialectis Aeolicis* G. 1830. *Eio же De dialecto Dorica*. G. 1843. Leo Meyer — *Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache*. B. 1861. 1 Band. Mullach. — *Grammatik der griechischen Vulgarsprache in historischer Entwicklung*. Ber. 1856.

быть разсматриваемъ, какъ самостоятельное цѣлое. Впрочемъ, онъ еще очень мало изслѣдованъ, чтобы рѣшиться дѣлать объ немъ общіе выводы и заключенія.

Стоящіе въ тѣсной связи съ греческимъ — *италійскіе* языки только въ послѣднее время сдѣлались предметомъ строгихъ сравнительныхъ разысканій.

На сѣверо-востокѣ отъ Лаціума господствовало нарѣчіе *умбрійское*, важнѣйшій памятникъ котораго сохранился въ такъ называемыхъ зугубинскихъ (или пугвинскихъ) таблицахъ. Очень близко къ умбрійскому стоитъ нарѣчіе *олльское*, дошедшее къ намъ въ очень небольшихъ остаткахъ. На югѣ Италіи существовали очень близкія къ языку собственно латинскому — нарѣчія: *оское*, памятники котораго очень многочисленны, *сабинское* и др.

Самымъ важнымъ между италійскими языками былъ языкъ *латинскій*. Первоначальною областью его была небольшая часть Лаціума на западѣ средней Италіи, но вмѣстѣ съ возрастающимъ мировымъ могуществомъ Рима латинскій языкъ въ скоромъ времени широко раздвинулъ свои предѣлы, такъ что въ I в. до Р. Х. онъ почти исключительно господствовалъ по всей Италіи, а позднѣе въ разнообразно развитыхъ своихъ формахъ перешелъ и границы Италіи. Эпохою высшаго его литературнаго процвѣтанія было время отъ III до I столѣтія до нашей эры, послѣ чего онъ постепенно приходитъ въ упадокъ, такъ что съ VI в. по Р. Х. онъ перестаетъ быть языкомъ народнымъ и становится языкомъ ученымъ. Въ этомъ значеніи онъ играетъ огромную роль во все продолженіе среднихъ вѣковъ и даже до настоящаго времени ¹⁾.

1) Aufrecht und Kirchhoff. Die Umbrischen Sprachendenkmäler, 2 v. Ber. 1849—51. Corssen — De Volscorum lingua. 1858. и его же Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinisch. Sprache т. 1-й. Leip. 1859. Theodor Mommsen — Die unteritalischen Dialecte. L. 1850, также статьи: Кипрофа — Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Italischen Sprachen (Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft 1852 p. 577—598.) и Шейфера — Kurzer Abriss der Geschichte der Italischen Sprachen (Rhein. Museum. XIV p. 329—346).

Но между тѣмъ, какъ языкъ литературы все болѣе и болѣе приходилъ въ упадокъ, постепенно выходилъ на сцену языкъ простого народа и возлѣ мертвой книжной латыни вскорѣ выросли новые живые языки, извѣстные подъ именемъ *романскихъ*. Первое мѣсто между ними занимаетъ *итальянскій*, съ XIII ст. получающій права языка литературнаго.

Большую часть Пиренейскаго полуострова занимаетъ языкъ *испанскій*; его памятники восходятъ къ половинѣ XII в. Какъ особенная часть испанскаго можетъ быть названъ *португальскій*. *Провансальскій* языкъ, по памятникамъ своимъ восходящій къ X в., существовалъ на югѣ теперешней Франціи (*langue d'oc*), вся же сѣверная половина ея говорила языкомъ *французскимъ* (*langue d'oïl*), памятники котораго принадлежатъ къ IX или X в.

Къ романскимъ языкамъ относятся также и языкъ *валашскій*, употребляемый въ нынѣшней Молдавіи и Валахіи¹⁾.

Вотъ вся область индо-европейскихъ языковъ въ главнѣйшихъ нарѣчіяхъ; нѣтъ нужды говорить о мелкихъ подраздѣленіяхъ, которыми богато почти каждое изъ вышепоименованныхъ нарѣчій: это необходимое слѣдствіе историческаго движенія языка въ связи съ окружающею его природою и историческими обстоятельствами.

IV.

Языкъ и исторія народовъ. Теорія позитив.

Успѣхи сравнительно-историческаго языкознанія не только пролили новый свѣтъ на первобытную исторію народовъ, но —

1) Главнѣйшій трудъ по части романскихъ нарѣчій принадлежитъ Фр. Дицу, это его: *Grammatik der Romanischen Sprachen* В. 1836 — 1860. 3 в. и *Etymologisches Wörterbuch der Romanischen Sprachen*. Bonn. 1853. Отмѣтимъ также превосходный трудъ Fuchs'a: *Die Romanischen Sprachen in ihrem Verhältniss zum Latein*. 1849. Новѣйшее сочиненіе извѣстнаго позитивиста Липтрэ: *Histoire de la langue française* P. 1863. 2 в. и его же нынѣ выходящій превосходный *Dictionnaire de la langue française*. P. 1863, 4 вып.

можно сказать — создали ее: подъ анатомическимъ ножомъ лингвиста мало-по-малу оживаютъ, облекаются въ плоть и кровь эти темныя, до сихъ поръ едва предчувствуемыя, эпохи исторіи; въѣмъ туманъ, застилавшій ихъ, понемногу рѣдѣетъ и цѣлые живые образы являются предъ нами въ своей юной простотѣ и свѣжести.

«Языкъ — говоритъ Як. Гриммъ — есть полное дыханіе человѣческой души. Гдѣ раздается онъ или возникаетъ въ памятникахъ, тамъ исчезаетъ всякая недостоверность въ отношеніяхъ народа, говорящаго имъ, къ своимъ сосѣдямъ. Въ древнѣйшей исторіи, когда всякіе другіе источники изсыкаютъ, или же сохранившіеся остатки ихъ приводятъ насъ къ неразрѣшенной недостоверности — тамъ только и выручаетъ тщательное изслѣдованіе сродства или отличія каждаго языка и нарѣчія въ ихъ мельчайшихъ жизненныхъ подробностяхъ».

То же самое почти говоритъ и другой великій языковѣдатель нашей эпохи, В. Гумбольдтъ: «языкъ глубоко входитъ въ умственное развитіе человѣчества; онъ вѣрный спутникъ его на каждой степени мѣстныхъ успѣховъ и упадковъ; въ языкѣ можно узнать всякое состояніе умственного развитія народа. Но есть эпоха, когда и видишь только языкъ, гдѣ онъ уже не спутникъ или свидѣтель умственного развитія, а *единственный его представитель*».

Дѣйствительно, если слово возникало подъ вліяніемъ живаго впечатлѣнія, производимаго предметомъ на человѣка, то оно должно отражать въ себѣ весь кругъ его воззрѣній на природу и человѣка: въ языкѣ — поэтому — сокрыта цѣлая жизнь народовъ, со всѣми богатыми и разнообразными ея отправленіями. Впрочемъ, это можно сказать только о языкахъ древнѣйшихъ, когда слова непосредственно выражали впечатлѣніе и были еще чужды того отвлеченнаго характера, какой они получили съ развитіемъ исторіи. Въ древнѣйшемъ словѣ не трудно подсмотрѣть внутреннюю работу духа и побужденія, вызвавшія образованіе этого слова. Сближеніемъ однихъ словъ во всѣхъ родствен-

ныхъ языкахъ — лингвистика достигаетъ возможности составить себѣ понятіе о бытѣ, нравахъ и обычаяхъ племени, какому принадлежалъ коренной, первичный языкъ. Въ этомъ случаѣ языкознаніе совершенно оправдываетъ названіе *лингвистической палеонтологіи*. Какъ палеонтологія, съ помощью ископаемыхъ костей, не только возстановляетъ образъ животнаго, но и самыя его привычки, способъ движенія, питанія и т. д., такъ и сравнительное языкознаніе по немногимъ остаткамъ древнихъ словъ, уцѣлѣвшихъ отъ крушенія, а также — разборомъ первоначальнаго значенія корней — можетъ оживить жизнь и дѣла народовъ, погребенныхъ въ туманѣ прошедшаго. А это не значитъ ли произвести коренной переворотъ въ наукѣ исторіи и поставить ее на совершенно новую дорогу!

Относительно коренного племени индо-европейскаго такая реставрація была совершена ученымъ санскритистомъ Ад. Кунемъ и Ад. Пиктѣ. Кунъ только въ главныхъ чертахъ коснулся семейной жизни аріевъ, ея обстановки, и обширныя изслѣдованія посвятилъ исключительно сравнительной мѣологии ихъ; но Пиктѣ предпринялъ трудъ систематическій, самое названіе котораго даетъ идею о цѣломъ: «*Les Aryas primitifs ou les origines Indo-Européennes. Essai de paléontologie linguistique*» (Gen. 1859. т. 1-й и *ibid.* 1863 т. 2-й). Это реставрація всей жизни коренного индо-европейскаго племени, всего объема ея. Методъ, которому слѣдовалъ Пиктѣ, ясно выраженъ имъ въ предисловіи: прежде всего онъ хочетъ соединить въ группы все сходное у различныхъ отраслей арійскаго семейства, полагая, что только это одно можетъ бросить яркій свѣтъ на бытъ цѣлаго племени. Въ сравнительномъ анализѣ онъ всегда отправляется отъ санскритскаго слова (если оно существуетъ), чтобы опредѣлить первичную тему или этимологическое значеніе, а когда какое-либо слово въ санскритѣ не существуетъ, онъ обращается къ другимъ родственнымъ языкамъ, строго придерживаясь постоянного закона перехода звуковъ. Первый томъ заключаетъ въ себѣ географическія и этнографическія свѣдѣнія о

древнихъ аріяхъ. Для того, чтобы отыскать родину арійскаго племени, Пиктѣ на первомъ планѣ разсматриваетъ географическія свѣдѣнія, древнѣйшія переселенія народовъ, взаимное отношеніе ихъ языковъ и различныя названія, какими ихъ называли въ древности. Сравнительное изслѣдованіе словъ, относящихся къ климату, временамъ года, топографіи и естественнымъ произведеніямъ страны — приводитъ его къ очень важнымъ этнографическимъ выводамъ. Второй томъ только-что появился: онъ заключаетъ въ себѣ реставрацію матеріальной цивилизаціи, социальнаго быта, нравственной, умственной и религіозной жизни древнѣйшихъ аріевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что осторожная критика современемъ исправитъ и пополнитъ недостатки этого монументальнаго лингвистическаго труда, но онъ навсегда останется и важнымъ памятникомъ значенія лингвистики въ области историческихъ разысканій, и богатою программой будущихъ трудовъ въ этой области науки.

Что можно сдѣлать съ помощью языка для исторіи каковаго-нибудь отдѣльнаго народа, — ясно показалъ Яковъ Гриммъ въ своей *«Исторіи нѣмецкаго языка»*, когда, основываясь на немногихъ остаткахъ древнѣйшаго языка, онъ освѣтилъ темныя судьбы средневѣковыхъ народцевъ и сообщилъ историческому изслѣдованію среднихъ вѣковъ ту прочность, которой оно долготѣ не имѣло, несмотря на упорные труды такихъ геніальныхъ изслѣдователей, какъ Шафарикъ, Цейссъ и др.

Для того, чтобы ближе объяснить значеніе языкознанія для древнѣйшей исторіи, мы приведемъ здѣсь въ немногихъ словахъ нѣкоторые результаты ученыхъ изслѣдованій относительно древняго кореннаго индо-европейскаго племени.

Сравнивая слова всѣхъ индо-европейскихъ языковъ, относящихся къ семейному быту, мы находимъ, что, за вычетомъ немногихъ, они представляютъ между собою несомнѣнное родство, а изъ этого имѣемъ право заключить, что въ эпоху своего единства племена эти находились въ формахъ семейнаго быта. Названія *отца*: санскр. pitar, зердск. patar, греч. patēr, готск.

śadag и т. д. выражают не идею *родителя* (для этого въ санскритѣ существуетъ другое слово ganitar (genitor лат.)), но *покровителя, питателя*; точно также и слово mātar, мать и т. д. очень рано потеряло свое этимологическое значеніе и служило выраженіемъ покорности, нѣжности (*родительница* по-санскр. gānitri). Вообще всѣ степени родства обозначаются въ языкахъ индо-европейскихъ почти одними и тѣми же терминами и ясно показываютъ, что онѣ были строго опредѣлены еще задолго до раздѣленія аріевъ на отдѣльные племена, таковы напр. bhṛātā, братъ — что значитъ *помогающій,носящій*; svasag, сестра — *направляющая, утѣшающая*; duhitā, дѣщерь, дочь — *доющая*, отъ корня duh = донть, что даетъ нѣкоторое понятіе о первобытной жизни арійскаго семейства, гдѣ дочери до замужества занимались доеніемъ скота. Все это доказываетъ, что аріицы жили въ формахъ моногаміи: при полигаміи семья не можетъ имѣть такого высокаго значенія, чтобы всѣ члены ея были такъ строго опредѣлены.

Весь развитый лексиконъ древне-арійскаго языка указываетъ на жизнь тихую, пастушескую и земледѣльческую: это не были дикіе номады — охотники и звѣроловы, но племя осѣдлое съ весьма развитыми семейными отношеніями, но съ недалекими зачатками матеріальной цивилизаціи. Большое сходство въ названіяхъ, обозначающихъ *домъ*, показываетъ, что семьи жили въ построенныхъ домахъ; они имѣли терминъ для обозначенія понятія о *родѣ-племени*, о владыкѣ. Выраженія, обозначающія идею царской власти, заимствованы изъ жизни домашней, пастушеской, потому и слово go — ра сначала пастухъ, а потомъ родоначальникъ, царь, gorayati = покровительствовать; самое имя *сраженія* = gāv-isliti буквально можетъ быть переведено: «сражаться за стадо»; слово *домъ* употребляется позднѣе въ смыслѣ *города*. Также изъ языка извѣстно, что первобытное отечество аріевъ было окружено большими лѣсами, что они знали мореходство и по сходству борозды, оставляемой по себѣ плывущимъ судномъ — съ бороздою, какую проводитъ по землѣ плугъ — для

обозначенія понятій: *пльть* и *орать* — употребляли одно и то же слово. Въ отношеніи домашней жизни слѣдуетъ замѣтить, что они знали домашнихъ животныхъ, паханіе земли, молотьбу хлѣба, пряжу льна и пеньки и первоначальную обработку металловъ, но вообще — ремесла и искусства у арійскаго племени были еще очень не развиты и удовлетворяли только первымъ necessaries жизни. Первоначальная религія этого племени состояла въ поклоненіи свѣтлой сторонѣ природы, свѣтлому небу, потому и общее наименованіе божества — значило *свѣтящееся, небесное* (*dāvas*).

Впрочемъ, историческое изслѣдованіе не останавливается на этомъ древнѣйшемъ періодѣ, оно пользуется языкомъ и въ своемъ далѣйшемъ движеніи: по географіи языка оно опредѣляетъ пути, которымъ слѣдовали народы въ своихъ переселеніяхъ, и отмѣчая чужеземныя примѣсы и вліянія въ языкѣ — указываетъ историческія сближенія народовъ съ чуждыми племенами, сближенія мирныя или враждебныя.

Но кромѣ объясненія собственной культуры и исторіи первобытныхъ племенъ, языкознаніе предложило богатые матеріалы для рѣшенія одного изъ животрепещущихъ вопросовъ современной науки, о которомъ было много споровъ и въ старину и въ наше время: мы разумѣемъ вопросъ о человѣческихъ породахъ, ихъ различіи и причинахъ его. Говоря это, мы не думаемъ утверждать, чтобы сравнительное языкознаніе уже достигло, въ этомъ отношеніи, какихъ-нибудь положительныхъ, прочныхъ результатовъ, но по крайней мѣрѣ — оно стоитъ на дорогѣ къ нимъ. Причина, почему лингвистическая этнологія не пришла еще къ твердымъ выводамъ касательно вопроса о единствѣ или множествѣ происхожденія человѣческихъ породъ — заключается какъ въ молодости самой науки, такъ и въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ предубѣжденіяхъ, отъ которыхъ не свободны даже такіа свѣтлыя головы, какъ Максъ Мюллеръ и Бунзенъ. Несмотря на это, лингвистическая этнологія все же стоитъ на сторонѣ того рѣшенія, какое предлагаетъ современное естествознаніе. Съ

особенною рѣшительностью это было высказано въ послѣднее время ученымъ историкомъ семитическихъ языковъ Эрнестомъ Ренапомъ: по его мнѣнію, въ вопросѣ о происхожденіи — отселѣ можно принять за аксіому, что языкъ не имѣетъ общаго источника: онъ долженъ былъ появиться параллельно, въ разныхъ мѣстахъ разомъ. Эти точки появленія могли быть очень близки другъ къ другу, происхожденіе могло совершиться одновременно, но оно было различно. Сущность языка — одна и та же вездѣ, но нарѣчія его весьма различны и не могутъ быть сведены къ одному общему началу, а потому выраженіе старинной школы, что всѣ языки суть нарѣчія одного — не получаетъ оправданія въ наукѣ. Ренапъ, однако, думаетъ, что такая аксіома не всегда можетъ служить убѣдительнымъ доказательствомъ того, что народы, говорящіе различными языками, были бы непременно и различнаго происхожденія, потому что есть племена (напр. индо-европейцы и семиты), фیزیологически тождественныя, но употребляющія различныя языки; но слѣдуетъ сказать, что число такихъ племенъ не велико, и во всякомъ случаѣ это замѣчаніе не уничтожаетъ основной истины, подтверждающей то, что говоритъ объ этомъ вопросѣ и современное естествовѣденіе, да притомъ же — по весьма вѣрному слову Потта, даже лингвисты, поборники преданія, утверждаютъ только *возможность* единства происхожденія, которая, однако, неизмѣримо далека отъ строгой *дѣйствительности*¹⁾.

Какъ въ естествовѣдѣніи слѣдуетъ строго отличать вопросъ о единствѣ *происхожденія* человѣческихъ расъ отъ вопроса о *видовомъ* зоологическомъ единствѣ людей, такъ и въ языкознаніи

1) См. статью Потта: «Max Müller und die Kennzeichen der Sprachverwandtschaft», помѣщенную въ Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Т. 9, стр. 408 и слѣд., а также и новѣйшую брошюру Chavée — Les langues et les races. Р. 1862, гдѣ при всемъ своемъ почтеніи къ преданію, онъ не могъ, однако, не признать первичнаго различія въ языкахъ и породахъ. Вообще — скажемъ мы словами Потта: «Es ist schwer zu glauben, dass sich für das menschliche Geschlecht genealogische Einheit noch auf sprachlichem Wege erweisen lasse».

вопросъ объ общемъ источникѣ всѣхъ языковъ существенно различенъ отъ вопроса о единствѣ духовной природы языковъ. На первый языкознаніе отвѣчаетъ отрицательно, на второй — положительно. Для человѣческаго современнаго чувства весьма утѣшителенъ тотъ результатъ, къ которому пришелъ извѣстный нѣмецкій лингвистъ Поттъ въ заключеніе своихъ обширныхъ изслѣдованій о нравственномъ неравенствѣ человѣческихъ породъ (см. его *Ungleichheit menschlicher Rassen*. 1856): онъ совершенно отвергаетъ оскорбительную идею о духовномъ *качественномъ* (квалитативномъ) неравенствѣ людей и племенъ и утверждаетъ, что они, какъ бы ни было велико ихъ нравственное неравенство въ *количественномъ* (квантитативномъ) отношеніи — отъ природы надѣлены равными умственными способностями. Это лучше всего подтверждается языкомъ, который даже и у самыхъ *низшихъ* народцевъ обнаруживаетъ *возможность* всѣхъ человѣческихъ требованій, и потому каждое племя, вмѣстѣ съ прочими людьми, имѣетъ полныя права на удовлетвореніе такихъ требованій.

Высокое значеніе языкознанія для исторіи этнологіи и антропологіи, въ настоящее время оцѣнено всѣми, и намъ особенно пріятно въ этомъ случаѣ привести здѣсь нѣсколько словъ нашего естествоиспытателя, акад. Бэра, представляющихъ вѣрную оцѣнку *прикладныхъ* результатовъ языкознанія: «Вообще, говоритъ онъ, мы должны сочувствовать изслѣдованіямъ этого рода (лингвистическимъ). Исторія, на сколько она можетъ проникнуть въ глубину древности, всегда подтверждаетъ заключеніе объ историческомъ развитіи народовъ и ихъ родоначальникахъ, когда эти сужденія основаны на сродствѣ языковъ. Напротивъ, мы часто встрѣчаемъ въ исторіи противорѣчіе, если захотимъ группировать народы по ихъ наружности... Поэтому можно бы надѣяться, что руководствуясь сродствомъ языковъ, можно всего лучше мысленно проникнуть въ глубину древности, отъ которой до насъ едва дошли преданія, и исторія которой для насъ вовсе не доступна. Итакъ, руководствуясь изученіемъ язы-

ковъ, мы не встрѣчаемъ никакого важнаго противорѣчія въ древней исторіи, и наши выводы при этомъ всегда подтверждаются народными преданіями... Поэтому—заключаетъ Бэръ—мы лучше (чѣмъ по тѣлеснымъ, физическимъ признакамъ) можемъ раздѣлить народы по различію ихъ языковъ, ибо тогда всего лучше можемъ понять: на какой степени развитія стоятъ каждый народъ сравнительно съ другими» ¹⁾).

Въ заключеніе этого краткаго обзора современныхъ задачъ языкознанія, должно упомянуть еще объ одномъ важномъ переломѣ, какой произвело изученіе языка въ историческомъ пониманіи поэтическихъ произведеній или такъ называемой *теоріи поэзіи*. Съ открытіемъ и объясненіемъ свойствъ древнѣйшаго языка, открылись и сдѣлались ясны и свойства древнѣйшей первобытной поэзіи: до того времени, подъ тяжелою рукою педантовъ, эти свѣжія произведенія народнаго духа облекались въ чудовищное построеніе и совершали путешествіе по извѣстнымъ мытарствамъ трехъ единствъ; труды Якова и Вильгельма Гриммовъ, Вильгельма Гумбольдта, Вакернагеля и др. — показали всю нецѣльность подобнаго взгляда. По путямъ, указаннымъ этими гениальными пзслѣдователями, пошла цѣлая историко-филологическая школа, занимающаяся спеціальнымъ изученіемъ эпическихъ свойствъ языка и произведеній народной безыскусственной поэзіи.

1) См. «Русская Фауна» Ю. Симашко, т. 1-й Спб. 1860. Статья акад. Бэра: «Человѣкъ въ естественно-историческомъ отношеніи» стр. 510, 511 и 520.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1.

Шлейхеровъ очеркъ исторіи славянскаго языка.

Недавно Шлейхеръ сдѣлалъ чрезвычайно остроумный очеркъ исторіи славянскаго языка, который мы предлагаемъ здѣсь въ возможно краткомъ извлеченіи, не столько ради самаго предмета, сколько для нагляднаго подтвержденія обозначенныхъ нами выше приемовъ сравнительно-историческаго изученія. Въ исторіи славянскаго языка Шлейхеръ отличаетъ пять періодовъ:

Въ первомъ — славянскій языкъ существуетъ, такъ сказать, только въ возможности, нераздѣльно съ древнѣйшимъ индо-европейскимъ праязыкомъ, но не какъ его нарѣчіе, а какъ общій языкъ, въ природѣ котораго лежала возможность будущаго раздѣленія на многія нарѣчія, каковы: славянское, литовское, нѣмецкое и т. д. Словомъ — это былъ древнѣйшій языкъ, отъ котораго потомъ пошли всѣ прочія индо-европейскія нарѣчія: въ немъ не было еще ничего славянскаго, ничего литовскаго, нѣмецкаго, кельтскаго и т. д., а были одни общіе имъ всѣмъ элементы, условившіе ихъ позднѣйшее индивидуальное развитіе. Въ этотъ первый періодъ своей жизни индо-европейскій языкъ отличался необыкновенною простотою звуковъ и богатствомъ грамматическихъ формъ. Словообразование совершалось или приставками, по большей части мѣстоименными, къ корнямъ, или посредствомъ сложенія и измѣненія коренной гласной.

Во второмъ періодѣ — славянскій языкъ является *славяно-нѣмецкимъ*. Съ теченіемъ времени древній обще-индо-европейскій языкъ раздѣлился на отдѣльныя вѣтви и первую изъ нихъ была *славяно-нѣмецкая*, изъ которой впоследствии выделились

и́мцы, литовцы, славяне; изъ второй вѣтви, *аріопелазической*— вышли индійцы, персы, греки и римляне. Въ этомъ, второмъ періодѣ своего развитія славяно-и́мецкій языкъ уже утратилъ много древняго капитала и создалъ много новаго, такъ что сравнительно съ другою вѣтвью онъ очень рѣдко представляетъ болѣе старины.

Третій періодъ Шлейхеръ называетъ *славяно-литовскимъ*: и́мцы являются уже обособившимися, выдѣленными, а славяне съ литвой составляютъ еще одно цѣлое.

Четвертый періодъ — *самостоятельное существованіе общаго славянскаго языка*, и наконецъ

Пятый періодъ—*славянскій языкъ въ отдѣльныхъ нарѣчіяхъ*, которыхъ Шлейхеръ принимаетъ десять ¹⁾.

Такое движеніе славянскаго языка Шлейхеръ оправдываетъ доводами, если не всегда вполне устраняющими сомнѣніе и исчерпывающими сущность дѣла, то по крайней мѣрѣ — доводами очень основательными. Въ настоящемъ случаѣ для насъ важна не историческая несомнѣнность этого постепеннаго расчлененія, а возможность его возсозданія и тотъ путь, какимъ должно идти къ его достиженію. На строго историческую почву мы вступаемъ только въ последнемъ (пятомъ по Шлейхеру) періодѣ: первые четыре лежатъ за предѣлами исторіи и опредѣлить ихъ можно только съ помощью *сравнительнаго процесса*. Отправляясь отъ существующихъ славянскихъ нарѣчій въ ихъ историческомъ развитіи, нельзя не замѣтить ихъ близкаго, какъ сказать семейнаго, между собою родства; пополняя проѣлы и порчи одного нарѣчія остатками старины въ другомъ, объясняя такимъ пріемомъ то, что съ перваго взгляда кажется непонятнымъ и необъяснимымъ, мы приходимъ къ убѣжденію, то и́когда эти нарѣчія составляли одно цѣлое, одинъ общій славянскій организмъ. Но этотъ шагъ еще не вводитъ лингвиста

1) Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung hrsg. v. Kuhn und Schleier. 1 B. 1856. стр. 1—27.

въ ту область, гдѣ въ звукахъ языка слышится свѣжее вѣяніе народной жизни съ ея многообразными отправлениями. Первоначальное значеніе слова останется для лингвиста непонятно, если онъ не выйдетъ на широкое поле сравненія съ прочими родственными языками. Только путемъ сравненія извлекается и очищается отъ позднѣйшей порчи первичная форма слова и его значеніе.

Такъ, сравнивая славянскій языкъ съ прочими индо-европейскими, Шлейхеръ замѣтилъ, что прежде всего онъ ближе съ *литовскимъ*, потомъ съ *нѣмецкимъ*, и наконецъ уже со всѣми *арійскими* языками.

2.

Сравнительно-историческое языкознание въ Россіи.

Какъ старая нѣмецкая и французская грамматики развивались изъ схоластическихъ началъ латинской, такъ славянская постоянно имѣла своимъ образцомъ греческую, не безъ особыхъ усилій отвѣчая на вопросы, какіе предлагала послѣдняя. Собственно говоря, во всѣхъ славянскихъ грамматикахъ до Мелетія Смотрицкаго было столь же мало славянскаго, сколько и греческаго: это была грамматика какого-то небывалаго, воображаемаго языка!

Славянскій элементъ, до того показывавшійся случайно, отрывочно, въ Грамматикѣ Смотрицкаго вступаетъ въ свои права и скоро ведетъ за собою постепенное отдѣленіе народныхъ русскихъ началъ: уже въ сокращеніи Грамматики Смотрицкаго, сдѣланномъ Максимовымъ (1723 г.), мы находимъ много отступленій отъ стариннаго текста въ пользу народнаго элемента; но окончательно это сказалось лишь въ Грамматикѣ Ломоносова. Ломоносову принадлежитъ честь созданія собственно-русской грамматики. Отправившись отъ вѣрной мысли о различіи славянской стихіи въ языкѣ отъ русской, различіи, которое существовало до той поры только на практикѣ, Ломоносовъ долженъ былъ обратиться къ народному языку уже и потому, что литературный языкъ едва только зарождался. Такой счастливый пріемъ

доставилъ ему почетное имя создателя русской грамматики, но обнаружилъ слабое, едва замѣтное вліяніе на послѣдующія судьбы русскаго языкознанія. Самъ Ломоносовъ не устоялъ противъ старинныхъ преданій и во многихъ отношеніяхъ былъ скромнымъ послѣдователемъ прежнихъ славянскихъ грамматистовъ: Мелетія Смотрицкаго, Ѳедора Полкарпова и др.

Аристократизмъ литературныхъ понятій восемнадцатаго вѣка, воспитанный на французской классической почвѣ, не могъ снизойти до народной основы и не допускалъ, какъ тогда выражалось, ничего *подлаго* (то есть народнаго) въ русскую грамматику. «Грамматика Ломоносова—говоритъ Сумароковъ—никакимъ *ученымъ собраніемъ не утверждена*, и по причинѣ, что онъ *московское нарѣчіе въ коломойское превратилъ*, вошло въ нее множество порочъ языка»¹⁾. Уже это любопытное обвиненіе служить предвѣстникомъ тѣхъ началъ, на которыхъ впослѣдствіи суждено было развиваться русской практической грамматикѣ: народный элементъ уступилъ свое мѣсто образцовой рѣчи писателей, и это случилось тогда, когда въ нашей литературѣ не являлись еще ни Державинъ, ни Карамзинъ, ни Крыловъ. «Такая исключительность въ выборѣ грамматическаго матеріала, весьма понятная въ грамматикѣ языковъ мертвыхъ, но вредная для языковъ живыхъ, могла еще имѣть нѣкоторый смыслъ въ литературѣ, уже твердо установившейся, какова литература народовъ западныхъ. Въ литературѣ же юной и свѣжей, какова наша, никоимъ образомъ не могла установиться эта разборчивая нетерпимость, которая исключаетъ изъ грамматическихъ правилъ все, чего не находимъ у образцовыхъ писателей» (Бусл.). Благія начинанія Ломоносова прошли даромъ, и вся послѣдующая судьба русской практической грамматики заключается въ постоянномъ вліяніи, какое имѣли на нее иностранные грамматисты: сперва Готшедъ съ своею школою, потомъ французы, и въ рѣзкомъ противорѣчій правилъ ея съ рѣчью образцовыхъ писателей.

1) Соч. Сумарокова, изд. 2-е. 1787 г. Т. X, стр. 38.

«Грамматика Ломоносова должна была уступить мѣсто руководствамъ, принявшимъ за образецъ рѣчь карамзинскую; но дальнѣйшіе успѣхи нашего языка, въ сочиненіяхъ Грибоѣдова, Крылова, Пушкина, уже не нашли себѣ оправданія въ этихъ руководствахъ».

Начиная съ Державина и Карамзина и кончая современными намъ писателями, нѣтъ ни одного, сколько-нибудь замѣчательнаго, который бы вышелъ безукоризненно правымъ изъ судилища практической грамматики. «Не зная законовъ языка, практическая грамматика ограничилась правилами. Руководства, составленные по методѣ Готшеда и Аделунга, до того были далеки отъ всякаго понятія о законахъ, по которымъ образуются грамматическія формы, что подвели подъ общій уровень съ явленіями языка, основанными на его внутреннемъ построеніи, многіе чисто-формальные орфографическіе приемы. Такъ, напримѣръ, въ главѣ о правописаніи помѣщались правила объ употребленіи буквы ѣ, которой значеніе опредѣляется только исторіею славянскаго языка, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, правила объ употребленіи прописныхъ буквъ въ началѣ каждаго стиха, или въ наименованіи дѣйствующихъ лицъ басни, — правила, составленные только на основаніи условно-принятаго обычая» (Бусл. I. Пред. V—VI). Мы имѣли уже случай замѣтить странность той роли, которую брала на себя практическая грамматика: она желала *научить правильно говорить и писать* на извѣстномъ языкѣ, и оттого, по справедливому замѣчанію г. Буслаева, вся этимологическая часть ея ограничивается только склоненіями и спряженіями и ничего не знаетъ о звукахъ и образованіяхъ словъ; во множествѣ правилъ она предлагала подробныя наставленія, какъ склонять и спрягать реченія родного языка, забывая, что въ этомъ рѣдко ошибаются и люди безграмотные. Успѣхи языкознанія въ Западной Европѣ, нашедшіе отголосокъ даже и въ нашей небогатой и непритязательной ученой литературѣ, почти совершенно не коснулись русской практической грамматики: до послѣднихъ дней своихъ она учила *правильно говорить и писать*, противорѣча не только

образцовымъ писателямъ, но и сама себѣ, предлагая *правила*, ни на чемъ не основанныя и ничѣмъ не оправдываемыя, кромѣ недалекаго взгляда грамматистовъ. Въ предисловіи къ своему *Опыту* г. Бусіаевъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрную характеристику этой грамматики, доказывая многими примѣрами неосновательность и отсталость ея положеній. Само собою разумѣется, что число такихъ примѣровъ могло бы быть въ тысячу разъ болѣе, потому что вся практическая грамматика — говоря безъ преувеличенія — состоитъ изъ подобныхъ примѣровъ.

Одновременно съ практическою грамматикою русскаго языка появились и сравнительныя сближенія, бывшія въ такомъ ходу въ половинѣ прошлаго столѣтія въ Германіи, когда по одному созвучію выводили происхожденіе народа и языка его отъ того, или другаго племени.

На русской почвѣ эти наивныя фантазіи досужныхъ грамотеевъ получили нѣкоторый отгѣнокъ самобытности. Варваризмы, со времени реформы Петра пестрившіе литературную русскую рѣчь, оскорбляли національныя чувства нашихъ патріотовъ-литераторовъ, и первыя попытки противоборствовать этому выразились сравнительными сближеніями языка славянскаго съ гадательнымъ скифскимъ, тевтоническимъ (*sic!*), нѣмецкимъ, кельтскимъ и др., безъ сомнѣнія, съ цѣлью доказать превосходство перваго. Не упоминая уже о забавныхъ сравненіяхъ Тредьяковскаго и Сумарокова, къ этому младенческому періоду развитія науки должно отнести Сравнительный словарь Академіи и труды адмирала Шишкова. Мы вовсе не хотимъ отрицать нѣкоторой пользы, принесенной имъ: Словарь Академіи, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, по мнѣнію Як. Гримма¹⁾, обнаружилъ сильное вліяніе на развитіе сравнительнаго языкознанія, а труды Шишкова принесли не менѣе пользы, ограничивъ наплывъ варваризмовъ; мы желаемъ только указать имъ надлежащее мѣсто въ наукѣ. Шишковъ началъ съ защищенія *старою слога* отъ

1) *Über den Ursprung der Sprache*. В. 1852. Стр. 9.

нападокъ послѣдователей Карамзина. Ревнитель всего славянскаго, онъ не задумался и русскій языкъ признать церковно-славянскимъ, утверждая, что онъ только *слоизъ*, видоизмѣненіе послѣдняго, но потомъ долженъ былъ согласиться, что онъ есть нарѣчіе. Признавъ русскій языкъ *нарѣчіемъ*, Шишкова, для удержанія тождества его съ церковно-славянскимъ, долженъ былъ признать этотъ послѣдній также *нарѣчіемъ*, а не *языкомъ*, и для отысканія-то этого мечтательнаго языка подъяты были такія многотрудныя, къ сожалѣнію, безплодныя, филологическія работы! Говоря вообще, корпесловіе Шишкова в Россійской Академіи отличается отъ этимологическихъ фантазій Сумарокова и Тредьяковскаго развѣ только однимъ объемомъ: оно систематичнѣе наивныхъ толкованій, ученѣе, но принадлежитъ къ одному и тому же направленію. Примѣръ патріота Шишкова нашелъ себѣ подражателей и въ наше время: мы говоримъ о школѣ *панславистовъ*, которымъ принадлежитъ честь возведенія въ систему дѣтскихъ гаданій нашихъ историковъ и языковѣдовъ прошлаго столѣтія, гаданій, происхожденіе которыхъ скрывается въ идеѣ невзнуздашнаго патріотизма. Это явленіе, можно сказать, общеславянское; только мы въ этомъ случаѣ опередили своихъ западныхъ соплеменниковъ: уже Тредьяковскій съ *великимъ присиливаніемъ* доказывалъ превосходство славянскаго языка предъ тевтоническимъ, и Сумароковъ утверждалъ, что галльскіе целты *нареклись* отъ слова *гуляю*, а *славянскіе* отъ *славный*, что мы, Россіяне, *дѣти славенъ, внуки целтовъ*, или *иначе славене и целты*, когда у западныхъ славянъ еще не было ни Данковскаго, ни Коллара, ни Волянскаго. Нѣкоторымъ изъ нихъ (напримѣръ, Данковскому) нельзя отказать въ глубокой учености, въ блестящемъ и неподдѣльномъ остроуміи, и даже въ извѣстной долѣ истины; но никто не станетъ смѣшивать эти попытки съ наукою, или принимать ихъ въ серіозную сторону. Мы далеки отъ того, чтобы рѣшительно бросить въ нихъ камень рѣзкаго приговора и назвать ихъ произведеніями досузей фантазій, или разстроеннаго воображенія; но и приемы,

и методъ ихъ, и самые результаты находятся въ такомъ рѣзкомъ противорѣчїи со всѣмъ тѣмъ, что до сихъ поръ сдѣлала наука, что мы рѣшительно должны отказать имъ въ серьезномъ содержанїи. Это какая-то особая наука — антиподъ нашей современной; она отрицаетъ эту послѣднюю, хотя иногда и пользуется ея результатами. Не робѣя ни предъ какими трудностями, ультралингвисты, по большей части, легко и свободно снимаютъ всѣ противорѣчїя, разрѣшаютъ всѣ недоумѣнія. Оттого и выводы ихъ такъ легки, свободны и съ этой стороны представляются какъ бы упрекомъ медленному развитію человѣческой науки, но упрекомъ, конечно, слишкомъ наивнымъ, младенческимъ, чтобы возмутить ея медленное, но прочное, вѣрное движеніе. Въ историческихъ и лингвистическихъ изысканїяхъ подобнаго рода много недостатковъ выкупается временными народными причинами, блестящимъ остроумїемъ, или ѣдкой, прощескою мистификаціею; но, при отсутствїи этихъ свойствъ, что остается сочиненію, въ простотѣ сердца доказывающему, что Гомеръ былъ родомъ изъ Бѣлоруссіи и писалъ по-русски, что пелазго-фраки были просто славяне, что греческій языкъ происходитъ отъ славянскаго и т. д?

Въ нашей небогатой лингвистической литературѣ находится также нѣсколько рѣдкостей въ этомъ родѣ: не говоря уже о Чертковѣ, который на обломкахъ этрусскихъ надписей отыскивалъ русскую болѣзнь *утизмъ*, отъ которой умеръ покойникъ, и подкрѣплялъ свое заключеніе ссылками на Киршу Даншова и Желябужскаго, о Классенѣ, Вельтманѣ, — въ послѣднее время эти гаданїя возобновились въ *лингвистической* школѣ покойн. Хомякова и г. Гильфердинга¹⁾. Подобное соревнова-

1) Кому покажется наше сужденіе о лингвистикѣ г. Гильфердинга слишкомъ строгимъ, для тѣхъ мы позволимъ себѣ привести мнѣніе Шлейхера, одного изъ первыхъ современныхъ славянистовъ: «Методъ г. Гильфердинга не есть методъ строго-научный, онъ очень мало обращаетъ вниманїя на исторію звуковъ и сравниваетъ, поэтому, то, что едва ли можетъ между собою быть сравниваемо». Припеденными здѣсь же примѣрами Шлейхеръ оправдываетъ такой приговоръ, въ заключеніе котораго онъ позволилъ себѣ ска-

ніе филологической славѣ Сумарокова и Шишкова могло бы быть оставлено безъ серіознаго вниманія, если бы не несло за собою нѣкотораго вреда, состоящаго главнымъ образомъ въ томъ, что, видя эту пустую игру, люди, близко знакомые съ дѣломъ, теряютъ всякое довѣріе къ наукѣ.

Мы выше говорили о значеніи Беккера и его *Организма*. Стройность ли системы, или нѣкоторыя другія причины, только системѣ Беккера, къ несчастію, посчастливилось на нашей почвѣ: она произвела у насъ нѣсколько руководствъ, которыя должны занять достойное мѣсто въ числѣ прочихъ книгъ, препятствовавшихъ умственному развитію нашего юношества. Въ главѣ ихъ стояла уже пзвѣстная намъ *Общесравнительная Грамматика русскаго языка*, изъ которой, какъ изъ неизсякаемаго родника, черпали наши грамматисты втораго ранга, и которая, иногда уже слишкомъ нецеремонно, сама черпала изъ Беккера, Вурста и др.

Желая лишь только проложить новую дорогу къ воззрѣнію на родной языкъ, авторъ *Общесравнительной грамматики* взялъ готовыя логическія понятія и насильственнымъ образомъ приклепалъ ихъ къ русскому языку. Отвлеченными и давно оставленными понятіями, каково, напримѣръ, понятіе о *полярныхъ* (!) противоположностяхъ въ языкѣ, неудобопонятнымъ философствованіемъ, прикрывается здѣсь неисполненное обѣщаніе (въ предисл.) историческаго и сравнительнаго изслѣдованія языка русскаго; послѣдній элементъ еще кое-гдѣ встрѣчается, хотя совершенно вѣтхимъ, случайнымъ образомъ, а объ историческомъ—только и помню, что въ предисловіи. Къ самому языку авторъ приступилъ не какъ къ живому, свѣжему выразителю народной жизни, а какъ къ отвлеченному организму, о которомъ значителъ въ Беккеромъ «Организмъ языка». Что современное направленіе въ

затѣ слѣдующія слова: «Der deutsche Sprachgelehrte, der nicht russisch kann, braucht es dieses Buches (сочин. г. Гильсбердинга «О родствѣ языка славянскаго съ санскритскимъ»), wegen nicht zu lernen!» Beiträge zur vergleich. Sprachforschung. Ber. 1857. Ч. II, стр. 265—96.

языкознаніи и успѣхи его въ трудахъ Боппа, Потта, Вильгельма Гумбольдта, Гримма и другихъ, о которыхъ говорится во всѣхъ вышеупомянутыхъ предисловіяхъ, были знакомы грамматисту только по слухамъ и даже по темнымъ слухамъ, это ясно видно почти изъ каждой страницы «Опыта общесравнительной грамматики», который, по собственному признанію сочинителя, весь состоитъ изъ отрывковъ, взятыхъ у разныхъ грамматистовъ разныхъ направлений, начиная съ г. Греча и кончая гг. Буслаевымъ и Катковымъ; короче сказать—это не грамматика русскаго языка, а свалочная книга различныхъ грамматическихъ понятій, приведенныхъ въ единство только отсутствіемъ хронологическихъ помѣтъ и недалекою логическою закраскою: старое такъ рѣшительно укладывается возлѣ новаго, немногое годное такъ тѣсно переплетается съ негоднымъ, что рѣшительно становится невозможнымъ признать у автора существованіе какой-нибудь общей мысли, руководившей его въ трудѣ, не говоря уже о современныхъ лингвистическихъ понятіяхъ.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами филологическія направленія въ изученіи русскаго языка имѣли болѣе или менѣе многихъ послѣдователей!... Но въ нашей филологической литературѣ есть одно сочиненіе, замѣчательное по своей рѣзкой оригинальности и потому заслуживающее упоминанія, — это курсъ, читанный покойнымъ профессоромъ Костыремъ въ университетѣ Св. Владиміра въ 46 — 8 годахъ и изданный подъ названіемъ «Предметъ, методъ и цѣль филологическаго изученія русскаго языка», 2 ч. По направленію и методу оно принадлежитъ еще прошлому вѣку и цѣлымъ столѣтіемъ запоздало въ своемъ появленіи. Къ дѣлу Костырѣ приступилъ какъ философъ, привыкшій отдавать себѣ отчетъ во всякомъ явленіи и во всякой мысли; но это раціональное начало не уравнивалось въ немъ достаточнымъ знакомствомъ съ матеріальнымъ содержаніемъ предмета. Не ознакомившись основательно съ фактами исторіи русскаго языка, онъ рѣшился судить о нихъ, руководствуясь философскимъ критическимъ тактомъ и, само собою разумѣется,

долженъ былъ впасть въ самыя грубыя ошибки. Ничего не принимая слѣпо на вѣру, онъ не могъ образовать самостоятельной точки зрѣнія, и потому, сомнѣваясь въ одномъ, принятомъ наукою за положительный фактъ, онъ относительно другаго попадалъ на старую общую точку зрѣнія. Вотъ примѣры. Отдѣляя грамматическое изученіе русскаго языка (цѣль котораго, по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, чтобъ сообщить намъ *умѣнье употреблять формы русскаго языка*) отъ филологическаго, онъ довольно вѣрно опредѣляетъ послѣднее слѣдующимъ образомъ: «Филологическое изученіе имѣетъ предметомъ своимъ организмъ русскаго языка, разсматриваемаго въ его сродствѣ съ языками общеславянскими (?) и языками древняго міра и въ историческомъ развитіи его отъ древнѣйшей эпохи до эпохи современной, *въ которой онъ становится языкомъ частнымъ, языкомъ не народа, но одного избраннаго общества (!)*, или языкомъ литературы современной» (стр. 14). Уже исключительность послѣднихъ словъ до нѣкоторой степени показываетъ, что Костырѣ смотрѣлъ на языкъ лишь какъ на литературный матеріалъ, не признавая его самостоятельнаго значенія. Это еще яснѣе видно при разборѣ филологическихъ изслѣдованій г. Каткова и Шпшкова, корнесловію котораго онъ отдастъ видное преимущество предъ лингвистическимъ трудомъ перваго. На сравнительно-историческій методъ и приложеніе его къ русскому языку Костырѣ вообще смотрѣлъ какъ-то подозрительно, не желая хорошенько вникнуть въ сущность этого ученія; самую мысль о сродствѣ индо-европейскихъ языковъ, въ то время уже приведенную въ надлежащіе предѣлы и ясность, онъ понималъ не иначе, какъ въ смыслѣ заимствованій, и даже позволялъ себѣ попрекнуть Бюруфовъ и Бопповъ этимъ мнимымъ заимствованіемъ, остроумно сравнивъ его съ вѣрою въ метемпсихозисъ. Что Костырѣ былъ чуждъ правильному, современному воззрѣнію на языкъ, это доказываетъ и вторая половина его сочиненія, гдѣ разбирается вопросъ о происхожденіи языка и гдѣ геніальныя идеи Вильгельма Гумбольдта ставятся на ряду съ понятіями фило-

софювъ XVIII столѣтія и приносятся въ жертву отвлеченной философіи автора. Вообще, трудъ Костыря замѣчателенъ только какъ рѣдкое, одиночное явленіе, неимѣющее никакой видимой наружной связи съ другими явленіями русскаго языкознанія, и съ этой точки зрѣнія объясняется и наша поминка объ немъ.

Переходимъ теперь къ другимъ трудамъ русскихъ ученыхъ.

Во всей многочисленной семьѣ языковъ и нарѣчій славянскихъ — церковно-славянскому языку безспорно принадлежитъ первое мѣсто. «Понимая его непосредственно по характеру, данному ему нашими предками, нельзя не почтить его въ высшей степени достойнымъ вниманія, какъ начала духовнаго единства, скрѣпившаго разрозненные племена... Представляя выраженіе частныхъ потребностей каждому нарѣчію, онъ общалъ племена, разрозненные въ пространствѣ. Съ этой точки зрѣнія, можно утверждать, что какъ во всѣхъ народахъ, такъ и въ русскомъ не виѣшняя сила, не привычка, но внутренняя потребность заставляла племена, проникавшіяся недовѣдомымъ стремленіемъ къ просвѣщенію, удерживать въ письменности языкъ, котораго характеръ не подчинялся всѣмъ современнымъ измѣненіямъ. Въ исторіи нашего просвѣщенія не столько важенъ вопросъ о вліяніи церковно-славянскаго языка на русскій, сколько обратно — вліяніе русскаго на церковно-славянскій. Это именно характеризуетъ значеніе его въ просвѣщеніи нашемъ. Внесенный вмѣстѣ съ Св. книгами, онъ примѣнялся къ народному выговору, упрощавалъ свой составъ, но, не принимая въ себя ничего, что разнять русскія нарѣчія, усвоилъ то, что ихъ соединяетъ. Дѣйствительно, въ немъ есть много русскаго, но ничего малороссійскаго, ничего великорусскаго, ничего бѣлорусскаго. Въ этомъ состоитъ его значеніе въ цѣломъ періодѣ образованія нашего до Петра Великаго. Онъ былъ связью племенъ, нарѣчій, былъ символомъ единства Россіи»¹⁾. Но съ нимъ родняютъ насъ не одни только

1) В. Григоровича: «Статьи, касающіяся древняго славянскаго языка». Казань. 1852.

историческія воспоминанія, для многихъ уже не существующія: наука открыла другое родство, которое связываетъ насъ съ нимъ тѣснѣе и крѣпче перваго и не подчиняется условіямъ пространства и времени. Церковно-славянскій языкъ принадлежитъ къ числу тѣхъ счастливыхъ языковъ, которые дошли къ намъ въ полномъ цвѣтѣ своей жизни, когда порча, неизбежная въ языкѣ каждаго народа, уже вступившаго на историческое поприще, не успѣла повредить всего организма. Поэтому-то онъ такъ дорогъ намъ! Десять вѣковъ тревожной исторической жизни положили свой неизгладимый отпечатокъ и на языкъ нашъ: съ обильною мыслей, убѣжденій и формъ жизни мѣнялись и формы языка, но, конечно, не къ лучшему, потому что, какъ мы уже имѣли случай показать, законъ историческаго прогресса, и самъ по себѣ не слишкомъ-то ясный, уже совершенно непримѣнимъ къ языку, и, посреди всѣхъ духовныхъ и матеріальныхъ улучшеній въ жизни, одинъ языкъ представляетъ видъ нестройныхъ остатковъ организма, неуцѣлѣвшаго отъ жизненнаго крушенія. Путемъ изученія современнаго состоянія нашего языка мы не дойдемъ до полнаго его пониманія. Богатый и гибкій, но лишенный мѣстами первобытной свѣжести, онъ остается для насъ нѣмою, непонятною буквою до тѣхъ поръ, пока мы не обратимся къ его исторіи, къ тѣмъ измѣненіямъ, которымъ подвергался онъ въ теченіе долгаго жизненнаго процесса, и въ нихъ не поищемъ объясненія неуступчивой современности. На первомъ шагу мы встрѣчаемся здѣсь съ языкомъ церковно-славянскимъ, этимъ *разъяснительнымъ* языкомъ, счастливо сохранившимъ въ себѣ первобытную простоту и свѣжесть. Рано возведенный до письменности, онъ хранитъ коренныя свойства славянскихъ языковъ, много потерпѣвшихъ подъ вліяніемъ мѣстности и историческихъ условій. Необыкновенная свобода этимологическихъ формъ: богатство звуковъ и флексій, эти внутреннія достоинства дѣлаютъ его — по словамъ П. Шафарика — предметомъ важнымъ для всякаго языковѣда, а для славянскаго *трижды* и *четырежды* важнымъ, и потому, въ настоящее время, по всей

справедливости, считается онъ краеугольнымъ камнемъ славянской лингвистики и филологіи: къ нему естественнымъ историческимъ путемъ приходитъ каждый изслѣдователь славянскихъ нарѣчій, и славянское языкознаніе обязано ему всѣмъ своимъ успѣхамъ: что было въ немъ темнаго, непонятнаго, оживилось и получило надлежащій смыслъ по сближенію съ этимъ языкомъ.

Два имени стоятъ въ главѣ его ученой обработки, и одно изъ нихъ принадлежитъ русскому. Съ тѣхъ поръ, какъ появилось разсужденіе Востокова о славянскомъ языкѣ — а этому скоро исполнился сорокъ лѣтъ — славянская наука далеко ушла впередъ, но мысли, въ немъ высказанныя, легли въ ея основу. Еще Добровскій, другой великій славянистъ нашего времени, собственнымъ примѣромъ показалъ, что пріобрѣтаетъ наука въ *Разсужденіи* Востокова. Онъ познакомился съ этимъ сочиненіемъ, когда его знаменитыя «*Institutiones linguae slavicae vetegis dialecti*» только-что начались печатаніемъ. Важность наблюденій и выводовъ Востокова поразила его, и онъ тотчасъ хотѣлъ, прекративъ печатаніе, начать переработку труда по указаніямъ нашего славяниста. Только уступая просьбамъ друга своего Копитара, Добровскій рѣшился продолжать печатаніе ¹⁾. Какъ Добровскій, такъ и Востоковъ, въ своихъ изслѣдованіяхъ, держались преимущественно историческаго начала. Оно открывало имъ древнѣйшія свойства церковно-славянскаго языка, но не могло предложить удовлетворительнаго объясненія его старинныхъ формъ. Отсюда немногія ошибки Добровскаго, которыхъ счастливо избѣжалъ Востоковъ. Иногда, впрочемъ, Добровскій обращался и къ сравнительному методу, но имъ не руководили законы строгой лингвистики, и, въ этомъ отношеніи, онъ еще послѣдователь старинной школы. Востоковъ осторожно миновалъ эту искусственную и въ то время еще неприготовленную почву: его сравнительныя сближенія, по большей части, отличаются вѣрностью и умѣренностью. Такъ носо-

1) Отчеты Акад. Наукъ, по 2-му Отдѣленію. Спб. 1852. стр. 297.

вые элементы (ринизмъ), природы которыхъ не могъ понять Добровскій, объяснены имъ сближеніемъ съ польскимъ языкомъ, гдѣ они до сихъ поръ имѣютъ свою силу ¹⁾. Открытія Востокова на первый взглядъ могутъ показаться незначительными; но кто знаетъ, какъ важны въ лингвистикѣ правильныя понятія о звукахъ, какъ, минуя эту основу, нельзя понять никакихъ законовъ языка, тотъ пойметъ, что правильное объясненіе носовыхъ элементовъ было открытіе, значеніе котораго далеко за предѣлами видимаго современными языковѣдами горизонта. Сверхъ этой главной заслуги «Разсужденія» Востокова, мы встрѣчаемъ въ немъ много другихъ здравыхъ мыслей о переходѣ гортанныхъ въ шипящія и свистящія, о звукахъ полугласныхъ, объ особенностяхъ склоненія прилагательныхъ простыхъ и сложныхъ, о неупотребленіи дѣепричастія, и т. д.

Опредѣливъ древнѣйшія свойства церковно-славянскаго языка, Востоковъ тѣмъ самымъ указалъ на мѣсто его и значеніе къ кругу другихъ славянскихъ нарѣчій, а это, въ свою очередь, навело на многіе важные историко-литературные вопросы, безъ рѣшенія которыхъ были невозможны дальнѣйшіе успѣхи славянскаго языкознанія, — таковы: о нарѣчій, на которое сдѣланъ былъ первоначальный переводъ Священныхъ книгъ, о древнѣйшихъ рукописяхъ славянской письменности, объ ихъ изводахъ или редакціяхъ и вліяніи, какому подвергался церковно-славянский языкъ въ Россіи, Сербіи и другихъ славянскихъ земляхъ. Дальнѣйшіе грамматическіе труды Востокова не имѣли уже того высокаго интереса и значенія для науки, какъ его «Разсужденіе». Они не развивали, а только доказывали его прежнія мысли и служили имъ подтвержденіемъ; таковы его *грамматическія правила*, извлеченныя изъ «Остромирова Евангелія», которыя, при отсутствіи строгой грамматической системы, пред-

1) Справедливость требуетъ, однако, сказать, что многія сравнительныя сближенія, высказанныя Востоковымъ въ образцовыхъ *грамматическихъ объясненіяхъ* Фрейзингенскихъ памятниковъ, обличаютъ въ немъ исследователя съ тонкимъ лингвистическимъ тактомъ.

ставляют довольно полное собраніе фактовъ языка древнѣйшаго памятника церковно-славянской письменности, значительно облегчающее его изученіе и особенно полезное при ученыхъ справкахъ.

Ученныя заслуги Востокова давно признаны и оцѣнены всѣми. Но едва ли кто замѣтилъ, или, по крайней мѣрѣ, высказалъ одно достоинство его, рѣдкое въ наше время, когда въ науку такъ часто вносятъ интересы личнаго или племенного эгоизма. Мы говоримъ о той примѣрной добросовѣстности, которая, свидѣтельствуя его возвышенный взглядъ на науку и чистыя отношенія къ ней, дѣлаетъ для насъ имя Востокова *авторитетомъ* въ благороднѣйшемъ значеніи этого слова. Мы не знаемъ ни одного факта, какъ бы ни былъ онъ мелоченъ, неправильно переданнаго, или вымышленнаго имъ!

Есть что-то высокое въ этомъ неподкупномъ чувствѣ правды и уваженія къ истинѣ! Въ этомъ отношеніи, какая противоположность между нашимъ славянистомъ и другими филологами — Копитаромъ и его ученикомъ, Миклошичемъ, приходская народность и вѣроисповѣдное чувство которыхъ доводило ихъ до такихъ недобросовѣстныхъ искаженій истины! Не ходя далеко за примѣрами, мы укажемъ на послѣдній трудъ Востокова — «Церковно-Славянскій словарь», котораго первый томъ уже появился въ свѣтъ. Миклошичъ, вѣрный своему мнѣнію о тождествѣ двухъ полугласныхъ звуковъ Ъ и Ь, отступилъ отъ историческихъ фактовъ и, въ угоду своему мнѣнію, въ *Lexicon linguae Slovenicae*, выходящій нынѣ вторымъ изданіемъ, переначилъ правописаніе всѣхъ словъ съ полугласными элементами; а о Копитарѣ и говорить нечего: онъ доходилъ иногда до крайней недобросовѣстности и рѣшительно искажалъ факты для подтвержденія своего католическаго гаданія *de pannonietate sacrae linguae Slovenicae* ¹⁾. Этому мы не встрѣтимъ въ Востоковѣ: его словарь, конечно, не можетъ еще отлпчаться полнотою, но никто

1) См. превосходную характеристику Копитара, какъ писателя, въ сочиненіи г. Бодянского «О времени происхожденія славянскихъ письменъ». 1855. 213 и LXXIII—IV стр.

не упрекнуть его невѣрностью, или недобросовѣстностью. Словарь составляется по древнѣйшимъ рукописямъ и старопечатнымъ книгамъ: смыслъ словъ опредѣляется сличеніемъ нѣсколькихъ мѣстъ изъ различныхъ сочиненій, а въ переводахъ—сопоставленіемъ словъ подлинника.

Мы потому распространились о заслугахъ Востокова, что его грамматическія сочиненія, можно сказать, создали славянскую филологію. Въ нашемъ отечествѣ онъ, однако, не произвели того вліянія, какое имѣли у западныхъ славянъ. Церковно-Славянская грамматика у насъ еще очень недавно оставила мудрыя правила Ѳеодора Поликарпова!

Развитіе сравнительно-историческаго языкознанія подняло и возвысило изученіе языка церковно-славянскаго: онъ сдѣлался исходнымъ пунктомъ сравнительной грамматики славянскихъ нарѣчій, посредствующимъ терминомъ, связывающихъ судьбы ихъ съ судьбами языковъ всего индо-европейскаго племени. Мы упоминали выше о трудахъ Шафарика, Шлейхера и Миклошича: совокупными усиліями ихъ этимологія, можно сказать, почти окончена; но за синтаксисъ еще никто и не принимался. Намъ кажется, что ближайшимъ образомъ эта обязанность лежитъ на насъ, русскихъ: ни одна славянская земля не обладаетъ такимъ сокровищемъ памятниковъ древняго церковно-славянскаго языка, какъ наше отечество, и намъ слѣдовало бы отвѣчать на потребности современной науки въ сравнительномъ славянскомъ языкознаніи. Къ сожалѣнію, наши отвѣты на это были до сихъ поръ какъ-то глухи и уклончивы: мы можемъ указать на нѣсколько именъ, съ успѣхомъ занимавшихся разработкою нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ, но никто до сихъ поръ не принимался за постройку цѣлаго зданія, такъ что г. Буслаеву первому принадлежитъ честь созданія русскаго и церковно-славянскаго синтаксиса.

Немного русскихъ трудовъ — и еще менѣе именъ — мы можемъ указать, послѣ Востокова, въ ученой обработкѣ церковнаго языка. Самые владѣтели драгоценныхъ рукописей до сихъ

поръ какъ-то не въ мѣру скупы на изданіе ихъ, а если и рѣшаются на такой подвигъ, то дѣлаютъ это такимъ образомъ, что изданіе памятникъ выходитъ никуда и никому непригоднымъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, какъ пріятное исключеніе, можно еще упомянуть только о трудахъ гг. Бодянскаго, Срезневскаго и Григоровича, которые своими, хотя очень небогатыми, замѣтками много способствовали опредѣленію свойствъ древнѣйшаго славянскаго языка. Вопросъ о народности церковно-славянскаго языка до сихъ поръ еще не приведенъ къ окончательному рѣшенію: обыкновенно считаютъ этотъ языкъ древне-болгарскимъ и въ этомъ случаѣ ссылаются на такіе авторитеты, какъ Востоковъ и Шафарикъ. Но мнѣніе Востокова ограничивается такое опредѣленіе. Принимая, что старо-славянское нарѣчіе было употребляемо въ древне-болгарской письменности, Востоковъ не думаетъ, впрочемъ, изъ этого выводить заключенія о тождествѣ старославянскаго нарѣчія съ древнимъ болгарскимъ народнымъ. Древнимъ болгарскимъ онъ называлъ его иногда только потому, что всѣхъ славянъ задунайскихъ, жившихъ на востокъ отъ сербовъ, и онъ съ другими привыкъ называть болгарами. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не сомнѣвается, что родина старо-славянскаго нарѣчія есть Македонія, а потому его можно назвать и македонскимъ (какъ думалъ и Добровскій); собственно болгарское нарѣчіе могло издревле отличаться отъ него очень важными признаками. Шафарикова послѣдняя гипотеза о глаголицѣ уже извѣстна. Пусть она будетъ еще не доказана, но во всякомъ случаѣ никто не откажетъ ей въ серьезности содержанія и во всѣхъ условіяхъ, необходимыхъ для правдоподобія; а при этомъ и положеніе о древнѣйшемъ языкѣ богослужебныхъ книгъ должно нѣсколько повзмѣниться. Во всякомъ случаѣ мы думаемъ, что рѣшать такой важный вопросъ наобумъ не приходится, и съ этой точки зрѣнія мы не можемъ не сочувствовать мнѣнію г. Биллярскаго, который требуетъ положительно - историческаго анализа памятниковъ средне-болгарской письменности, полагая, что только этимъ путемъ можно прийти къ прочному рѣшенію во-

проса о народности языка богослужебныхъ книгъ и избѣжать той шаткости въ сужденіяхъ, какою страдаютъ почти всѣ мнѣнія по этому предмету ¹⁾. Другой вопросъ объ отношеніяхъ этого языка къ прочимъ славянскимъ нарѣчіямъ, который, въ свое время, такъ живо интересовалъ нашихъ филологовъ, кажется, уже принялъ окончательное рѣшеніе въ «Начаткахъ русской филологіи» г. Максимовича, тогда какъ другой, гораздо болѣе важный вопросъ объ измѣненіяхъ, каковымъ подвергался церковнославянскій языкъ дома и на чужбинѣ — вопросъ, приступъ къ которому съ такимъ блестящимъ талантомъ былъ сдѣланъ еще Прейсомъ, до сихъ поръ встрѣтилъ только одинъ отголосокъ къ почтеннымъ трудамъ г. Билярскаго о средне-болгарскомъ вокализмѣ и Реймскомъ Евангеліи. Короче сказать, славянское языкознание еще не получило у насъ права гражданства и остается досужимъ занятіемъ очень немногихъ людей, заслуживающихъ добраго слова тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе равнодушіе окружающей среды къ подобнымъ занятіямъ и чѣмъ менѣе можно разсчитывать на поддержку и одобреніе.

Недалеко ушло и ученое изслѣдованіе собственно-русскаго языка! Не говоря уже о томъ, что изученіе русскаго народнаго языка, такъ сказать, находится еще въ пеленкахъ, что лексикографія только въ послѣднее время (въ трудахъ II Отдѣл. Академіи Наукъ и г. Даля) начинаетъ свое многотрудное дѣло, — самый манеръ ученыхъ изслѣдованій до сихъ поръ какъ-то не установился, и къ нему въ полной мѣрѣ можетъ быть отнесенъ тотъ энергическій упрекъ, какой въ послѣднее время былъ сдѣланъ г. Билярскимъ всей современной наукѣ славянскаго языкознанія, именно — въ недостаткѣ положительнаго историческаго направленія ²⁾. Какъ поздно у насъ принялись начала сравни-

1) «Ученныя Записки» 2-го Отд. Акад. Наукъ, т. 2. II ч., стр. 19. Safarik — über d. Ursprung und die Heimath des Glagolismus. P. 1858. Стр. 30 — 32. Билярскій «О средне-болгар. вокализмѣ». Сиб. 1858. Стр. 10—19.

2) Билярскій «О средне-болгарскомъ вокализмѣ», стр. 9—20 новаго (58) изданія. Дальнѣйшія объясненія положительно-историческаго метода въ языко-

тельно-исторического изученія русскаго языка, это лучше всего видно на судьбѣ *Филологическихъ Изслѣдованій надъ составомъ русскаго языка*, протоіерея Павскаго. Они были встрѣчены самымъ горячимъ сочувствіемъ, переходящимъ въ изумленіе, и только съ теченіемъ времени, лѣтъ десять спустя по выходѣ первыхъ выпусковъ, сдѣлалось яснымъ ихъ настоящее достоинство. Отъ новой науки пр. Павскій заимствовалъ только наружную сторону, заключающуюся въ сравнительномъ элементѣ; но, не желая поступиться началами старинной филологической грамматики, онъ, противъ воли, впалъ въ сферу тѣхъ произвольныхъ сближеній, которыя основаны на случайномъ созвучіи, и во всемъ видятъ или заимствованіе, или вліяніе одного языка на другой. Такого рода сближенія, можетъ-быть, немало способствовали увеличенію объема книги, но на дѣлѣ едва ли могли содѣйствовать успѣхамъ науки и ничѣмъ не разнились отъ корнесловія адмирала Шишкова, кромѣ того, что послѣднее было своевременнѣе. Историческій элементъ является такою же случайностью въ «Филологическихъ Наблюденіяхъ», какъ и сравнительный: признавая принципъ сравнительно-историческаго изученія, пр. Павскій не воспользовался какъ должно его результатами и въ большей части грамматическихъ объясненій не оставался вѣренъ этому методу; отсюда у него постоянное смѣшеніе древнѣйшихъ формъ съ позднѣйшими и смѣлые выводы, противорѣчащіе историческимъ даннымъ. Вообще «Филологическія Наблюденія» Павскаго, какъ справедливо было замѣчено однимъ изъ его критиковъ, объясняются переходнымъ состояніемъ отъ теорій Шишкова и другихъ къ ясному взгляду на языкъ, основанному Вильгельмомъ Гумбольдтомъ, Боппомъ, Гримальомъ. Оттого они остались одинокимъ явленіемъ въ наукѣ: практическая грамматика была уже закончена и заключала въ себѣ почти тѣ же самыя положенія и ту же систему, для которой пр. Павскій со-

знаніи см. въ крит. статьѣ А. А. Кушника («Спб. Вѣд.» 1847 г., № 213, 214) по поводу сочиненія г. Биларскаго.

здалъ такой ученый пьедесталъ, а начатки сравнительно-историческаго изученія не могли помириться съ его «наблюденіями» потому, что въ нихъ видѣли тотъ мертвый взглядъ на языкъ и тотъ устарѣлый методъ, отъ котораго наука только-что освободилась.

Сравнительно-историческое изученіе русскаго языка появилось у насъ не далѣе, какъ за пятнадцать лѣтъ предъ симъ, и первые труды въ этомъ направленіи давали поводъ надѣяться на будущіе блестящіе успѣхи новой науки. Это были: «О преподаваніи отечественнаго языка», г. Буслаева, 1844 г., и «Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго языка», г. Каткова, 1845 г. Последнее сочиненіе до сихъ поръ остается лучшимъ ученымъ анализомъ звуковъ и формъ русскаго языка, особенно, если поставить его рядомъ съ сочиненіемъ пр. Павскаго. Цѣлью автора было уясненіе того пути, какимъ обособлялся русскій языкъ въ ту эпоху, когда онъ самъ впервые произнесъ себя. Основательно знакомый съ трудами Бонна и Гримма, авторъ приложилъ ихъ методъ къ разбору элементовъ и флексій отечественнаго языка и чрезвычайно удачно объяснилъ много темныхъ спорныхъ пунктовъ въ организмѣ языка. Такъ, напримеръ, значеніе полугласныхъ элементовъ *ь* и *ъ*, для объясненія которыхъ Павскій изобрѣлъ хитрую теорію придыханій, у г. Каткова получаетъ надлежащій смыслъ чрезъ сравненіе съ соответствующими элементами родственныхъ языковъ. Причина разнорѣчій въ фонетикѣ славянскаго языка очень легко объяснена смягченіемъ согласныхъ и неравномѣрнымъ ослабленіемъ вокализма, опредѣлена граница физіологическаго и историческаго начала звуковъ; а равнымъ образомъ и въ объясненіи существительныхъ и глагольных флексій сочиненіе г. Каткова представляетъ очень много важнаго и — по тому времени — совершенно новаго. Несмотря на то, что въ настоящее время наука, съ увеличеніемъ матеріала, далеко ушла впередъ, трудъ г. Каткова, основанный на положительномъ сравнительно-историческомъ методѣ, надолго еще останется сочиненіемъ, необходимымъ каж-

дому, изучающему организмъ русскаго языка. Справедливость также требуетъ упомянуть о «грамматическихъ изслѣдованіяхъ о русскомъ языкѣ» ¹⁾ акад. Бетлинга, заключающихъ въ себѣ превосходный сравнительный разборъ нѣкоторыхъ фонетическихъ особенностей русскаго языка.

Собственно-историческое изслѣдованіе русскаго языка, начатое еще г. Буслаевымъ (во 2-й части сочиненія «О преподаваніи отечественнаго языка»), твердою ногою выступаетъ только въ текущее десятилѣтіе, въ небольшомъ трудѣ прочес. Срезневскаго: «Мысли объ исторіи русскаго языка», 1850 г., и въ сочиненіи г. Лавровскаго: «О языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣтописей», 1852 г. Въ эпоху, когда нѣтъ еще никакого ученаго анализа всего организма русскаго языка, было бы слишкомъ смѣло приниматься за составленіе его исторіи, и потому сочиненіе г. Срезневскаго есть только *мысли* объ исторіи русскаго языка и полезное собраніе фактовъ, относящихся къ *формальному* измѣненію его строя. Какъ понимаетъ современная наука исторію языка, это видно изъ труда Якова Гримма, большая половина котораго посвящена жизни народа, выражающейся въ языкѣ, его древнѣйшей исторіи, правахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ. Отважиться на такую постройку относительно русскаго языка еще слишкомъ несвоевременно, и, понимая это, г. Срезневскій собраніемъ и объясненіемъ нѣкоторыхъ фактовъ, касающихся преимущественно формальнаго измѣненія русскаго языка, только слегка намѣтилъ общія положенія изъ исторіи языка. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи книга г. Срезневскаго принесла огромную пользу и много содѣйствовала утвержденію въ публикѣ здравыхъ понятій объ организмѣ языка и его развитіи. Относительно самой исторіи русскаго языка сочиненіе г. Срезневскаго предлагаетъ только общія замѣчанія о его строѣ въ то время, когда онъ уже отдѣлился отъ другихъ славянскихъ нарѣчій и сталъ

1) См. *Mélanges Russes* 1851. т. II, стр. 26—104 и *Ученія Записки Академіи Наукъ* по I и III отдѣл. 1853 г. т. 1-й стр. 58—127.

языкомъ самостоятельнымъ. Первобытнаго періода онъ не касается потому, можетъ-быть, что это потребовало бы такихъ обширныхъ предварительныхъ занятій и знаній, какими не можетъ еще располагать русскій ученый. Главныя мысли, выведенныя г. Срезневскимъ изъ тщательнаго изслѣдованія историческихъ изысканій строя русскаго языка, слѣдующія: древній народный русскій языкъ отличался отъ древняго церковно-славянскаго очень немногими особенностями въ употребленіи звуковъ и грамматическихъ формъ. Къ такимъ особенностямъ авторъ относитъ отсутствіе носовыхъ гласныхъ, особое произношеніе глухихъ гласныхъ звуковъ ѣ и ѣ въ соединеніи съ согласными, употребленіе мѣстоименныхъ формъ въ склоненіи прилагательныхъ и причастій неопредѣленныхъ, и мн. др. За поворотную точку въ измѣненіи строя какъ русскаго языка, такъ и нѣкоторыхъ западныхъ нарѣчій, авторъ признаетъ XIV вѣкъ. Это время, XIII—XIV, по его мнѣнію, было и временемъ образованія мѣстныхъ нарѣчій — великорусскаго и малорусскаго, какъ нарѣчій отдѣльных. Книжный языкъ отличался отъ народнаго, безъ сомнѣнія, всегда, но въ X — XIV в. отличія одного отъ другого у насъ заключались болѣе въ привычкахъ слога, чѣмъ въ грамматическихъ формахъ. Отъ близости строя русскаго народнаго языка съ языкомъ книгъ церковно-славянскихъ, къ намъ занесенныхъ, зависѣло то, что, сколько ни мѣшались одинъ съ другимъ въ произведеніяхъ нашей письменности элементы — старославянскій книжный и русскій народный, языкъ этихъ произведеній сохранялъ правильную стройность всегда, когда вмѣстѣ съ элементомъ старославянскимъ не пропикалъ въ него насильственный элементъ греческій, византійскіе обороты рѣчи, византійскій слогъ, и когда притомъ писавшій имъ былъ не чужестранецъ, неумѣвшій выражаться правильно по-славянски. Прочное начало образованію книжнаго русскаго языка, отдѣльнаго отъ языка, которымъ говорилъ народъ, положено въ XIII—XIV вѣкѣ, тогда же, какъ народный русскій языкъ подвергся рѣшительному превращенію въ своемъ древнемъ строѣ. Въ XIV

въѣкъ языкъ свѣтскихъ грамотъ и лѣтописей, въ которомъ господствовалъ языкъ народный, уже примѣтно отдѣлился отъ языка сочиненій духовныхъ. Въ памятникахъ XV—XVI в. отличія народной рѣчи отъ книжной уже такъ рѣзки, что нѣтъ никакого труда ихъ отдѣлять»¹⁾).

Быть-можетъ, многіе изъ этихъ выводовъ уже слишкомъ рѣшительны, но для насъ очень важны тѣ основы, стоя на которыхъ, авторъ позволилъ себѣ сдѣлать такія заключенія: не только историческіе памятники церковно-славянскаго и древне-русскаго языка, но и сравнительное изученіе славянскихъ нарѣчій и народный языкъ въ областныхъ вѣдопознѣніяхъ входятъ въ его сочиненія какъ необходимыя части и даютъ ему положительное значеніе въ нашей наукѣ. Съ этой стороны «Мысли объ исторіи русскаго языка»—явленіе безупречное, и какъ бы ни пошла далеко впередъ наука, за нимъ останется честь благаго вліянія на утвержденіе въ нашемъ отечествѣ животворныхъ началъ сравнительно-историческаго метода въ изученіи родного языка.

Трудъ г. Лавровскаго «О языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣтописей» построенъ на планѣ, и можно сказать, на мысли, выраженной въ «Мысляхъ объ исторіи русскаго языка», а потому въ немъ должно отличать двѣ стороны: фактическую и общіе выводы.

Въ фактическомъ отношеніи, сочиненіе г. Лавровскаго заслуживаетъ полнаго вниманія и совершенно достигало бы своей цѣли, если бы не было основано на источникахъ *филологическая достоверность* которыхъ можетъ подлежать сильнымъ сомнѣніямъ. Таковы: «Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ», «Полное собраніе русскихъ лѣтописей», «Историческіе и юридическіе акты» и мн. др. Эти изданія принадлежатъ тому времени, когда не дорожили буквой подлинника для отысканія историческаго смысла; отсюда и выходило, что многія формы

1) «Извѣстія Академіи Наукъ», г. 5. См. предисловіе г. Срезневскаго къ «Запискѣ о русскомъ языкѣ» г. Погодина, стр. 65—70.

языка получали, при такомъ искусномъ толкованіи, совершенно иной видъ, чѣмъ онѣ имѣли встарину. Однимъ словомъ, непониманіе съ филологическимъ приѣмомъ вело издателей къ искаженію первоначальнаго текста, а потому и лингвистъ имѣетъ полное право не довѣрять точности печатнаго текста нашихъ древнѣйшихъ памятниковъ языка. Чтобы быть убѣждену въ полной законности подобнаго скептицизма, достаточно развернуть первый попавшійся томъ «Полнаго собранія русскихъ Лѣтописей»: не только замѣна однихъ элементовъ другими (гражданское я вездѣ замѣняетъ церковно-славянскія ю и юсы; ѡ и ѡ переѣшаны не только между собою, но и съ буквами е и о), несоблюденіе звуковыхъ значковъ, но и самое искаженіе формъ можно найти въ такомъ изобиліи, что невозможность основать прочныя филологическіе выводы на такомъ зыбкомъ фундаментѣ сдѣлается ясна сама собою. Сверхъ этого, должно замѣтить, что изданіе памятниковъ по сводному методу, вмѣсто изданія отдѣльныхъ древнѣйшихъ списковъ, какъ бы не были велики и значительны его достоинства въ историческомъ отношеніи, дѣлаетъ памятникъ рѣшительно негоднымъ къ филологическому употребленію.

Принявъ въ расчетъ эти обстоятельства, мы поймемъ надлежащій смыслъ и значеніе сочиненія г. Лавровскаго. Что же касается его общихъ выводовъ, то они почти повторяютъ положенія, высказанныя въ сочиненіи г. Срезневскаго. Послѣдній замѣчательный трудъ въ области сравнительно-историческаго изслѣдованія русскаго языка принадлежитъ г. Буслаеву. Мы разумѣемъ его «Опытъ Исторической Грамматики русскаго языка» (2 т.). Несмотря на прямое педагогическое назначеніе свое, «Опытъ» г. Буслаева представляетъ скорѣе богатый сборникъ матеріаловъ для полной сравнительно-исторической грамматики русскаго языка, чѣмъ книгу въ собственномъ смыслѣ педагогическую, потому тотъ едва ли надлежащимъ образомъ оцѣнитъ достоинство этого труда, кто взглянетъ на него съ точки зрѣнія стройной оконченной системы: какъ въ расположеніи матеріала, такъ и въ обработкѣ его «Опытъ» г. Буслаева представляетъ

нѣкоторую неоконченность и даже торопливость; но какъ полнѣйшее, тщательное собраніе грамматическаго матеріала, онъ надолго останется настольною книгою каждаго изслѣдователя церковно-славянскаго и русскаго языка. Самая важная заслуга г. Буслаева заключается въ обработкѣ русскаго синтаксиса, или вѣрнѣе сказать въ *созданіи* его, ибо до него синтаксическій отдѣлъ нашихъ практическихъ грамматикъ былъ очень скуденъ и совершенно лишенъ историческихъ основаній.

«Опытъ Исторической Грамматики русскаго языка», какъ показываетъ самое заглавіе, имѣетъ въ виду лишь историческую сторону русскаго языка: педагогическія цѣли, вѣроятно, были причиною, что авторъ почти совершенно исключилъ сравнительный элементъ и только въ концѣ перваго *для желающихъ*—присоединилъ нѣсколько сравнительныхъ приложений. Мы ничего не имѣли бы противъ такой исключительности, если бы главное назначеніе книги г. Буслаева было только педагогическое, напротивъ въ виду важнаго ученаго ея достоинства и значенія—нельзя не пожалѣть о такомъ капитальномъ недостаткѣ этого почтеннаго труда; но вообще—если справедлива мысль, что каждая наука невозможна безъ предварительнаго тщательнаго собранія и осмотра матеріала, то «Опыту» г. Буслаева принадлежитъ самое видное мѣсто въ исторіи русскаго языкознанія,—такъ облегчены имъ послѣдующіе труды въ этой области отечественной науки.

Исторія всеобщей литературы въ Россіи.

1) Исторія литературы древняго и новаго міра, составленная по I. Шерру, Шюссеру, Геттнеру, Ф. Шлегелю, Ю. Шмидту, Р. Готтшалау, изд. подъ редакцію А. Милюкова, т. 1-й Спб. 1862. XVI + 568 стр. 2) Очерки литературы древнихъ и новыхъ народовъ, составл. Гарусовымъ. I. Поэзія драматическая. М. 1862, XI + 456 с.

Кто знаетъ, какое важное значеніе имѣетъ исторія литературы въ общей системѣ историческихъ наукъ и педагогикъ, тому не покажется страннымъ наше замѣчаніе—войти въ нѣкоторыя

подробности относительно этого предмета. Кромѣ соображеній болѣе или менѣе общихъ, мы желали бы представить хотя краткую историческую оцѣнку того, что сдѣлано у насъ по исторіи всеобщей литературы, и указать на задачи ея въ будущемъ. Не величина пройденнаго пути, не обиліе разработаннаго и освѣщеннаго матеріала — съ этой стороны можно сказать, что русская исторія всеобщей литературы — вся въ будущемъ, а интересъ современнаго поколѣнія къ наукѣ — вотъ что побуждаетъ насъ, въ виду будущихъ успѣховъ въ этой области знаній, свести счеты съ прошедшимъ, серьезно оцѣнить настоящее и, по нашему крайнему разумѣнію, намѣтить пути для грядущаго.

Въ смыслѣ науки — исторія литературы появилась очень недавно: правда, на нѣкоторыя избранныя произведенія поэтовъ указываютъ еще теоретики древнихъ временъ, но ихъ цѣль была совершенно иная: они не понимали науки исторіи литературы и произведеніями писателей пользовались, какъ матеріаломъ для созданія теорій прозаическихъ и поэтическихъ произведеній, какъ образцами, отъ которыхъ они отвлекали свои теоретическія наставленія и правила. Такую же судьбу имѣла наука о словесности и въ средніе вѣка и въ новое время. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, по слѣдамъ Баумгартена и геніальнаго Винкельмана, возникло стремленіе создать общую философію искусства или эстетику; оно освободило науку отъ схоластическихъ опредѣленій, но мало помогло успѣхамъ собственно историческаго знанія. Гораздо болѣе принесло въ этомъ отношеніи движеніе романтическихъ идей: указывая на старину, какъ на чистѣйшій первообразъ народнаго духа, оно вывело на свѣтъ множество памятниковъ старинной поэзіи и вообще литературы, — началась разработка ихъ — и вскорѣ стала на ноги въ собственномъ смыслѣ историческая наука о литературѣ. Что выиграло при этомъ историческое знаніе вообще — рѣшить не трудно: *достоверность* составляетъ высшую цѣль исторіи, а изъ всѣхъ историческихъ наукъ только одна исторія литературы и можетъ въ полномъ смыслѣ слова похвалиться историческою *достоверностью*. Изъ

современныхъ ученыхъ никто, помнится, не высказалъ этой мысли яснѣе и лучше Эдельстана дю Мери (du Meril). Въ прологе-махъ къ своей Исторіи Скандинавской поэзіи (1863) онъ указываетъ на то, что историческія событія не всегда могутъ имѣть характеръ необходимости, что многое въ нихъ, если и не есть дѣло случая, то по крайней мѣрѣ, — воли слишкомъ личной, или личнаго произвола, имѣющаго для массы только характеръ принудительной необходимости, но никакъ не необходимости нравственно-свободной. Иное дѣло — произведенія литературы и въ особенности поэзіи: свободный, нравственно необходимый характеръ ихъ виденъ и въ нихъ самихъ, и въ томъ вліяніи, какое обнаруживаютъ они на окружающую среду. Литературное произведеніе, не имѣя оправдательныхъ корней въ народѣ, или извѣстномъ обществѣ, никогда не пойдетъ впередъ и, каковы бы ни были его достоинства, всегда останется одиокимъ, безъ признанія и привѣта. Отсюда ясно, какое огромное преимущество имѣетъ историкъ литературы сравнительно съ историкомъ политическимъ и гражданскимъ: въ стремленіяхъ къ истинѣ и исторической достовѣрности послѣдній рѣдко выходитъ полнымъ побѣдителемъ. Пусть онъ будетъ вполне свободенъ отъ мономаніи историко-органическаго воззрѣнія, пусть обладаетъ громаднымъ знаніемъ, здравою мыслию, тонкимъ критическимъ тактомъ — все же ему не уйти отъ множества капитальныхъ гаданій и предположеній, имѣющихъ большую *вѣроятность*, но никакъ не *достоверность*. Судить историческія явленія судомъ ихъ современниковъ историкъ не имѣетъ ни возможности, ни права: объ одномъ и томъ же событіи современники судятъ различно, — передаютъ разнорѣчивыя извѣстія, многихъ событій они вовсе не касаются — и неужели историкъ занесетъ въ свое произведеніе весь этотъ разнорѣчивый матеріалъ сырьемъ, неужели онъ не захочетъ осмыслить его, указать каждому явленію надлежащее мѣсто въ исторіи народнои жизни, а достигнуть этого онъ можетъ не иначе, какъ путемъ своей *собственной* мысли, оттого и критеріумъ исторической достовѣрности лежитъ здѣсь столько же

въ количествѣ и качествѣ фактовъ, сколько и въ личномъ талантѣ историка, въ убѣдительности его домысловъ и соображеній. Само собою разумѣется, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о полной достовѣрности, обнимающей отъ маля до велика всѣ историческія явленія, всѣ факты. Въ мірѣ нѣтъ той исторіи, которая могла бы похвалиться такимъ качествомъ, и между тѣмъ, нѣтъ, въ полной мѣрѣ, обладаетъ исторія литературы. Какъ наука, пишущая своимъ предметомъ идеальную сторону человѣческой жизни, она мало обращаетъ вниманія на историческую достовѣрность. Событія для ней дѣло второстепенное—какъ случилось оно событіемъ, ей важно только, какъ отразилось это событіе въ умахъ и сердцахъ современниковъ на основаніи ихъ поэтическихъ и литературныхъ произведеній. Современники могли неумышленно изукрасить какой-нибудь историческій фактъ, могъ этотъ фактъ и не существовать вовсе, но существовало *сознаніе* его, — оно-то и составляетъ дѣйствительное, достовѣрное содержаніе исторіи литературы. Оставляя исторической критикѣ отличать реальную истину отъ вымысла и лжи, она беретъ только литературную сторону дѣла и, такъ какъ послѣдняя не можетъ быть не достовѣрна, то наука и возводитъ ее въ фактъ *дѣйствительной идеальной жизни* народа или общества. Странно было бы, если бы историкъ за дѣйствительныя историческія событія принялъ странствованія и подвиги легендарныхъ героевъ; но еще было бы страннѣе, если бы историкъ литературы не увидѣлъ въ нихъ *существенныхъ дѣйствительныхъ явленій нравственной жизни народа*. Вся трудность заключается здѣсь не въ томъ, чтобы отдѣлить истину отъ вымысла: истина здѣсь предъ глазами, а въ томъ, чтобы понять *смыслъ* этой истины и *степень* или объемъ ее по отношенію къ носителямъ ее, т. е. принадлежитъ ли извѣстное литературное явленіе всему народу, или только извѣстному классу людей. Потому, хотя многое въ исторіи литературы еще требуетъ предположеній, догадокъ, но достовѣрность самаго матеріала не допускаетъ никакихъ сомнѣній: можно спорить о литературномъ значеніи произведенія, его судьбѣ, вліяніи на обще-

ство, но нельзя сомнѣваться въ его существованіи! Что для историка составляетъ рѣшительный камень преткновенія въ его изслѣдованія, то дается здѣсь само собою, въ силу благодарнаго матеріала. Имѣя такія положительныя, достовѣрныя основанія, исторія литературы уже успѣла оказать много услугъ в общей исторической наукѣ: вотъ почему въ настоящее время нельзя встрѣтить почти ни одного замѣчательнаго историческаго труда, гдѣ были бы позабыты или пренебрежены литературныя произведенія эпохи, — вотъ почему и историки, подобные Шлоссеру, Гроту, Дункеру, Веберу, въ своихъ историческихъ трудахъ всегда отводятъ такое широкое мѣсто обзорѣнiю литературы!

Выше мы замѣтили о молодости литературы сравнительно съ прочими историческими науками; несмотря на это обстоятельство, она успѣла получить гражданскія права не только въ наукѣ, а и въ общественной нравственной жизни, какъ знаніе въ высшей степени привлекательное, дающее удовлетвореніе не одной пылкой любознательности, но и болѣе нѣжнымъ сторонамъ духовной природы человѣка.

Говорить ли еще объ одномъ качествѣ этой науки, — качествѣ, которое не всѣмъ знаніямъ выпадаетъ на долю и далеко не въ равной степени — мы разумѣемъ образовательную ея силу, ея высокое педагогическое значеніе, нынѣ уже всѣми признаиное?

Переходимъ къ состоянію исторіи всеобщей литературы въ Россіи.

Едва ли какая-нибудь иная наука находится у насъ въ такомъ жалкомъ положеніи, какъ исторія всеобщей литературы, — тогда какъ по отдѣлу всеобщей исторіи мы имѣемъ и переводы хорошихъ сочиненій и замѣчательныя монографіи (Грановскаго, Кудрявцева, Бабста, Куторги, Ешевскаго, Леонтьева), по литературѣ — лишь плохіе переводы плохихъ книгъ, неудачныя компіляціи и очень мало трудовъ, дѣйствительно заслуживающихъ вниманіе и уваженіе. Еще въ тридцатыхъ годахъ начали у насъ появляться переводы по исторіи всеобщей

литературы. Первыми изъ нихъ, если не ошибаемся, были *Исторія древнихъ и новыхъ литературъ, наукъ и изящныхъ искусствъ*, Жарри де Манси (1832—34 ч. 1), *Исторія древней и новой литературы* (1834) 2 т. Ф. Шлегеля и *Руководство къ исторіи литературы* (Спб. 1836 г. ч. 1), Вахлера. При нѣкоторыхъ несомнѣнныхъ для того времени фактическихъ достоинствахъ, послѣднія два сочиненія эти страдали такими существенными недостатками, которые сдѣлали невозможнымъ ихъ доброе вліяніе на русское читающее общество: Шлегель пѣтистъ и католическій философъ; обо всѣхъ литературныхъ явленіяхъ онъ судитъ съ точки зрѣнія ультра-монтаниста романтика: онъ рѣдко вдается въ подробную литературную оцѣнку произведенія и довольствуется тѣмъ, что въ немъ отыскиваетъ свои задушевные мысли и вноситъ его въ свою мистико-философскую схему. Отъ этого изложеніе его по большей части темно и невразумительно. Прибавить нужно, что уже и во время своего появленія на русскомъ языкѣ, сочиненіе Шлегеля не стояло въ уровень съ наукою: оно было написано, если не ошибаемся, въ 1811—12 г.; а съ того времени до тридцатыхъ годовъ наука сдѣлала громадныя успѣхи. Характеръ русскаго перевода только могъ способствовать неуспѣху книги: онъ далеко тяжеле самаго подлинника и уже рѣшительно не годился для чтенія. (Трудъ Л. Вахлера говорить нечего, такъ какъ это не исторія литературы въ собственномъ смыслѣ, а справочная энциклопедическая книга, притомъ и переводъ ея остановился на первомъ томѣ.

Едва ли не такой же успѣхъ имѣли и переводы *Исторіи европейской литературы XV и XVI стол.* Г. Галлама (Спб. 1836) и *Исторіи литературы среднихъ вѣковъ, извѣстная Вильмена* (М. 1836, 3 т.), этого подбитаго вѣтеркомъ оратора временъ реставраціи. Сочиненіе Галлама прошло незамѣтнымъ, а жиденькій курсикъ Вильмена принесъ выгоду и пользу одному автору «Чтеній о словесности», доставивъ собою неис-

черпасный источникъ для буквальныхъ заимствованій¹⁾; но для большинства читателей онъ прошелъ даромъ, быть-можетъ, потому, что вмѣсто фактическаго содержанія и критическаго разбора писателей онъ предлагалъ образцы академическаго краснорѣчія, легкіе, ни для кого не обременительные, но за то — никому не полезныя! Пропуская безъ вниманія забытый переводъ сухихъ очерковъ Исторія греческой и римской литературы Гарлесса (М. 1838), мы не можемъ, однако, умолчать объ одномъ сборникѣ, который, если бы былъ болѣе распространенъ, то оказалъ бы гораздо болѣе пользы, чѣмъ всѣ вышеназванныя сочиненія. Въ 20—30-хъ годахъ И. Кронебергъ, профессоръ классической словесности въ Харьковскомъ университетѣ, издавалъ нѣчто въ родѣ ученаго журнала подъ названіями: *Амалтея*, потомъ вслѣдъ за этимъ, *Брошюрки* и, наконецъ, онъ сдѣлалъ изъ этихъ изданій выборъ своихъ лучшихъ статей и переводовъ и такимъ образомъ составилось четыре тома сборника «Минерва». Кромѣ многихъ замѣчательныхъ статей по классической древности и литературѣ, здѣсь помѣщены превосходные разборы многихъ произведеній Шекспира и Гёте, общія замѣчанія о поэзіи и исторіи философіи искусства, историческіе очерки средне-вѣковой литературы и ин. др. Кронебергъ былъ не только ученый, но и человекъ, одаренный въ высшей степени чувствомъ изящнаго, по *школѣ* своей онъ принадлежалъ къ романтикамъ лѣвой стороны, т. е. стороны Шеллинга (въ первую эпоху его философской дѣятельности), Жанъ-Поль Рихтера, Тика, Уланда и др. Романтическое направленіе Кронеберга особенно выходитъ наружу въ его сужденіяхъ о поэзіи вообще и о Шекспирѣ въ частности: оно помогло ему проникнуть въ ту глубину души человека, предъ которой обыкновенно отступаетъ строгій

1) Злые языки говорятъ, что это заимствованіе простиралось иногда до удивительныхъ подробностей, такъ напр. о Данте было сказано, что «онъ много способствовалъ развитію *нашею* (т. е. *русскую*) языка...» и все это потому, что у Вильмена стояли слова *notre langue*! Не ругаемся за справедливость этого факта: мы давно не читали «Чтеній о словесности»!

исследователь-аналитикъ. Изложеніе его, при всей суровости языка, отличается необыкновеннымъ одушевленіемъ и постоянно поддерживаетъ интересъ въ читателѣ. Вообще, осматривая тогдашнее положеніе русской литературы и науки, нельзя не признать «Минерву» стараго харьковскаго профессора однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ литературныхъ явленій. Нѣкоторыя статьи ея еще и теперь не утратили своего значенія (таковъ напр. разборъ Шекспирова Макбета). Если она не имѣла прочнаго вліянія и успѣха въ обществѣ, то это должно приписать столько же обществу, сколько и тому обстоятельству, что книга скромно явилась въ Харьковѣ и медленными путями достигала центровъ нашей ученой и литературной дѣятельности. Въ то же самое время и въ нашихъ университетахъ открылись курсы «Исторіи всеобщей литературы». Плодомъ этого было появленіе перваго тома «Исторіи поэзій» г. Шевырева (М. 1835). Томъ этотъ, кромѣ вступительныхъ чтеній, обнималъ исторію поэзій евреевъ и индусовъ. Несмотря на то, что критика, въ лицѣ Надеждина, тогда же указала капитальные недостатки этого компилятивнаго поспѣшнаго труда, самое предпріятіе могло бы принести несомнѣнную пользу, если бы не остановилось на этомъ началѣ: продолженія «Исторіи поэзій» не было, хотя изъ университетскихъ отчетовъ извѣстно, что авторъ ея приготовилъ къ изданію всю Исторію литературы древняго міра, и нѣкоторыя отрывки отсюда были, дѣйствительно, напечатаны въ Ученыхъ запискахъ Московскаго университета и Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія ¹⁾. Самымъ замѣчательнымъ явленіемъ въ области русской исторіи всеобщей литературы тридцатыхъ годовъ была докторская диссертация г. Шевырева: «Теорія поэзій въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ» 1836 г. Что бы ни говорили объ ученомъ самостоятель-

1) Поэзіе г. Шевыревъ читалъ публичный курсъ «Исторіи поэзій», первыя лекціи котораго (Востокъ) были напечатаны въ «Московскомъ городскомъ листкѣ» 1847 г.

помѣ значеніи этого сочиненія, оно принесло свою неоспоримую пользу, въ первый разъ, въ широкихъ объемахъ, познакомило русскихъ читателей съ исторіей философіи поэзіи. Мы не принадлежимъ къ тѣмъ взыскательнымъ людямъ, которые, не разбирая условій, требуютъ отъ каждаго историческаго труда самобытности, *оригинальныхъ* ученыхъ разысканій: по нашему мнѣнію, въ дѣлѣ исторіи всеобщей литературы такое требованіе неумѣстно и обнаруживаетъ непониманіе современнаго состоянія русской науки; прежде чѣмъ дойти до возможности самобытныхъ изслѣдованій, намъ необходимо усвоить то, что уже сдѣлано по этому предмету на Западѣ, иначе какъ разъ за самобытное придется выдать что найдено чужимъ трудомъ и гораздо прежде насъ! Нуждаясь въ необходимомъ, можемъ ли мы требовать роскошнаго излпшка; а потому для насъ кажется въ высшей степени почтеннымъ трудъ г. Шевырева, тѣмъ болѣе, что доброе вліяніе его замѣтно еще и понынѣ. Мы позволимъ себѣ выразить желаніе, чтобы «Теорія поэзіи» была издана вторично, конечно, съ пополненіемъ тѣхъ пропусковъ, которые прежде были не видны, а теперь стали замѣтны для всякаго сколько-нибудь знакомаго съ предметомъ (такъ напр. въ изложеніи нѣмецкой науки вовсе опущенъ Вильг. Гумбольдтъ).

Болѣе всего, по предмету исторіи литературы у насъ пострадалось классической древности, особенно когда проф. Леонтьевъ основалъ для того особый литературный органъ. Въ «Пропілеяхъ», о безвременномъ прекращеніи которыхъ, поистинѣ, нельзя не сожалѣть, помѣщены многія превосходныя монографіи по исторіи греческой и римской литературы, принадлежащія самому издателю, пок. Кудрявцеву, Шестакову, Благовѣщенскому и другимъ. На многія изъ нихъ мы еще будемъ имѣть случай сослаться далѣе. До самаго послѣдняго времени почти не существовало попытокъ изложенія общей исторіи литературы, только въ 49 г. Зеленецкій для своихъ слушателей, издалъ Лекціи о важнѣйшихъ эпохахъ въ исторіи поэзіи по Вахлеру, Шлегелю, Шевыреву, Вильмюну, Сис-

монди, Розенкранцу и др. Уже одинъ выборъ руководителей какъ бы ручается за невеликое достоинство этихъ лекцій, но онѣ могли бы принести свою относительную пользу, если бы промышленный профессоръ не вздумалъ сдѣлать изъ нихъ казеннаго экстракта, извѣстнаго подъ именемъ *Литтики*: Лекціи были забыты, а это послѣднее чудовище и пошло по всей Россіи смущать учителей и учениковъ. Трудъ бывшаго нѣжинскаго проф. г. Тулова «Руководство къ познанію родовъ, видовъ и формы поэзіи» К. 1854 г. — тоже вышелъ не совсѣмъ удаченъ: нѣкоторыя части его пиѣютъ свое неоспоримое достоинство, за то другія (а ихъ гораздо болѣе) уже очень слабы и вообще все воззрѣніе на сущность поэзіи, значеніе формъ и ихъ исторію — несовременно.

Въ послѣднее время потребность знанія всеобщей литературы сдѣлалась очевидна, но сколь велика и настоятельна была эта потребность, столь же недостойно было ея удовлетвореніе: переводы «Исторіи всеобщей литературы» Грессе и «Исторіи греческой литературы» Мунка — достаточно показали, какъ за такое важное дѣло принимаются недостойныя руки литературныхъ *chevaliers d'industrie*, не пиѣющихъ ни достаточныхъ знаній, ни уваженія къ предмету¹⁾. Не многимъ лучше и та жалкая, безграмотная спекуляція, которую подъ названіемъ «Курса исторіи поэзіи» издалъ кievскій ученый профессоръ Липниченко. Здѣсь не знаешь, чему болѣе дивиться: основательному ли знанію нѣмецкаго языка и самаго предмета, или практическимъ цѣлямъ, которыя довели автора до *второго* изданія!

Вотъ все, чтó мы пиѣемъ по предмету исторіи всеобщей литературы — до появленія «Исторіи литературы древняго и новаго міра» г. Милюкова и «Очерковъ литературы древнихъ и

1) Образцомъ добросовѣстнаго перевода можно назвать переводъ г. Соколова «Очерки исторіи Римской литературы» — Шаффа и Горрмана М. 1856.

новыхъ народовъ г. Гарусова¹⁾). На этихъ сочиненіяхъ мы остановимся съ подобающею подробностью: мы хотимъ быть строги къ нимъ, но не ради самыхъ сочиненій, по новости предмета заслуживающихъ полнаго вниманія и снисхожденія, но ради важности самаго дѣла, ради его успѣховъ въ будущемъ. Сперва о книгѣ г. Милюкова. Это имя уже извѣстно русской публикѣ: ему принадлежитъ «Очеркъ исторіи русской поэзіи», о которомъ въ свое время мы отдали отчетъ читателямъ (Отеч. Зап. 1858. № 4). Мы тогда же отмѣтили благородное направленіе мыслей автора—и теперь намъ понятно, почему въ основу сего новѣйшаго труда легло такое благородное, вызывающее невольную симпатію—произведеніе, какъ «Allgemeine Geschichte der Literatur» v. J. Scherr. Характеромъ руководителей, избранныхъ г. Милюковымъ при составленіи книги (они: Шерръ, Шлоссеръ, Геттнеръ, Шмидтъ, Готтшаль и др.), объясняется самый характеръ и достоинство книги; почему не во всѣхъ случаяхъ труды этихъ лицъ могутъ служить надежнымъ руководствомъ, увидимъ нѣсколько далѣе; но здѣсь замѣтимъ, что напрасно составитель позабылъ стараго Розенкранца, труды котораго (Handbuch einer allgem. Geschichte der Poësie 1832 — 3. 3 v. и Poësie und ihre Geschichte. K. 1854) во всякомъ случаѣ и выше и современнѣе сочиненій Фр. Шлегеля и Готтшала! О томъ, какими спеціальными сочиненіями не мѣшало бы воспользоваться при изложеніи исторіи литературы Греціи и Рима, мы скажемъ ниже, а теперь возвратимся къ самой книгѣ. Подобно труду Шерра, эта исторія литературы собственно не учебникъ, а книга для чтенія—für die Gebildete aller Stände и заключаетъ въ себѣ только Элладу и Римъ: Востокъ опущенъ совершенно, вѣроятно на томъ основаніи, что литера-

1) Статья эта писана до выхода въ свѣтъ прекрасныхъ переводовъ «Исторіи всеобщей литературы» Шерра (изд. подъ редакціей А. Н. Пыпина), «Исторіи французской литературы» Юліана Шмидта и «Исторіи литературы 18 в.» Г. Геттнера.

тура и цивилизація его не имѣли для европейской культуры такого рѣшительнаго значенія, какъ литература Греціи и Рима. Въ учебникѣ, предназначенномъ для юношества, мы не сочли бы такое ощущеніе — недостаткомъ; но въ книгѣ для чтенія — иное дѣло. Народы Востока съ своею оригинальною цивилизаціею, которой послѣ блистательныхъ новѣйшихъ открытій исторической науки, никто не откажетъ во вниманіи и удивленіи — никакъ не могутъ относиться къ числу народовъ безплодныхъ въ литературномъ отношеніи: стоить указать на индусовъ, персовъ, арабовъ; у нихъ мы находимъ не одни «взустно-переданныя пѣсни и сказки», но и прозведенія художественныя; да и самыя сказки и преданія ихъ играютъ не послѣднюю роль въ исторіи средневѣковой литературы и потому уже имѣютъ право на вниманіе историка. Къ счастью для русской публики, она не лишена нѣкоторыхъ пособій, для ознакомленія съ литературой Востока: первый выпускъ русскаго перевода той же Исторіи всеобщей литературы Шерра (М. 1861) дополняетъ опущенное въ изданіи г. Милюкова, да сверхъ этого, у насъ имѣются свои переводы и статьи по литературѣ Востока, каковы переводы съ санскритскаго гг. Коссовича и Петрова. Двѣ публичныя лекціи о санскритскомъ эпосѣ г. Коссовича (Русск. Слово 1859), статьи Петрова «О духовной литературѣ индусовъ», «Объ Упанншадахъ» (въ Ж. Мин. Народ. Просв.), сочин. Назаріанца о Фердоуси, изложеніе эпическихъ сказаній Ирана г. Зиповьева (Спб. 1855), рѣчь Петрова объ арабскомъ языкѣ и литературѣ (М. 1861), статья г. Холюгорова о томъ же предметѣ въ «Ученыхъ Запискахъ Казанскаго университета» (1862 № 1) и нѣкоторыя другія.... Пусть читатель не сѣтуетъ на насъ за эти библиографическія указанія: на этотъ предметъ обращаютъ особое вниманіе и въ книгѣ, о которой мы ведемъ рѣчь. — Библиографія здѣсь — дѣло очень важное, въ особенности для учителей, потому мы всегда будемъ указывать на замѣченныя нами библиографическія опущенія: книга г. Милюкова, конечно, не остановится на первомъ изданіи, и это ей можетъ быть полезно.

Изложение исторіи литературы—какъ мы сказали—открывается Эзладой, прекрасными общими характеристиками, взятыми главнымъ образомъ изъ книги Шерра¹⁾. Изложение греческаго эпоса у Шерра очень неудовлетворительно, а потому издатель, какъ исторію вопроса, такъ и содержаніе поэмъ почерпнулъ изъ другихъ источниковъ. Мы ничего не говоримъ о послѣднемъ, но исторія вопроса не удовлетворила насъ: въ ней много ненужнаго (каковы напр. подробности о судьбѣ Гомеровыхъ поэмъ до Вольфа) и многого нѣтъ нужнаго, такъ напр. даже не упомянуто о послѣдней теоріи эпическихъ поэмъ Гейдельбергск. професс. Ад. Гольцмана (см. его соч. *Untersuchungen über das Nibelungenlied* 1855 и въ особенности статью *Vuûsa und Homer*, въ журналѣ сравнительнаго языкознанія Куна т. 1-й), не обращено также *должнаго* вниманія на теорію Лахманна, въ библиографіи вопроса совершенно опущено прекрасное изслѣдованіе объ этомъ предметѣ г. Леонтьева (Пропл. кн. 2-я ст. Мюнхеская греція), между русскими переводами поэмъ позабыты переводы Мартынова. Художественная и бытовая характеристика поэмъ также, по нашему мнѣнію, слабы. Это, конечно, произошло отъ того, что составитель не имѣлъ въ этомъ дѣлѣ надежныхъ руководителей: ни одинъ изъ указанныхъ имъ историковъ не стоитъ, что называется, въ уровень съ наукой. На первый разъ мы можемъ указать на новѣйшее нѣмецкое изданіе Адольфа Вольфа «*Pantheon des klassisch. Alterthums*» (другое его заглавіе — *Classiker aller Zeiten und Nationen*); оно не имѣетъ особыхъ ученыхъ достоинствъ, но очень можетъ быть пригодно въ книгѣ для чтенія: изъ него напр. можно бы взять художественную характеристику боговъ и героев и прочихъ лицъ. Для характеристики гомерическаго общества отмѣтимъ также прекрасныя страницы статей г. Леонтьева (Мюнхеская

1) Изданій книги Шерра имѣется два: первое 1851 г. и второе 1861 г. Несмотря на ученые преимущества 2-го изданія намъ приходится по сердцу болѣе—первое.

Греція. Пропил. т. 2 отд. 2) и берлинскаго ученаго языковѣда Штейнталя: «Durchbruch der subjectiven Persönlichkeit bei den Griechen» (въ его Zeitschrift für Sprachwissen. und Völkerpsychologie B. 2). Эта послѣдняя статья составлена, главнымъ образомъ, на основаніи изслѣдованій Макса Дункера, и что въ ней заслуживаетъ особеннаго вниманія—это характеристика гомеровскаго пѣвца и значенія пѣсни для общества той эпохи ¹⁾. Какъ по высокому безотносительному художественному значенію, такъ и по вліянію на образованность и культуру европейскаго общества, греческій эпосъ въ исторіи литературы долженъ занимать самое видное мѣсто, и мы не можемъ не посѣтовать на составителя разбираемой нами книги, что онъ въ этомъ отношеніи не вполне удовлетворяетъ насъ. Къ началу Олимпіады въ общественной жизни эллиновъ произошли значительныя перемѣны: возникла торговля, упрочилось обладаніе землею, аристократическая корпорація вытѣснила власть прежнихъ царей-владыкъ, и хотя при этомъ народъ почти ничего не выигралъ, но внутри самой корпораціи аристократовъ личность развилась и возвысилась, сознаніе приобрѣло болѣе широкую почву для развитія. Конечно, все это имѣло корпоративный аристократическій характеръ въ тѣсныхъ предѣлахъ аристократической общины, внѣ которой личность такъ же не существовала, какъ и въ прежнее время, потому здѣсь нечего искать проявленій свободной независимой личности; но тѣмъ не менѣе это было существенное измѣненіе въ жизни и понятіяхъ: вмѣсто природной наивной привязанности къ родной почвѣ и богамъ появился патріотизмъ, сознаніе необходимости заботы объ обществѣ и отечествѣ, о пользѣ и преуспѣяніи ихъ. Какъ подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ измѣнилась поэзія и ея отношенія къ обществу—видно на любомъ лирическомъ поэтѣ: уже Каллиносъ пѣлъ Эфеа и

1) Значеніе ходовъ и переходовъ отъ нихъ къ рапсодамъ, поэтическія занятія этихъ послѣднихъ превосходно объяснены В. Вакернагелемъ въ его статьѣ: «Die Epische Poesie» (Schweizerisches Museum für historische Wissenschaften. 1837. т. 1-й).

Тиртей (полов. 8 в.) напоминал своимъ слушателямъ о славныхъ дѣлахъ предковъ, но не затѣмъ, какъ во времена гомерическія, чтобы только прославить эти дѣла, а съ чисто-практическою цѣлю — возбудить этимъ напоминаніемъ гражданское мужество и воинскій духъ своихъ согражданъ и воодушевить ихъ противъ враговъ. У нихъ — какъ у элегиковъ — на первомъ планѣ стояла современность и ея интересы. Еще яснѣе это измѣненіе характера поэзіи на Архилохѣ, котораго справедливо называютъ первымъ настоящимъ лирикомъ Греціи. Не только дѣла общественныя, но и личныя отношенія и событія ежедневной жизни — составляютъ предметъ его вдохновенія; на самыя общественныя дѣла онъ смотритъ съ точки зрѣнія личной, поскольку они его касаются; у него вездѣ на первомъ мѣстѣ его собственная личность, — воспѣваетъ ли онъ боговъ, дѣла общественныя, общее или свое личное горе. Но, несмотря на все это, его сознаніе принадлежитъ не ему лично — это сознаніе аристократической корпораціи того времени, и хотя поэтъ часто нападаетъ и преслѣдуетъ аристократовъ, но онъ дѣлаетъ это не изъ принциповъ, а по чисто-личнымъ отношеніямъ. Онъ аристократъ — потому, что не можетъ и помыслить о демократіи. Такое направленіе поэзіи Архилоха уже служитъ какъ бы предвѣстникомъ паденія аристократіи и возвышенія могущества тирановъ и чрезъ нихъ демократіи. Столѣтіе спустя по Архилохѣ является Алкей — поэтъ извѣстной партіи, существованіе которой прямо указываетъ на упадокъ аристократической корпораціи. Алкей преслѣдуетъ своего противника не потому, что тотъ послѣдній отступалъ бы въ его глазахъ отъ извѣстнаго идеала, а только потому, что онъ его противникъ; дѣлу частію посвящаетъ онъ свое вдохновеніе, но только той партіи, съ которой онъ связанъ чисто-личными эгоистическими интересами. Онъ аристократъ, но аристократъ-эгоистъ, въ противоположность тиранамъ и просолюдамъ. Корпоративный духъ, какой мы замѣчаемъ у Архилоха, въ Алкеѣ уже не обнаруживается: очевидный признакъ нравственнаго разложенія самой корпораціи. Мы не станемъ слѣдить

даже развитія греческой литературы въ связи съ развитіемъ общественной жизни: для насъ довольно и этого, чтобы убедиться, какъ слѣдуетъ разсматривать произведенія литературы. Оторванные отъ общественной почвы, на которой родились и воспитались, эти произведенія являются не только необъяснимыми, но и совершенно бессмысленными. Почему, напримѣръ, въ періодъ по Гомеру являются религіозные гимны, почему пѣвѣстный лирикъ имѣетъ тотъ или другой взглядъ на вещи, воспѣваетъ разные предметы общественной или домашней жизни? Историки литературы (по крайней мѣрѣ у насъ) не затрудняются долго подобными вопросами: они не слѣдятъ, какія явленія въ жизни вызвали поэтическое вдохновеніе и дали ему содержаніе, они какъ будто не хотятъ признать тѣсной связи между поэзіей и жизнью и думаютъ повершить все дѣло простою систематическою регистраурою поэтовъ и произведеній съ краткимъ обзоромъ содержанія послѣднихъ. Встарину, когда поэзію, какъ независимую силу человѣческаго духа, считали до того самостоятельною, что отрицали всякую связь между ею и окружающимъ міромъ явленій — такой пріемъ изложенія еще имѣлъ смыслъ, но теперь онъ не болѣе, какъ рутина, и рутина тѣмъ злѣйшая, что рѣдко кто сознаетъ, что это — *рутина*. Къ крайнему нашему сожалѣнію, мы мало можемъ сказать добраго объ Исторіи литературы г. Милюкова въ этомъ отношеніи: изложеніе греческой лирики у него составлено по старинному рецепту безъ всякаго почти вниманія къ собственно-исторической почвѣ; все совершается какъ будто внѣ времени и обстоятельствъ, все проходитъ предъ вашими глазами, не представляя никакой достаточной причины своего существованія, потому все имѣетъ видъ случайности, а не разумнаго историческаго явленія. Пусть не говорятъ намъ, что разсмотрѣніе произведеній литературы въ связи съ развитіемъ общественной жизни есть дѣло трудное и почти невозможное ¹⁾; оно далеко не невозможное и вовсе не такъ труд-

1) Этого въ особенности опасается г. Тулозь, говоря: такимъ образомъ историку литературы придется говорить о желѣзныхъ дорогахъ, явленіяхъ

ное, какъ можетъ показаться для людей, непривыкшихъ различать важное и необходимое отъ случайнаго и мелочнаго: чего бы, напр., Милюкову стоило справиться съ порядочными сочиненіями по исторіи Греціи, каковы сочиненія Шлоссера, Вебера и всего лучше М. Дункера; въ нихъ онъ нашелъ бы превосходное объясненіе тѣхъ литературныхъ явленій, которыя стоятъ у него безъ внутренней связи и основанія. Конечно, ни Шлоссеръ, ни Веберъ, ни М. Дункеръ, тамъ, гдѣ касаются они произведеній литературы, не всегда разсматриваютъ ихъ именно съ этою точкою зрѣнія, но это потому, что они избѣгаютъ повтореній, потому, что предыдущее собственно-историческое ихъ изложеніе дѣлаетъ достаточно важнымъ ихъ легкіе литературные очерки; но историку литературы нечего бояться повторенія того, о чемъ онъ вовсе не говорилъ, а потому изложеніе развитія литературы въ связи съ развитіемъ и измѣненіемъ общественной жизни становится для него необходимымъ историческимъ приемомъ, безъ котораго его трудъ никогда не достигнетъ своей цѣли, не внесетъ развитія и ясности въ голову читателя, а скорѣе спутаетъ и сведетъ узломъ всѣ входящіе факты, всякое знаніе. Можетъ-быть, отъ несоблюденія такого необходимаго историческаго приема, произошло и то, что переходныя формы отъ

экономическихъ и т. д. Возраженіе—пустое: оно основано на неумѣніи опредѣлять границу между явленіемъ собственно литературнымъ и явленіемъ науки, а потому даже не заслуживаетъ опроверженія. Съ г. Туловымъ — у насъ, впрочемъ, сестъ еще не свѣденный счетецъ, о которомъ мы позволимъ себѣ теперь напомнить почтенному эстетикъ: когда, въ началѣ прошлаго года мы поѣхали въ Московскихъ Вѣдомостяхъ нашъ отчетъ о книгѣ Линиченко, г. Туловъ (тамъ же) предложилъ нѣсколько замѣчаній на нашу статью. Мы не отвѣчали ему по двумъ причинамъ: 1) мы ждали обѣщавшаго намъ подробнаго изложенія его взгляда на преподаваніе словесности, и 2) намъ стыдно было указывать на такіа вопіющія вещи въ его замѣткѣ, каковы — мнѣніе о томъ, что Гриммъ и В. Гумбольдтъ занимались только языками, а не исторією литературы, что учебникъ—будетъ ли плохъ онъ или хорошъ—дѣло не важное и др. На счетъ Гримма и Гумбольдта мы рекомендуемъ г. Тулову изучить «Указатель источниковъ и пособій къ курсу исторіи и поэзіи», ученаго профессора Линиченко, а объ учебникѣ скажемъ только, что хороши тѣ, кто, при такомъ мнѣніи, не только преподають по учебникамъ, но даже и сочиняють ихъ;—хороши должны быть и эти учебники!

эпоса къ лирикѣ въ книгѣ г. Милюкова не получили надлежащаго, если такъ можно выразиться, техническаго объясненія: не видно, отчего былъ и исчезъ эпосъ, отчего онъ перешелъ въ лирику; не видно и того, какимъ путемъ и въ какихъ формахъ выразилось это переходное. Не пускаясь въ подробности объ этомъ предметѣ, мы укажемъ составителю на превосходныя статьи базельск. професс. В. Вахернагеля объ эпической поэзіи (Schweizerisches Museum für historische Wissenschaften, т. 1 и 2-й 1837. и Aesthetische Versuche Вильг. Гумбольдта), гдѣ онъ найдетъ обстоятельное рѣшеніе этихъ вопросовъ. Въ библиографіи также мы нашли нѣкоторые опущенія: не упомянуты русскіе переводы Гезіода, Эзопа и Пиндара г. Мартынова, позабыта статья г. Водовозова объ Анакреонѣ (въ Современникѣ). Гораздо болѣе, чѣмъ отдѣлъ лирики, удовлетворило насъ изложеніе греческой драмы; конечно, это могло зависѣть и отъ степени большей разработки предмета, но также и отъ того, что составитель не пренебрегъ тѣмъ вопросомъ, на который мы только что указали: обзоръ трагедій Эсхила, Софокла и Еврипида ¹⁾ стоитъ не одиноко, но въ связи съ развитіемъ греческаго общества, съ вопросами общественными.

Характеристика Аристофана намъ показалась нѣсколько слабою, быть-можетъ потому, что изъ всѣхъ его комедій, составитель съ должнымъ вниманіемъ остановился только на «Облакахъ» ²⁾; политическія тенденціи въ этой комедіи ярко выступаютъ наружу, какъ во «Всадникахъ», и составителю не великаго труда стоило пополнить этотъ пробѣлъ; даже на русскомъ языкѣ есть прекрасная характеристика Аристофана, гдѣ можно найти обстоятельный разборъ «Всадниковъ» по отношенію къ общественнымъ

1) На русскомъ языкѣ мы знаемъ только два труда объ Еврипидѣ: одинъ принадлежитъ г. Орбинскому (въ Журн. Минист. Народн. Просв. 1853 №№ 7 — 8), другой г. Тихоновичу; послѣдній имѣетъ своимъ предметомъ только одну «Медю» и напеч. въ Харьковѣ въ 1862 г.

2) Объ этой комедіи Аристофана существуетъ статья г. Стасюлевича (Моск. 1851 г.).

дѣламъ того времени (см. 1-ю ст. С. Д. Шестакова о Менандрѣ. Отеч. Зап. 1857 г. № 6 п 7). Равнымъ образомъ и значеніе Аристофана является неопредѣленнымъ: за желчныя, злыя выходки и пасквили составитель какъ бы прощааетъ поэту его ретроградный консерватизмъ и отсталость, и даже какъ будто отстраняетъ всякіе упреки въ этомъ отношеніи; — совершенно напрасно! Уже пзъ одного разбора «Облаковъ» ясно виденъ отсталый взглядъ поэта: если онъ хорошо сознавалъ общественныя недуги и умѣлъ живо изображать ихъ, то все же его идеалы принадлежали тому прошедшему, которое подозрительно смотритъ на все новое, не разбирая и, можетъ-быть, не имѣя нравственной силы разобрать, чтó хорошо, чтó худо. Къ чему можетъ привести этотъ завистливый, туной консерватизмъ — ясно видно изъ судьбы Сократа, и, если трудно въ настоящее время обвинять Аристофана за выходки противъ Сократа, то кто же не увидитъ въ нихъ тупого, отсталого взгляда на вещи, не умѣющаго постигнуть новыхъ плодотворныхъ побѣговъ нравственной жизни — и потому выступающаго противъ нихъ съ доносами и обвиненіями. Чтó-нибудь одно: или Аристофанъ вовсе не понималъ Сократа, или онъ, понимая его стремленія, въ угоду толпы изображалъ его по-своему; въ первомъ случаѣ поэтъ является отсталымъ консерваторомъ, во второмъ — человѣкомъ несчастнымъ! Отъ одного изъ этихъ нареканій не спасетъ писателя ни та неопредѣленность, въ какую облекъ дѣло г. Милюковъ, ни та плоскость, какую онъ (стр. 167) привелъ изъ Фридриха Шлегеля для оправданія Аристофана. Послѣ изложенія буколки ¹⁾ составитель посвящаетъ нѣсколько страницъ исторіографіи и ораторскому искусству. Это самыя слабыя страницы изъ всей книги! Если не ошибемся, главнымъ образомъ, онѣ взяты изъ Шлоссера; по взгляду историка Всемирной исторіи значительно разнится отъ взгляда историка литературы: для перваго достаточно

1) Для буколки, кромѣ переводовъ, указанныхъ составителемъ, назовемъ еще изданіе г. Кошанскаго: «Цвѣты греческой поэзіи».

и общих характеристик, потому что предшествующее положеніе дѣлаетъ ихъ ясными для читателя; для второго, непрigотовленнаго ничѣмъ въ предыдущемъ, нужны кое-какія подробности, выдержки, иначе самая мѣткая и справедливая характеристика ляжетъ комомъ въ голову читателя и можетъ быть удержана въ ней только памятью, а не разумомъ и смысломъ. Пусть не посятуетъ на насъ г. Мплюковъ, но въ отношеніи, напр., его изложенія ораторскаго искусства въ Греціи — старая, припомянутая частная *Риторика* Кошанскаго даетъ гораздо болѣе, чѣмъ его *Исторія литературы*: въ первой, по крайности, есть выдержки изъ рѣчей Демосфена и Эсхина о вѣнкѣ, а во второй рѣшительно ничего нѣтъ, кромѣ голой, сухой характеристики ¹⁾. Оканчивается «Исторія Греческой литературы» Александрійско-Римскимъ періодомъ ея. Читатель въ изумленіи спрашиваетъ: гдѣ же произведенія классической науки, гдѣ Платонъ, Аристотель, — неужели въ *Исторіи Греческой литературы* имъ нѣтъ мѣста? Дѣйствительно, ни Платону, ни Аристотелю въ нашей «Исторіи литературы древняго и новаго міра» не нашлось никакого помѣщенія. Эта странность тѣмъ непонятнѣе, что послѣднія страницы книги кишатъ множествомъ именъ, производящихъ въ головѣ читателя звукъ мѣди звенящей и кимвала бряцающаго! У Эд. Мунка въ его учебникѣ Платону отведено почти что половина книги, а у нашего составителя о немъ и строчки нѣтъ. Объяснить такое явленіе принятой системой — нельзя: во-первыхъ, у такого писателя, какъ г. Мплюковъ, подобная система и немыслима, а во-вторыхъ, въ книгѣ его нѣтъ никакой системы. Легче всего отнести это къ случайному пропуску, но хорошъ пропускъ — нечего сказать! Этимъ же можно объяснить и то обстоятельство, что среди всей шумной плеи и ярлыковъ, о Лукьянѣ Самосадскомъ — лишь нѣсколько строчекъ, тогда какъ произведенія его очень важны для исторіи

1) О жизни и трудахъ историковъ и ораторовъ эпохи распада Греческой имперіи см. сочиненіе г. Бабста: «Государственные мужи Греціи» 1851 г.

состоянія общественныхъ дѣлъ и идей, въ чемъ можно убѣдиться даже изъ русскихъ статей г. Ордынского объ этомъ писателѣ, помѣщенныхъ въ Современникѣ. Переходя къ изложению римской литературы, составитель повторяетъ слова Шерра: «Римская литература развилась подъ безусловнымъ вліяніемъ греческой. Римскую литературу можно даже назвать продолженіемъ греческой, потому что Римъ подхватилъ блѣднѣющіе лучи эллинскаго солнца, которое давно ужъ закатилось въ Элладѣ, чтобы хотя и съ меньшимъ блескомъ и жаромъ сіять надъ Италіей». Говоря проще, римская литература есть пересадокъ греческой. Мысль, до нѣкоторой степени вѣрная; но вотъ непостижимая странность: въ нашей книгѣ обращено гораздо большее вниманіе на этотъ *пересадокъ*, чѣмъ на его *первообразъ*: литература Рима отведена 367 страницъ, а литература Греціи всего только 196. Какъ это обстоятельство, такъ и все доселѣ осмотрѣнное нами, свидѣтельствуетъ о недостаточной обработкѣ исторіи греческой литературы въ изданіи г. Милюкова. Оно и не удивительно: г. Милюковъ выбралъ себѣ такихъ руководителей, которые не могли сообщить ему правильнаго взгляда на дѣло: у Шерра отдѣлъ греческой литературы очень слабъ и уже черезчуръ сжатъ; Шлоссеръ смотрѣлъ на все съ точки зрѣнія исключительно исторической; Фр. Шлегель, несмотря на отсталость во взглядѣ на предметъ, объясняющуюся временемъ, когда онъ занимался исторіею греческой литературы (конецъ прошлаго и начало нынѣшняго вѣка), — все же представляетъ болѣе надежную опору, чѣмъ два предшествующіе писателя; но, какъ нарочно, нашъ составитель пользовался тѣмъ изъ его сочиненій (Исторія древней и новой литературы), въ которомъ греческій отдѣлъ всего слабѣе. Гораздо болѣе достоинства въ его отдѣльныхъ изслѣдованіяхъ по исторіи греческой литературы, помѣщенныхъ въ вѣскомъ изданіи его сочиненій (т. 3 — 5). Трудамъ историковъ, на которые ссылается составитель въ самомъ текстѣ своей «Исторіи», онъ, по всему вѣроятію, вовсе не пользовался; почти всѣ они заимствованы изъ указаній Шерра

и, во всякомъ случаѣ — знакомство съ ними не обнаружилось никакими послѣдствіями въ нашемъ сочиненіи.

Какъ по новостіи предмета и своему благородному направленію, такъ и по другимъ литературнымъ достоинствамъ «Исторія литературы древняго и новаго міра», составленная подъ редакцію г. Милюкова, должна ждать другаго изданія, а потому составитель не посѣтуетъ на насъ, если мы позволимъ себѣ сказать, что весь греческій отдѣлъ его книги нуждается въ коренной переработкѣ; съ этою практическою цѣлію мы и дѣлали выше указанія на нѣкоторыя сочиненія, гдѣ можно найти послѣльное рѣшеніе многихъ вопросовъ по исторіи греческой литературы. Всего ближе для исправленій и пополненія труда, о которомъ мы ведемъ рѣчь, взять изданіе Ад. Вольфа: *Pantheon des classischen Alterthums* и прекрасный словарь классической древности (*Reallexicon des classisch. Alterthums*) Любкера, гдѣ можно найти стоящій въ уровень съ современнымъ состояніемъ науки отвѣтъ на всѣ историко-литературныя вопросы по классической древности. Не мѣшало бы также, хоть на одной страничкѣ, объяснить сущность греческой метрики и значеніе каждаго метра въ отдѣльности: безъ этого для людей несвѣдущихъ многое не будетъ понятно въ исторіи лирики и драмы.

Несравненно тщательнѣе и полнѣе греческой изложена исторія римской литературы: читатель, даже и такой, который не можетъ похвалиться особыми историческими свѣдѣніями, будетъ удовлетворенъ здѣсь всѣмъ, если не съ избыткомъ, — за историческими справками ему теперь нечего обращаться къ учебникамъ: все лежитъ подъ рукою, потому что каждой эпохѣ въ развитіи литературы предпослано обстоятельное историческое обозрѣніе измѣненій въ общественной жизни, нравахъ и понятіяхъ. По всему замѣтно, что римскій отдѣлъ «Исторіи литературы древняго и новаго міра» составляло совершенно иное лицо, съ инымъ взглядомъ на свою задачу. Иначе, какъ понять и объяснить, напр., слѣдующее обстоятельство: нѣсколько страницъ (270 — 277) посвящено исторіи водворенія и распростра-

ненія греческой науки, реторики и философіи — въ Римѣ, и даѣе, въ разныхъ мѣстахъ книги, говорится о томъ же предметѣ, о Платонѣ и Неоплатоникахъ, а между тѣмъ — какъ мы замѣтили — въ греческомъ отдѣлѣ обо всемъ этомъ нѣтъ и помину. Разнымъ составителямъ книги можно было и не предвидѣть такой странной непослѣдовательности, но какъ допустилъ ее редакторъ?! Относительно полноты матеріала мы позволимъ себѣ сказать, что книга г. Милюкова удовлетворяетъ требованіямъ даже съ извѣстнымъ. Дѣйствительно, мы находимъ очень много именъ писателей, о которыхъ часто съ похвалою отзываются современники, но отъ произведеній которыхъ дошло къ намъ какихъ-нибудь двѣ-три строчки, или же ровно ничего. Было бы весьма странно, если бы въ систематической ученой Исторіи римской литературы мы не нашли упоминаній объ этихъ писателяхъ; но такъ какъ книга г. Милюкова, надѣмся, не имѣетъ этой цѣли, а желаетъ только познакомить русскихъ читателей съ произведеніями римской литературы ¹⁾, то такое перечисленіе именъ, иногда даже именъ не замѣчательныхъ, только излишне обременяетъ память, и могло бы быть опущено безъ особаго ущерба для русскихъ читателей. То же излишество замѣтили мы въ подробной оцѣнкѣ Горация: къ чему, напр., этотъ длинный, сухой каталогъ его одъ, и не лучше ли бы было ограничиться общою характеристикою съ выдержками изъ самыхъ замѣчательныхъ, такъ, какъ это отчасти и исполнено относительно прочихъ произведеній поэта?

Но такихъ излишествъ мы замѣтили въ книгѣ г. Милюкова очень немного, какъ немного, вообще, въ ней недостатковъ и

1) Совершенно типетными показались намъ слѣдующія слова составителя въ предисловіи къ его книгѣ: «Задача настоящаго труда состоитъ въ томъ, чтобы изобразить національно-литературное развитіе всѣхъ народовъ земного шара, которые обладаютъ дѣйствительною литературою!» Къ чему это притязаніе не по разуму и силамъ, когда такой задачи не могутъ еще выполнить и смѣлые плечи, у которыхъ наука достигла такого высокаго совершенства, и не сообразите ли съ дѣломъ было бы, въ этомъ случаѣ, взять болѣе скромную задачу, на которую мы только что указали?

опущеній. Укажемъ на нѣкоторые изъ этихъ послѣднихъ. Объ Ателланахъ и застольныхъ пѣсняхъ, по нашему мнѣнію, слѣдовало бы сказать подробнѣе, за источниками и пособіями далеко ходить нечего: они существуютъ даже въ нашей, небогатой литературѣ (см. статью г. Благовѣщенскаго объ Ателланахъ въ Пропил. кв. 2-я) и его же латинскую рѣчь «De carminibus convivialibus».

При указаніи русскихъ переводовъ изъ Плавта позабыты *Carpi* въ переводахъ г. А. Кронеберга (въ Библиот. для Читенія); тотъ же библиографическій недостатокъ замѣтенъ и въ отдѣлѣ о Горациі: не указано почти ни одного изъ лучшихъ русскихъ сочиненій о поэтѣ, каковы — ст. пок. Шестакова по поводу переводовъ г. Фета (Русск. Вѣсти. 1856 г.), разборъ 6 одъ профес. Ив. Кронеберга (Сборникъ его — Миперва. Харьк. 1836 г. ч. 2-я) и наконецъ — что важнѣе всего, обширная, отдѣльная монографія г. Благовѣщенскаго, помѣщавшаяся въ Отечественныхъ Запискахъ 1854 — 55; мало обращено также вниманія на общее состояніе литературныхъ мнѣній и партій въ эпоху Августа, — предметъ, обстоятельно изложенный тѣмъ же г. Благовѣщенскимъ въ его рѣчи «О литературныхъ партіяхъ въ Римѣ». Вообще, не странно ли въ самомъ дѣлѣ, что составитель, до мелочности точный въ библиографіи русскихъ старинныхъ переводовъ и статей по классической древности, какъ нарочно забываетъ новѣйшіе и — нужно ли прибавлять — главнѣйшіе изъ нихъ: такъ вовсе позабытъ послѣдній переводъ Тацитовыхъ лѣтописей (г. Кронеберга), не упомянута и единственная русская замѣчательная статья объ этомъ писателѣ (Крюкова — о трагическомъ характерѣ исторіи Тацита, въ Москвитянинѣ 1841 г.), а между тѣмъ исчислены не только большинство старинныхъ переводовъ, но даже приведены и рецензіи ихъ въ современныхъ журналахъ. Впрочемъ, объяснить такое вліяніе не трудно: составитель воспользовался здѣсь библиографическими указаніями г. Тихонравова (въ русскомъ переводѣ «Очерки римской литературы» Шаффа и Горрмана), въ которыя, ко-

нечно, не могли войти ни сочиненія, ни переводы, сдѣланные нѣсколько позже.

Римскій отдѣлъ обработанъ въ книгѣ г. Милюкова не только тщательно греческаго, но и въ полномъ смыслѣ слова удовлетворительно, потому что указанныя нами опущенія нельзя называть существенно вредящими достоинствамъ изложенія. Конечно, разъ принявъ на себя библиографическую повинность (См. предисл. XIV—XV), составитель обязанъ и отвѣчать за неточности и пропуски; но эти пропуски могутъ быть ощутительны только для немногихъ: большинство образованной читающей публики весьма равнодушно къ библиографіи и требуетъ только занимательнаго и вѣрнаго изображенія событій, справедливой и мѣткой оцѣнки писателей и ихъ произведеній. Всѣ эти качества соединяетъ въ себѣ римскій отдѣлъ книги г. Милюкова, и потому мы смѣло рекомендуемъ его нашимъ читателямъ, какъ лучшее на русскомъ языкѣ полное изложеніе исторіи римской литературы. Можетъ-быть, при болѣе внимательномъ разборѣ обозначились бы нѣкоторыя черты противорѣчій, зависѣвшія отъ компилятивнаго характера книги (такъ, напр., очень рѣзко нуждаются въ разборѣ трагедіи Сенеки, а изъ разбора этихъ трагедій, скрѣпляемаго словами Лессинга, выходитъ, что онѣ имѣютъ свое не малое литературное достоинство; ясно, что приговоръ взять изъ одного источника, а разборъ изъ другого), но онѣ замѣтны только опытному глазу и вообще не много вредятъ общей цѣльности воззрѣнія. Корректурa книги — скажемъ въ заключеніе — весьма не исправна.

Обратимся теперь къ книгѣ г. Гарусова. На ней мы не станемъ останавливаться съ такою подробностію, какъ на «Исторіи литературы древняго и новаго міра», главнымъ образомъ потому, что «Очерки литературы древнихъ и новыхъ народовъ» не имѣютъ такихъ гордыхъ притязаній, какъ изданіе г. Милюкова: цѣль ихъ чисто-педагогическая, — они «пособіе при изученіи словесности въ среднѣ-учебныхъ заведеніяхъ», и съ этой стороны имѣютъ необходимое, такъ сказать, хрестоматическое

достоинство. Въ рукахъ опытнаго преподавателя словесности, умѣющаго сдѣлать выборъ и отличить существенное отъ неважнаго — польза «Очерковъ» г. Гарусова несомнѣнна: нѣкоторыя характеристики писателей, литературные разборы произведеній и объяснительныя статьи очень удачны; но вообще, какъ систематическій, строго-обдержанный трудъ книги г. Гарусова — имѣетъ много капитальныхъ недостатковъ. Мы укажемъ на главнѣйшіе изъ нихъ тѣмъ съ большою охотою, что авторъ имѣетъ намѣреніе въ такомъ же видѣ изложить всю такъ называемую науку словесности: быть-можетъ, наши замѣтки къ чему-нибудь и пригодятся.

Историческому изложенію развитія драмы у древнихъ и новыхъ народовъ предшествуетъ историческое введеніе. Прежде, во время исключительнаго господства въ наукѣ такъ называемой «теоріи поэзіи», подобныя теоретическія опредѣленія были необходимы; но съ перевѣсомъ историческаго воззрѣнія они оказались недостаточными по двумъ причинамъ: во-первыхъ, въ смыслѣ философскомъ они не исчерпывали сущности дѣла и были по большей части невѣрны; во-вторыхъ, они мѣшали правильному историческому взгляду внесеніемъ разныхъ нѣмецкихъ рубрикъ и классификацій, спутывавшихъ въ одинъ узелъ разнородныя и разновременныя вещи. Такія философски-эстетическія введенія не вывелись еще и понынѣ, но вмѣсто прежняго чисто-философскаго или чисто-практическаго характера — они приняли другое, такъ сказать, переходное направленіе, стремились совмѣстить и практику, и философію, и исторію. Нѣтъ нужды говорить, что отъ этого дѣло нисколько не выиграло. Такое колебаніе между старымъ и новымъ замѣтно отчасти и во введеніи г. Гарусова; такъ напримѣръ, опредѣляя значеніе и свойства драмы (стр. 15—18), онъ говоритъ:

«Въ драмѣ *должно быть* — столько дѣйствующихъ лицъ, сколько ихъ участвовало или могло участвовать въ извѣстномъ событіи, сдѣлавшемся предметомъ для драмы. Каждое отдѣльное, введенное въ драму, лицо *должно имѣть* свой опредѣленный

характеръ. Разговоры и рѣчи его *должны быть* сообразны съ его личнымъ характеромъ...

«*Нельзя* давать мѣсто въ драмѣ ни одному мелочному, незначительному явленію, какъ бы оно само по себѣ заманчиво ни было, если только оно не объясняетъ главной идѣи дѣйствія; *нужно* вносить въ драму только такія крупныя и наглядныя явленія изъ жизни, которыми характеризуется эта жизнь.»

«Въ драмѣ необходима перемѣна мѣстъ, значительные или короткіе промежутки времени, перенесеніе дѣйствія изъ одного мѣста въ другое.»

«Въ нашей жизни нѣтъ ничего произвольнаго, случайнаго (о, какаѣ свѣжѣя, хоть и фальшивая мысль!); все совершается по законамъ, заранѣе предложеннымъ Творцемъ міра, безъ воли Котораго, по слову Евангелія, и возось съ головы не спадеть. Въ драмѣ, какъ художественной картинѣ жизни, также *не должно быть* ничего произвольнаго, а всякое явленіе *должно идти* строгимъ нормальнымъ путемъ» и т. д.

«Входы и выходы дѣйствующихъ лицъ *должны* быть строго соразмѣрены съ потребностью и крайнею необходимостью...»

«Рѣчи дѣйствующихъ лицъ *должны* быть ясны, просты и вразумительны...»

«При разнообразіи рѣчи въ драмѣ *допускается* лиризмъ, но не столько, на сколько *нужно* его для развитія дѣйствія.»

«Драматическій разговоръ *долженъ* быть чуждъ всякой натяжки.»

Правила и предписанія, какъ видите, всѣ такія обязательныя и поучительныя (особенно мысль о стройной законности міровыхъ явленій), они даже и въ техническомъ смыслѣ небезполезны; но объясняется ли отъ этого сущность и значеніе драмы? Рядомъ съ этимъ остаткомъ практицизма мы находимъ и философскія пошлѣгія, о томъ, напримѣръ, что книжное краснорѣчіе *безплодно*, потому что внѣшняя выработка слова мѣшала проявляться глубокому чувству и говорила лишь уму (стр. 3), что дѣленіе поэзіи по тремъ рубрикамъ эпоса, лирики и драмы — не

существенно (стр. 13), что трудно и почти не нужно дѣлать драматическую поэзію по родамъ и видамъ (стр. 21) и такъ далѣе. Все введеніе г. Гарусова вообще заключаетъ въ себѣ вещи невѣрные, но за то и совершенно неопредѣленные, не дающія яснаго, стройнаго понятія объ историческомъ развитіи поэзіи вообще и драмъ въ особенности. Въмѣсто этихъ схематическихъ опредѣленій и предписаній не вѣрнѣе ли взглянуть на дѣло исторически, какъ отъ простѣйшихъ началъ постепенно развившійся формы драматической поэзіи и усложнялся ея механизмъ? Дойдя до художественныхъ образцовъ драмы—на примѣрахъ не трудно будетъ уже объяснить значеніе нѣкоторыхъ подробностей и драматической техники, а безъ этого всё философскія и практическія опредѣленія будутъ несвоевременны и едва ли не бесполезны. Самая номенклатура не требуетъ предварительныхъ объясненій: она можетъ уясняться по мѣрѣ историческаго развитія, ибо названіе вещи не является прежде своего предмета. Какъ образецъ современнаго взгляда на драматическую поэзію, мы укажемъ на небольшое разсужденіе базельскаго профес. В. Вакарнагеля: «Ueber die dramatische Poesie». Переходя къ историческому отдѣлу книги г. Гарусова, мы замѣчаемъ въ немъ отсутствіе соразмѣрности въ частяхъ, разбору же нѣкоторыхъ произведеній посвящены цѣлыя обширныя главы, а о другихъ, не менѣе важныхъ, едва упомянуто, такъ напр. говорится о Софокловой трілогіи, посвященной судьбѣ царственнаго дома Лабакидовъ, первыя двѣ части ея (Эдипъ царь и Эдипъ въ колоннѣ) разбираются довольно подробно, а о послѣдней (Антигонѣ), едва ли не самой художественной изъ всѣхъ трагедій Софокла, почти ни слова; о комедіяхъ Плавта *буквально* всего пять строчекъ; о Сенекаѣ говорится, что для *историка драматической поэзіи* личность и дѣятельность его важнѣе, чѣмъ его трагедіи (?), и потому оцѣнки личности его посвящены цѣлыхъ горюхъ полторы страницы, а трагедіямъ—ни полъ-слова. Средне-вѣковымъ мистеріямъ удѣлено только три странички, а между тѣмъ, какую важную роль играютъ эти произведенія въ исторіи

драматической поэзии, въ этомъ легко убѣдиться не только изъ спеціальныхъ сочиненій и изданій, но даже изъ того популярнаго очерка мистерій, какой предлагаютъ намъ Газе (*Das geistliche Schauspiel*) и Шакъ (въ предисловіи къ своей *Geschichte des Spanisch. Dramas*). Тѣмъ непонятнѣе подобное упущеніе, что въ «Очеркахъ» г. Гарусова, въ отдѣлѣ русской драмы, довольно подробно говорится и о русскихъ мистеріяхъ, которыя, какъ каждому извѣстно, были только слабымъ отблескомъ западныхъ произведеній этого рода.

Драматической поэзии новой эпохи въ книгѣ г. Гарусова отведено гораздо большее мѣсто, чѣмъ древней; по неразборчивость въ оцѣнкѣ произведеній и несоразмѣрность — тѣ же: очень подробно, напр., разбирается *Макбетъ* Шекспира и очень недостаточно сего *Гамлетъ*, много говорится о *Расинѣ* и очень немного о *Корнелѣ* и т. д.

Мы не пишемъ ни охоты, ни времени вдаваться въ повѣрку художественныхъ анализовъ г. Гарусова, но не можетъ не замѣтить, что и они, при всей видной своей обстоятельности, чужды того опредѣленнаго плана, который составляетъ необходимое условіе всякаго ученаго или педагогическаго труда: часто здѣсь говорится очень много, но выносятся очень немногое. Въ изложеніи нѣмецкой драмы замѣтно отсутствіе новыхъ писателей: все дѣло ограничивается только Шиллеромъ и Гёте. Отдѣлъ русской драматической поэзии тоже неполонъ и несоразмѣренъ въ частяхъ: опущены напр. комедіи Лукина, императрицы Екатерины; на нѣсколькихъ страницахъ раскинулась ищанская драматургія г. Островскаго, названы даже Сухово-Кобылинъ и Ленскій (?! Боже! за что обижень К. Кугушевъ!).

Возвращаясь къ общему книгѣ г. Гарусова, мы повторимъ уже высказанное нами мнѣніе: въ рукахъ опытнаго преподавателя трудъ этотъ несомнѣнно принесетъ свою пользу, но какъ сочиненіе цѣльное, задуманное и выполненное по извѣстному плану, — оно не можетъ быть признано удовлетворительнымъ, главнымъ образомъ по отсутствію полноты и соразмѣрности въ

въ частяхъ: это — не болѣе, какъ брульяны, въ сыромъ, неотдѣленномъ видѣ, которымъ не достаетъ окончательнаго пересмотра. Съ этой точки зрѣнія «Очерки» г. Гарусова далеко уступаютъ книгѣ г. Милюкова, у котораго весь второй отдѣлъ оставляетъ немного мѣста для желаній; но, прибавимъ мы, было бы очень жаль, если бы подобные труды оставались подъ спудомъ и не вышли на свѣтъ, такъ какъ они могутъ принести большую пользу и почти никакого вреда.

Въ заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какого пути слѣдуетъ держаться въ обработкѣ всеобщей литературы. По нашему крайнему убѣжденію, историческій путь здѣсь не только лучше и умѣстнѣе теоретическаго, но и представляетъ единственную возможность выхода изъ безчисленныхъ повтореній и неточностей, въ какія поневолѣ впадаетъ изслѣдователь, желающій излагать развитіе литературы по тремъ стариннымъ теоретическимъ отдѣламъ: эпоса, лирики и драмы. Что произведенія литературы должны быть разсматриваемы въ связи съ исторіею жизни общественной и народной — объ этомъ мы уже говорили, и такъ какъ многія различныя формы поэзіи возникаютъ въ одно и то же время, то и историку предстоятъ безчисленные повторенія одного и того же, если онъ рѣшится слѣдовать развитію общихъ литературныхъ формъ, а не развитію литературы извѣстнаго народа; но положимъ, что это обстоятельство, такъ или иначе, будетъ устранено, все же внѣшняя картина развитія родовъ и формъ поэзіи никогда не дастъ яснаго, цѣльнаго образа литературнаго развитія народовъ, а только это послѣднее и можетъ быть признано достойнымъ исторической науки о литературѣ. Историческій способъ разсмотрѣнія произведеній литературы по народамъ — совершенно устраняетъ это неудобство: съ одной стороны здѣсь получаетъ объясненіе каждая нововозникающая форма поэзіи, и объясненіе тѣмъ болѣе вѣрное, что эта форма разсматривается не отвлеченно, а въ связи съ условіями почвы и времени, откуда и когда развилась она; съ другой — открывается возможность изобразить

историческій ходъ національнаго литературнаго развитія: «теорія поэзіи» должна уступить мѣсто «исторіи». Этимъ, однако, мы вовсе не отрицаемъ возможности теоретическихъ изслѣдованій въ области литературы: можетъ быть теорія классическаго или средневѣковаго художественнаго эпоса, теорія древней лирики, средневѣковой провансальской лирики, теорія древняго краснорѣчія и т. д.; но теорія литературной формы общей, безусловной для всѣхъ вѣковъ и народовъ — и помыслить нельзя, такъ каждый народъ въ литературномъ развитіи идетъ своимъ собственнымъ путемъ, даже и тамъ, гдѣ оказывается такъ называемое подражаніе чужеземнымъ образцамъ — оно никогда не бываетъ простымъ фотографическимъ снимкомъ съ оригинала, а всегда имѣетъ какой-нибудь своеобразный отгѣнокъ. Все, что можно найти общаго, напр., между греческой лирикой и лирикой средневѣковой, классическимъ художественнымъ или ложнымъ эпосомъ и новеллою или романомъ — это какой-нибудь формальный, внѣшній признакъ, на которомъ такъ же странно основываться, какъ и въ естественной классификаціи — человека ставить на ряду съ птицею, потому, что у обоихъ по двѣ ноги.

Литература, въ особенности древняя, развивается не одиоко, а въ связи съ религіозною, художественною и общественною жизнью: для полнаго, отчетливаго пониманія развитія литературы необходимо знаніе и этихъ отраслей народной жизни. На Западѣ удовлетворить такому требованію не трудно: мифологія и исторія искусства тамъ вводятся въ кругъ народнаго образованія, существуютъ и популярны учебники по этимъ наукамъ; наше дѣло — у насъ, гдѣ все это *ria desideria*... На нашъ взглядъ *русскій* историкъ всеобщей литературы обязанъ отчасти пополнить эти пробѣлы, по крайней мѣрѣ на столько, чтобы сообщить своимъ литературнымъ обозрѣніямъ возможную ясность и полноту, которой они безъ этого имѣть не могутъ. Будутъ ли ясны намъ содержаніе и смыслъ поэмъ Гомера, трагедій Эсхила, Пиндаровыхъ одъ, если мы не знаемъ основаній греческой мифологіи въ ея историческомъ развитіи, или литера-

турная дѣятельность эпохи «Возрожденія» — безъ вниманія къ художественному направленію образовательныхъ искусствъ той же эпохи?? По неимѣнію или недоступности хорошихъ русскихъ переводовъ многихъ произведеній литературы (въ особенности средневѣковой) — на историкѣ ея лежитъ также обязанность хрестоматора: конечно, можно ограничиться немногими замѣчательными отрывками, общими изложеніями содержанія произведеній; и они необходимы уже и за тѣмъ, чтобы приговоры изслѣдователя не были голословны и не поражали читателя своею неудобопонятностью. Этому требованію гг. Милуковъ и Гарусовъ удовлетворяютъ только отчасти. Для полнаго успѣха дѣла нужно желать какъ можно болѣе хрестоматическихъ подробностей или же самую литературную хрестоматию въ родѣ той, какая издава Шерромъ въ 40-выхъ годахъ.

Основной элементъ русской богатырской быliny.

(по поводу соч. Л. Майкова: «О былинахъ Владимірова цикла». Спб. 1863, 139 стр.)

1870.

Русская исторія еще очень молодая наука: не прошло еще и столѣтій, какъ началась ея серьезная, ученая разработка. Много уже сдѣлано, многое уяснено, но гораздо болѣе остается сдѣлать и объяснить. Въ особенности слаба современная разработка внутреннего доисторическаго быта русскихъ племенъ, быта, который камнемъ легъ во главу угла послѣдующаго, чисто-историческаго, движенія. Въ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ географическихъ и территоріальныхъ опредѣленій, всегда постоянныхъ и неизмѣнныхъ, за вычетомъ нѣсколькихъ извѣстій иностранныхъ и русскихъ, занесенныхъ въ лѣтописи съ чужого голоса, или по преданію — что находимъ мы на страницахъ исторіи о судьбахъ Русской земли до пришествія сѣверныхъ нарядчиковъ? Гдѣ тотъ періодъ нашей исторіи, который на чужомъ языкѣ называется героическимъ, а на нашемъ можетъ быть также удачно названъ —

богатырскимъ? Пусть не говорятъ, что это явленіе чуждо русскому духу: оно — обще всѣмъ индо-европейскимъ племенамъ, и наша народность въ то время еще не успѣла получить того рѣзкаго обособленія, съ характеромъ котораго мы видимъ ее въ вѣка послѣдующіе; она сохранила, если не полную память, то по крайней мѣрѣ яркія черты своего индо-европейскаго происхожденія. Греки имѣли свою героическую эпоху, ясно и цѣльно выразившуюся въ ихъ безсмертныхъ эпическихъ созданіяхъ, Германцы—свою, сказавшуюся въ пѣсняхъ древней Эдды и средне-вѣковыхъ героическихъ сказанійхъ; куда же скрывалось это золотое поэтическое время, это свѣжее утро исторической жизни нашихъ предковъ — славянъ? Или оно прошло безслѣдно и ни одной чертой не отиѣтилось въ ихъ исторіи! Гдѣ оно? Историки молчатъ о немъ, потому что оно не вписано въ старинныя хартии, не встрѣчается ни на страницахъ вѣковыхъ *новостей временныхъ лѣтъ*, ни въ правительственныхъ актахъ, ни въ договорахъ и завѣщанійхъ князей и т. д.; но народная память лучше всякихъ письменныхъ документовъ сохранила намъ величественные образы жизни этого героическаго, богатырскаго періода народной жизни — и если первой страницей исторіи должна быть географическая ландкарта, то введеніемъ, истиннымъ началомъ русской народной исторіи должны быть языкъ и *богатырская былина*, суровые типы которой замыкаютъ темную мифическую старину и открываютъ народу новые историческіе пути. Такимъ образомъ, только языкъ да народная пѣсня могутъ, до нѣкоторой степени, возстановить цѣлый потерянный періодъ русской исторіи; а этотъ юный поэтический періодъ такъ значителенъ и важенъ! Если и теперь, по истеченіи цѣлаго десятка вѣковъ, на сѣверѣ и въ глубинахъ Сибири, простолюдинъ съ любовью поетъ про своихъ славныхъ витязей и богатырей, то что же было въ ту эпоху, когда народъ въ богатырскіе образы отливалъ свою собственную человѣческую мощь и сущность, когда эти образы были для него ближе и дороже, чѣмъ нынѣ, когда онъ чувствовалъ ихъ живое значеніе, любовался ихъ правствен-

ною фізіономією, понимавъ сердцемъ ихъ высокій смыслъ и значеніе?

Изданія русскихъ богатырскихъ былинъ, собранныхъ пок. П. В. Кирѣевскимъ и г. Рыбниковымъ предлагаютъ богатый матеріалъ указаннаго мною пробѣла: они вызвали уже нѣсколько замѣчательныхъ изслѣдованій, замѣчательныхъ или по нѣкоторымъ счастливымъ объясненіямъ, или по оригинальности взгляда, переходящаго въ странность; но всякій, кому не безызвѣстно современное состояніе западной науки о старинѣ и народности, всякій согласится, что это — только начало, зыбкое и колеблющееся, какъ всякое начало; для дальнѣйшаго успѣха этой области науки необходимо не только всестороннее изслѣдованіе матеріала, но и болѣе твердая точка зрѣнія и болѣе близкое знакомство съ сравнительно-историческимъ методомъ, примѣненнымъ къ изслѣдованію языка, міеологіи и народной поэзіи. Въ особенности сравнительное изученіе міеологіи составляетъ ахиллову пяту нашихъ изслѣдователей: съ одной стороны самый дикій произволъ и полетъ разнузданной фантазіи, съ другой — излишняя робость, останавливающаяся на серединѣ и не идущая до корней явленій, случайность сближеній, а потому и неопредѣленность самой мысли, темнота и запутанность изложенія: изслѣдователю какъ будто жаль подвергнуть анатомическому вскрытію живой поэтической образъ народной фантазіи и вѣрованія, какъ будто совѣстно посягнуть на его красоту, отыскивая обыкновенное его происхождение; потому большую часть сравненій онъ ограничиваетъ сближеніемъ поэтическихъ мотивовъ — и не идетъ въ глубь, боясь нарушить очарованіе.

Много чести для поэтического чувства изслѣдователя, но много ли пользы для науки, стремящейся узнать причину явленія и его историческую судьбу!

Это ли колебаніе въ методѣ изслѣдованія, или иныя какія причины — только нѣкоторые изслѣдователи еще мало цѣнятъ сравнительное изученіе міеологическаго элемента нашихъ богатырскихъ былинъ: для нихъ это — дѣло второстепенное: полагая,

что былины возникли въ историческую эпоху, они ставятъ на первый планъ ихъ *историческій* элементъ, разработкѣ его посвящаютъ свои труды, а на мнѳологію смотрятъ, какъ на случайный элементъ, называя его схоластически-школьнымъ пмепемъ—*чудеснаго!* Какъ будто это *чудесное* не есть необходимый плодъ духовной жизни народа, какъ будто оно—нежданно-негаданно—упало съ облаковъ!

Съ особенною опредѣленностію такой взглядъ былъ высказанъ въ послѣднее время г. Майковымъ, въ его магистерской диссертациі, заглавіе которой мы привели выше. Мы оставимъ до конца нашей замѣтки разборъ этого труда, и попытаемся сближеніемъ нѣкоторыхъ мотивовъ русской богатырской былины съ родственными мотивами народной поэзіи другихъ индо-европейскихъ племенъ — доказать не только присутствіе, но и первостепенное основное значеніе мнѳологическаго элемента былины.

Тотъ плохо пойметъ наше намѣреніе, кто въ этихъ сближеніяхъ станетъ искать полнаго обстоятельнаго объясненія мнѳологіи нашихъ былинъ: это предметъ труда болѣе обширнаго и не легкаго. Мы ограничимся разборомъ только нѣкоторыхъ главныхъ эпизодовъ, соблюдая при этомъ возможную краткость; потому многое въ нашемъ изложеніи можетъ показаться произвольною догадкою, предположеніемъ, ни на чемъ не основаннымъ, но мы обращаемъ вниманіе читателя на приводимую нами бібліографію предмета, пусть ея онъ потрудится *попытать* наши толкованія.

I.

Мнѳ., сказаніе, исторія.

Вопросъ о происхожденіи сказаній о герояхъ и богатыряхъ, о началѣ ихъ и далѣйшемъ развитіи—рѣшался различно. Одни находили, что основаніемъ ихъ служили древнѣйшія сказанія о богахъ, которые, съ теченіемъ времени, теряли свой первоначальный видъ и принимали земныя, чувственные формы, дру-

гіе—влагали въ нихъ историческую истину, подъ вліянія свободной фантазіи народа принявшую видъ чудеснаго происшествія, изукрашенную вымысломъ. Къ такимъ мнѣніямъ изслѣдователи были приводимы нѣкоторыми частными фактами, и въ этомъ отношеніи нельзя отказать имъ въ извѣстной долѣ справедливости; но односторонность этихъ объясненій обнаруживается при первомъ взглядѣ на цѣлое, на то, что мы называемъ полнымъ цикломъ народнаго эпоса. Въ самомъ дѣлѣ, если сказанія о герояхъ и богатыряхъ были простымъ овеществленіемъ сказаній о богахъ, если самые герои и богатыри были только изведенные на землю небожители, то какимъ образомъ стирается изъ индивидуальная и народная сторона, содержаніе сказаній расширяется, теряетъ свою опредѣленность и свой колоритъ и получается видъ чего-то безформеннаго, безжизненнаго! Не менѣе непрочное и историческое объясненіе. Во всемъ циклѣ эпическихъ сказаній едва можно отыскать нѣсколько именъ собственно историческихъ, да и то съ такими странными анахронизмами и смѣшеніямъ, что плодомъ всѣхъ попытокъ исторически объяснить сказанія о богатыряхъ и герояхъ бываютъ или несбыточныя надежды на будущее время, или полное убѣжденіе въ исторической недостоверности этихъ сказаній.

Вопросъ этотъ имѣетъ такую важность относительно главнаго нашего предмета, что мы позволимъ себѣ войти въ небольшія подробности и отсюда уже опредѣлить нашу точку зрѣнія на сущность богатырской былины.

Въ эпоху юности народовъ, когда они не перешагнули еще своего *природнаго* состоянія, человекъ почти не сознаетъ себя, какъ отдѣльную личность, но спокойно и безъ намѣренія, безъ вѣстиваго знанія и воли — дѣйствуетъ, какъ членъ великаго цѣлаго и живетъ только имъ, только въ немъ и съ нимъ. Личность совпадаетъ съ совокупностью всего народа, исчезаетъ въ ней, а потому—какъ сознаніе человека, такъ и самыя чувствованія его являются не въ особенной единичной формѣ, а коллективно: что

сознаетъ и чувствуетъ онъ, то сознають и чувствуютъ и всѣ его соплеменники.

Первою верховною мыслию такого коллективнаго сознанія, мыслию, которая шла не отъ разсудка только, а отъ всего внутренняго міра человѣка, отъ его души и сердца — была мысль о *зависимости отъ божества*. Это же чувство зависимости, первая причина всякой языческой религіи, была неминуемымъ слѣдствіемъ отношеній народа-младенца къ природѣ. Тѣ явленія ея, условія и вліянію которыхъ подлежалъ человѣкъ, предъ которыми онъ чувствовалъ свое безсиліе, были первыми предметами его поклоненія, его поэтическихъ грёзъ и представлений, и чѣмъ неотразимѣе и страшнѣе была сила этихъ явленій природы, тѣмъ болѣе чувства тяжелой зависимости въ его первоначальныхъ языческихъ вѣрованіяхъ, тѣмъ безотраднѣе и мрачнѣе они. Оттого на первой ступени народной жизни находимъ мы подчиненіе космическимъ силамъ природы, оттого на ряду съ свѣтлыми образами находимъ мы темныя представленія о зломъ, губительномъ началѣ, которое ведетъ постоянную борьбу съ добрыми, благодѣтельными божествами. Все развитіе народной мифологіи заключается въ постепенномъ освобожденіи сознанія изъ-подъ тяжелаго, сковывающаго гнета темныхъ космическихъ силъ природы: свѣтлые образы мало по малу выясняются и получаютъ опредѣленный видъ. Здѣсь мы не встрѣчаемъ уже того безотраднато чувства, которое охватываетъ язычника, заставляя его преклоняться предъ губительною, грозящею силою: онъ не боготворитъ ее, какъ прежде, не приноситъ ей умиловательной жертвы, не возсылаетъ моленія, а обращается къ своимъ свѣтлымъ, добродѣтельнымъ богамъ — и отъ нихъ ждетъ защиты отъ зла и покровительства. Это одинъ изъ важнѣйшихъ моментовъ въ исторіи развитія языческихъ вѣрованій. Народъ придаетъ своимъ добрымъ богамъ человѣческія свойства и качества, и такимъ образомъ прежнему темному поклоненію противопоставляетъ поклоненіе своей собственной сущности. Небожители мало-по-малу низводятся на землю и сблизжаются съ людьми, и вслѣдъ за

ними являются *герои* или *богатыри*, какъ посредники между небомъ и землею.

Созданіемъ богатырей, героевъ, народная мифологія достигаетъ высшаго своего развитія. Человѣческая сущность вступаетъ въ свои права и въ лицѣ героя празднуетъ свою побѣду надъ темными враждебными силами природы.

Такимъ образомъ, въ эпоху *природнаго* состоянія, во всѣхъ людяхъ живетъ чувство и опытъ, что весь народъ, все человечество, весь міръ — происходятъ отъ божества и имъ держатся, все, что случается — въ понятіяхъ народа — случается по волѣ божества.

Это чувство зависимости, при участіи воображенія, породило *мифъ*, первую поэтическую форму народнаго міросозерцанія. Еще у Гомера, сообразно характеру эпохи, глядѣвшей на исторію чисто поэтическимъ взглядомъ, мифъ значитъ вообще рассказъ, въ эпоху же болѣе древнюю это былъ рассказъ, повѣствованіе о дѣлахъ и жизни небожителей — *боговъ*. Мифъ еще не спускается на землю; держась постоянно олимпійской божественной высоты, онъ занятъ лишь поэтической исторіей божества. Правда, населяя воздушное пространство сонмомъ боговъ, рисуя ихъ образы и взаимныя отношенія, фантазія народа идетъ отъ земной дѣйствительности, но это потому, что много источника фантастическихъ образовъ и быть не могло въ эпоху бессознательнаго творчества, когда личная прихоть или капризъ не могли еще имѣть мѣста ни въ жизни, ни въ поэзіи.

На этой же религіозной основѣ, нѣсколько позднѣе, возникаетъ и *народное сказаніе* (былина), предметомъ котораго служатъ первыя полу-историческія, полу-мифическія воспоминаванія народа. Повѣствуя о томъ, что пережилъ народъ, о его герояхъ и мудрецахъ, оно всегда бессознательно возводитъ эти личности и ихъ дѣла къ религіозной мифологической основѣ, потому сказаніе съ одной стороны служить исторіей народа, съ другой удовлетворяетъ его вѣрующее религіозное чувство, иными словами: сказаніе разсматриваетъ человѣческія дѣла, отирая ихъ

отъ средоточія мифологической идеи. Вотъ почему нѣкоторые народы дѣлають боговъ своими родоначальниками, предками своихъ земныхъ повелителей и царей! Подобный сказочный способъ пониманія исторіи преобладаетъ у всѣхъ народовъ, покамѣстъ они ведутъ природную жизнь, еще не возмущенную цивилизаціей и образованіемъ, потому всякая исторія сперва начинается сказаніемъ, исторіи каждаго племени, такъ же, какъ греческаго, римскаго, нѣмецкаго и славянскаго, потому такъ же сходны между собою и по своей сущности, и по формѣ представленія — сказанія самыхъ отдаленныхъ народовъ, хотя каждое изъ нихъ бываетъ дома только на своемъ мѣстѣ и имѣетъ, повидимому особый, чисто народный характеръ: первоначальныя сказанія вездѣ выражаютъ какіи-нибудь религіозно-мифологическія идеи, воплощаемыя въ исторіи, вездѣ человѣческая фантазія овладѣваетъ первыми воспоминаніями народа и сообщаетъ имъ мифическую окраску.

Такимъ образомъ, становятся понятны связь и взаимныя отношенія мифа и сказанія, былины. Въ мифѣ народъ переходитъ за черту дѣйствительности, его воображеніе пытается сдѣлать шагъ въ исторію божествъ, оно творитъ цѣлые образы, устанавливаетъ между ними отношенія и связи; въ сказаніи же народъ раскрываетъ намъ участіе божествъ въ своей исторіи, въ окружающемъ его дѣйствительномъ бытіи, переноситъ небожителей на землю, заставляя ихъ располагать судьбами человѣка. Отсюда уже недалеко переходъ изъ боговъ въ героевъ, особенно когда развитіе антропоморфизма передѣлываетъ мифологическія существа по образу и подобию человѣка; что до той поры служило формою мифическихъ представленій, становится простымъ сказаніемъ, такъ, напр., лицо Зигфрида нѣмецкой героической саги, слѣившись съ другими сказочными и историческими личностями — и само получило историческую окраску, но по своей основѣ, какъ это убѣдительно доказали Лакманъ и В. Мюллеръ ¹⁾.

1) Lachmann, Kritik der Sage v. d. Nibelungen. Приложение къ примѣчаніямъ его къ поэмѣ о Нибелунгахъ. — W. Müller, Versuch einer Mythologischen Erklärung der Nibelungensage. Ber. 1841.

Зигфридъ принадлежалъ *миѳу*, и то, что разсказываетъ о немъ народное сказаніе, произошло вслѣдствіе постоянно развивавшагося стремленія сообщать человѣческія и историческія формы древнему миѳу о божествѣ. Вообще миѳъ и сказаніе очень близко граничатъ другъ къ другу: они взаимно соприкасаются и связываются самымъ разнообразнымъ способомъ; есть даже много примѣровъ образованія миѳовъ изъ народныхъ сказаній: у Гомера нельзя рѣзко отдѣлить сказаній о богахъ отъ сказаній о герояхъ, — послѣдніе нерѣдко чувствуются, какъ боги, но въ особенности миѳъ и сказаніе сливаются воедино тамъ, гдѣ дѣло идетъ о времени, лежащемъ за предѣлами всякаго воспоминанія и даже воспоминанія сказочнаго, такова напр. эпоха до существованія народа, или даже человѣка: возникаютъ цѣлыя космогоніи, теогоніи и антропогоніи, и все это носитъ чисто миѳическій характеръ; скоро, однакоже, сюда присоединяется и *народное сказаніе*: такъ скифы-пахари вели свое происхождение отъ младшаго изъ трехъ сыновей Солнца (Targitavus, блестящій дпскъ), который назывался kolaksais, т. е. владыка плуга ¹⁾; германцы, по свидѣтельству Тацита (Germ. II Cap.), прославляли въ своихъ пѣсняхъ бога Твиско, рожденнаго изъ земли, сына его Маннуса — перваго человѣка, отъ трехъ сыновей котораго произошли нѣмецкія племена.

Итакъ очевидно, что сказаніе почти всегда коренится на миѳѣ, на старинныхъ миѳическихъ воспоминаніяхъ.

Но въ какихъ же отношеніяхъ къ сказанію стоитъ дѣйствительная исторія — иначе, въ какой мѣрѣ сказаніе можетъ быть принимаемо за реальную историческую дѣйствительность?

Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія одинъ изъ первыхъ знатоковъ народной поэзіи упрекалъ современныхъ ему историковъ въ неправильномъ пониманіи характера историческаго сказанія и преданія.

1) См. нашу статью о сочиненіи Бергмана: *Les Scythes...* въ *Дѣтскихъ Русской литер. и древ.* изд. г. Тихонравовымъ 1859, кн. 1-я, стр. 127.

Въ то время, когда одни факты, содержаніе которыхъ видимо принадлежитъ къ области народныхъ сказаній, вносятся безъ затрудненій въ достовѣрную исторію, какъ событія дѣйствительно случившіяся, — другіе, во всемъ сходные съ первыми, съ презрѣніемъ отбрасываются въ сторону, какъ жалкій вымыселъ разстроеннаго воображенія или ребяческая забава празднилюбцевъ. Время значительно смягчило силу подобныхъ упрековъ, и истинная наука уже отличаетъ сказочный характеръ событія отъ дѣйствительнаго и указываетъ каждому изъ нихъ свое особое мѣсто въ общей исторіи народа. Но есть изслѣдователи, для которыхъ упрекъ Гримма еще не утратилъ своего значенія: они заботливо отыскиваютъ строгую историческую истину и событіе тамъ, гдѣ ихъ быть не можетъ, гдѣ вмѣсто событія находимъ мифъ, вмѣсто свидѣтельства — сказаніе или темное преданіе, истину относительную вмѣсто истины реальной.

Смѣшивая сказаніе съ исторіей, мы теряемъ изъ виду его существенный характеръ, придаемъ ему вещественную, земную истину, которой оно не имѣетъ, и отрицаемъ ту духовную истину, которая составляетъ его сущность. Сказаніе (сага) идетъ совершенно другимъ путемъ и смотритъ на вещи другими глазами, нежели исторія: ему недостаетъ того жизненнаго человѣческаго чувства, которымъ такъ сильно дѣйствуетъ на насъ исторія, за то оно умѣетъ соглашать и возводить всѣ частныя отношенія до спокойной эпической ясности.

«Въ то время, какъ судьбы исторіи — говоритъ Як. Гриммъ — совершаются дѣлами людей, сказаніе носится надъ ними, какъ призракъ, что между ними свѣтитъ, какъ благоуханіе, которое исходитъ къ нимъ. Никогда не повторяется исторія: она вездѣ нова и свѣжа, неисчерпаемо возрождается сказаніе. Прочнымъ шагомъ идетъ исторія по землѣ, но крылатое сказаніе опускается и подымается: его продолжительное посѣщеніе есть благо, которое дается не всѣмъ народамъ; гдѣ далекія событія потерялись бы во мракѣ времени, тамъ сплетаются съ ними сказанія и умѣютъ сохранить нѣкоторую часть ихъ; гдѣ

миръ ослабѣлъ и готовъ распасться, тамъ поддерживаетъ его исторія. Когда же миръ и исторія совпадаютъ и внутренне соединяются, тогда основывается зданіе и выводитъ свои нити — эпоху.

Между исторіею и сказаніемъ такое же отношеніе, какое соединяетъ добродѣтель дѣйствительной жизни съ добродѣтельною поэзіи. Счастливъ народъ, когда исторія его выстѣ съ поэтическими сказаніями имѣетъ, подобно дню, свое утро и свой вечеръ, когда его протекшая жизнь, не всегда доступная слабому зрѣнію современной науки, полно и ясно раскрывается въ его сказаніяхъ и преданіяхъ.

Приписывать сказанію, сагѣ историческую истину такъ же несправедливо и несообразно съ требованіями исторической науки, какъ и вносить въ достовѣрную исторію созданія народной фантазіи и воображенія. Эпоха мифическая есть разсвѣтъ исторіи народа, но еще не исторія, въ ней нѣтъ событій, нѣтъ опредѣленнаго времени и пространства для нихъ, здѣсь мы находимъ образы, сложившіеся неизвѣстно когда и какъ. Смотрѣть на это время должно другими глазами, мѣрять его пною мѣрою, отличною отъ обыкновенно употребляемой въ исторической критикѣ. Историческій анализъ можетъ отдѣлать позднѣйшіе наросты, но мало окажетъ помощи въ стремленіи постигнуть духъ старины и проникнуть въ ея сокровенныя тайники: они останутся непонятными до тѣхъ поръ, пока не подойдемъ до самаго свѣжаго родника, хранилища старинныхъ вѣрованій и откровеній — родного языка, пока сблизимся съ родственною достоприческою старинною прочихъ индо-европейскихъ народовъ — не научимся понимать и цѣнить надлежащимъ образомъ свои собственные сокровища ¹⁾.

1) Превосходныя мысли объ отношеніи сказанія къ исторіи были высказаны знаменитымъ Яковомъ Гриммомъ впервые еще въ 1813 году въ журналѣ Фридриха Шлегеля «Deutsches Museum» 1813 г. т. 3-й стр. 53—73 въ статьѣ: «Gedanken über Mythos, Epos und Geschichte», потомъ въ предисловіяхъ къ 2-мъ томамъ нѣмецкихъ сказаній (Deutsche Sagen 1816—1818).

Событія исторіи, становясь предметомъ народнаго эпоса, или создаютъ новую, совершенно отличную отъ прежней, форму сказанія — историческую пѣснь, или же, въ большей части случаевъ, теряютъ свой *дѣйствительный* образъ и подчиняются стародавнимъ сказочнымъ типамъ и образамъ, получаютъ полусказочный, полу-историческій характеръ. Народный эпосъ тѣмъ охотнѣе даетъ историческимъ событіямъ старинную сказочную окраску, что основывается на воображеніи, а образы этого послѣдняго создаются не столько по свободной прихоти, сколько по вѣковымъ, опредѣленнымъ взглядамъ и понятіямъ народа; потому, если событія исторіи получаютъ фантастическій видъ и обстановку, то корни этой фантазіи всегда восходятъ къ глубокой старинѣ, всегда основываются на *прежнихъ представленіяхъ и образахъ*, въ дѣйствительность которыхъ народъ вѣрилъ душою и сердцемъ младенца. Такимъ образомъ, становится понятно, почему даже въ чисто-историческихъ пѣсняхъ могутъ встрѣтяться черты глубокой мпической древности. Голая историческая истина не удовлетворитъ вопросовъ ума и фантазіи народа; входя въ область эпического творчества, она должна измѣнить свой прозаическій характеръ, должна облечься въ чудесныя фантастическія формы, изъ реальной дѣйствительности стать дѣйствительностью идеальной. Прогрывая въ отношеніи внѣшней достовѣрности, она выигрываетъ въ отношеніи внутренней правды, и потому такъ живо затрагиваетъ народное нравственное чувство, умъ и фантазію. При такомъ характерѣ исторической быliny, кто можетъ сказать, что фантастическій ореолъ, какимъ окружаетъ народъ историческія происшествія и лица, есть плодъ пустой фантазіи, или ничѣмъ не сдержаннаго прихотливаго вымысла? Нѣтъ, эта чудесная обстановка есть нѣчто гораздо большее, чѣмъ пустой вымыселъ: она коренится на любимыхъ сердечныхъ стремленіяхъ народа, неразлучныхъ съ дорогими вѣрованіями, и стало быть — восходитъ къ эпохѣ, когда создавались эти фантастическія вѣрованія.

Таковы взаимныя отношенія и связь мифа, сказанія и исторіи.

Взглянемъ теперь съ точки зрѣнія этой связи на русскую богатырскую былинну.

Что сказанія о русскихъ богатыряхъ создались не вдругъ и не въ эпоху Владиміра, объ этомъ теперь, по обнаруженіи превосходныхъ былинъ о такъ называемыхъ богатыряхъ *старшихъ* — и рѣчи быть не можетъ: нѣтъ сомнѣній, что эти сказанія были плодомъ всей предыдущей жизни народа, лебединою пѣснью, если можно такъ выразиться, народнаго творчества, еще питавшагося соками стариннаго преданія. Отдѣливъ въ нихъ все случайное, приприсоединенное послѣдующими вѣками и образовавшееся подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ, можно понять ихъ настоящій характеръ: мы встрѣтимъ здѣсь глубокую старину, еще не успѣвшую получить рѣзкаго характера исключительно русской народности, старину, прямо указывающую на доисторическую эпоху единства индо-европейскихъ племенъ. Такое разграниченіе стараго отъ новаго необходимо уже и потому, что безъ него мы смѣшаемъ самые разнородные предметы, и богатыри потеряютъ для насъ то живое значеніе, какое они имѣли въ народѣ, они будутъ непонятными образами, игрою народной фантазіи безъ участія въ жизни, безъ вліянія на развитіе народнаго сознанія. А между тѣмъ эпоха полного развитія русскаго богатырства есть одна изъ важнѣйшихъ эпохъ духовной жизни русскаго народа. Она подготовлялась исподоволь и издавна, и только при Владимірѣ получила полнѣйшее выраженіе и развитіе. Историческій Владиміръ, его дружина приняли мифическіе образы, и рядомъ съ историческою жизнью народа шла своимъ чередомъ прежняя мифическая жизнь народа со всѣми старинными своими отправленіями.

Дѣйствительность имѣла вліяніе на созданія народнаго воображенія и въ свою очередь подчинялась его вліянію и часто принимала мифическую окраску. Примеры такого взаимнаго вліянія исторіи и сказанія очень знакомы каждому, читавшему рус-

скія богатырскія былины: они какъ нельзя лучше подтверждають мысль, что эпоха Владимира для народа была продолженіемъ старинной жизни, даже, позволю себѣ сказать, полнѣйшимъ ея довершеніемъ, предѣломъ, далѣе котораго въ своемъ развитіи она не шла и подъ вліяніемъ неблагоприятныхъ историческихъ обстоятельствъ начала снова возвращаться къ тѣмъ темнымъ временамъ грубаго подчиненія космическимъ силамъ природы, освобожденіе отъ которыхъ она такъ радостно отпраздновала въ лицѣ своихъ богатырей.

Слѣдовательно, отыскивать строго историческіе корни и причины сказаній о богатыряхъ и ихъ подвигахъ — значитъ противорѣчить характеру эпохи, въ которую слагался ихъ образъ, эпохи мпопческой, жизнью которой народъ жилъ еще во времена Владимира, когда его богатыри получили полные опредѣленные образы и чертанія.

Попытаемся же отыскать нныя основанія нашихъ богатырскихъ былинъ.

Разборъ сочиненія А. АѢнасьева:

«Поэтическія воззрѣнія славявъ на природу. Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ преданій и вѣрованій, въ связи съ мпопческими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Т. 1-й. Москва, 1866. 8° 800 страницъ.

1872 г.

Что мпопческія представленія народовъ суть не плоды праздной, лишенной почвы фантазіи, или произвольнаго, обдуманнаго вымысла, а необходимый результатъ нравственной и матеріальной культуры младенствующаго человѣчества — это старая, безупречная истина; признавъ ее, необходимо признать и историческую важность науки мпоологической древности. И она признана очень давно; но только въ недавнее время это смутное признаніе перешло въ строгое убѣжденіе, и *опра* въ историче-

ское значеніе міеологіи смѣнилась *уверенностію* въ дѣйствительность этого значенія.

При всей доброй волѣ со стороны прежней науки міеологической древности, при всей проникательности ума, иногда глубокаго, таланта, иногда творческаго, своихъ воздѣлывателей, она не могла овладѣть загадкой: она имѣла дѣло съ предметомъ неуступчивымъ, для объясненія котораго недостаточны были всѣ средства, какими она располагала. Вотъ почему ни одна наука, изслѣдующая нравственную сторону природы человѣка, не представляетъ, можетъ-быть, такихъ измѣнчивыхъ колебаній, такого разнообразія противоположныхъ системъ, мнѣній, взглядовъ, какъ міеологія. Конечно, небезплодно прошли эти многовѣковые стремленія человѣческой пытливости: при подготовленіи былъ богатый запасъ матеріаловъ, они собрали и привели въ порядокъ источники письменные и вещественные, объяснили художественную и позднѣйшую историческую стороны міеологіи; но самая сущность предмета, источникъ и смыслъ міеологическихъ представлений, историческое движеніе міеовъ — оставался для нихъ закрытою книгою; прочесть ее суждено было наукѣ послѣдняго времени, когда для нея открылся новый міръ древнѣйшей индійской цивилизаціи, и сравнительное языкознаніе неожиданнымъ свѣточемъ озарило судьбы народовъ, казалось бы навсегда погребшія для мысли потомства. Считая еще только годами свое существованіе, наука сравнительной міеологіи успѣла уже, однако, достаточно опредѣлиться и стала на столько сильна, что не имѣетъ нужды въ оправданіи или защитѣ. Можно относиться съ недоверіемъ къ произволу нѣкоторыхъ частныхъ трудовъ въ этой области, но нельзя уже болѣе распространять этого недоверія на всю науку, владѣющую и прочнымъ методомъ изслѣдованія, и обиліемъ важныхъ, не подлежащихъ сомнѣнію, результатовъ. Вотъ почему, имѣя дѣло съ такимъ трудомъ, какъ «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу» г. Аонасьева, мы считаемъ неумѣстнымъ и несвоевременнымъ говорить о правахъ сравнительной міеологіи на общественное признаніе; мы можемъ огра-

нчиться лишь разборомъ этихъ правъ относительно самого автора, т. е. разборомъ достоинствъ и недостатковъ его труда.

Прежде другого — приведемъ въ ясность, чѣмъ могъ быть обязанъ г. Аонасьевъ своимъ предшественникамъ, взглянемъ на прошедшее и настоящее науки славянской мѣоологической древности, при чемъ ограничимся лишь отечественными трудами и изслѣдованіями, такъ какъ г. Аонасьевъ (см. его «Послѣ-словіе») снялъ съ себя отвѣтственность за полноту въ отношеніи славянскаго матеріала.

I.

Мѣоологическія попытки изслѣдователей прошлаго и первой четверти текущаго столѣтія были болѣе чѣмъ бѣдны въ фактическомъ отношеніи, болѣе чѣмъ слабы по мысли и обработкѣ, чтобы стоять въ непосредственной-связи съ наукой нашего времени вообще и трудомъ г. Аонасьева въ частности. Кругъ тогдашнихъ понятій о наукѣ мѣоологической древности былъ очень ограниченъ: мѣоологи заботились лишь о *богахъ* и *богиняхъ*, трудолюбиво собирали ихъ имена, подкладывая подъ нихъ готовые нравственныя или физическія толкованія и нимало не стѣснялись тѣмъ, что эти безжизненные образы идутъ въ разрѣзъ съ живою историческою дѣйствительностью, оттого весь результатъ этихъ попытокъ не пошелъ далѣе утѣшенія изъ мѣоологической славянской древности нѣкоторыхъ именъ мѣмныхъ божествъ, изобрѣтенныхъ досужей фантазіей старинныхъ мѣоографовъ XVI — XVII вѣковъ; славянскія мѣоологическія преданія, какъ были, такъ и послѣ этого остались загадкой для того, кто искалъ въ нихъ явленій протекшей дѣйствительной жизни, и чья любознательность не удовлетворялась ни лѣтописнымъ безцвѣтнымъ фактомъ, ни произвольной — природной или нравственной — интерпретаціей мѣоологическихъ именъ, ни, наконецъ, явными выдумками «подъ стать древней фантазіи». Между тѣмъ совершенно независимо отъ этихъ попытокъ, собирался матеріалъ по исторіи народнаго быта: произведенія народной поэзіи, описанія народныхъ нравовъ, обычаевъ, обрядовъ, повѣрій; собиралъ его

не столько по сознанію ученой цѣны и важности предмета, сколько по влеченію естественной любознательности; оттого, вмѣстѣ съ значительнымъ количествомъ важныхъ для науки фактовъ народной жизни, въ этнографическія описанія и статьи привозило и много такого, что не только не важно, но иногда и не достоверно и во всякомъ случаѣ изслѣдователемъ не должно быть принимаемо иначе, какъ послѣ разборчивой критики. Первымъ замѣчательнымъ трудомъ по предмету русской мнѳологической древности было сочиненіе г. Снегирева: «Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды». М. 1837 — 9, 4 ч. Въ соображеніе г. Снегиревъ принималъ не только русскій матеріалъ, но и преданія прочихъ родственныхъ племенъ и факты славянской жизни, на сколько они, по времени, были доступны; оставивъ въ сторонѣ объяснительную часть, нынѣ уже устарѣлую, должно замѣтить, что сборникъ г. Снегирева и до сихъ поръ остается незамѣненнымъ и полезнымъ, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кто сумѣетъ отличить факты *дѣйствительной* народной жизни, важные отъ случайныхъ и не всегда достоверныхъ. Гораздо важнѣе, по обилію разнообразнаго матеріала, былъ трудъ Сахарова: «Сказанія русскаго народа». Спб. 1841, 9 ч., 2 тома. По матеріаламъ и онъ доселѣ остается необходимою, настольною справочною книгою изслѣдователя русской бытовой древности; но какъ слабы были еще изслѣдовательные приемы и задачи, какъ далеки были они отъ условій исторической науки — видно изъ того, что Сахаровъ, въ главѣ, посвященной предмету славянской мнѳологии, иногда рѣзко осуждая попытки прежнихъ мнѳографовъ, не смогъ въ сущности прибавить къ нимъ ничего новаго: онъ только повторилъ тѣ заключенія ихъ, какія казались ему болѣе справедливыми и основательными, и отвергъ то, что, по его мнѣнію, было лишено основанія. Изслѣдованія Сахарова касались не столько самаго *предмета*, сколько *библіографіи* его. Такой характеръ и значеніе имѣетъ и другой сборникъ, изданный нѣсколько лѣтъ позднѣе г. Терещенкомъ, подъ названіемъ «Бытъ русскаго народа». Спб. 1848. 7 частей. Составитель

заимствовалъ многое изъ трудовъ гг. Снегирева и Сахарова, но многое и прибавилъ изъ другихъ, не всегда доступныхъ, источниковъ, и между прочимъ не мало и такого, что было въ свое время новостью и безъ чего нельзя обойтись и нынѣ; въ объяснительномъ отношеніи, сборникъ Терещенка стоитъ гораздо ниже труда г. Снегирева, и едва ли уже не совершенно бесполезенъ. Такъ постепенно выросталъ запасъ свѣдѣній и матеріаловъ, важныхъ для русской мѣологической науки: памятниковъ народной поэзіи, преданій, повѣрій и обычаевъ; но мысль не освѣщала собраннаго до поры, пока изслѣдователи ближе не познакомились съ источниками славянской древности и съ фактами современнаго быта славянскихъ племенъ: тогда стали возможны не только изслѣдованія частныхъ вопросовъ Славянской мѣологии, но и общіе обзоры ея. Изъ болѣе замѣтныхъ трудовъ этого направленія слѣдуетъ отмѣтить: «Славянскую мѣологию» г. Касторскаго (Спб. 1841.), «Святылища и обряды языческаго богослуженія древнихъ славянъ» г. Срезневскаго (Хар. 1846.), монографія о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ предметахъ славянскаго язычества, того же автора ¹⁾ и «Славянскую мѣологию» г. Костомарова (Кіевъ 1847 г.). Неравномѣрно значеніе этихъ трудовъ и не одинаково важны они для науки: первое мѣсто въ этомъ отношеніи, безспорно, принадлежитъ трудамъ г. Срезневскаго. Но въ общемъ — какая разница съ прежними слабыми попытками! Здѣсь въ первый разъ были сведены и, по возможности, критически оцѣнены всѣ имѣвшіяся на лицо свѣдѣтельства письменныхъ источниковъ славянской древности, приняты въ соображеніе и народныя славянскія преданія, ²⁾ по-

1) Таковы: «Объ обожаніи солнца у древнихъ славянъ», Ж. М. Н. Пр. 1846. № 7, «Свидѣтельство Писцеевскаго Сборника о языческихъ суевѣріяхъ русскихъ», Москвит. 1851, № 5; «о роженцахъ» въ Архивѣ Калачова. Т. 2. кн. 1-я.

2) Стоитъ вспомнить здѣсь заглавіе труда г. Срезневскаго: «Святылища и обряды языческаго богослуженія древнихъ славянъ, по свѣдѣтельствамъ сохранившимся и преданіямъ». Равнымъ образомъ и въ другихъ своихъ изслѣдо-

вѣрья, пѣсни, обычаи, обращено вниманіе и на свѣдѣтельства языка, хотя исключительно въ предѣлахъ славянской рѣчи. Результатъ этихъ изслѣдованій былъ немаловаженъ: нѣкоторыя части мифическаго и религіознаго быта славянъ приведены въ ясность и порядокъ, таковы напр. данныя, относящіяся къ богослуженію древнихъ славянъ—у г. Срезневскаго, къ народнымъ празднествамъ—у г. Костомарова; но загадка: откуда, изъ какого зерна возникли эти мифическіе образы, эти, подчасъ странныя, обряды и повѣрья; почему они бытовали въ жизни—все еще оставалась не разрѣшенною, тѣмъ менѣе могли быть разрѣшены вопросы исторіи народныхъ представленій и обычаевъ: всякая система въ этомъ отношеніи была еще преждевременна, и сознавая это, изслѣдователи, болѣе осторожные, благоразумно довольствовались ближайшимъ, подручнымъ объясненіемъ фактовъ, а если и были теоріи (какъ напр. теорія Костомарова, составившаяся подъ видимымъ вліяніемъ Крейцеровской символики), то не онѣ, конечно, составляютъ заслугу трудовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, и даютъ право на наше вниманіе. Новый важный шагъ въ исторіи науки славянской мифологіи былъ сдѣланъ, когда изслѣдователи ближе познакомились съ сочиненіями Якова Гримма и начали сравнительнаго языкознанія. Нельзя не назвать счастливымъ время, когда началъ у насъ изучать Я. Гримма: въ литературѣ уже готовъ былъ богатый запасъ матеріаловъ, совершенно однородныхъ съ тѣми, на основаніи которыхъ великій ученый выводилъ свою художественную постройку нѣмецкой мифологической старины, именно фактовъ народнаго быта, или источниковъ такъ называемой *нижней* ¹⁾ народной мифологіи: изученіе «Нѣмецкой мифологіи» Гримма необходимо привело къ ближайшему изслѣдованію русскаго матеріала: пѣсенъ, сказокъ, повѣрій, обычаевъ и обря-

ванійхъ по мифологической славянской древности г. Срезневскій всегда допускалъ преданія, какъ важный историческій источникъ: это было рѣшительнымъ шагомъ впередъ!

1) Объясненіе термина см. въ соч. Шварца: «Ursprung der Mythologie» стр. 5 и слѣд.

довъ, — матеріала, которымъ хотя и пользовались до того времени, но далеко не въ должной степени и не съ надлежащей точки зрѣнія. Обозрѣвая труды по русской мифологической наукѣ, возникшіе подъ вліяніемъ идей и изслѣдованій Гримма, нельзя не признать ихъ важности: ими опредѣлительно былъ поставленъ и улаженъ вопросъ о значеніи языка въ области мифологическихъ изслѣдованій, или иначе, о связи языка съ мифологическими представленіями; они указали на отношенія славянскихъ преданій къ преданіямъ прочихъ подо-европейскихъ народовъ, на необходимость сравнительнаго и историческаго ихъ изученія, на отличительныя черты и ученое значеніе произведеній народной словесности. Въ этомъ отношеніи неотъемлемая заслуга остается за г. Буслаевымъ: ему принадлежитъ честь перваго почина и счастливыхъ указаній на многія стороны предмета. Но какъ ни значителенъ былъ запасъ изслѣдованнаго, все же онъ былъ слишкомъ малъ сравнительно съ цѣлымъ, слишкомъ наскоро обработанъ, чтобы г. Аонасьевъ могъ воспользоваться имъ какъ готовымъ и оконченнымъ: изслѣдователи уклонялись иногда и отъ приемовъ самого Гримма, а еще чаще отъ тѣхъ успѣховъ, какіе сдѣлала наука въ послѣдующее время успіями непосредственныхъ учениковъ знаменитаго германиста: одни напр. ограничивали свою работу только сблженіями, параллельнымъ сопоставленіемъ мифическихъ представленій у родственныхъ народовъ, вовсе не заботясь о происхожденіи и первоначальномъ смыслѣ этихъ представленій; другіе, удовлетворяя послѣднему, мало обращали вниманія на историческую сторону мифовъ, на ихъ соотвѣтствіе съ постепенными видоизмѣненіями быта; къ тому же оставалось еще столько нетронутаго богатаго матеріала, столько открыто было новаго въ послѣднее время, что хотя настоящее сочиненіе г. Аонасьева и обрабатывалось постепенно, по частямъ, въ продолженіе 17 лѣтъ ¹⁾, все же ав-

1) Первое, если не ошибаюсь, изслѣдованіе г. Аонасьева («Дѣдушка домовый») было помѣщено въ 1-мъ томѣ Архива историко-юрид. свѣдѣній, изд. Калачовымъ въ 1850 г.

тору предстояло еще много труда при изслѣдованіи цѣлой области «Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу» — труда не только собирающаго, но и извѣдательнаго: попытки предшественниковъ въ отношеніи славянскаго и русскаго матеріала, при всей значительности своей, могли служить пособіемъ въ исполненіи нѣкоторыхъ частей его задачи, но не *цѣлаго*; онъ давалъ ему многія счастливыя объясненія частныхъ, многія указанія и намеки, осуществленіе которыхъ выпадало на долю его личнаго самостоятельнаго труда; по существу своей задачи, авторъ не могъ пользоваться тѣмъ, что всего болѣе разработано наукой славянской древности, именно: историческими свидѣтельствами о славянскомъ язычествѣ, и всего болѣе, почти исключительно, имѣлъ дѣло съ матеріаломъ, разработка котораго едва начата, съ явленіями протекшей народной жизни, донесенными къ намъ въ языкѣ, повѣрьяхъ, преданіяхъ и обычаяхъ; на этомъ полѣ онъ обязанъ былъ еще столько же черновой работой собирателя, сколько и трудомъ изслѣдователя, онъ долженъ былъ равнымъ образомъ слѣдить и за возможной полнотой фактовъ, критической оцѣнкой ихъ, систематическимъ размѣщеніемъ и за вопросами науки.

Тотъ вѣрнѣе пойметъ трудность задачи автора, кто самъ имѣлъ случай обращаться съ этого рода матеріаломъ и кто испыталъ, сколько тяжелаго, неознаграждающаго труда сопряжено съ собираніемъ свѣдѣній, разбросанныхъ по старымъ забытымъ изданіямъ, журналамъ, повременникамъ; достаточно сказать, что, за отсутствіемъ надежныхъ библиографическихъ пособій, г. Аонасьеву мало облегченъ былъ даже простой трудъ приписыванія матеріаловъ, что и здѣсь, въ большинствѣ случаевъ, онъ предоставленъ былъ личному опыту.

Оцѣнивая трудъ г. Аонасьева со стороны полноты русскаго матеріала, нельзя не признать и не уважить его трудолюбія и совѣтливаго, внимательнаго отношенія къ предмету: авторъ пользовался фактами народной жизни не ради доказательства какой-нибудь своей теоріи или идеи, а ради объясненія ихъ са-

нихъ, потому и не поскупился трудомъ собирателя; онъ заботливо осмотрѣлъ и исчерпалъ не только все важнѣйшее, но не оставилъ безъ вниманія и того, что имѣетъ хотя какое-нибудь отношеніе къ предмету; во многихъ случаяхъ онъ пользовался и матеріаломъ, до сихъ поръ необнародованнымъ, такъ что, независимо отъ другихъ своихъ достоинствъ, его сочиненіе имѣетъ прежде другаго — неоспоримыя достоинства полного *упорядоченнаго* сборника бытовыхъ русскихъ древностей, *упорядоченнаго* потому, что матеріалъ труда не только собранъ, но и, по возможности, приведенъ въ порядокъ, размѣщенъ систематически; позволительно, какъ увидимъ далѣе, не считать этой систематики единственно возможною, а тѣмъ менѣе правильною, но нельзя отрицать, что она стоила автору многихъ успѣй, что и въ такомъ видѣ, какъ есть, она даетъ читателю полную возможность найтись среди хаотическаго разнообразія дробныхъ фактовъ, а это одно — уже не малая заслуга. Что касается матеріала по этнологическимъ древностямъ другихъ родственныхъ народовъ и славянскихъ племенъ въ частности, едва ли справедливо будетъ со стороны критики требовать отъ г. Афанасьева той же полноты, такъ какъ по многимъ причинамъ у русскаго ученаго еще пока нѣтъ средствъ удовлетворить такому требованію; скажемъ, однако, что и въ этомъ отношеніи авторъ остается свободенъ отъ упрека въ важныхъ опущеніяхъ или недосмотрахъ: онъ добросовѣстно воспользовался чѣмъ могъ и чѣмъ долженъ былъ воспользоваться: ему знакомы и главнѣйшіе труды западной науки, и небогатая литература собственно славянской этнологической древности; если же гдѣ и замѣчаются пропуски и неточности — они вызываютъ сѣтованія не столько на личную долю труда автора, сколько на причины, по которымъ русскій изслѣдователь, при всей доброй волѣ, еще не всегда имѣетъ способы ознакомиться съ трудами другихъ, или отнестись къ нимъ съ вопросами критики.

По своимъ основнымъ воззрѣніямъ и по методу изслѣдованія г. Афанасьевъ присоединяется къ числу тѣхъ изслѣдователей эт-

еологической древности, которые вышли изъ школы Я. Гримма и повели далѣе его дѣло — къ числу изслѣдователей сравнительнаго направленія ¹⁾; поэтому мы находимъ умѣстнымъ опредѣлить точнѣе основныя положенія и методъ науки сравнительной мифологіи: это дастъ намъ и общую мѣрку при оцѣнкѣ изслѣдовательской стороны труда г. Афанасьева. Создателемъ науки сравнительной мифологіи совершенно справедливо считаютъ Якова Гримма ²⁾; но между его задачею, воззрѣніями и приемами изслѣдованія и между задачею и методомъ его послѣдователей оказалась уже значительная разница, какъ необходимое слѣдствіе дальнѣйшаго хода науки. Гриммъ былъ патріотъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова: патріотическое чувство воодушевляло всѣ его великіе подвиги въ области науки, потому и задачу своего мифологическаго труда онъ опредѣлялъ патріотической точкой зрѣнія: «въ предыдущихъ моихъ сочиненіяхъ — говоритъ онъ въ предисловіи — я стремился показать, что наши предки (т. е. нѣмцы), даже въ эпоху языческую говорили не дикимъ нестройнымъ языкомъ, но изящною, глибокою и мѣткою рѣчью, что уже въ отдаленнѣйшую эпоху они воздѣлывали поэзію, что они вели жизнь не дикой необузданной орды, но, въ свободномъ союзѣ, управлялись стародавними полными смысла законами, имѣли прочно цвѣтущіе обычаи и нравы. Теперь (т. е. въ мифологіи) я хотѣлъ показать, что сердца ихъ были полны

1) См. его объясненіе въ «Послѣсловіи».

2) Въ послѣднее время одинъ изъ послѣдователей Лихмана, В. Шереръ, въ своей, впрочемъ замѣчательной и остроумной, оцѣнкѣ заслугъ Я. Гримма (J. Grimm. Ber. 1865.), выразилъ совершенно противоположное мнѣніе: «Dass die deutsche Mythologie—говоритъ онъ—auf eine falsche Bahn gerathen sei, darf heute ohne Scheu behauptet werden. Und zu bedauern bleibt nur dass man hinzufügen muss: J. Grimm hat die Bahn geviessen» (p. 150). Чтобы такой приговоръ получить оправданіе, необходимо сначала самымъ дѣломъ доказать, что мифологическая наука на другомъ пути можетъ принести по крайней мѣрѣ такіе удовлетворяющіе и обильные результаты, какіе принесла она въ школѣ Гримма и его преемниковъ. Мы не сочли бы умѣстнымъ указать на слова Шерера, если бы въ русской наукѣ они не находили никакого отголоска.

вѣрою въ божество и боговъ, что ихъ жизнь одушевляли свѣтлыя и величественныя, хотя и несовершенныя, представленія о высшемъ существѣ, о радости побѣды и презрѣніи къ смерти, что ихъ природа и расположеніе были далеки отъ тупаго самоуничиженія фетиша предъ своими грубыми истуканами. Это достойное національное побужденіе отразилось и въ общемъ взглядѣ, и въ самихъ приемахъ изслѣдованія Я. Гримма: не дробныя поэтическія воззрѣнія нѣмецкихъ племенъ на природу и человѣка желать изобразить онъ, а величавые физическіе и нравственные образы германскихъ боговъ и отношенія къ нимъ человѣка; не наивныя мифическія представленія народа, а цѣльный сложившійся образъ нѣмецкаго язычества, какимъ застаетъ его христіанство, — словомъ, не столько мифологію въ собственномъ смыслѣ, сколько систему національной религіи; потому его изложеніе, хотя и основанное на историческихъ началахъ, чуждо историческаго движенія и развитія: образы и понятія взяты въ одинъ остановившійся, спокойный моментъ. Народныя преданія, которыми, какъ мы выше замѣтили, Гриммъ оживилъ мертвенныя дотошныя страницы религіозной лѣтописи нѣмецкихъ племенъ, представлялись ему *ослабѣлымъ*, позднимъ остаткомъ національных вѣрованій, поблекшими эпизодами изъ жизни боговъ германскаго Олимпа (*Mythische Niederschläge*), и потому онъ и сосредоточилъ ихъ около образовъ извѣстныхъ божествъ или извѣстныхъ религіозныхъ вѣрованій. При такомъ взглядѣ, сближенія съ преданіями другихъ родственныхъ племенъ получали лишь случайное значеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становился обходимымъ и вопросъ о происхожденіи и первоначальномъ смыслѣ мифическихъ образовъ и представленій, и хотя Гриммъ пыталъ ясное понятіе объ отношеніяхъ индо-европейскихъ народностей, хотя онъ щедрою рукою предлагаетъ разнообразныя сравненія и сопоставленія преданій, но онъ пыталъ въ виду не объясненіе начала и первобытнаго смысла ихъ, а желаетъ только уяснить ближайшій, такъ сказать *этнологическій* смыслъ образовъ нѣмецкой мифологіи, хочетъ рѣзче отгѣнить ихъ народныя осо-

бенности; оттого онъ болѣе склоненъ видѣть нравственную сторону и значеніе этихъ образовъ, и если кое-гдѣ позволяетъ себѣ заключеніе на счетъ ихъ природнаго смысла, то дѣлаетъ это какъ бы по необходимости, приведенный къ тому своимъ высокоразвитымъ чувствомъ археологической истины. То же позволительно сказать и о лингвистической сторонѣ «нѣмецкой мнѳологіи»: прежде чѣмъ опредѣлить образъ и характеръ какого-нибудь божества или языческаго вѣрованія, Гриммъ обыкновенно подвергаетъ строгому этимологическому анализу термину, сюда относящіеся; но неразрывная, генетическая связь языка съ бытомъ представлялась ему лишь въ предѣлахъ нѣмецкой рѣчи: онъ удовлетворяется объясненіями изъ родного богатого запаса и только случайно, влекомый тѣмъ же чувствомъ истины, переходить за грань нѣмецкой народности и ищетъ, посредствомъ сравнительныхъ сближеній, извлечь общее коренное значеніе слова. Сравнивая общее направленіе и методъ изслѣдованія Я. Гримма съ современными, нельзя, какъ мы сказали, не замѣтить разницы; но это — разница не коренная, а преемственная, разница дальнѣйшаго развитія науки: новая наука не отвергла ничего существеннаго изъ того, что намѣтилъ Гриммъ, но она повела дѣло далѣе. Мы увидимъ это ясно, когда взглянемъ на задачи и методъ изслѣдованія науки сравнительной мнѳологіи: основываясь на убѣжденіи, что начала мнѳическихъ представленій индо-европейскихъ племенъ восходятъ къ отдаленнѣйшей эпохѣ ихъ доисторическаго единства, она стремится прежде всего извлечь эти общія мнѳическія начала изъ позднѣйшаго матеріала, потерпѣвшаго на долгомъ жизненномъ поприщѣ различныя крушенія и измѣненія, и этотъ процессъ реставраціи производитъ посредствомъ сравнительнаго разбора: во 1-хъ, мнѳическихъ наименованій и термिनѳовъ; во 2-хъ, мнѳическихъ образовъ и представленій, дошедшихъ къ намъ какъ въ письменныхъ источникахъ, такъ и въ преданіяхъ индо-европейскихъ племенъ. Такимъ путемъ, изъ-подъ слоевъ, нанесенныхъ исторіею, необходимо-стями и случайностями долгой жизни, постепенно освобождаются

и выходятъ прозрачные первичные образы наивнаго народнаго міровоззрѣнія и вѣрованія; здѣсь, на этой высотѣ, уже нѣтъ нужды прилагать заботы объ отысканіи первоначальнаго знаменованія этихъ образовъ: источникъ и смыслъ ихъ становится понятенъ и осязателенъ самъ собою, потому что онъ простъ и очевиденъ. Овладевъ такимъ образомъ значеніемъ и формою первичныхъ мнѣскпхъ представленій и вѣрованій, наука идетъ потомъ путемъ обратнымъ и слѣдитъ уже историческое и этнологическое измѣненія этихъ простѣйшихъ элементовъ, т. е. ихъ измѣненій соотвѣтственно съ движеніемъ быта, историческими и природными судьбами различныхъ народностей; въ этой области — сравнительная мнѣологія входитъ, какъ часть, въ общую исторію культуры народа.

Итакъ сравнительная мнѣологія преслѣдуетъ двѣ задачи: объясненіе происхожденія и первоначальнаго смысла мнѣскпхъ представленій и историческую жизнь ихъ, и значеніе въ условіяхъ отдѣльныхъ народностей. Средство къ достиженію этого она, какъ мы замѣтили, употребляетъ то же, какое впервые было употреблено и Я. Гриммомъ — сравненіе языка и народныхъ преданій¹⁾; но вѣла рука объ руку съ сравнительнымъ языкознаніемъ, пользуясь его результатами и участвуя въ нихъ, она не видитъ возможности достигнуть своихъ цѣлей, ограничившись предѣлами языка какой-нибудь отдѣльной народности, и распространяетъ кругъ своихъ изслѣдованій на всю вѣтвь родственныхъ языковъ, добываетъ искомое посредствомъ разнообразныхъ, но точныхъ сравненій мнѣскаго лексикона всѣхъ извѣстныхъ индо-европейскихъ языковъ; потому многое, о чемъ Гриммъ могъ лишь догадываться, въ рукахъ его преемниковъ получило значеніе неопровержимаго факта; другое, чтѣ считалъ онъ достовернымъ, подверглось измѣненіямъ, или же было вовсе отвергнуто; но для разбора мнѣскаскихъ терминовъ и выраженій, обра-

1) Говорить о письменныхъ и вещественныхъ источникахъ не предстоитъ надобности: значеніе ихъ не подлежитъ вопросу.

зовавшихся на почвѣ отдѣльныхъ народностей, приемы изслѣдованія Гримма навсегда останутся образцовыми и единственно истинными. Къ немалой также разницѣ съ Гриммомъ пришла наука и относительно взгляда на характеръ народныхъ преданій: въ нихъ она видитъ не позднѣйшіе поблекшіе, раздробившіеся образы боговъ, но древнѣйшія мифическія представленія, изъ которыхъ позднѣе развились эти образы: народная память въ этомъ случаѣ вѣрнѣе сохранила черты древности, чѣмъ письменные источники. Отсюда, сама собою, явилась необходимость дать полную силу сравнительной разработкѣ народныхъ преданій, и результатъ въ этомъ отношеніи совершенно совпалъ съ результатами лингвистики: объяснилось природное происхожденіе мифологій, природный смыслъ ея первичныхъ образовъ. Нынѣ эта сторона мифологическихъ изслѣдованій стоитъ уже на весьма прочныхъ основаніяхъ и имѣетъ значительную литературу; но историческая часть науки, исторія мифическихъ представленій въ соотвѣтствіи съ историческими измѣненіями народной жизни и быта, еще вовсе не разработана; есть, правда, нѣкоторыя попытки, заслуживающія полнаго признанія, но болѣе по своимъ стремленіямъ, чѣмъ по исполненію: въ общемъ — онѣ слабы въ сравненіи съ важностью задачи.

Обратимся теперь къ труду г. Аонасьева. Кто захотѣлъ бы судить о содержаніи его по заглавію, тотъ навѣрное разошелся бы съ авторомъ: онъ даетъ гораздо болѣе, чѣмъ обѣщаетъ: не только поэтическія воззрѣнія славянъ составляютъ предметъ сочиненія, но и религіозныя вѣрованія, по крайней мѣрѣ на столько, на сколько они соприкасаются и вытекаютъ изъ стариннаго воззрѣнія на явленія и существа природы; короче — авторъ предпринялъ объяснить всю массу мифовъ, преданій, повѣрій и обычаевъ славянскаго племени, въ основаніи которыхъ лежитъ языческое народное міросозерцаніе и которые могутъ быть возведены къ своему природному источнику. Открыть затерявшійся смыслъ ихъ, показать, какъ произошли они, что обозначали или къ чему относились, какъ росли и измѣня-

лись, — онъ могъ только путемъ генетическаго сравненія ихъ съ мѣстными сказаніями другихъ родственныхъ племенъ, потому что только посредствомъ сравненія становится доступенъ источникъ ихъ и можетъ опредѣлиться ихъ народный славянскій характеръ. Г. Аонасьевъ, дѣйствительно, избралъ этотъ вѣрный путь и прошелъ его — скажемъ напередъ — для главнѣйшей части своей задачи съ полнымъ успѣхомъ: въ его книгѣ мы получаемъ не только богатый сборникъ матеріаловъ, но и серьезный трудъ мысли, пслѣдованіе, замѣчательное какъ по обилію остроумныхъ разысканій, сближеній и объясненій, такъ и по твердымъ выводамъ касательно важнаго вопроса о первоначальномъ значеніи народныхъ славянскихъ преданій и вѣрованій. Въ такой ли удовлетворительной мѣрѣ рѣшена и историческая часть задачи, и могъ ли онъ въ такой мѣрѣ рѣшить ее — ясно будетъ изъ дальнѣйшаго; но не могу напередъ не замѣтить, что, если бы г. Аонасьевъ и не представилъ данныхъ для ея рѣшенія и не отважился бы вовсе на такую попытку, то одно обстоятельство громадной трудности предпріятія и отсутствіе удовлетворительныхъ предшествовавшихъ трудовъ даже въ такой богатой наукѣ, какова нѣмецкая — снимаетъ съ русскаго ученаго большую долю отвѣтственности: тамъ, гдѣ трудъ мысли еще не овладѣлъ предметомъ, не благоразумнѣе ли, до поры времени, отказаться вовсе отъ рѣшеній, чѣмъ идти по стропотному пути гаданій?

Переходя къ разбору содержанія сочиненія г. Аонасьева, считаю необходимымъ оговориться, что болѣе намѣренъ отмѣчать свои разногласія съ нимъ, чѣмъ каждый разъ показывать его достоинства и все, что нахожу въ немъ новымъ и вѣрнымъ: труды, подобные сочиненію г. Аонасьева, не нуждаются въ многорѣчивыхъ признанійхъ или голыхъ похвалахъ: ихъ заслуга выше этого, въ критикѣ она вызываетъ серьезное стремленіе приписать свою долю участія въ рѣшеніе вопросовъ, надъ которыми трудился авторъ.

Не забудемъ, что трудъ г. Аонасьева, хотя и имѣетъ зна-

ченіе цѣлаго, но все же составляетъ первую часть его изслѣдованій; это обстоятельство должно воздержатъ насъ отъ преждевременныхъ указаній на опущеніа.

II.

Первая глава сочиненія посвящена изслѣдованію о происхожденіи мѡва, методѣ и средствахъ его изученія; она важна для насъ въ томъ отношеніи, что объясняетъ общую точку зрѣнія автора на предметъ и его взглядъ на источники славянской мѡвѡлогической древности. Касательно происхожденія мѡвчѣскихъ представленій, г. АѦанасьевъ, кажется, сходится съ Максомъ Мюллеромъ, по мысли котораго вса мѡвѡлогія есть только слѣдствіе болѣзни языка. Замѣтимъ, однако, что къ такому убѣжденію г. АѦанасьевъ пришелъ не вслѣдствіе знакомства съ теоріей М. Мюллера, но путемъ совершенно независимымъ и гораздо прежде европейскаго санскриптолога: онъ проводилъ эту мысль лѣтъ еще 15 тому назадъ во многихъ своихъ статьяхъ по мѡвѡлогіи, и теперь, получивъ поддержку со стороны европейскаго ученаго авторитета, авторъ высказывается только съ большею рѣшительностію и опредѣленностію. Не одобряя рѣзкихъ сторонъ Мюллеровой теоріи ¹⁾ и не принимая странной мысли о болѣзни языка, г. АѦанасьевъ тѣмъ не менѣе совершенно подѡпняетъ всѣ мѡвчѣскія представленія историческому движенію языка: «зерно, изъ котораго вырастаетъ мѡвчѣское сказаніе, говоритъ онъ, кроется въ первоизданномъ словѣ (стр. 15). Слово человѣческое было, по его мнѣнію, не только богатымъ, но и единственнымъ источникомъ мѡвчѣскихъ представленій: пока оно сохраняло еще свое живое коренное значеніе, т. е. пока это значеніе было присуще народному сознанію, мѡвовъ не существовало, а были лишь прозрач-

1) «Mythology, which was the lane of the ancient world, is in truth a disease of language». Lectures, I p. 11! Чѣмъ же будетъ послѣ этого мѡвѡлогія, если не слѣдствіемъ ненормальнаго развитія человѣческаго духа, болѣзнию его!

ныя, понятныя для народнаго ума, поэтическія метафоры. Мноы начинаютъ со времени, когда забывается первоначальное коренное значеніе словъ, и языкъ вступаетъ въ періодъ превращеній и порчи: прежнее метафорическое уподобленіе тогда получаетъ для народа все значеніе дѣйствительнаго факта, служитъ поводомъ къ созданію цѣлаго ряда баснословныхъ сказаній: свѣтла небесныя уже не только въ переносномъ, поэтическомъ смыслѣ именуются очамъ неба, но и въ самомъ дѣлѣ представляются народному уму подъ этимъ живымъ образомъ; извивистая молнія является огненнымъ змѣемъ, быстролетные вѣтры надѣляются крыльями, владыка лѣтнихъ грозъ — огненными стрѣлами.... (стр. 9 — 10). Такова общая мысль г. Аонасьева на счетъ происхожденія мифическихъ представленій. Не скроемъ, что она не представляется намъ ни вѣрною, ни опредѣленною: сходясь въ основаніи съ Максомъ Мюллеромъ, авторъ такъ расходится съ нимъ во взглядѣ на характеръ древней метафоры, что его воззрѣніе терлетъ все логическое достоинство Мюллеровой теоріи, и онъ какъ бы становится въ видное несогласіе съ своимъ собственнымъ основнымъ воззрѣніемъ. По М. Мюллеру, поэтическая метафора явилась вслѣдствіе лексической бѣдности древняго языка: не пользуясь достаточнымъ запасомъ словъ, языкъ вынужденъ былъ употреблять одинакіе термны и слова для обозначенія различныхъ предметовъ и впечатлѣній; по мнѣнію же г. Аонасьева, которое нельзя не раздѣлить, метафора произошла вслѣдствіе сближенія между предметами, сходными по производимому впечатлѣнію; она создавалась совершенно свободно, черпая изъ богатаго источника, а не по нуждѣ, не ради бѣдности языка. Отсюда, на нашъ взглядъ, одно прямое слѣдствіе — что первоначальный источникъ мифическихъ представленій лежитъ не въ исторической порчѣ языка, не въ забвеніи первоначальнаго значенія словъ, а въ самомъ способѣ воззрѣнія народа на природу и ея феномены. При богатствѣ древняго языка, какая была необходимость употреблять поэтическую метафору? Если народъ могъ полагать строгое сознательное различіе между предметами

извѣстной ему дѣйствительности и загадочными явленіями природы, то одно неполное сходство впечатлѣній, производимыхъ на чувства тѣми и другими, еще не столь важно, чтобы породить поэтическую метафору, такъ какъ народъ легко могъ обозначить сознанное различіе въ предметахъ, прибѣгнувъ къ богатому запасу языка и обрисовавъ ихъ различными словами; но когда мысль и опытъ были еще недостаточно сплывы для того, чтобы различить предметы, производившіе одинаковое впечатлѣніе, то метафора, и при богатствѣ языка, является необходимою; только тогда она есть не только *поэтическая*, но и *реальная* форма мысли древнѣйшаго человѣчества, его способъ видѣть и понимать предметы, короче — его вѣрованіе. Народъ оказывалъ предпочтеніе къ метафорѣ именно потому, что живую природу и ея явленія онъ не могъ понять и представить иначе, какъ въ формахъ извѣстной ему жизни, какъ совокупность живыхъ дѣйствующихъ существъ. Когда человѣкъ говорилъ: «солнце садится», онъ видѣлъ въ немъ живое существо, подобное другимъ живымъ, ему знакомымъ, существамъ, имѣющее нужду въ отдыхѣ и покоѣ; когда свѣтила небесныя онъ называлъ очами неба, молнію — огненнымъ змѣемъ и т. д., онъ не только *называлъ*, но и *сознавалъ* ихъ таковыми; онъ искони употреблялъ эти имена не въ переносномъ, поэтическомъ смыслѣ, но и въ смыслѣ реальной дѣйствительности; въ противномъ случаѣ пришлось бы допустить невозможное, что *мысль явилась послѣдствіемъ движенія языка!*

По всему этому намъ кажется, что г. Аонасьевъ противорѣчитъ самъ себѣ, или по крайней мѣрѣ объясняется не довольно ясно, когда, допуская жизненность древней метафоры, въ то же время единственнымъ источникомъ мнѣческихъ представлений признаетъ превращенія языка ¹⁾. Теорія болѣзни языка,

1) Такъ и въ 11 главѣ сочиненія, говоря объ отношеніи древняго человека къ природѣ, онъ видитъ источникъ мнѣческихъ представлений уже не столько въ движеніи языка, сколько въ самихъ воззрѣніяхъ человѣка на природу, какъ на существо живое. Вотъ его слова: на раннемъ утрѣ своего доисторическаго существованія, человѣкъ «любилъ природу и боялся ея съ дѣт-

какъ источника мнѣческихъ представленій, нашла уже даровитыхъ послѣдователей; потому мы считаемъ умѣстнымъ продолжать наши замѣчанія: это дастъ намъ поводъ коснуться и историческаго движенія мѣа. Допустимъ на минуту, что единственнымъ источникомъ мнѣческихъ представленій были превращенія и порча языка, забвеніе первоначальнаго кореннаго значенія словъ; мѣа въ такомъ случаѣ будутъ явленіемъ относительно позднѣйшимъ, и спрашивается: откуда и вслѣдствіе какихъ жизненныхъ причинъ въ человѣчествѣ явилось стремленіе придавать реальное бытіе прежнимъ поэтическимъ метафорамъ? откуда эта, прежде небывавшая, расположенность ума къ созданію мѣоовъ? Или человѣкъ, по мѣрѣ успѣховъ и опыта жизни (такъ какъ періодъ превращеній въ языкѣ необходимо предполагаетъ, если не успѣхи, то значительную степень историческаго опыта и превращеній самой жизни), утрачивалъ прежній разумный взглядъ на природу и отдавался навнымъ воззрѣніямъ простоудшно вѣрующаго ребенка, т. е. отъ первоначальнаго свѣта все далѣе уходилъ во мракъ умственныхъ блужданій, все болѣе и болѣе становился ребенкомъ? Хотя въ исторіи науки и можно указать многихъ защитниковъ этой мысли, но тѣмъ не менѣе она не принадлежитъ наукѣ и не можетъ вызывать серьезнаго опроверженія — въ такомъ рѣзкомъ противорѣчій стоитъ она со всѣмъ ходомъ исторіи и движеніемъ разумной органической жизни! Потому иначе и нельзя объяснить мѣмо-позднѣйшей расположенности къ созданію мѣоовъ, какъ допустивъ, что она искони была присуща нравственной природѣ младенцествующаго человѣчества; только имѣлъ такой антецедентъ, только на его основаніяхъ, мѣоо могъ возникнуть и пустить свои побѣги; люди, которые познавала не были расположены видѣть чудеса въ явленіяхъ природы, не могли бы превратить облака въ дѣйствительныхъ

скимъ простоудшествомъ, и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за ея знаменіями, отъ которыхъ зависѣли и которыми опредѣлялись его житейскія нужды. Въ ней находилъ онъ живое существо, всегда готовое отозваться и на скорбь и на веселье» (стр. 57).

коротъ, звезды — въ дѣйствительныя *очи, молнію* — въ дѣйствительнаго *огненнаго змія*, только по причинѣ тождества въ наименованіяхъ тѣхъ и другихъ. Сдѣлаемъ еще шагъ далѣе: религія юныхъ народовъ предполагаетъ твердое вѣрованіе, въ нее переходитъ масса разнообразныхъ мнѣческихъ представленій и получаетъ свое освященіе, становится догмою; спрашивается: возможенъ ли былъ бы такой переходъ, если бы мнѣческія представленія были лишь поэтическими метафорами, а не наивными вѣрованіями; возможно ли поклоненіе природѣ, когда ея явленія не представляютъ для человѣка ничего загадочнаго и таинственнаго, ничего, внушающаго чувство страха или радости, когда онъ можетъ относиться къ нимъ вполне свободно и независимо, глядѣть на нихъ лишь поэтическимъ взглядомъ, рисовать ихъ лишь поэтическими метафорами? Съ точки зрѣнія М. Мюллера, преемственная связь мнѣческихъ представленій съ религіей необъяснима, а потому онъ совершенно отдѣляетъ религію отъ мифологіи и сводитъ первую на степень чистаго религіознаго чувства (см. 10 главу II кн. его «Lectures», стр. 416 и сл.), отъ котораго древній человѣкъ былъ, конечно, столько же далекъ, какъ и отъ того, чтобы въ явленіи тучи или облака видѣть только *дѣйствительное физическое* явленіе тучи или облака, въ *грозы* *дѣйствительную* грозу, въ *молніи* *дѣйствительную* молнію и т. д., а не что-нибудь болѣе, не живыя существа въ ихъ отношеніяхъ или предметы, служившіе ихъ орудіями. Сверхъ этого сколько существуетъ въ языкѣ метафоръ и синонимовъ, которые не вызываютъ смѣшенія и не даютъ повода къ созданію мифовъ! Почему напр., называя словомъ *divig'a* дважды рожденное, и лйцо и брахмана, болѣзнь языка не произвела мифа о рожденіи брахмана изъ лйца? Почему метафорическія выраженія: *сильной орѣхъ, живой или мертвый лѣсъ* — не вырождались и не разрослись въ мифы? Потому, конечно, что такія метафоры (ихъ можно указать множество) дѣйствительно основываются на поэтическомъ, а не на мнѣческомъ мировоззрѣніи. Вотъ почему нельзя, кажется, объяснять происхожденіе первоначальныхъ мифовъ.

опическихъ представленій такой слабой причиною, какъ порча и превращеніе языка: языкъ, какъ сила дѣйствующая, оставался совершенно чуждъ первоначальнаго происхожденія мнѣческихъ представленій; онъ оказалъ сильное вліяніе на мнѣы, такъ сказать, вторичнаго образованія, когда худое толкованіе древнихъ выраженій и словъ, происходившее отъ забвенія первоначальнаго значенія ихъ, произвело цѣлую массу сложныхъ баснословныхъ повѣствованій; и какъ возможно объяснить этотъ второй періодъ въ исторіи мнѣологии, не допустивъ перваго, ему предшествовавшаго, періода первичныхъ мнѣческихъ воззрѣній, возникавшихъ изъ наивнаго дѣтскаго-взгляда на явленія природы!

Поставленная въ свои законныя границы, мысль Макса Мюллера является совершенно вѣрною и плодотворною: ею снимается множество трудностей въ объясненіи происхожденія нѣкоторыхъ мнѣовъ, она счастливо разрѣшаетъ нѣкоторые гордіевы узлы мнѣологии, неподдававшіеся доселѣ никакому прочному толкованію; но распространенная на всю область мнѣологии, какъ единственный пріемъ для изъясненія происхожденія мнѣческихъ представленій, она остается невѣрною, или, по крайней мѣрѣ, недоказанною и неоправданною. Еще менѣе она можетъ быть названа оправданою въ отношеніи къ труду г. Афанасьева: изъ всей массы осматрѣнныхъ имъ мнѣческихъ представленій только очень немногія оказываются произведеніемъ порчи языка и двусмыслія, отсюда проптекающаго; всѣ же прочія объясняются изъ первобытныхъ воззрѣній человека на природу и ея явленія. Никто не станетъ сѣтовать въ этомъ случаѣ на непоследовательность автора его основному воззрѣнію, такъ какъ она остерегла его отъ односторонняго направленія и вообще условія истиннаго достоинства его труда. Вотъ все, что мы имѣемъ сказать о происхожденіи мнѣческихъ представленій; но это еще не мнѣы въ собственномъ смыслѣ: онъ является позднѣе и складается изъ разнообразныхъ элементовъ; въ историческомъ развитіи мнѣы г. Афанасьевъ, слѣдуя Маннгардту, ставитъ на первый планъ

слѣдующія обстоятельства: а) раздробленіе мифическихъ сказаній, б) низведеніе мифовъ на землю и прикрѣпленіе ихъ къ известной мѣстности и историческимъ событіямъ, наконецъ с) нравственное мотивированіе мифическихъ сказаній. Нѣтъ сомнѣнія, что все это — обстоятельства, дѣйствительно важныя въ историческомъ движеніи мифовъ; но объясняютъ ли они самый способъ формациі собственныхъ мифовъ? Прежде, чѣмъ мифическому сказанію раздробиться, прежде чѣмъ мифу быть низведену на землю и получить историческій и нравственный оттѣнки, ему необходимо образоваться, сложиться изъ предшествующихъ и новыхъ элементовъ. Этотъ-то процессъ образованія мифическихъ сказаній, какъ намъ кажется, не довольно отчетливо изслѣдованъ и представленъ г. Аонасьевымъ. Даже допустивъ отвергнутую нами мысль, что мифическія представленія возникли только вслѣдствіе забвенія кореннаго значенія словъ, какъ результатъ порчи и превращеній языка, все же, въ концѣ концовъ, мы получимъ массу *мифическихъ представленій*, но не *мифовъ* въ собственномъ смыслѣ, не мифическихъ сказаній, и загадка образованія послѣднихъ не разрѣшится. На нашъ взглядъ вопросъ не представляетъ особыхъ трудностей и довольно положительно уже разрѣшенъ современною наукою сравнительной мифологіи. Первый періодъ мифологическаго процесса даетъ въ результатъ обильный запасъ разнообразныхъ мифическихъ представленій. Они существуютъ отдѣльно другъ отъ друга: умъ и фантазія народа-младенца еще безсильны связать ихъ причинными отношеніями и централизовать въ подробные рассказы или сказанія; когда же народъ достигаетъ значительной степени нравственнаго развитія и первоначальный природный смыслъ представленій его, переданныхъ въ языкъ и по преданію — забывается, воображеніе соединяетъ отдѣльныя черты воедино, пополняетъ пропуски, тогда возникаетъ мифъ въ собственномъ смыслѣ, или мифическое сказаніе. Поставивъ своею задачею, какъ мы видѣли, не исторію мифическихъ воззрѣній, а систематическое изложеніе ихъ и объясненіе ихъ первоначальнаго смысла, г. Аонасьевъ, конечно, имѣлъ

нѣкоторое право не входить въ подробный анализъ историческаго движенія мифовъ; но объясненіе по этому поводу все же было необходимо, какъ потому, что этого требовала цѣль «введенія», такъ и въ силу того обстоятельства, что и въ славянской мифологіи мы нерѣдко встрѣчаемся съ сложными мифическими повѣствованіями. Равнымъ образомъ нельзя не пожалѣть, что, при объясненіи нравственнаго мотивированія мифовъ, авторъ вовсе не коснулся вопроса объ отношеніи мифологіи къ религіи, а вопросъ этотъ такъ важенъ и въ строго ученое и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Въ древнѣйшую эпоху человѣкъ далеко былъ отъ мысли видѣть въ мифологическихъ существахъ существа нравственныя: добрыя и злыя, на первой порѣ они выступаютъ, какъ существа природы, безъ всякаго отношенія къ нравственному началу, и только съ постепеннымъ развитіемъ жизни, по мѣрѣ сознанія порядка въ явленіяхъ природы и зависимости отъ нихъ людскаго благосостоянія, божества получаютъ нравственный характеръ и изъ небесныхъ существъ становятся небесными силами, требующими молитвы, просьбы, жертвъ и благодарности. Вообще, по своему происхожденію, мифологія чужда религіознаго начала, и только впоследствии, хотя также довольно рано, сливается съ религіей. Во всей массѣ первоначальныхъ мифическихъ представленій нельзя отыскать никакихъ слѣдовъ опредѣленнаго религіознаго чествованія, ничего нравственно идеальнаго. Приведя къ яснѣйшему сознанію отношенія мифологіи къ религіи, г. Афанасьевъ, можетъ-быть, поступилъ бы и своею мыслью о лингвистическомъ источникѣ мифическихъ представленій. Нравственное мотивированіе мифическихъ сказаній г. Афанасьевъ (стр. 14) считаетъ дѣломъ не массы народа, а небольшого количества людей, способныхъ критически относиться къ предметамъ вѣрованія, — ученыхъ (?), поэтовъ и жрецовъ. Положеніе это будетъ вполне справедливо, если подъ нравственнымъ мотивированіемъ мифовъ разумѣть появленіе религіозной системы или догмы. Это, кажется, и разумѣетъ авторъ; но нравственное начало въ области мифовъ явилось гораздо

прежде, задолго до систематическихъ попытокъ установить религіозную догму; оно было необходимымъ слѣдствіемъ и стремленія челоука уяснить невѣдомыя причины вліянія природы на его жизнь и самого опыта жизни, вызвавшего этотъ вопросъ самосознанія: дикій охотникъ, звѣроловъ на первыхъ ступеняхъ своей жизни не имѣетъ еще нужды въ божествѣ и небесныхъ силахъ: его чувство зависимости отъ явленій природы не переходитъ въ сознаніе и разрѣшается лишь смутнымъ, неопредѣленнымъ страхомъ или наслажденіемъ; гораздо болѣе потребности въ религіи чувствуетъ кочевникъ-пастухъ; по ему, по выраженію гомерической эпохи, еще не вполне невѣдома правда и онъ не всегда чтитъ боговъ и приноситъ имъ жертвы (Odys. c. IX). Полную необходимость и силу нравственное религіозное начало получаетъ лишь въ эпоху земледѣльческую, осѣдную, потому что земледѣлецъ связанъ съ природою гораздо тѣснѣе и ближе, чѣмъ его предки, охотники и пастухи, да къ тому же и самая мысль его уже успѣла на столько вырасти и окрѣпнуть, чтобы не только остановиться, но и рѣшить вопросъ о верховныхъ силахъ и людскихъ отношеніяхъ къ нимъ. Итакъ, не должно ли признать, что нравственное начало проникаетъ въ мифологию гораздо прежде установленія религіозной системы чрезъ поэтовъ и жрецовъ? Система въ мифологіи всегда остается чужда массѣ народа, и когда г. АѦанасьевъ справедливо замѣчаетъ, что на нравственное мотивированіе мифическихъ сказаній «оказываетъ несомнѣнное вліяніе народная культура», то должно думать, что оно было не столько произведеніемъ жрецовъ и поэтовъ, сколько всего народа. Появленію нравственного начала въ мифологию должно приписать и ту перемѣну, которая происходила въ самыхъ образахъ боговъ: изъ звѣрей (зооморфизмъ) они постепенно вышшаются до людского образа и вполне людскихъ отношеній. Къ сожалѣнію, и этотъ важный пунктъ въ движеніи мифа оставленъ въ тѣни г. АѦанасьевымъ: онъ, кажется, предполагалъ его слишкомъ общезвѣстнымъ; но едва ли можно вообще признать его таковымъ, потому что отъ правильного освѣщенія его зави-

сигъ объясненіе того, почти на каждой страницѣ книги повторяющагося, обстоятельства, что вполне антропоморфическіе образы божествъ являются съ различными зооморфическими атрибутами. Г. Афанасьевъ ставитъ насъ на вѣрную точку зрѣнія касательно первоначальнаго природнаго смысла этихъ атрибутовъ, но историческая причина ихъ остается необъяснена; конечно, каждому не трудно прійти къ мысли, что это — остатокъ первоначально установившихся звѣринныхъ образовъ божествъ, и не предстояло особой нужды въ такомъ объясненіи, если бы эта палеонтологическая черта мифовъ не являлась въ свой чередъ дѣйствующимъ началомъ въ образованіи многихъ позднѣйшихъ мифическихъ сказаній, когда мысль остановилась и захотѣла объяснить загадочныя звѣринныя атрибуты антропоморфическихъ существъ. Была и важна важная необходимость въ объясненіи перехода изъ зооморфизма въ антропоморфизмъ: кажется, должно допустить, что такой переходъ совершался въ исторической преемственности, что антропоморфизмъ появился позднѣе зооморфизма; тогда какъ послѣдній совпадаетъ съ древнѣйшими мифическими представленіями, первый предполагаетъ уже дѣйствіе собственнаго мифа и религіознаго чувства, которое стремится облагородить первобытные грубые образы. Такимъ образомъ это обстоятельство не осталось бы безплоднымъ и при объясненіи исторической стороны древнихъ воззрѣній на природу. Вторженіе историческаго начала въ область мифовъ и локалізація ихъ объяснены г. Афанасьевымъ хотя кратко, но довольно обстоятельно; нельзя только согласиться съ авторомъ въ томъ, что, заимствуя для описки явленій природы формы изъ земной житейской обстановки, заставляя небесныя существа творить на небѣ то же, что дѣлалъ человекъ на землѣ, фантазія руководилась первоначально поэтической метафорой, а не дѣйствительнымъ вѣрованіемъ; иначе — какъ будетъ возможно объяснить возникновеніе грубыхъ природо-подражательныхъ обычаевъ: если нѣтъ вѣры въ реальное бытіе и дѣйствія божествъ, если они понимаются только въ поэтическомъ смыслѣ, то что могло заставить человека под-

ражать этому бытію и дѣйствіямъ? А такое подражаніе встрѣчается уже на самой ранней ступени народнаго развитія.

Обозрѣвъ историческое движеніе мѣровъ, г. Афанасьевъ переходитъ къ разсмотрѣнію источниковъ предмета и предпосылаетъ вначалѣ сжатый очеркъ результатовъ сравнительнаго языкознанія относительно древнѣйшаго періода индо-европейской жизни. Главными руководителями автора служили здѣсь Пикте и М. Мюллеръ, а потому къ ихъ достоинствамъ и недостаткамъ должно отнести достоинства и недостатки очерка г. Афанасьева; замѣтимъ только, что эти страницы, по своей общности, мало объясняютъ дальнѣйшее содержаніе труда и блѣдны, чтобы имѣть значеніе положительнаго свѣдѣнія о предметѣ; онѣ могли быть гораздо полнѣе и обстоятельнѣе, конечно, не въ ущербъ цѣлому. Вообще позволительно заключить, что «Введеніе» г. Афанасьева гораздо слабѣе послѣдующаго: авторъ самъ, какъ видно, не придавалъ ему особой цѣны и уменьшилъ его объемъ до крайне малыхъ размѣровъ (всего 22 стр.); онъ видимо торопился перейти къ самымъ фактамъ, гдѣ онъ является такимъ полновластнымъ хозяиномъ. Въ общемъ нельзя не признать и не оцѣнить достоинства относящихся сюда, хотя краткихъ и отрывочныхъ, замѣтокъ: онѣ обнаруживаютъ не только вѣрное пониманіе предмета и близкое знакомство автора съ основными началами современной науки о народности, но и его талантъ изложенія, отличающагося замѣчательною, убѣждающею ясностью: касаясь иногда самыхъ трудныхъ, неизслѣдованныхъ вопросовъ, авторъ умѣетъ, если не всегда, счастливо разрѣшать ихъ, то по крайней мѣрѣ отыскать въ нихъ такія черты, которыя до него были мало замѣчены и объяснены; въ особенности это должно сказать о его оцѣнкѣ народныхъ примѣтъ, нѣкоторыхъ суевѣрныхъ обычаевъ (стр. 27—43) и народныхъ пѣсень (45—50). Менѣе можно быть удовлетворену тѣми страницами, гдѣ говорится о суевѣріяхъ апокрифическихъ, духовныхъ стихахъ и легендахъ; но о воззрѣніи на нихъ автора и его способѣ пользоваться ими, какъ источниками славянской мифологической

древности, рѣчь будетъ впереди. Произведеніями народной словесности: загадками, пословицами, примѣтами, заговорами, поговорками, пѣснями и сказками, авторъ ограничиваетъ свое обозрѣніе источниковъ. Спору нѣтъ, что эти памятники, въ виду нерѣдкихъ произвольныхъ толкованій ихъ многими изслѣдователями, нуждаются въ критической оцѣнкѣ и ученой постановкѣ; но развѣ не нуждаются въ этомъ и иные источники славянской этнологической древности, и на общую критику ихъ не обращено надлежащаго вниманія? Согласимся въ извѣстной долѣ справедливости того, что «Лѣтописныя свидѣтельства о дохристіанскомъ бытѣ славянъ слишкомъ незначительны и, ограничиваясь ими, мы никогда не узнали бы родной старины» (стр. 22); но устраняетъ ли такое обстоятельство необходимость критической оцѣнки какъ письменныхъ, такъ и вещественныхъ свидѣтельствъ: лѣтописей, историческихъ и юридическихъ актовъ, поучительныхъ словъ, археологическихъ памятниковъ и т. д.? Г. Аонасьевъ довольно широко пользуется всѣми подобными источниками; онъ, можно сказать, псчерпываетъ ихъ для своей цѣли, и потому умѣстно и даже необходимо было съ его стороны поставить читателя на общую критическую точку зрѣнія касательно самихъ памятниковъ: почему и въ какомъ объемѣ принимаетъ онъ ихъ показанія. Объяснимся частными примѣрами. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ книги Аонасьевъ приводитъ свидѣтельства чешскихъ глоссъ Вацерада къ С.-Галленскому словарю, извѣстному подъ именемъ «*Mater verborum*»; онъ заставляетъ читателя принимать на добрую вѣру ихъ показанія, а между тѣмъ самый источникъ вовсе не такого свойства, чтобы можно было къ нему относиться довѣрчиво или безъ критики: Вацерадъ несомнѣнно составлялъ, придумывалъ, иногда переводилъ славянскіе термины къ готовому латинскому индексу словъ; можно защищать отъ обвиненія въ «*fraus rīa*» такія глоссы, какъ Пріл, Сива, Сытпвратъ, но нельзя оставить безъ объясненія причины, почему онѣ употреблены въ дѣло, нельзя требовать лишь одного довѣрія къ нимъ со стороны чи-

тателей; то же самое можно сказать и относительно нѣкоторыхъ намековъ на язычество, встрѣчающихся въ позднѣйшихъ лѣтописяхъ, духовныхъ поученіяхъ: въ какой мѣрѣ должно пользоваться ими — будетъ объяснено далѣе, но во всякомъ случаѣ, пользуясь ими, едва ли должно пренебрегать предварительной критической оцѣнкой источника; на стр. 93 читаемъ: «въ Бамбергѣ былъ найденъ идолъ Чернобога, изображеннаго въ видѣ звѣря съ рунической надписью, начертанной такъ, какъ произносятъ славяне поморскіе: Царни бу..... Шафарикъ принимаетъ это изображеніе за льва; но справедливѣе полагать, что это волкъ, мифическій представитель ночи, темныхъ тучъ и зимы...» Допустимъ, что авторъ, основавшись на авторитетѣ Шафарика, имѣлъ свои основательныя причины признавать достоверность факта, нынѣ положительно отвергнутаго наукою¹⁾; но не слѣдовало ли предварительно объясниться и критически осмотрѣть самый памятникъ, чтобы не подать повода къ недоразумѣніямъ?

Такой недостатокъ предварительной критической оцѣнки нѣкоторыхъ источниковъ славянской мифологіи не совсѣмъ выгодно отозвался на нѣкоторыхъ сторонахъ труда г. Афанасьева; мы почувствуемъ это сильнѣе, когда перейдемъ къ разбору фактовъ.

1) Кто лично имѣлъ случай видѣть и изслѣдовать бамбергскій минный идолъ Чернобога, тотъ не могъ не убѣдиться, что это — простое изображеніе льва, обыкновенно помѣщаемого въ средніе вѣка у церковныхъ дверей. В. Цыбульскій, въ своей статьѣ: «Obecny stan nauki o runach Słowiańskich», (Roczniki towarzystwa przyjaćioł nauk rozpozn. t. 1, 1860, p. 420—30), вѣсто рунъ на изображеніи находилъ какіе-то шрифты, безсвязно и безпорядочно разбросанные по камню то вверху, то внизу, на плечахъ и хвостѣ. Ворсо (Die nationale Alterthumsk. in Deutschland. K. 1846 p. 46 — 53) также не нашелъ на фигурѣ никакихъ знаковъ рунъ и вообще считаетъ извѣстіе о нихъ въ высшей степени подозрительнымъ, наконецъ лишь полагаетъ, что шрифты возникли на камнѣ отъ точенія ножей (Correspondenz-Blatt d. Gesamtvereines der deutschen Gesch. und Alterthumsk. VII, 1859, p. 20). Замѣчательно, что и самъ Я. Колларъ, которому принадлежитъ открытіе, позднѣе, въ своихъ лекціяхъ, читанныхъ въ Вѣнѣ, вѣсто: *carpi bu (g)*, читалъ: *«riap vi pekli nera»*, т. е. «песъ въ пеклѣ веръ» и сравнивалъ послѣднее слово съ санскритскаго, см. Напузъ «Zur Slavischen Runenfrage». W. 1855, p. 21.

III.

При неисчерпаемости богатства мнѣческаго матеріала, при дробности фактовъ, изслѣдованныхъ г. АѦанасьевымъ, мы не видимъ возможности шагъ за шагомъ слѣдовать за авторомъ: это ввело бы насъ въ мелкія дополненія, въ настоящемъ случаѣ едва ли умѣстныя, и потому мы предпочитаемъ, сдѣлавъ общій обзоръ сочиненія г. АѦанасьева и показавъ и оцѣнивъ его направленіе, разобрать подробно, какъ пользовался онъ своими источниками; затѣмъ мы предложимъ нѣкоторые частныя замѣчанія и заключимъ нашу критику общей оцѣнкой труда.

Предварительно позволимъ себѣ изложить общій очеркъ происхожденія и характеръ древнѣйшихъ мнѣческихъ представленій и вѣрованій. Историко-филологическая наука пришла уже въ этомъ отношеніи къ такимъ прочнымъ выводамъ, что, выражая ихъ, мы не во многомъ разойдемся съ г. АѦанасьевымъ и, за устраненіемъ бесплодной мысли объ исключительномъ лингвистическомъ происхожденіи мнѣческихъ представленій, выразимъ столько же наше, сколько и его воззрѣніе.

Мнѣческія представленія возникли вслѣдствіе врожденнаго человѣку стремленія понять и объяснить окружающій его міръ; они были первыми формами мысли младенствующаго народа, первую его попытку уяснить себѣ загадку природы, и потому каждое древнѣйшее мнѣческое представленіе образовалось изъ взаимнаго дѣйствія двухъ началъ: внѣшняго, которымъ были непонятныя для человѣка явленія физической природы, и внутренняго, или начала мысли и чувства человѣка. Смѣна дня и ночи, солнце, небо спящее, темное, усыпанное свѣтилами, или покрытое мрачными тучами, частныя движенія и столкновенія элементовъ воздушной природы, гроза, молніи и дождь, лѣто и зима — вотъ явленія, исконо тревожившія мысль и чувство человѣка. Чувствуя свое безсиліе предъ ними, не постигая умомъ причины ихъ, человѣкъ не могъ поставить себя въ правильныя къ нимъ отношенія: его юношеская, безопытная фантазія, руководясь внѣшнимъ сходствомъ впечатлѣній, произ-

водимыхъ этими явленіями, съ массою впечатлѣній и понятій, почерпнутыхъ изъ дѣйствительной дольней жизни, понимала ихъ въ формѣ отношеній живыхъ существъ, одаренныхъ волею и разумомъ, или же видѣла въ нихъ предметы повседневнаго, дѣйствительнаго быта, только въ увеличенныхъ громадныхъ образахъ. Живая фантазія доканчивала эти образы, сообщая имъ разумный нравственный смыслъ и устанавливая между ними причинныя отношенія, которыя потомъ, при содѣйствіи самаго языка и измѣнявшейся житейской обстановки, выросали въ цѣлыя разнообразныя исторіи и рассказы; потому мнѣны обнимають собою не только идеальную или поэтическую сторону жизни, выражая стремленія фантазіи народа, его взглядъ на міръ и его явленія, но и жизнь дѣйствительную народную житейскую практику, степень культуры и образованности народа. При такомъ взглядѣ на происхожденіе мифическихъ представленій становится понятнымъ, почему въ древнѣйшую эпоху исторіи человѣчества цѣлая небесная сфера явилась населенною толпою существъ, сначала зооморфическихъ, а потомъ и антропоморфическихъ со внѣшними чувственными атрибутами: облако, быстро несомое по небу бурей, представлялось уму и фантазіи челоуѣка, какъ неистовый бѣгъ громаднаго коня или полетъ исполннской птицы; вѣтеръ рисовался его воображенію въ формѣ лающей собаки или воющаго волка (связь вѣтра); громъ понимался имъ, какъ ударъ копыта небеснаго коня, какъ ревъ небеснаго быка (буря); извивающаяся молнія казалась небесною змѣею, золотымъ оружіемъ; небо, отовсюду окружавшее челоуѣка, это громадное дерево міра съ широко - раскинувшимися вѣтвями (тучи) или исполнское жилище; солнце—око неба, свѣтлое колесо, катящееся по небу, золотая или огненная птица; неподвижныя или тихо плывущія облака—небесныя дѣвы, небесныя коровы, проливающія молоко на землю (дождь), или же громадныя горы, огромный потокъ, озеро, корабль, плывущій по водному океану (небу); рога мѣсяца подавали поводъ видѣть въ немъ быка или корову; радуга—лукъ или кольцо и т. д. Всѣ эти образы были для вѣ-

рующаго народнаго ума дѣйствительными реальными существами, а мифы или повѣсти о ихъ дѣлахъ — дѣйствительными, достовѣрными исторіями ихъ приключеній и отношеній: отъ земныхъ существъ и земной жизни они отличались только чудесною загадочностью, размѣрами, силою, могуществомъ, и тѣмъ живѣе они дѣйствовали на юную фантазію, тѣмъ удобнѣе могли впоследствии войти въ религію, стать предметомъ благочестиваго чтенія. Кто знаетъ свойства завыщаннаго стариной мифическаго матеріала, гдѣ разнородные преданія и факты такъ переплетаются и связываются между собою, такъ заходятъ одинъ въ другой, что разрѣшить ихъ и привести въ систематическій порядокъ не представляется никакой возможности, — тотъ признаетъ, что г. Афанасьевъ избралъ удобнѣйшій путь изложенія ихъ: онъ объясняетъ и располагаетъ ихъ по предметамъ, заботясь при этомъ не столько о строгомъ разграниченіи предметовъ, сколько о томъ, чтобы однажды объясненное, по возможности, менѣе повторялось въ слѣдующемъ изложеніи. Такимъ образомъ 2-я глава имѣетъ характеръ общаго обзорѣнія: авторъ съ поэтическимъ воодушевленіемъ говоритъ объ отношеніяхъ древнѣйшаго человѣка къ природѣ, обусловившихъ какъ обоготвореніе ея, такъ и различныя олицетворенія ея явленій и силъ. Справедливо утверждая, «что противоположность свѣта и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимняго омертвѣнія—должна была особенно поразить наблюдающій умъ человѣка, онъ рассматриваетъ сначала вообще народное обожаніе неба, солнца, мѣсяца и звѣздъ, затѣмъ переходитъ къ объясненію образовъ, въ какихъ народная фантазія рисовала явленія и факты природы: небесныя свѣтла, зарю, грозу, день и ночь, лѣто и зиму». Съ 3-й главы авторъ входитъ въ изслѣдованіе частныхъ мифическихъ представленій и образовъ и начинается съ представленій неба и земли, при чемъ, по неразрывной связи ихъ съ религіознымъ поклоненіемъ, опредѣляется значеніе славянскихъ божествъ Дяво (?), Сварога и Святовита. 4-я глава рассматриваетъ поэтическія представленія стихій свѣта: связь

свѣта съ зрѣніемъ, метафоры солнца, облаковъ, дождя, молніи, сближенія небснаго свѣта съ земнымъ огнемъ, мѣны о солнцѣ, мѣсяцѣ, огнѣ, зарѣ, народный взглядъ на воспалительныя болѣзни; 5-я глава имѣетъ своимъ предметомъ неосмотрѣнныя до той поры мѣстныя представленія солнца и богини весеннихъ грозъ, которую авторъ видитъ въ образѣ славянской Лады, Сивы, Пятницы и св. Недѣлки; 6-я—мѣстныя представленія грозы, вѣтровъ и радуги — особенно богата разнообразіемъ содержанія; въ 7-й — изслѣдованъ природный смыслъ мѣстныя и понятій о живой водѣ и вѣщемъ словѣ; въ 8-й и 9-й главахъ рассмотрѣны мѣны о Перунѣ, за особую фразу котораго авторъ принимаетъ Ярилу, объ Ильѣ-громовникѣ или Перунѣ въ христіанской одеждѣ и объ огненной Маріи, замѣнившей языческую богиню весеннихъ грозъ; въ 10-й главѣ — баснословныя сказанія о птицахъ въ связъ съ другими ближайшими мѣстами, каковы о яйцѣ, о лебединыхъ сорочкахъ, коврѣ-самолетѣ, шапкѣ-невидимкѣ и т. д. Глава 11-я содержитъ въ себѣ рассмотрѣніе мѣстныхъ представлений облака; 12-я — баснословныя сказанія о звѣряхъ; 13-я — представленія о небесныхъ стадахъ, при чемъ авторъ изслѣдуетъ и значеніе божествъ пастушескаго характера: Волоса, Егорія Храбраго и Полусуна; 14-ю главою, заключающею въ себѣ продолженіе изслѣдованія баснословныхъ сказаній о звѣряхъ, оканчивается 1-я часть «Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу»; 2-я, которая, какъ намъ извѣстно, уже находится въ печати, будетъ содержать въ себѣ не менѣе разнообразія и интереса. Мы представили лишь сухой скелетъ содержанія книги, указывая только главнѣйшіе факты. Бросивъ взглядъ на находящееся въ концѣ книги оглавленіе, которое, замѣтимъ, никакъ не можетъ назваться полнымъ «Указателемъ», нельзя не видѣть, что г. Афанасьевъ изслѣдовалъ обширную и разнообразную область представленій, вѣрованій и обычаевъ славянскихъ племенъ. Если, при всѣхъ усиліяхъ, онъ не вездѣ могъ избѣжать повтореній и соблюсти строгую послѣдовательность, это не его вина, а самого предмета, сливающегося

воедино то, что наше время привыкло раздѣлять, и олицетворяющаго въ отдѣльныхъ различныхъ представленіяхъ одинъ и тотъ же предметъ. Можно, конечно, было принять словарный порядокъ изложенія, какъ это сдѣлали Швенкъ и Фридрихъ (Die Sinnbilder der alten Völker. F. am M. 1851; «Die Symbolik und Mythologie der Natur» W. 1859.; «Die Weltkörper in ihren myth. Symbolisch. Bedeutung. W. 1864.); чрезъ него облегчилось бы механическое пользованіе книгой, но за то увеличались бы повторенія, и сверхъ того сколько она потеряла бы въ интересѣ чтенія, интересѣ, который такъ живо и неослабно поддерживается г. Афанасьевымъ, не смотря на мелкія, кропотливыя разысканія и подавляющую массу фактовъ. Кромѣ того, принявъ словарную систему, г. Афанасьевъ едва ли удовлетворилъ бы своей главной цѣли, едва ли съ такою убѣдительною ясностью онъ могъ бы показать происхождение и природный смыслъ каждаго мппоческаго представленія и вѣрованія, каждаго суевѣрнаго обыкновенія, какъ исполнено имъ въ настоящемъ случаѣ. Мы назвали эту цѣль главною; но едва ли не слѣдуетъ сказать *единственною*, потому что авторъ, какъ увидимъ, вовсе оставилъ въ сторонѣ историческую сторону предмета: характеръ его труда — объяснительный, онъ раскрываетъ только природный смыслъ мппоческихъ представленій, сказаній и вѣрованій. Основываясь на началѣ народной психологіи¹⁾, г. Афанасьевъ обыкновенно напередъ даетъ готовое, опирающееся или на общихъ выводахъ современной науки сравнительной мифологіи, или на своихъ собственныхъ предыдущихъ изслѣдованіяхъ, объясненіе явленія; иначе, онъ указываетъ, какіе поэтическіе образы создавались умомъ и фантазіей древняго человѣка подъ вліяніемъ извѣстныхъ явленій природы. Затѣмъ онъ разбираетъ термины языка и выраженія народной рѣчи, сюда относящіеся, группи-

1) Употребляемъ это названіе только потому, что не знаемъ лучшаго для обозначенія тѣхъ общихъ нравственныхъ явленій, которыя отличаютъ *народное развитіе* отъ *сословнаго* и *индивидуальнаго*.

руеть и передаетъ родственныхъ представленіи и мифологическіи сказанія разныхъ народовъ, и такимъ путемъ, перелагая на языкъ науки павныя метафоры мифическаго міросозерцанія, вѣрованій и суевѣрныхъ обычаевъ, удачно приводитъ въ ясность причины ихъ существованія, источникъ и коренное значеніе ихъ. Объяснительныя приемы г. Афанасьева вообще должны быть признаны основательными: они вытекаютъ не изъ личной прихотливой мысли, но изъ самыхъ явленій; авторъ собираетъ факты не для подтвержденія какой-нибудь предвзятой теоріи, но ради объясненія ихъ, и потому онъ заботится о возможной полнотѣ и совершенно свободенъ отъ недостатковъ теоретика, выбирающаго только то, что ему пригодно, и уклоняющагося отъ противорѣчій. Мы не хотимъ сказать, чтобы объясненія г. Афанасьева не вызывали возраженій; но такія возраженія могутъ быть не противъ основнаго воззрѣнія, но противъ примѣненія его къ частнымъ явленіямъ; приведемъ примѣръ: на стр. 134 авторъ говоритъ о Святovitѣ, изображеніе котораго онъ объясняетъ слѣдующимъ образомъ: «четыре головы Святовита, вѣроятно, обозначали четыре стороны свѣта и поставленныя съ ними въ связи четыре времени года (востокъ и югъ — царство дня, весны и лѣта; западъ и сѣверъ — царство ночи и зимы); *борода*—эмблема *облаковъ*, застилающихъ небо, *мечъ*—молнія, *поѣзды на конѣ и битвы* съ вражьими силами — поэтическая картина бурнонесущейся грозы; какъ владыка небесныхъ громовъ, онъ выѣзжаетъ по почамъ, т. е. во мракѣ ночеподобныхъ тучъ, сражаться съ демонами тьмы, разить ихъ молніями и проливаетъ на землю дождь....» Что *облако* представлялось *волосами*, *шкурой*; *молнія* — мечемъ, *гроза* — поѣздами на конѣ и битвою съ вражьими силами, это убѣдительно доказано авторомъ на стр. 680 и слѣд. 260 и слѣд. 724 и сл. 261 и сл.; въ общемъ, стало быть, объясненія автора совершенно основательны; но спрашивается, насколько они примѣнимы къ Святovitу, божеству эпохи исторической, позднѣйшей, божеству не первоначальныхъ павныхъ мифическихъ представленій, а религіознаго канона, установленнаго и поддерживаемаго жрецами,

и не вѣрнѣе ли будетъ допустить здѣсь объясненіе историческое, по которому Святovitъ, богъ-воитель, вполне соответствовалъ бы и воинскому характеру и быту балтійскихъ славянъ: борода явится тогда обыкновеннымъ атрибутомъ антропоморфическаго божества¹⁾, вооруженіе и битвы съ врагами — выраженіемъ народныхъ склонностей и быта, ночь — простою ночью, такъ какъ днемъ, для всѣхъ видный истуканъ не могъ выѣзжать на битвы. Богъ же чѣмъ вѣроятнѣе, что образъ Святovitа и основался на древнѣйшихъ природныхъ мифическихъ представленіяхъ, но тогда это божество было иное, чѣмъ историческій Арконскій Святovitъ и образъ его не могъ быть тотъ, какимъ описываетъ его Саксонъ грамматикъ, въ эпоху изваянія идола (положимъ, эту неизвѣстную, но во всякомъ случаѣ позднѣйшую эпоху язычества, даже нѣсколькими столѣтіями ранѣе Саксона грамматика и Гельмольда). Конечно, придавая такое украшеніе, какъ борода, и такой атрибутъ, какъ мечъ, никто и не помышлялъ объ эмблематическомъ выраженіи облака и молніи. Такихъ, по нашему мнѣнію, невѣрныхъ примѣненій общаго воззрѣнія къ объясненію частныхъ явленій, въ книгѣ г. Аонасьева не мало: они произошли изъ естественнаго увлеченія спеціалиста отыскать природный источникъ и знаменованіе всѣхъ явленій и фактовъ мифологической древности; съ нѣкоторыми примѣрами такого увлеченія мы встрѣтимся далѣе, но во всякомъ случаѣ они не болѣе, какъ частные случаи и нѣсколько не бросаютъ тѣни на правильность основнаго воззрѣнія и объяснительныхъ примѣровъ автора.

Перейдемъ къ тому, какъ г. Аонасьевъ воспользовался источниками славянской мифологической древности, ибо специальная задача его труда заключается въ изслѣдованіи славянскихъ поэтическихъ (мифическихъ) воззрѣній на природу. Послѣдуемъ

1) Саксонъ грамматикъ говоритъ, что волосы и борода Святovitа были подстрижены по обычаю Руля (His. Danica. L. XIV), что уже вовсе не согласуется съ представленіемъ волохистаго облака!

его собственнымъ указаніямъ и сначала рассмотримъ, какъ употребляетъ онъ для своихъ цѣлей языкъ, произведенія народной поэзіи и быта, и наконецъ — письменные источники.

Языкъ. До сихъ поръ славянская мнѳологическая древность гораздо менѳе обрабатывалась съ лингвистической точки зрѣнія, чѣмъ съ бытовой, такъ что не только г. Афанасьевъ не имѣлъ предъ собою никакихъ систематическихъ по этому предмету разысканій, но даже число отрывочныхъ и случайныхъ замѣтокъ, которыми онъ могъ воспользоваться, было довольно ограничено. Оттого лингвистическая сторона труда его представляется бѣдною сравнительно съ другими; самостоятельную часть ея можно назвать подборъ словъ и выраженій, живописующихъ различные предметы и явленія природы и добросовѣстно извлеченныхъ авторомъ какъ изъ двухъ Областныхъ русскихъ словарей и Толковаго словаря г. Даля, такъ и для памятниковъ народной и письменной словесности; лингвистическія же собственно изслѣдованія авторъ оставилъ на долю своихъ пресмниковъ и, въ большинствѣ случаевъ, скромно ограничился лишь передачею уже извѣстнаго. Въ сравнительныхъ сближеніяхъ индо-европейскихъ языковъ ему послужили руководствомъ трудъ Пикте: «*Les Aryas primitifs*» 2 т., «Нѣмецкая мнѳологія» Я. Гримма, «Наука о языкѣ» М. Мюллера; въ славянской области — труды Миклошича (преимущественно «*Radices linguae Slovenicae*»), замѣчанія гг. Булаева, Срезневскаго, Микуцкаго и другихъ. Довѣряя своимъ источникамъ, авторъ, при всей основательности большей части принятыхъ имъ лингвистическихъ сравненій и сближеній, не всегда былъ на столько счастливъ, чтобы избѣжать неточностей; напр. стр. 119 греч. *οὐρανός* сближается съ словомъ *ὄρος* — гора, но сближенію противорѣчатъ разность корней: *ὄρος* — кор. *gir* (древ. *gar*), отсюда санскр. *giris*, зенд. *gairi*, слав. гора; *οὐρανός* — отъ кор. *var* — покрывать, отсюда *Varuna-s*. Такимъ образомъ, хотя понятія и могутъ быть сближены, но термины лингвистически должны быть раздѣлены. На стр. 96 читается: «слова *сѣтъ*, *сѣтитъ*, *сѣятъ*, *сѣяють* филологически тоже-

ственны; но какъ объяснить тогда несогласуемый переходъ звуковъ: доегласнаго $\dot{\text{f}} = \text{a} + \text{i}$ и носового m ? Нѣтъ сомнѣнія, что эти слова различнаго кореннаго образованія, отъ двухъ корней: *срѣи* и *срват* или *сван*; оттого въ ведахъ употребляется *срвнта*, въ санскр. — *срвeta*, зендъ имѣетъ *срента* и *срвeta*, литва *szwentas* и *svetlas*, славяне — *свѣтъ* и *свѣтъ*. Не всегда удачны и нѣкоторые этимологическія сближенія самаго автора; напр. на стр. 353 (сл. 593) онъ сближаетъ чешское *оѣ* — конь съ словами *орелъ*, *arelis* и т. д. отъ корня *r* — *ige*, быстро двигаться; но такому сближенію препятствуетъ составъ звука $\dot{\text{f}}$: въ индо-европейскихъ языкахъ, обозначая птицу орла (гот. *ага*, нѣм. *аго*, литов. *egelis*, въ слав. нар. *орелъ*, кромѣ польск., гдѣ *orzel*), звукъ *г* является чистымъ плавнымъ звукомъ, въ словѣ же *оѣ* это звукъ составной — рж. Если принять, что *г* по свойству языковъ чешскаго и польскаго смягчилось въ $\dot{\text{f}}$, то на какомъ основаніи чешская рѣчь, допуская такое смягченіе въ словѣ *оѣ* — конь, удержала чистый звукъ *г* въ словѣ *орелъ* и производныхъ? Гораздо вѣроятнѣе будетъ думать, что *оѣ* (*о* — $\dot{\text{f}}$), литовск. *erzilis* стоитъ въ связи съ глаголомъ *ржати* отъ корня *gu* — *sonum edere* (ср. Dobrow. Institutiones, p. 210); на стр. 580 говорится: «*корабль*», очевидно, одного происхожденія съ словомъ *коробъ*; но едва ли, кромѣ внѣшняго созвучія, слово *коробъ* стоитъ въ какомъ-либо отношеніи съ словомъ *корабль*; послѣднее, кажется, заимствовано съ греческаго *κάραβος*, *καράβιον* или средневѣковаго *carabus*, *коробъ* же стоитъ въ связи съ словомъ *кора* (*с* — *кора*, *шкура*, литов. *skurà*, лат. *scortum*), отсюда и *корста* — гробъ. За то нѣкоторые этимологическія сближенія автора нельзя не назвать счастливыми; изъ нихъ отмѣтимъ производство собственнаго имени Волосъ отъ корня *vr*, *var* — облекать (стр. 694), что совершенно согласуется и съ мифическими преданіями о Волосѣ. Вообще языкомъ авторъ пользуется съ такою умѣренностью и ограниченіями, что если лингвистическія сближенія его и немного прибавляютъ къ достоинствамъ книги, немногими обогащаютъ науку, то во всякомъ случаѣ они и не ведутъ его къ ложнымъ

заключеніямъ, потому что не на нихъ главнымъ образомъ онъ основываетъ свои выводы.

Произведенія народной поэзіи и быта. Мы выше замѣтили, что авторъ высказываетъ вѣрный взглядъ на археологическое значеніе этихъ памятниковъ; онъ и пользуется ими съ такимъ же вѣрнымъ тактомъ. Относительно народной былинны, съ одной стороны, онъ далекъ отъ той безгранпчной, ничѣмъ не сдержанной свободы толкованій, какую дозволилъ себѣ напр. издатель пѣсенъ, собранныхъ Кпрѣвскимъ (6 вып.) и Рыбниковымъ (первыхъ 2-хъ томовъ), съ другой не раздѣляетъ мысли и тѣхъ изслѣдователей, которые принимаютъ лишь поэтическія, нравственныя и историческія основанія для нея, отрицая основанія мифическія; напротивъ, онъ убѣжденъ, что «народные эпическіе герои, прежде чѣмъ низошли до человѣка, его страстей, горя и радостей, прежде чѣмъ явились въ исторической обстановкѣ, были олицетвореніями стихійныхъ силъ природы»; онъ принимаетъ, что историческія черты былинъ суть позднѣйшія наслоенія, которыя нужно снять и отдѣлпть, чтобы возстановить древній образъ и «каждой эпохѣ отдать свое».

Съ такимъ воззрѣніемъ можно согласиться тѣмъ скорѣе, что оно не исключительное: нмъ не отвергается важности историческихъ изслѣдованій народной поэзіи, но ставится на видъ важный вопросъ объ источникѣ и значеніи фантастическаго, чудеснаго ея элемента. Можно напр. остаться при убѣжденіи, что русская богатырская былина, въ томъ видѣ, какъ мы ее теперь имѣемъ, сложилась въ историческое время XIII—XIV в.; но поканчивается ли этимъ все дѣло? Не вправѣ ли изслѣдователь спросить: что было въ области русской поэзіи до того времени? имѣли ли богатырскія былинны кровныхъ предшественниковъ, или явились совершенно вновь, безъ всякой органической связи съ предыдущими? Такой вопросъ, по нашему мнѣнію, необходимо долженъ привести къ изслѣдованію мифическаго матеріала нашихъ былинъ, что и исполняетъ г. Аонасьевъ. Вотъ напр. его объясненіе былинны объ Ильѣ Муромцѣ, въ которомъ онъ

видѣть бога-громовника: «въ народныхъ сказкахъ богатырь, собирающійся на битву съ змѣей, демоническимъ представленіемъ зимнихъ облаковъ и тумановъ, долженъ трижды испить живой (или сильной) воды, и только тогда получаетъ силу поднять мечъ-кладенецъ. Пиво, которое пьетъ Илья Муромецъ, — старинная метафора дождя. Окованный зимнею стужею, богатырь-громовникъ сидитъ-сиднемъ безъ движенія (не заявляя себя въ грозѣ), пока не напьется живой воды, т. е. пока весенняя теплота не разобьетъ ледяныхъ оковъ и не претворитъ снѣжныя тучи въ дождевыя; тогда только зарождается въ немъ сила поднять молниеносный мечъ и направить его противъ темныхъ демоновъ». Первые приключенія Ильи, битвы съ разбойниками или бусурманскими полчищами, авторъ также возводитъ къ мифическому началу, объясняя, что здѣсь произошла историческая замѣна древнихъ демоническихъ существъ, великановъ и змѣй, позднѣйшими разбойниками и иноплемениками; «но и въ этихъ ратныхъ подвигахъ Илья Муромецъ сохраняетъ свое родство съ древнимъ Перуномъ: онъ дѣйствуетъ его оружіемъ — всесокрушающими стрѣлами и выѣзжаетъ на такомъ же чудесномъ конѣ, какъ и богъ-громовержецъ». Вслѣдъ затѣмъ Илья наѣзжаетъ на Соловья-разбойника, побѣждаетъ его и привозитъ въ Кіевъ. Сближивъ всѣ подробности, какія употребляетъ былина въ описаніи Соловья-разбойника съ другими народными преданіями, авторъ приходитъ къ мысли, что въ образѣ Соловья-разбойника народная фантазія олицетворила демона бурной грозовой тучи. Имя Соловья дано на основаніи древнѣйшаго уподобленія свиста бури громозвучному пѣнію этой птицы. Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ олицетвореній дующихъ вѣтровъ было представленіе ихъ хищными птицами; вотъ почему дѣти Соловья-разбойника обращаются, по свидѣтельству быliny, воронами съ желѣзными клювами. Эпигетъ разбойника объясняется разрушительными свойствами бури и тѣмъ стародавнимъ воззрѣніемъ, которое съ олицетвореніями тучи соединяло разбойничій, воровской характеръ. Закрытіе тучами и зимними туманами небесныхъ свѣтелъ

называлось на старинномъ поэтическомъ языкѣ *похищеніемъ золота*: въ подвалахъ Соловья-разбойника лежала несчетная *золотая казна*; такъ точно въ лѣтней засухѣ и въ отсутствіи дождей зимою видѣли похищеніе живой воды и урожаевъ. Демоническія силы грабятъ сокровища солнечныхъ лучей, угоняютъ дождевыхъ коровъ и скрываютъ свою добычу въ неприступныхъ скалахъ. Эготъ хищническій характеръ облачныхъ демоновъ повелъ къ тому, что вмѣсто великановъ и змѣевъ, съ которыми сражаются богатыри въ болѣе сохранившихся вариантахъ эпического сказанія, въ вариантахъ позднѣйшихъ и подновленныхъ выводятся на сцену воры и разбойники» стр. 30 — 9.

Взятый нами образецъ объясняетъ, какъ авторъ вообще пользуется мноюческимъ матеріаломъ народныхъ былинъ: онъ не могъ постепенно освобождать древнѣйшее зерно отъ историческихъ наслоеній, потому что наша былина не имѣла, подобно нѣмецкой, литературной исторіи и была занесена въ письменность только въ позднѣйшемъ ея видѣ (въ первый разъ не ранѣе середины прошлаго столѣтія); поэтому онъ отдѣляетъ древніе мотивы былинны и ихъ значеніе путемъ сличенія съ родственными памятниками и преданіями другихъ народовъ, и въ общемъ получаетъ весьма твердые результаты. Сдѣлаемъ только одно замѣчаніе: авторъ, какъ кажется, даетъ уже слишкомъ много силы и крѣпости народному преданію и памяти. Онъ, повидному, не допускаетъ въ ней почти никакихъ уклоненій въ область фантазіи и не признаетъ въ былинѣ никакихъ другихъ измѣненій, кромѣ внѣшняго историческаго наслоенія. Поэтому онъ стремится возвестъ къ мифическому источнику и объяснить, какъ природную метафору, всѣ даже мельчайшія частныя черты былинны, все, что находитъ хотя какое-нибудь соотвѣтствіе съ другими преданіями. Не удаляясь отъ приведеннаго нами примѣра, остановимся въ немъ на объясненіи *стрѣлы* Ильи Муромца и *золотой казны* Соловья-разбойника. Не станемъ спорить, что и *стрѣлы*, и *золото* въ данномъ случаѣ могли быть уцѣлѣвшими остатками мифическихъ метафоръ или представленій *молніи* и

стилиз; но чѣмъ опровергнуть насъ авторъ, если мы въ *стрѣлахъ* увидимъ обыкновенное бытовое орудіе доогнестрѣльнаго періода, а въ золотой казні Соловья-разбойника — поэтическую прибавку фантазіи къ понятію о разбойникѣ, живущемъ грабежемъ, разбоемъ? Развѣ поэтическая фантазія, создавъ одинъ образъ на мифической основѣ, должна была остановиться и въ послѣдующее время, уже отрѣшившись отъ первобытнаго наивнаго взгляда и войдя въ разнообразіе эпохи исторической, не могла творить иные образы, совершенно чуждые мифической основы, что авторъ считаетъ необходимымъ объяснять природными метафорами каждую черту сказанія и даетъ ей мифическое, природное значеніе? Или, быть-можетъ, то же *психическое* настроеніе, какое господствовало въ періодѣ младенческой жизни народа, продолжалось и даже въ эпоху историческую, такъ что народъ, и среди измѣнявшихся жизненныхъ обстоятельствъ, оставался при возрѣніяхъ ребенка и, не внимая урокамъ опыта, постоянно создавалъ природные мифы? Конечно, г. Афанасьевъ, какъ опытный знатокъ народной поэзіи, ни на минуту не допуститъ такой исключительной мысли; поэтому его стремленіе объяснить съ мифической точки зрѣнія всѣ мелкія частности произведеній народной поэзіи должно признать только увлеченіемъ спеціалиста: мы выше указали такой случай съ объясненіемъ атрибутовъ Святovitа; то же замѣтно, какъ въ объясненіяхъ былинъ, такъ и другихъ произведеній народной поэзіи и быта ¹⁾).

1) Приведемъ нѣкоторые примѣры: стр. 117. «Распущенные волосы, какъ эмблема дождевыхъ тучъ (дождь — слезы), сдѣлались символическимъ значеніемъ печали; потому женщины, причитывая похоронныя воззванія, припадаютъ къ могиламъ съ распущенными косами. Въ старину опальные бояре отращивали себѣ волосы и распускали ихъ по лицу и плечамъ». Если первое еще имѣетъ какое-нибудь вѣроятіе (оно, можетъ-быть, стоитъ въ связи съ обычаемъ обрѣзывать волосы на могилѣ близкаго усопшаго, какъ сдѣлалъ Ахиллъ на могилѣ Патрокла), то послѣднее вовсе не нуждается въ мифическомъ объясненіи и есть выраженіе естественнаго чувства печали, отзывавшейся и преизobreженіемъ въ костюмѣ. Объясненіе подробностей въ сказкахъ о медвѣдяхъ (стр. 398—9) также кажется намъ не вполне свободнымъ отъ преувеличеній; на стр. 467—8 авторъ объясняетъ гаданія о замужествѣ по пѣтуху и ку-

О томъ, какъ авторъ понимаетъ значеніе сказки и пользуется ею, говорить едва ли необходимо: обширныя и основательныя «примѣчанія», которыя сопровождаютъ его изданіе «Русскихъ народныхъ сказокъ», получили въ литературѣ уже должную оцѣнку, и то, что онъ вноситъ изъ сказокъ въ настоящій трудъ, есть не болѣе, какъ нѣкоторые листки изъ матеріала, разработаннаго въ «примѣчаніяхъ». Сверхъ этого, въ другомъ мѣстѣ ¹⁾, мы имѣли случай разсмотрѣть эту сторону труда г. Афанасьева, и не нашли причинъ, при всемъ нашемъ разногласіи въ частностяхъ, не признать справедливости его пріемовъ изслѣдованія. Есть, однако, и здѣсь одинъ существенный пунктъ, который мы не можемъ оставить безъ вниманія: какъ въ своихъ общихъ замѣткахъ о происхожденіи и характерѣ сказокъ авторъ ни словомъ не упоминаетъ объ историческомъ распространеніи сказокъ и необходимости отличать литературную сказку отъ чисто народной; такъ и въ самой книгѣ онъ пользуется иногда литературными, записанными сказками, такъ (стр. 216 и сл.) онъ подробно объясняетъ съ точки зрѣнія мифологіи сказку объ Ерусланѣ Залазаревичѣ и, кажется, склоненъ видѣть въ героѣ бога-громовника Перуна; но уже одни собственныя племена сказки должны были указать литературный источникъ ея (Ерусланъ-Арсланъ,

рицѣ, въ которыхъ онъ видитъ эмблему счастья и плодородія, при чемъ прибавляетъ: «зерновой хлѣбъ, овинъ, гдѣ его просушиваютъ, рѣшето, которымъ просѣивается мука, квашня, гдѣ хлѣбъ мѣсится—все это эмблемы плодородія»; но какъ такіе предметы повседневнаго быта могли стать эмблемою плодородія, этого авторъ не объясняетъ; обративъ вниманіе на древнее значеніе слова овинъ (готск. *auhna*, дн. *ofan*, ирл. *ofan*, нн. *ofen*, кор. *az*) и на свидѣтельство «Христіянина», онъ, можетъ-быть, пришелъ бы къ мысли, что овинъ былъ древнѣйшимъ домашнимъ жертвенникомъ, и не нашелъ бы нужды объяснять его отвлеченною эмблемою плодородія. На стр. 632—3 гаданіе конями справедливо возводится къ мифическому источнику, но авторъ идетъ слишкомъ далеко, когда утверждаетъ, что коня или, позднѣе, *оллобл*, чрезъ который проводятъ коней, «есть символъ молніи и ступаніе чрезъ нихъ указываетъ на воспоминаніе о Перуновомъ конѣ, несущемся среди грозового пламени». Ничего не могло быть, по нашему мнѣнію, естественнѣе и проще, что помѣщенные штетинцы употребили коня, а русскія крестьянки—*оллобл* для того, чтобы вывѣдать будущее у вѣщихъ коней!

1) Въ С.-Петербург. Вѣдомостяхъ 1864 г. № 94, 100, 108.

Лазарь, Залозерь-Зальзеръ, Картаусъ-Кей-Кавусъ), и хотя нѣкоторые мотивы этой литературной передѣлки эпизода Шах-Намъ и позволяютъ предполагать о нѣкоторыхъ русскихъ добавленіяхъ и измѣненіяхъ въ пей, но пока литературная исторія сказки еще не вполне приведена въ ясность (такъ какъ русскую сказку нельзя назвать прямою передѣлкою изъ «Царственной книги», а необходимо допустить какой-нибудь средній связующій терминъ),—до той поры не вѣрнѣе ли будетъ не принимать ее во все въ соображеніе, когда рѣчь идетъ о «поэтическихъ воззрѣніяхъ» славянъ. При современномъ состояніи вопроса объ исторіи сказокъ, разграниченіе литературной сказки отъ народной еще представляетъ много трудностей, но тѣмъ не менѣе оно должно быть, по возможности, принимаемо въ расчетъ во избѣжаніе смѣшенія между народнымъ и заимствованнымъ. Одною изъ существенныхъ заслугъ г. Афанасьева должно признать объясненіе народныхъ загадокъ, примѣтъ, заговоровъ и суевѣрій. И прежде догадывались о ихъ древнемъ мифологическомъ источникѣ и объясняли нѣкоторые изъ нихъ иногда довольно удачно; но честь полнаго приложенія этого взгляда ко всему запасу извѣстнаго матеріала остается за трудомъ автора. Правда, въ нѣкоторыхъ (впрочемъ, немногихъ) случаяхъ онъ здѣсь впадаетъ въ крайность, желая доискаться мифическаго зерна ¹⁾, не всегда принимаетъ въ соображеніе мифическій матеріалъ народныхъ игръ ²⁾, но вообще его объясненія имѣютъ всѣ условія ученаго

1) Примѣръ на стр. 173. Говоря о значеніи *недоброгаго взгляда*, авторъ объясняетъ, что «косые глаза старинному человѣку были страшны потому, что напоминали солнечный закатъ, угасеніе древняго свѣта, близящееся торжество нечистой силы». Едва ли! Кромѣ естественнаго непріятнаго выраженія, косой глазъ могъ получить дурную славу въ силу языка, потому что, какъ это превосходно развиваетъ самъ авторъ, съ «нимъ соединялась мысль о нравственной несовѣренности, злобѣ, лукавствѣ, отчего и дьяволъ (и прибавимъ, хитрый злодѣй нашихъ народныхъ сказокъ—воплощеніе злаго демона и позднѣе дьявола) носитъ названіе косой.

2) Примѣры на стр. 496 и сл. Объясняя мифическое значеніе ворона, авторъ не обратилъ вниманія на игру, извѣстную подъ тѣмъ же именемъ. На стр. 735, говоря о волкѣ, онъ также опускаетъ важныя свидѣтельства народ-

вѣроятія и даже достовѣрности и всѣ достоинства обогащающаго науку изслѣдованія. Въ заговорахъ авторъ справедливо видитъ остатки древнихъ языческихъ молитвъ и заклинаній, въ примѣтахъ — столько же голосъ опыта, сколько и древнѣйшія мифическія представленія, въ загадкахъ — «обломки стариннаго метафорическаго языка». Чтобы не дать повода къ недоразумѣнію на счетъ этого выраженія, прибавимъ, что авторъ тщательно отличаетъ загадки позднѣйшія, хотя также метафорическія, но безцвѣтныя, отъ древнихъ, и его опредѣленіе относится только къ послѣднимъ, которыми онъ исключительно и пользуется, свободно и естественно скрывая смыслъ метафоръ посредствомъ сравнительныхъ сближеній съ однородными фактами.

Духовные стихи, по самому свойству своему, не предлагали для цѣлей автора обильнаго матеріала. Кромѣ извѣстнаго стиха о Голубиной книгѣ, онъ пользуется стихомъ о Егоріѣ Храбромъ и еще нѣкоторыми, весьма немногими, указаніями этого рода произведеній, и хотя можно не соглашаться съ мнѣніемъ, выраженнымъ имъ на стр. 51, что суевѣрные сказанія, передаваемые стихомъ о Голубиной книгѣ, составляютъ общее достояніе всѣхъ индо-европейскихъ народовъ, и «что происхожденіе ихъ относится къ арійскому періоду», хотя есть основаніе полагать, что стихъ о Голубиной книгѣ возникъ путемъ литературнымъ¹⁾, —

ныхъ игръ. Вообще, относительно дѣтскихъ игръ, книга г. Афанасьева должна убѣдить cadaго въ необходимости собранія и ученаго изслѣдованія этого важнаго, но доселѣ пренебрегаемаго матеріала древности.

1) Причины, почему мы позволимъ себѣ такъ думать, заключаются въ слѣдующемъ: во 1-хъ, космо- и антропогоническія сказанія, сами по себѣ продуктъ довольно поздней эпохи, въ томъ видѣ, какъ они представляются въ стихѣ, уже ясно поблибли и перешли чрезъ христіанскія понятія, и стало быть не могутъ считаться достояніемъ индо-европейскихъ народовъ; во 2-хъ, связь стиха съ сочиненіями апокрифическими и бестіаріями; въ 3-хъ, существованіе прозаическаго памятника, извѣстнаго подъ именемъ «Іерусалимской Бесѣды», которая никакъ не можетъ назваться передѣлкою изъ стиха, а скорѣе его источникомъ. Прибавимъ къ этому, что форма загадки и близость стиха съ древне-фризскимъ космогоническимъ отрывкомъ и съ позднѣйшимъ нидѣйскимъ еще не ручательство за языческую глубокую древность происхожденія стиха: форма загадки не чужда и апокрифамъ, и многимъ произведеніямъ хри-

тѣмъ не менѣе авторъ былъ въправѣ воспользоваться этимъ памятникомъ, такъ какъ многіе его мотивы, послѣ объясненій нашихъ изслѣдователей, и въ томъ числѣ г. АѢнасьева (см. стр. 118, 157 и др.), вытекають изъ народныхъ воззрѣній или по крайней мѣрѣ волюн совпадаютъ съ ними. Быть-можетъ, апокрифическіе и вообще литературные источники встрѣтились здѣсь съ сродными представленіями народнаго міровоззрѣнія и слились съ ними въ одно цѣлое. Еще болѣе, по нашему мнѣнію, имѣлъ онъ право объяснять съ своей точки зрѣнія стихъ о Егоріѣ Храбромъ (стр. 699 и сл.), потому что этотъ, единственный въ своемъ родѣ, памятникъ, отправляясь отъ христіанскаго содержанія, попадаетъ въ широкій потокъ древнихъ, дохристіанскихъ воззрѣній, хотя уже ослабѣлыхъ и держащихся только силою преданія. Мнѣніе о языческой основѣ стиха о Егоріѣ Храбромъ, въ нашей литературѣ, не ново; но полное объясненіе его въ первый разъ сдѣлано г. АѢнасьевымъ, и тѣмъ удачнѣе, что онъ привелъ въ связь содержаніе стиха съ другими народными преданіями о Георгіѣ или Юріѣ. Въ народномъ образѣ св. Георгія или Юрія авторъ видитъ христіанскую замѣну древняго «бога-громовника, творца весенняго плодородія, побѣдителя демоническаго змѣя и пастыря небесныхъ стадъ». Конечно, слагая стихъ, народъ и не помышлялъ уже о богѣ-громовникѣ, но его фантазію влекли къ себѣ давно знакомые, хотя и непонятные образы, и допытываясь о происхожденіи и первоначальномъ смыслѣ этихъ образовъ, должно будетъ признать и умѣстность, и справедливость объясненій г. АѢнасьева. Къ сожалѣнію, мы не можемъ сказать того же относительно *апокрифовъ*; авторъ говоритъ: «апокрифы явились, какъ необходимый результатъ народнаго стремленія согласить преданія предковъ съ тѣми свя-

стіанской литературы (см. Schlieffen, De antiqua Germ. poesi aenigmatica, p. 26). Сходство же съ преданіями Эдды не непосредственное. Во всякомъ случаѣ, мы противъ того только, чтобъ «Стиху» приписывать исключительно народное происхожденіе, а никакъ не думаемъ отрицать *народныхъ* его элементовъ.

ценными сказаніями, какія водворены христіанствомъ. Откуда бы ни были принесены къ намъ апокрифическія сочиненія, изъ Византіи или Болгаріи, суетѣрные подробности, примѣшанныя ими къ библейскимъ сказаніямъ, большею частію коренятся въ глубочайшей древности, въ воззрѣніяхъ арійскаго племени, и потому должны были найдти для себя родственный отголосокъ въ преданіяхъ нашего народа» (стр. 50). Едва ли, при ближайшемъ разсмотрѣніи содержанія апокрифическихъ сочиненій, авторъ найдетъ оправданіе для своей мысли, что они явились какъ «необходимый результатъ народнаго стремленія, согласія преданія предковъ съ тѣми священными сказаніями какія водворены *христіанствомъ*...» Явились они совершенно независимо отъ этого стремленія; но если приняли въ себя черты предшествовавшей старины, то нисколько не менѣе другихъ однородныхъ сочиненій, не признаваемыхъ за апокрифы. Но, допустивъ и справедливость мысли автора, все же останется неразрѣшеннымъ главный вопросъ: какому народу-племени принадлежать сочиненія апокрифическія? Если бы дѣло шло о великой семьѣ индо-европейскихъ народовъ, то и тогда едва ли можно бы сказать, что они коренятся въ *воззрѣніяхъ арійскаго племени*. Но задача автора «поэтическія воззрѣнія славянъ», а при этомъ — какое значеніе могутъ имѣть переводные апокрифы, чѣмъ прояснятъ они древнее мифическое міросозерцаніе славянъ и законно ли будетъ давать имъ мѣсто, какъ источникамъ славянской мифологической древности? Не думаемъ, чтобы на эти вопросы можно отвѣтить иначе, какъ отрицательно, а потому едва ли правъ авторъ, прибѣгая за пособіемъ къ апокрифамъ (см. стр. 119—20, 166, 283, 362, 376, 379, 401, 472, 505—6 и др.), къ стариннымъ бестіаріямъ (стр. 164, 498, 666 и др.) и Луцидарію (263), памятникамъ переводной духовной литературы (напр. стр. 535 et passim). Онъ былъ бы вправѣ воспользоваться такими переводными произведеніями только въ такомъ случаѣ, когда изслѣдованіе успѣло бы отдѣлать народныя прибавки къ чужому тексту; пока же это не сдѣлано, наука мнѣ

зоологической древности ничего не выиграетъ отъ допущенія свидѣтельствъ апокрифовъ, а скорѣе можетъ попасть на ложную дорогу, выдавая чужое за свое и смѣшивая въ одно факты жизни различныхъ народностей. Мы высказываемся здѣсь противъ общаго ученаго приема г. АѦанасьева; что касается до примѣненія его, то авторъ вообще остороженъ: онъ рѣдко даетъ такимъ показаніямъ самостоятельную силу, а выслушиваетъ ихъ въ качествѣ пособія, когда они сходятся съ другими народными показаніями ¹⁾. Какъ бы то ни было, внесеніе такихъ источниковъ, какъ переводные апокрифы, бестіаріи, Луцидарій, византійскій романъ (стр. 613) въ изслѣдованіе, имѣющее предметомъ свопмъ древнія (мионическія) воззрѣнія славянъ на природу, ничего не прибавляетъ къ достоинствамъ сочиненія.

Изъ письменныхъ источниковъ, которыми авторъ пользуется довольно полно, мы остановимся только на свидѣтельствахъ древнихъ русскихъ поученій о языческихъ суевѣріяхъ. Много важныхъ фактовъ язычества передано намъ въ древнихъ поученіяхъ и словахъ, но эти факты нуждаются въ критикѣ. Чтобы дать имъ мѣсто въ славянскомъ язычествѣ, необходимо доказать ихъ славянское происхожденіе, т. е. необходимо принимать въ расчетъ происхожденіе самихъ поученій: самостоятельны ли они,

1) Приведемъ нѣкоторые примѣры, гдѣ авторъ, какъ думаемъ, отступилъ отъ обычной ему осторожности. На стр. 379—80 авторъ приводитъ апокрифическія сказанія и легенды объ изобрѣтеніи вина и ставитъ ихъ въ связь съ представленіемъ тучъ — демонами. Но въ эпоху, когда слагались такіе рассказы, народъ былъ уже далекъ отъ того, чтобы съ понятіемъ вина соединять представленія о дождѣ, а въ дьяволѣ видѣть тучу: вино и дождь онъ понималъ уже реальнымъ образомъ, въ дьяволѣ видѣлъ опредѣленную личность. Христіанство не только придавало нравственный смыслъ этимъ образамъ, но и создавало, творило ихъ; потому ихъ должно объяснять не съ древней мионической, а съ христіанской точки зрѣнія. То же можно замѣтить относительно объясненія апокрифа о грѣхопаденіи Адама и Евы (стр. 401), въ которомъ авторъ видитъ передѣлку древне-арійскаго преданія въ библейскомъ стилѣ, мы же позволимъ себѣ видѣть рассказъ, сложившійся на библейской основѣ, въ основаніи котораго лежитъ нравственная мысль о грѣховномъ источникѣ гнѣства. Христіанство пользовалось здѣсь древними образами такъ точно, какъ ями и теперь пользуется всякій образованный писатель.

или заимствованныя, переводныя. Въ иныхъ случаяхъ не трудно бываетъ отмѣтить ихъ русское или славянское происхожденіе, въ другихъ — не трудно указать славянскія прибавки; но есть и такія, источникъ которыхъ не всегда ясенъ: содержаніе не позволяетъ прямо судить о ихъ народности; изслѣдователь обязанъ здѣсь принимать въ разсчетъ соображенія литературныя. Г. Аонасьевъ, вообще удачно выбирая указанія поученій на русскія суевѣрія, не во всѣхъ случаяхъ обращаетъ вниманіе на ихъ происхожденіе, и потому относитъ къ славянской народности и такія черты, которыя зашли къ намъ путемъ литературнымъ, будучи переведены съ греческаго; напр. на стр. 339 (сравни 30) онъ приводитъ мѣсто изъ лѣтописи о языческой жизни; но оно не принадлежитъ русской лѣтописи (а равно и пр. Θεοδοσιου, какъ полагали), а внесено сюда (по крайней мѣрѣ, въ главной своей части) изъ перевода словъ Іоанна Златоустаго, перевода, извѣстнаго подъ именемъ Златоструя; на стр. 340 приводятся свидѣтельства слова о русаляхъ, сочиненія также несомнѣнно переводнаго; на стр. 345 — протесты противъ пляски, составившіеся подъ видимымъ вліяніемъ словъ Златоуста, столь нерѣдкихъ въ нашихъ сборникахъ... Такія неточности, конечно, не столько зависѣли отъ автора, сколько отъ слабости библиографической разработки нашей древней письменности; но если бы г. Аонасьевъ не уклонился отъ критическаго осмотра письменныхъ источниковъ, онъ не далъ бы особой силы этимъ протестамъ противъ русскихъ «бѣсовскихъ пѣсенъ и забавъ, гуслей, русалій и т. д.»; онъ, можетъ-быть, увидѣлъ бы въ этихъ протестахъ не столько указаніе на явленіе дѣйствительной жизни, сколько литературный унаслѣдованный обычай, и рѣзче отделилъ бы дѣйствительность отъ благочестивой литературной фикціи нашихъ предковъ¹⁾. Нерѣдко и почти всегда съ тактомъ и

1) Позволимъ здѣсь себѣ небольшое разногласіе съ авторомъ касательно значенія словъ Дѣй и Дивная въ извѣстной славянской вставкѣ въ словѣ Григорія Богослова: авторъ принимаетъ (стр. 128, 187, 225 и разнѣ), что это названія славянскихъ божествъ Дива и Дивы. Это вѣроятно, но не менѣе вѣ-

мѣрою, авторъ собираетъ и разрозненныя указанія другихъ письменныхъ памятниковъ: лѣтописей, актовъ, древнихъ проповѣдей, Слова о Полку Игоревѣ, Стоглава, Домостроя, старинныхъ азбукъ и другихъ. Иногда онъ умѣетъ изъ одного слова, одного намека ихъ, извлечь для себя полезныя и любопытныя данныя; при всемъ внимательномъ чтеніи книги мы не могли замѣтить въ отношеніи русскаго письменнаго матеріала ни важныхъ опущеній, ни даже особыхъ преувеличеній ихъ значенія¹⁾. Можно сказать, что авторъ вполне осмотрѣлъ и исчерпалъ свои источники. Также основательно изучены имъ и посо-

рочно и мнѣніе, по которому эти слова будутъ лишь славянизированными формами греческаго Ζεύς'а (Διὸς). Интерполаторъ хотѣлъ выразить, что славяне поклоняются языческому богу и богинѣ, и для этого употребилъ греческій терминъ съ славянской мужской и женской формою. На эту мысль наводитъ какъ другое, уже переводное, мѣсто изъ слова Григорія (въ Памсіев. сборникѣ): «отмѣтаемъ нечестивыхъ жертвъ и Дыева служенія» (Ист. Хр. Буслаяна ст. 527), такъ и частая употребленія въ древнихъ рукописяхъ слова *Дѣи, дни* въ смыслѣ *Зевса* (см. Miklošich. Lex. p. 161.).

1) Отмѣтитъ болѣе рѣзкое въ послѣднемъ отношеніи. На стр. 257—8, говоря о Перуновой палицѣ и основательно сближая ее съ молотомъ Тора (молніей), авторъ готовъ допустить, что соборное постановленіе митр. Кирилла (1274 года), въ которомъ обличаются скверныя плясцы, бьющіеся дреколями, указываетъ на обрядовую битву, какъ подражаніе небесной битвѣ Перуна, вооруженнаго палицей. Свидѣтельство слишкомъ глухо для такой мысли и скорѣе можетъ быть истолковано обыкновенною дракою на народномъ гуляніи, тѣмъ болѣе, что здѣсь же происходитъ и грабежъ. На стр. 447, приводя известный рассказъ грека-миссіонера, какъ болгары «омываютъ оходы свои»... (см. Полное Собраніе лѣтописи. 1, 37), и другихъ письменныхъ поученій, говорящихъ о подобныхъ же отвратительныхъ обычаяхъ болгаръ, г. Аонасьевъ принимаетъ все это за дѣйствительный фактъ и видитъ здѣсь чествованіе фаллоса, вѣру въ очистительную силу мужскаго сѣмени — символа дождя. Кажется, что источникомъ этихъ нелѣпыхъ рассказовъ послужили басни, ходившія въ свое время объ ереси богумиловъ, и здѣсь, можетъ-быть, сдѣланы двѣ различныя народа: *Поученія* говорятъ о болгаряхъ дунайскихъ, а слова греческаго миссіонера относятся къ болгарамъ восточнымъ, и послѣднее тѣмъ страннѣе, что, по рассказу грека, они исполняютъ всѣ эти обычаи, поминая «Бохмита»; одна пресловутая чистоплотность магометанъ могла бы указать истинную цѣну такихъ свидѣтельствъ. На стр. 219 говорится: «такъ какъ святой собственно означаетъ: свѣтлый, блестящій, то у Кирилла Туровскаго и другихъ старинныхъ проповѣдниковъ говорится, что въ день Страшнаго Суда тѣлеса праведниковъ просвѣтятся». Нужно ли говорить, что это выраженіе и понятіе вполне христіанскаго характера?

бія, важнѣйшіе труды европейскихъ ученыхъ: Гримма¹⁾, Смирока, Пикте, Куна, Шварца, Преллера, Маннгардта, М. Мюллера²⁾ и др., сборники и сочиненія славянскихъ и отечественныхъ изслѣдователей: Коллара, Вука Стефанов. Караджича, Эрбена, Миладиновичей, Гануша, Срезневскаго, Буслаева и др. Будучи обязанъ имъ многими соображеніями, указаніями, рѣшеніями частныхъ, онъ тѣмъ не менѣе относится къ нимъ не пассивнымъ образомъ, но свободно пользуется тѣмъ, что находитъ вѣрнымъ и ведущимъ къ его цѣли, и если, по необходимости, онъ не всегда заимствуетъ свои показанія изъ первыхъ рукъ, то та добросовѣстность, съ которою онъ ссылается на свой непосредственный, ближайшій источникъ, отнимаетъ у критики всякое право упрека.

IV.

Предложимъ теперь замѣчанія на общее книги и на нѣкоторыя объясненія отдѣльныхъ фактовъ.

Въ русской наукѣ до сихъ поръ не было систематическаго труда по сравнительной славянской мѣологіи: одни изслѣдователи добросовѣстно собирали свидѣтельства и преданія старины, не входя въ сравнительныя сближенія и довольствуясь ближайшими объясненіями; другіе — примѣняли сравнительный методъ къ рѣшенію частныхъ вопросовъ и задачъ. Г. Афанасьеву принадлежитъ *заслуга перваго систематическаго сравнительнаго изслѣдованія* цѣлой области славянской мѣологической древности. Отъ начала кто станетъ требовать условій окончательной отдѣлки! И громадность неразработаннаго матеріала, и бѣдность пригготовительныхъ трудовъ, и завлекающій интересъ новизны — необходимо должны были выразиться въ трудѣ г. Афанасьева.

1) Авторъ, впрочемъ, не пользовался нѣкоторыми монографіями, а равно и соч. «Geschichte d. deuth. Sprache», которыя могли бы навести его на многія соображенія, важныя для историческаго пониманія мѣологіи.

2) Кажется, авторъ пользовался только 1-ю частью его «Науки о языкѣ».

Соразмѣряя его задачу («Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу») съ исполненіемъ, нельзя прежде всего не замѣтить количественнаго несоотвѣтствія славянскаго матеріала сочиненія съ матеріаломъ родственныхъ народовъ: послѣдній иногда совершенно подавляетъ первый! Причина этого заключается въ особой точкѣ зрѣнія автора на явленія славянской мифологической древности: онъ преслѣдовалъ не историческія цѣли, а — если такъ можно выразиться — психологическія, заботился не о томъ, чтобы отмѣтить характеръ славянскихъ поэтическихъ воззрѣній на природу и вѣрованія, но единственно имѣлъ въ виду положить прочныя основанія для объясненія ихъ происхожденія и природнаго значенія; потому онъ не опускаетъ ни одной попадающейся черты, которая можетъ служить для этой цѣли, хотя бы самый фактъ и не стоялъ съ славянскими преданіями ни въ какомъ другомъ отношеніи, кромѣ общности психическаго источника. Такъ онъ передаетъ вполне своеобразныя представленія и мифы греческой и пѣмечкой древности, когда знаетъ, что они произошли изъ того же начала, какъ и нерѣдко невыросшіе, слабые образы славянскаго мифическаго міросозерцанія. Для той же цѣли онъ прибѣгаетъ и къ мифическимъ воззрѣніямъ народовъ чуждаго происхожденія, пользуется преданіями финскихъ племенъ (особенно Калевалой), египтянъ и семитовъ. Картина выходитъ полная разнообразія и привлекательности, но этнографическія и историческія черты ея сливаются: все разнообразіе племенныхъ элементовъ какъ будто живетъ одною жизнію, имѣетъ совершенно одинаковыя воззрѣнія, славянская народная жизнь не видна; образы ея теряются въ массѣ другихъ, заслоняются иногда болѣе величавыми и художественными, и извлечь ихъ возможно только путемъ вторичнаго процесса ученаго изслѣдованія. Не скажемъ, чтобы авторъ не имѣлъ возможности избѣжать такого недостатка: онъ могъ сначала выяснить общія основы мифическаго міросозерцанія, равно принадлежащія всѣмъ народамъ индо-европейскаго корня и вынесенныя ими изъ эпохи общей племенной жизни, затѣмъ уже слѣдить славянскую жизнь

этого общаго достоянія и отмѣчать его видоизмѣненія. Но онъ поступилъ этой широкой задачей въ пользу своей исключительной цѣли, и чрезъ это, хотя сочиненіе и не мало сузилось въ своихъ ученыхъ достоинствахъ, но цѣль была вполне достигнута. При исключительно психологическомъ направленіи труда г. Аѳанасьева отодвинулась на задній планъ и *историческая* сторона вопроса; трудно рѣшеніе ея и само по себѣ, по общему состоянію современной науки древности, но оно возможно, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ частяхъ матеріала, отмѣченныхъ чертами времени. Возможность эта въ общихъ чертахъ указана Я. Гриммомъ въ его «Исторіи нѣмецкаго языка», а по его слѣдамъ и г. Буслаевымъ (особенно въ его сочиненіи «О русскихъ пословицахъ»). Нашъ авторъ вовсе устранился отъ условій историческаго изслѣдованія и воздержался отъ всякихъ историческихъ выводовъ и замѣчаній: слѣдя только одну цѣль — раскрытіе происхожденія и первоначальнаго смысла мнѳическихъ представленій, онъ по большей части мѣтко показываетъ измѣненія мнѳовъ и вѣрованій — какъ изъ простыхъ элементовъ они вырастаютъ въ самые странные образы или даютъ поводъ къ грубѣйшимъ суевѣріямъ и обычаямъ; но онъ стоитъ не на *исторической*, а на *психологической почвѣ*, и не слѣдитъ соответствіе мнѳа съ развитіемъ быта, движеніемъ жизни и исторіи; оттого онъ не наблюдаетъ и исторической постепенности въ изслѣдованіи фактовъ, ставитъ рядомъ самыя различныя эпохи и разновременныя воззрѣнія. Отсюда, полагаемъ, вышли и крайности нѣкоторыхъ объясненій его: когда нѣтъ регулирующихъ историческихъ требованій, когда подъ одинъ уровень ставятся произведенія различныхъ временъ и народовъ, тогда, естественно, мысль впадаетъ въ широкое обобщеніе, и разнообразіе жизненныхъ явленій, къ невыгодѣ истины, сводится къ одному исходу.

Вотъ два существенные общіе недостатка замѣчательнаго труда г. Аѳанасьева. Разрѣшивъ съ полнымъ успѣхомъ первую часть задачи сравнительнаго мнѳологическаго изслѣдованія, онъ оставилъ дальнѣйшее на долю будущихъ разысканій

въ этой области. Предложимъ еще нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній:

На стр. 120 читаемъ: «древніе литовцы вѣрили, что тѣни усопшихъ, отправляясь на тотъ свѣтъ, должны карабкаться на неприступную высокую и круглую гору Anafielas....». Съ легкой руки Нарбута (см. его *Dzieje staroz. narodu Litewskiego*, t. 1, p. 384 — 5) это имя горы вошло какъ во многія польскія, а также и въ русскія сочиненія по литовской древности; но пора, кажется, вовсе устранить его изъ науки. Въ литовскомъ языкѣ оно рѣшительно не имѣетъ никакого смысла, и даже противорѣчитъ фонетикѣ его, въ которой нѣтъ вовсе звука *f* (литовцы его замѣняютъ звукомъ *p*); поводъ къ вымыслу подаль, кажется, Саксонъ грамматикъ: въ VI книгѣ своей «Датской исторіи» (p. 280 ed. Mullerii), онъ рассказываетъ исторію (народное преданіе) о разбойникѣ-чародѣѣ Визинѣ, который жилъ въ русскихъ предѣлахъ на горѣ Анафіалѣ (ср. сканд. *fiall*, *fiöll* — гора, скала); отсюда-то, по неизвѣстнымъ причинамъ, имя перенесено было въ литовскую древность и явилось съ литовскою приставкою *as* — Anafielas.

На стр. 320 авторъ говоритъ: «другія названія, даваемые славянами богу вѣтровъ, были *Pogoda* и *Pochwist*», и въ числѣ доказательствъ приводитъ и извѣстную будто бы малорусскую думу о *Посвистачѣ*, напечатанную г. Кулишомъ въ 1-мъ т. Записокъ о Южной Руси. Не говоря о томъ, что Погода и Похвистъ, какъ отдѣльные самостоятельные божества, не встрѣчаютъ подтвержденія въ свидѣтельствахъ древности¹⁾ и, кажется, обязаны своимъ происхожденіемъ мнѳологическимъ бреднямъ позднѣй-

1) Погода и Похвистъ въ первый разъ упоминаются Длугошемъ (*Hist. Pol.* 1.37). Кажется, что первое имя произошло изъ желанія объяснить *Подану* Гельмольда (*Chron. Slavorum*, с. 84). Длугошъ для этого только переставилъ слога въ выраженіи своего источника. Имя Похвистъ, нѣтъ сомнѣнія, явилось изъ простаго (вовсе нежюническаго) прилагательнаго качественнаго; какъ собственное, оно не древнѣе польскаго хрониста. Извѣстія Длугоша по наслѣдству перешли къ Кромеру, Стрѣйковскому, въ нашу Густинскую лѣтопись, Синопись и т. д.

шихъ польскихъ хронистовъ, малорусская дума, на которую ссылается авторъ, есть рѣшительно книжная поддѣлка новѣйшаго времени¹⁾. Чтобы убѣдиться въ этомъ, автору стоило лишь обратить вниманіе на языкъ и антипоэтическій характеръ этого произведенія школьной учености, сравнивъ его съ настоящими, неподдѣльными малорусскими думами.

На стр. 339 и слѣд. авторъ, между прочимъ, говоритъ и о *скоморохахъ*. Онъ отождествляетъ ихъ съ народными пѣвцами-гусярами славянской старины и ставитъ ихъ въ связь съ культомъ и празднествами Перуна-оплодотворителя. Ошибка автора произошла отъ того, что, какъ онъ самъ отозвался, ему неизвѣстно было происхожденіе и значеніе слова *скоморохъ*, *скомрахъ*. Слово это давно объяснено: *scamari*, — *rac*, *scamaratores*, *Σκαμάρες* — *latrones*, *exploratores*, были бродяги, которые въ 5—8 столѣтіи скитались въ восточной Европѣ. Отъ бродяжничества не далеко разстояніе и до занятій «*шумотворства*», и скоморохъ сдѣлался у насъ нарицательнымъ именемъ комедіанта. Эти переходящіе бродячіе люди, вѣроятно, заходили къ намъ тѣмъ же путемъ, какъ и *шпилесы* или *шпильманы*, о которыхъ иногда упоминается въ памятникахъ нашей старины письменности. Имѣя въ виду это чужеземное происхожденіе скомороховъ, едва ли позволительно ставить ихъ въ связь съ религіознымъ культомъ Перуна-оплодотворителя, если такой культъ и дѣйствительно существовалъ въ нашей древности.

На стр. 369 авторъ ссылается на малорусскую пѣсню: «За Немень иду»; пѣсня точно близко подходитъ къ народнымъ воззрѣніямъ²⁾, но тѣмъ не менѣе она произведеніе образованнаго писателя нашего времени, г. С. П. Самый складъ ея значительно

1) Вскорѣ по обнародованіи этой, такъ называемой, думы, въ Отеч. Зап. 1857. № 6 сдѣланы были сильныя возраженія противъ ея подлинности; издатель Записокъ о Южной Руси, не человѣкъ, пустившій се въ ходъ, не представилъ возраженій. Отстаивать такую грубую поддѣлку было опасно.

2) Она даже стала народною въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. См. Варенцова «Сборникъ пѣсенъ Самарскаго края». Сиб. 1862. р. 88—9.

отличается отъ народнаго, а пѣсенный мотивъ взятъ съ музыки Глинки.

На стр. 412 свидѣтельство черноризца Храбра, вѣроятно, опечаткой опредѣлено XIII-мъ вѣкомъ.

Сводя къ итогу наши замѣчанія о трудѣ г. Афанасьева, нельзя не видѣть и не признать его важнаго значенія въ отечественной наукѣ.

Въ отношеніи матеріала онъ представляетъ такой систематическій сводъ фактовъ по славянской и преимущественно русской мифологической древности, какого не имѣла еще наша наука. Заслуга автора тѣмъ значительнѣе, что съ трудолюбіемъ и добросовѣстностью коллектора онъ почти всегда умѣетъ соединить тактъ и разборчивость критика, избирая изъ запаса матеріаловъ только существенное и оставляя въ сторонѣ безцвѣтные вымыслы, которыхъ, къ сожалѣнію, еще не чужда наша описательная этнографія. Встрѣчающіяся въ сочиненіи уклоненія отъ этого правила вообще немногочисленны, а въ сравненіи съ богатствомъ достовѣрныхъ данныхъ должны быть признаны мало-важными исключеніями. Уже по одному этому книга г. Афанасьева становится въ рядъ трудовъ, необходимыхъ для каждаго изслѣдователя славянской древности. Но еще важнѣе значеніе ея, какъ *изслѣдованія*.

Авторъ исключительно ограничился объясненіемъ происхожденія и первоначальнаго смысла мифическихъ представленій, вѣрованій и обычаевъ; его сочиненіе рѣшаетъ только *первую часть задачи мифологическаго изслѣдованія*, но часть новую, доселѣ бывшую пробѣломъ въ нашей наукѣ. Несмотря на нѣкоторые существенные недостатки: неточность основной мысли относительно происхожденія мифовъ и ея несогласіе съ цѣлымъ изслѣзованіемъ, несмотря на слабость самостоятельныхъ лингвистическихъ разысканій и перѣдкія увлеченія, авторъ успѣлъ разблизить свою ближайшую задачу такимъ образомъ, что мы не

усомниться признать за его трудомъ заслугу новаго шага въ наукѣ, и шага важнаго, безъ котораго невозможно изслѣдованіе исторической и этнографической стороны предмета мнѳологіи. Такимъ образомъ, не отвѣчая вполнѣ условіямъ законченнаго мнѳологическаго труда (въ настоящее время рано еще и думать о такой законченности), не удовлетворяя требованіямъ, собственно историческимъ (эта часть, какъ мы сказали, оставлена авторомъ безъ освѣщенія), сочиненіе г. Афанасьева полагаетъ, однако же, прочныя основанія для дальнѣйшихъ успѣховъ въ этой области знанія какъ по богатству данныхъ, осмотрѣнныхъ и принятыхъ въ соображеніе, такъ и по успѣшному рѣшенію главнаго вопроса.

Въ общемъ развитіи науки славянской мнѳологической древности, трудъ г. Афанасьева дѣлаетъ рѣшительный переходъ отъ отрывочныхъ неоконченныхъ сравнительныхъ сближеній къ систематическому сравнительному изслѣдованію.

Заслуга существенная!

Есть еще и иная добрая сторона въ трудѣ г. Афанасьева, которую нельзя оставить безъ вниманія. Я разумѣю общее нравственное значеніе книги: приводя массу сусвѣрій, опутывающихъ народную жизнь, къ ихъ источникамъ и простымъ причинамъ, показывая, какъ возникли и сложились они, лишая ихъ обаянія таинственности, авторъ въ корню подрываетъ и ихъ обольщенія и силу, которою они владычествуютъ не надъ одними неискушенными наукою умами. Онъ дѣйствуетъ для народнаго просвѣщенія вѣрнѣе и плодотворнѣе, чѣмъ та борьба во имя общихъ началъ разума, на которую уходятъ по большей части лучшія, свѣжія силы новыхъ поколѣній.

Взвѣсивая какъ достоинства, такъ и недостатки труда г. Афанасьева и соображая ихъ съ требованіями Положенія о наградахъ графа Уварова (§ 6-й), я не уклонюсь отъ истины и справедливости, признавъ, что сочиненіе, и по полнотѣ матеріала,

и по тщательной обработкѣ одной части предмета, въ значительной степени способствуетъ и къ «полному познанію» славянской мифической древности, что «отечественная наука дѣйствительно нуждалась въ подобномъ произведеніи, что наконецъ, за вычетомъ немногихъ частныхъ, оно вообще отвѣчаетъ современнымъ требованіямъ науки и критики.

Такія условія даютъ труду г. Афанасьева полное право на поощреніе.

Представляя мое заключеніе на благоусмотрѣніе Комиссіи, считаю долгомъ присоединить, что подобные труды предпочтительно передъ другими имѣютъ нужду въ матеріальной поддержкѣ. Сочувствіе публики не на ихъ сторонѣ; оно не всегда вознаграждаетъ даже издержки печати, а честный трудъ ученаго, его благородное самоотверженіе для науки, стоявшее, быть-можетъ, долготѣвшихъ лишеній, предоставлены бываютъ лишь нравственному удовлетворенію. И какъ часто при этомъ чистая любовь къ наукѣ становится подъ иное знамя, избираетъ для дѣйствія болѣе благодарное поприще!

Афанасьевъ. Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ преданій и вѣрованій, въ связи съ мифическими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Москва. 1866—9, 3 т.

Ни одна изъ отраслей науки «славянскихъ древностей» не находится въ такомъ шаткомъ положеніи, какъ мифологія: несмотря на интересъ и важность своего предмета, на значительное количество усилій, посвященныхъ его изслѣдованію, она не спѣла еще возвыситься надъ значеніемъ агрегата отрывочныхъ свѣдѣній и стать на степень точной *историко-филологической науки*. Недостатокъ критической обработки источниковъ предмета и отсутствіе строгаго ученаго метода его изслѣдованія криваютъ свободное поле для объясненій и выводовъ по лич-

ному вкусу и личнымъ понятіямъ о *правдоподобіи*; отсюда, естественно, происходитъ произволъ толкованія, который порождаетъ сомнѣніе и въ самой наукѣ. Онъ не умѣряется и тѣмъ, что одни изслѣдователи вовсе избѣгаютъ всякихъ положительныхъ выводовъ, ограничиваясь неопредѣленными намеками о значеніи мифическихъ представленій и образовъ, или — указаніемъ связи и соответствія ихъ съ мифическими представленіями иныхъ родственныхъ народовъ; другіе же — довольствуются передачею фактовъ и общимъ объясненіемъ ихъ, по большей части и вѣрнымъ, но — всегда узкимъ и мало отвѣчающимъ требованіямъ историческаго знанія: неопредѣленность и сухой формализмъ объясненій столь же бывають неудовлетворительны, какъ и полная, предоставленная личной прихоти, свобода ихъ! Отсутствіе предварительной разработки матеріала и нетвердость метода изслѣдованія отозвались и на программѣ науки, на установкѣ тѣхъ задачъ и вопросовъ, которые должны составлять существенное ея содержаніе: самые важные изъ нихъ до сихъ поръ остаются въ тѣни, по крайней мѣрѣ — не видно, чтобы они были строго опредѣлены и получили общепризнанную обязательную силу. Оттого вниманіе изслѣдователей такъ часто обходитъ существенныя стороны предмета и вдается въ вопросы второстепеннаго порядка, оттого труды ихъ большею частію страдаютъ односторонностью направленія и столь замѣтными проблемами.

При такомъ несовершенномъ состояніи науки «славянской мифологіи», мы находимъ неумѣстнымъ приступать къ оцѣнкѣ обширнаго труда г. Аонасьева безъ нѣкоторыхъ предварительныхъ объясненій: намъ необходимо хотъ въ общихъ чертахъ обозначить важнѣйшія точки и провести путеводныя нити мифологическаго изслѣдованія, чтобы отсюда войти въ обсужденіе вопросовъ, надъ рѣшеніемъ которыхъ трудился, или долженъ былъ потрудиться авторъ, а также — и въ частную оцѣнку отдѣльныхъ сторонъ его изслѣдованій. Сочиненіе г. Аонасьева — и по важности предмета, и по своимъ внутреннимъ достоинствамъ — принадлежитъ къ числу такихъ произведеній, оцѣнка

которыхъ не должна быть ограничиваема *краткимъ отзывомъ*: то трудолюбіе и та отчетливость, съ какими авторъ прошелъ избранный имъ путь, обязываютъ и критику ко вниманію отчетливому.

I.

Задачи мифологическаго изслѣдованія опредѣляются сами собою при взглядѣ на происхожденіе и историческое движеніе мифовъ и религіозныхъ представленій.

Разногласія о *происхожденіи* мифологіи можно считать законченными: съ тѣхъ поръ, какъ въ рѣшеніяхъ мифологическихъ вопросовъ приняло участіе сравнительное языкознаніе, не подлежитъ уже сомнѣнію, что *первоначальныя мифы* вышли изъ естественнаго человѣку стремленія — понять и выразить въ словѣ явленія и дѣйствія окружавшей его природы, что они были необходимыми формами мысли и представленія этихъ явленій и дѣйствій; поэтому въ основаніи древнѣйшихъ мифическихъ представленій всегда лежатъ какое-нибудь явленіе изъ жизни природы, и каждый древній мифъ есть поэтическая картина, или олицетворенное изложеніе природнаго явленія. Но это только первичный видъ мифа, начало его исторіи. Первымъ шагомъ его въ дальнѣйшемъ движеніи есть вторженіе его въ сферу религіи, гдѣ онъ опредѣляетъ предметы и порядки культа, и въ сферу практической жизни, гдѣ онъ порождаетъ многіе обычаи и обрядности. Съ постепеннымъ развитіемъ и усложненіемъ жизни, развиваются и усложняются и мифъ и религіозная сторона его, то отражая на себѣ мирные успѣхи развитія, то отбѣгаясь красками историческихъ обстоятельствъ, которыя переживаются народомъ: если до сихъ поръ въ мифахъ дѣйствовали существа нечеловѣческаго характера и въ сферѣ надземной, среди обстановки нечеловѣческой, то теперь они низводятся на землю, въ среду человѣка (локалізація мифовъ), и не только начинаютъ облекаться въ человѣческіе образы (антропоморфизмъ), но и принимаютъ въ свои ряды простыхъ смертныхъ, родились съ ними узами крови и допуская ихъ дѣятельному участію въ своей побѣдной борьбѣ

съ враждебными силами. Приблизженный къ человѣку, мнѣ становится человѣчественнѣе и идетъ слѣдомъ исторіи. Такъ, для него не проходятъ безслѣдно ни измѣненія въ бытѣ, ни успѣхи нравственнаго и эстетическаго образованія народа: первый вносятся въ мнѣ историко-этнографическое содержаніе, вторые—сообщаютъ ему нравственный смыслъ и художественное значеніе; равнымъ образомъ не остается безъ вліянія и дѣятельность фантазіи: она или распространяетъ мнѣ многими прибавками, или сливаетъ нѣсколько мнѣвъ въ одинъ, или—наконецъ—дробить цѣльный мнѣ на отдѣльныя части и каждую округляетъ въ цѣлое. Рядомъ съ такими измѣненіями мнѣвъ, происходящими незамѣтно въ самомъ народѣ, совершаются еще и другія: мнѣческимъ содержаніемъ овладѣваютъ *поэты* и *общіе* люди (жрецы) и ведутъ далѣе его развитіе, сообразно съ требованіями поэзіи и религіи; возникаетъ такъ-называемая *высшая мифологія*, которая приводитъ въ стройное цѣлое дотогѣ разрозненные элементы мнѣвъ и религіозныхъ представленій, восполняетъ пробѣлы ихъ ¹⁾ и находитъ свое выраженіе въ формѣ эпоса или поэтически-религіозной пѣсни (какова напр. *Völuspá*). Но самое сильное дѣйствіе на измѣненіе мнѣвъ оказываетъ внесеніе въ жизнь новыхъ началъ образованности и религіи, приходящихъ извнѣ и ведущихъ за собою множество новыхъ понятій и представленій. Подъ ихъ вліяніемъ старыя мнѣы подвергаются кореннымъ превращеніямъ: дѣйствіе ихъ, правда, можетъ въ главныхъ чертахъ сохраниться, но дѣйствователи, прежніе боги и герои, замѣняются новыми, а самъ мнѣ получаетъ новую религіозно-моральную одежду и направленіе; новыя начала приносятъ не столько отрицаніе дѣйствительности старыхъ мнѣческихъ представленій, сколько отрицаніе добраго нравственнаго начала ихъ, потому мнѣческія существа послѣднихъ не исче-

1) Замѣтить слѣдуетъ, что иногда эти пробѣлы восполняются изъ чужеродныхъ источниковъ, какъ это видно во многихъ космо- и теогоническихъ сказаніяхъ.

заютъ, но блѣднѣютъ въ своихъ индивидуальныхъ образахъ и отличаются безразличными чертами зла и враждебности къ человеку. *Мифологія* въ собственномъ смыслѣ оканчивается, мѣсто ея заступаетъ *демонологія*!

Не слѣдуетъ, однако, думать, что этимъ и оканчивается мифическая производительность народа: она обнаруживается не только въ измѣненіяхъ стараго, образовавшагося въ младенческую эпоху жизни племень, матеріала, но и въ созданіи новаго, въ произведеніи *новыхъ мифовъ*: въ мифическія формы можетъ облечься и историческое событіе и явленіе бытовой жизни, какъ скоро для этого соединяются извѣстные условія; цѣлая масса новыхъ мифовъ, баснословныхъ представленій и рассказовъ, цѣлый слой новѣйшей мифологіи образуется подъ вліяніемъ чужеземной легендарной литературы и переводныхъ произведеній книжной мудрости. Существенное отличіе этихъ мифовъ новаго порядка отъ старыхъ заключается въ томъ, что они совершенно чужды той природной основы, на которой выросли *мифы первичные*, и если въ нихъ довольно часто входятъ и старые элементы природнаго чудеснаго, то это потому, что народная фантазія привыкла къ этимъ поэтическимъ формамъ и не имѣетъ нужды творить новыя; стало быть она пользуется ими только въ *поэтическомъ смыслѣ*, и со стороны изслѣдователя будетъ большою ошибкою доискиваться природнаго значенія новыхъ мифовъ или посредствомъ его объяснить ихъ возникновеніе.

Таковы общія черты историческаго хода мифовъ и религіозныхъ представленій!

При всемъ разнообразіи отдѣльныхъ вопросовъ, на которые должно быть устремлено вниманіе мифолога, какъ видно — три главныхъ задачи предстоятъ вообще мифологическому изслѣдованію, именно: во 1-хъ, опредѣленіе происхожденія и первичнаго значенія мифовъ; во 2-хъ, раскрытіе ихъ исторической жизни, ихъ измѣненій по отдѣльнымъ народностямъ; наконецъ, въ 3-хъ, опредѣленіе происхожденія и значенія мифовъ вторичнаго порядка или новѣйшихъ.

Взглянемъ теперь на матеріалъ, которымъ можетъ располагать изслѣдователь, и обозначимъ методъ самаго изслѣдованія.

Міеы создаются при непосредственномъ участіи языка: наименованія міеиическихъ предметовъ, термны, обозначающія ихъ дѣйствія и отношенія, — живо отражаютъ въ себѣ то впечатлѣніе, которое явленія природы производили на душу младенствующаго человѣка; такимъ образомъ языкъ содержитъ въ себѣ элементы древнѣйшей міеологии и потому является не только богатымъ и важнымъ, но иногда единственнымъ источникомъ міеологическаго экзегеза. Далѣе — элементы міеовъ, самыя міеы, факты религіозныхъ представленій и понятій дошли до насъ въ *народныхъ преданіяхъ*, изъ которыхъ немногіе занесены въ старинныхъ памятникахъ письменности, большая же часть сохранилась въ бытѣ простаго народа, въ произведеніяхъ его поэзій, въ вѣрованіяхъ, обрядахъ и обычаяхъ; факты же новѣйшей міеологии содержатся или въ позднѣйшихъ произведеніяхъ письменности, или также — въ народныхъ преданіяхъ.

Сохранинные путемъ преданія, источники міеологии не уцѣлѣли въ своемъ первобытномъ, чистомъ видѣ: они прошли длинный рядъ превращеній и иногда до того измѣнились, что невооруженному глазу почти невозможно разсмотрѣть ихъ старинныя основныя черты; необходима ученая, методическая реставрація, которая, освободивъ ихъ отъ историческихъ осложненій и наносовъ времени, возвратила бы ихъ къ первичной чистой формѣ. Относительно языка, значеніе и возможность подобной реставраціи давно признаны, такъ что нѣтъ никакой надобности въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ. Тѣмъ же путемъ *сравненія*, которымъ идетъ лингвистъ при отысканіи затерянныхъ древнѣйшихъ формъ языка, долженъ слѣдовать и міеологъ, и притомъ не только соблюдая всѣ точныя приемы и правила лингвистики, но и дополняя и повѣряя свои заключенія ея данными. Когда найдена чистая форма міеа и природный смыслъ его сталъ ясенъ, тогда міеологу предстоитъ путь *обратнаго* изслѣдованія: онъ отыскиваетъ, какъ распространялись, развивались и измѣнялись міеы

у различныхъ родственныхъ племенъ подъ вліяніемъ природныхъ и историческихъ условій жизни. Здѣсь его изслѣдованіе становится на чисто-историческую почву и получаетъ историческое направленіе: въ мифахъ и религіозныхъ представленіяхъ онъ слѣдитъ развитіе и измѣненія народнаго быта, мысли и самосознанія, отмѣчаетъ въ нихъ движеніе исторической жизни и этнографическія ихъ особенности, словомъ—разсматриваетъ мифологию, какъ источникъ общей исторіи народной образованности. Особеннаго вниманія требуютъ такъ - называемыя *историческія свидѣтельства*, но вмѣстѣ съ тѣмъ — и особой осторожности употребленія; сохранившіеся въ старинныхъ памятникахъ письменности, они доносятъ къ намъ такіе факты мифологическаго и религіознаго быта, которые по большей части исчезли изъ живой народной памяти, но случайность ихъ, невѣрная передача свидѣтелями, тотъ ложный свѣтъ, въ которомъ они часто представляются, наконецъ—этнографическія смѣшенія въ нихъ, указываютъ на необходимость строгой предварительной критической оцѣнки и разбора этого рода источниковъ. Что касается до *новой мифологіи*, то изслѣдованіе ея представляется довольно сложнымъ: чтобъ раскрыть образованіе новыхъ мифовъ, должно войти въ тщательное разсмотрѣніе письменныхъ легендарныхъ ихъ источниковъ, и притомъ—не только въ отношеніи содержанія ихъ, но и языка, ибо одною изъ главныхъ причинъ возникновенія новыхъ мифовъ бываютъ недоразумѣнія и смѣшенія въ употребленіи, пониманіи и толкованіи словъ. Въ культурно-историческомъ отношеніи произведенія новой мифологіи имѣютъ весьма важное значеніе: они служатъ источникомъ многихъ суевѣрныхъ понятій и убѣжденій народа, отражаясь и въ практическихъ обыкновеніяхъ жизни, и въ области поэзіи и искусства. Предметъ новой мифологіи касается насъ стороною, именно на столько, на сколько необходимо для того, чтобы отдѣлать старое отъ новаго, потому мы воздерживаемся отъ дальнѣйшихъ объясненій, отсылая интересующихся къ сочиненію Альфреда Моріа: «*Essai sur les légendes pieuses du moyen âge*»

Р. 1843 и ко 2-й части Мюллеровыхъ «Lectures on the science of language», гдѣ они найдутъ не только богатый запасъ матеріаловъ, но и ясное, превосходное изложеніе общихъ приѣмовъ изслѣдованія и законовъ образованія новѣйшей мѣологіи.

Мы обозначили только важнѣйшія стороны мѣологическаго изслѣдованія, нѣкоторыя подробности опредѣляются ниже, при разсмотрѣніи труда г. Афанасьева, къ которому мы теперь и обращаемся.

II.

Принявъ во вниманіе недостаточность ученой разработки славянской мѣологіи, было бы несправедливо требовать отъ автора, чтобы онъ одинаково удовлетворилъ всѣмъ выше намѣченнымъ задачамъ мѣологическаго изслѣдованія: такой трудъ въ настоящее время — еще не по силамъ единичному ученому! Если онъ выполнитъ и одну часть ихъ, то окажетъ уже существенныя услуги наукѣ и будетъ имѣть полное право на доброе съ ея стороны признаніе.

Г. Афанасьевъ поставилъ своею задачею изслѣдовать обширную область народныхъ мѣопческихъ преданій, вѣрованій, обрядовъ и обычаевъ славянскаго племени, вышедшихъ изъ поэтическаго и религіознаго воззрѣнія на природу. Хотя онъ и не имѣлъ въ виду полнаго изложенія славянской мѣологіи, тѣмъ не менѣе его изслѣдованіе распространяется на всю ея область и касается всего ея содержанія. Главное, на что обращено вниманіе автора, есть раскрытіе первоначальнаго смысла и значенія мѣовъ и явленій языческой религіозной жизни, такъ что въ этомъ отношеніи его трудъ можетъ быть скорѣе названъ *природной символикой мѣологіи и религіи языческихъ славянъ, чѣмъ поэтическими воззрѣніями ихъ на природу*. Мы можемъ быть кратки въ обозначеніи достоинствъ сочиненія г. Афанасьева: они представляются уже достаточно извѣстными и признанными. Авторъ прошелъ путь изслѣдованія съ отчетливымъ вниманіемъ и любовью къ своему предмету, неохлажденнымъ утомительнымъ

свойствомъ кропотливой работы, онъ не скупился ни трудомъ собирателя, ни трудомъ мысли: въ отношеніи матеріала въ его сочиненіи мы получаемъ не только полнѣйшій изъ доселѣ бывшихъ сборниковъ древностей народнаго быта, но и въ полномъ смыслѣ слова — первое собраніе, составленное съ знаніемъ требованій науки, и потому важное и необходимое и для археолога и для историка образованности; можно уже и теперь пополнить нѣкоторыя части его, потому что авторъ не всегда располагалъ всѣми нужными пособіями; со временемъ такихъ дополненій потребуются еще болѣе, такъ какъ запасы народнаго быта еще долго не придутъ въ истощеніе; но отъ этого собраніе г. Афанасьева не утратитъ своего значенія и не войдетъ въ число книгъ неважныхъ и обходимыхъ. Въ отношеніи ученаго изслѣдованія — трудъ автора представляетъ первую систематическую попытку осмотрѣть съ сравнительной точки зрѣнія весь доселѣ собранный матеріалъ народныхъ славянскихъ преданій и вѣрованій. Хотя обширность задачи и слабость предварительной разработки предмета, какъ увидимъ далѣе, отразились на этомъ опытѣ нѣкоторыми пробѣлами и болѣе или менѣе важными недостатками, но въ общемъ можно признать, что авторъ дѣлаетъ въ наукѣ довольно значительный шагъ впередъ, именно — шагъ отъ случайныхъ и отрывочныхъ изслѣдованій въ области народныхъ преданій, отъ неопредѣленныхъ сближеній ихъ и нетвердыхъ мнѣологическихъ заключеній — къ систематическому разсмотрѣнію всего запаса фактовъ мнѣологическаго и религіознаго быта славянъ, къ положительному сравненію ихъ съ преданіями родственныхъ племенъ, съ цѣлью объясненія затеряннаго древнѣйшаго ихъ значенія и смысла. Вездѣ ли авторъ былъ одинаково счастливъ въ своихъ объясненіяхъ — откроется далѣе, но его опытъ приложенія объяснительнаго метода сравнительной мнѣологии къ славянскимъ преданіямъ вообще можетъ быть названъ удачнымъ: множество мнѣческихъ образовъ, суевѣрныхъ понятій и порядковъ жизни, получаютъ здѣсь впервые свое разумное, основанное на началахъ науки, естественное толкова-

ніе. Такія достоинства труда г. АѢанасьева нельзя не считать существенными.

Переходимъ къ подробностямъ. Наши замѣчанія мы раздѣлимъ на двѣ части: въ однихъ—мы рассмотримъ нѣкоторые характеристическія стороны изслѣдованія, въ другихъ—покажемъ, какъ авторъ воспользовался своими источниками. Замѣтимъ здѣсь напередъ, что если наше разсмотрѣніе будетъ имѣть преимущественно отрицательный характеръ, будетъ болѣе отыскивать слабыя стороны и указывать недостатки, чѣмъ выставлять стороны сильныя и отмѣчать достоинства труда г. АѢанасьева, то этого не слѣдуетъ объяснять въ неблагопріятную для автора сторону, именно — не слѣдуетъ думать, что отрицательныя стороны сочиненія или его недостатки перевѣшиваютъ положительныя или его достоинства: такое заключеніе будетъ вполнѣ ложно. Достоинства разбираемаго труда гораздо значительнѣе его недостатковъ, но именно потому мы болѣе и останавливаемся на послѣднихъ: они вызываютъ мотивированныя объясненія, тогда какъ при обозначеніи достоинствъ не предстоить надобности входить въ подробности и можно ограничиться болѣе или менѣе общими указаніями.

Г. АѢанасьевъ стремится раскрыть происхожденіе и первичный природный смыслъ мѡпическихъ и религіозныхъ представленій; единственный правильный путь къ этому, какъ указано выше, есть реставрація преданій или возведеніе ихъ къ древнѣйшей чистой формѣ посредствомъ освобожденія отъ наслоеній времени. Авторъ, хотя и признаетъ необходимость такого пути, но слѣдуетъ ему лишь въ немногихъ, исключительныхъ случаяхъ: обыкновенно онъ ставитъ рядомъ преданія славянскія и сходныя съ ними преданія другихъ родственныхъ племенъ, удерживая всѣ подробности и мелочи ихъ индивидуальнаго, народнаго развитія; въ этнографическомъ отношеніи такое сопоставленіе вполнѣ уместно, но при разрѣшеніи вопроса о происхожденіи и первоначальномъ смыслѣ мѡпическихъ представленій, оно порождаетъ запутанность и ведетъ къ ложнымъ заключеніямъ.

Это отчасти отразилось и на трудѣ г. Афанасьева: трудно составить себѣ ясное представленіе о томъ, какъ авторъ понималъ эпоху индо-европейскаго единства, т. е. какой объемъ быта, какія мифическія и религіозныя представленія усвоилъ онъ ей и какія предоставлялъ на долю послѣдующей индивидуальной жизни отдѣльных племенъ; кажется, что онъ въ этомъ отношеніи придавалъ слишкомъ много значенія *сходству* преданій и по немъ судилъ объ «общемъ наслѣдіи индо-европейскихъ народовъ»; по сходство еще не свидѣтельствуетъ о *тождествѣ* происхожденія: оно можетъ являться и независимо у разныхъ народовъ, какъ слѣдствіе одинаковаго развитія и условій жизни, оно, наконецъ, можетъ быть и слѣдствіемъ заимствованія (какъ напр. во многихъ сказкахъ); отъ сходства преданій заключать къ ихъ тождеству можно безошибочно только тогда, когда, возведенныя въ первичную чистую форму, они совпадутъ не только по содержанію, но и по тѣмъ словамъ и лингвистическимъ терминамъ, которыми обозначаются предметы ихъ; безъ этихъ же условій заключенія по сходству о тождествѣ не имѣютъ непреложной силы и могутъ быть призрачны. Несоблюденіе этого важнаго правила сравнительной мифологіи условило нѣкоторые недостатки сочиненія г. Афанасьева. Прежде всего оно отозвалось перевѣсомъ мифическаго матеріала надъ славянскимъ: поставленные рядомъ съ простыми элементарными славянскими преданіями, богатые внутреннимъ развитіемъ преданія родственныхъ народовъ часто совершенно заслоняютъ ихъ, тогда какъ, по задачѣ автора, преданія мифическія должны занимать только подчиненное, объяснительное мѣсто. Неудобства такого изложенія для славянской науки — очевидны, и они устранились бы, еслибы авторъ попытался выдѣлать мелкія черты индивидуальнаго развитія преданій и удержалъ бы только то, что принадлежало къ основной индо-европейской формѣ ихъ. Какъ ни остороженъ былъ авторъ въ своихъ сближеніяхъ и объясненіяхъ, онъ не всегда попадалъ на вѣрную дорогу: не всегда сближалъ только тождественныя или родственныя черты, не всегда бывалъ и свободенъ отъ увле-

ченія объяснять съ мифологической точки зрѣнія то, что вовсе не требовало никакого мифологическаго объясненія. И понятно — почему: такъ какъ мифическія представленія взяты имъ въ ихъ позднѣйшемъ видѣ, со всѣми мелочами бытовыхъ осложненій, то желаніе объяснить смыслъ цѣлаго мифа невольно распространяло мифологическое толкованіе и на всѣ частности его, при чемъ неизбежно появлялись и искусственныя объясненія, и чисто внѣшнія сближенія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ: на стр. 14—15 (т. II), говоря объ очистительномъ значеніи огня, авторъ видитъ отголосокъ этого мифическаго понятія въ обычномъ народномъ глѣченіи сибирской лэвы *посредствомъ раскаленнаго желѣза*, «которое въ глубочайшей древности принималось за эмблему Перуновой палицы»; но что же общаго между этимъ *раціональнымъ* медицинскимъ средствомъ и мифическимъ представленіемъ небснаго огня, кромѣ внѣшняго совпаденія предметовъ? На стр. 73 (т. II) читаемъ: «Народное повѣрье приписываетъ домовому особенную страсть къ лошадямъ; по ночамъ онъ любитъ разѣзжать верхомъ, такъ что нерѣдко поутру видятъ лошадей въ мылѣ: то же самое записано въ старинной хроникѣ (т. е. у Саксова Грамматика) о Святovitѣ». И то, и другое вѣрно; но невѣрно сближеніе, ибо между Святovitомъ и домовымъ нѣтъ ничего общаго и указанная авторомъ черта представляетъ въ обоихъ случаяхъ только простое народное объясненіе обыкновеннаго явленія (что замѣчено и самимъ Саксономъ, lib. XIV, p. 826 ed. Müllerii), но никакъ не даетъ права родить эти два различные мифологическіе образа. На стр. 91 (т. II), авторъ весьма вѣрно опредѣляетъ священное значеніе у индо-европейскихъ народовъ межевой черты и межевыхъ знаковъ, деревянныхъ столбовъ и камней, но ему не довольно того, что они служили вещественными знаменьями владычества родовыхъ пенатовъ и наглядно для всѣхъ указывали на рубежъ собственности, и онъ даетъ имъ слѣдующее мифологическое объясненіе: «деревянный столбъ (чурбанъ) — говоритъ онъ — былъ принимаемъ за воплощеніе Агни, такъ какъ въ немъ таится живая огонь, добываемый треніемъ,

и такъ какъ деревомъ питается священное пламя очага; камень же — символъ небеснаго пламени, которое возжегъ богъ-громовникъ каменнымъ молотомъ и низвелъ на очагъ въ видѣ молніи». Можно согласиться, что деревянные столбы и камни были грубыми изображеніями (идолами) боговъ терминовъ или пена-товъ; но чтобы матеріалъ ихъ, дерево и камень, указывали на мпическое представленіе небеснаго огня — это преувеличенное мпологическое толкованіе автора, которое едва ли выиграло бы въ вѣроятіи даже и тогда, когда удалось бы доказать, что индоевропейскія племена могли избирать для изображенія своихъ боговъ-терминовъ какой-нибудь иной матеріалъ, а не одни только дерево и камни. Повѣряя, что «водяной» находится въ близкихъ отношеніяхъ съ мельницами и мельникомъ, авторъ объясняетъ тѣмъ (стр. 236, II т.), что «мельница принималась за поэтическое обозначеніе громоносной тучи», а «водяной» былъ первоначально дождящее божество и только потомъ низведенъ на земные потоки». Что водяной былъ первоначально дождящимъ божествомъ — это еще можетъ быть допущено на основаніи нѣкоторыхъ, хотя и отрывочныхъ, но довольно рѣшительныхъ намековъ въ преданіяхъ; но объяснять отсюда и связь его съ мельницами и придавать послѣднимъ атмосферическое значеніе — нѣтъ ни основаній, ни надобности; ибо гдѣ же доказательство, что эта черта мпическаго представленія — дѣйствительно древняя и была въ мпѣ еще и въ то время, когда онъ имѣлъ чисто воздушный характеръ; гдѣ ручательства, что она не пропозшла, когда водяной сталъ властелиномъ земныхъ водъ; не естественно ли думать, что мельница поставляется въ связь съ воднымъ, какъ предметъ, который, находясь на его владѣніяхъ, стоитъ и въ нѣкоторой отъ него зависимости. Преданія даютъ этому объясненію полную силу; ибо какъ напр. можетъ быть объяснена съ точки зрѣнія атмосферическаго мпоа та *подать* или *дань* водяному, которая по народнымъ понятіямъ необходима при постройкѣ мельницы?! Далѣе (стр. 243, II т.) авторъ рисуетъ по народнымъ преданіямъ образъ дѣйствій водяныхъ и говоритъ,

что въ «ночную пору дерутся водяные съ лѣшими, отчего идетъ по лѣсу грохотъ и трескъ падающихъ деревьевъ и громко раздается во всѣ стороны шумъ плещущихъ волнъ: повѣрье, намекающее на битвы грозovýchъ духовъ; грохотъ и трескъ въ лѣсу и звучные удары по водѣ соотвѣтствуютъ громовымъ раскатамъ, отъ которыхъ сокрушаются темныя дебри облаковъ и льются дождевые потоки». Откровенно сознаемся — мы не понимаемъ причины такихъ объясненій: она могла бы существовать только тогда, когда бы можно было доказать, что мы дѣйствительно имѣемъ передъ собою поблекшія черты древняго мнѣческаго воззрѣнія на борьбу надземныхъ элементовъ природы; но ничего подобнаго нѣтъ въ настоящемъ случаѣ; представленіе о борьбѣ водяныхъ съ лѣшими не можетъ быть даже названо мнѣческимъ, это — простая попытка народнаго ума объяснить непонятное явленіе посредствомъ борьбы привычныхъ для него суевѣрныхъ образовъ; такія объясненія могутъ возникать во множествѣ каждую минуту, какъ только представится поводъ къ нимъ, они и исчезаютъ такъ же быстро, какъ появляются; относить ихъ къ древнему мѣу — невозможно, а потому напрасно и объяснять ихъ мѣологически. Замѣтимъ здѣсь вообще, что, по нашему мнѣнію, тогда только позволительно объяснять подобныя черты народныхъ суевѣрныхъ разсказовъ древними мнѣческими представленіями, когда можно указать строгія эпическія формы языка или поэзіи, въ которыхъ путемъ преданія должны были сохраняться эти представленія и, постепенно ослабѣвая и измѣняясь, входить въ современные суевѣрные разсказы; безъ этого же критерія — произвольныя объясненія неизбежны. Продолжимъ еще наши отдѣльныя замѣтки, которыя служатъ къ характеристикѣ изслѣдованія автора. Можно согласиться съ его мѣологическимъ объясненіемъ сказаній о связи змѣевъ съ женщинами (стр. 612, II т.), но когда онъ хочетъ объяснить мѣологически и нравственный мотивъ этихъ сказаній, какъ измѣна долгу матери, жены или сестры, когда «въ судѣ божьемъ», которому предоставляетъ оскорбленный сынъ рѣшеніе участи

взмѣницы матери (мечъ или стрѣла изъ лука сама находитъ и поражаетъ ее), — онъ видѣтъ мифическое представленіе «Перуна, разящаго молніепоноснымъ мечомъ и стрѣлами мать свою — облачную нимфу» (стр. 616), тогда его объясненіе отымаешь у сказанія его существенный нравственный элементъ, который здѣсь является вполне самостоятельнымъ и не долженъ быть выводимъ изъ первоначальнаго мифическаго представленія. Стремленіе автора объяснять всѣ частности преданій путемъ мифологическимъ иногда переходитъ въ настоящее увлеченіе, такъ на стр. 623—4 (II т.) онъ и столь обычное эпическое взмѣреніе неизмѣримо долгаго времени и пространства (жена должна искать своего потеряннаго мужа дотолѣ, доколѣ, странствуя, не вносить желѣзной обуви и не сотреть желѣзнаго посоха) объясняетъ — впрочемъ съ сомнѣніемъ — мифологически (т. е. — по его мнѣнію — пока не совершенно сброситъ съ рукъ и ногъ своихъ желѣзныхъ оковъ зпмы). На стр. 664 (III т.) авторъ объясняетъ названіе *волчье время*, употреблявшееся встарину для обозначенія зимнихъ мѣсяцевъ (декабря, января и февраля), тѣмъ, что «Зима въ образѣ волка нападала тогда на божій міръ и мертвила его своими острыми зубами». Принявъ въ расчетъ, что наименованія славянскихъ мѣсяцевъ возникли въ сравнительно позднюю эпоху (ср. соч. Миклошича: «Die slavischen Monatsnamen», W. 1867, p. 1), авторъ — думаемъ мы, поступитъ своимъ объясненіемъ въ пользу того, которое полагаетъ, что названія *волчьяго времени*, *волчьяго мѣсяца*, *волчица* происходятъ отъ обычной въ это время течки волковъ. Довольно часто авторъ указываетъ на связь вѣрованій, представленій и обычаевъ, при чемъ нерѣдко предоставляет догадливости читателя ближайшее ея уразумѣніе; такъ на стр. 48 (II т.) говорится: «бадникъ доселѣ поливается виномъ и масломъ; обсыпаніе его зерновымъ хлебомъ стоитъ въ связи съ мифическимъ представленіемъ дождевыхъ капель ниспадающими съ небесъ сѣменами; то же значеніе имѣетъ и обрядъ посыпанія молодой четы зернами, чтобы надѣлать ее сплюю чадородія». Едва ли это связь — дѣйствительная: зерновой хлебъ и безъ вся-

каго отношенія къ дождю, служилъ самымъ естественнымъ символомъ обилія жизни и плодородія; стоитъ вспомнить только наименованія его: *рожь, жито, обіле* и т. д. На стр. 288 (т. III) извѣстіе Стоглава о томъ, что на седьмой недѣлѣ великаго поста *жгутъ солому и кличутъ мертвыхъ* приводится въ объясняющую связь съ обычаемъ *полагать умирающую на солому*; вѣтшая связь между тѣмъ и другимъ — очевидна, но внутренней, объясняющей — мы не видимъ. Вообще должно замѣтить, что г. Аонасьевъ даетъ слишкомъ много силы связнымъ соотношеніямъ между отдѣльными фактами многочисленныхъ представлений, вѣрованій и обычаевъ: они являются у него звеньями одной цѣльной цѣпи, одной всеобъемлющей мысли; но простое мышленіе народа, конечно, не шло такъ далеко: оно могло породить представленіе или обрядъ, удовлетворяющій ближайшей мысли и побужденію, и если эти представленія и обряды сближались съ цѣлымъ кругомъ другихъ, то отсюда нельзя еще заключать, что это — связь сознательная и причинная, а не формальная, происшедшая только потому, что запасъ формъ мышленія былъ не великъ и не разнообразенъ, и оно по необходимости прибѣгало къ однимъ и тѣмъ же формамъ для выраженія различныхъ понятій и представлений.

Мы привели нѣсколько примѣровъ, характеризующихъ слабую сторону изслѣдованія г. Аонасьева, они взяты нами такъ сказать случайно, безъ намѣреннаго выбора; въ книгѣ отыщется еще много подобныхъ и даже болѣе яркихъ; потому мы считаемъ себя въ правѣ распространить на сравнительную часть труда автора слѣдующее общее замѣчаніе о недостаткахъ ея. Не возведя преданій къ чистой первоначальной формѣ и подвергая ихъ сравнительному объясненію въ позднѣйшемъ ихъ видѣ, со всѣми подробностями ихъ органическаго и случайнаго развитія, авторъ слишкомъ расширилъ мифологическій экзегезъ и слишкомъ мало призналъ бытовой, житейскій элементъ многочисленныхъ преданій: обыкновенныя немифическія черты ихъ онъ объяснялъ мифологически. Объясненія эти во многихъ случаяхъ

имѣють характеръ простой, неутвержденной на лингвистической основѣ — подставки мнѣической основы подъ позднѣйшія черты преданій; потому, при всемъ правдоподобіи своемъ, не имѣють силы полной достовѣрности. Нѣкоторыя сближенія фактовъ должны быть признаны внѣшними или неправильными.

Высказанное здѣсь сужденіе о слабыхъ сторонахъ сравнительнаго изслѣдованія г. Аонасьева требуетъ, однако, существеннаго ограниченія: оно вѣрно и справедливо лишь въ безотпослительномъ смыслѣ; когда же посмотрѣть ближе, что могъ исполнить авторъ въ условіяхъ современнаго состоянія науки, то наше сужденіе окажется слишкомъ требовательнымъ и должно быть смягчено болѣе чѣмъ на половину. Первые шаги въ наукѣ всегда страдаютъ не только многими оступами, но и вообще нетвердостью: изслѣдователь часто идетъ наугадъ, часто долженъ довольствоваться одними гипотезами, чтобы удовлетворить своему стремленію внести свѣтъ въ дотогѣ темную область; но было бы правильно основаніе его успій — и они не останутся безплодными. Такой первый рѣшительный шагъ въ наукѣ на правильномъ основаніи дѣлаетъ г. Аонасьевъ, и не признавать этой заслуги изъ-за многихъ оступей, увлеченій и недостатковъ его, иногда неизбежныхъ при новизнѣ дѣла — будетъ болѣе чѣмъ несправедливо. Мы не сомнѣваемся, что дальнѣйшее движеніе науки измѣнитъ многое въ сравнительныхъ сближеніяхъ и объясненіяхъ г. Аонасьева, но мы думаемъ, что она оправдаетъ, приметъ и усвоитъ изъ нихъ еще болѣе, ибо и теперь, въ несовершенномъ видѣ, огромное большинство ихъ отличается достоинствомъ истины и полною убѣдительною.

Весь изслѣдовательный трудъ и вниманіе г. Аонасьева сосредоточивается преимущественно на вопросахъ о происхожденіи и первичномъ природномъ смыслѣ мнѣическихъ представленій и фактовъ вѣрованья; но за эту первую, такъ сказать психологическую, задачу мѣолога, гдѣ онъ имѣетъ дѣло съ эпохой мѣоовъ, лежащей выше обособленія отдѣльныхъ народностей, — стоитъ другая, по нашему мнѣнію еще болѣе важная,

задача, именно—раскрытіе историко-этнографическаго значенія миеовъ у различныхъ народовъ. Здѣсь только миеологъ становится на историческую почву и трудъ его получаетъ историческое значеніе. Г. Аонасьевъ вполне признаетъ важность изслѣдованія историко-этнографической стороны миеическихъ представлений, онъ дѣлаетъ иногда въ этомъ отношеніи весьма мѣткія наблюденія и замѣчанія (ср. II т. стр. 50, 618—619; III т. стр. 124 и др.); но вообще удаляется отъ историко-этнографическихъ объясненій и воздерживается отъ нихъ даже и тамъ, гдѣ они какъ бы напрашиваются сами собою. Отъ этого произошла не только общая односторонность сочиненія, но и весьма замѣтные внутренніе пробѣлы въ немъ. Войдемъ, для примѣра, въ разсмотрѣніе нѣкоторыхъ частныхъ, гдѣ авторъ, по нашему мнѣнію, не принялъ въ расчетъ требованій историческаго изслѣдованія. На стр. 2—3 (II т.) опредѣляется природное значеніе Сварожича и Радегаста, въ которыхъ авторъ видитъ одно и то же молніеносное божество; онъ принимаетъ, что первобытный воиискій характеръ этихъ миеическихъ образовъ былъ причиною, почему они являлись распорядителями войнъ. Это до извѣстной степени вѣрно, но зачѣмъ же авторъ остановился на этомъ объясненіи, зачѣмъ онъ не пошелъ далѣе путемъ историческимъ? Вглядѣвшись ближе въ подробности образовъ и атрибуты этихъ божествъ, которые передаютъ Титмаръ и Адамъ Бременскій, и сопоставивъ ихъ съ характеромъ быта балтійскихъ славянъ, онъ увидѣлъ бы, что не столько природное воииское значеніе Сварожича-Радегаста, сколько самая жизнь сдѣлала ихъ богами-воиителями: среди мирнаго быта эти божества навѣрное не получили бы той грозной, воиисвенной опредѣленности, съ какою они явились у балтійскихъ славянъ, жизнь которыхъ вся проходила среди борьбы и воиискихъ тревогъ. Такіе образы божествъ, какъ Свантовигъ—у руянъ, Яровигъ—у лютичей, Сварожичъ-Радегастъ—у ратарей—составляютъ не только явленія религіознаго быта, но факты самой исторіи, судьбы которой выразились въ нихъ такими яркими чертами.

Взглянувъ на дѣло съ этой стороны, авторъ могъ бы дополнить исторію мпѳологическою страницей высокой важности. На стр. 225 — 229 (т. II) авторъ передаетъ преданія о рѣкахъ; въ мпѳологическомъ отношеніи эти рассказы (если только они народнаго происхожденія, пбо та форма, въ которой они занесены въ книгу автора—не народнаго, а литературнаго источника) любопытны, какъ факты олицетворенія рѣкъ, но въ историко-географическомъ они также имѣютъ свою долю интереса, потому что указываютъ на народныя географическія понятія, образовавшіяся, конечно, отъ торговыхъ сношеній. Эпосъ здѣсь овладѣлъ результатомъ житейскаго опыта народа. Остановимся далѣе на нѣкоторыхъ признакахъ историко-этнографическаго быта въ преданіяхъ о домовомъ и лѣшнемъ; авторъ съ большою вѣроятностью доказываетъ, что эти мпѳическіе образы суть водворенные на землѣ древніе божь-громовики; но позволителенъ вопросъ: что вызвало это низведеніе надземныхъ существъ на землю, подъ вліяніемъ какихъ причинъ они получили тѣ черты, которыми обозначаются въ позднѣйшихъ преданіяхъ? На этотъ вопросъ нельзя отвѣчать иначе, какъ указаніемъ на историко-этнографическія формы быта. Дѣйствительно, не былъ ли образъ лѣшаго непосредственнымъ произведеніемъ тѣхъ условій жизни и той эпохи, когда, по словамъ лѣтописца, люди «живяху въ лѣсѣхъ, якоже всякій звѣрь», не соответствуетъ ли домовая условіямъ прочной осѣдой жизни и ея порядкамъ! Причина, почему древнее природное представленіе было низведено на землю, заключалась именно въ новыхъ условіяхъ быта, которые побуждали народную мысль или къ созданію чего-нибудь новаго, или соответственнаго, или къ подновленію стараго сообразно съ ихъ потребностями; послѣднее представлялось болѣе легкимъ и, такимъ образомъ, старые привычные образы водворились на землѣ; но среди новой, земной обстановки, питаемые условіями народнаго быта, они развивались уже независимо отъ прежнихъ природныхъ основъ—на основаніяхъ историко-этнографическихъ. Поэтому—видѣть во всѣхъ чертахъ этого бытового періода мпѳ-

ческихъ сказаній о лѣшѣхъ и домовомъ одни только подновленные отголоски древнихъ представленій и объяснять ихъ, какъ это нерѣдко дѣлаетъ г. АѦанасьевъ (см. напр. II, 334, 337 и др.), позднѣйшею замѣною или перенесеніемъ, — значить все поступательное движеніе жизни и народной мысли сводить къ единственной косной работѣ претворенія стараго. На стр. 668 (II.) авторъ указываетъ преданія, соединяемыя съ дѣйствительными или предполагаемыми изображеніями слѣдовъ богатырской ноги или копыта богатырскаго коня на камняхъ; онъ объясняетъ ихъ мифологически, какъ отголосокъ представленія о мифическихъ коняхъ, которые «ударяя своими копытами въ облачныя горы и камни, выбивали изъ нихъ живые источники дождевыхъ ливней»; мы же полагаемъ, что эти преданія относятся не къ столь отдаленной мифологіи, и произошли вслѣдствіе желанія народа объяснить дѣйствительно существующія изображенія на камняхъ и скалахъ человѣчьей ступни или конскаго копыта ¹⁾; иное дѣло преданіе о конѣ Ильи Муромца, который ударомъ копыта выбиваетъ ключевой источникъ (ср. пѣсни Кирѣевскаго, вып. I, прил. с. XXXIII): оно, нѣтъ сомнѣнія, передаетъ древній мифъ и вполне подходитъ къ объясненію г. АѦанасьева. Въ историческомъ отношеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія тѣ мифическія сказанія, гдѣ человѣкъ выражаетъ превосходство своей природы предъ другими мифологическими существами, богатыми вѣншей силой, но бѣдными смысломъ и умѣніемъ дать этой силѣ плодотворное для дальнѣйшихъ успѣховъ жизни направление, таковы напр. преданія о первой встрѣчѣ великановъ съ людьми (II, стр. 719) и объ одиоглазомъ великанѣ (Получемъ, ib. стр. 696 и сл.). Г. АѦанасьевъ при объясненіи ихъ ограничивается мифическою стороною, которая, какъ бы ни была вѣрно опредѣлена, не исчерпываетъ сущности этихъ сказаній:

1) Происхожденіе этихъ изображеній — историко-юридическое: они служили знакомъ границы, до которой дошла и гдѣ остановилась нога завлаздѣтеля или его коня, сравни Grimm D. Rechtsalterthümer, p. 542.

въ первомъ изъ нихъ выражается понятіе о рѣшительномъ превосходствѣ новаго поколѣнія обитателей земли, людей-земледѣевъ предъ бродячимъ, чуждымъ условіямъ общественной осѣдлой жизни поколѣній великановъ; во второмъ — о торжествѣ ума и искусства человѣка надъ неразумною силою ихъ. Только принявъ во вниманіе эти бытовые и нравственные мотивы сказаній, становится возможнымъ надлежащее уразумѣніе историческаго смысла и значенія ихъ. Весьма ощутительнымъ пробѣломъ въ сочиненіи г. Афанасьева представляется неполнота свѣдѣній о *великанахъ историческихъ*, въ наименованіяхъ которыхъ отразились воспоминанія о событіяхъ исторической жизни славянъ и враждебныхъ столкновеніяхъ ихъ съ чуждыми народами, именно: объ исполинахъ, обрахъ, шуди и велетахъ. На стр. 170 и слѣд. (т. III) авторъ указываетъ на воинскій характеръ вилъ, онъ относитъ его къ мифическому источнику, такъ какъ «въ грозѣ древній человѣкъ созерцалъ борьбу стихій, кровавыя битвы и дикую охоту облачныхъ духовъ», а вилы несомнѣнно принадлежали къ разряду послѣднихъ; но можно спросить, почему идея же воинственности не соединена съ русалками, которыя по существу своему мало чѣмъ отличаются отъ вилъ? Очевидно, что не мифическія причины, а воинскій характеръ самаго быта сербовъ отмѣтилъ чертамъ воинственности эти любимыя созданія его фантазіи; самъ авторъ замѣчаетъ далѣе (стр. 173), что вилы являются «защитницами политической свободы и общественныхъ интересовъ южныхъ славянъ»; такъ не ближе ли будетъ въ связи съ этимъ объяснять и характеръ ихъ, чѣмъ выводить его исецкло изъ затеряннаго мифическаго наслѣдства! То же самое замѣчаніе можемъ мы распространить и на выводъ автора (стр. 367, III т.), что «облачныя жены и дѣвы, подъ вліяніемъ различныхъ мифическихъ сближеній, принимаютъ вѣщій и воинственный характеръ и дѣлаются участницами божественнаго суда»: никакія мифическія сближенія не могли бы развить воинственный характеръ этихъ образовъ, еслибы къ тому не представляла поводовъ самая исторія, тревоги воинской жизни и борьбы,

съ идеею которыхъ у многихъ племенъ неразлучно соединялась идея судьбы и суда божьяго! При объясненіи значенія народныхъ праздниковъ (гл. XXVIII) также, по нашему мнѣнію, слѣдовало указать на тотъ своеобразный *историческій* отгѣнокъ, съ которымъ они совершались у балтійскихъ славянъ (ср. Helm. I, 52; Ebo III, 3). Изъ этихъ немногихъ примѣровъ видно, что авторъ мало расположенъ къ изслѣдованію историко-этнографическихъ началъ мифологіи; кажется, впрочемъ, что эта задача совсѣмъ не входила въ планъ его труда: ему предстояло слишкомъ много работы при объясненіи возникновенія и первичнаго значенія фактовъ мифологическаго содержанія, и онъ оставилъ будущимъ изслѣдователямъ исполненіе дальнѣйшаго. Потому хотя въ общемъ и должно признать, что сочиненіе г. Аонасьева, по отсутствію наблюдений надъ историко-этнографическимъ элементомъ славянской мифологіи, страдаетъ односторонностью и неполнотою, но, въ виду обширности труда по исполненію первой задачи мифологическаго изслѣдованія, мы едва ли имѣемъ право вѣнчать этотъ недостатокъ въ вину автору и поступимъ вѣрнѣе, объяснивъ его извѣстнымъ *воздержаніемъ*, а не невниманіемъ къ требованіямъ науки. Въ отношеніи *новѣйшей* мифологіи должно замѣтить, что авторъ не имѣлъ въ виду спеціальнаго изслѣдованія ея и пользовался ея фактами на столько, на сколько въ нихъ вошли отголоски древнихъ мифовъ, которые онъ и отыскиваетъ среди различныхъ созданій позднѣйшей суевѣрной фантазіи и мысли, уже осложнившихся множествомъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ и чуждыхъ вліяній. По большей части онъ исполняетъ это весьма удачно, но иногда, по отсутствію предварительной критической разработки источниковъ, или же по увлеченію спеціалиста, относитъ къ чистому мифическому источнику такіе факты, которые вышли изъ гораздо болѣе поздняго литературнаго источника и должны быть объясняемы вліяніемъ христіанскихъ понятій и представленій. Мы еще будемъ имѣть случай коснуться этого предмета при рассмотрѣніи, какъ авторъ пользовался своими источниками, теперь же ограничимся немно-

гипп замѣчаніями, собственно въ подтвержденіе высказаннаго нами сужденія. На стр. 458—69 (II т.) авторъ приводитъ славянскія преданія о сотвореніи міра. Можно согласиться съ его объясненіемъ, что первоначальный космогоническій мифъ представляетъ образъ весенняго обновленія природы или созданія новой міровой жизни изъ змѣнаго ея омертвѣнія, но едва ли можно допустить, какъ полагаетъ авторъ, что этотъ мифъ у славянъ непосредственно выразился въ приводимыхъ имъ преданіяхъ. Источникъ ихъ — вовсе не мифическій, но книжный, апокрифическій (съ богумильскими элементами), который и указывается самымъ же авторомъ (стр. 462). Не станемъ спорить, можетъ-быть и въ основѣ апокрифическаго рассказа лежатъ зерно природнаго мифа, но во всякомъ случаѣ онъ созданъ не на славянской почвѣ и только пересаженъ на нее при посредствѣ письменности, въ ту эпоху, когда съ мифическими представленіями не соединилось никакого природнаго значенія; поэтому мифологическое объясненіе можетъ быть уместно развѣ въ отношеніи тѣхъ прибавокъ и отступленій противъ подлинника, которыя находятся въ преданіяхъ. На стр. 161—2 (II т.) авторъ говоритъ: «земля, по свидѣтельству старинныхъ памятниковъ, покоится на водахъ всесвѣтнаго (воздушнаго) океана...; но какъ тучи, эти небесныя водохранилища, олицетворялись въ образѣ великанскихъ рыбъ, то отсюда возникло вѣрованіе, что *земля основана на китахъ-рыбахъ*». По отношенію къ славянскимъ преданіямъ можно навѣрное сказать, что это вѣрованіе (!) возникло не изъ мифологическаго представленія, а изъ источника книжнаго, апокрифическаго, который и указывается далѣе авторомъ (стр. 163 и сл.). Кипы — посетители вселенной не могли принадлежать славянской мифологіи уже и потому, что славяне познакомились съ этимъ животнымъ въ очень позднее время. На стр. 44 (III т.) авторъ касается извѣстной «Повѣсти о бодрости человѣческой» или «о преніи Живота со Смертью»; онъ вѣрно опредѣляетъ христіанскій характеръ и позднѣйшее литературное происхожденіе этихъ произведеній, но потомъ самъ же отступаетъ

отъ этой мысли и говорятъ, что «можно допустить обратное воздѣйствіе, т. е. переходъ устнаго *древне-миѳическаго* сказанія о борьбѣ жизни и смерти въ старинные рукописные памятники, при чемъ оно необходимо подверглось литературной обработкѣ». На основаніи этого соображенія авторъ и вноситъ въ мѳологию важнѣйшіе мотивы этой «Повѣсти». Не входя въ разсужденіе о *возможности* такого обратнаго перехода, замѣтимъ, что гораздо надежнѣе было бы держаться *исторической достовѣрности*, т. е. указаній на позднѣйшій литературный источникъ этихъ произведеній средневѣковой трагической мысли о непрочности земнаго величія: внѣшнее сходство образовъ еще не представляетъ ручательства въ основной ихъ торжественности. Равнымъ образомъ и въ дальнѣйшемъ объясненіи «печальной обязанности» смерти — авторъ, какъ полагаемъ, слишкомъ много даетъ простора природно-мѳологическому объясненію и слишкомъ мало припимаетъ въ расчетъ религіозно-мѳологическую исторію этихъ образовъ, образовавшихся подъ вліяніемъ и при содѣйствіи разнообразныхъ этнографическихъ началъ, ибо — нѣтъ сомнѣнія, что представленія восточной (египетской) мѳологии о божествахъ смерти перешли въ античную, а отсюда — въ христіанскую мѳологию¹⁾, въ которой, по переработкѣ, пустили такіе глубокіе корни! Иногда авторъ соединяетъ совершенно различные и только формально тождественные предметы; это особенно видно въ главѣ (XXV, II т.) о «дѣвахъ судьбы» — Рожаницахъ: онъ приводитъ много мѣстъ изъ русскихъ и славянскихъ памятниковъ о существованіи астрологическихъ понятій и ученій въ древней Руси, пришедшихъ изъ Византии и Запада; но что общаго между ними и древне-славянскимъ вѣрованіемъ въ Родъ и Рожаницы? Правда, и астрологія основывала свои заключенія на теченіи звѣздъ и Рожаницы стояли въ связи со звѣздами; но первая — въ полномъ смыслѣ чужое, заносное знаніе,

1) См. ст. А. Maury: Des divinités et des génies psychopompes вѣ Revue archéologique 1845, t. I.

вторыя — естественно — произведеніе славянскаго народнаго вѣрованія. Авторъ видитъ это (стр. 322), но полагаетъ, что астрологическія ученія потому и находили сочувствіе народа, что основывались на древнѣйшихъ его вѣрованіяхъ; этимъ, по его мнѣнію, «объясняются и тѣ постоянные протесты, съ которыми вынуждена была выступать церковь противъ такъ называемаго «звѣздословія». Касаясь самаго жизненнаго вопроса о судьбѣ человѣка, астрологія могла находить сочувствіе въ народѣ и помимо своего родства съ его древнѣйшими вѣрованіями; въ то время, когда начали входить къ намъ астрологическія понятія, вѣрованіе въ Рожаницъ и связь ихъ съ звѣздами представлялось до того поблеклымъ, что едва ли народъ могъ приводить его въ какое-либо соотношеніе съ новымъ ученіемъ; протесты церкви противъ «звѣздословія» также мало указываютъ на народный элементъ астрологіи: они объясняются православнымъ направленіемъ русской церкви, которая не могла равнодушно отнестись къ еретичеству «звѣздословія». Отдѣливъ должнымъ образомъ *старое и народное* отъ *новаго и заноснаго*, авторъ правильно освѣтилъ бы и древне-мифологическое значеніе. Рожаницъ и астрологическія суевѣрія позднѣйшей мифологіи и, конечно, не имѣлъ бы нужды возводить послѣднія къ древнѣйшему мифическому источнику. Вліяніе христіанства обнаружилось не только въ формальной замѣнѣ старыхъ образовъ и представленій новыми, или въ подставкѣ ихъ, но и въ созданіи новыхъ, дотогѣ совершенно чуждыхъ народнымъ понятіямъ. Если первые допускаютъ мифологическую реставрацію, то вторые, не имѣя прямой связи съ природнымъ міровоззрѣніемъ, должны быть объясняемы изъ запаса христіанскихъ понятій и представленій. Обративъ вниманіе на внѣшность, въ нихъ найдешь не мало чертъ и мотивовъ древне-языческихъ воззрѣній: это было естественнымъ слѣдствіемъ преемственности историческихъ явленій; христіанская мифологія развивалась на готовой почвѣ и унаслѣдовала многіе элементы изъ древняго міра, но она своеобразно переработала ихъ и окончательно оторвала отъ при-

родной языческой основы, потому и объяснять ихъ послѣднюю — невозможно. Нѣтъ сомнѣнія напр., что средневѣковая демонологія по своимъ пластическимъ, внѣшнимъ образамъ представляетъ прямой отголосокъ античнаго язычества; но кто захотѣлъ бы объяснять ее первоначальнымъ природнымъ значеніемъ послѣдняго, тотъ, конечно, пошелъ бы по совершенно ложной дорогѣ и исказилъ бы сущность историческаго явленія. Тѣмъ менѣе, полагаясь, существуетъ оснований къ объясненію такихъ своеобразныхъ фактовъ христіанской міеологіи всецѣло изъ представленій славянскаго народнаго язычества: славяне, чрезъ посредство исторіи и литературы, получили эти факты готовыми, ихъ языческій капиталъ вовсе не участвовалъ въ созданіи представленій христіанской міеологіи, а развѣ только въ нѣкоторыхъ *измѣненіяхъ* или прибавкахъ къ нимъ, потому, подбирая послѣднія и пользуясь ими, міеологъ не долженъ распространять далѣе своего экзегеза и принимать за язычество то, чтó въ сущности принадлежитъ новымъ христіанскимъ воззрѣніямъ. Не всегда такъ поступаетъ г. Аонасьевъ; на стр. 29 и сл. (III т.) напр. онъ представляетъ весьма интересную картину мученій въ загробной жизни и входитъ въ міеологическое объясненіе ея подробностей; на нашъ взглядъ *непосредственная, внутренняя* связь этихъ представленій съ язычествомъ не только подлежитъ сомнѣнію, но и можетъ быть прямо отрицаема: христіанская идея строгаго возмездія за гробомъ воспользовалась только нѣкоторыми старинными чертами, чтобы создать свою новую картину, которая, по основной мысли (возмездія) была совершенно чужда языческому міру. Славянскія преданія и рассказы о загробныхъ казняхъ вышли несомнѣнно изъ провзведеній апокрифической и легендарной литературы (каковы напр. «Хожденіе Богородицы по мукамъ», «Житіе Василія Новаго», «Слово о воздушныхъ мытарствахъ Аврамія Смоленскаго» и пр.), и если авторъ называетъ ихъ *міеами* (стр. 32), то это справедливо въ смыслѣ позднѣйшемъ, христіанскомъ, но никакъ не въ языческомъ, и какъ ни интересны и важны они для исторіи народ-

ныхъ понятій и культуры славянской мифологіи, съ ними дѣлать нечего.

Отъ замѣчаній на общіе приемы изслѣдованія автора перейдемъ къ разсмотрѣнію того, какъ пользовался онъ своими источниками.

Всего слабѣе разработаны славянскія мифологическія древности — въ лингвистическомъ отношеніи; г. Ананасьевъ воспользовался почти всѣмъ, что доселѣ сдѣлано у насъ въ этой области; но, несмотря на это, лингвистическая сторона его труда представляется все же крайне бѣдною сравнительно съ богатствомъ другихъ сторонъ: онъ очень часто прибѣгаетъ къ общему указанію на *древній метафорическій языкъ*, какъ на ключъ къ разгадкѣ мифическаго разсказа; но рѣдко приводитъ дѣйствительные примѣры этого языка, почерпнутые изъ лексиконовъ славянскихъ нарѣчій, такъ что его слова имѣютъ болѣе характеръ вѣрнаго гипотетическаго указанія, чѣмъ доказательства. Съ умѣніемъ и не малымъ трудомъ авторъ выбралъ изъ русскихъ словарей тѣ слова и выраженія, которыя могли послужить его мифологическому объясненію, воспользовался отчасти и запасомъ словъ древне-славянскаго языка; но словари прочихъ славянскихъ нарѣчій остались не только не исчерпаны, но даже не видно, чтобы они были систематически, а не случайно употреблены въ дѣло. Важный для мифологическаго изслѣдованія матеріалъ топографическаго славянскаго ономастикона принять авторомъ во вниманіе настолько, насколько имъ можно было располагать въ коллекціяхъ Ходаковского (въ 7-мъ т. Сборника русскаго историческаго Общества); но со времени Ходаковского наука сдѣлала весьма значительныя въ этомъ отношеніи пріобрѣтенія, назовемъ напр. превосходные индексы къ регестамъ и грамотамъ славянъ балтійскихъ и чешскихъ (*Codex Pomerniac diplomaticus*, hrsg. v. Hasselbach, Kosegarten und Medem. 1843 sq.; *Meklenburgisches Urkundenbuch*, 4 т., 1867; *Regesta Bohemiae et Moraviae* ed. Erben, P. 1855, стр. 185, *Codex diplomaticus Poloniae* ed. Ryszczewski et Muczkowski, V.

1847—58, т. 3), сочин. Миклошича: Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen. W. 1864, сочинение Кладена: «Die Götter des Wendenlandes, und die Orte ihrer Verehrung» (въ Märkische Forschungen, III B. 2); наконецъ — обстоятельные «Списки населенныхъ мѣстъ Россійской Имперіи». Воспользовавшись матеріаломъ этихъ источниковъ, хоть по индексамъ, авторъ могъ бы во многомъ пополнить историческія свѣдѣнія о славянскомъ язычествѣ, какъ со стороны поэтическихъ воззрѣній его на природу, такъ и въ отношеніи религіозной этнографіи. Сравнительныя этимологическія объясненія автора не многочисленны и не обнаруживаютъ притязаній на самостоятельность: не будучи лингвистомъ, онъ довольствовался передачею того, что находилъ въ ближайшихъ пособіяхъ и что, по крайнему разумію, признавалъ за вѣрное; потому хотя его трудъ и бѣденъ лингвистическими разысканіями, но онъ не мало выигрываетъ отсутствіемъ произвольныхъ и гадательныхъ толкованій словъ, отъ чего не свободны еще многіе изслѣдователи древности¹⁾.

Полнымъ хозяиномъ является авторъ въ области источниковъ *народнаго быта* (вѣрованій, обрядовъ и обычаевъ) и *народной поэзіи*: ему одинаково знакомы и важнѣйшія собранія преданій родственныхъ племенъ, и собранія славянскія, онъ не упускаетъ изъ виду никакихъ существенныхъ²⁾ успѣховъ и приобрѣтеній

1) Какъ на рѣдкое отступленіе отъ обычной лингвистической сдержанности автора укажемъ здѣсь на этимологическое отождествленіе его, конечно — невольное, допущенное по недосмотру, слова *князь* съ словомъ *книжа*; иначе мы объяснить себѣ не можемъ, почему въ рядъ славянскихъ словъ: *князь, княз, książdz* попалъ и *czernokněžnik*, — *stwi* = чернокнижникъ, чародѣй!

2) Къ такимъ *существеннымъ* приобрѣтеніямъ науки г. Афанасьева, какъ видно, вовсе не причисляетъ новаго объясненія происхожденій русскихъ былицъ, высказаннаго и развитаго г. Стасовымъ: онъ оставляетъ его безъ вниманія — и, по нашему мнѣнію, имѣетъ на то основаніе. Будучи совершенно далекъ отъ стремленія вносить въ область науки постороннія, къ ней непринадлежащія, симпатіи и мысли, мы не задумались бы ни на одну минуту принять теорію г. Стасова во всемъ ея объемѣ и со всѣми послѣдствіями, если бы только она имѣла силу убѣдительности и была доказана съ соблюденіемъ

науки, не только умѣя усвоить ихъ, но и часто дополняя ихъ новыми наблюденіями, открывая новыя стороны предмета. Въ отношеніи полноты матеріала, хотя критика и можетъ замѣтить нѣкоторые пропуски, но и трудолюбіе автора и его собственная оговорка (см. Послѣсловіе къ I т.), показывая, что эти упущенія не зависѣли отъ воли его, дѣлаютъ всякій упрекъ неумѣстнымъ¹⁾. Изслѣдованіе г. Аонасьева — естествен-

строитъ ученыхъ пріемовъ. Къ сожалѣнію, этого-то мы и не могли отыскать въ ней: сравнительный методъ изслѣдованія автора мало соотвѣтствуетъ современнымъ требованіямъ науки и принадлежитъ къ ея прошедшему, когда рѣшали бы сближеніемъ сходныхъ по сущности явленій. Выводы автора стоятъ въ зависимости отъ его метода и потому — естественно — не могутъ быть признаны убѣдительными. Мы не думаемъ отрицать всякую пользу и достоинство труда г. Стасова: при изслѣдованіи археологическаго матеріала былинъ наука воспользуется его искусной группировкой фактовъ и многими отдѣльными его замѣтками; но главная мысль статьи, отрицаніе народности происхожденія русскихъ былинъ, до поры, пока оно не будетъ доказано болѣе строгими научными доводами — останется гипотезой, съ которой наукѣ дѣлать нечего.

1) Укажемъ, однако, на важнѣйшіе сборники фактовъ народнаго быта и поэзій, которыми не могъ воспользоваться г. Аонасьевъ. Относительно Литвы: Jucewicz—Litwa pod względem starożytnych zabytków. W. 1846; Lepner — Der Preussche Littauer, hrsg. v. Jordan, R. 1848; Töppen: Geschichte d. Heidenthums in Preussen (Neue Preuss. Prov. Bl. 1846, t. I), его же: Die letzten Spuren des Heidenthums in Preussen (ib. t. II); Bender: Zur altpreussischen Mythologie und Sittengeschichte (Altpreuss. Monatschrift, 1865, t. 2, 1867, t. 4); относительно славянъ польскихъ: Golębiowski — Lud Polski, jego zwyczaje i zabobony, W. 1830; его же—Gry i zabawy różnych stanów, Warsz. 1831; его же: Domy i dwory, W. 1830; Maciejowski: Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów. W. 1842, 4 v.; Kozłowski: Lud. Pieśni, Podania, Baśnie, Zwyczaje i Przysady ludu z Mazowsza. W. 1868, 4 вып.; Oscar Kolberg — Lud, jego zwyczaje i sposób życia. Warsz. 1857 — 70, 3 v.; J. Grajner — Studya nad podaniami ludu naszego (въ Библиотека Warszawska 1859, t. 2 и 3); Töppen—Aberglauben aus Masuren. L. 1868; относительно славянъ чешскихъ и моравскихъ: Krolmus — Staročeskí pověsti, hry obyčeje etc. Pr. 1845 — 51, 3 v.; Kulda — Der Aberglauben und die Volksgebräuche in der Mährischen Walachei (въ Schriften der hist. stat. Section d. mährisch-schlesischen Gesellschaft der Natur- und Landes-Kunde. Br. 1856, B. IX); Houška: Pověři národní v Čechách (Čas. č. Mus. 1853, 1854, 1856); относительно славянъ лужицкихъ: Горчанскаго — Von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Wenden (Provinzialblätter, I. 1782); Pannach: Reliquien der Feld-, Wasser- und Hausgötter unter den Wenden (Lausitz. Monatschr. 1797); относительно славянъ сербскихъ: Караджичъ: Живот и обичаји народа српскогo, Б. 1867; Ljubic: Obi-

но — обращено только къ мифологическому элементу произведеній народного быта и поэзіи; но желая осмотрѣть ихъ съ этой стороны со всевозможною полнотою, стремясь не проглядѣть въ нихъ ни одной черты мифическаго характера, авторъ, во-первыхъ, иногда переходитъ законную грань и ищетъ мифическаго начала тамъ, гдѣ его нѣтъ; во-вторыхъ, пользуется нѣкоторыми указаніями, которыя, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказываются сомнительными или вовсе недостовѣрными. Приведемъ доказательства того и другаго. На стр. 29 (II т.) авторъ видитъ слѣды древняго поклоненія очагу въ слѣдующихъ пословицахъ: «на печкѣ сидѣлъ, кирпичамъ молился» (русск.), «ко није виѣо пркве—и пећи се клања» (сербск.); даже, на стр. 37 (II т.) мы читаемъ: «отголосокъ древнѣйшаго вѣрованія, что дѣти суть плодъ благодатнаго вліянія Агни, слышнѣся въ сербской эпической формулѣ, которою выражается мать о своемъ ребенкѣ: «моје благо у пепелу расте». Обративъ вниманіе на то, какую роль играетъ печь въ ежедневномъ бытѣ простолюдина, авторъ не отыскалъ бы въ этихъ пословицахъ ни малѣйшаго слѣда мифологическихъ отголосковъ: въ переложеніи на обыкновенный, не фигурный языкъ первыя просто обозначаютъ человѣка, который не усерденъ къ хожденію въ церковь и лѣжится на печи; вторая же—указываетъ только на обычное дѣтское занятіе возиться въ золѣ возлѣ печки (ср. сказки на стр. 483 и сл.). Особенно широко пользуется г. Афанасьевъ сказками: онъ объясняетъ съ мифологической точки зрѣнія самыя мельчайшія ихъ подробности. Такой приѣмъ намъ кажется слишкомъ смѣлымъ при теперешнемъ состояніи нашихъ свѣдѣній объ этомъ родѣ поэтическихъ произведеній: не говоря уже о томъ, что многія сказки переходили отъ одного народа къ другому и путемъ книжной, литературной и путемъ устной передачи, до-

čaji kod Morlakah u Dalmacil. Z. 1846; наконецъ, относительно славянъ русскіхъ: Czerwiński—Okolica zadniestraka, Lw. 1811, Schmidt-Goebel—Russinische Volksnaturgeschichte (въ Oesterreichische Revue, 1865, t. 3, 4 и 5).

вольно вникнуть въ самый характеръ ихъ, чтобы воздержаться отъ рѣшительныхъ попытокъ возводить каждую черту и каждый мотивъ ихъ къ природному мифологическому источнику: болѣе чѣмъ прочія произведенія народной поэзіи, выражающіяся въ строгой эпической формѣ, сказка подвержена свободной обработкѣ сказателя и постороннимъ случайнымъ прибавкамъ; онѣ являются по первому ближайшему поводу, часто безъ всякаго отношенія къ какимъ-либо мифическимъ воспоминаніямъ, вызываемыя единственно движеніемъ соображенія или фантазіи рассказчика; возьмемъ одинъ примѣръ, на стр. 779 (II т.) г. Ананасьевъ приводитъ сказку о трехъ братьяхъ, названныхъ по времени ихъ рожденія: *Вечоркой*, *Полуночкой* и *Зорькой*; онъ видитъ въ этихъ именахъ мифическіе отголоски¹⁾; но представимъ себѣ, что рассказчикъ рассказывалъ сказку о подвигахъ трехъ братьевъ, изъ которыхъ одинъ родился вечеромъ, другой — въ полночь, третій — на зарѣ, какъ обыкновенно случается въ сказкахъ, эти братья не имѣли опредѣленныхъ именъ; и затѣмъ, чтобы отвѣтить требованіямъ обычая, и затѣмъ, чтобы различить героевъ, сказочникъ чувствовалъ побужденіе окрестить ихъ именами, его мысль остановилась на признакѣ времени рожденія — и вотъ явились Вечорка, Полуночка, Зорька; другой рассказчикъ былъ менѣе оригиналенъ, онъ воспользовался бы обыкновенными именами христіанскаго календаря и назвалъ бы своихъ героевъ Иваномъ, Петромъ или Дмитріемъ и т. д.; но какъ въ послѣднихъ не возможно видѣть никакаго мифическаго отголоска, такъ точно и въ первыхъ. Чтобы увѣриться, что сказка можетъ осложняться фантастическими или естественными прибавками и мотивами, вовсе независящими отъ природной мифической основы, стоитъ только сравнить сказку, передѣланную изъ былинны, съ ея источникомъ — и свобода сказочной обработки станетъ ясна

1) «Такъ какъ темные облачные покровы отождествлялись съ ночнымъ мракомъ, а грозное пламя съ рушящимъ отблескомъ зари, то понятно, почему молниеноснымъ богатырямъ, рождающимся изъ нѣдръ ночеподобныхъ тучъ, присвоены названія: Вечорка, Полуночка и Зорька» (стр. 779, II т.).

сама собою. Не споримъ, что часто весьма трудно полагать строгое различіе между природно-мифическимъ элементомъ сказки и свободнымъ поэтическимъ началомъ ея, такъ какъ послѣднее нерѣдко пользуется тѣмъ же старымъ запасомъ мифическаго чудеснаго, по во всякомъ случаѣ, мы думаемъ, наука здѣсь болѣе выиграла бы отъ нѣкотораго ограниченія въ мифологическихъ толкованіяхъ, чѣмъ отъ широкаго, но шаткаго, примѣненія ихъ. Другое замѣчаніе, какое мы считаемъ себя въ правѣ сдѣлать автору, касается нѣкоторыхъ сборниковъ, которымъ онъ довѣрялъ и которые едва ли заслуживаютъ довѣрія; потому что, вмѣсто простой передачи фактовъ народнаго быта и поэзіи, они предлагаютъ украшенную обработку ихъ, вмѣсто ученыхъ цѣлей — преслѣдуютъ литературныя. Весь запасъ литовскихъ преданій, столь важныхъ для сравнительнаго сопоставленія съ славянскимъ, авторъ почерпнулъ изъ книги: «Черты изъ исторіи и жизни Литовскаго народа». В. 1854. Книга дѣйствительно интересная и въ отношеніи мифологіи, но на сколько достоверны ея свѣдѣнія, можно видѣть уже изъ того, что всѣ они почти цѣлкомъ взяты изъ Литовской мифологіи Нарбутта, изслѣдователя самаго не достовернаго въ предметѣ мифологіи, не обладавшаго даже достаточными познаніями въ литовскомъ языкѣ и потому населившаго литовское язычество и множествомъ вымышленныхъ боговъ и множествомъ преданій въ новѣйшемъ вкусѣ¹⁾. То же можно замѣтить и о книгахъ г. Боричевскаго: «Повѣсти и преданія славянскаго племени», который передаетъ въ литературной формѣ многіе народныя и ненародныя рассказы (таковы напр. взятые имъ изъ Клехдъ Войцיצкаго). Пользоваться подобными сборниками — опасно, особенно, когда нѣтъ средствъ по ихъ указаніямъ дойти до чистаго, неискаженнаго источника. Позволимъ себѣ сдѣлать еще одно общее замѣчаніе о мифологи-

1) Довольно вѣрную оцѣнку Мифологіи Нарбутта сдѣлалъ г. Милуцкій въ *Gazeta Warszawska* 1854 № 18 — 19; ср. также *Biblioteka Warszawska*, 1858, Т. I, р. 448 sq.

чешскихъ объясненіяхъ автора въ примѣненіи къ народной поэзіи. Если не ошибаемся — онъ слишкомъ расширяетъ объемъ такъ называемой *арійской эпохи* и относитъ къ ней такіе факты, которые могли развиваться только гораздо позднѣе: онъ основывается на видной *тождественности* и *сходствѣ* преданій у различныхъ индо-европейскихъ племенъ; такое основаніе въ отношеніи языка должно быть признано вполне твердымъ и вѣрнымъ; но относительно преданій и мотивовъ народной поэзіи оно оказывается шаткимъ и недостаточнымъ; ибо не подлежитъ сомнѣнію, что сходныя, даже тождественныя преданія и черты могутъ возникать у разныхъ народовъ независимо, могутъ и переходить отъ одного народа къ другому. Удовлетворяя требованіямъ строго ученаго метода, необходимо различать *психическое* и *этнографическое* тождество народныхъ преданій, необходимо всегда имѣть въ виду, что послѣднее можетъ быть безошибочно отмѣчено только тогда, когда встрѣчаетъ поддержку со стороны языка; равнымъ образомъ — и въ общемъ понятіи объ эпохѣ арійскаго единства — слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, строго держаться тѣхъ положительныхъ данныхъ, которыя добыты сравнительнымъ языкознаніемъ; иначе, оступивъ и преувеличенія — неизбежны.

Авторъ придаетъ не малую цѣну и *историческимъ свидѣтельствамъ* о славянскомъ язычествѣ, русскія и нѣкоторыя славянскія свидѣтельства ему извѣстны *ex ipso fonte*, другія же греческія, латинскія и арабскія (за вычетомъ Ибнъ-Фадлана и Ибнъ-Дасты, которые близко знакомы ему) — изъ вторыхъ рукъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, позволительно заключать изъ того, что въ его, вообще очень тщательномъ, трудѣ встрѣчаются неточности и пропуски въ отношеніи историческихъ свидѣтельствъ, которые иногда даютъ поводъ и къ ложнымъ заключеніямъ. Укажемъ важнѣйшее: нѣсколько разъ авторъ пользуется чешскими глоссами Вацерада къ Санъ-Галленскому словарю «*Mater perborum*», но каждый разъ онъ понимаетъ дѣло такимъ образомъ, какъ будто-бы Вацерадъ чешскія слова объясняетъ латин-

скими толкованіями¹⁾, тогда какъ въ дѣйствительности происходило обратное: къ готовымъ латинскимъ словамъ знаменитаго энциклопедическаго словаря Вацерадъ приписывалъ и сочинялъ слова чешскія (и нѣмецкія). Это обстоятельство никакъ не слѣдуетъ упускать изъ виду при историческомъ употребленіи чешскихъ глоссъ: не принявъ его въ достаточное вниманіе, можно легко впасть въ многія ошибки: можно подумать, что всѣ глоссы идутъ изъ прямого народнаго источника, можно и латинскому тексту приписать *объяснительное* значеніе и на немъ основать заключенія о славянскихъ древностяхъ. Последнее и случилось съ г. Аонасьевымъ. Къ словамъ *Mater uerborum: «triceps, qui habet capita tria capree»* Вацерадъ поставилъ славянскую переводную глоссу: *trihlav*, отсюда авторъ заключилъ, что Триглавъ почитался у чеховъ и имѣлъ три козлиныя головы, «что свидѣтельствуется, будто бы, за его громоносное значеніе» (козель—животное, посвященное Тору, стр. 524, II т.) и что роднить его съ сербскимъ Трояномъ, у котораго были козья уши (стр. 643, II т.). Здѣсь — отъ невѣрнаго взгляда на характеръ памятника вышелъ цѣлый рядъ произвольныхъ заключеній: латинскій текстъ вовсе не относится къ славянскому божеству, онъ существуетъ самъ по себѣ и вообще ни въ чемъ не касается ничего славянскаго; Вацерадова глосса есть простой переводъ слова *triceps*, можетъ-быть, также безъ всякаго отношенія къ славянскому идолу; заключеніе, что чехи почитали Триглава, не находя никакой поддержки въ другихъ свидѣтельствахъ старины, не можетъ быть выводимо изъ одного Вацерада даже и въ томъ случаѣ, если принять, что съ глоссой *Trihlau* онъ соединялъ представленіе о славянскомъ идолѣ: Вацераду — можно ду-

1) Стр. 333 (II т.): «въ старинныхъ глоссахъ, приводимыхъ Ганкою, слово *uilkodlac* истолковано: faunus»; на стр. 138 (III т.): «Вацерадъ толкуетъ слово *poludnice* — dryades, deae siluarum»; стр. 565 (т. III in nota): «въ *Mater uerborum* — *uilkodlac* истолковано: incubi». По настоящему слѣдовало бы сказать: «слова — faunus, dryades, incubi Вацерадъ толкуетъ словами: *uilkodlac*, *poludnice*».

мать — были извѣстны мнѳологическія древности балтійскихъ славянъ. Послѣднія два мнѳологическія толкованія, какъ выводы изъ предыдущаго, падаютъ сами собою. И напрасно авторъ не провѣрилъ воображаемаго факта свидѣтельствами очевидцевъ у жизнеописателей Оттона Бамбергскаго, которые очень подробно описываютъ штетинскій идолъ Триглава (Ебо: III, 1; Негбордус: II, 13) и, конечно, ни словомъ не понимаютъ козлиныхъ ушей его. На стр. 33 (II т.) говорится, будто-бы «Титмаръ упоминаетъ о гаданіи у славянъ *по пенлу*»; авторъ былъ введенъ въ невѣрное показаніе своимъ ближайшимъ источникомъ: Титмаръ ничего не говоритъ о *гаданіи по пенлу*, онъ передаетъ только (lib. I, с. 3), что на озерѣ «Glomaci» (въ землѣ Долнцовъ) творятся чудеса: пока въ странѣ господствуетъ миръ и плодородіе, поверхность его бываетъ покрыта пшеницей, овсомъ и желудями; когда же угрожаетъ война, озеро предвѣщаетъ будущій исходъ ея кровью и *пенломъ*. Въ главѣ о гаданіяхъ (I. VI, с. 17) Титмаръ вовсе не упоминаетъ о *пенлѣ*. На стр. 55 (II т.), положившись на показаніе Ходаковскаго, авторъ утверждаетъ, что «по указанію старыхъ саксонскихъ писателей, славянскіе владѣтели за р. Одрою соединяли съ своею свѣтскою властью и духовную». Ничего подобнаго нельзя найти въ самихъ источникахъ, но крайпей мѣрѣ въ тѣхъ изъ нихъ, которые современны эпохѣ самостоятельнаго существованія балтійскихъ славянъ. На стр. 265 (II т.) сообщается извѣстіе, что «при закладѣ храма (у балтійскихъ славянъ) избранное мѣсто очищалось огнемъ и водою, при пѣніи и пляскахъ». Такаго извѣстія, сколько намъ вѣдомо, нѣтъ ни въ одномъ древнемъ источникѣ, и если это заключеніе самаго автора, основанное на какомъ-нибудь намекѣ позднѣйшаго обычая, то его слѣдовало выдѣлать изъ ряда собственно историческихъ свидѣтельствъ. На стр. 246 (т. III), слѣдуя Мацѣевскому, извѣстная грамота папскаго легата Якова 1249 г. усволяется поморянамъ, тогда какъ въ дѣйствительности она относится только къ прусской Литвѣ и не должна быть включена въ число источниковъ славянскихъ древностей.

стей¹⁾. На сколько полны сообщаемыя авторомъ русскія историческія свидѣтельства о славянскомъ язычествѣ, на столько же у него неполны и недостаточны по своей краткости свидѣтельства греческихъ, латинскихъ и арабскихъ писателей: иногда опускается самое существенное, такъ напр. въ главѣ XXV (о Судьбѣ) не только не объяснено, но даже и не упомянуто знаменитое свидѣтельство Прокопія о томъ, что славяне не знаютъ Судьбы (*De bello Gothico* III, с. 14); отдѣлъ о жертвоприношеніяхъ, идолахъ и храмахъ у славянъ также нуждается въ значительныхъ пополненіяхъ и болѣе точномъ изложеніи²⁾. Кажется, впрочемъ, что авторъ и не имѣлъ въ виду полнаго собранія историческихъ свидѣтельствъ о славянскомъ язычествѣ, что онъ обращался къ нимъ въ той мѣрѣ, въ какой они могли служить пособіемъ при объясненіи фактовъ и отголосковъ язычества, сохранившихся въ преданіяхъ, обрядахъ и обычаяхъ современнаго быта; тѣмъ не менѣе, думаемъ мы, удовлетворивъ и въ этомъ отношеніи требованія науки, онъ значительно увеличилъ бы достоинство своего труда.

Хотя памятники *славянской и русской* письменности гораздо позднѣе языческой эпохи, хотя исключительное направленіе рѣдко позволяло имъ входить въ интересы стараго быта, но все же въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сохранились живые слѣды борьбы язычества съ христіанствомъ и весьма важныя, нерѣдко единственные, факты языческихъ вѣрованій и обычаевъ; потому значеніе этого рода свидѣтельствъ въ наукѣ славянскихъ древностей стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Г. Афанасьевъ

1) См. наше изслѣдованіе: О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ. М. 1868, стр. 182—3.

2) Такъ при обзорѣ ии языческихъ жертвоприношеній изъ показаній западныхъ лѣтописцевъ приводится очень немногое и то въ общихъ словахъ; извѣстія о храмахъ и идолахъ, кромѣ своей неполноты (обойдены напр. показанія Массуди, біографовъ Оттона и т. д.), страдаютъ еще тѣмъ недостаткомъ, что представлены въ *сводѣ*, безъ различія къ какимъ племенамъ и мѣстностямъ относится каждое, такъ что незнакомые съ предметомъ легко могутъ подумать, что каждый храмъ у балтійскихъ славянъ былъ именно таковъ, какимъ его описываетъ авторъ.

пользуется произведеніями письменности съ такимъ исчерпывающимъ, всестороннимъ вниманіемъ, умѣетъ отыскать въ нихъ такія интересныя стороны, доселѣ почти нетронутыя наукою, что мы могли бы привѣтствовать науку съ богатѣйшимъ приобрѣтеніемъ, если бы цѣны его значительно не уменьшалъ самый характеръ тѣхъ письменныхъ источниковъ, которыми особенно часто пользовался авторъ. Мы разумѣемъ источники переводныя, запесенныя къ намъ изъ Византіи, и между ними преимущественно произведенія апокрифической литературы, или — какъ ихъ называли у насъ — *отреченныя книги*. Авторъ заимствуетъ изъ ихъ басеннаго содержанія весьма многія данныя¹⁾, но оставляетъ читателя въ полномъ недоумѣніи на счетъ причинъ такого заимствования. Судя по тому, какое широкое, самостоятельное мѣсто въ своемъ изслѣдованіи отводитъ онъ этимъ источникамъ, можно подумать, что онъ считаетъ ихъ прямымъ матеріаломъ древне-славянскаго язычества, но допустить въ авторѣ такое странное мнѣніе трудно: ему хорошо извѣстно, что апокрифы — произведенія не русскаго, а византійскаго или инаго происхожденія, что они распространились у насъ въ переводахъ въ довольно позднюю эпоху и, стало быть, стоятъ рѣшительно внѣ непосредственной связи съ древнимъ, языческимъ міровоззрѣніемъ славянъ.... Остается предположить, что авторъ, допуская несомнѣнное участіе апокрифовъ въ образованіи позднѣйшихъ суевѣрныхъ представленій и мнѣній народа, пользуется ими въ смыслѣ источника новѣйшей русской мифологіи; но и это предположеніе отстраняется словами самого автора: «основываясь на свидѣтельствахъ апокрифической литературы, говорятъ онъ, обыкновенно думаютъ, что тѣ суевѣрныя представленія, какія равно встрѣчаются и въ отреченныхъ памятникахъ, и въ устахъ простолюдиновъ, проникли въ народъ путемъ книжнаго вліянія; но если приять во вниманіе, что представленія эти стоятъ въ

1) См. томъ II, стр. 33, 162 — 4, 294, 356, 447, 557, 584, 592 — 3; томъ III, стр. 61 — 2, 301, 304, 413, 440 и др.

тѣснѣйшей связи съ прочими, несомнѣнно народными вѣрова-
ніями, то едва ли не слѣдуетъ заключить, что самые апокрифы
заимствовали свои басни изъ древнѣйшихъ языческихъ преданій,
болѣе или менѣе общихъ всѣмъ индо-европейскимъ племенамъ
(стр. 164, II т.). Очевидно, что авторъ, часто встрѣчаясь съ по-
разительно сходными представленіями въ области народныхъ
суевѣрій и въ отреченныхъ книгахъ, объяснялъ это сходство
тождествомъ мифическаго источника ихъ и допускалъ апокрифы
въ качествѣ важнаго пособія при объясненіи русскихъ суевѣр-
ныхъ преданій, совершенно на тѣхъ же правахъ, какъ и пояс-
няющія народныя преданія другихъ родственныхъ племенъ. Такъ
слѣдовало бы поступить, если бы основная мысль автора была
справедлива, но противъ нея можно сказать многое: во 1-хъ,
авторъ преувеличиваетъ родственныя связи апокрифическаго
баснословія съ древними языческими преданіями, общими всѣмъ
индо-европейскимъ племенамъ: апокрифы приняли въ себя нѣко-
торыя черты язычества въ ту эпоху, когда послѣднее представ-
ляло самый нестройный и мутный сбродъ суевѣрій, сошедшихся
сюда со всѣхъ концовъ отходящаго древняго міра; между этимъ
состояніемъ язычества и древнимъ чистымъ источникомъ его уже
лежала цѣлая бездна; но она увеличилась еще болѣе, когда апо-
крифы подвергли своей обработкѣ эти, и безъ того помутившіеся,
элементы язычества; а потому связь апокрифическаго басносло-
вія съ мифологіей индо-европейскихъ племенъ могла быть только
формальная, да и та—въ весьма слабой степени, и вводить апо-
крифы въ область древней мифологіи — невозможно. Во 2-хъ,
вопреки мнѣнію автора, можно съ полною достовѣрностью
утверждать, что сходство апокрифическихъ преданій со многими
русскими суевѣрными представленіями происходитъ не отъ тож-
дественности мифическаго источника ихъ, а отъ прямаго вліянія
апокрифовъ на народную мысль, отъ того, что они были глав-
нѣйшимъ источникомъ новой русской мифологіи. Одно широкое
распространеніе въ древней Руси апокрифической литературы
уже достаточно свидѣтельствуетъ въ пользу такого мнѣнія, но

если этого мало, то достаточно взглянуть на приводимыя авторомъ параллели, чтобы окончательно убѣдиться, какъ обильно народъ черпалъ изъ апокрифическаго источника.... Авторъ не признаетъ этого, но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы доказать противное, слѣдовало бы, напримѣръ, привести хоть нѣсколько примѣровъ, гдѣ бы древнѣйшія, несомнѣнно мнѣческія, представленія отозвались бы и въ *древнѣйшихъ*, до-христіанскихъ, народныхъ преданіяхъ и въ апокрифахъ такими же близко-родственными чертами, какія замѣчаются между *позднѣйшими* преданіями и апокрифами. Ни одно изъ приводимыхъ авторомъ сближеній не указываетъ на первоначальное коренное родство послѣднихъ, но на *зависимыя* между ними отношенія. Мы вовсе не думаемъ отрицать важность изученія апокрифическихъ произведеній для науки славянской мнѣологии: для періода мнѣологии позднѣйшей они, какъ сказано, являются самымъ главнымъ источникомъ, да и далѣе—не прояснивъ вліянія апокрифовъ на область народнаго суевѣрія, нельзя отдѣлится настоящаго мнѣческаго древнѣйшаго элемента въ немъ отъ позднѣйшаго баснословія и, стало быть, почти невозможно идти прочнымъ шагомъ въ изслѣдованіи мнѣологическаго значенія народныхъ преданій; но мы полагаемъ, что, держась точки зрѣнія автора, трудно достигнуть вполне удовлетворительныхъ результатовъ, и гораздо скорѣе можно усложнить вопросъ, чѣмъ привести его въ ясность. Было бы, однако, несправедливо и въ этой области не признать весьма существенной заслуги автора: его сближенія и сопоставленія апокрифическихъ разсказовъ съ народными преданіями представляютъ не только богатый, но и вполне новый матеріалъ, который, нѣтъ сомнѣнія, будетъ употребленъ съ пользою послѣдующей наукой. Кромѣ апокрифовъ авторъ иногда пользуется и другими переводными произведеніями, такъ на стр. 430 и 440 (III т.) приводятся показанія Святослава Сборника (какого?), на стр. 17 (II т.) и 601 (III т.)—Кормчей книги; по нашему мнѣнію, такими свидѣтельствами должно воспользоваться тогда, когда будетъ доказано пхъ сла-

вянское происхождение, независимое отъ греческаго текста, подобно, напримѣръ, прибавленіямъ славянскаго переводчика къ тексту слова Григорія Богослова (XI в.); до той же поры нельзя полагаться только на средство *содержанія*, ибо, руководясь имъ, легко можно усвоить славянамъ то, чего они не имѣли. Матеріалъ поученій и словъ, направленныхъ противъ остатковъ язычества, подобранъ авторомъ довольно полно; но мы не можемъ раздѣлить мысль его относительно присутствія языческихъ образовъ и представленій въ нѣкоторыхъ словахъ, имѣющихъ цѣлью представить наглядную картину христіанскихъ понятій; такъ напр., на стр. 22—3 (III т.) онъ приводитъ изъ слова Кирилла Туровскаго пзображеніе кончины міра и страшнаго судилища и сближаетъ его съ языческими представленіями; но зная, съ какою поэтическою свободою обрабатывалъ этотъ проповѣдникъ событія и представленія христіанства, можно положительно утверждать, что въ его картинѣ нѣтъ никакихъ отголосковъ язычества, а тѣмъ болѣе — язычества славянскаго, что она представляетъ только самостоятельную поэтическую варіацію на тѣму Апокалипсиса. То же замѣчаніе можно отнести и къ стр. 262 и 304—5 (III т.), гдѣ *распространенные* христіанскіе мотивы приняты, на основаніи вѣдншаго сходства, за воспоминанія язычества. Столь же мало, какъ полагаемъ, имѣлъ авторъ права при объясненіи древняго народнаго мировоззрѣнія славянъ принимать въ уваженіе такія позднія произведенія народной мысли, каковы *лубочныя картинки* (стр. 44, II т. et passim) и *раскольничьи рассказы* о табакѣ, чаѣ и картофелѣ (стр. 507, II т.): предполагаемая языческая основа этихъ рассказовъ — болѣе чѣмъ сомнительна.

Въ заключеніе нашего разсмотрѣнія общихъ сторонъ изслѣдованія г. Афанасьева, мы позволимъ себѣ небольшое указаніе на существенный пропускъ въ немъ: авторъ почти не пользуется тѣми данными славянскаго язычества, которыя въ обиліи сохранились у историковъ-лѣтописцевъ, преимущественно же у Гайка и Длугоша. Нужна, правда, особая осторожность въ употребле-

ниѣ сообщаемыхъ ими свѣдѣній, нужно умѣніе различить то, что они желаютъ сказать, отъ того, что слѣдуетъ изъ ихъ словъ само собою, но, выдѣливъ ихъ вольную и невольную ложь, можно извлечь изъ нихъ весьма важные и достовѣрные факты по древностямъ народнаго быта.

III.

Предложимъ еще нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній на тѣ частности сочиненія г. Аонасьева, которыя, по нашему мнѣнію, нуждаются въ дополненіяхъ и исправленіяхъ.

Стр. 83 (II т.) народное повѣрье, по которому новопостроенное жилье влечетъ за собою смерть кого-нибудь изъ обитателей и только послѣ этого можетъ быть прочно, авторъ объясняетъ мыслью, что домъ не можетъ стоять безъ охраны его стѣнъ родовымъ пенатомъ, что ему необходимо въ душѣ усопшаго получить своего генія хранителя, своего домового. Но самъ авторъ приводитъ далѣе факты, изъ которыхъ видно, что — по понятіямъ народа можно отвратить необходимость человѣческой смерти приписаніемъ въ жертву какого-нибудь животнаго, пѣтуха, курицы, ягненка и т. д., онъ видитъ въ этомъ жертвенныя приношенія въ честь богини земли — да потерпитъ она воздвигаемое на ней зданіе... Въ такомъ случаѣ первое объясненіе оказывается совершенно излишнимъ, да къ тому же, оно само по себѣ невлѣстно; ибо, допустивъ его, слѣдуетъ принять, что домъ и его обитатели могли получать своего хранителя-пената въ лицахъ животныхъ и птицъ. Принявъ во вниманіе весь рядъ преданій, сюда относящихся (см. ст. Erbena: Obětování zemi въ Časopis č. Musea 1848, I), можно видѣть, что они произошли изъ мысли о мпощескихъ владѣтеляхъ земли, которые требуютъ умпощивительной жертвы взаимѣнъ уступаемой ими собственности, и берутъ ее насильно, если она не приносится имъ добровольно. Этимъ понятіемъ, по нашему мнѣнію, должно объяснять и повѣрье, что клады, подземныя сокровища даются

въ руки не иначе, какъ съ жертвою жизни человѣка или животнаго, ср. стр. 373—4. (II т.).

Повѣрья о домашнемъ порогѣ (стр. 113—15, II т.) можно дополнить нѣкоторыми чертами изъ погребальныхъ обычаевъ, см. наше изслѣдованіе: «О погребальныхъ обычаяхъ славянъ», стр. 219, 226. Свѣдѣнія о *судахъ божьихъ* (стр. 195 и сл., II т.) требуютъ также дополненій изъ польскихъ и чешскихъ источниковъ, см. сочиненія: Volkmann—Das älteste polnische Rechtsdenkmal. Elb. p. 16 sq., Hube—Wiadomość o sądach bożych w dawnéj Polsce (въ Bibliot. Warszawska, 1868, T. III, p. 312 sq.); Н. Jirěček—въ ст. Srovnalost starého práva slovanského ze starým pravém hellenským, římským a germanským (въ сборн. Rozpravy z oboru historie etc. I, 1860, p. 92—95), его же—Slovanské právo v Čechách I, p. 185, Slaviček—Upomínki na tak zvané «Soudy boží» (Právník, roč. I, 1861, p. 70—77).

Мифологическое значеніе *жребія* (стр. 199—201, II т.) заслуживало бы, по нашему мнѣнію, большаго вниманія, см. сочиненіе Нануша «Zur slavischen Runenfrage». W. 1855. Равнымъ образомъ и юридически-бытовое употребленіе жребія, встречающееся уже въ древнѣйшихъ памятникахъ нашей письменности, принятое и узаконенное Судебникомъ 1550 г. (ст. XXVII) и Уложеніемъ (гл. XIV) и живо присущее до сихъ поръ въ бытѣ народа, — можетъ имѣть свой интересъ и для мифолога, такъ какъ оно основывается на религіозной мысли.

Въ изслѣдованіи преданій о морскихъ и рѣчныхъ дѣвахъ (стр. 218—19, II т.) — съ точки зрѣнія автора — позволительно воспользоваться записанными у древнѣйшихъ польскихъ летописцевъ преданіями о мифической Вандѣ и нѣкоторыми русскими преданіями объ Ольгѣ, если только существуютъ речательства ихъ народнаго происхожденія.

Упомянутое о божествѣ (?) Макоши (стр. 267, II т.) въ извѣстной поддѣльной малорусской думѣ (Кулишъ — Записки о южной Руси, I, стр. 172), выраженное даже съ сомнѣніемъ —

намъ кажется неумѣстнымъ, потому что въ поддѣлкѣ памятника не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Свѣдѣнія о русскихъ судебныхъ поединкахъ собраны довольно полно (стр. 270, II т.), но за то славянскихъ извѣстій — почти никакихъ; а между тѣмъ очень важно изслѣдованіе вопроса: вездѣ-ли, у всѣхъ-ли славянъ судебные поединки были самостоятельнымъ явленіемъ, чисто народною формою божьяго суда; по крайней мѣрѣ — относительно поляковъ и чеховъ должно быть допущено значительное ограниченіе, такъ какъ на ходъ образованности ихъ, несомнѣнно, обнаружили вліяніе рыцарскія идеи западной Европы. Къ литературѣ предмета о судебныхъ поединкахъ (у автора 273 с. in notis) можно прибавить замѣчательное изслѣдованіе Бѣляева 2-го, въ Москвитянинѣ 1855, № 13 — 14.

Къ преданіямъ о герояхъ и богатыряхъ, погруженныхъ въ вѣковой сонъ во внутренности горы (стр. 448 и сл.), можно присоединить малорусское преданіе о Вернигорѣ (см. Nowosielski—Pisma, W. 1857. T. II, p. 193 sq.); сюда же принадлежитъ, какъ полагаемъ, и извѣстное сказаніе о томъ, «какъ перевелись богатыри на Руси», по крайней мѣрѣ — основной мотивъ его — тотъ же, окаменѣніе (погруженіе въ сонъ) въ горѣ. Сравненіе же этихъ сказаній съ средневѣковою баснею о «двѣныхъ народахъ», заключенныхъ въ горахъ Александромъ Македонскимъ (у автора стр. 454 сл., 675, II т.), не можетъ быть признано необходимымъ, такъ какъ послѣдняя усвоена нами путемъ книжнаго заимствованія.

Преданія о *Змѣѣ Горыничѣ* можно дополнить слѣдующимъ любопытнымъ рассказомъ ппока Пароенія: «одни люди захотѣли испытать пропасти Карпатъ и, взявши много канатовъ, взошли на гору, и посадили одного на толстую палку, привязанную къ веревкѣ, и начали спускать внизъ, и потомъ, какъ далеко его спустили и стало его уже не видать, онъ вскричалъ; они же его потащили вверхъ и ощутили великую тяжесть, и съ трудомъ могли тащить; егда же увидали они, что тащутъ великаго Змія,

ибо онъ челоѣка проглотилъ, а канатъ былъ въ пасти его, то испугались и отрубили канатъ, а Змій полетѣлъ въ пропасть (Сказанія о странствіи и путешествіяхъ. М. 1855. 1-е изд.).

На стр. 564 (II т.) авторъ говоритъ, что металлическихъ амулетовъ, подобныхъ такъ-называемой черниговской гривнѣ, извѣстно—*шесть*; ихъ извѣстно, по крайней мѣрѣ, въ три раза болѣе этого.

При разсмотрѣніи преданій объ ушедшихъ подъ воду (провалившихся) церквахъ и городахъ (стр. 630 и сл. II т.) слѣдовало бы привести извѣстный рассказъ о Китежѣ (напечатанъ нѣсколько разъ, см. Заволжскіе очерки гр. Толстаго, т. I и Пѣсни Кирѣевскаго, вып. 4, стр. CXVIII).

О несостоятельности отождествленія Триглава съ Трояномъ (стр. 643, II т.) мы уже замѣчали выше; здѣсь добавимъ, что нѣтъ ни малѣйшаго основанія считать названіе Триглава моологическимъ именемъ божества: это—названіе идола.

На стр. 71 (III т.) мы встрѣчаемъ странное мнѣніе, будто «болѣзнь, извѣстная въ медицинѣ подъ именемъ *Vitiosae pnyctiae* — названа такъ вслѣдствіе уподобленія ея прихотливой пляскѣ грозовыхъ духовъ, сопутствующихъ Святовиту въ его бурномъ шествіи по воздушнымъ пространствамъ». Въ то время, когда въ первый разъ появилось названіе: «Chorea Sti Viti (въ Страсбургѣ въ 1418)»—ни имени, ни воспоминаній о Святovitѣ болѣе не существовало; самая болѣзнь носила прежде названіе «Chorea Sti Johannis», потомъ же, съ усиленіемъ почитанія св. Вита, какъ одного изъ 14 святыхъ во скорбѣхъ *помощниковъ или аптекарей*, перенесена подъ особое его завѣдываніе и получила его имя¹⁾.

На стр. 294 (III т.) авторъ говоритъ: «кукушка, по указанію *старинной польской хроники*, была посвящена *Жизнѣ*, богинѣ міровой жизни (весны), плодородія и любви»; а на стр.

1) Hecker: Die grosse Volkskrankheiten des Mittelalters. B. 1865, p. 142—153.

686—9 опредѣляется и мѣтологическое значеніе самой богини. Указываемая здѣсь старинная польская хроника—вовсе не старинная, а дознанное новѣйшее произведеніе, приписанное мнимому лѣтописцу Прокошу (X вѣка?)¹⁾, далѣе—самое существованіе божества Живы подлежитъ сильному сомнѣнію, по крайней мѣрѣ доказательства противъ нея, приводимыя Ганушемъ (*Sitzungsberichte der böhmischen Gesellsch. der Wissenschaften* за 1865, I, стр. 123 и сл.), могутъ быть названы очень убѣдительными.

Къ стр. 663—9 (III т.). Исчисленіе и разборъ славянскихъ наименованій мѣсяцевъ могли быть гораздо полнѣе, если бы авторъ воспользовался сочиненіемъ Мяклошича: «Die slavischen Monatsnamen», W. 1867. Мѣтологическое толкованіе названія *Слъчєя* — едва ли вѣрно; гораздо вѣроятнѣе думать, что оно обозначаетъ время снятія сѣна (для іюля и августа у чеховъ) и время рубки лѣса (для января и февраля — у прочихъ славянъ).

Къ тому, что передаетъ авторъ (II, 170; III, 745, 774)—на основаніи свидѣтельствъ Саксона Грамматика — о Свантовитѣ, находимъ не лишнимъ прибавить извѣстіе Вильгельма Мальмесбюри († 1141), сколько знаемъ—доселѣ незамѣченное въ наукѣ славянской древности: «*Vindelici Fortunam adorant, cuius idolum loco nominatissimo ponentes, cornu dextrae illius componunt (v. imponunt) plenum potu illo, quod graeco uocabulo ex aqua et melle hydromellum uocamus. Vnde ultimo die Nouembris mensis in circuito sedentes in commune prae gustant; et si cornu plenum inuenerint, magno strepitu applaudunt, quod eis futuro anno pleno copia cornu responsura sit in omnibus; si contra—gemunt.*» (*De rebus gestis regum Anglorum* II, 189. Pertz. Mon. XII, 466). Что подъ именемъ *Vindelici* здѣсь разумѣются венды, балтійскіе славяне—это не подлежитъ сомнѣнію и видно изъ предыдущаго (напр. *Imperator (Heinricus III) Vindelicos et Leuticios*

1) См. рецензію Добровскаго на Варшавское изданіе, въ (*Wiener*) *Jahrbücher der Literatur*, B. XXXII, pag. 77—80.

subegerit), но относится ли это извѣстіе специально къ рунамъ — это вопросъ. Какъ бы то ни было, оно важно, какъ дополненіе и подтвержденіе словъ Саксона Грамматика о культѣ Свантовита.

Стр. 650—1, 784 (II т.) дополнимъ слѣдующимъ сказаніемъ изъ Ноткера (XI в.): «*Cibus héizet grece brosis. dánnan sint ambrones kenámot. Die héizent ouh antropofagi. dáz chit commensores hominum. in scithia gesézzene. Sie ézent náhtes. tés sie síh táges scámen múgen. also man chit. táz ouh házessa (=вѣдмы=hexen) hler inlände thén. Aber uueletabi die in germania sizzent tie uuír uuilze héizée. die ne scáment síh nícht zechédenne. dáz sie íro parentes mit mēren réhte ézen súlln. dānne die vuúrme.* (Wackernagel: Altdeutsches Lesebuch, B. 1859, p. 132—3). Сказаніе это замѣчательно и въ мифологическомъ и въ историческомъ отношеніи: изъ мнѣшескаго повѣрья о великанахъ-людодоѣдахъ вырастаетъ историческая сказка о людодоѣствѣ обровъ и велетовъ только потому, что имена послѣднихъ становятся нарицательными наименованіями великановъ. Относительно отцеѣдства велетовъ см. Grimm D. R.-Alt. стр. 488: сказка — какъ видно — поддерживалась дѣйствительнымъ обычаемъ предавать смерти престарѣлыхъ людей.

На стр. 425 (III т.) авторъ говорить: «слово *колдунъ* въ коренномъ его значеніи доселѣ остается неразъясненнымъ». Въ видѣ предположенія мы позволимъ себѣ сопоставить корень его *кадъ* съ готск.: *hlauts*, дрвн.: *hlōz, lōz, hluz*; англс.: *hlot, hlūt, lēt*; дрсѣв.: *hlaut, hlutr*; сред. и нов. нѣм.: *lōz, loss* или *loos*. Если это сближеніе справедливо, то слово *колдунъ* будетъ по корню обозначать *гадателя посредствомъ жребіевогъ, предсказателя, жреца* (такъ какъ жрецы занимались преимущественно подобными гаданіями. Tietm. Chr. VI, стр. 17); см. любопытное сочиненіе Гомейера: «Über das Germanische Loosen», B. 1854, стр. 7—8, 12—13.

На 648 стр. (II т.) авторъ останавливается на космогоніи стиха о Голубиной книгѣ. Не входя въ оцѣнку его объясненій,

пользуемся только случаемъ, чтобы обратиться съ вопросомъ къ нашимъ индологамъ, не извѣстно ли имъ *ex ipso fonte* то брахманское учение, на которое указываетъ В. Менцель (*Mythologische Forschungen und Sammlungen* I, 1832, стр. 5—6), не приводя своего прямого источника. Такъ какъ для рѣшенія вопроса о происхожденіи стиха о Голубиной книгѣ это преданіе имѣетъ весьма важное значеніе, то мы и передаемъ его здѣсь: «творцомъ міра былъ древнѣйшій первобытный человѣкъ (Макго-Anthropos) Брама: изъ его глазъ творится солнце, изъ груди — мѣсяцъ, изъ носа — воздухъ, изъ волосъ — растенія, изъ соковъ (крови) — вода, изъ костей камни. Вся природа произошла изъ макро-человѣка, распавшагося на свои составныя отдѣльныя части, и новый человѣкъ, которому суждено жить на землѣ и быть ея распорядителемъ, представляетъ микрокосмъ или соединеніе въ маломъ объемѣ этихъ отдѣльныхъ частей: всѣ элементы и силы природы обратно входятъ въ его тѣло: солнце образуетъ глазъ, мѣсяцъ — груди, воздухъ — носъ (дыханіе), растенія — волосы, вода — кровь, камни — кости».

Наконецъ, сдѣлаемъ общее замѣчаніе, относящееся къ главѣ (XXVII) о вѣдовскихъ процессахъ: въ ней собраны факты только русскаго быта, матеріалъ западно-европейскій изложенъ лишь въ общихъ чертахъ, чешскій же и польскій — почти не тронутъ. Это тѣмъ болѣе жалъ, что, сопоставивъ разныя обнаруженія одного и того же явленія, авторъ пришелъ бы къ любопытнымъ заключеніямъ объ отличіяхъ какъ въ демонологіи у различныхъ славянскихъ племенъ, такъ и въ общемъ характерѣ ихъ образованности.

Этимъ мы заключимъ наше разсмотрѣніе сочиненія г. Ананасьева.

Обзоръ успѣховъ славяновѣдѣнія за послѣднiе три года.

1873—1875.

I. Эпоха до-славянская. Литва.

Тѣсная, генетически-родственная связь славянской народности съ литовскою и болѣе древнею — индо-европейскою уже давно перестала быть вопросомъ. Имѣя прямыя фактическія доказательства необходимости изученія славянскаго языка и быта сравнительно съ языкомъ и бытомъ индо-европейскихъ племенъ вообще и литовскаго племени въ особенности, я нахожу умѣстнымъ начать этотъ обзоръ съ разсмотрѣнія трудовъ, посвященныхъ изслѣдованію именно этой области, т. е. индо-европейской и литовской старины. Ограничиваюсь, впрочемъ, только тѣмъ, что имѣетъ ближайшее, специальное отношеніе къ успѣхамъ славянской науки.

Въ настоящее время едва ли кто отважился бы на реставрацію быта индо-европейскаго (арійскаго) племени до его раздѣленія на отдѣльныя вѣтви — въ томъ объемѣ и направленіи, какіе находимъ въ извѣстномъ сочиненіи Ад. Пиктэ: «*Les Origines Indo-Européennes*» 1859—63. Что для женевскаго лингвиста казалось легкимъ, или по крайней мѣрѣ — удобоисполнимымъ, то теперь представляется не только труднымъ, но, пока мѣсть — и вовсе не исполнимымъ. Средства науки очень расширились, но еще болѣе расширились и стали строже требованія ея: придерживаться тѣхъ приемовъ, которыхъ придерживался Пиктэ — стало рѣшительно невозможною, а вмѣстѣ съ

тѣмъ приходится пока отказаться и отъ самой попытки такой полной реставраціи нераздѣльной арійской эпохи. Настоящее время — есть время подбора и разработки матеріала для такой цѣли. Правда, и изъ того, что уже собрано, приведено въ порядокъ и разъяснено, возможно до извѣстной степени составить себѣ понятіе о нѣкоторыхъ чертахъ быта эпохи арійскаго единства, но только о *нѣкоторыхъ*, очень немногихъ сравнительно съ тѣми богатствами, которыя раскрываются въ увлекательной, полу-фантастической книгѣ Пяктѣ. Наши заключенія и выводы сузились и какъ бы сократились, но взамѣнъ того приобрѣли прочность, чѣмъ едва ли могла похвалиться наука прежняго времени.

Такъ какъ единственнымъ источникомъ нашихъ свѣдѣній объ арійской и латто-славянской эпохахъ является *языкъ*, то естественно, что работа лингвистической палеонтологіи вся должна сосредоточиться на разборѣ индо-европейскаго *лексикона* и *сравнительной этимологіи*. Три послѣдніе года принесли много замѣчательнаго въ этомъ отношеніи. Самымъ важнымъ должно признать окончаніе большого «*Санскритскаго Словаря*»¹⁾, гг. акад. Бѣтлинга и пр. Рота. Словарь этотъ, какъ справедливо отозвалось II-е отдѣленіе Академіи Наукъ въ своемъ адресѣ, представляетъ неисчерпаемый родникъ изученія всей многочисленной и благородной семьи арійскихъ языковъ, значеніе его и для славянскаго языкознанія столь же рѣшительно и велико, сколько и для изученія и анализа другихъ индо-европейскихъ языковъ. «Петербургскій» словарь (подъ такимъ названіемъ онъ извѣстенъ въ ученой Европѣ) не есть словарь сравнительный, но едва ли какой иной болѣе пригоденъ и надеженъ для такой цѣли, какъ онъ, и это — по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что матеріалъ его вполне достовѣренъ, почерпнутъ изъ дѣйствительныхъ источниковъ; во-вторыхъ — потому, что эти-

1) Sanskrit-Wörterbuch, hrsg. von der kaiser. Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von Otto Böhtlingk und Rudolph Roth. Pt. 1852—75, 4^o, 7 томовъ.

мологія словъ, какую даетъ онъ, есть этимологія твердая, положительная, вполне отвѣчающая условіямъ современной науки языкознанія. Недавно, къ концу приведенъ также и другой важный и любопытный словарный трудъ, цѣль котораго, впрочемъ — совсѣмъ иная, чѣмъ у Бѣттинка и Рота: мы разумѣемъ «*Корнесловъ индо-европейскихъ языковъ*». А Потта¹⁾. Оригинальное произведеніе патріарха нѣмецкихъ языковѣдовъ совмѣщаетъ въ себѣ достоинства сравнительно-этимологическаго словаря и реальной энциклопедіи самыхъ разнообразныхъ предметовъ. Кто приметъ на себя нелегкую задачу изучить этотъ трудъ и счастливо доведетъ до конца свое предпріятіе, тотъ пріобрѣтетъ массу важнѣйшихъ и поучительнѣйшихъ свѣдѣній не только въ отношеніи языкознанія, но и общей исторіи культуры; потому что авторъ, кажется, воспользовался формою словаря, чтобы соединить въ немъ матеріалъ и результаты своего многолѣтняго испанскаго изученія и самаго разнообразнаго чтенія. Славянскій матеріалъ у Потта — довольно значителенъ: ему извѣстны всѣ, какъ прежніе, такъ и современные труды славянскихъ филологовъ, но только тѣ, которые писаны или по-латыни или по-нѣмецки. Тѣмъ болѣе можно поспѣвать объ этомъ, что пользуясь славянскими нарѣчіями, широкою рукою сопоставляя ихъ съ другими индо-европейскими, Поттъ очень часто умѣетъ подмѣтить или освѣтить такія стороны въ этимологіи или реальномъ знаменованіи славянскихъ словъ, которыя доселѣ были темны или и вовсе неизвѣстны. Съ этой точки зрѣнія для изслѣдователя славянской рѣчи и древности книга Потта представляется трудомъ огромной важности и интереса. Къ сожалѣнію, пользоваться имъ, не затративъ предварительно огромнаго времени на его полное изученіе — очень затруднительно по неимѣнію «указателей». Слышно, впрочемъ, что они приготавливаются. «Сравни-

1) Wurzel-Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen, von A. F. Pott, Det. 1867—73, 6^o, 5 частей въ 8-ми томахъ, составляетъ второе отдѣленіе «Этимологическихъ Изслѣдованій» (Etymologische Forschungen), 2 Aufl. автора

тельный Словарь Индо-Европейскихъ языковъ Ав. Фика¹⁾ въ непродолжительное время достигъ третьяго изданія. Очевидное доказательство и интереса, возбуждаемаго предметомъ, и ученаго достоинства самаго труда. Онъ состоитъ изъ семи частей или отдѣловъ: а) словарь индо-европейскаго (indogermanischen) основного языка, б) словарь общаго арійскаго языка, до раздѣленія арійцевъ на индусовъ и эранцовъ, в) словарь общаго европейскаго языка, до раздѣленія европейцевъ на сѣверныхъ и южныхъ, низовыхъ и горныхъ, г) словарь общаго греко-италійскаго языка, д) словарь общаго славяно-нѣмецкаго языка, е) словарь общаго латто-славянскаго языка (съ приложеніемъ словаря прусско-летскаго), наконецъ — ж) словарь общаго нѣмецкаго языка. Отчасти уже изъ этой схемы видно, какъ смотрѣлъ Фикъ на развитіе индо-европейскихъ племенъ и языковъ. Обозначенные періоды развитія или отдѣлы безъ исключенія относятся къ такъ называемой доисторической эпохѣ, лексиконъ каждаго изъ нихъ, по неимѣнію памятниковъ — долженъ быть искусственно возстановляемъ изъ сравненія болѣе поздняго матеріала. Быть-можетъ, въ отношеніи грамматической (фонетической) правильности реставраціи Фика и не вездѣ удачны, какъ малоудаченъ оказался и Шлейхеровъ опытъ возстановленія индо-европейскаго праязыка, но въ лексикальномъ отношеніи нѣтъ никакъ нельзя отказать въ основательности; а признавъ это — должно признать и самую книгу Фика очень важною въ смыслѣ собранія матеріала по лингвистической палеонтологіи. Авторъ не пускается въ объясненія реального значенія и видоизмѣненій слова, онъ даетъ только сравнительный матеріалъ къ тому, но и этого, пока, довольно: черты доисторическаго быта племенъ — сначала въ періодъ единства общеевропейскаго, затѣмъ славяно-нѣмецко-литовскаго обозначаются довольно явственно, изслѣдователь приобрѣтаетъ почву, основанія, держась которыхъ стано-

1) A. Fick: Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen sprachgeschichtlich angeordnet. Dritte Auflage, Göttingen, 1874—6. 3 v.

вится возможнымъ слѣдить за движеніемъ и отмѣчать новыя пріобрѣтенія культуры въ слѣдующій періодъ — общеславянской жизни и наконецъ — въ періодъ времени уже по раздѣленіи славянъ и нѣмцевъ на отдѣльныя племена, т. е. въ эпоху историческую. Свой трудъ Фикъ заканчиваетъ словаремъ общей жизни нѣмецкихъ племенъ: лексикона общаго славянскаго языка онъ не касается, оставляя, конечно, исполненіе этой задачи славянскимъ ученымъ. Какъ дополненіе или оправдательная статья къ «Сравнительному словарю» заслуживаетъ быть упомянуть другой, довольно обширный трудъ Фика: «*Былое единство языка индоевропейскихъ племенъ Европы*»¹⁾. Книга вызвана замѣчательной брошюрой Иоганна Шмидта (*Die Verwandtschaftsverhältnisse der Indogermanischen Sprachen*, 1872), въ которой доказывается мнѣніе, что славяно-литовская вѣтвь языка образуетъ самостоятельную, естественно-органическую посредницу между арійскою вѣтвью съ одной стороны и нѣмецкою съ другой, что нѣтъ потому никакихъ основаній принимать существованіе не только общаго сѣверо-европейскаго праязыка, но и вообще — европейскаго праязыка. Фикъ защищаетъ историческое бытіе общаго европейскаго праязыка и при этомъ сводитъ въ одно цѣлое данныя, касающіяся образа жизни и вообще культуры сначала общаго индо-европейскаго, а потомъ и частнаго европейскаго племени (стр. 266—292). Съ немалымъ интересомъ остановится изслѣдователь также и на тѣхъ отдѣлахъ книги, въ которыхъ разсматривается различное звуковое строеніе древнихъ именъ у европейцевъ и арійцевъ и приводятся окончательныя доказательства, что «Индоевропейцы Европы составляли когда-то одинъ народъ». При этомъ авторъ довольно обстоятельно рѣшаетъ (разумѣется, на основаніи однихъ лингвистическихъ данныхъ) вопросъ о *европейской* (въ этнологическомъ смыслѣ) народности фригійцевъ и фракійцевъ. Общій результатъ книги —

1) Fick. Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Gött. 1873. 8^o.

тотъ, что индоевропейское племя распадается на двѣ большія, между собою несвязанныя вѣтви среднимъ — группы, именно: индоевропейскій пранародъ раздѣлился на восточную и западную вѣтви; каждая, обособившись въ отношеніи языка, жила долгое время отдѣльно отъ другой, рядомъ съ нею, пока аріицы не раздѣлились на индусовъ и эранцовъ, а европейцы — на сѣверо- и юго-европейцевъ. Вообще, важный и интересный для лингвиста, трудъ Фика не менѣе важенъ и для изслѣдователя образованности: это — одно изъ самыхъ основательныхъ приложений языкознанія къ рѣшенію нѣкоторыхъ вопросовъ доисторической европейской древности. Нѣкоторое внутреннее сродство съ вышеназванными трудами представляетъ и сочиненіе Фэрстемана: *«Исторія нарѣчій нѣмецкаго корня»*¹⁾. Чтобы приобрѣсть опору для изслѣдованія, Фэрстеманъ необходимо долженъ былъ начать съ предшествовавшихъ стадій, пройденныхъ языкомъ до того времени, какъ онъ сформировался въ нѣмецкій типъ. Этому посвящены двѣ первыя книги перваго тома; сначала разсматривается эпоха языка «до-славяно-нѣмецкая» (подъ этимъ именемъ авторъ собралъ въ одно нѣсколько періодовъ), а потомъ — время «славяно-германское» (въ приложеніи кратко обозначается характеръ латто-славянскаго языка). Матеріалъ cadaго отдѣла распределенъ по слѣдующимъ семи рубрикамъ: звуки, словарь, образованіе словъ, флексія, значеніе, синтаксисъ, вліяніе чуждыхъ языковъ. Второй томъ посвященъ времени историческому, языку и культурѣ готовъ и другихъ нѣмецкихъ племенъ и наконецъ разсмотрѣнію (гипотетической?) эпохи состоянія въ средне-пранѣмецкое время (Mittelurdeutsche). Очевидно, что книга Фэрстемана въ сущности преслѣдуетъ ту задачу, которую въ первый разъ начерталъ и въ широкихъ чертахъ выполнилъ знаменитый Яковъ Гриммъ въ своей «Исторіи нѣмецкаго языка», только — по нѣсколько иной программѣ и, разумѣется, владѣя

1) Förstemann. Geschichte des deutschen Sprachstammes, Nordhausen, 1874—5. 2 v.

ными, болѣе богатыми средствами. Умѣніе соединить вопросы чисто лингвистическіе съ важнѣйшими вопросами исторіи культуры и средневѣковой этнологіи — придаетъ книгѣ Фэрстемана необыкновенный интересъ и дѣлаетъ ее столько же поучительною для филолога, сколько и для историка. Пусть гипотеза о времени средненѣмецкомъ окажется, какъ утверждала нѣмецкая критика, несостоятельною: она мало вредитъ достоинству матеріала, собраннаго въ книгѣ, а равно и частныхъ разысканій автора. Послѣднія, естественно, во многомъ касаются и славянской области и по большей части — со стороны, если не вполне новой, то очень мало разъясненной. Въ особенности любопытны и важны для науки славяновѣдѣнія тѣ отдѣлы, гдѣ авторъ на основаніи лингвистическихъ данныхъ входитъ въ культурно-историческія разысканія. Таковы: второй, пятый и седьмой параграфы каждаго отдѣленія. Самою слабою частью книги должно признать отдѣлы о вліяніи чужеземныхъ языковъ, но не слѣдуетъ забывать, что это — едва ли не самый упорный, трудно поддающійся изслѣдованію — вопросъ лингвистической науки. Если бы мы захотѣли перечислить труды по сравнительной грамматикѣ, въ которыхъ обращается вниманіе на славянскія нарѣчія, мы должны были бы поименовать вообще все, что выходитъ въ этой области, начиная съ такихъ капитальныхъ трудовъ, какъ «Grundzüge der Griechischen Etymologie» Курціуса (4-е изданіе 1873) и оканчивая отдѣльными статьями въ журналахъ А. Куна (Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung и Beiträge) и Говлака (Revue de Linguistique). Славянскій матеріалъ вездѣ занимаетъ очень видное мѣсто, хотя, конечно, далеко не каждый, толкующій о немъ — относится къ предмету *сознательно и со знаніемъ*. Объ одномъ трудѣ мы считаемъ, однако, необходимымъ упомянуть; это второй томъ сочиненія І. Шмидта: «Изъ исторіи индоевропейскаго вокализма»¹⁾. Весь томъ посвя-

1) Johannes Schmidt. Zur Geschichte des Indogermanischen Vocalismus. II Abth. Wien. 1875, 8°.

щенъ изслѣдованію, выражаясь санскритскимъ грамматическимъ терминомъ — «сварабакты», или по-русски: «*полногласію*»: а такъ какъ ни въ одномъ изъ индо-европейскихъ нарѣчій сварабакта не играетъ такой важной роли, какъ въ славянскихъ, то понятно, почему почти половина книги посвящена изслѣдованію славянскаго полногласія. Автору знакомы всѣ важнѣйшіе, между прочимъ и — русскіе, труды по предмету. Въ концѣ своего изслѣдованія онъ выводитъ изъ него общіе результаты для опредѣленія взаимныхъ родственныхъ отношеній славянскихъ нарѣчій — какъ бы въ дополненіе тому, что прежде было сдѣлано имъ относительно родства индо-европейскихъ языковъ вообще (см. выше, стр. 4). Шмидтъ отвергаетъ извѣстную (Шлейхерову) теорію постепеннаго развѣтвленія славянскихъ нарѣчій и ставитъ вмѣсто ея теорію волнообразнаго круговаго сродства нарѣчій съ переходными посредствующими звеньями, безъ рѣзкихъ разграниченій между собою. Мысль Шмидта покажется должно считать не болѣе, какъ гипотезой, но нельзя не отдать ему справедливости въ томъ, что онъ довольно рѣшительно обнаружилъ слабыя стороны Шлейхеровой классификаціи славянскихъ нарѣчій. Вопросъ — снова остается открытымъ.

Переходя къ литовской области, находимъ нужнымъ предварительно сдѣлать краткій очеркъ прошедшаго «литовскихъ заплтій».

Уединенное положеніе литовской народности, ея враждебныя отношенія къ другимъ народамъ средневѣковой Европы — были причиною, что Литва почти не имѣла историческаго движенія¹⁾, по крайней мѣрѣ она не развила образованности, не создала литературы и потому, естественно, не оставила никакихъ важныхъ и замѣтныхъ письменныхъ памятниковъ своей прошедшей жизни. Всѣ старинныя свидѣтельства о литовской древности

1) Такимъ историческимъ движеніемъ этнографъ не можетъ признать возникновенія и исторіи «Великаго княжества Литовскаго», такъ какъ литовская народность оставалась ни при чемъ, ничѣмъ независя отъ своей жизни и силы.

заключаются въ показаніяхъ хронистовъ и священниковъ чужеземцевъ XIV—XVII в., да въ немногихъ официальныхъ грамотахъ. Источникъ для изученія литовской старицы заключался единственно въ современномъ бытѣ, въ богатствахъ народнаго языка, вѣрованій, обрядовъ и обычаевъ, сохранявшихъ въ себѣ черты глубочайшей древности... Историко-этнографическое направление, господствовавшее въ наукѣ въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, какъ извѣстно, мало обнаруживало расположенія и интереса къ изслѣдованію языка и бытовыхъ древностей: ученыхъ гораздо болѣе занимали вопросы о происхожденіи и генеалогіи племенъ, вопросы, которые рѣшались почти исключительно на основаніи скудныхъ извѣстій и намековъ древнихъ писателей. При такомъ направленіи — изученіе Литвы не могло дать особенно богатыхъ результатовъ. Какъ заключительный сводъ подобныхъ розысканій, можно разсматривать извѣстный мемуаръ трудолюбиваго П. И. Кеппена: «О происхожденіи, языкѣ и литературѣ литовскихъ народовъ». Спб. 1827. Этнографическая часть этого труда уже устарѣла и требуетъ коренной передѣлки, но часть географическая и библіографическая остается лучшею въ своемъ родѣ.

Казалось бы, польскіе ученые — по своему положенію — должны были оживить литовскія занятія изслѣдованіемъ дотогѣ еще не тронутой области народнаго языка, быта и еще живыхъ вѣрованій, обычаевъ и нравовъ Литвы; но до этого было далеко: воспитанная на искусственной почвѣ, шляхетная наука держалась въ сторонѣ отъ народа, она не испытала тѣхъ внутреннихъ влеченій, которыя привели вѣмцевъ сначала къ такъ называемому романтизму, а потомъ — къ всестороннему изученію ихъ народности, она осталась въ своей аристократическо-школьной ограниченности и, желая изучить *родную* Литву, не сочла нужнымъ записаться знаніемъ народнаго языка и проникнуть въ тайники народнаго быта, а продолжала лишь переборку стараго матеріала, не прибавляя ничего существеннаго ни къ критикѣ его, ни къ содержанію. Полнѣйшимъ выраженіемъ такой шляхетно-

книжной эрудиціи былъ знаменитый трудъ Нарбута: *Dzieje narodu Litewskiego*, имѣвшій сильное и долгоевременное вліяніе на ходъ изученія литовскихъ древностей въ Польшѣ и западной Русси. Для этой науки требованія критики не существовали, потому что не существовало мѣрки для нея, находимой обыкновенно въ строгомъ лингвистически-этнографическомъ методѣ; она не только не стремилась — хотя бы по здравому смыслу — отдѣлять правду отъ выдумокъ, но и свои собственные *изобрѣтенія* не стѣсняясь выдавать за сущую истину, когда видѣлась надобность украсить ими ея фантастическую картину языческой Литвы, а такая надобность видѣлась на каждомъ шагу, ибо письменныя извѣстія о литовской древности были очень скудны. Литовская древность явилась такимъ образомъ въ чудовищномъ видѣ: это цѣлый многосложный романъ; но романъ безжизненный и лживый: рука компилятора заботливо привела въ порядокъ и размѣстила всѣ лица, явленія и факты, которые ей удалось собрать изъ разныхъ темныхъ угловъ; эту груды, и безъ того нечистаго, матеріала она щедро увеличила созданіями собственной фантазіи антикварія, подвела всему прихотливый объясненія и итоги — и считала по доброй совѣсти свою задачу оконченною. По всему этому, бѣлая часть писаннаго по-польски о литовскомъ бытѣ и древностяхъ почти не имѣетъ никакой цѣны для современной науки. Исключеніе должно быть сдѣлано для трудовъ лексикальных, да до нѣкоторой степени для сочиненій Ярошевича (*Obrazy Litwy*) и Юцевича (*Litwa pod względem starożytnych zażytków*). Послѣдній трудъ есть трудъ дѣйствительнаго знатока предмета, но знатока непосредственнаго, совершенно чуждаго научныхъ приемовъ изслѣдованія. Успѣхи въ изученіи языка и народности индо-европейскихъ племенъ открыли новый путь и новые источники къ изученію и литовской старины. Если не ошибаемся, первый, кто обратилъ должное вниманіе на мпослогическія древности Литвы, былъ Як. Гриммъ въ своемъ трудѣ о нѣмецкой мпослогіи. Онъ располагалъ очень незначительнымъ запасомъ матеріала: старыя показанія хронистовъ и священни-

ковъ, нѣсколько старыхъ словарей, нѣсколько народныхъ пѣсень, собранныхъ и пересказанныхъ (очень не точно, со многими произвольными измѣненіями) по-нѣмецки Резою—вотъ все, чѣмъ могъ воспользоваться для своей цѣли знаменитый нѣмецкій ученый! Несмотря, однако, на это, онъ сумѣлъ съ такою гениальною ясностью показать важность и необходимость изученія литовскаго быта для общей науки индо-европейской древности, что урокъ его не могъ пройти безслѣдно. Сравнительное языкознаніе также скоро признало высокую важность литовскаго языка. Честь почина въ этомъ отношеніи принадлежитъ Болену (*Über die Verwandschaft zwischen der Lithauischen und Sanskritsprache*, 1830); Боппъ вноситъ литовскій языкъ, какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ, въ свою знаменитую «Сравнительную Грамматику», Поттъ изслѣдуетъ отношеніе литовскаго языка къ сосѣднимъ и стремится доказать старшинство его въ кругу славянскихъ (*De Borusso-Lituanicae tam in slavica quam lettica lingua principatu*, 1837, 1841); по слѣдамъ Потта и нашъ ученый Прейсъ представляетъ краткую, но въ высшей степени замѣчательную характеристику строя литовской вѣтви языковъ (*Журн. Мин. Нар. Пр.* 1840, № 5); Нессельманъ издаетъ «Остатки древне-прусской рѣчи» (1845), «Литовскій Словарь» (1851), «Литовскія пѣсни» и извѣстную поэму Доналтиуса (1869), Боппъ пишетъ особый мемуаръ «о древне-прусскомъ языкѣ» (1853); Шлейхеръ издаетъ первую, удовлетворительную въ ученомъ отношеніи «Грамматику литовскаго языка» (1856), (вторая часть ея содержитъ выборъ произведеній народной поэзіи, сказокъ, пѣсень и т. д.), нѣсколько другихъ трудовъ и мемуаровъ, посвященныхъ тому же предмету (*Lituanica* 1853, *Donaleitis-Litauische Dichtungen*, Spb. 1865). Если къ этому прибавимъ статьи Тэнпена, Бендера, Нессельмана и Пирсона (статьи, впрочемъ, далеко не вездѣ равнаго достоинства), касающіяся языка и древностей литовскихъ (въ *Altpreussische Monatschrift*), то будемъ имѣть почти все, что сдѣлано по литовщинѣ до послѣдняго времени. Литература—не

особенно богатая, но это — только первые опыты разработки новаго источника къ вѣрному и живому пониманію всего славянскаго доисторическаго быта. Три послѣдніе года также остались не безплодны въ этомъ отношеніи: соединивъ въ одно цѣлое всѣ прежнія лексикальныя работы свои надъ остатками языка древнихъ пруссовъ, Нессельманъ издалъ ихъ подъ заглавіемъ «*Сокровищница прусскаго языка*»¹⁾. Это, можно сказать, самый полный доселѣ словарь къ уцѣлѣвшимъ памятникамъ погибшей прусской рѣчи, сравнительно съ языками литовскимъ и славянскимъ. Независимо отъ интереса въ отношеніи сравнительнаго славянскаго языкознанія, трудъ Нессельмана имѣетъ и иную, культурно-историческую важность для славяновѣда: пруссы, какъ извѣстно, сосѣднили непосредственно съ исчезнувшими балтійскими славянами, въ языкѣ прусскомъ несомнѣнно сохранились слѣды этого общенія, слѣды прежней образованности славянъ, переданной ими своимъ сосѣдямъ. Нѣкоторые слова и термины прямо указываютъ на заимствованіе изъ славянищины. Такимъ образомъ, языкъ прусскій становится до нѣкоторой степени источникомъ славянской древности и восполняетъ ея пробѣлы. Хотя Нессельманъ и не вездѣ бываетъ одинаково счастливъ въ своихъ объясненіяхъ и сближеніяхъ и обнаруживаетъ болѣе случайное, чѣмъ основательное знаніе славянскихъ нарѣчій, тѣмъ не менѣе трудъ его заслуживаетъ полной признательности, какъ трудъ, исполненный въ высшей степени совѣстливо, т. е. отчетливо и трудолюбиво. Совѣтъ иное приходится сказать о подобномъ же небольшомъ «*древнепрусскомъ словарѣ*»²⁾ Пирсона; онъ годится лишь для первыхъ справокъ, какъ указатель, и будетъ цѣниться исследователями лишь настолько, насколько въ немъ есть кое-какія прибавки противъ Нессельмана и не иначе, какъ при Нессельманѣ... Выше мы довольно рѣзко отзывались о трудахъ польскихъ ученыхъ въ области литовщины.

1) Nesselmann, Thesaurus linguae Prussicae. Ber. 1873.

2) Pierson, Altpreussischer Wörterschatz. Ber. 1875. Digitized by Google

Справедливость требуетъ сказать, что теперь дѣло начинается исправляться. Доказательствомъ тому служить замѣчательный трудъ Я. Карловича «о литовскомъ языкѣ»¹⁾. За вычетомъ нѣкоторыхъ страницъ во вводной части, гдѣ авторъ обличаетъ невѣжество своихъ соотечественниковъ in letticiis, — страницъ скучныхъ и бесполезныхъ, весь трудъ г. Карловича очень интересенъ и обнаруживаетъ не только близкое знакомство съ матеріаломъ, но и современную точку зрѣнія на него: таковы въ особенности третій и слѣдующіе отдѣлы; здѣсь сначала говорится о грамматическомъ и лексикальномъ сродствѣ языка литовскаго съ славянскими, нѣмецкими и другими арійскими, о нарѣчіяхъ литовскихъ, потомъ представляется характеристика грамматическаго строя литовскаго языка въ фонетикѣ, образованіи и измѣненіи словъ и словосочиненіи, далѣе разсматривается значеніе нѣкоторыхъ словъ и чуждые элементы въ языкѣ и т. д. Сочиненіе заключается довольно обстоятельной библіографіей литовской, гдѣ, однако, мы не нашли нѣкоторыхъ общезвѣстныхъ, между прочимъ и русскихъ трудовъ (напр. указанной выше статьи Прейса), а о другихъ встрѣтили одни глухія указанія. Послѣ труда Кеннена — это первая попытка литовской библіографіи, а потому недостатки ея извинительны.

Разсматривая все, что доселѣ сдѣлано по ученой разработкѣ языка и древностей литовскихъ, — нельзя не видѣть, что сдѣлано очень мало въ сравненіи съ тѣмъ, что желательно и чего требуетъ важность задачи. Литовщина и въ области науки — неуступчива, и здѣсь она раскрывается медленно отчасти по свойству самаго дѣла, отчасти потому, что за разработку ея принимаются не тѣ, кому слѣдовало бы. Когда русскіе ученые признаютъ, что изученіе языка и быта Литвы лежатъ главнымъ образомъ на ихъ обязанности, тогда, конечно, и дѣло получить совсѣмъ иное

1) Karłowicz. O języku litewskim, помещено въ Rozprawę wydziału filologicznego Akademii krakowsk. Tom II, 1875, стр. 135—376.

движеніе. Существуютъ уже и нѣкоторыя фактическія ручательства¹⁾ справедливости этой мысли.

II. Изданія древнихъ текстовъ и ихъ описанія.

Всѣ важнѣйшіе выводы славянской филологіи основываются главнымъ образомъ на древне-славянскомъ языкѣ, потому изданіе памятниковъ этого языка должно лежать во главѣ угла для славяновѣдѣнія. Знаменитая рукопись славянскаго перевода Словъ Григорія Назіанзіана, по палеографическимъ даннымъ писанная въ XI столѣтіи, вышла наконецъ въ полномъ составѣ. Доселѣ она извѣстна была только по извлеченіямъ г. Чернышевскаго, да по изданію X-го Слова г. Срезневскимъ. Г. Будиловичу принадлежитъ честь перваго изданія²⁾. Свою обязанность, какъ издателя, онъ понялъ весьма правильно; желая совмѣстить строго палеографическія требованія съ критическими, онъ не только воспроизводилъ съ буквальною вѣрностью каждую строку и даже черту рукописи, но и представлялъ свое чтеніе этого текста, выѣстѣ съ критикою перевода — *по сравненію съ греческимъ подлинникомъ*. Исполненіе послѣдней задачи можно было бы, конечно, облегчить сличеніемъ главнаго переводнаго текста съ иными списками (а такихъ извѣстно нѣсколько), но издатель, повидимому, оставилъ эту работу другимъ, а самъ ограничился точной передачей текста XI в. и поправками на основанія греческаго подлинника, которыя, впрочемъ, очень осторожны и по большей части мѣтки, къ тому же онѣ находятся въ выноскахъ... Въ выноски же, на нашъ взглядъ, слѣдовало бы отнести и соответственныя ссылки на изданіе греческаго текста у Мина: помѣщенные въ самомъ текстѣ, онѣ непріятно прерываютъ чтеніе. Какъ бы то ни было, одинъ изъ важнѣйшихъ памятни-

1) Всев. Миллеръ и Ф. Фортунатовъ. Литовскія народныя пѣсни. М. 1873, см. также Рѣчи и отчетъ Московскаго университета за 1875, ст. Фортунатова, стр. 1—15.

2) XIII словъ Григорія Богослова въ древне-славянскомъ переводѣ по рукописи XI в., изд. А. Будиловичъ. Спб. 1875. 8°.

ковъ древне-славянской письменности изданъ, и изданъ очень удачно, съ полнымъ вниманіемъ къ потребностямъ науки. Необходимое *оведеніе* къ труду г. Будиловича представляетъ вышедшее нѣсколько лѣтъ тому назадъ его же: «Изслѣдованіе языка древне-славянскаго перевода XII слова Григорія Бого-слова». Спб. 1871. Разсмотрѣніе труда Невоструева надъ древне-славянскимъ переводомъ Слова св. Ипполита объ антихристѣ (1868) дало академику Срезневскому поводъ издать свой сборникъ выписокъ и полныхъ славянскихъ переводовъ различныхъ сказаній объ антихристѣ¹⁾. Изданіе имѣетъ двоякую важность и значеніе: для филолога чистой воды оно любопытно, какъ сборникъ памятниковъ языка въ древнемъ, среднемъ и даже новомъ (таковъ напр. текстъ болгарскій) видѣ, памятниковъ, изданныхъ тщательно, съ соблюденіемъ всѣхъ особенностей стариннаго правописанія; для историка литературы и культуры — это драгоценный матеріалъ для разъясненія одного изъ важнѣйшихъ періодовъ въ умственномъ и религіозномъ движеніи славянскихъ племенъ. Съ идеей объ антихристѣ соединяются многія нити народнаго славянскаго суевѣрія, къ этой фантастической личности привязывается мрачная идея «конца міра», которая играла такую важную роль въ жизни, искусствѣ и литературѣ многихъ народовъ, между прочимъ и славянскихъ. Сборникъ г. Срезневскаго можно разсматривать, какъ исправленіе и продолженіе труда пок. Невоструева: въ книгѣ послѣднего издана первая половина извѣстной чудовской рукописи (т. е. собственное слово Ипполита), въ Сборникѣ перваго — вторая половина той же рукописи. Къ текстамъ приложенъ и прекрасно выполненный сборникъ палеографическихъ снимковъ. Словарнаго указателя нѣтъ, но его легко составить себѣ каждый, кто будетъ изучать тексты. О достоинствѣ изданія распространяться нѣтъ надобности; но одинъ пунктъ требуетъ нѣкоторыхъ объ-

1) Сказанія объ антихристѣ въ славянскихъ переводахъ... И. И. Срезневскаго. Спб. 1874, 8^о.

ясненій. Недавно Миклошичъ, въ трудѣ, о которомъ рѣчь будетъ впереди — довольно безцеремонно назвагь *русскій способъ* изданія древне-славянскихъ памятниковъ — варварскимъ и вреднымъ, потому де, что русскіе филологи издають тексты такъ, какъ они находятся въ рукописяхъ, съ сокращеніемъ, а не въ чтеніи. Если бы дѣло шло о текстахъ языковъ, вполне извѣстныхъ, какъ напр. классическіе, тогда упрекъ былъ бы пожалуй умѣстенъ, но относительно языка (древнеславянскаго), чистый видъ котораго и этнографическія развѣтвленія извѣстны только на половину, если не менѣе, такой упрекъ — болѣе чѣмъ странный. Никто не станеть отвергать надобности такихъ изданій памятниковъ, гдѣ бы все въ нихъ непонятное было объяснено, все нелегко читаемое въ подлинникѣ переписано было бы удобопонятно; но ограничиваться одними такими изданіями, не издавъ подлинниковъ, какъ они есть, буква въ букву, знакъ въ знакъ — по крайней мѣрѣ въ особенныхъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ памятниковъ, при ихъ первыхъ изданіяхъ — значило бы идти противъ нужды науки и просвѣщенія, противъ общей пользы¹⁾. Второй томъ, или новая серія изданія И. И. Срезневскаго, выходящаго подъ названіемъ «*Сводъня о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ*»²⁾, содержитъ въ себѣ не мало цѣльныхъ текстовъ или выдержекъ изъ нихъ, снабженныхъ всякаго рода грамматическими, палеографическими, историческими и литературными объясненіями. Назовемъ болѣе важныя а менѣе извѣстныя:

а) «Финляндскіе отрывки изъ памятниковъ древняго русскаго письма XI—XV вв.». Кромѣ отрывковъ изъ богослужебныхъ книгъ, здѣсь помѣщены выписки изъ Прологовъ и Сборниковъ поученій XII—XIII в., интересные не по одному языку, а и по содержанію. Конечно, послѣднее еще нуждается въ точнѣйшемъ

1) Слова г. Срезневскаго, см. его статью: «Работы по древнимъ памятникамъ языка и словесности». Ж. М. Нар. Пр. 1875, № 3.

2) Въ Сборникѣ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. Томъ XII, Сиб. 1875.

опредѣленіи: переводное ли оно, или туземное, славянское, но во всякомъ случаѣ оно — важно по своему историческому вліянію; б) «Туровскіе евангельскіе листы XI вѣка»; текстъ ихъ давно уже извѣстенъ по двумъ изданіямъ, нынѣшнее — важно тѣмъ, что представляетъ замѣчательную попытку освободить текстъ отъ ошибокъ и описокъ русскаго и не русскаго писцовъ, т. е. представить его въ подлинномъ, чистомъ древне-славянскомъ видѣ; в) кормчая книга сербскаго письма 1262 г.; г) сборникъ поученій XII в., извѣстный уже изъ прежнихъ трудовъ г. Срезневскаго и заключающій въ себѣ часть слова «о богатѣхъ и Лазарѣ», столь важнаго по бытовымъ чертамъ, въ немъ встрѣчающимся. Къ прежнимъ выдержкамъ издатель присоединяетъ здѣсь нѣсколько новыхъ; особенно любопытно «побъченъкъ любовно», представляющее на нашъ взглядъ разительное сходство съ извѣстнымъ словомъ Данила Заточника не только по духу, но и въ выраженіяхъ, какъ ясно изъ слѣдующаго нашего сопоставленія.

Почуеніе любовно.

Възлегъ на многомакъцѣй постели и пространо протаягася помани наго лежащаго подъ кдинѣмъ роубѣмъ и не дързнуущю ногоу своєю простърѣти зныты ради. . .

Лежаща ти въ твърдопокровитѣй хранинѣ. слышащю же оушима дъжевьнокъ мочьство. помысли оубогыхъ. Како лежать нынѣ дъжевыныими каплями яко стрѣлами пронажакми, а друугыя отъ неосуновенія съдаща и водою подъяты. . .

Слово Данила Заточника.

Егда ляжеша на мягкыхъ постеляхъ подъ собольимъ одѣялы а мене помани подъ единымъ платомъ лежаща и зимю умирающа и

каплями дождевными яко стрѣлами сердце пронизающе.

Объяснить это сходство, конечно, должно тѣмъ, что и «По-

ученіе» и «Слово» черпали изъ общаго источника; д) грамоты ки. Дмитрія Ольгердовича, 1388 г. и Бориса Александровича тверского, 1427 (?); е) Пандекты Никона Черногорца, по древнимъ спискамъ, — съ обширными выписками. На основаніи нѣкоторыхъ, весьма уважительныхъ соображеній г. Срезневскій приходитъ къ догадкѣ, что древній переводъ пандектовъ Никона Черногорца, какъ и переводъ хроники Георгія Амартола, космографіи Космы Индокоплова и пр. — сдѣланъ при участіи русскаго человѣка; ж) «Пансіевскій сборникъ конца XIV или начала XV в.» краткій обзоръ всего содержанія; з) «Дубенскій сборникъ правилъ и поученій XVI в.», интересный по очень многимъ указаніямъ языческихъ суевѣрій и «грѣшныхъ» обычаевъ. Памятникъ заслуживалъ бы подробнаго изслѣдованія съ цѣлью опредѣленія источниковъ его: до той поры — хотя и должно думать, что многое въ немъ принадлежитъ русской словесности и древности, но пользоваться его указаніями въ этомъ смыслѣ должно очень осторожно; п) изъ того же сборника «поученія о пьянствѣ и пѣніи тропарей при чашахъ»; и) «наставленіе ереямъ о покаяніи съ замѣчаніемъ объ изгойствѣ» — по двумъ спискамъ. Замѣтимъ здѣсь, что вопросъ объ историко-юридическомъ значеніи «изгоевъ» требовалъ бы новаго изслѣдованія; трудъ Н. В. Калачова, при всѣхъ его достоинствахъ, едва ли рѣшаетъ дѣло, онъ написанъ съ точки зрѣнія такой исторической теоріи, отъ крайностей которой самъ авторъ отказался впоследствии. Для рѣшенія вопроса объ изгояхъ, «наставленіе ереямъ» имѣетъ довольно важное значеніе, и нельзя не быть признательнымъ г. Срезневскому, что онъ издалъ памятникъ *ополнъ*, такъ какъ только взятыя въ полномъ контекстѣ его свидетельства получаютъ свое истинное значеніе и объясненіе; к) «Сказаніе о Софійскомъ храмѣ Цареграда въ XII в.»; л) «Копенгагенскій сборникъ стараго русскаго письма», обзоръ содержанія. Нѣкоторыя статьи его были уже и прежде извѣстны, см. Извѣст. Ак. Н. т. IX, вып. 3; м) «Еще два сборника стараго русскаго письма въ копенгагенской библіотекѣ». Сборники интересны и въ исто-

рическомъ отношеніи и въ литературномъ, одинъ изъ нихъ со-
держитъ въ себѣ извѣстныхъ притчи о звѣряхъ, т. е. бестіарій;
н) «Галицкій списокъ книги Евангельскихъ чтеній конца XIII в.»
Описаніе очень краткое, а это тѣмъ болѣе жаль, что самый па-
мятникъ, по замѣчанію г. Срезневскаго, равносильнъ по важ-
ности съ извѣстнымъ галицкимъ спискомъ поученій Ефрема Си-
рина до 1288; наконецъ о) «Февральная книга Мишев-Четы
древняго состава по списку XV в.» Часть древне-славянскаго
перевода того памятника, къ которому принадлежитъ и знаме-
нитая супрасльская рукопись. Таково содержаніе любопытнаго
и важнаго сборника г. Срезневскаго. Мы не безъ намѣренія
остановились на немъ столь подробно: такіе труды составляютъ
истинное обогащеніе науки, потому что предлагаютъ и вѣрные
указанія или характеристики матеріала и самый матеріалъ. Нѣтъ
сомнѣній, что изданіе г. Срезневскаго будетъ продолжаться;
вѣроятно появятся и «указатели», какіе приложены были къ 1-му
тому. Къ подобному же роду трудовъ, какъ трудъ г. Срезнев-
скаго, принадлежитъ и книга А. И. Попова, содержащая
въ себѣ дополненіе къ описанію рукописей купца Хлудова¹⁾; она
совмѣщаетъ въ себѣ достоинства тщательнаго описанія рукопи-
сей съ изданіемъ самыхъ памятниковъ. Изъ памятниковъ здѣсь
изданы: а) апокрифическое «Слово Іереміи пресвитера «о древѣ
честивѣхъ», которое совмѣщаетъ въ себѣ всѣ «басни» этого
«попа болгарскаго», указываемыя индексомъ запрещенныхъ
книгъ; б) русское «поученіе о спасеніи души»; в) Климента епи-
скопа словенскаго «слово святую архангелу Михаила и Гавріила»;
г) «Поученіе Мойсѣя о безъвременнѣхъ плыствѣхъ» — сочиненіе
русское; д) различные апокрифическія статьи о древѣ крестномъ,
главѣ Адамовой, разбойникахъ и т. д. Строгіе библіографы
упрекнутъ, быть-можетъ, описателя, что въ книгѣ, предназначен-
ной быть лишь описаніемъ рукописей, онъ далъ мѣсто и изданію

1) Первое прибавленіе къ описанію рукописей... библіотеки А. И. Хлу-
дова. Составилъ Андрей Поповъ. М. 1875.

самыхъ текстовъ, по отъ такого упрека воздержится каждый изслѣдователь древне-славянской и русской письменности, каждый, кто правильно понимаетъ нужды науки и кто столь часто бываетъ удовлетворенъ въ нихъ, единственно благодаря спасительной библіографической ереси г. Попова. Въ самомъ описаніи употребленъ методъ инвентарный, филологическія характеристики и библіографически-литературныя замѣчанія издателя—кратки, но для ближайшей цѣли своей они вполнѣ удовлетворительны. Въ концѣ—двѣ страницы посвящены описанію рукописей *подложныхъ*.

Важнымъ во многихъ отношеніяхъ должно признать трудъ В. В. Ягича: «Описаніе и извлеченіе изъ нѣсколькихъ югославянскихъ рукописей»¹⁾. Важенъ этотъ трудъ потому, что ученый изслѣдователь не упустилъ ничего, что бы могло облегчать основательное знакомство посторонняго съ этими памятниками, мы разумѣемъ ихъ стороны филологическую, историко-литературную и палеографическую. Такъ осмотрѣны, описаны, можно сказать, изслѣдованы пять слѣдующія замѣчательныя статьи (указываемъ только важнѣйшее): а) «недѣльныя проповѣди Константина пресвитера болгарскаго по сербской рукописи XIII в.»; б) «содержаніе и нѣсколько притчей изъ болгарскаго берлинскаго сборника» (рукопись прежде принадлежавшая В. С. Караджичу), важна, какъ образецъ такъ называемаго среднеболгарскаго языка и какъ сборникъ статей, имѣющихъ не малый интересъ въ историко-литературномъ отношеніи, такъ напримѣръ здѣсь находится *слово о злыхъ женахъ, притча о тѣлѣ и душѣ* и т. д.; в) «новые матеріалы по литературѣ библейскихъ апокрифовъ» съ обширными выдержками ихъ текстовъ. Особенно важна здѣсь статья «объ апокрифахъ попа Іереміи болгарскаго»; г) описаніе сербской коричей 1262, уже извѣстной изъ описанія у г. Срезневскаго: Свѣдѣнія etc. № 47, съ объяснительнымъ

1) Jagić. Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa, помѣщено въ «Starine», книга V и VI.

введеніемъ и подробнымъ грамматическимъ и лексикальнымъ разборомъ текста; д) мелкіе матеріалы по церковному праву, такъ называемые пенитенціалы или епитимійные каноны, между которыми первое мѣсто занимаютъ столь извѣстные въ древней Руси «худые номоканунци» изданные здѣсь по рукописи XIII в. Какъ важны подобныя каноны въ отношеніи науки древностей, если только существуютъ реченія туземнаго, славянскаго ихъ происхожденія — распространяться незначѣтъ, но какъ вмѣстѣ съ тѣмъ осторожно нужно пользоваться ими до разбора и опредѣленія вопроса о ихъ происхожденіи — это также очевидно. Вотъ почему мы не можемъ не отмѣтить здѣсь же двухъ новыхъ трудовъ, посвященныхъ разсмотрѣнію епитимійныхъ каноновъ греко-славянской церкви. Разумѣемъ трудъ пр. Павлова¹⁾ и Горчакова²⁾. Трудъ послѣдняго къ тому же включаетъ въ себя не мало древне-славянскихъ переводовъ каноновъ. Шафариковъ «Изборъ» юго-славянскихъ памятниковъ, напечатанный въ 1851 г. въ очень ограниченномъ количествѣ экземпляровъ — сталъ снова доступенъ ученымъ во второмъ изданіи³⁾, сдѣланномъ И. Иречкомъ. Прежніе тексты удержаны неприкосновенно и въ новомъ изданіи, хотя многіе изъ нихъ стали съ той поры извѣстны въ гораздо болѣе древнихъ и исправлѣннѣйшихъ редакціяхъ, но изъ «Шафарикова наслѣдства» въ концѣ изданія добавлены нѣкоторые сербскіе, болгарскіе и молдо-вѣшскіе грамоты, изъ которыхъ не всѣ доселѣ были извѣстны, а равнымъ образомъ въ концѣ книги прибавлены указатель, составленный К. Иречкомъ, внукомъ знаменитаго слависта. Какъ библиографъ, я пожалѣлъ только, что остался не перепечатанъ здѣсь и первоначальный списокъ памятниковъ юго-славянскихъ, изданный Шафарикомъ въ 1839 годъ, подъ заглавіемъ «Мо-

1) Павловъ. Номоканонъ при большомъ Требникѣ. 1872.

2) Горчаковъ. Къ исторіи епитимійныхъ номоканоновъ православной церкви. Спб. 1874. Изъ «отчета о XV присужденіи наградъ графа Уварова».

3) *Průběh dějin písmnictví Jiho-slovanských*. Pr. 1873. by Google

numenta Illyrica», но только «*loco manuscripti in privatissimum editoris usum*».

Изъ описаній древне-славянскихъ рукописей назовемъ слѣдующія, арх. Амфилохія: «Описание Воскресенской Новоіерусалимской библіотеки¹⁾, съ приложеніемъ атласа снимковъ. Описание, по частямъ извѣстное уже и прежде — инвентарное, по статьямъ и листамъ; есть выписки, но едва ли вездѣ помѣщеніе ихъ опредѣлялось дѣйствительными потребностями изслѣдователей, едва ли вездѣ онѣ принадлежатъ къ замѣчательнымъ; къ тому же онѣ сдѣланы только для образца языка и правописанія. Палеографическія замѣтки ученаго описывателя кратки, значеніе свое онѣ получаютъ тогда, когда сопоставить съ ними прекрасно исполненный атласъ снимковъ со всѣхъ древнѣйшихъ рукописей. Арх. же Амфилохіемъ изданъ и I томъ древне-славянской псалтири по рукоп. XIII—XIV в. сравнительно съ греческимъ текстомъ и со многими вариантами по древнимъ рукописямъ²⁾. Трудъ — огромнаго терпѣнія, онъ, очевидно, назначенъ болѣе для богослововъ, чѣмъ для филологовъ, но можетъ быть полезенъ и послѣднимъ. Почему избранъ славянскій переводъ въ рукописи XIII—XIV в., а не старѣе — не вполне ясно. О. арх. Амфилохію же принадлежитъ изданіе древне-сербскаго Октоиха³⁾. Издатель считаетъ его не только древнимъ вообще, но и, употребляя его выраженіе, *самодревнѣйшимъ*, XI в. Намъ не совсемъ понятны основанія такого опредѣленія: языкъ едва ли оправдываетъ его. Быть-можетъ — палеографическія данныя? Издатель не входитъ въ объясненія ихъ, а потому мы имѣемъ

1) Описание Воскресенской Новоіерусалимской библіотеки, съ приложеніемъ снимковъ со всѣхъ пергаменныхъ рукописей и нѣкоторыхъ писанныхъ на бумагѣ. Москва. 1876. Снимковъ всѣхъ 16 in f.

2) Древне-славянская псалтирь XII—XIV в., съ греческимъ текстомъ изъ голцовой Оеодоритовой псалтири X вѣка, съ замѣчаніями по древнимъ памятникамъ. М. 1874.

3) О самодревнѣйшемъ октоихѣ XI в. юго-славянскаго юсоваго письма, найденномъ въ 1863 г. А. О. Гильфердингомъ въ Струмицѣ, арх. Амфилохія, съ приложеніемъ 2-хъ стиховъ. М. 1874.

пока право остаться при богѣе позднемъ опредѣленіи вѣка рукописи, именно XIII—XIV в. Изданіе сдѣлано типательно, но съ излишнею обстоятельностью: дѣло рѣшительно не проиграло бы, если бы вмѣсто полнаго текста мы получили бы описаніе рукописи съ выдержками и словарнымъ индексомъ. Впрочемъ, мы судимъ въ качествѣ филолога, — богословъ, можетъ-быть, скажетъ иное. Первый выпускъ «Описанія рукописей церковно-археологическаго музея при Кіевской духовной академіи», составляемаго Н. И. Петровымъ¹⁾, можетъ удовлетворить потребности только перваго ознакомленія съ рукописями: выписокъ изъ текстовъ здѣсь нѣтъ, нѣтъ и филологическихъ эксцерптовъ и характеристикъ. Историко-литературныя замѣтки — случайны. Тѣмъ не менѣе, нельзя не отнестись признательно къ началу добраго предпріятія, нельзя не желать приведенія его къ окончанію. Духовныя училища у насъ еще какъ-то мало наклонны къ ученой сообщительности и нерѣдко оставляютъ важный свѣтильникъ подъ спудомъ, быть-можетъ изъ опасенія, чтобы онъ не освѣтилъ тѣхъ сторонъ жизни, освѣщать которыя не всегда для всѣхъ равно желательно. Очень древнихъ и первостепенныхъ рукописей музей не вмѣститъ, но въ немъ есть не мало любопытныхъ сборниковъ, иногда единственныхъ въ своемъ родѣ. Вниманія заслуживаетъ и прекрасный опытъ «Описанія рукописей и книгъ Выголексинской библіотеки»²⁾, исполненный Е. В. Барсовымъ». Библіотека эта представляетъ жалкій остатокъ некогда знаменитаго собранія книгъ раскольничьей киновіи... Несмотря на вѣковое хищеніе, въ ней и доселѣ не мало остается любопытныхъ произведеній древней письменности, хотя въ спискахъ сравнительно позднѣйшихъ. Очеркъ г. Барсова — это интересная глава изъ исторіи русской культуры и религіозной

1) Описаніе рукописей церковно-археологическаго музея при Кіевской духовной академіи, сост. Н. Петровъ. Кіевъ. 1875, 1-й выпускъ.

2) Описаніе рукописей и книгъ, хранящихся въ Выголексинской библіотекѣ; составлено г. Барсовымъ. Спб. 1874.

жизни; самому описанію предпосланъ толково составленный историческій очеркъ Выговской библіотеки.

Если не измѣняетъ намъ память, то это — все, что сдѣлано въ послѣднее трехлѣтіе по изданію старославянскихъ текстовъ и описанію ихъ. Сдѣлано, какъ видно, не особенно много, но во всякомъ случаѣ довольно для убѣжденія, что дѣло не стоитъ, что наконецъ мы дождемся изданій сочиненій Іоанна Ексарха болгарскаго, двухъ Святославовыхъ сборниковъ и издацій описанія рукописей: Императорской Публичной библіотеки, библіотеки Академіи наукъ, Троицкой Сергіевой лавры, московской синодальной типографіи, московской и петербургской Духовныхъ Академій, а равно и пѣкоторыхъ рукописныхъ собраній частныхъ лицъ, какъ гр. А. Уварова, пр. Тихонова и т. д. Съ сожалѣніемъ приходится вспомнить здѣсь, что славное дѣло Горскаго и Невоструева по описанію рукописей синодальной библіотеки доселѣ не нашло продолжателей, и что еще печальнѣе, не по недостатку таковыхъ, а по равнодушію тѣхъ, отъ кого повидному зависить продолженіе дѣла.

Успѣхи славяновѣдѣнія за послѣднее время.

1876.

Желая представить бѣглый обзоръ важнѣйшихъ явленій по славянской наукѣ, мы находимъ болѣе удобнымъ начать его съ юга, съ сербо-хорватовъ. Академія неутомимо продолжаетъ изданія подъ заглавіемъ: «*Радъ Югославянской академіи*» и «*Старине*», которыя, благодаря открытію университета въ Загребѣ, должны получить еще большее развитіе, такъ какъ университетъ притягиваетъ и другія славянскія силы. Большинство трудовъ, помѣщаемыхъ въ этихъ изданіяхъ, принадлежитъ наукамъ историко-филологическимъ. Но важнѣйшимъ изданіемъ Югославянской академіи должно признать «Собраніе юридическихъ

обычаевъ у южныхъ славянъ», — *Зборник садашњихъ правнихъ обичаја у јужнихъ Словена* (Загребъ 1874), приведенное въ порядокъ и изданное Богшивичемъ. Это отвѣты разныхъ лицъ на вопросы, разосланные этимъ ученымъ. Благодаря ширинѣ программы, сюда вошли многіе обычаи не строго юридическаго характера, напр. свадебные, но во всякомъ случаѣ, въ высокой степени любопытные, какъ матеріалъ для древности народнаго быта. Загребскою же академіей изданъ 2-й томъ «Старинныхъ памятниковъ южныхъ славянъ» (*Vetera monumenta Slavorum meridionalium...* Загребъ. 1875) Тейнера, извлеченныхъ этимъ ученымъ изъ Ватиканскаго архива. Не безъ поддержки академіи состоялось великолѣпное изданіе юго-славянской нумизматики Любича (*Опис југославенскихъ нована*. Загребъ. 1875). Если иногда чтеніе надписей на монетахъ бываетъ сомнительно, то отчетливое изображеніе монетъ вполне вознаграждаетъ этотъ недостатокъ. Подъ покровительствомъ академіи наукъ проф. Ганель предпринялъ сборникъ юго-славянскихъ законодательныхъ памятниковъ, по большей части, еще не бывшихъ въ печати. Имя Ганеля ручается за тщательное ученое исполненіе дѣла. Изъ трудовъ частныхъ ученыхъ укажемъ на 2-й томъ «Юго-славянскаго дипломатарія» (*Codex diplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae*. Загребъ. 1876.), издавнаго Кукулевичемъ-Сакчинскимъ. Извѣстно также, что Даничићъ работаетъ надъ составленіемъ Сербо-Хорватскаго словаря по матеріаламъ, которые собирались издавна. Даничићу же принадлежатъ «Исторія формъ сербскаго и хорватскаго языка до конца XVII вѣка» (*Исторія облика српскога и хрватскога језика до свршетка XVII вијека*. Бѣлградъ. 1874).

Изъ другихъ явленій юго-славянской литературы отмѣтимъ только изданія болгарскихъ пѣсенъ. Одно изъ нихъ принадлежитъ французскому консулу Дозону и отличается всѣми достоинствами достовѣрности (*Български народни пѣсни*. Paris. 1875). Пѣсни изданы съ переводомъ, снабжены примѣчаніями, прекрасно написаннымъ введеніемъ и словарчикомъ. Другое изданіе, при-

надлежащее сербу Верковичу, подъ заглавіемъ: «*Вѣда Словена*» — чрезвычайно странно. Нѣтъ сомнѣніа, что въ него вошли чисто-народныя пѣсни, но онѣ искажены собирателями съ предвзятою цѣлью, именно для того, чтобы доказать, что и у болгаръ сохранились воспоминанія отдаленнѣйшаго періода арійской пидійской (?) жпзнп. Онѣ даже вышняго Бога передѣлываетъ въ бога Вишну. Поддѣлка уже обнаруживается и въ томъ, что стихи не слѣдуютъ никакому правильному метру.

У словинцевъ заслуживаетъ упоминанія издаваемый Матицею «*Лѣтописъ*», а также сочиненіе проф. Марна, подъ названіемъ «*Язычники*», 9, 10 и 11-й годъ котораго посвящены разсмотрѣнію трудовъ пзвѣстнаго ученаго словинскаго писателя Метелка (*Изечникъ, или Метелко в словенскомъ словстоу. 1873.*), представляющій любопытный эпизодъ пзъ исторіи славянскаго языкознанія.

Въ чешско-моравской литературѣ однимъ пзъ важнѣйшихъ явленій слѣдуетъ признать выходъ въ свѣтъ «*Глоссарія*» (*Glossarium illustrans bohémico-moravicæ historiae fontes. Brunn. 1876*) старыхъ чешскихъ словъ, встрѣчающихся въ латинскихъ памятникахъ. Трудъ этотъ принадлежитъ Брандлю, архивару въ Бриѣ, уже пзвѣстному многими пзданіями юридическихъ памятниковъ, каковы: «*Книга Рожсбертская*», «*Книга Товачовская*», «*Книга Дрнооская*». Кстати, говоря о юридическихъ книгахъ, слѣдуетъ упомянуть объ пзданіи Герм. Иречкомъ знаменитаго сочиненія Корнелія пзъ Вшегрдъ «*О правѣ земли Чешской*» (о правахъ земе чешске книги деватеры. Прага 1874) и Кольдпномъ — «*Чешскихъ муниципальныхъ правъ*» (*Права мѣстска краловства чешскаго. Прага. 1876*). Изданіе историческихъ источниковъ, подъ названіемъ *Fontes rerum bohemicarum*, предпринятое д-ромъ Эмлеромъ, продолжается. Оконченъ 2-й томъ, заключающій въсебѣ Козьму Пражскаго и его представителей, съ превосходнымъ чешскимъ переводомъ проф. Томка. Эмлеромъ же пзданы моравскія и чешскія *Regesta Moraviae et Bogemiae* (2-й томъ 1876 г.), а равнымъ образомъ — очень важный истори-

ческий трудъ по хронологіи для повѣрки годовъ лѣтописей. Въ Моравіи недавно вышли 21—22 томы «Сочиненій, издаваемыхъ историко-статистическимъ обществомъ» (Schriftenstatistischen Section. Brünn) подъ редакціею Дельверта (въ 21-мъ — исторія музыки въ Моравіи, въ 22-мъ — историческіе документы XVII вѣка). «Исторія (Дѣиы) Чешскаго народа» Палацкаго, нѣкоторые томы которой были распроданы до послѣдняго экземпляра, выходятъ новымъ изданіемъ. Равнымъ образомъ выходитъ въ чешскомъ переводѣ и «Исторія Моравіи» (Дѣиы Моравы. Прага. 1875) Б. Дудика. «Дѣиы (исторія) народа Болгарскаго» Иречка-сына (Константина) замѣчательны уже и тѣмъ, что представляютъ единственную книгу, не только отвѣчающую потребностямъ современной минуты, но и единственное полное изложеніе предмета. Въ отношеніи исторіи литературы нужно упомянуть о «Руководствѣ (Руководствѣ) къ исторіи чешской литературы въ азбучномъ порядкѣ» Иречка-отца (Иосифа). Это — трудъ, который дѣйствительно облегчаетъ подыскиваніе первыхъ свѣдѣній о писателяхъ чешской литературы. 3-й томъ «Дѣиы Праги» Томка интересенъ тѣмъ, что занимается судьбами Гуса и религіознаго броженія, имъ вызваннаго. Выходитъ этимологическій словарь Котта.

Въ 1876 году исполнилось пятидесятилѣтіе лучшаго литературно-ученаго органа въ славянскомъ мірѣ «Временника (Часописа) Чешскаго музея». Въ дѣлѣ чешскаго возрожденія ему принадлежитъ одно изъ первенствующихъ мѣстъ въ дѣлѣ славянской науки — мѣсто, безспорно, первенствующее. Лучшіе люди славянской науки были его редакторами: Палацкій, Шафарикъ, Воцель, Небескій; лучшіе труды ихъ и другихъ ученыхъ, пролившіе столько свѣта на славянскія нарѣчія, литературу, древности и исторію, — были первоначально помѣщаемы въ «Часописѣ» Чешскаго музея. Какъ вѣрный показатель, этотъ «Временникъ» отражалъ на себѣ движенія и колебанія, приливы и отливы чешской образованности; понижался онъ иногда довольно сильно, но никогда не падалъ и всегда находилъ

силы къ возрожденію. Вотъ почему доселѣ онъ составляетъ необходимѣйшее пособіе для каждаго изучающаго славянство, пятидесяти томный реперторій самыхъ разнообразнѣйшихъ свѣдѣній, разысканій, замѣтокъ и т. д. И справедливость требуетъ сказать, что теперешній редакторъ его, докторъ Эмлеръ, дѣлаетъ все, чтобы поднять достоинство его и держать его на высотѣ лучшаго славянскаго ученаго органа. Какъ слышно, готовится полный указатель статей и содержанія ихъ къ этому журналу. Не можемъ не пожелать, чтобы къ этому была присоединена и «исторія» его: это много прояснило бы судьбы чешской образованности и науки со времени возрожденія. По примѣру Чешской Матицы, Моравская Матица издастъ свой журналъ, котораго идетъ уже 7-й томъ. Несмотря на незначительный объемъ, въ немъ встрѣчаются статьи очень важныя для чешской и вообще славянской старины. Таковы монографія: Брандл, Кулды и Бартоша.

Основаніе Краковской академіи наукъ сильно содѣйствовало къ возбужденію ученыхъ занятій между австрійскими поляками. Академія издастъ два журнала — «Рочники» по отдѣленіямъ: филологическому, философскому и естественно-историческому, а также Протоколы — «Справозданя» по тѣмъ же отдѣленіямъ. Здѣсь помѣщаются иногда статьи, отличающіяся истинно-ученымъ направленіемъ и весьма важныя въ научномъ отношеніи. Академіей издается продолженіе извѣстнаго труда Оскара Кольберга *«Людѣ. Ея звычаи и способъ жиція»*, котораго недавно вышли 8, 9 и 10 томы. Немаловажнымъ явленіемъ въ польской литературѣ должно признать сочиненіе Войцѣховскаго — *«Хробоція. Розбѣоръ старожитносци Словянскихъ»* (1873). Критическая часть книги заслуживаетъ полнаго вниманія, но попытка основать славянскія «древности» на матеріалѣ мѣстныхъ названій едва ли можетъ быть признана сбыточною. Самымъ важнымъ явленіемъ, если не польской литературы, то относящимся къ польской наукѣ, должно признать сочиненіе на нѣмецкомъ языкѣ Цейсберга, подъ названіемъ: «Польскіе лѣтописцы среднихъ вѣ-

ковъ» (Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Лейпцигъ. 1873). Особенно интересно и въ историческомъ и въ историко-литературномъ отношеніи изложеніе жизни и разборъ сочиненій Длугоша. Нелвишенное интереса сочиненіе о первыхъ польскихъ лѣтописцахъ, «Polnische Annalen» (Львовъ. 1873) представилъ Смолка. Цейсбергу также принадлежитъ отдѣльное сочиненіе о Викентіи Кадлубкѣ. Въ отношеніи исторіи польскаго права должно упомянуть о превосходномъ сочиненіи Ром. Губе—*«Польске право в XIII вѣку»* (Варшава. 1875), а равнымъ образомъ объ изданіи посмертныхъ трудовъ Гельця (Т. 1. *Дане право приватне польске*. Краковъ. 1874). Не безъ интереса прочтется и «Исторія крестьянъ» (*Гисторія влощыянъ*. Варшава. 1874) Мацѣевского, хотя книга едва ли что-нибудь прибавитъ къ славѣ извѣстнаго писателя, и едва ли не должна быть сочтена за самое слабое изъ его произведеній.

Дѣятельность Миклошича была столь же жива и въ послѣднее время, какъ прежде: кромѣ IV тома своей Сравнительной грамматики, заключающей сравнительный синтаксисъ славянскихъ нарѣчій, онъ издалъ наконецъ 2-й томъ «Образованія словъ» (Stammbildungslehre. Wien. 1875). Чтò непріятно можетъ подѣйствовать на читателя — это развѣ транскрипція древне-славянскихъ словъ латиницей. Миклошичемъ изданы для пользованія учащихся «Парадигмы старославянской морфологіи» (Altslovenische Formenlehre in Paradigmen), съ любопытнымъ предисловіемъ, въ которомъ снова пересматривается вопросъ объ отечествѣ церковно-славянскаго языка. Къ этому послѣднему вопросу относится и отдѣльный мемуаръ Миклошича подъ названіемъ «Древне-славянская христіанская терминологія» (Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Вѣна. 1875). Вообще, сравнительно съ прежнимъ, въ трудахъ Миклошича замѣчается нынѣ значительное измѣненіе: сравнительный элементъ въ изслѣдованіи славянскихъ нарѣчій получаетъ въ его послѣднихъ трудахъ свою настоящую силу, тогда какъ прежде онъ былъ одною формальною вывѣскою. Наконецъ слѣдуетъ упомя-

путь и о предпріятіи Ягича — издавать на нѣмецкомъ языкѣ журналъ, посвященный славяновѣдѣнію — «Славянскій архивъ» (Archiv für slavische Philologie. Берлинъ). Самыя интересныя и важныя въ немъ статьи самого Ягича: таковы его изслѣдованія по славянской народной поэзіи и по древне-славянскому языку. Особенной признательности заслуживаетъ также помѣщаемое тамъ историко-литературное обзорѣніе явленій въ области славянской науки.

Къ сожалѣнію, литературная дѣятельность у словаковъ подъ гнетомъ мадьярскимъ должна была ослабѣть. Два года тому назадъ мадьяры закрыли матрицу и такимъ образомъ прекратили изданіе очень полезнаго ученаго органа «Лѣтописи Матрицы Словенской». Впрочемъ, литераторъ-историкъ Сасинекъ продолжаетъ это предпріятіе, хотя въ другомъ мѣстѣ и подъ другимъ названіемъ.

Русская наука славяновѣдѣнія за послѣднее время не представляетъ особыхъ богатствъ. Укажемъ *изданія древнихъ текстовъ и ихъ описанія*. Всѣ важнѣйшіе выводы славянской филологіи основываются главнымъ образомъ на древне-славянскомъ языкѣ, потому изданіе памятниковъ этого языка должно лежать во главѣ угла для славяновѣдѣнія. Знаменитая рукопись славянскаго перевода Словъ Григорія Назіанзена, по палеографическимъ даннымъ писанная въ XI столѣтіи, вышла наконецъ въ полномъ составѣ. Доселѣ она извѣстна была только по извлеченіямъ г. Чернышевскаго, да по изданію Х Слова г. Срезневскимъ. Г. Будновичу принадлежитъ честь перваго изданія: *XIII Слово Григорія Богослова въ древне-славянскомъ переводѣ по рукописи XI в.* (Спб. 1875). Желая совмѣстить строгаго палеографическія требованія съ критическими, издатель не только воспроизводитъ каждую строку и даже черту рукописи, но и представилъ свое чтеніе текста, вмѣстѣ съ критикою перевода — *по сравненію съ греческими подлинниками*. Необходимое *введеніе* къ труду г. Будновича представляетъ вышедшее нѣсколько лѣтъ тому назадъ его же «Изслѣдованіе языка древне-славян-

скаго перевода XII Слова Григорія Богослова» (Спб. 1871). Рассмотрѣніе труда Невоструева надъ древне-славянскимъ переводомъ Слова св. Ипполита объ антихристѣ (1868 г.) дало академику Срезневскому поводъ издать *Сказанія объ антихристѣ въ славянскихъ переводахъ* (Спб. 1874). Къ текстамъ приложенъ прекрасно выполненный сборникъ палеографическихъ снимковъ. Второй томъ, или новая серія изданія И. И. Срезневскаго, выходявшая подъ названіемъ «*Свѣдѣнія о малозвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ*» (въ «Сборникѣ Отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Ак. Наукъ». Томъ XII. Спб. 1875), содержитъ въ себѣ не мало цѣльныхъ текстовъ или выдержекъ изъ нихъ, снабженныхъ всякаго рода объясненіями. Книга А. Н. Попова: *Первое прибавленіе къ описанію рукописей библиотеки А. И. Худова* (М. 1875) содержитъ въ себѣ достоинства тщательнаго описанія рукописей съ изданіемъ памятинокъ. Важнымъ во многихъ отношеніяхъ должно признать трудъ И. В. Ягича: *Описи и изводи изъ неколико южнославянскихъ рукописей*, помѣщенный въ «*Старине*» (Загребъ. кн. V и VI). Пр. Павлова — *Номоканонъ при большемъ требникѣ* (1872) и Горчакова — *Къ исторіи епитимійныхъ номоканоновъ православной церкви* (Спб. 1874) посвящены рассмотрѣнію каноновъ, могущихъ быть важнымъ пособіемъ въ наукѣ древностей. Шафариковъ «*Изборъ*» юго-славянскихъ памятинокъ, напечатанный въ 1851 г. въ очень ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, сталъ снова доступенъ ученымъ во второмъ изданіи, подъ заглавіемъ — *Памятки древнѣйшій писемницѣи Илословановъ* (Прага 1873), сдѣланномъ І. Иречкомъ; въ концѣ добавлены нѣкоторыя сербскія, болгарскія и молдо-влашскія грамоты, а равнымъ образомъ въ концѣ книги прибавленъ указатель, составленный Конст. Иречкомъ, внукомъ знаменитаго славяновѣда. Изъ описаній древне-славянскихъ рукописей назовемъ слѣдующія: *Описание Воскресенской Новоіерусалимской библиотеки, съ приложеніемъ снимковъ со всѣхъ пергаменныхъ рукописей и нѣкоторыхъ писанныхъ на бумагѣ* (М. 1874) арх. Амфилохія; *Древне-с-*

оянская псалтирь XII — XIV вѣка съ греческимъ текстомъ изъ толковой-Теодоритовой псалтири X вѣка, съ замѣчаніями по древнимъ памятникамъ (М. 1874)—его-же; *О самодревнѣйшемъ октоихѣ XI вѣка юго-славянскаго юсоваго письма, найденномъ въ 1868 г. А. Θ. Гилибердингомъ въ Струмницѣ* (М. 1874)—его-же. Первый выпускъ *Описанія рукописей церковно-археологическаго музея при Кіевской духовной академіи* (Кіевъ. 1875) Н. И. Петрова можетъ удовлетворить только потребности перваго ознакомленія съ рукописями: выписокъ изъ текстовъ нѣтъ. . . *Описаніе рукописей и книгъ, хранящихся въ Вино-ласской бібліотекѣ* (Спб. 1874) составлено очень тщательно Е. В. Барсовымъ.

По извѣстіямъ изъ Петербурга, недавно открыто рукописное *Евангеліе 1092 юда*, слѣдовательно второе евангеліе съ обозначеніемъ года послѣ Остромирова, и нельзя не пожелать, чтобы Императорская Публичная Библіотека приобрѣла этотъ важный памятникъ.

Въ историческомъ отношеніи болѣе всего посчастливилось балтійскимъ славянамъ: почти въ одно время вышло шесть сочиненій: 1) *Древности юридическаго быта балтійскихъ славянъ. Опытъ сравнительнаго изученія славянскаго права* А. А. Котляревскаго (Прага. 1874); 2) *Сказанія объ Оттонѣ Бамбергскомъ въ отношеніи славянской исторіи и древности*. А. А. Котляревскаго (Прага. 1874); 3) *Послѣдняя борьба балтійскихъ славянъ противъ опъмеченія* (1876). И. А. Лебедева. Первая часть представляетъ историческое изложеніе происшествій; вторая, гораздо болѣе важная, — обзоръ источниковъ; 4) *Германизация балтійскихъ славянъ* (1876) І. Первольфа, гдѣ не упущены изъ виду всѣ важнѣйшія нѣмецкія разысканія по этому предмету; 5) *Начало борьбы славянъ съ нѣмцами*. А. Небосклонова (Каз. 1874) и наконецъ 6) *Приморскіе Вендскіе города и ихъ вліяніе на образованіе Ганзейскаго союза до 1370 юда* Θ. Я. Фортискаго (Кіевъ. 1876). Послѣдній трудъ исполненъ, главнымъ образомъ, на основаніи грамотъ. Капитальнымъ изда-

ніемъ должно признать матеріалы, собранные В. В. Макушевымъ во время его заграничнаго путешествія и изданные подъ заглавіемъ: *Историческіе памятники южныхъ славянъ и соседнихъ имъ народовъ* (Варшава. 1874. Monumenta historica Slavorum meridionalium). О богатыхъ находкахъ проф. Макушева было еще прежде извѣстно изъ его отчетовъ объ италіанскихъ архивахъ, — отчетовъ, помѣщенныхъ въ «Запискахъ Академіи Наукъ». Первый томъ настоящаго труда обнимаетъ архивы меньшіе и нѣкоторыя бібліотеки Анконы, Болоньи и Флоренціи. Тексты, по большей части, имѣютъ историко-юридическій характеръ и снабжены необходимыми объясненіями и примѣчаніями. Проф. Макушевъ имѣетъ подобнаго матеріала на нѣсколько томовъ, и нельзя не пожелать, чтобы онъ нашелъ и средства, и досугъ издать ихъ. Сочиненіе М. С. Дринова — *Южные славяне и Византія въ X вѣкѣ* (1876) есть опытъ изложенія политической исторіи на основаніи непосредственныхъ источниковъ. Вниманія заслуживаетъ попытка воспользоваться письмами константинопольскаго патріарха Николая Мистика, извѣстнаго у насъ по прекрасной рѣчи В. И. Григоровича: *Объ отношеніяхъ Константинопольской церкви къ Болгаріи*.

С.-Петербургскимъ отдѣломъ Славянскаго Комитета и друзьями славянства изданы: 1) *Славянскій сборникъ* (томъ I. 1875); въ него вошли: Карпатская Русь. Я. Ѳ. Головацкаго; О галицкой Руси. И. Наумовича; О современномъ положеніи русскихъ въ Угріи; Очеркъ политической и литературной исторіи словаковъ за послѣднія сто лѣтъ. Пича; Изъ области общественной и экономической статистики Чехіи, Моравіи и Австрійской Силезіи. А. С. Будиловича; Положеніе райи въ современной Босніи. Н. А. Попова; Видные дѣятели западно-славянской образованности въ XV, XVI и XVII вѣкахъ. В. И. Ламанскаго; О современномъ положеніи и взаимныхъ отношеніяхъ славянъ западныхъ и южныхъ. А. С. Будиловича и нѣк. др. Въ 1876 году вышелъ 2) *Славянскій сборникъ* (томъ 3-й) подъ редакціею П. А. Гяльтебрандта (640 стр. ц. 3 руб.) съ такимъ содержа-

иіемъ: а) Восточный вопросъ въ XVI и XVII вѣкахъ. В. В. Макушева. б) Общественные и государственные вопросы въ польской литературѣ XVI вѣка. В. В. Макушева. в) Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ. А. Н. Веселовскаго. г) Слѣды русскаго вліянія на старо-польскую письменность. В. В. Макушева. д) Сербскія житія и лѣтописи, какъ источникъ для исторіи южныхъ славянъ въ XIV и XV вѣкахъ. В. В. Качановскаго. е) Резьбы и Резьбаны. И. А. Бодуэна де-Куртене. ж) Изъ исторіи Византіи въ XII вѣкѣ. В. Г. Васильевскаго. з) Краковская академія наукъ. А. К. Киркора. и) Институтъ Оссолинскихъ въ Львовѣ. А. К. і) Библиографическія замѣтки. П. А. Червяковскаго. к) Кдница, этнографическій очеркъ болгаръ—въ пер. Е. П. Барсовой. л) Войгеа Кентржинскаго, о мазурахъ—въ пер. В. Недзвецкаго. м) Крестьяне въ Польшѣ накануне послѣдняго ея раздѣла—въ пер. П. А. Червяковскаго. Въ изданіе подъ заглавіемъ 3) *Братская помощь* (Спб. 1876) вошли между прочимъ слѣдующія статьи, относящіяся къ славяновѣдѣнію: Россія уже тѣмъ полезна славянамъ, что она существуетъ. В. И. Ламанскаго (10 — 34 стр.). Кровавая месть въ старой Сербіи. П. А. Попова (289 — 305). О сношеніяхъ В. В. Ганки съ Россійскою Академіею и о вызовѣ его въ Россію, М. П. Сухомлинова (309 — 318). Вукъ Стефановичъ Караджичъ. И. И. Срезневскаго (337—364). Первая глава послѣдней статьи была помѣщена въ «Московскомъ Сборникѣ» 1847 года, вторая написана для «Братской помощи».

Нельзя не выразить сожалѣнія, что по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, задержалось изданіе 5 и 6 томовъ сочиненій Гильфердинга, которые должны были заключать самые важные и зрѣлые труды по славянской наукѣ покойнаго славянофила.

Янко Шафарикъ (Некрологъ).

Въ ночь съ 6 на 7 (съ 18 на 19 н. ст.) іюля 1876 года сербская наука понесла значительную утрату въ лицѣ доктора Янка Шафарика, умершаго на 63 году своей жизни и до послѣднихъ дней бывшаго предсѣдателемъ сербскаго ученаго «дружества» (общества). Родился онъ $\frac{2}{14}$ ноября 1814 г. въ Угріи. Гимназическій курсъ проходилъ въ Новомъ Садѣ (Нейзатцѣ), подъ руководствомъ своего дяди, въ то время директора новосадской гимназіи, знаменитаго Павла Іос. Шафарика. Перейдя въ лицей въ Пресбургъ, который въ то время въ значительномъ количествѣ посѣщала славянская (сербская и словацкая) молодежь, Янко Шафарикъ прослушалъ курсъ философіи и юриспруденціи. Затѣмъ онъ поступилъ на медицинскій факультетъ Вѣнскаго университета. Въ 1838 г. получилъ степень доктора медицины. Потомъ Янко провелъ нѣкоторое время въ Прагѣ, помѣщалъ статьи въ «Музейникъ» и въ «Къптахъ» (1838—39 г.); помогалъ также своему дядѣ, Павлу Шафарику, въ его подготовительныхъ ученыхъ работахъ, такъ напр. въ Вѣнѣ списалъ для него значительную часть архива бывшей Дубровницкой республики. Въ 1840 г. поселился въ Новомъ Садѣ въ качествѣ городского лѣкаря. Въ 1843 г. былъ приглашенъ сербскимъ правительствомъ во вновь учрежденный Бѣлградскій лицей. Въ лицей онъ оставался 18 лѣтъ, сначала какъ профессоръ физики, а потомъ (съ 1849 г.) профессоромъ всеобщей и сербской исторіи. Съ 1861 г., оставивъ профессуру, Янко Шафарикъ за-

пять мѣсто директора народной библіотеки и завѣдующаго народнымъ музеемъ. Въ 1869 году онъ былъ избранъ предсѣдителемъ «Дружества сербской словесности», а въ томъ же году членомъ сената княжества. Для науки въ Сербіи Я. Шафарякъ сдѣлалъ немало: онъ былъ душою ученаго «дружества» со времени его основанія; музей, преимущественно, ему обязанъ своимъ устройствомъ; онъ же имѣлъ большое вліяніе на школьное дѣло въ Сербіи. Ученыхъ трудовъ Я. Шафаряка много; рѣдкая книжка «Гласника Сербскаго ученаго дружества» не содержитъ какой-нибудь его статьи. Преимущественно онъ занимался изданіемъ старосербскихъ памятниковъ, хроникъ, грамотъ и пр. Назовемъ нѣкоторые изъ его изданій: *Грамота сербская султана Селима* (Гласникъ 1852); *Лѣтописецъ Трношскій XVI вѣка* (1853); *Присяга вел. бана Босанскаго Мат. Стефана 1249 года* (1854); *Письмо краля Босанскаго Томы Дубровничама 1440—1460 г.* (тоже); *Надпись на церкви монастыря въ Прилпѣ* (id.); *Прилози къ исторіи сръбске и буларске іерархіе* (1855); *Писменни споменици сръбски и буларски* (id.); *Житіе Стефана третіаго списано Григоріемъ мѣникомъ* (Гр. Цамвлякомъ 1859); *Грамота объ основаніи монастыря св. Михайла и Гавріила въ Призрѣнѣ, данная царемъ Душаномъ* (1862); нѣкоторыя выдержки изъ *болгарскаго пролога*, писаннаго въ 1330 г. въ Македоніи, между которыми находится и краткая *легенда о св. Меодіи* (1863); часть *типика св. Саввы* Хиландарскаго монастыря (1866); отрывки изъ евангелія 1279 г., найденнаго Миличевичемъ (id.); *18 грамотъ сръбскихъ и валашскихъ 1349—1496 г.*, по спискамъ, присланнымъ архимандритомъ русскаго монастыря на Афонской горѣ (1868). Съ наибольшею любовью Я. Шафарякъ занимался юго-славянскою нумизматикой, которая, по его почину, такъ сказать, возникла. Онъ издалъ: *Описаніе свижу досадъ познатихъ сръбскихъ новаца* (1851—1855). Изъ оригинальныхъ трудовъ его еще упомянемъ: *Планъ како би се могло доћи до нове сръбске исторіје* (1849); *Попис акта принадлежешихъ къ исторіји Срба и осталихъ Югословена находешихъ се у н. кр. мле-*

такомъ генеральномъ архиву (1858). Онъ перевелъ на сербскій языкъ: *Разцѣтъ славянской литературы въ Болгаріи* (1849 съ чеш.), статью своего дяди, и *хронику Турецкую* Михаила Константиновича (1865 id.). Въ 1857 и 1858 годахъ Я. Шафарикъ посѣтилъ Венецію, для обозрѣнія документовъ, касающихся юго-славянъ; результатомъ этого путешествія были два тома «*Acta archivi Veneti*». — Каждого иноземнаго славянина Я. Шафарикъ всегда принималъ въ Бѣлградѣ съ необыкновеннымъ радушіемъ. Онъ былъ однимъ изъ видныхъ гостей на московской этнографической выставкѣ 1867 года. Въ Сербіи даже среди простого народа пользовался рѣдкою популярностью. — Съ зимы 1875 г., слегка пораженный параличемъ, Я. Шафарикъ часто хворалъ; тѣмъ не менѣе кончина его была для всѣхъ неожиданностью.

Викторъ Ивановичъ Григоровичъ.

(Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Кіевского отдѣла Славянскаго комитета 23 декабря 1876 г.).

Мм. Гг.!

Мы начали нынѣшній годъ поминками по дѣятелѣ славянской мысли (Ю. О. Самаринѣ), поминками же по дѣятелѣ славянской мысли и науки и заканчиваемъ его: телеграмма извѣстила насъ, что сегодня въ Елисаветградѣ хоронятъ В. И. Григоровича. Имя Григоровича, человѣка почти сорокъ лѣтъ дѣйствовавшего живымъ словомъ науки въ трехъ русскихъ университетахъ, одного изъ первыхъ и по времени и по достоинству миссіонеровъ славянства въ Россіи — извѣстно каждому. Краткое воспоминаніе о немъ, о его ученыхъ и общественныхъ заслугахъ, не будетъ неумѣстно здѣсь, среди тѣснаго кружка поборниковъ и цѣнителей славянской идеи.

Григоровичъ родился въ Балтѣ (30 апрѣля 1815 г.),

воспитывался въ Уманскомъ Базилянскомъ (уніатскомъ) училищѣ, въ которомъ пробылъ до 15 лѣтъ. Можетъ-быть, подъ вліяніемъ монаховъ въ характерѣ Григоровича выработалась уклончивость и нѣкоторое самоуниженіе, которыя отличали его въ обхожденіи съ людьми. Окончивъ курсъ въ Харьковскомъ университетѣ со званіемъ дѣйствительнаго студента, онъ, по собственному влеченію, отправился въ Дерптъ, гдѣ тогда находилось нѣсколько русскихъ ученыхъ, такъ называемаго, послѣдняго профессорскаго института: Ивановъ, Горловъ, Прейсъ и др. Въ Дерптѣ, славномъ тогда именами классическихъ филологовъ Моргенштерна, Нейе, Преллера, занятія Григоровича приняли классическое направленіе, онъ изучилъ основательно древніе языки и не рѣдко даже своею стилистическою опытностію въ латинскомъ выручалъ молодыхъ докторантовъ, обязанныхъ представлять докторскія диссертациі непременно на латинскомъ языкѣ. Но тогда уже, кажется, пробудился въ немъ интересъ къ изученію Византии и славянства, послѣдняго, быть-можетъ, не безъ вліянія примѣра П. И. Прейса.

Въ 1838—39 годахъ министерство гр. Уварова отправило въ науку въ славянскія земли первыхъ нашихъ піонеровъ славянства: Бодянскаго, Прейса и Срезневскаго. Бодянскій предназначался для Москвы, Срезневскій — для Харькова, а Прейсъ — для С.-Петербурга. Пустовали Казань и Кіевъ. О кафедрѣ славянской въ Кіевѣ пока не могло быть и рѣчи, но Казань могла имѣть ее и скоро нашла себѣ достойнаго преподавателя: при посредствѣ пр. Горлова попечитель Мусинъ-Пушкинъ предложилъ эту кафедру В. И. Григоровичу съ тѣмъ, что онъ отправится въ ученое путешествіе по славянскимъ землямъ лишь по выдержаніи экзамена на степень магистра и защитѣ диссертациі. Вступая на кафедру, Григоровичъ напечаталъ въ «Ученыхъ запискахъ Казанскаго университета» (1841 г., ш. 1-я) *Краткое обозрѣніе славянскихъ литературъ* и потомъ, какъ магистерскую диссертацию, представилъ *Опытъ изложенія литературы словенъ въ ея главнѣйшіе эпохи* (Уч. зап. Каз.

у—та 1842 г. и отд. Казань 1843). Последняя работа объ-
маетъ первыя двѣ эпохи съ IX ст. до нач. XV вѣка, т. е. до
Гуса. Матеріаль для подобнаго труда въ то время былъ еще
очень малъ: трудности были почти неодолимыя; но не по отно-
шенію къ выполненію задачи онъ замѣчательнъ, а по мысли не-
обыкновенно смѣлой, можно сказать, творческой для того вре-
мени, живой и плодотворной и въ настоящую минуту: онъ пред-
положилъ рассмотреть литературу славянскихъ народовъ, какъ
организмъ, какъ одно стройное цѣлое, т. е., такъ сказать, *пан-
славистскимъ* образомъ, о чемъ мечталъ знаменитый Павелъ
Шафарикъ. Объ «Опытѣ» Григоровича можно поэтому ска-
зать, что это было *первое ученое сочиненіе въ Россіи о славян-
ской литературѣ съ точки зрѣнія славянской взаимности*. Ску-
денъ и незначителенъ по матеріалу покажется этотъ «Опытъ»
теперь, но мысль и задача его доселѣ остаются мыслью живою,
задачею достойною науки, потому что если только возможна наука
исторія славянскихъ литературъ, какъ одного цѣлаго — она воз-
можна только по той программѣ и въ томъ образѣ, который
былъ начертанъ Григоровичемъ.

Отправляясь (въ 1844 г.) въ путешествіе по славянскимъ
землямъ, Григоровичъ понялъ, что въ славянскихъ земляхъ
Австріи мало можно сдѣлать при враждебности ея къ Россіи и
къ русскимъ: онъ избралъ невѣдомыя славянскія страны Тур-
ціи, обѣщавшія богатую жатву. Изъ Константинополя онъ пере-
ѣхалъ въ Солунь, гдѣ ему удалось открыть краткое житіе еп.
Веляческаго Климента; изъ Солуни пробрался на Аеоны и далѣе,
исходилъ большую часть Мизіи, Фракіи и Македоніи. Въ своихъ
разысканіяхъ Григоровичъ рѣдко заходилъ въ болѣе отда-
ленную классико-доисторическую древность, онъ ограничился эпо-
хой христіанской: неутомимо обозрѣвая церкви, монастыри, онъ
вездѣ доискивался слѣдовъ излюбленной имъ древне-славянской
письменности. Онъ былъ столь счастливъ, что умѣлъ спасти отъ
гибели много чрезвычайно важныхъ письменныхъ памятниковъ,
какъ напр. греческую псалтирь XI в. съ художественными ии-

ніаіурами и знаменитое глагольское евангеліе XI в. Обвиняли Григоровича, что способы приобрѣтенія имъ рукописей были не всегда *обыкновенно-законны*, но наука не сдѣлаетъ ему такого упрека, имѣя въ виду высшую пользу его приобрѣтеній: рукописи, конечно, погибли бы, если бы ихъ не спасла рука Григоровича на пользу науки, и имѣемъ ли мы право назвать эту руку хищническою.. Хищники не заботятся объ общей пользѣ и нуждахъ потомства, еще менѣе о наукѣ...

Осмотрѣвъ славянскія страны Европейской Турціи, Григоровичъ остановился на нѣкоторое время и у славянъ австрійскихъ, затѣмъ чрезъ Саксонію и Пруссію возвратился въ 1847 году въ отечество. Здѣсь первымъ плодомъ его путешествія былъ *«Очеркъ путешествія по Европейской Турціи»* (Уч. зап. Каз. у—та 1848 г. и отд. Казань. 1848), очеркъ—богатый разнообразнѣйшими свѣдѣніями археографическими и археологическими. Еще одно отличало Григоровича въ путешествіи: онъ не только интересовался славянщиной, но и старинною византійскою. Съ этой стороны «Очеркъ» его важенъ и по матеріалу, и по мысли. Въ Вѣнѣ имъ обработаны *Протоколы константинопольскаго патріархата* (Ж. М. Н. Пр. 1847 г., № 6) — очень важные для исторіи русской церкви. Въ томъ же году имъ напечатаны *Изысканія о славянскихъ апостолахъ въ Европейской Турціи* (Ж. М. Н. Пр. 1847, № 1), т. е. греческій текстъ житія св. Климента съ переводомъ и объясненіями.

Жизнь профессора въ Казани въ то время не представляла ничего отраднаго; профессорская среда едва ли могла поддержать и ободрить дѣятельность ученаго. Григоровичъ находилъ поддержку только въ средѣ студентовъ, которыхъ очень привлекали извѣстный дотогѣ предметъ и чудаковатыя манеры профессора. Явившійся нѣкоторое время было модною наукою въ Казани: имъ серіозно интересовалось общество, попечитель университета (Молоствовъ) и даже нѣкоторые помѣщики. Въ казанскомъ «Обществѣ любителей русской словесности» Григоровичъ читалъ свою рѣчь: «О значеніи церковно-славянскаго

языка», которая вошла потомъ въ небольшой сборникъ его статей, изданный подъ заглавіемъ *Статьи, касающіяся древне-славянскаго языка* (Казань. 1852 г.). Какъ самъ сборникъ, такъ въ особенности эта «Рѣчь» важны и по матеріалу, и еще болѣе по мысли: они проникнуты, можно сказать, панславистской идеей... Съ этой точки зрѣнія поставленъ имъ вопросъ о церковно-славянскомъ языкѣ, какъ объ объединяющемъ началѣ въ славянствѣ. Позволю себѣ привести одно, прямо сюда относящееся мѣсто: дѣло идетъ о значеніи церковно-славянскаго языка въ нашемъ образованіи: «Охраняя намъ преданіе, онъ даруетъ намъ общеніе съ предками, сближаетъ насъ въ обширномъ отечествѣ нашемъ; находясь во взаимности съ родными нарѣчіями, онъ приводитъ насъ къ общенію съ соплеменниками; наконецъ, цѣлостно поясняемый, онъ расширяетъ предѣлы нашего сознанія и ставитъ насъ въ обширнѣйшую сферу образованнѣйшихъ народовъ. На первой степени изученія языкъ древне-славянскій роднитъ насъ съ тѣми началами отечества нашего, которыя, будучи доступны каждому, великому и малому, образованному и необразованному, уравниваютъ насъ въ потребности общечеловѣческой, въ потребности религіозной. И это сдруженіе насъ есть лучшее отлічіе нашей пародности, одно изъ ея преимуществъ, на которомъ основаны непоколебимость и твердость общественныхъ началъ. И въ самомъ дѣлѣ, что болѣе призываетъ насъ къ единенію, какъ не языкъ молитвы нашей? Пробуждая въ насъ пылливость, языкъ церковно-славянскій на второй степени напоминаетъ намъ о родѣ нашемъ и, заставляя относить къ нему всѣ нарѣчія нашихъ соплеменниковъ, даетъ намъ возможность отвѣчать на задушевный призывъ ихъ къ славянской взаимности. Усиливая вниманіе къ языку церкви нашей, давалъ примѣръ неизмѣннаго уваженія къ нему, не дадимъ ли мы почувствовать, что залогомъ этой взаимности есть общее дружное призваніе въ образованіи нашемъ языка, исконно назначеннаго вразумлять насъ въ нравственныхъ обязанностяхъ нашихъ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ иначе доказать взаимность, какъ относить всѣ частно-

сти къ одному данному, ставить это данное общимъ источникомъ вразумленія. Наконецъ, поставивъ насъ на самой высшей степени созерцанія, изученіе церковно-славянскаго въ сферѣ восточно-европейскихъ языковъ примиряетъ насъ съ истинными требованіями просвѣщенія, для которыхъ, ограничивая пылкость славянофиловъ и укрощая натискъ пошлаго, мы добровольно чувствуемъ, что истинное начало нашей дѣятельности не лежитъ въ безсознательномъ косиѣніи, въ одностороннемъ направленіи, но въ искреннемъ сознаніи, пробуждаемомъ родствомъ языковъ, сознаніи необходимости участія нашего въ нравственномъ усовершенствованіи человѣчества. На какой степени изученія мы бы ни стояли, мы не можемъ, мы не должны отрицать благотворное вліяніе церковно-славянскаго языка. Оно такъ вѣдрилилось въ сознаніе наше, что отрицаніе это было бы опроверженіемъ лучшихъ началъ русской народности....» Такъ выражался панславизмъ въ русскомъ ученомъ въ Казани. Въ 1853 г. имъ напечатано *Посланіе митрополита Іоанна II, какъ памятникъ XI вѣка* (Спб.) — опытъ филологическаго возстановленія текста, дошедшаго къ намъ въ испорченномъ и подновленномъ видѣ. Въ актовомъ рѣчи *О Сербіи въ ея отношеніи къ сосѣднимъ державамъ въ XIV—XV в.* (Каз. 1859 г.) выражена совершенно оригинальная идея: вопреки общепринятому мнѣнію, что Косовская битва — случайность и результатъ властолюбія и завоевательныхъ стремленій турокъ, Григоровичъ указываетъ, что пораженіе Сербіи турками было только продолженіемъ старой византийской политики Константинопольскаго двора. Характеристика этой политики образцовая. О значеніи славянской взаимности онъ говоритъ такъ: «Славяне, сознавая суетную дѣятельность враговъ своихъ, не перестающихъ перестраивать народный ихъ характеръ на ладъ своихъ замысловъ, уже давно во взаимности своихъ племенъ поставили условія нравственнаго преобразованія. Взапность, соединенная съ уваженіемъ къ чуждымъ народностямъ, заставляла преодолевать предрасудки, отчуждающіе племя отъ племени, внушаетъ также нравственное

участіе, возвышающее народное достоинство, спасающее слабыхъ отъ отступничества, отъ перебѣга въ чужіе ряды. Взаимность, поддерживая состязаніе на поприщѣ развитія, въ успѣхъ каждаго племени полагая успѣхи цѣлаго поколѣнія, можетъ насъ сдѣлать достойными соперниками просвѣщенныхъ народовъ, которые также дорожатъ судьбою своихъ племенъ на каждомъ мѣстѣ и при различныхъ условіяхъ ихъ жизни. Да будетъ же исходною точкою нашего усовершенствованія взаимность, ознаменованная благоволеніемъ къ общечеловѣческому достоянію, къ истинному просвѣщенію.... Въ 1862 г. имъ изданъ *Древнеславянскій памятникъ, дополняющій житіе св. апостоловъ Кирилла и Мефодія*, содержащій службы имъ. Это былъ послѣдній трудъ, изданный имъ въ Казани.

Со введеніемъ новаго университетскаго устава, Григоровичъ перешелъ въ Одессу, и жизнь его приняла совершенно другое, болѣе живое и дѣятельное направленіе... Свои книги и богатое собраніе рукописей онъ пожертвовалъ Одесскому университету. Несмотря на обширные труды по профессорской должности, по насажденію новой науки въ новомъ университетѣ, Григоровичъ дѣятельно продолжалъ трудиться и для науки. Въ особенности его до самой кончины занимала задача издать свой знаменитый глаголическій афонскій кодексъ. Съ этой цѣлью онъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ Москву для приготовленія фотографическихъ снимковъ и дѣятельно занимался вопросомъ о происхожденіи кирилловскаго и глагольскаго письма въ древнеславянскомъ языкѣ, что хотѣлъ подробно изложить во введеніи къ предпринятому изданію текста.

Въ Одессѣ дѣятельность Григоровича раздвояется: какъ южанинъ, онъ не могъ не отдаться интересамъ края, преимущественно его древней археологій. Въ этомъ направленіи имъ изданы: *Историческіе намеки о значеніи Херсона и его церкви* (1864 г.); *Записка объ археологическомъ изслѣдованіи Днѣстровскаго побережья* (1864 г.); *Записка относительно археологическихъ изслѣдованій въ Херсонисѣ*; *Записка антиквара о ея*

поѣздкѣ на Калку и Калміусъ въ Корсунскую землю и на южныя побережья Днѣпра и Днѣстра (Од. 1874 г.); *Записка о пособіяхъ къ изученію южнорусской земли, находящихся въ военномъ архивѣ Главнаго Штаба* (Од. 1876 г.).

По славянской наукѣ въ Одессѣ онъ напечаталъ: *Какъ выражались отношенія Константинопольской Церкви къ окрестнымъ спорнымъ народамъ и преимущественно къ болгарамъ въ началѣ X вѣка* (1866 г.); *Записка о Солунѣ и Корсунѣ* (1872 г.); *Коменскій, какъ педагогъ; изъ мѣтописи науки славянской* (1871 г.); *Значеніе взаимности славянской въ русско-мъ спорѣ о старинѣ и преобразованіяхъ* (1870 г.). Главная мысль послѣдняго труда та, что Петровская реформа естественно приводила къ славянской взаимности; что изученіе старины русской тогда лишь плодотворно, когда оно ведется въ связи съ изученіемъ всего славянства. Кромѣ того имъ изданы: *О нѣкоторыхъ явленіяхъ русской жизни въ эпоху преобразованія Петра В.* (Од. 1872 г.); *Что принесъ намъ годъ прошедшій?* (1873 г.) и *Объ участіи сербовъ въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ* (1876 г.).

В. И. Григоровичъ былъ въ жизни тѣмъ, что называютъ чудачкомъ; нѣкотораго рода *физическій цинизмъ*, его отличавшій — сознательный или невольный, разсуждать не станемъ — былъ слѣдствіемъ жизни и воспитанія: бездомный и безсемейный, мало пѣзбаванный жпзнью и людьми, онъ былъ робокъ и недо-вѣрчивъ къ имъ, уклонялся и дѣйствуя уклончиво тамъ, гдѣ только можно было; но, гдѣ того требовала гражданская честь, онъ умѣлъ дѣйствовать прямо и рѣшительно. Этой рѣшительности онъ обязанъ тѣмъ, что, не дослуживъ урочнаго времени, долженъ былъ оставить Одесскій университетъ и, не доживъ вѣку, умереть въ Елисаветградѣ...

Какъ ученый, онъ имѣлъ свои великія и неотъемлемыя заслуги: онъ былъ у насъ рѣдкимъ знатокомъ *чистаго древне-славянскаго языка*, на которомъ писалъ и произносилъ даже рѣчи. Ему принадлежитъ заслуга объясненія многихъ существенныхъ

вопросовъ древне-славянскаго языка, письменности и древности. Обладая замѣчательною способностью выучиваться языкамъ (кроме европейскихъ, знакомыхъ ему въ совершенствѣ, онъ говорилъ по-турецки, по-ново-гречески и по-румынски; древне-греческій языкъ зналъ на столько основательно, что въ теченіе полутора года преподавалъ его въ Казанскомъ университетѣ), онъ умѣлъ поставить свою науку на широкую почву, онъ зналъ источники ея и притомъ изъ самыхъ источниковъ: глубокое знаніе славянства соединялось въ немъ со знаніемъ Византии и западной науки. Но сдѣланное имъ видимое далеко не перевѣшиваетъ того, что сдѣлано имъ и невидимо, хранится въ его учепкахъ: любовь къ славянству, славянская идея взрощены имъ широко и прочно въ сердцахъ и умахъ многихъ поколѣній.

Да будетъ же земля легка этому доброму учителю, праведно, хотя и безвременно, скончавшему жизнь свою, но неколебимо среди житейскихъ искушеній соблювшему вѣру свою и другихъ въ великое значеніе славянской науки и великую миссію славянской идеи!

ПРИЛОЖЕНІЕ.

РѢЧЬ В. И. ГРИГОРОВИЧА

О Борисѣ-Михаилѣ Болгарскомъ, праотцѣ славянскаго просвѣщенія *).

Мм. гг! Кто этотъ мужъ, котораго нынѣ, благословляя, поминула въ своихъ священныхъ молитвахъ церковь православная? Кто этотъ мужъ, котораго память призвала насъ всѣхъ благоговѣйно стекаться на это торжество, подобно тому, какъ

1) Въ видѣ «приложенія» къ предыдущей поминкѣ о В. И. Григоровичѣ — перепечатывается здѣсь «Рѣчь» его изъ Одесскаго Вѣстника 1870, № 97. Помѣщенная на страницахъ летучей газеты, она стала недоступна и какъ бы исчезла для многихъ, а между тѣмъ мысли, въ ней выраженные, заслуживаютъ полнаго вниманія и широкаго распространенія даже и потому, что о такомъ важномъ предметѣ говорить такой знатокъ дѣла, каковъ былъ покойный Григоровичъ.

древле славяне стекались совершать тризну въ память своихъ праотцевъ? Кто онъ—этотъ мужъ? Онъ есть праотецъ славянскаго просвѣщенія. Онъ былъ избраннымъ орудіемъ Промысла Божія въ строеніи судебъ славянскихъ. Могущественный вождь славяно-болгарскаго народа, первозванный въ своемъ народѣ христіанинъ, смиренный ученикъ св. первоучителей нашихъ Кирилла и Меодіа—князь Борисъ-Михаилъ просіялъ нынѣ сквозь мракъ вѣковъ лучезарнымъ свѣтомъ, проникающимъ въ душу всякаго славянина.

Наконецъ-то можемъ съ отрадою возгласить: *яко во истину Христосъ воскресъ и сущимъ во гробѣ животъ дарова!*

Но гробомъ великихъ подвижниковъ славянскаго просвѣщенія было наше человѣческое забвеніе, наше гробовое равнодушіе къ нимъ. О, въ этомъ гробѣ забвенія похоронены многіе благодѣатели наши, чающіе своего воскресенія!

Покоряясь чужимъ, среди напастей одоливаемые неотразимыми бѣдами, мы, славяне, часто забывали наше прошедшее. Намъ тяжело возстановить связь и ходъ самыхъ достойныхъ памяти событій. Еще труднѣе передать правдивую повѣсть объ избранныхъ дѣятеляхъ, особенно если эту повѣсть искажаютъ злопамѣренные современники, явно обличающіе свое пристрастіе среди враждебнаго соперничества спланныхъ сторонниковъ Рима и Византии.

Поэтому-то, отказываясь отъ завидной, но не по силамъ нашимъ задачи—изобразить дѣянія прпснопамятнаго Бориса-Михаила, сознавался въ немощи своей вести непрерывный рассказъ о многообразныхъ, удивляющихъ блескомъ и смирениемъ дѣяніяхъ этого, достойнаго всемірной исторіи, помазанника Божія, мы жедаемъ привлечь вниманіе ваше на одинъ только предметъ,—на участіе его въ судьбахъ славянскаго просвѣщенія.

Да позволено намъ будетъ возвѣстить нынѣ о томъ только, почему мы ставимъ долгомъ нашимъ и притомъ долгомъ не только болгаръ, но и всѣхъ славянъ, почитать болгарскаго самодержца, Бориса-Михаила, праотцемъ славянскаго просвѣщенія.

Дивнымъ стеченіемъ событій этотъ мужъ былъ первый въ ряду болгарскихъ царей, который, созвавши великое назначеніе своего народа, добровольно и миролюбиво просвѣтился христіанскимъ ученіемъ, исповѣдалъ св. вѣру въ духѣ православной церкви. Съ 861 года до начала X столѣтія, первозванный исповѣдникъ святой вѣры совершалъ трудное теченіе жизни своей среди просвѣтительныхъ подвиговъ, среди соблазновъ политической жизни—какъ мудрый, прозорливый правитель, и подъ конецъ жизни отрекся отъ міра сего, принялъ образъ иноческаго смиренія, не переставая блюсти достояніе отечества, завѣщанное его сыну. Такая жизнь, еще мало озаренная исторією, отразила событія, которыми IX столѣтіе отмѣчено въ бытописаніяхъ народовъ. Да, эти событія обнаруживаютъ, что исходъ опредѣлялся помыслами Бориса-Михаила. Пытаясь раскрыть ихъ изъ современныхъ свидѣтельствъ, надѣюсь отвѣчать своей задачѣ.

Извѣстно, что достопамятное обращеніе въ христіанство болгаръ сопровождалось распрією Рима и Византіи. Въ этой распрѣ вскорѣ вызвано было участіе Бориса-Михаила. Очевидно было, что перевѣсъ того или другого соперника зависѣлъ отъ того, куда склонялись помыслы болгарскаго владыки. Не мудрено, что новопросвѣщенный князь болгарскій долженъ былъ колебаться, страшась за послѣдствія послѣдней рѣшимости. Среди записки западныхъ учителей, въ Борисѣ созрѣвала мысль, осуществленіе которой доказываетъ глубокое пониманіе существенныхъ условій римско-византійской распри. Мысль эту, если не ошибаюсь, заронило въ душу болгарскаго царя знаменитое посланіе патріарха Фотія, который поощрялъ его къ самостоятельности, подобающей его державѣ. Это посланіе къ Борису-Михаилу—одно изъ великолѣпныхъ твореній гениальнаго Фотія—не есть только краснорѣчивое поученіе-наставленіе: оно есть актъ величайшаго историческаго значенія. Чтó бы ни говорили о недоступности его изложенія уму новопросвѣщеннаго, чтó бы ни толковали о превышающемъ пониманіе его смыслѣ,

изложенномъ въ классической формѣ — смѣю утверждать, что, судя по смыслу подвиговъ самаго Бориса, Фотій, наставляя болгарскаго вождя въ православіи, сознательно признавалъ въ немъ высокое призваніе. Сознательно, говорю, поощрялъ онъ его быть самостоятельнымъ, утверждая свою силу на довѣріи къ подданнымъ (41), на законности (42), на правосудіи (43), на прозорливости (48), на твердости (55), на признаніи общественнаго мнѣнія (58), на единодушіи подданныхъ (62), на благополучіи подданныхъ; и при такихъ условіяхъ, завершая свое посланіе, Фотій выразилъ желаніе, дабы Борисъ былъ готовъ къ великимъ подвигамъ, доблестно охранялъ свое достоинство, стремясь быть не только образцомъ въ своемъ народѣ, но и назиданіемъ роду человѣческому.

Изъ такихъ бесѣдъ Фотія какъ не угадать, въ чемъ заключалось призваніе Бориса, чѣмъ оправдалъ онъ обращенныя къ нему наставленія? Не сомнѣваюсь, что историческая критика раскроетъ связь сего посланія, смыслъ котораго многимъ кажется несообразнымъ со степенью просвѣщенія Болгаріи, — связь именно его съ послѣдующимъ достопамятнымъ событіемъ. Когда затѣмъ въ распрѣ Рима и Византіи, послѣ изложенія Фотія, выдвинулись вѣковыя недоразумѣнія, когда уклончивость патріарха Игнатія не удовлетворила властолюбія папъ, тогда участіе Бориса-Михаила получило роковое значеніе. Полнымъ сперва кратко, чѣмъ было вызвано это участіе.

Извѣстно, что пришедши Фотія въ жертву Риму, изложивъ его, политика Византіи не достигла цѣли: властолюбіе папское не насытилось. Изъ мрака вѣковъ выдвинуть былъ непорѣшенный вопросъ — о зависимости областей, составлявшихъ нѣкогда префектуру Иллирика. Несмотря на то, что на поприщѣ Иллирика все измѣнилось, что народныя и политическія отношенія преобразились, несмотря на то, что на мѣстѣ Македоніи, Дарданіи, Мезии, Дакіи возвысилось грозное болгарское государство — Римъ и Византія спорили о томъ, чья они, кому они по праву подвластны въ духовномъ отношеніи. Пока папы призна-

вали власть константинопольскихъ императоровъ, споръ этотъ былъ не болѣе, какъ *затянутая* тяжба; когда же тѣ же папы создали себѣ новаго защитника, новаго римскаго императора въ лицѣ Карла В., споръ этотъ сталъ грознымъ взысканіемъ съ лихвою, лишавшею подобающаго значенія патріарховъ константинопольскихъ. Именно такое торжество готовили себѣ папы послѣ низложенія патріарха Фотія: они грозились уже предать позору и патріарха Игнатія, права котораго такъ недавно поддерживали; а между тѣмъ въ этихъ спорныхъ областяхъ, давно уже завоеванныхъ болгарами, христіанскій князь Борисъ-Михаилъ съ трудомъ удерживалъ политическое равновѣсіе, готовое рушиться въ колебаніяхъ между Римомъ и Византіею. Какой же дать исходъ этому спору? чѣмъ его порѣшить? Вотъ вопросъ, который, можно сказать, былъ самою трудною задачею IX стол. Должны ли остаться земли Иллирика, завоеванныя болгарами, въ духовной зависимости, и если въ зависимости, то отъ Рима ли или Византіи—эта задача касалась непосредственно Бориса-Михаила. Онъ постигалъ, что въ ней таялось его быть или не быть, и онъ былъ бы недостойнымъ своего призванія, если бы долѣе колебался.

Тогда-то, и именно 870 года, совершилось громадное событіе, котораго важность могутъ только постигать славяне, событіе, доказавшее, что мысль Бориса-Михаила созрѣла среди суровъ Рима и Византіи, что онъ созналъ свое призваніе. Когда на соборѣ въ Константинополѣ легаты папскіе и апокрисаріи византійскіе, въ присутствіи посланниковъ болгарскихъ, препирались о томъ, римскія или византійскія будутъ духовныя дѣти Иллирика, — когда взаимные упреки готовы были вспыхнуть взрывомъ раздора, тогда въ отвѣтъ Болгаріи пронесся всенародный голосъ: не римскія и не византійскія, но славянскія. Этотъ голосъ вѣщалъ, что роковое слово Бориса-Михаила было пропнесено: славянская православная церковь, славянское богослуженіе — вотъ это заветное слово, которымъ ознаменовался 870 годъ. Завѣщая его грядущимъ вѣкамъ, Борисъ-Михаилъ

осуществилъ самую важную задачу въ исторіи просвѣщенія, миролюбиво воплотилъ его въ жизни народа.

Мы обязаны, слѣдственно, нынѣ, въ 1870 году, спустя тысячу лѣтъ, признательно почтить его подвигъ, сознавая громадное значеніе его не только въ IX, но и въ XIX стол. Итакъ, ве даромъ патріархъ Фотій въ своемъ посланіи благословлялъ Бориса на великое дѣло — быть назидательнымъ примѣромъ роду человеческому. И дѣйствительно, Борисъ оправдалъ это благословеніе въ дѣлѣ, которое поставило его въ ряду знаменитѣйшихъ двигателей просвѣщенія. Этотъ подвигъ, состоя въ связи съ предыдущимъ, требуетъ нѣкотораго поясненія.

Извѣстно, что когда на югѣ рѣшался споръ о зависимости Империки, на сѣверѣ, въ Моравіи, происходила не на животь, а на смерть борьба за славянское богослуженіе. Великій апостолъ славянъ Меодій, архіепископъ моравскій, едва выдерживалъ притязанія, которыми во имя папства преслѣдовали его нѣмецкіе соперники, — епископы. Наконецъ, онъ скончался, но не окончился гоненія на его память и на его учениковъ. Подъ угрозами мадырь, великое дѣло славянскаго богослуженія рушилось въ Моравіи. Преслѣдуемые ученики Меодія были изгнаны; гонимые, скитаясь, они достигли наконецъ земель болгарскихъ. Тамъ ихъ встрѣтилъ радушный пріивѣтъ Бориса-Михаила. Кто не знаетъ, какою заботливостью окружилъ желанныхъ пришельцевъ тотъ, кто среди спора Рима и Византіи поставилъ задачею для своего народа славянское богослуженіе. Кто не знаетъ, что трудили Климента, Горазда, Наума и проч., изгнанныхъ изъ Моравіи, учениковъ Меодія славянское богослуженіе упрочилось въ земляхъ болгарскихъ, положено было, наконецъ, прочное основаніе для самостоятельной славянской церкви въ Болгаріи, которая еще при Борисѣ раздѣлена была на семь главныхъ епархій. Великодушное покровительство Бориса-Михаила, оказанное трудомъ пришельцевъ славянъ, подѣйствовало въ народѣ, устранивались церкви, возникли школы, распространялась грамотность, процвѣла наконецъ литература славянская. Просвѣтитель-

ная дѣятельность Бориса-Михаила оправдала завѣтное его призваніе. И мы, согрѣтые черезъ десять вѣковъ ея свѣтомъ, прославляя труженниковъ пришельцевъ, какъ же не должны почтить память того, чья душа исполнена была привѣта къ творцамъ той литературы, лучи которой зажгли свѣточъ просвѣщенія славянскаго? Торжественное признаніе участія Бориса-Михаила въ этомъ просвѣщеніи есть должная дань благодарности нашей. Я попытался изобразить только то значеніе Бориса-Михаила, которое исторія просвѣщенія славянъ должна признать нашимъ общимъ славянскимъ достояніемъ. Не въ силахъ повѣствовать о всѣхъ моментахъ жизни его, я счастливъ однакожъ, что въ этотъ день, посвященный его памяти, могу еще произнести общій судъ о жизни этого великаго помазанника Божія. Произношу его не своими словами, но словами современника, знавшаго лично Бориса-Михаила. Знаменитый преемникъ Фотія, патріархъ Николай, произнесъ въ 919 году, стало быть спустя 20 или 25 лѣтъ послѣ его смерти, приснопамятныя слова о Борисѣ-Михаилѣ. Зная лично его жизнь, исполненную святости, прославляя его миролюбіе, его подвижничество и ревность о благѣ своего народа, патр. Николай писалъ въ 919 году, что Борисъ, предстоя со святыми Господу, сподобился велиа привѣта за великій подвигъ утвержденія вѣры, что онъ, святой Борисъ, пребываетъ среди непзреченнаго небеснаго сіянія. Такъ о Борисѣ судилъ тотъ, кто и самъ причисленъ къ лику святыхъ. Судъ, стало быть, о жизни Бориса-Михаила произнесенъ святыми устами.

Намъ осталось, признательно повторивъ этотъ судъ, озарить имъ лѣтописи народа болгарскаго.

Конечно, запустившее время лишило насъ бытописаній, начертанныхъ на хартіяхъ, но значеніе подвига Бориса-Михаила глубоко напечатлѣно въ сердцахъ славянъ болгарскихъ и читается въ каждомъ періодѣ ихъ жизни, въ теченіе протекшихъ десяти вѣковъ, начиная съ достопамятнаго 870 года. Конечно, судьбы этого народа, забвенныя или искаженныя соперниками, мало вліятны на нѣ; онѣ, однакожъ, знаменательны, — доказывая,

какъ идея, разъ заронившись въ душу народа, не даетъ ему потеряться среди превратностей и, воскресая, воскрешаетъ собою его энергію. Народъ болгарскій потерпѣлъ много поражений, но всегда оставался вѣрнымъ этой, двигавшей его, идеѣ. И въ X ст., и въ XII ст., и въ XIV, и нынѣ въ XIX ст. онъ выражаетъ одну мысль народности, основанной на славянскомъ богослуженіи. Страшны были потрясенія, среди которыхъ цѣпенѣло сознание этого народа и, однакожъ, мысль эта возникла подобно фениксу на пепелищѣ народнаго достоинства.

Со времянъ возобладанія христіанства, исторія его есть рядъ испытаній, среди которыхъ эта заветная мысль спасала его отъ совершеннаго исчезновенія.

Такъ, въ IX и X ст. онъ является въ лицѣ своихъ представителей мощнымъ ея двигателемъ и создаетъ себѣ и другимъ славянскимъ народамъ достойные изученія памятники.

Съ конца X по конецъ XII ст. подъ гнетомъ Византіи, поставившей Болгарію поприщемъ разореній отъ монополій и наѣздовъ кочующихъ народовъ — онъ хранитъ память о славянскомъ богослуженіи, удержавъ возможную самостоятельность церкви болгарской.

Съ XII по XIV ст. включительно онъ снова возникаетъ въ политическомъ мірѣ. Образовавъ государство, хотя глубоко пораженное византійскою цивилизаціею, народъ болгарскій ожидаетъ его на твердой основѣ болгарскаго патріархата.

Наконецъ, въ періодъ отъ XIV ст., въ теченіе четырехъ вѣковъ, добыча турецкаго фатализма, пожива временщиковъ фанаріотовъ, онъ, опомнившись отъ угнетеній, вздыхаетъ о своей церкви, хранительницѣ славянскаго богослуженія. И нынѣ, когда снова двусмысленная заботливость Рима и расчетливые соблазны туркофильской цивилизаціи нѣтаются совратить колеблющіеся умы, та же мысль, мысль славянскаго богослуженія, не переставая быть путеводною, направляетъ успія этого народа къ заветному возсозданію подобающаго строя народной церкви.

Такъ вѣренъ своему призванію народъ славянскій, болгар-

скій, вѣрно слѣдующій призванію первозванного своего князя
Бориса-Михаила, протца славянскаго просвѣщенія!

Библіографическія свѣдѣнія о новыхъ книгахъ.

1876.

Н. Д. Иванншевъ: Сочиненія, изданныя иждивеніемъ университета Св. Владиміра, подъ редакціей проф. Романовича-Славатинскаго и библ. Царевскаго. Кіевъ. 1876, 8°, стр. V + 451.

Немногіе, собранные въ этомъ томѣ, труды составляютъ все, или почти все, написанное покойн. пр. Иванншевымъ по предмету историко-юридической науки. Первая, меньшая, половинна книги содержитъ изслѣдованія по исторіи славянскаго права; вторая—статьи по исторіи юго-западнаго края. Послѣднія, какъ «Жизнь князя А. М. Курбскаго на Литвѣ и Волынѣ», «О древнихъ сельскихъ общинахъ въ юго-западной Россіи», «О началѣ уніи», «Постановленія дворянскихъ провинціальныхъ сеймовъ въ юго-западной Россіи» и т. д. — полагаемъ, настолько извѣстны изслѣдователямъ и любителямъ отечественной исторіи, что въ настоящемъ случаѣ можно ограничиться однимъ простымъ упомянаніемъ о нихъ; статьи же, касающіяся славянскаго права, какъ менѣе извѣстныя, требуютъ нѣкоторыхъ пояснительныхъ справокъ. Мысль сравнительнаго изученія славянскихъ законодательствъ впервые была высказана и приведена въ исполненіе извѣстнымъ А. В. Мацѣевскимъ. На сколь вѣрна и плодотворна была самая мысль, столь же неудовлетворительно ея исполненіе. Это зависѣло отчасти отъ тогдашней скудости и малой разработки матеріаловъ, болѣе же — отъ личныхъ ученыхъ недостатковъ польскаго ученаго, отъ отсутствія въ немъ исторической критики и прочнаго метода изслѣдованія, отъ природной, м.-б., наклонности къ мечтаніямъ и ученымъ грѣзамъ. Все, что выиграла наука въ четырехтомной [1832] «Исторіи славянскихъ законодательствъ» — была идея и программа предмета, но никакъ не его разработка. Заслуга первого, строго ва-

учаго примѣненія этой идеи къ разработкѣ нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ славянскаго права—принадлежитъ Палацкому и Иванншеву, хотя оба они въ этомъ направленіи написали лишь по одному изслѣдованію: Палацкій—«Сравненіе законовъ царя Стефана Душана Сербскаго» [Музейникъ 1837, рус. перев. въ Читеніяхъ 1846, II], Иванншевъ—«О платѣ за убійство въ древне-русскомъ и другихъ славянскихъ законодательствахъ» [1840, въ наст. книгѣ, стр. 5—81]. Невелики эти разсужденія по внѣшнему объему и кругу изслѣдуемыхъ вопросовъ, не вездѣ оказываются рѣшительны и вѣрны ихъ выводы; тѣмъ не менѣе они замѣчательны уже и тѣмъ, что представляютъ первыя методически правильныя попытки разъясненія нѣкоторыхъ пунктовъ славянскаго права. Говоримъ «методически правильныя», потому что именно въ методѣ, въ твердости и трезвости приемовъ изслѣдованія заключается ихъ существенное отличіе не только отъ изслѣдованій Мацѣевскаго и, но, къ сожалѣнію—и отъ изслѣдованій нѣкоторыхъ современныхъ намъ юристовъ, посвящающихъ свой трудъ разработкѣ славянскаго права. Такое ученое значеніе разсужденія Иванншева было тогда же замѣчено и признано нѣмецкой юридической наукой, которая признала его за первый удачный опытъ положить основаніе общей исторіи славянскихъ законодательствъ [Mittermaier's kritische Zeitsch. XIV, p. 92]. «Разсужденіе объ идеѣ личности въ древнемъ правѣ богемскомъ и скандинавскомъ» [с. 85—101], какъ и статья «Древнее право чеховъ» [с. 106—148] обязаны отчасти своимъ происхожденіемъ стремленію автора отыскать *основныя начала древне-славянскаго права* и убѣжденію, что въ законахъ древнихъ чеховъ славянское право сохранилось въ большей чистотѣ и объемѣ, нежели въ законахъ другихъ славянскихъ народовъ. Убѣжденіе, кажется—основанное болѣе на доброй вѣрѣ, на увлеченіи, чѣмъ на дѣйствительномъ изученіи; по крайней мѣрѣ—оно не доказано, да едва ли и можетъ быть доказано. Тѣмъ не менѣе обѣ статьи замѣчательны во многихъ отношеніяхъ: не говоря уже о томъ, что первая изъ нихъ тогда же была переве-

дена и пространно комментирована ученымъ Штробахомъ на чешскій языкъ [Музейникъ 1843 — 44], а вторая — на языкъ нѣмецкій [Arbeiten der Kurländ. Gesellsch. 1847, I], стоятъ вспомнить только, что это были *первые русскіе труды о славянскомъ правѣ*, достойное начало исполненія важной задачи, которая и доселѣ, впрочемъ, къ сожалѣнію, остается еще едва тронутою задачею... Иванишевъ первый у насъ понялъ важность историческихъ изслѣдованій славянскаго права и первый ознакомилъ русскую историко-юридическую науку съ сравнительнымъ методомъ въ изученіи славянскихъ законодательствъ и съ древними рукописными памятниками чешскаго права, дотогѣ извѣстными лишь немногимъ чешскимъ ученымъ специалистамъ. Заслуга — по своему времени — немалозначительная! Въ настоящее время два послѣдніе труда Иванишева имѣютъ одно историческое значеніе: содержаніе ихъ можно найти въ иныхъ книгахъ, и притомъ — въ изложеніи болѣе правильномъ и обстоятельномъ; но лишними ихъ назвать нельзя уже и потому, что на русскомъ языкѣ они до сихъ поръ не замѣнены ничѣмъ лучшимъ. Занятія славянскимъ правомъ были первыми излюбленными учеными занятіями Иванишева; какъ профессоръ университета, онъ не нашелъ поддержки для нихъ въ тогдашнемъ своемъ положеніи, и нельзя упрекать его въ томъ, что оставилъ ихъ....

Теперь — самый университетскій уставъ ставитъ эти занятія въ число главныхъ предметовъ юридическаго преподаванія... Есть, стало быть, поддержка, но есть-ли силы, которыя захотѣли бы отдаться дѣлу, есть ли то юношеское безкорыстное увлеченіе предметомъ, какое бывало въ прежнее доброе старое время?.. Хотѣлось бы отвѣтить на этотъ вопросъ — положительно....

Издатели исполнили свое дѣло вполне совѣстно, какъ того требовалъ пѣтеть учениковъ къ ихъ уважаемому наставнику.

Арсеній Маркевичъ. Юрій Крижаничъ и его литературная дѣятельность. Историко-литературный очеркъ. Варшава, 1876, 8°, стр. X + 225.

Свѣдѣній о Юріѣ Крижаничѣ имѣется уже не мало, но они разсѣяны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, а потому не всегда доступны для каждаго изслѣдователя. Свести эти свѣдѣнія въ одно цѣлое — хотя бы только затѣмъ, чтобы облегчить дальнѣйшіе поиски и изслѣдованія — представлялось дѣломъ далеко не лишнимъ. За такой трудъ взялся г. Маркевичъ и, нужно сказать — выполнялъ его не только добросовѣстно, но и вообще успѣшно. Изобразивъ во «введеніи» общественное и церковное состояніе Хорватіи въ XVII в. — на сколько этого требовалось для объясненія дѣятельности Крижанича, авторъ въ 1-й главѣ представляетъ свѣдѣнія о его жизни и сочиненіяхъ, написанныхъ до его ссылки въ Сибирь; во 2-й — разсматриваются его сочиненія, относящіеся къ русской исторіи, и подробно передается содержаніе его извѣстной «Политики»; глава 3-я посвящена разбору сочиненія о Промыслѣ и общей характеристикѣ политическихъ сочиненій Крижанича; глава 4-я разсматриваетъ его Грамматiku русскаго языка; наконецъ — 5-я, заключительная, глава содержитъ въ себѣ разсмотрѣніе церковно-полемическихъ сочиненій Крижанича. Тотъ, кто ищетъ одного ознакомленія съ дѣятельностью Крижанича, съ его мыслями и мечтаніями, выраженными въ его литературныхъ произведеніяхъ — будетъ вполне удовлетворенъ книгой г. Маркевича... Но изслѣдователь, который станетъ доискиваться источника тѣхъ или другихъ понятій и взглядовъ этого замѣчательнаго человѣка, историкъ, который захочетъ воспользоваться трудами Крижанича въ смыслѣ историческаго источника для объясненія общественнаго и экономическаго состоянія Россіи въ XVII вѣкѣ — будутъ удовлетворены гораздо менѣе. Перваго вопроса книга Маркевича не затрагиваетъ вовсе, на второй — отвѣчаетъ извлеченіями изъ текстовъ, неприведенными въ порядокъ или систему, а потому и пестящими значенія очищеннаго, упорядоченнаго матеріала. Сравненія съ извѣстіями Котошихина сдѣланы отрывочно.

не съ надлежащею систематическою полнотою, и оттого не достигаютъ цѣли. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, характеризируя взгляды и понятія Крижаннича, авторъ какъ будто бы вступаетъ въ полемику съ нимъ, опровергаетъ ихъ, что совсѣмъ неумѣстно въ историческомъ трудѣ. Вообще — на нашъ взглядъ, сочиненіе значительно выиграло бы, если бы авторъ избралъ иной планъ и заботливѣе отдѣлилъ бы личные взгляды, понятія, проекты и мечтанія Крижаннича, все, что относится къ его личной характеристикѣ—отъ дѣйствительнаго историческаго матеріала, содержащагося въ его сочиненіяхъ. Правильно освѣщенная личность Крижаннича и его понятія, — съ одной стороны, прочіе источники русской общественной жизни XVII в., съ другой—могли бы послужить твердыми критеріями для критическаго разбора и объясненія данныхъ о русской жизни, сообщаемыхъ этимъ писателемъ. Кажется, однако, что мы слишкомъ требовательны въ отношеніи г. Маркевича... Дѣйствительно, если вспомнить, что это — трудъ молодого писателя-студента, то придется только приветствовать Варшавскій университетъ, студенты котораго могутъ исполнять подобные замѣчательные труды.

Галаховъ: Исторія русской словесности древней и новой. Томъ II, половинная вторая. Спб. 1875, 8°, стр. 337—472.

Чѣмъ рѣшительнѣе ученые достоинства той части «Исторіи русской словесности» г. Галахова, въ которой излагается *новый* періодъ, тѣмъ болѣе можно сѣтовать, что сочиненіе выходитъ въ свѣтъ какими-то урывками, въ очень продолжительные періоды времени... Первая половина настоящей части, обнимающая дѣятельность Карамзина, Дмитриева, Озерова, Жуковского, Крылова и др., вышла еще въ 1868 году, продолженіе же — только въ нынѣшнемъ. Авторъ заканчиваетъ имъ разсмотрѣніе литературы карамзинской эпохи; онъ представляетъ характеристику псалма, баллады, драмы, литературной критики,

описательныхъ и дидактическихъ произведеній, сатиры, дѣятельности литературныхъ обществъ и періодическихъ изданій, проповѣди, богатой мистической литературы и заключаетъ литературною дѣятельностью Грибоѣдова. Распространяться о достоинствахъ новой книги г. Галахова нѣтъ надобности: они — тѣ же, что и въ предшествующей части, то же обиліе историко-литературнаго и библиографическаго матеріала, та же самостоятельность взгляда на предметъ и живость изложенія. Нѣкотораго рода недостаткомъ книги должно, кажется, признать неравномѣрность въ обработкѣ отдѣльныхъ частей, такъ напр., отдѣлъ литературной критики и періодическихъ изданій заслуживалъ бы, на нашъ взглядъ, болѣе подробнаго и внимательнаго изложенія, а отдѣлъ мистической литературы, могъ бы быть безъ особаго ущерба для дѣла, представленъ въ нѣсколько болѣе сжатомъ видѣ. Само собою разумѣется, что сколько бы ни было въ книгѣ подобныхъ недостатковъ — они малозначительны въ сравненіи съ достоинствами ея. Для изучающихъ предметъ сочиненіе г. Галахова важно въ особенности тѣмъ, что представляетъ множество руководящихъ указаній и почти полную литературу каждаго вопроса. Такою книгою очень облегчаются и самостоятельныя работы.

Историческія пѣсни малорусскаго народа,

съ объясненіями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Томъ первый.
Кіевъ. 1874. 8°, стр. 2+XXIV+336.

1877.

Съ той поры, какъ историческая наука вышла изъ тѣсныхъ предѣловъ регесты внѣшнихъ событій и обратилась къ раскрытію генетическаго движенія внутренней жизни народовъ и обществъ, съ той поры, какъ задачей историка стало опредѣленіе характера эпохи и дѣйствующихъ началъ ея, — утвердилось

вмѣстѣ съ тѣмъ и мысль о необходимости расширить область такъ называемыхъ историческихъ источниковъ: лѣтописи, сказанія очевидцевъ и современниковъ, официальные и частные акты и тому подобныя памятники строго-историческаго характера, каково бы ни было достоинство ихъ—оказывались не вполне достаточны при отвѣтѣ на задачи историка, и онъ, естественно, долженъ былъ поискать пособія со стороны поэтическихъ и литературныхъ произведеній извѣстнаго времени, въ которыхъ начала внутренней жизни, незамѣтныя или трудно подмѣчаемыя въ строго-историческихъ источникахъ, находили для себя прямое и открытое выраженіе. Это расширение сферы историческихъ источниковъ съ давняго времени обнаруживаетъ сильное и рѣшительное вліяніе на успѣхи исторической науки, такъ что въ современной литературѣ предмета едва ли уже возможно встрѣтить такой трудъ, который, изслѣдуя и разъясняя вопросы болѣе или менѣе общаго историческаго содержанія, оставилъ бы безъ вниманія относящіяся сюда поэтическія и литературныя произведенія, и который не былъ бы обязанъ имъ значительной долей своего успѣха.

Но между тѣмъ какъ историки съ справедливымъ довѣріемъ обращаются за помощію къ области литературы, нѣкоторые изъ нихъ еще какъ будто не рѣшаются признать достоинство историческаго источника за произведеніями устной народной поэзіи, но крайней мѣрѣ—цѣнять ихъ въ этомъ отношеніи ниже, чѣмъ они заслуживаютъ. Противъ исторической цѣнности народныхъ пѣсень обыкновенно возражаютъ тѣмъ, что содержаніе ихъ малодостоверно и рѣдко выдерживаетъ критическую повѣрку другими, несомнительными источниками, что облекаясь въ поэтическую форму и сохраняясь путемъ устной передачи, оно уклоняется отъ строгой дѣйствительности и зачастую идетъ даже въ разрѣзъ съ нею, смѣшиваетъ разнородные факты, времена и лица... Возраженіе повидному — справедливое, но только повидному... Никто не станетъ отвергать, что пользоваться народными пѣснями, какъ историческимъ источникомъ, въ обычномъ смыслѣ вся-

каго другого письменнаго источника—будетъ не всегда умѣстно и можетъ повлечь за собою ложныя заключенія и ошибки; но это—уже частный вопросъ исторической критики и приѣмовъ ея, нисколько не колеблющій общаго важнаго значенія народныхъ пѣсень, какъ историческаго источника. Опытный, владѣющій надлежащими критическими приѣмами изслѣдователь не смутится вышеозначенными особенностями народнаго творчества и безъ труда выйдетъ въ случаѣ на прямую дорогу. Понимая пѣсню, какъ выраженіе народной жизни, гдѣ наивная, довѣрчивая поэзія безразлично сплетается и смѣшивается съ суровою прозою, онъ отнесется къ нимъ не столько со строгими требованіями внѣшней достовѣрности, а болѣе съ требованіемъ внутренней правды, и въ этомъ отношеніи найдетъ въ нихъ богатый и драгоценный историческій источникъ: не говоря уже о томъ, что нерѣдко однимъ народнымъ пѣснями наука бываетъ обязана разъясненіемъ темноты въ показаніяхъ другихъ свидѣтелей, что пробѣлы письменной исторіи иногда ничѣмъ инымъ не могутъ быть восполнены, кромѣ пѣсенныхъ образовъ, достаточно припомнить, что изображаемыя въ пѣсняхъ событія, совпадаютъ ли они съ исторически-достовернымъ, окрасились ли цвѣтомъ наивнаго поэтическаго вымысла, запутались ли въ смѣшеніяхъ и анахронизмахъ, во всякомъ случаѣ были понимаемы и принимаемы народомъ въ значеніи исторической дѣйствительности, что пѣсни выразили существенныя стороны его стремленій и его взглядъ на свою исторію, что они пѣли, наконецъ, для него и важное нравственное значеніе, какъ начало, воспитывавшее въ извѣстномъ духѣ и на извѣстныхъ образахъ складъ ума и направление сердца и воли многихъ поколѣній...

Этихъ немногихъ припоминаній, полагаемъ, достаточно какъ для общаго устраненія сомнѣній въ годности и достоинствѣ народныхъ пѣсень, понимаемыхъ въ смыслѣ историческаго источника, такъ и для того, чтобы напередъ отмѣтить значеніе изданія гг. Антоновича и Драгоманова и признать за нимъ право на вниманіе со стороны науки.

Народныя южно-русскія историческія пѣсни возбуждали интересъ и обратили на себя вниманіе литераторовъ и ученыхъ не ранѣ начала текущаго столѣтія. Время еще не было упущено, и обильная жатва увѣнчала труды собирателей: усиліями З. Д. Ходаковского, кн. Цертелева, гг. Максимовича, Срезневскаго, Лукашевича, Метлинскаго, Кулиша, Головацкаго постепенно составилъ весьма значительный запасъ ихъ; кромѣ того, какъ извѣстно, существовали также и нѣкоторые рукописные сборники, собранные разными лицами и въ разное время и ждавшіе своей очереди выхода въ свѣтъ... Для того, чтобы историческая наука могла съ успѣхомъ и безъ обременительныхъ исканій (такъ какъ нѣкоторые печатные сборники, напримѣръ, «Запорожская Старина» И. И. Срезневскаго—стали большою библиографическою рѣдкостью) пользоваться этимъ матеріаломъ, чувствовалась необходимость въ полномъ, по возможности, сводѣ его, т. е. въ такомъ изданіи, гдѣ были бы критически собраны въ одно цѣлое всѣ доселѣ уцѣлѣвшія, извѣстныя и малоизвѣстныя произведенія южно-русской народной исторической поэзіи, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и самое пользованіе ими было бы облегчено литературными и реальными объясненіями. Подобное изданіе представлялось тѣмъ болѣе своевременнымъ и исполнимымъ, что въ настоящее время, какъ можно полагать, съ окончаніемъ живаго существованія этого рода поэзіи,—закончилось и собраніе его; ибо едва ли гдѣ-нибудь еще можно встрѣтить южно-русскаго пѣвца (лїрика, бандуриста), который помнилъ и сумѣлъ бы пропѣть думу, доселѣ неподмѣченную и незаписанную собирателями.

Изданіе гг. Антоновича и Драгоманова представляетъ опытъ такого полнаго, упорядоченнаго критическаго сборника южно-русскихъ историческихъ пѣсней. Передъ нами только начало предпріятія, первый томъ его; но такое начало, которое не должно остаться незамѣченнымъ.

При оцѣнкѣ изданія критикъ предстоитъ обратить вниманіе на двѣ существенныя стороны его, которыми обнаружилась самостоятельная часть труда издателей: во-первыхъ—на выборъ,

критику и изданіе текстовъ, во-вторыхъ—на историческія объясненія или комментарій къ нимъ.

I.

Такъ какъ выборъ *«историческихъ пѣсенъ»* изъ массы прочихъ во многихъ случаяхъ зависѣлъ отъ историческихъ понятій и воззрѣній собирателей, то мы признаемъ за необходимое начать наше разсмотрѣніе съ обсужденія этой общей стороны предмета.

Понятію *«исторической пѣсни»* издатели придали смыслъ довольно широкій: «ходъ работы—говорятъ они—по выбору, сведенію и объясненію тѣхъ пѣсенъ, которыя съ перваго взгляда принимаются за историческія, т. е. пѣсенъ съ именами лицъ и событій, записанныхъ въ лѣтописи, привелъ насъ постепенно къ необходимости принять терминъ *«историческія пѣсни»* нѣсколько шире, чѣмъ принимали его другіе издатели. Именованныя лица и событія могутъ быть поняты только въ связи со всею обстановкою, ихъ окружавшею; они—только внѣшніе показатели тѣхъ процессовъ, какіе происходятъ въ общественной жизни. Поэтому мы остановились на мысли издать подъ привычнымъ, хотя и не точнымъ по своей общности, именемъ *историческихъ пѣсенъ малорускаго народа*, всѣ пѣсни, въ которыхъ отразились измѣненія общественнаго строя этого народа,—какъ другія пѣсни отразили на себѣ исторію его религіозно-обрядовой, другія—семейной, экономической жизни. Отобравъ въ печатныхъ и рукописныхъ сборникахъ пѣсни въ этомъ смыслѣ слова историческія, какъ бы онѣ ни назывались по ихъ формѣ, мы получили *поэтическую исторію общественныхъ явленій въ Южной Руси* по крайней мѣрѣ отъ XI вѣка до такихъ современныхъ событій, какъ прекращеніе панщины и венгерское возстаніе въ Австріи въ 1848 г.» и т. д. (стр. III). Древнѣйшій слой историческихъ пѣсенъ, по мнѣнію издателей, сохраняетъ явные воспоминанія эпохи дружинно-княжеской, и потому обозначенъ ими какъ особый отдѣлъ *«пѣсенъ вѣка дружиннаго и княжескаго»* (первая часть Сборника); характеръ этихъ пѣсенъ преимущественно дружин-

ный; ибо «хотя подъ болѣе или менѣе аристократическою дружиною на Руси пользовались болѣе или менѣе сильнымъ значеніемъ и народныя общины, но дружина, какъ наиболѣе активная часть населенія, очевидно, превосходила другія части въ творчествѣ пѣсенъ политическаго характера... городскія вѣча, рада мѣщанъ, если и встрѣчаются въ пѣсняхъ, то на второмъ планѣ сравнительно съ дружиною, которая потомъ перешла въ боярство, и ея вождямъ»... (стр. V). Съ XVI вѣка, съ образованіемъ въ жизни южно-русскаго племени новаго элемента, казачества — развѣвается богатая поэзія казацкаго *отъка* (вторая часть сборника), согласно съ жизнью отданная интересамъ борьбы въ защиту страны, труда и цивилизаціи отъ татаръ и турокъ и въ защиту свободы и народности отъ польскаго правительства и пановъ...

Таковъ взглядъ издателей на развитіе южно-русской поэзіи до половины XVIII вѣка. Такъ какъ подлежащій нашему разсмотрѣнію первый томъ сборника обнимаетъ только пѣсни перваго періода, такъ названнаго — дружинно-княжескаго, и первую половину второго, казацкаго, именно пѣсни о борьбѣ съ татарами и турками, то намъ на этотъ разъ и нѣтъ надобности слѣдить за дальнѣйшимъ взглядомъ издателей на послѣдующее развитіе южно-русской народной поэзіи; довольно будетъ только замѣтить, что они принимаютъ еще три историческія отдѣла *пѣсни отъка* (?) *гайдамацкаго*, *пѣсни отъка рекрутскаго* (?) и *крепацкаго* и *пѣсни про волю*. Отголоски и слѣды дружинно-княжеской эпохи издатели усматриваютъ въ такъ называемыхъ *колядкахъ*, *щедровкахъ* и *гаускахъ*: по ихъ словамъ, «черты быта и эпохи удѣльной въ этихъ произведеніяхъ народной поэзіи», *сполнь ясны*; исторія Руси до-монгольской отразилась въ нихъ *яркими слѣдами*, а потому «пѣсни, приводимыя въ первой части сборника, и другія, въ такомъ родѣ, которыя могутъ быть открыты или указаны другими изслѣдователями, должны быть принимаемы во вниманіе *прежде всего* (?) при обсужденіи вопроса о древнѣйшемъ русскомъ героическомъ и историческомъ

эпосѣ и о древности и національности самихъ велико-русскихъ былинъ» (с. XI)...

Если бы мысль издателей оправдалась, если бы они представили убѣдительныя доказательства въ пользу ея, то, нѣтъ сомнѣнія, за ними была бы заслуга открытія, чрезвычайно важнаго какъ въ отношеніи исторіи, такъ и въ отношеніи исторіи литературы. Къ сожалѣнію, едва ли критика можетъ поздравить издателей съ успѣхомъ въ этомъ отношеніи: перебравъ внимательно всѣ пісния перваго отдѣла и взвѣсивъ приводимые въ объяснительныхъ примѣчаніяхъ доводы въ пользу «ясныхъ и яркихъ слѣдовъ дружинно-княжеской поэзіи», мы не могли отыскать никакихъ твердыхъ, положительныхъ основаній для такой мысли, такъ что она кажется намъ скорѣе случайнымъ произведеніемъ антикварнаго увлеченія, чѣмъ выводомъ, основаннымъ на строгомъ историческомъ изслѣдованіи. Въ относящихся сюда пісняхъ намъ не удалось подмѣтить ни единой черты быта, которая исключительно принадлежала бы времени дружинно-княжескому и была бы невозможна, напримѣръ, въ XV, XVI, XVII вѣкахъ; а безъ такого или подобнаго твердаго основанія вся историко-литературная постройка издателей нисходитъ на степень личнаго мнѣнія, очень любопытнаго и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже вѣроятнаго, но не болѣе. Остановимся на важнѣйшихъ пісняхъ: № 1 изображаетъ раду или совѣщаніе ватаги молодцовъ, они хотѣтъ сковать себѣ *мѣдныя челны* и отправиться по Дунаю подѣ Цареградъ на службу къ какому-то «доброму пану», который очень щедро вознаграждаетъ услуги... *Служба дружины въ Цареградѣ у добраго пана*—единственная историческая черта этихъ колядокъ...; но почему эта *дружина*, какъ желаютъ видѣть издатели, должна быть «военною», а не просто служебною, почему «*добрый панъ*» долженъ быть Византійскимъ императоромъ, почему, наконецъ, подобное отправленіе ватаги молодцовъ на службу въ Цареградъ должно было имѣть мѣсто только въ до-монгольское время русской исторіи, а не въ XVI, XVII или XVIII вѣкѣ—этого изъ объясненій издателей не вид-

но, а потому ихъ мнѣніе имѣетъ во всякомъ случаѣ не большую цѣну, чѣмъ и мнѣніе противоположное, т. е. оба они—вѣроятны, хотя не естественнѣ ли будетъ думать, что колядки *скорѣе* могли сохранить память о ближайшемъ къ намъ времени, чѣмъ о такомъ отдаленномъ, какъ эпоха современная или предшествовавшая первому зарожденію государственнаго порядка въ южной Руси? № 2 содержитъ пѣсни, рисующія довольно яркими красками картину «гордаго пана», который то идетъ съ войскомъ въ походъ, то предается забавамъ пиршества, охоты и музыки. Полагать, что это былъ вожь русской дружины до-монгольского періода — нѣтъ никакихъ основаній; скорѣе можно подумать о феодальномъ богатомъ панѣ времени гораздо болѣе поздняго, когда историческія сношенія и столкновенія расширились; на это, по крайней мѣрѣ, намекаютъ упоминанія о *отыскихъ* паннахъ, о *турецкой* или *Невири-земль*. № 3, пѣсни котораго говорятъ о несправедливомъ со стороны вожя раздѣлѣ добычи между воинами, могъ бы быть съ одинаковымъ правомъ приуроченъ и къ эпохѣ казачества, и даже ко времени гайдамаковъ: ибо гдѣ только существуютъ вольныя удалыя дружины съ своими *ватажками*, тамъ, конечно, происходитъ и раздѣлъ добычи. При пѣсняхъ № 4, 6, 7 издатели, въ угоду своей мысли, устраниютъ подробности бытового и историческаго элемента, какъ «продуктъ позднѣйшихъ наростовъ» или «позднѣйшія вставки»; но чрезъ это дѣло ихъ выигрываетъ столь же мало, какъ и чрезъ проведеніе внѣшней параллели съ лѣтописнымъ сказаніемъ о Святославѣ (при № 4, стр. 21); ибо очистивъ пѣсни отъ предполагаемыхъ *историческихъ наростовъ*, останутся лишь сказочные мотивы, лишенные уже всякаго историческаго содержанія; отвести имъ опредѣленное мѣсто и время столь же невозможно, какъ и любой странствующей сказкѣ. Что же касается до мотива *добыванія днѣпи* (№ 4), то припавъ въ расчетъ распространенность его въ *литературѣ* (срав., напр., Дѣяніе Девгеніево) и сказкѣ, едва ли слѣдуетъ утверждать съ издателями, что пѣсни, его изображающія, «принадлежатъ къ древнимъ остат-

камъ южно-русскаго эпоса» (стр. 21); и еще менѣе можно сказать, что «пріемы ихъ извѣстны были составителю древняго гѣтониснаго свода»; ибо сходство съ сказаніемъ о Святославѣ — совершенно внѣшнее, случайное; а въ основаніи — мотивъ пѣсенъ діаметрально противоположенъ мотиву сказанія. Продолжать наши критическія замѣтки о послѣдующихъ номерахъ пѣсенъ перваго отдѣла — мы не находимъ необходимымъ: съ одной стороны потому, что о всѣхъ въ совокупности и каждой въ отдѣльности придется повторить то же самое: антикварное увлеченіе издателей вездѣ настроено видѣть опредѣленные черты быта дружинно-княжеской эпохи тамъ, гдѣ болѣе спокойный взглядъ усмотритъ одни неясныя очертанія и образы, которымъ почти невозможно назначить опредѣленную эпоху; съ другой стороны — сами издатели значительно ослабляютъ строгость требованій критики, сознавая, что ихъ взгляды, можетъ-быть, «не чужды натяжекъ, что они особенно не стоятъ на всѣхъ тѣхъ объясненіяхъ, въ которыхъ усматриваютъ связь той или иной пѣсни съ извѣстнымъ опредѣленнымъ лицемъ» (стр. XI).

Такимъ образомъ, попытка издателей выбрать изъ запаса южно-русской поэзіи пѣсни, относящіяся къ древнѣйшему, до-казацкому періоду южно-русской исторіи, оказывается неудачною: мы не говоримъ, что самая мысль ихъ о присутствіи въ пѣсняхъ элемента дружинно-княжеской эпохи была бы ложна или невѣроятна, но она — не доказана и не поставлена на должныя основанія, потому и остается такою же чистою гипотезой, какъ и ихъ многоходомъ брошенное мнѣніе о томъ, что южно-русскія *колядки* и *щедровки* «должны быть приписываемы во вниманіе прежде всего (?) при обсужденіи вопроса о древнѣйшемъ русскомъ героическомъ и историческомъ эпосѣ и о древности и національности самихъ велико-русскихъ былинъ»... Въ такомъ видѣ, какъ есть — поставленный во главу изданія, первый отдѣлъ пѣсенъ или совершенно излишенъ, или, по крайней мѣрѣ, стоитъ не на своемъ мѣстѣ: начинать Сборникъ «историческихъ пѣсенъ малорусскаго народа» съ гадательныхъ *дружинно-княжескихъ* — значитъ от-

правляться отъ предполагаемаго неизвѣстнаго. Положительная наука не приобретаетъ чрезъ это ни одной прочной пяди земли, а возможность недоразумѣній и ошибокъ увеличивается. Намъ кажется, что издатели поступили бы сообразнѣе съ дѣломъ и несравненно полезнѣе, если бы во главу сборника поставили *историческія преданія летописи*, при чемъ пѣсни и устные преданія представляли бы имъ много любопытныхъ подробностей для комментарія; по крайней мѣрѣ, здѣсь они шли бы отъ положительныхъ данныхъ, отъ дѣйствительныхъ остатковъ стараго южно-русскаго эпоса, а не отъ оцѣнокъ или наугадъ подхватываемыхъ слѣдовъ его въ *колядкахъ* и *щедровкахъ*. Для примѣра укажемъ здѣсь на одинъ фактъ: летопись упоминаетъ о половецкомъ ханѣ *шелудивомъ* Бонякѣ, какъ объ оборотнѣ; сблизивъ показанія ея съ народными преданіями о той же личности, широко распространенными по всей Галичинѣ, въ особенности обративъ вниманіе на знаменитое преданіе о взятіи Бонякомъ городовъ посредствомъ воробьевъ и голубей — и на нѣкоторые намеки въ пѣсняхъ, — исследователь можетъ прийти къ любопытнѣйшимъ выводамъ въ историко-литературномъ отношеніи и во всякомъ случаѣ отмѣтить одинъ изъ настоящихъ остатковъ сказочно-историческаго южно-русскаго эпоса ¹⁾.

Насколько выборъ перваго отдѣла пѣсенъ мало удовлетворилъ насъ, настолько, и даже гораздо болѣе, требованія критики удовлетворяются выборомъ пѣсенъ второго отдѣла, пѣсенъ, посвященныхъ борьбѣ съ татарами и турками. Ставъ на положительную почву, издатели обнаружили такіе основательные критическіе приемы, такую осторожность въ заключеніяхъ, что критика не иначе должна отнестись къ нимъ, какъ съ полною признательностью. Послѣ гипотетическихъ домысловъ о пѣсняхъ *дружинно-княжескаго періода* естественно было думать, что гг.

1) Преданія о Бонякѣ обстоятельно собраны въ статьяхъ Вагилевича, пом. въ Biblioteka Ossoliński, 1843, t. VI, p. 151 sq и 1844, t. XI, p. 181; ср. Вѣнокъ Русинамъ, 1847, II, p. 165.

Антонович и Драгомановъ найдутъ въ пѣсняхъ такіе же «яркіе слѣды» и эпохи татарскаго погрома, иначе изъ *поэтической исторіи южно-русскаго народа* выпадалъ цѣлый періодъ, но историческій тактъ удержалъ издателей въ настоящихъ предѣлахъ: «въ большинствѣ пѣсенъ второй части — говорятъ они — слѣды эпохи ихъ сложенія запечатлѣлись такъ ярко, что трудно не замѣтить ихъ. Это XVI—XVII в. Только отпоспѣтельно пѣсенъ, которыя въ общихъ чертахъ рисуютъ татарскіе набѣги... можетъ быть поднять вопросъ, но не о томъ, повѣ ли онѣ XVI в., а скорѣе о томъ, не древнѣе ли онѣ, — не зачались ли онѣ въ первую эпоху татарскихъ набѣговъ, въ XIII—XIV в... Не отрицая *возможности зарожденія* многихъ изъ пѣсенъ о татарскихъ набѣгахъ и въ раннюю пору, ни того, что многія пѣсни глубокой древности о борьбѣ русскаго народа съ разными врагами, могли потомъ приспособиться къ пѣснямъ о народѣ, съ которымъ долѣе всего приходилось бороться, — съ XIII по XVIII в... мы все-таки думаемъ, что наиболѣе характерныя пѣсни наши о набѣгахъ татарскихъ скорѣе слѣдуетъ отнести къ XV — XVII в., чѣмъ къ XIII — XIV». Трезвая мысль эта отозвалась не только правильнымъ выборомъ пѣсенъ, умѣніемъ остановиться только на томъ, что по существу своему принадлежитъ къ предмету, а не гадательно только относится къ нему, но и достоинствомъ самихъ объясненій, о которыхъ мы распространимся далѣе. Этотъ отдѣлъ пѣсенъ, образующій главную часть изданія (стр. 74 — 339), дѣйствительно представляетъ яркія страницы изъ поэтической и реальной исторіи южно-русскаго племени и должно сказать, что эти «*stembra disjecta corporis*» подобраны и сгруппированы издателями тщательно и вполне удачно. Не пропустимъ безъ поправочнаго замѣчанія только одного недосмотра: подъ № 25, вар. Е издателя, положившись на отыѣтку г. Головацкаго, приводятъ варіантъ пѣсни о Коваленкѣ, будто бы напечатанный покойнымъ М. А. Максимовичемъ въ *Кіевлянинѣ* за 1841 г. Въ дѣйствительности Максимовичемъ напечатанъ (стр. 180

Кіевлянина) совершенно иной вариантъ, гораздо болѣе замѣчательный, потому что менѣе искаженный.

Въ концѣ каждого отдѣла пѣсень издатели помѣщаютъ такъ названныя пми пѣсни *бродячія*, т. е. такія, которыя, хотя и носятъ въ своей редакціи слѣды известной эпохи, но по содержанию принадлежать не исключительно къ поэзіи южно-русской, а къ обще-европейской, потому что встрѣчаются и у другихъ европейскихъ племенъ. Противъ помѣщенія такихъ пѣсень мы ничего не можемъ замѣтить, такъ какъ цѣлью издателей было собрать историческіе элементы южно-русской народной поэзіи, а эти элементы высказываются въ странствующихъ пѣсняхъ иногда довольно рѣшительно и ясно.

Самое важное и существенное затрудненіе для издателей при выборѣ пѣсень заключалось въ рѣшеніи вопроса о подлинности пѣсень: необходимо было устранить, или, по крайней мѣрѣ, отдѣлить дѣйствительныя народныя произведенія отъ поддѣлокъ, передѣлокъ и литературныхъ подражаній имъ, которыя, по разнымъ причинамъ, и въ области южно-русской поэзіи были не менѣе обычны, чѣмъ и въ поэзіи другихъ европейскихъ народовъ. Какими правилами критики руководились гг. Антоновичъ и Драгомановъ при отдѣленіи настоящихъ пѣсень отъ поддѣлокъ и передѣлокъ — это видно отчасти изъ Предисловія (стр. XX—XXI) и примѣчаній къ № 39, 41, 47, 48; но намъ кажется, что такихъ бѣглыхъ, случайныхъ замѣтокъ — недостаточно: вопросъ столь важный заслуживалъ бы, по нашему мнѣнію, болѣе обстоятельнаго предварительнаго рѣшенія: мы желали бы встрѣтить во «Введеніи» твердую установку «основаній» для отличія дѣйствительныхъ оригиналовъ отъ поддѣлокъ; тогда обнаружилось бы, почему издатели считаютъ поддѣльными нѣкоторыя «думы», занесенныя въ прежніе печатные сборники, почему они исключили ихъ изъ основного текста и только, во устраненіе упрека въ «субъективизмѣ» (стр. XXI), предполагаютъ помѣстить ихъ въ самомъ концѣ своего изданія... Впрочемъ, выражая подобное желаніе, критика только тогда имѣла бы право

придать ему значеніе требованія, когда издатели обнаружили бы доверчивость, несомнѣстную съ правилами критики текста, и допустили бы въ свой сборникъ очевидныя поддѣлки и передѣлки. Напротивъ, въ этомъ отношеніи мы должны признать за изданіемъ весьма значительный шагъ впередъ: гг. Антоновичъ и Драгомановъ идутъ осторожнымъ, разборчивымъ шагомъ, относятся къ дѣлу внимательно и отчетливо: за вычетомъ одного варианта пѣсни (№ 40, В, стр. 147) о Байдѣ, принадлежащаго, очевидно, къ впрямленнымъ пересказамъ, а потому незаслуживавшаго вниманія, намъ не удалось подмѣтить въ Сборникѣ ни одной важной пѣсни, о которой можно было бы съ положительною увѣренностью сказать, что она — выдумана какимъ-нибудь досужимъ писателемъ; правда, нѣкоторые пѣсни — скорѣе пересказы, чѣмъ настоящія пѣсни, или дурно записаны, другія (напр. № 47) возбуждаютъ невольныя недоразумѣнія и сомнѣнія; но почти всегда сами же издатели отмѣчаютъ ихъ странности, предостерегая т.к. обр. изслѣдователи, или сдерживая его возможную поспѣшную доверчивость. Критическій трудъ издателей — не виденъ и какъ бы скрытъ (онъ обнаружится, какъ сказано, въ концѣ изданія), предъ нами — одни результаты его, но за ними нельзя не замѣтить и серьезной критической работы, нельзя поэтому и не оцѣнить его по достоинству... Вообще, принявъ во вниманіе всю трудность вопроса о критикѣ текста пѣсенъ, мы не преувеличимъ заслуги въ этомъ смыслѣ гг. Антоновича и Драгоманова, сказавъ, что своимъ осторожнымъ отношеніемъ къ предмету они даютъ изслѣдователямъ возможность идти болѣе твердымъ и надежнымъ шагомъ, чѣмъ было доселѣ: отряпательная очистка текста — исполнена, и исполнена, какъ можно полагать, успѣшно.

Въ отношеніи полноты матеріала трудъ гг. Антоновича и Драгоманова вполне удовлетворителенъ: онъ не только исчерпываетъ всѣ печатныя сборники, но и представляетъ не мало новаго, малоизвѣстнаго или вовсе неизвѣстнаго, взятаго изъ разныхъ рукописныхъ сборниковъ. Если издателямъ было доступно не

все, что могло быть, то это зависѣло не отъ ихъ воли и не отъ недостатка ихъ успѣй: они сдѣлали что могли... Не вполнѣ удобными мы должны признать внѣшніе приемы изданія; правда, *привыкнувъ* къ нимъ, изслѣдователь получаетъ возможность возстановить каждый вариантъ въ его цѣлости, но привыкнуть къ нимъ можно только послѣ усиленнаго и притомъ непрерывнаго труда; въ типографически-экономическомъ отношеніи эта система ни чѣмъ не удобнѣе прежней, старой, гдѣ варианты помѣщаются внизу за чертою, въ типографски же художественномъ отношеніи она — далеко ниже старой, а въ ученомъ — вообще неудобнѣе: читатель видитъ предъ собою ряды цифръ, буквъ и математическихъ знаковъ сложенія и равенства; при сплошномъ чтеніи овладѣть этой іероглификою не особенно трудно, но при справкахъ каждый разъ нужно прибѣгать къ ключу.

II.

Уже выше, при обсужденіи вопроса о гадательныхъ пѣсняхъ дружинно-княжескаго вѣка, мы имѣли поводъ коснуться и нѣкоторыхъ объясненій гг. издателей къ первому отдѣлу ихъ собранія. Неудачность этихъ объясненій вытекала изъ антикварнаго увлеченія доказать предвзятую мысль, потому они и получили скорѣе характеръ поспѣшныхъ догадокъ и наведеній, чѣмъ реальныхъ комментаріевъ. Совершенно иное находимъ мы въ объясненіяхъ къ пѣснямъ второго отдѣла: здѣсь критика не можетъ отнестись къ труду издателей иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ. Комментарій ихъ главнымъ образомъ состоитъ и идетъ въ слѣдующемъ порядкѣ: сначала объясняется составъ пѣсни, дѣйствующія лица и важнѣйшіе предметы, въ ней упоминаемые; затѣмъ изъ историческихъ источниковъ, туземныхъ и иностранныхъ, собираются всякаго рода извѣстія, которыя могутъ послужить реальнымъ объясненіемъ къ тому, о чемъ рассказываетъ пѣсня, «чтобы—какъ выражаются гг. Антоновичъ и Драгомановъ — можно было судить, насколько пѣсни, сохранившіяся въ памяти поселеннаго малорусскаго въ теченіе столѣтій вѣковъ,

представляютъ поэтическое воспроизведеніе реальныхъ образовъ дѣйствительности этихъ вѣковъ, послѣдовательно смѣнявшейся» (стр. XVI). Хотя сами издатели и весьма скромно отзываются объ этой части своего труда, тѣмъ не менѣе нельзя не признать его достоинства и значенія для отечественной исторической литературы: онъ не только превосходитъ доселѣ бывшіе, случайные комментаріи къ южно-русскимъ историческимъ народнымъ пѣснямъ систематическимъ подборомъ всякаго рода относящихся сюда свѣдѣній, но своимъ критическимъ разборомъ ихъ въ значительной степени способенъ облегчить трудъ историковъ изслѣдователей. При пѣсняхъ, названныхъ издателями именемъ *бродячихъ*, они, иногда, быть-можетъ, съ большими, чѣмъ слѣдуетъ, подробностями (разумѣемъ здѣсь пересказы содержанія) — войти въ параллельныя сравненія съ иными подобными произведеніями поэзии племенъ славянскихъ, нѣмецкихъ, романскихъ и пр. Какъ ни посторонни и случайны подобныя указанія, но они не пройдутъ безъ пользы для сравнительной исторіи поэзии и литературы, тѣмъ болѣе, что издатели къ общезвѣстному запасу фактовъ сумѣли прибавить отъ себя кое-что новаго, что заслуживаетъ быть замѣченнымъ. О полнотѣ такихъ параллелей дѣсь, конечно, и рѣчи быть не можетъ, какъ по существу многого вопроса о странствующихъ сказаніяхъ, такъ и по той звинительной причинѣ, что издателямъ было недоступно много изъ обширной литературы предмета.

Выставляя на видъ достоинства этой части труда издателей, мы вовсе не думаемъ утверждать, чтобы она была чужда недостатковъ: намъ кажется, что и теперь есть возможность гораздо и внимательнѣе освѣтить многія бытовые подробности, что подборъ письменныхъ показаній можетъ быть значительно увеличенъ; но все главнѣйшее, какъ кажется, приято въ должное вниманіе и соображеніе. Неодобренія критики заслуживаетъ объяснительное примѣчаніе къ пѣснѣ № 22, гдѣ снова наруживается уже замѣченное нами антикварное увлеченіе издателей: скрываясь отъ татаръ, бѣглець предпочитаетъ укрыться

въ лѣсу, потому что въ водѣ выдастъ чайка, летающая надъ его головою. Подъ словомъ *вода* здѣсь, конечно, разумѣются рѣчные заливы или заводи, покрытые тростникомъ, гдѣ бѣглецы могли бы находить убѣжище, если бы ихъ не выдавали встревоженные чайки. Издатели же видятъ въ этомъ обычай глубокой славянской древности, когда, по словамъ императора Маврикія, славяне, преслѣдуемые врагами, скрывались на дно рѣкъ и могли оставаться въ такомъ положеніи довольно долго, дыша чрезъ камышевыя тростя. Неумѣстность и натянутость подобнаго объясненія—очевидны!

Намъ остается сдѣлать общій заключительный выводъ о трудѣ гг. Антоновича и Драгоманова примѣнительно къ требованіямъ «Положенія о наградахъ графа Уварова».

Несмотря на указанные нами недостатки, впрочемъ — немногочисленные сравнительно съ достоинствами, первый томъ «Историческихъ пѣсенъ малорусскаго народа» представляетъ произведеніе, котораго доселѣ дѣйствительно не доставало отечественной наукѣ и которое въ значительной мѣрѣ способствуетъ къ полному познанію избраннаго предмета—и потому вообще отвѣчаетъ требованіямъ «Устава» (§ 6 «Положенія»). Увѣнчавъ этотъ трудъ *меньшей преміей*, Академія окажетъ столько же справедливое правственное поощреніе и признаніе серьезныхъ ученыхъ занятій издателей, сколько и матеріальную поддержку, необходимую для продолженія и приведенія къ концу ихъ полезнаго предпріятія.

Осипъ Максимовичъ Бодянской.

(Историко - библиографическая памятка.)

1878.

О. М. Бодянской род. въ 1808 г., въ м. Варвѣ, воспитывался въ Переяславской духовной семинаріи. Подъ чьимъ вліяніемъ въ немъ выросла и укрѣпилась любовь къ наукѣ и литературѣ—я не знаю; но, по свидѣтельству одного школьнаго товарища своего, еще тогда онъ отличался особенною любовью къ упражненіямъ по словесности, игралъ—въ «комедійныхъ дѣйствіяхъ»—роль Наполеона. «Малороссійскія пѣсни» Максимовича (М. 1827 г.) и въ особенности одушевленное «введеніе» къ нимъ возбудили въ немъ благородную охоту къ занятіямъ языкомъ, исторіей и поэзіей его родины. Едва ли онъ могъ удовлетворить этому стремленію «у себя».. Его влекъ славный Московскій университетъ, и съ 1831 года мы видимъ его тамъ бодрымъ, дѣятельнымъ, остроумнымъ участникомъ ученыхъ занятій въ университетѣ и литературныхъ вѣѣ его. К. С. Аксаковъ въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ» (въ «Днѣ») отзывался о немъ, какъ о добромъ товарищѣ и членѣ кружка Станкевича. Въ «словесномъ факультетѣ» Московскаго университета господствовала тогда историческая школа Каченовскаго, который, обладая обширнымъ, многостороннимъ образованіемъ и ученостью, умѣлъ привлекать молодые умы къ серіозному труду. Подъ руководствомъ Каченовскаго, Бодянской довершилъ свое образованіе

и началъ учено-литературную дѣятельность. Въ 1835 г. онъ написалъ кандидатскую диссертацию «*О мнѣніяхъ касательно происхожденія Руси*» (впослѣдствіи напечатанную въ 37, 38 и 39 номерахъ «Сына Отечества» и «Сѣвернаго Архива» 1835 г.). Въ ней онъ далъ полное выраженіе ученію Каченовскаго о началѣ русской исторіи: русь и варяги не норманны и не скандинавы, а балтійскіе славяне; варяги — славяне съ балтійскаго поморья, колонизовавшіе Новгородъ; русь — турецкое племя, смѣшавшееся со славянами и давшее имя южно-русскому и русскому народу; топографія подтверждаетъ-де достовѣрность такого вывода. Сочиненіе это — одна глава изъ исторіи русской исторической науки; оно — ясное и полное выраженіе мнѣній тогдашней скептической школы о происхожденіи Руси. Въ сочиненіи «*О древнемъ языкѣ южныхъ и сѣверныхъ Руссовъ*» (помѣщ. въ «Ученыхъ запискахъ Московскаго унивѣрситета» 1839, № 3) Бодянский рѣшалъ вопросъ не на основаніи фактовъ филологическихъ, а на основаніи историческихъ соображеній. Здѣсь едва ли не въ первый разъ высказана мысль о сравнительномъ изученіи славянскихъ нарѣчій и сравнительной славянской грамматикѣ. Нѣкоторые сужденія молодого ученаго уже и тогда были запоздалыми, напр. утвержденіе, что древне-церковно-славянскій языкъ — отецъ остальныхъ славянскихъ языковъ и что онъ тождественъ съ древне-русскимъ; не видно также, чтобы будущій профессоръ славянскихъ нарѣчій былъ знакомъ съ изслѣдованіями Востокова, но многое въ статьѣ угадано вѣрно... «Скептическое» и «славянское» направленіе Каченовскаго, постоянно и неустанно проводимое имъ на лекціяхъ, въ «Ученыхъ Запискахъ Университета» и въ «Вѣстникѣ Европы» — не могло не отразиться и на ученикѣ его: въ журналѣ «Московскій Наблюдатель» 1831 г. (№ 15 и 16) онъ помѣщаетъ статью о сборникѣ Коллара «*Народныя спѣванки, или пѣсни словаковъ въ Упріи*». Первая половина статьи была посвящена этнографическому очерку словацкаго племени, вторая — его народной поэзіи сравнительно съ поэзіей другихъ славянскихъ племенъ. Эта критическая статья послужила основой

его будущей магистерской диссертациі. Бодянский состоялъ въ это время учителемъ гимназіи и обратилъ уже на себя вниманіе попечителя гр. Строганова ¹⁾. Въ 1837 г. онъ представилъ, для полученія степеніи магистра словесныхъ наукъ, диссертацию: «*О народной поэзіи славянскихъ племенъ*». Теперь эта книга имѣетъ только историческую цѣну, но въ то время она имѣла и научное, и даже общественное значеніе. Теперь можно замѣтить въ ней слабость фактическаго содержанія, устарѣлыя школьныя воззрѣнія на сущность народной поэзіи, но въ 1837 году это былъ живой, исполненный воодушевленія манифестъ о славянскомъ народномъ характерѣ, раскрывающемся въ его поэзіи. Еще большее чѣмъ у насъ значеніе имѣла эта книга у западныхъ славянъ: она была переведена на языкъ сербскій и итальянскій (гр. Мело Пучичемъ) и въ извлеченіи — на чешскій (Штуромъ). Еще и въ 1831 г. (въ Молвѣ, издаваемой Надеждинымъ при Телескопѣ) Бодянский пробовалъ свой талантъ въ сочиненіи стиховъ на родномъ нарѣчій. Въ 1835 еще году онъ издалъ небольшую книжку подъ заглавіемъ: «*Насѣки украинскы казки*» — опыты стихотворной передачи по-малорусски трехъ малорусскихъ народныхъ сказокъ. «Казки» принадлежатъ къ немногимъ произведеніямъ малорусской письменности, отличающимся необыкновенною чистотою языка. Такъ писали только немногіе... Стихотворная форма, конечно, отняла много наивной прелести у сказокъ, но содержаніе ихъ осталось нетронутымъ ²⁾.

Въ это время, по мысли императора Николая, должны были устроиться при университетахъ курсы «исторіи и литературы славянскихъ нарѣчій». Графъ Уваровъ предложилъ отпраздновать за

1) Ходилъ рассказъ, что гр. С. Г. Строгановъ, пришедши однажды въ классъ (латыни) къ Бодянскому и нѣсколько пораженный его украинско-семинарскимъ произношеніемъ, замѣтилъ ему: «Какъ дурно вы читаете по-латыни». «А вы почему знаете, что я дурно читаю» — отвѣчалъ Бодянский: — быть-можетъ, римляне читали еще хуже меня! Любителю смѣлыхъ и оригинальныхъ отвѣтовъ этотъ отвѣтъ понравился и съ этихъ поръ началось ихъ сближеніе.

2) Малороссійскія стихотворенія подъ псевдонимомъ Боды Варварца, Бодянский помѣщалъ въ «Молвѣ» 1833 г.

границу Прейса для Петербургскаго университета, гр. Строгановъ указалъ на Бодянскаго для Москвы. Интересно, что выдвинуло и доставило ему кафедру? Судя по рассказамъ современниковъ, неотвергаемымъ и самимъ Бодянскимъ, это была критика, помѣщенная въ *«Московскомъ Наблюдатель»* на книгу О. Булгарина «Россія въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и литературномъ отношеніяхъ». Общество съ своими лучшими представителями въ литературѣ съ негодованіемъ относилось къ направленію Булгарина. Выразителемъ этого взгляда въ поэзіи являлся Пушкинъ... Статья Бодянскаго въ *«Московскомъ Наблюдатель»* (1837, апрѣль, кн. I) была полнѣйшимъ, остроумнѣйшимъ и убійственно-безпощаднымъ выраженіемъ этого взгляда со стороны науки и литературной критики. Какъ образецъ умѣнья О. М. Бодянскаго побивать противника юморомъ ѣдкаго анализа, позволюсь себѣ привести слѣдующія строки, составляющія начало вышеупомянутой статьи въ *«Московскомъ Наблюдатель»*, журналѣ, рѣдко попадавшемся, вѣроятно, большинству читателей.

«Горе малоумнымъ лукавое доброе и доброе лукавое, полагающимъ тму свѣтъ, и свѣтъ тму, полагающимъ горькое сладкое и сладкое горькое». Прор. Исаія, V. 26 (Эпиграфъ Булгарина).

«Читая этотъ эпиграфъ и, особенно, слѣдующее за нимъ въ книгѣ *Введеніе*, вы ждете чего-то рѣшительнаго, окончательнаго, торжественнаго. И, дѣйствительно, какъ нашъ вѣкъ ни недовѣрчивъ, какъ ни мало расположенъ онъ вѣрить кому бы то ни было на слово, но все еще мы не дошли до той степени отчаяннаго скептицизма въ совѣсть человѣка, чтобы сколько-нибудь не повѣрить ему, когда онъ, такъ какъ г. Булгаринъ, станетъ твердить вамъ: *«Я составилъ собственную свою систему или методу изложенія;—я ввелъ въ мою Русскую Исторію всѣ важнѣйшія всемірныя событія;—я представилъ полныя очерки вѣры, законодательства, правленія, управленія, нравовъ и обычаевъ различныхъ народовъ, бывшихъ въ прямыхъ или косвенныхъ сношеніяхъ съ нашими предками... Я сдѣлалъ то, что въ моей книгѣ каждая эпоха*

представляется въ своемъ подлинномъ характерѣ, причины объясняются сами собою, а послѣдствія ведутъ всякаго къ собственнымъ заключеніямъ. Читатель *поневоля долженъ* думать, разсуждать и поучаться.—*Я* открылъ въ историческихъ источникахъ *новыя стихи, новыя качества и свойства*. Многое, что до меня почиталось истиннымъ, кажется мнѣ ложнымъ, или сомнительнымъ; многое, что считалось ложнымъ или сомнительнымъ, незаслуживающимъ вниманія, принято мною или за истинное, или за важное вспомогательное, или за достойное особеннаго вниманія.— Для отысканія истины, я употреблялъ *все* извѣстныя средства и *все* системы, призвавъ *здравый смыслъ* на помощь памяти и наукѣ.—*Я* старался открыть, что *вѣроятно*, что *правдоподобно*, что *истинно*, что *ложно*, что *сомнительно*, что *быть могло*, чего *быть не могло*, чему *быть надлежало* и что было *неизбѣжно*.—*Я* ввожу въ мою Исторію преданія, сказки, повѣрья и мѣфы не только наши собственные, но и сосѣднихъ народовъ. *Я* истолковалъ важнѣйшія славянскія преданія, выѣющія смыслъ историческій и правоописательный, потому что этотъ предметъ у насъ мало извѣстенъ и представленъ въ *ложномъ цѣлѣ* писателями, пользующимися довѣренностію публики... *Моя* главная цѣль распространить какъ можно болѣе полезныхъ свѣдѣній между моими соотечественниками.... *Я* желалъ, чтобы читатели мои знали предковъ нашихъ славянъ и народъ русскій не по наружности, но чтобы знали ихъ нравственно, то есть знали *умъ, душу и сердце* народа... *Я* пользовался при своей работѣ множествомъ источниковъ... не осмѣлялся сдѣлать ни одного предположенія, не дерзнулъ представить ни одной мысли, не *изучилъ* прежде предмета и не *справясь* съ источниками... *Я* отыскивалъ истину по всей ея полнотѣ, для извлеченія изъ Исторіи *всѣхъ возможныхъ наставленій*. *Я* ткалъ мою историческую ткань такими образомъ, что всѣ нити приходятъ къ одному центру и расходятся изъ него. При этой методѣ (т. е. при методѣ тканья) объясняется въ нашей исторіи весьма многое, что при *самоу краснорѣчивомъ* объясненіи казалось до сихъ поръ темнымъ и непонятнымъ... *Я*

устраняю всё безхарактерныя событія, и избираю только тѣ, которыя имѣли вліяніе на судьбу народа и государства. *Дело велъ я совѣстно*.

«Хотя въ послѣднемъ никто не сомнѣвается; но если бы авторъ «*Россіи*» могъ выполнить и десятую долю того, что обѣщаетъ во введеніи, то все книга его была бы первенствующею между историческими сочиненіями не только въ нашей, недовольно еще богатой самостоятельными трудами, литературѣ, но и во всѣхъ древнихъ, новыхъ и допотопныхъ. Пусть намъ укажутъ другое какое-нибудь историческое твореніе, которое бы въ одно время представляло *всѣ важнѣйшія всемірныя событія*, полные очерки вѣрѣ, законодательствъ, правленій, управленій и открывало, что *вѣроятно*, что *правдоподобно*, что *истинно*, что *сомнительно*, что *быть могло*, чего *быть не могло*, чему *быть надлежало*, и что *было неизбѣжно*! Пусть кто-нибудь приметъ на себя трудъ поискать такого дѣла, гдѣ ему будетъ угодно: смѣемъ увѣрить, что поиски его будутъ напрасны: умъ человѣческій *не сыскалъ еще истины во всей ея полнотѣ*. Но рѣшима на невозможное: допустимъ даже, что гдѣ-нибудь въ забытомъ архивѣ человѣческой мысли и нашлось такое сокровище, и мы узнали, напримѣръ, что въ минувшихъ дѣлахъ вѣроятно, что правдоподобно, что истинно, что сомнительно, что быть могло, постигли и то, чего быть не могло, чему быть надлежало и что было неизбѣжно: положимъ, что мы отрыли наконецъ Сивиллины книги. Все это еще не «*Россія*» г. Булгарина: узнавши все, читатель не станетъ, можетъ-быть, думать, разсуждать, тогда какъ при чтеніи книги г. Булгарина, онъ *поневоля долженъ думать, разсуждать и поучаться*. Вотъ чего нигдѣ уже не сыщемъ. Теперь вѣковыя задачи ума рѣшены. «Я не хотѣлъ, говорить почтенный авторъ, чтобъ мои читатели, занимаясь *моею* Русскою исторіею, заглядывали въ другія книги, чтобы они припоминали чуждое, справлялись или научались въ другихъ авторахъ». Альфа и омега чело-вѣческаго разумія! Имѣя такую книгу, мы можемъ уже безъ всякой потери оставить въ покоѣ всѣ другія книги и замѣнить

ихъ однимъ сочиненіемъ г. Булгарина: читатели *поневола должны будутъ думать, разсуждать и поучаться*, за что не брались ни логика, ни математика. Такова-то наша Ручная книга для русскихъ всѣхъ сословіи!!!

«Но оставимъ шутки. Скажите, ради Бога, случилось ли кому-нибудь на Руси читать подобныя объявленія? За кого насъ принимаютъ, думая увѣрить, что мы... но пусть говоритъ самъ г. Булгаринъ: «прежде нежели я принимаю показанія писателей древнихъ, среднихъ вѣковъ и новаго времени, я разсматриваю: 1) кто онъ былъ; 2) какъ былъ образованъ; 3) къ какой принадлежалъ вѣрѣ, сектѣ или политической и литературной партіи; 4) гдѣ писалъ и подъ какими условіями, или вліяніемъ; 5) въ какихъ отношеніяхъ находился къ народу, котораго событія описывалъ; 6) какими источниками пользовался; 7) былъ ли самовидцемъ или писалъ по слухамъ; 8) въ чьихъ рукахъ хранилась рукопись до напечатанія или до обнародованія ея». Неужели думаютъ, что изъ русскихъ читателей *всѣхъ сословіи* никто и трехъ перечестъ не сумѣетъ, предлагая имъ такія вещи? Однимъ *главнѣйшихъ* иностранныхъ писателей г. Булгаринъ выставилъ *сто двадцать восемь*; положимъ, что на изученіе cadaго, особенно съ его осторожностью, когда онъ «не осмѣлился сдѣлать ни одного предположенія, не дерзалъ представить ни одной мысли, не изучивъ прежде предмета» употребилъ по меньшей мѣрѣ онъ годъ: выходитъ, что ему одинъ источникъ стоилъ сто двадцать восемь лѣтъ работы, не включая сюда *одиннадцати* писателей русскихъ, пять упомянутыхъ, и еще двухъ-трехъ, о которыхъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, умолчано. Какъ это ни покажется съ перваго взгляда страннымъ, но оно иначе быть не могло. Г. Булгаринъ основывается, наиримѣръ, на Геродотѣ, Страбонѣ, Тацитѣ, Птолемей, Цесарѣ: легко ли жъ ему было донскаться о каждомъ изъ нихъ: кто онъ былъ? какъ онъ былъ образованъ? къ какой принадлежалъ вѣрѣ, сектѣ или политической и литературной партіи, и въ чьихъ рукахъ находилась рукопись до напечатанія или до обнародованія ея? когда этого не могли привести въ ясность и

всѣ совокупныя условія европейскіхъ филологовъ! Удобно ли ему было заниматься византійскими историками и западными латинскими лѣтописцами, когда въ одно и то же время онъ писалъ и издавалъ Выжигиныхъ, Чухинныхъ и еще кое-что въ этомъ же родѣ!—Обращаюсь съ этимъ вопросомъ ко всѣмъ 2656 подпискамъ, выставленнымъ въ концѣ I-й части. И потому, прежде нежели начнутъ читать г. Булгарина, пусть они сами послѣдуютъ его благоразумному примѣру и разберутъ его собственные вопросы: 1) кто онъ былъ; 2) какъ былъ образованъ; 3) къ какой принадлежалъ вѣрѣ, сектѣ или политической партіи; 4) гдѣ писалъ и подъ какими условіями, или вліяніемъ; 5) въ какихъ отношеніяхъ находился къ народу, котораго событія описывалъ; 6) какими источниками пользовался; 7) былъ ли самовидцемъ, или писалъ по слухамъ; 8) въ чьихъ рукахъ хранилась рукопись до напечатанія или до обнародованія ея. Просмотрѣвъ такимъ образомъ сочиненіе, каждый уже будетъ знать, какое мѣсто дать ему въ ряду историческихъ сочиненій».

Статья произвела сильное впечатлѣніе и въ литературѣ, и въ такъ называемомъ высшемъ обществѣ... Бодянский былъ отправленъ за границу въ 1837 году. Еще въ чужихъ краяхъ началъ онъ переводъ *«Славянскихъ древностей»* Шафарика, но Погодинъ издалъ первыя книги этого сочиненія такъ небрежно, что въ 1848 г. Бодянский долженъ былъ вновь перепечатать книгу. О заграничномъ пребываніи своемъ Бодянский на мѣстѣ оставилъ добрыя воспоминанія, какъ основательный ученый и хорошо усвоившій себѣ живыя нарѣчія (чешское и сербское по преимуществу). Подробности о занятіяхъ Бодянскаго за границею извѣстны. Въ *«Журналѣ М. Н. Просвѣщенія»* помѣщены только два небольшіе его отчета (1838, № 5 и 1839, № 8); но извѣстно, что въ этомъ журналѣ и позднѣе въ *«Чтеніяхъ»*, какъ результатъ его занятій за границею, напечатаны: *«О древнѣйшемъ свидѣтельствѣ, что церковный языкъ есть славяно-болгарскій»* (1840 № 6), *«О поискахъ въ Познанской публичной библіотекѣ»* (1846, № 1). Въ славянскихъ земляхъ Бодянский оставался почти пять лѣтъ.

Къ этому времени его занятій относится, кажется, переводъ «Славянскаго народописанія» Шафарика, отпечатанный сначала въ «Москвитинѣ», а потомъ отдѣльно въ Москвѣ, 1843 г. Немного спустя имъ была также переведена «Исторія Галицкой Руси» Зубрицкаго. Выбранный въ секретари Московскаго Общества исторіи и древностей россійскихъ, Бодянский въ три года издалъ 23 книги «Чтеній» (съ 1846 по нач. 1849), въ которыхъ пытался соединить интересы общей славянской и частной отечественной науки. Если не ошибаюсь, «Чтенія» были первымъ изданіемъ, открывшимъ систематическое печатаніе памятниковъ древне-славянской и древне-русской письменности. Эти памятники всегда сопровождалсь вводными изслѣдованіями, объяснявшими особенности языка и историко-литературное значеніе памятниковъ. Много такихъ драгоценныхъ произведеній издано Бодянскимъ (Параляпомень Зонаринъ, Славяно-русскія сочиненія въ сбор. Царскаго, Слово Кирилла Философа и т. д.); но еще болѣе приготовлено къ изданію, даже отпечатано, но не выпущено въ свѣтъ по неизвѣстнымъ причинамъ (Творенія Іоанна Екзарха болгарскаго, Пандекты Антиоха, Творенія Константина болгарскаго, Житія Бориса и Глѣба, Оеодосія, Временникъ Амартола и т. д.), но особенно богаты «Чтенія» этого періода матеріалами о исторіи южной Руси: заслуги Бодянскаго въ этомъ отношеніи—очень велики. Есть въ «Чтеніяхъ» нѣсколько его отдѣльныхъ замѣчательныхъ изслѣдованій, таковы: Объ одномъ прогнѣ московской духовной типографіи и о тождествѣ славянскихъ божествъ Хорса и Дажьбога (1846, № 2), о Всеславѣ Брячлавичѣ Полоцкомъ (1847, № 9) и множество переводовъ славянскихъ изслѣдованій Шафарика, Палацкаго и др. Подъ покровительствомъ гр. Строганова, Бодянский печаталъ вещи, которыя когда не рискнулъ бы издать въ свѣтъ никто, напр. «Исторію руссовъ», припис. Конисскому, и переводъ книги Флетчера (въ 349 г.). Но тогдашній министръ гр. Уваровъ не былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ гр. Строгановымъ, и это отразилось на Бодянскомъ: за помѣщеніе въ «Чтеніяхъ» перевода Флетчера

Бодянский былъ переведенъ въ Казань, а Григоровичъ на его мѣсто—въ Москву. Не считая себя обязаннымъ повиноваться прихоти министра, Бодянский подалъ въ отставку, министръ ея не принялъ, дѣло дошло до Государя, и только чрезъ годъ Бодянский возвращенъ на прежнюю кафедру. Тогда же гр. Строгановъ, на свой счетъ, поручилъ Бодянскому изданіе знаменитаго «Святославова Сборника» 1073 г. Бодянский очень тянулъ изданіе, печатая по листу въ годъ, а иногда и менѣе; житейскія ли тревоги отвлекали его, нелегкость ли работы?—сказать трудно. Работа дѣйствительно была кропотливая: «Изборника» 1073 года весь основанъ на греческихъ источникахъ, но нѣкоторые источники неизвѣстны въ подлинникѣ, и Бодянский искалъ ихъ у древнихъ авторовъ. Труда это стоило ему не мало: будучи отъ природы очень расчетливъ, Бодянский однако предлагалъ значительную денежную премію тому, кто отыщетъ нѣкоторыя мѣста въ сочиненіи Кирилла Іерусалимскаго, находящагося въ «Изборникѣ», конечно, предварительно онъ самъ тщательно перечиталъ всего Кирилла Іерусалимскаго... «Изборникъ» въ 1875 году былъ почти оконченъ въ изданіи: помѣщенъ славянскій переводъ съ греческимъ и иногда латинскимъ подлинникомъ; Бодянский хотѣлъ присоединить къ нему длинное введеніе: о развитіи литературы въ древней Болгаріи, словарь и атласъ рисунковъ. Почему трудъ не выпущенъ въ свѣтъ—неизвѣстно.

Съ 1849 по 1858 годъ наступилъ перерывъ въ редакторской дѣятельности Бодянского: онъ занимался только профессурою. Курсъ Бодянского состоялъ изъ отдѣла практическаго, гдѣ послѣ краткаго грамматическаго введенія шло чтеніе памятниковъ: Краледворской рукописи, сербскихъ пѣсень, «Марія» Мальчевскаго. Этотъ курсъ велъ онъ очень успѣшно; другіе же предметы предлагалъ лишь въ отрывкахъ, такъ что, прослушавъ его даже пять лѣтъ, приходилось выслушать одни кусочки, напр. изъ грамматики: о двойственномъ и множественномъ числѣ, изъ исторіи—конецъ исторіи балгійскихъ славянъ и начало исторіи чеховъ.... Бодянский утверждалъ, что при подобной системѣ

чтенія, онъ легче приучалъ своихъ слушателей къ спеціальному изученію предмета.

Въ 1858 г. умеръ Чертковъ, бывшій послѣ графа С. Г. Строганова предсѣдателемъ Московскаго Общества исторіи и древностей. Снова былъ выбранъ, по предложенію Бодянскаго, гр. Строгановъ, тогда же вновь былъ выбранъ въ секретари и Бодянский, и снова начали выходить «Чтенія» періодически по четыре объемистые тома въ годъ. Въ 1877-мъ году издана была Бодянскимъ *сотая* книга «Чтеній». Дѣятельность Бодянскаго по составленію и редакціи «Чтеній» не требуетъ комментариевъ. Кромѣ памятниковъ онъ помѣстилъ въ «Чтеніяхъ» много объяснительныхъ и полемиическихъ статей.

Въ «Чтеніяхъ» съ 1858 г. помѣщены преимущественно груды по древнимъ памятникамъ: житія Θεодосія, Кирилла и Меодія и проч., малороссійская часть матеріаловъ замѣтно рѣзаетъ.

Въ 1855 г. приходилось праздновать юбилей Московскаго университета; Шевыревъ, руководя всѣмъ дѣломъ, хотѣлъ совмѣстить три юбилея: два тысячелѣтніе: основанія Русскаго государства и изобрѣтенія славянскихъ писменъ, и столѣтій — Московскаго университета. Когда въ юбилейномъ изданіи, по вопросу о письменахъ Бодянский пришелъ къ выводу, что письма изобрѣтены были не въ 855, а въ 862 г., то, по распоряженію Шевырева, печатаніе приостановлено и отпечатанные листы уничтожены. Тогда Бодянский издалъ свое изслѣдованіе «*О времени происхожденія славянскихъ писменъ*» (Москва, 1855) отдѣльною книгою. Онъ хотѣлъ представить его на степень доктора, но все откладывалъ... Шевыревъ пустилъ слухъ, что Бодянский боится диспута, и только это обстоятельство ускорило диспутъ, на который, кстати сказать, Шевыревъ не явился...

Изслѣдованіе о времени происхожденія славянскихъ писменъ доселѣ — настольная книга у всѣхъ, кто предается занятіямъ старо-славянскою письменностью. Заглавіе ея далеко не выражаетъ всего богатства содержанія; это огромный сборникъ вся-

каго рода историко-литературныхъ и палеографическихъ замѣтокъ и изслѣдованій по различнымъ вопросамъ, относящимся къ произведеніямъ древне-славянской литературы. Таковъ напр. мастерской разборъ сказанія о св. Вячеславѣ. Нѣкоторое дополненіе къ этому сочиненію представляетъ разборъ сочиненія г. Лавровскаго о Кириллѣ и Меодіѣ, написанный Бодянскимъ по приглашенію Академіи Наукъ [въ 7-мъ Присужденіи наградъ гр. Уварова 1864 г.]

Въ 1870 году Бодянскому суждено было перенести ударъ — удаленіе изъ университета вслѣдствіе забаллотировки. Исторія впоследствии разъяснитъ это дѣло и произнесетъ надъ нимъ свой судъ, но и теперь можно уже сказать, что съ удаленіемъ Бодянского изъ Московскаго университета славянская наука упала въ немъ низко, очень низко...

Бодянской образовалъ если не школу, то многіе ученые представители славяновѣдѣнія ему обязаны многимъ, назовемъ: Е. П. Новикова, А. Θ. Гильфердинга, А. А. Майкова, А. А. Дювернуа, А. А. Кочубинскаго и самого автора этой замѣтки.

Характера Бодянской былъ расчетливо-обдуманнаго и сдержаннаго; послѣдняя черта нерѣдко скрывалась у него подъ видомъ простодушія; но это былъ твердый и стойкій характеръ, это былъ человѣкъ убѣжденій, не уступавшій ни пяди земли безъ боя и не входившій ни въ какія сдѣлки съ совѣстью. Такими чертами отмѣчена и его дѣятельность послѣдняго времени, когда помѣщена имъ въ «Чтеніяхъ» статья «Трилогія на трилогію», едва не вызвавшая разрушеніе стараго московскаго Историческаго общества.

О. М. Бодянской былъ образецъ ученаго трудолюбія, и какъ профессоръ и какъ секретарь ученаго общества — редакторъ его журнала: онъ вполне «*подпоиомъ добрымъ подвижамъ, теченіе скончалъ, вѣру соблюлъ.*» (Второе посланіе ап. Павла къ Тимофею, гл. 4, ст. 7).

И. Забѣлина: «Исторія русской жизни съ древнѣйшихъ временъ».

М. 1876—79, ч. I—II, 8°, с. XII + 647; + 520.

1881.

Потребность оживить бытовыми подробностями иногда чуждуръ скупыя страницы исторической науки — чувствовалась съ весьма давняго времени. Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія извѣстный польскій ученый Лавр. Суrowецкій указывалъ на необходимость и «Способы дополнить исторію славянъ» матеріаломъ нѣкоторыхъ новыхъ или же до того пренебрегаемыхъ источниковъ, въ особенности — данными быта, преданій, легендъ и вещественныхъ памятниковъ¹⁾. Съ той поры объявился и утвердился въ наукѣ и иные новые способы, новыя средства къ тому, а выѣстъ съ тѣмъ усовершенлись и самыя методы изслѣдованія. Но трудности ли и широкій объемъ задачи, и нныя какія причины, только изысканія въ области исторіи та и образованности древнихъ славянъ вообще и русскихъ частности — идутъ медленно, медленно тѣмъ можно было идти, судя по интересу предмета, по энергіи и талантамъ ной изслѣдовательности. Недостаетъ еще удовлетворитель-

1) Rozprawa o sposobach dopełnienia historyi i znajomości dawnych Sławian, печ. въ собраніи Туровскаго: «Dzieła Waw. Surowieckiego», кз 1861, р. I — 519.

наго отвѣта не только на вопросы второстепенной важности, но иногда и на самые существенные, основные; недостаетъ необходимѣйшихъ предварительныхъ разысканій, а нерѣдко даже — и самого подбора матеріала. Всѣ эти обстоятельства: высокая важность и интересъ предмета — съ одной стороны, трудности и недостаточность его обработки — съ другой, необходимо должны быть приняты во вниманіе при критическомъ обсужденіи трудовъ, посвященныхъ изслѣдованію исторіи древняго русскаго быта и образованности. Строгая требовательность, уместная и законная въ наукахъ, достигшихъ значительной степени совершенства, оказалась бы мало справедливою здѣсь, гдѣ нѣтъ еще и самого необходимаго, гдѣ изслѣдователь долженъ брать каждый шагъ съ боя, почти до всего добиваться личнымъ трудомъ, гдѣ всякаго рода пробѣлы и недостатки неизбежны, какъ историческое слѣдствіе молодости науки. При такомъ положеніи, критика естественно обязана болѣе цѣнить, указывать и разсматривать сильные, чѣмъ обличать слабыя стороны изслѣдованія; по крайней мѣрѣ — ей предстоитъ отмѣчать послѣднія болѣе въ смыслѣ памятной замѣтки для будущаго, чѣмъ въ смыслѣ указаній личной оступки или ошибокъ изслѣдователя.

Руководясь такимъ воззрѣніемъ, приступаю къ разсмотрѣнію сочиненія г. Забѣлина.

Онъ предпринялъ написать «Исторію русской жизни съ древнѣйшихъ временъ».

Первый томъ составляетъ вводную часть къ этому труду. Въ отличіе отъ другихъ однородныхъ сочиненій авторъ опредѣляетъ свою задачу слѣдующимъ образомъ: «Жизнь народа, говоритъ онъ, въ своемъ постепенномъ развитіи всегда и неизмѣнно руководится своими идеями, которыя даютъ народному тѣлу извѣстный образъ и извѣстное устройство. Разработка исторіи стремится найти такіа идеи въ общей жизни народа, въ его политическомъ или государственномъ и общественномъ устройствѣ. Но мелочной повседневный частный бытъ точно также всегда складывается въ извѣстные круги, необходимо имѣющие

свои средоточія, которыя вначе можно также именовать идеями. Если подобныя мелкіе круги народнаго быта не могутъ составлять предмета исторіи въ собственномъ смыслѣ, то для исторіи народной жизни они суть прямое и необходимое ея содержаніе. Раскрыть эти частныя мелкія жизненныя идеи—вотъ, по нашему мнѣнію, прямая задача для изслѣдователя народной жизни».

Такимъ образомъ, и въ этомъ новомъ рядѣ своихъ изслѣдованій авторъ предполагаетъ держаться того же бытового на-
правления, которое съ такимъ талантомъ и знаніемъ раскрыто
имъ въ предыдущихъ трудахъ («Домашній бытъ русскихъ ца-
рей и царпцъ», 2 т.; «Опыты изученія русскихъ древностей и
исторіи», 2 т. и проч.).

Главный матеріалъ, которымъ по мысли г. Забѣлина мо-
жетъ быть оживлена русская донисторическая древность—это
«Древности могилъ или кургановъ». «Разсыпанныя по нашей
землѣ могилы, по его мнѣнію, скрываютъ въ себѣ истинную,
настоящую колыбель нашей народной жизни». Но, высказавъ
такую мысль, авторъ немедленно ограничиваетъ практическое ея
примѣненіе: «эти памятники — продолжаетъ онъ — такъ разно-
бразны и разнородны и относятся къ столькимъ вѣкамъ и пле-
менамъ, что сколько-нибудь разсудительная обработка ихъ не
ожесть начаться до тѣхъ поръ, пока не будутъ собраны и све-
ены въ одно цѣлое именно письменныя свидѣтельства объ этихъ
е самыхъ курганахъ, т. е. о той глубокой древности, когда
ги курганы еще только сооружались. Какимъ образомъ мы
ганемъ объяснять курганныя древности, когда вовсе не знаемъ,
ни знаемъ очень поверхностно и невѣрно письменную исто-
ю нашей колыбели? Естественное дѣло, что прежде всего не-
ходимо выслушать всѣ рассказы, какіе оставили намъ о нашей
лыбели античныя греки и писатели римскаго и византійскаго
ка. Это—заключаетъ авторъ—откроетъ намъ глаза, способ-
е съ большимъ вниманіемъ видѣть и цѣнить нѣмые памятники
шей колыбели; это же откроетъ новыя двери и къ разъясне-
ю не только древнѣйшей нашей исторіи, но и многихъ позд-

нихъ ея явленій и обстоятельствъ». Посему и въ дальнѣйшемъ изложеніи «Исторія русской жизни» нашъ авторъ воспользовался этимъ новымъ матеріаломъ «нѣмыхъ памятниконъ» только по отношенію къ такъ называемымъ «скносскимъ» и «мерянскимъ могиламъ». Матеріалъ могилъ много происхожденія, варварскихъ, славянскихъ и русскихъ или, пока — оставленъ безъ всякаго употребленія... Думаемъ — напрасно, и къ ущербу интересовъ исторической науки! Остановимся нѣсколько подробнѣе на семъ любопытномъ и важномъ предметѣ. Если употребленію матеріала могилъ въ смыслѣ историческаго источника препятствуетъ отсутствіе собранія и свода свидѣтельствъ древнихъ писателей о судьбахъ Русской земли и насельниковъ ея, — то такую помѣху можно было бы назвать почти что не существующею, ибо такая работа въ главныхъ частяхъ уже исполнена: старые, по все еще многополезные сборники графа Яна Потоцкаго, Стриттера; труды Неймана, Укерта, Ганзена, Эйхвальда, Доммериха, Вивьена Санъ-Мартена, Дифенбаха, Куно, Бреннера, Френа, Шармуа, Дефрѣри и Гаркави¹⁾ — исчерпываютъ

1) C. J. Potocki: Chroniques, Mémoires et Recherches pour servir à l'histoire de tous les peuples slaves.. Var. 1793; Лю-же: Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves... Br. 1796, 4 vol.; Stritter: Memoriae populorum etc... Spb. 4 т. (Slavica помѣщ во II т. 1774); русское извлеченіе (Свѣтова): «Извѣстія византійскихъ историковъ, объясняющія Россійскую исторію» и т. д. Спб. 1870 — 65, 4 ч.); Neumann: Die Völker des südlichen Russlands, L. 1855; Ukert: Skythien und das Land der Geten oder Daker (III, 2 Ab. d. Geogr.) W. 1846; Hansen: Ost-Europa nach Herodot. D. 1844; Eichwald: Alte Geographie des Kaspischen Meeres, des Kaukasus und des südlichen Russlands, B. 1838; Dommerich: Die Nachrichten Strabo's über die zum... deutschen Bunde gehörenden Länder. Mar. 1848; Vivient de Saint-Martin: Études de Géographie ancienne et d'ethnographie asiatique. P. 1850—2, 2 v., Diefenbach: Origines Europaeae. Die alten Völker Europas, D. 1861; Cuno: Forschungen im Gebiete der alten Völkerkunde, B. 1871; Brenner: Nord und Mitteleuropa in den Schriften der Alten, M. 1877; Frähn: Ibn-Foslan's und anderer Araber Berichte über die Russen. Spb. 1823; Charmoy: Relation de Masoudy et d'autres auteurs Musulmans sur les anciens Slaves (Mem. d. L'Ar. VI s. II, p. 297 sq.); Deffrémery: Fragments de géographes et d'historiens arabes et persans inédits relatifs aux anciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale P. 1849; Гаркави: Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ, Спб. 1870 и нѣкоторые частные труды г. Хвольсона, Куника и др.

предметъ если и не до послѣдней іоты въ мелочахъ, то въ главномъ—съ полнотой и обстоятельностью... Иное дѣло критика и экзегезъ сихъ свидѣтельствъ: имъ, конечно, открыто еще обширное поле; но вѣдь такая работа никогда не окончится... Гораздо важнѣе *неопредѣленность характера* самихъ вещественныхъ памятниковъ, отсутствіе въ нихъ этнографическихъ и хронологическихъ помѣтъ: эти обстоятельства, дѣйствительно, препятствуютъ точному и рѣшительному употребленію могильныхъ древностей въ смыслѣ историческаго источника, но пользование послѣднимъ въ смыслѣ вспомогательнаго пособія вполне возможно и законно. Далѣе. Нельзя, конечно, отрицать важности письменныхъ свидѣтельствъ для разбора могильныхъ древностей, но ставить обработку послѣднихъ въ полную зависимость отъ первыхъ, такъ, что будто бы она «не можетъ и начаться до тѣхъ поръ, пока не будутъ собраны и сведены въ одно цѣлое писменныя письменныя свидѣтельства о той глубокой древности, когда эти курганы еще только сооружались» — будетъ преувеличеніемъ: классификаціи матеріала могилъ и сравнительныя разысканія о немъ можно производить и помимо этого... По крайней мѣрѣ, для разбора и объясненія могилъ историческія свидѣтельства столь же важны, какъ и наоборотъ могилы — для объясненія историческихъ свидѣтельствъ... Словомъ, изслѣдованіе того и другаго можетъ и должно идти одновременно.

Способъ изложенія автора общедоступный. По его собственному заявленію, онъ не имѣлъ ни силъ, ни возможности входить въ особыя ученныя изслѣдованія по специальнымъ вопросамъ предмета, а въ краткихъ очеркахъ стремился только обозначить наиболѣе существенныя стороны русской жизни, главнѣйшіе корни и истоки русскаго развитія, политическаго общественнаго и домашняго, въ его существенныхъ формахъ и направленіяхъ, съ раскрытіемъ его умственныхъ и нравственныхъ стремленій и бытовыхъ порядковъ. Потому всѣ частныя изслѣдованія автора по различнымъ историческимъ вопросамъ—не видны, онъ пред-

лагаетъ только результаты ихъ въ видѣ догматическаго изложе-
нія, почти всегда обнаженнаго отъ ученыхъ оправдательныхъ
статей и ссылокъ, а нерѣдко даже и вообще отъ доказательствъ.

Въ какомъ отношеніи стоитъ трудъ г. Забѣлина къ трудамъ
предшествовавшимъ — опредѣлится впоследствии; но здѣсь, въ
предупрежденіе и ослабленіе, быть-можетъ, излишне строгихъ
въ этомъ смыслѣ требованій, я нахожу нужнымъ указать на
другое, скромное заявленіе автора, что въ области «до-истори-
ческихъ изслѣдованій» авторъ не успѣлъ, да и не могъ воспользо-
ваться многими, что даже прямо относилось къ его задачамъ.

Первый томъ труда г. Забѣлина раздѣляется на пять отдѣ-
ловъ, и сверхъ этого заключаетъ въ себѣ нѣсколько «Прило-
женій.» Я разсмотрю каждую статью особо.

Первая глава разсматриваетъ «Природу русской страны» и
ея вліянія на бытъ насельниковъ. Сначала авторъ излагаетъ по-
луутопическія, полудѣйствительныя понятія о ней древнихъ, ука-
зываетъ на физическое отличіе ея отъ прочей Европы и происхо-
дящія отсюда отличія въ образѣ жизни обитателей ихъ, дѣлаетъ
характеристику равниннаго ландшафта или «русскаго вида», его,
такъ сказать, образовательнаго или воспитательнаго вліянія на
чувство и направленіе дѣятельности народа, говоритъ о подоб-
номъ же дѣйствіи мороза, вліянія лѣсной и полевой природы на
бытъ человѣка, отчего возникли особыя формы соціальной жизни
и особый характеръ нѣкоторыхъ племенъ; наконецъ, изобра-
жаетъ пути дороги, связывавшія русскую территорію съ ино-
родными странами и части ея между собою, при чемъ распростра-
няется объ историческихъ слѣдствіяхъ сихъ связей.

Попытки опредѣлить природный, естественно-историческій
элементъ русской исторической жизни, т. е. ту сторону ея в тѣ
начала, которыя произошли отъ вліянія природныхъ условій,
въ русской наукѣ уже существуютъ, но онѣ имѣютъ если не
случайный, то какой-то отрывочный, неполный характеръ: нѣко-
торыя стороны вліянія природы и ея условій на исторію указа-
ны и объяснены — и иногда очень мѣтко; другія только намѣчены,

по полнаго, обнимающаго предметъ со всѣхъ сторонъ изслѣдованія пока—нѣтъ. Не могутъ имѣть, конечно, притязанія на такую полноту изложенія предмета и специально посвященныя ему страницы книги г. Забѣлина; но это обстоятельство не умаляетъ ни интереса, ни значенія ихъ: къ запасу наблюдений, сдѣланныхъ уже прежде историками и географами, нашъ авторъ сумѣлъ прибавить столь много новыхъ, если так. обр. можно выразиться, «созерцаний», сумѣлъ взглянуть на предметъ съ такой живой, никѣмъ изъ историковъ дотогѣ не тронутой, интуитивно поэтической стороны и въ то же время удержаться въ предѣлахъ трезваго ученаго изложенія, что я не колеблюсь отнести эту главу книги его къ числу замѣчательнѣйшихъ страницъ современной русской литературы, какъ въ чисто-литературномъ, такъ и въ научномъ отношеніи. Мѣткость наблюдений и живость образовъ въ полной мѣрѣ вознаграждаютъ за отсутствіе фактическихъ подробностей. Я буду еще имѣть случай указать на то, чѣмъ на мой взглядъ слѣдовало бы пополнить эти превосходныя, но нѣсколько отрывочныя страницы; теперь же предложу нѣкоторые замѣчанія на отдѣльныя мѣста книги.

Идеализація гипербореевъ, ихъ образа жизни и нравовъ, какую находимъ мы у многихъ классическихъ писателей, философовъ, ораторовъ, поэтовъ и т. д.—вызвала со стороны автора лишь нѣсколько строкъ, имѣющихъ характеръ «общаго мѣста». А между тѣмъ, это — одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ русской историко-этнографической науки: идеальныя картины быта и нравовъ гипербореевъ, въ особенности «чистоты и справедливости» ихъ жизни — въ произведеніяхъ греческихъ и римскихъ писателей содержатъ въ себѣ ключъ къ разгадкѣ и къ правильному пониманію многихъ свѣдѣній древности о странахъ, лежавшихъ къ сѣверу отъ Чернаго моря, ибо только принявъ къ свѣдѣнію эту идеализацію, наука будетъ въ состояніи отдѣлать «поэзію» отъ «дѣйствительности» не только въ историко-этнографическихъ свѣдѣніяхъ древности, но и въ гораздо болѣе позднѣйшихъ извѣстіяхъ среднихъ вѣковъ, унаслѣдовавшихъ столь многое

отъ классической старины. Указываю на это обстоятельство не въ упрекъ труду г. Забѣлина, который для своей цѣли могъ ограничиться общимъ отзывомъ, а только по поводу его, и не могу не высказать желанія, чтобы этотъ интересный предметъ нашелъ себѣ обстоятельнаго изслѣдователя. Начало такого труда сдѣлано еще Укертомъ въ его «*Skythien und das Land der Geten*», а недавно *Riese* представилъ цѣлый обстоятельный мемуаръ объ этомъ предметѣ подъ заглавіемъ: «*Die Idealisierung der Naturvölker der Nordens in der griechischen und römischen Literatur*», Heid. 1875. Здѣсь въ хронологическомъ порядкѣ разсмотрѣны представленія о сѣверныхъ обитателяхъ, находящіеся въ гомерическихъ поэмахъ, у Гезіода, Эсхила, Пиндара, Гелланіка, Геродота, Ктезія, Эфора, Аноппата, Посидонія, такъ назв. Скимпноса, Саллустія, Горація, Вергілія, Юстина, Страбона, Помп. Мелы, Лукана, Сенеки, Тацита.

Ничего не утратило, а скорѣе выиграло бы въ научномъ достоинствѣ изложеніе автора, если бы онъ не увлекся искушеніями «гадательныхъ этимологій». Конечно, большой бѣды еще нѣтъ, когда онъ приводитъ старое объясненіе греческаго *Βορουθενή* славянской Березиной; но когда онъ говоритъ, что имя Ростовъ показываетъ большое родство съ Днѣпровскою Россію и ея притокомъ Ростовпцей, когда отсюда заключаетъ, что самое имя Рось, Росса въ древнее время тоже произносилось какъ Ростъ, когда поэтому допускаетъ законность предположенія, что Ростовъ Приволжскій получилъ еще начало въ то время, когда по всей (!?) нашей странѣ господствовало имя Роксоланъ, которые, если хаживали на самыхъ рямляхъ за Дунай, то очень могли ходить и на сѣверъ къ Ростовской Волгѣ, — тогда «этимологизированье» становится не безопаснымъ, ибо за нимъ, какъ слѣдствіе, въ науку вносятся рядъ призрачныхъ или просто небывалыхъ данныхъ. Далѣе я укажу еще нѣсколько подобныхъ, а отчасти и горшихъ примѣровъ «этимологическаго» увлеченія автора.

Къ необоснованнымъ и недоказаннымъ утвержденіямъ автора

принадлежить и то, что подъ именемъ «бродникова» нашихъ лѣтописей онъ разумѣетъ особую дружинну удалцевъ, не принадлежавшихъ ни къ земледѣльцамъ, ни къ кочевникамъ, а составлявшихъ особый народъ, даже безъ названія (19—20). Какъ догадка—мнѣніе оригинально и остроумно, но доказать его пока—нечѣмъ. Совсѣмъ должно быть отвергнуто мнѣніе автора, что въ существѣ природы южнаго человѣка нѣтъ быстрого соображенія и пониманія, а преобладаетъ неповоротливость, медлительность не только въ поступкахъ и дѣйствіяхъ, но даже въ мысляхъ и понятіяхъ. Мнѣ сдается, что, не говоря о всемъ прочемъ, одно простое припоминаніе характера и движенія событій кievскаго періода русской исторіи могло бы удержать автора отъ такого вышніаго и, не скрою, страннаго заключенія. Наружность часто обманчива, и дѣлать по ней заключенія о народномъ характерѣ—нельзя, или не должно — безъ справокъ съ исторіей, бытомъ и плодами умственной и нравственной дѣятельности народа. Если житель *русскаго Юга*, подъ вліяніемъ «мягкой, доброй и пѣжной природы», впадалъ въ апатію, умственную и физическую неповоротливость, то что же, кромѣ полной нравственной и физической распушенности и маразма, должно было бы ожидать и встрѣтить у тѣхъ народовъ, гдѣ природа несравненно болѣе «мягка, добра и пѣжна», какъ природа европейскаго юга: Греція и Италія?! И, однако....

Вторая глава посвящена разсмотрѣнію стараго вопроса «о происхожденіи русскаго имени». Сначала излагается исторія вопроса, пересматриваются мнѣнія нѣкоторыхъ ученыхъ «славянской школы», потомъ очень пространно—мнѣніе «школы норманской»: Байера, Миллера, Шлецера и другихъ нѣмецкихъ и русскихъ послѣдователей ихъ. Рѣзкими чертами опредѣляетъ авторъ общее направленіе трудовъ «норманистовъ»: по его мнѣнію, они представляютъ основныя начала русской исторіи и историческія свойства русской народности лишь въ одномъ отрицательномъ смыслѣ: норманская теорія «отрицаетъ всякое значеніе для древнѣйшей русской исторіи свидѣтельствъ греческой и римской

древности; отрицаетъ старобытность русскаго племени и имени; отрицаетъ варяжество балтійскихъ славянъ, т. е. отрицаетъ у нихъ всѣ тѣ народныя свойства и качества, которыми принадлежатъ имъ, какъ предприимчивымъ и воинственнымъ, паравнѣ съ скандинавами; отрицаетъ у старобытнаго русскаго славянства предприимчивость торговую, мореплавательную, воинственную и т. д.; отрицаетъ всѣ тѣ простыя и естественныя качества народной жизни, которыя создаются самою природою страны, создаются простыми естественными условіями мѣстожительства». Наконецъ—по словамъ автора—«самыя даже «антасмагоріи нѣмецкаго ученія о скандинавствѣ Руси наполняются взглядами и мечтами только о совершенномъ историческомъ ничтожествѣ русскаго племени, наполняются одними только отрицаніями его обыкновенной природы, человѣческой и исторической, и все только для того, чтобы поставить на видномъ мѣстѣ въ началѣ нашей исторіи—однихъ норманновъ». Вся первая половина этой главы труда г. Забѣлина есть не иное что, какъ полемическій комментарий, доказывающій и развивающій вышеприведенныя общія положенія. Вторая половина ея представляетъ уже «рѣшеніе» вопроса, которое авторъ выдаетъ только за «правдоподобное вѣроятіе»: варяги первоначальной лѣтописи суть, по его мнѣнію, балтійскіе славяне, варяги же русь были древніе руги, получившіе имя отъ острова Ругена, въ смыслѣ Руга-Рога славянской прибалтійской земли. Очевидно, это есть возобновленіе старой, поморско-балтійской теоріи происхожденія Руси, въ первый разъ, если не ошибаемся, развитой В. К. Тредьяковскимъ въ его «Трехъ разсужденіяхъ о трехъ главнѣйшихъ древностяхъ Россійскихъ», Спб. 1773, стр. 198—275 («Разсужденіе о Варягахъ Русскихъ, славянскаго званія, рода и языка»). И замѣчательно, что г. Забѣлинъ сходится съ Тредьяковскимъ не только въ окончательныхъ заключеніяхъ, что варяги-русы были «Ругі померанскіхъ, а всеобщимъ именемъ славяне», что варяги «есть имя глагольное, происходящее отъ славянскаго глаголи

варяю, значущаго *предваряю*, т. е. *предварители*; но и вообще въ патріотическомъ воодушевленіи изыскательности.

Останавливаясь на оцѣнкѣ этой главы сочиненія, не могу напередъ не высказать, что желаніе разрѣшить варяжскій вопросъ вполне уместно въ трудѣ, посвященномъ исторіи русской жизни, что нѣкоторыя мысли, историческія догадки и утвержденія автора заслуживаютъ полнаго вниманія и признанія со стороны науки, что наконецъ—многія изъ указанныхъ имъ излишествъ и увлеченій норманской теоріи указаны вѣрно; но все же многія причины не позволяютъ признать варяжскую главу изслѣдованій автора вполне удовлетворительною. Даже не требуя отъ автора болѣе того, что онъ самъ дать желаетъ («Вовсе не обладая необходимою ученостью—говоритъ авторъ—для разслѣдованія этого вопроса со стороны подлинныхъ свидѣтельствъ и всякаго рода непосредственныхъ источниковъ, мы по самой задачѣ нашего труда можемъ только представить общій, наиболѣе для насъ вѣроятный выводъ изъ всего того, что въ разное время было говорено объ этомъ предметѣ въ русской исторической изслѣдовательности», стр. 43—4), нельзя не признать, что первая половина его изслѣдованія (стр. 37—132) гораздо болѣе приближается къ историческому манифесту, чѣмъ къ спокойному изложенію историческаго изслѣдованія: патріотически полемическое направленіе высказывается чуть ли не на каждой страницѣ, и нельзя сказать, чтобы вездѣ на пользу, а не во вредъ исторической истинѣ и справедливости, къ достоинству, а не къ недостаткамъ сочиненія. Тотъ, кто составитъ себѣ понятіе объ историческихъ трудахъ норманской школы только по характеристикамъ г. Забѣлина, составитъ себѣ о нихъ въ значительной степени пристрастное и несправедливое понятіе, и придетъ, пожалуй, къ убѣжденію, что все ихъ заслуги сводятся къ большей или меньшей степени вреда для русской науки. Нельзя полагать, чтобы таковы были убѣжденія столь опытнаго знатока русской исторіи, какъ г. Забѣлинъ, но къ нимъ несвольно приводитъ его патріотическая полемика.

Спору нѣтъ, что нѣкоторые нѣмецкіе изслѣдователи могли исходить отъ пристрастной и нелѣпой мысли о ничтожествѣ русскаго бытія; но не подлежитъ сомнѣнію, что большинство изъ нихъ разсматривало варяжскій вопросъ только съ точки зрѣнія науки и ея интересовъ, безъ заднихъ мыслей «отрипанія», безъ презрительнаго недовѣрія къ русской народности, а многіе даже съ положительнымъ убѣжденіемъ въ ея силу и историческое достоинство. Вообще говоря, устранивъ изъ норманской теоріи два-три зазорныя и нелѣпыя заключенія Шлецера, нынѣ никѣмъ не раздѣляемыя, и крайнія увлеченія пок. Погодина (а онъ ли сомнѣвался въ духовныхъ силахъ русской народности?!), она не представитъ ничего предосудительнаго, развѣ только въ чисто-ученомъ отношеніи. Но ученаго полемика идетъ иной дорогой, чѣмъ та, по которой ведетъ ее нашъ авторъ, и дѣйствуетъ инымъ образомъ. Рецензентъ самъ не принадлежитъ къ послѣдователямъ, а тѣмъ менѣе къ поклонникамъ норманской теоріи происхожденія Руси, онъ склоняется гораздо болѣе къ нѣкоторымъ изъ мыслей, выраженныхъ и доказываемыхъ г. Забѣллинымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не можетъ выразить, что историческій патріотизмъ усматриваетъ въ этой теоріи такія козны и прегрѣшенія, въ какихъ она невинна, особенно когда берется выводить изъ ея положеній соціальныя заключенія; что можно признавать за истину положеніе о призвѣ и выходѣ руси изъ Скандинавіи, вовсе не отрицая и не сомнѣваясь въ достоинствахъ собственной своей природы. Иначе, чтѣ же выйдетъ? Если на каждомъ, кто по чистой совѣсти и крайнему разумѣнію придетъ къ убѣжденію въ исторической истинѣ «скандинавства» руси и варяговъ, будетъ тлѣнѣть укоризна въ отрипаніи достоинства русской природы, то въ какомъ положеніи окажется свобода изслѣдованія и науки?! На стр. 55—56 авторъ мимоходомъ дѣлаетъ замѣчанія о неточности исторической науки и невозможности устранить изъ нея страстный элементъ патріотическихъ или субъективныхъ идей и побужденій. Дѣло представляется въ такомъ видѣ, будто бы сіе не

только существуетъ, какъ физическая необходимость, но и существовать должно, какъ необходимость нравственная и законная.... Много правды въ его словахъ; но съ другой стороны — отымите у изслѣдователя-историка стремленіе къ правдѣ и истинѣ, дайте ему признать и сознать страстные идеи и побужденія за неизбежную роковую необходимость, освободиться отъ которой не властенъ, пусть онъ убѣдится въ невозможности добыть истину, пусть покорно, безъ внутренняго протеста, сознательно онъ откажется отъ стремленія къ ней и послѣдуетъ по пути страстныхъ созерцаній, сужденій и взглядовъ, какъ пути единственно возможному и вѣрному, — и исторія въ смыслѣ науки или знанія погибнетъ: она превратится въ историческое средство къ достиженію разнородныхъ цѣлей и стремленій современности, станетъ по малой мѣрѣ манифестомъ публициста. Что г. Забѣлинъ не вездѣ въ мѣру устоялъ противъ побужденій страстнаго начала по отношенію къ норманской школѣ, это ясно изъ того, что онъ относится къ ней болѣе, какъ обвинитель ея неправды, чѣмъ какъ спокойный изслѣдователь-историкъ, потому и медлитъ иногда на такихъ подробностяхъ, которыя для историка русской жизни не представляютъ никакого интереса и вообще мало относятся къ дѣлу. Таково напр. длинное разбирательство судебно-историческаго дѣла о Миллеровой варяжской диссертациі (65—88 стр.). Думаю также, что и упреки нѣкоторымъ утвержденіямъ ученыхъ норманистовъ основаны на недоразумѣніяхъ увлеченія и, при болѣе спокойномъ отношеніи къ дѣлу, устранились бы вовсе или по крайней мѣрѣ высказались бы въ иной, болѣе признающей формѣ, таковы напр. возраженія автора одному изъ ученыхъ норманистовъ о значеніи лингвистической и этнологической критики въ рѣшеніи варяжскаго вопроса (стр. 45, 122 сл. 193).

Другая половина статьи г. Забѣлина о «варяжскомъ вопросе» представляетъ собою не только общій, наиболѣе вѣроятный, выводъ изъ всего того, что въ разное время было говорено объ этомъ предметѣ учеными «славянской школы», но и во мно-

гихъ отношенійхъ принадлежащія лично автору самостоятельныя дополненія и развитіе ученій этой школы. Самымъ замѣтнымъ дополненіемъ въ этомъ отношеніи является небольшой сборникъ мѣстныхъ именъ балтійскихъ славянъ, извлеченныхъ, впрочемъ, не изъ первоисточниковъ, какъ грамоты и анналы, а изъ позднѣйшихъ географическихъ и космографическихъ сочиненій. Авторъ слѣдитъ двойники этихъ наименованій на русской почвѣ, онъ видитъ въ нихъ доказательство славянской варяго-русской колонизаціи на Русь. Къ сожалѣнію, любопытное собраніе автора не имѣетъ надлежащей обработки, а этимологическія сближенія и объясненія основаны на виѣшнемъ созвучіи, почему въ число славянскихъ именъ попали многія заведомо вѣмецкія и литовскія, таковы напр. Rosengard, Rosenfeld, Rosenhagen, Ragnit и множество другихъ = все это будто отъ края Рус, Руг, Рог?! Этимологія—Ахиллова пята нашего автора, а съ нимъ и всей славянской школы, по крайней мѣрѣ въ отношеніи варяжскаго вопроса. Трудно понять, какими правилами, какою лингвистикой руководятся послѣдователи этой школы въ своихъ этимологическихъ сравненіяхъ и изъясненіяхъ; но навѣрное можно сказать, что ихъ методъ имѣетъ мало общаго съ тѣмъ, который признанъ и установленъ наукою сравнительнаго языкознанія. Норманисты сумѣли усвоить себѣ этотъ методъ, и если въ этимологическихъ толкованіяхъ ихъ мы находимъ не мало ложнаго и натянутаго, то это сдѣлано вопреки метода: это личные ошибки изслѣдователей. Наоборотъ, когда въ этимологическихъ сравненіяхъ послѣдователей славянской школы мы встрѣчаемъ вѣрные сближенія и объясненія, то ихъ должно приписать никакъ не правильности ихъ метода, а случайному остроумію и догадкѣ. Такія счастливыя объясненія имѣются и въ книгѣ г. Забѣлина, но вообще онъ идетъ по дорогѣ виѣшняго созвучія и мало придаетъ цѣны исторіи языка и звуковымъ свойствамъ отдѣльных славянскихъ нарѣчій. Извѣстно напр., что въ нарѣчійхъ балтійскихъ славянъ господствовалъ ной вокализмъ, тѣмъ въ языкѣ русскомъ: балтійскіе славяне держались предгласія

предъ плавными Р и Л, что понынѣ удержалось въ нарѣчіи кашебовъ. Равнымъ образомъ у нихъ господствовали носовые звуки и иногда — какъ ясно изъ славянскихъ словъ въ латинскихъ грамотахъ — даже въ первобытной ихъ чистотѣ. На эти историческія свойства балтійскихъ нарѣчій г. Забѣлинъ не обращаетъ должнаго вниманія въ своихъ лингвистическихъ опискахъ варяжскихъ слѣдовъ на Руси, а равно и въ сблуженіяхъ именъ варяговъ съ наименованіями вариновъ, вераповъ. (Это дурное, нынѣ оставленное чтеніе вмѣсто правильнаго укряне т. е. (обитатели, сидящіе на рѣкѣ Укрѣ), какъ стоятъ въ исправныхъ текстахъ (Оттоновыхъ жизнеописаній) и вариновъ, гдѣ вдобавокъ упускается изъ вида несогласная разность суффиксовъ. Отзываясь недовѣрчиво о значеніи лингвистики (с. 45, 192, 226), авторъ тѣмъ не менѣе вполне довѣряется своимъ этимологіямъ и на основѣ ихъ строятъ самыя смѣлыя историко-этнографическія заключенія.... Но когда ложно начало, то должно быть ложно и слѣдствіе его; такъ, на чемъ основано утвержденіе, что варяги-русь несомнѣнно были древніе руги, получившіе имя отъ острова Ругена, въ смыслѣ Руга-Рога славянской прибалтійской земли (194 с.)? Главнымъ образомъ на созвучіи первыхъ звуковъ Ру-г, Ру-с, Рог! Но если бы авторъ принялъ въ должное вниманіе относящійся сюда ономастиконъ (онъ тщательно собранъ въ 1-мъ томѣ Фабриціева Рюгенскаго Дипломатарія, «*Urkunden zur Geschichte des Fürstl. Rügen, St. 1841*») письменныхъ памятниковъ, онъ навѣрное не высказалъ бы гипотезы о происхожденіи наименованія острова Рюгена отъ славянскаго Рога. Формы имен. Рюгена въ нѣмецкихъ сѣверныхъ и латино-славянскихъ источникахъ не указываютъ на исходное слово Рог... Но предположимъ и допустимъ его...., тогда, по правилу славянской фонетики, притяжательное народное имя отъ Рог вышло бы Ро-ж-ане, подобно тому, какъ отъ Бугъ-Бужане, но такой формы нельзя видѣть въ латинскихъ Rujani, Rojani, Rugiani, ибо іотъ здѣсь показываетъ только смягченіе послѣдующей гласной, такъ какъ звукъ ж (=г + j) въ латинской графикѣ всегда переда-

вался начертаніямъ з. Да и какъ согласить съ предполагаемымъ кореннымъ *роз* такія формы, какъ Ry, Rye, Rani, Ruani, Roe, Re, Runi....? Чтеніе Шафарика: «Руяне», хотя гипотетическое — во всякомъ случаѣ гораздо удачнѣе, по крайней мѣрѣ оно находитъ себѣ поддержку въ имени «Руевита».... Что касается до причины, давшей поводъ, по мнѣнію автора, къ наименованію острова Рогомъ, т. е. до географической формы его, то едва ли въ такой древности можно предположить умѣніе опредѣлять географическую форму такихъ обширныхъ мѣстностей, каковъ островъ Ругенъ....

Заканчивая отдѣлъ о варяжскомъ вопросѣ, авторъ говоритъ: «предположеніе о славянствѣ варяговъ основывается прежде всего на правильномъ чтеніи и пониманіи лѣтописнаго текста. Оно подтверждается множествомъ свидѣтельствъ донорманской древности, подтверждается простымъ естественнымъ ходомъ исторіи, этнологическими законами ея развитія и вмѣстѣ съ тѣмъ оно ни сколько не устраняетъ присутствія въ числѣ славянскихъ варяговъ и скандинавскихъ ихъ товарищей по морю, всегда бывавшихъ на братской службѣ въ славянскихъ дружинахъ». Думаю, что не уклонюсь отъ истины и справедливости, сказавъ, что эти положенія, эта программа доказаны и выполнены авторомъ не вполне удовлетворительнымъ и убѣждающимъ образомъ; но его попытка славянствомъ варяговъ и славянскимъ происхожденіемъ руси «устранить изъ нашей исторіи тотъ рядъ противорѣчій и несообразностей, какой въ ней существуетъ доселѣ по случаю господства мнѣній о норманствѣ-скандинавствѣ» — не должна пройти незамѣченной, потому что указываетъ на нѣкоторыя новыя стороны предмета и новые матеріалы, которыми дѣйствительно можно удобрить приходящую въ истощеніе почву «варяжскаго вопроса».

Третья глава переноситъ насъ на поле не менѣе, если не болѣе — зыбкое, но за то несравненно болѣе благопріятное для спокойнаго изслѣдованія, чѣмъ предыдущее, именно на поле исторіи русской страны съ древнѣйшихъ временъ до появленія

русского писни въ историческихъ памятникахъ». Предварительно авторъ останавливается на вопросѣ о «призваніи князей». Онъ приписываетъ его за дѣйствительно случившійся фактъ народной жизни и отвергаетъ поэтический или эпическій характеръ сказанія о немъ: «однѣ и тѣ же причины — говоритъ онъ (стр. 204) — порождаютъ одни и тѣ же слѣдствія, и очень многое въ исторіи люди вовсе не заимствуютъ другъ у друга, а приходятъ къ извѣстному рѣшенію или извѣстному концу только въ силу однородныхъ положеній и однородныхъ идей жизни. Вотъ почему нельзя думать, что призваніе нашихъ варяговъ есть сага, легенда, запяствованная изъ одного источника съ сказаніемъ Видукинда о подобномъ же призваніи бриттами воинственныхъ саксовъ». Мы смотримъ на дѣло нѣсколько иначе: допуская возможность (не болѣе!) призванія кнлзей, мы все же убѣждены, что та форма, въ которой «сказаніе» о призваніи стоитъ въ лѣтописи, есть форма сказочная, овладѣвшая, быть-можетъ, и дѣйствительнымъ фактомъ народной жизни. Соотвѣтствіе сказанію у Видукинда не только въ содержаніи, но и въ формѣ, въ эпическихъ приѣмахъ повѣствованія — для насъ имѣетъ значеніе рѣшающее. Было или не было призваніе, но оно не было такимъ, какъ разсказывается въ лѣтописи: здѣсь сказаніе есть русская редакція того же самаго сказочнаго странствующаго разсказа, котораго саксонскую редакцію представляетъ Видукиндъ. Что казочный мотивъ, выходя изъ одного источника, можетъ свободно примѣняться къ разнымъ историческимъ событіямъ и у различныхъ народовъ можетъ повторяться — это явленіе, давно извѣстное въ исторіи народной поэзіи...

Въ изложеніе своего собственнаго предмета нашъ авторъ ошелъ не сразу: отголоски «варягоборства» и недовольства «нѣмецкою наукою» слышатся еще долго и на страницахъ этого ваго отдѣла, во «введеніи» къ нему. Оно посвящено разсужденію вопроса о древности славянъ въ Европѣ, который, по о словамъ, «до сихъ поръ остается подъ сомнѣніемъ». Славяне 5-го в. предъ Р. Х. по 5 ст. по Р. Х. занимаютъ простран-

ство между Балтійскимъ и Чернымъ морями, между Карпатами, Дономъ и верховьями Волги, т. е. «живутъ на тѣхъ же мѣстахъ, на какихъ живутъ и донынѣ, а между тѣмъ поле дѣйствій принадлежитъ не имъ: ходятъ, воюютъ, становятся извѣстными и потомъ неизвѣстными какія-то другія народности, которыхъ наука не почитаетъ за славянскія племена; славяне же безмолвствуютъ до начала 6-го вѣка. Въ этомъ случаѣ надо принять за истину что-либо одно: или славянъ здѣсь вовсе не было, или ихъ дѣйствія и дѣла скрыты отъ исторіи подъ другими именами. При настоящемъ направленіи исторической разыскательности, когда впереди всего ставятъ изслѣдованіе бытовыхъ началъ народной исторіи, этотъ вопросъ оставить безъ отвѣта невозможно» (стр. 212 — 213). Авторъ думаетъ рѣшить этотъ вопросъ посредствомъ историко-этнографическаго разсмотрѣнія народовъ, обитавшихъ и дѣйствовавшихъ на русской землѣ съ тѣхъ поръ, какъ запомнить исторія; онъ думаетъ, что судьба этихъ «старинныхъ хозяевъ» нашей земли очень значительна для нашей народной земской исторіи, ибо они въ теченіе вѣковъ не могли же не оставить намъ кой-чего въ наслѣдство. Авторъ начинаетъ съ извѣстій Геродота о Скиѣи и ея обитателяхъ, скиѣахъ пахаряхъ и кочевникахъ, при чемъ первыхъ онъ отождествляетъ съ поляками, киянами русской лѣтописи, говоритъ о сосѣдяхъ скиѣовъ, неврахъ, и видитъ въ сказаніи о ихъ переселеніи на восточную сторону Днѣпра *прямой* источникъ того преданія о переходѣ радимичей и вятичей, которое чрезъ 1500 лѣтъ еще было памятно въ Кіевѣ во времена (такъ наз.) Нестора. Переселеніе невровъ, по мнѣнію автора, есть первое колонизаторское движеніе славянскаго племени на Востокъ, зародышъ такъ наз. теперь великорусскаго племени. Описавъ по Геродоту бассейны Днѣпра и назвавъ скиѣовъ пастырей и царскихъ, а равно и сосѣдей ихъ меланхленовъ, савроматовъ, будиновъ, которые — по его (очень вѣроятному и основательному, на нашъ взглядъ) мнѣнію ¹⁾, были одно изъ племенъ финскихъ,

1) См. также во второмъ томѣ, стр. 492 — слѣд.

герононовъ, тиссагетовъ, исседоновъ, авторъ возвращается собственно къ скивоамъ и даетъ этнографическое объясненіе Геродотову сказанію о происхожденіи скивовъ. Весьма основательно усвоивъ его народу земледѣльческому, онъ выводитъ изъ него тотъ историческій фактъ, что «скивы кочевники, обладавшіе въ то время страной, пришли въ нее послѣ всѣхъ, были по заселенію младшіе всѣмъ братья, что скивы-земледѣльцы, напротивъ, были братьями старшими, т. е. заселили эти мѣста гораздо раньше скивовъ-пастырей. Геродотовы преданія показываютъ, что въ странѣ другъ подлѣ друга существовали два народныхъ быта, двѣ исторіи, бытъ и преданія земледѣльческіе къ Западу, къ Дунаю, и бытъ и преданія кочевые, къ Дону, къ каспійскому морю». Указавъ, какъ скивы-кочевники вытѣснили киммерійцевъ (въ составъ которыхъ по гипотезѣ автора могли входить и славяне!?), г. Забѣлинъ представляетъ весьма подробную картину быта кочевыхъ скивовъ, при чемъ слѣдуетъ почти исключительно Геродоту. Скивы-земледѣльцы, какъ и невры, были, по мнѣнію автора—несомнѣнно славяне, ведшіе торговлю хлѣбомъ съ греческимъ Югомъ и съ уральскимъ Сѣверомъ. За изложеніемъ того, что извѣстно объ исторіи (войнахъ) скивовъ, разсматривается Сарматія писателей римскаго вѣка и ея обитатели, подробно разбираются свѣдѣнія о ней, находящіяся у Страбона, Тацита, Птолемея, Амміана Марцеллина, а потомъ, въ поясненіе географическихъ показаній древнихъ писателей, излагается вѣтшняя исторія роксоланъ, бастарновъ, готовъ, гунновъ. Последніе вызываютъ со стороны автора подробный разборъ вопроса о ихъ народности, которую онъ признаетъ за славянскую (здѣсь находится подробное изложеніе извѣстій Ириска объ Аттилѣ, его дворѣ и образѣ жизни). Далѣе авторъ разсматриваетъ исторію потомковъ гунновъ, къ которымъ относятся булгаръ, сабировъ, славянъ-антовъ, котригуровъ и тигуровъ, говоритъ объ отношеніяхъ къ славянамъ аваръ, эзаръ, собираетъ въ одно черты древнѣйшаго славянскаго быта, отмѣченныя у византійскихъ писателей, и наконецъ, дѣ-

ласть нѣкоторыя общія заключенія. Слѣдуя имъ, основною народностию въ исторіи и бытѣ кочевыхъ племенъ, занимавшихъ нынѣшнюю южную Русь, Карпаты и земли по нижнему Дунаю—была народность славянская: это—славянскія дружины казачкаго устройства.

Таково содержаніе третьей главы труда г. Забѣлина, главы болѣе чѣмъ прочія обильной матеріаломъ, стоившей автору многихъ успѣй по собранію, приведенію въ порядокъ и объясненію темныхъ свидѣтельствъ древности.

Историко-этнологическія разысканія о народахъ, обитавшихъ на сѣверѣ и западѣ отъ Чернаго моря, начаты давно и образуютъ уже довольно богатую литературу. Не всё сюда относящіеся труды одинаково важны, но есть и такіе, которыхъ современный изслѣдователь миновать не можетъ, если не пожелаетъ принять на себя непосильную работу нѣсколькихъ поколѣній и снова, безъ видимой нужды, проходить пути, давно пройденные другими. По недовѣрію ли къ началамъ и результатамъ современной исторической этнологіи, или по инымъ причинамъ, только г. Забѣлинъ оставилъ безъ вниманія всю ученую обработку предмета: если гдѣ и случится ему упомянуть имя того или иного изслѣдователя, то развѣ—съ полемической цѣлью, при чемъ иногда (какъ напр. стр. 211—13, 250) указываются труды, вовсе незаслуживающіе памяти. Вообще же авторъ держится исключительно того, что находятъ или думаетъ найти въ свидѣтельствахъ древности, не заботясь объ объяснительныхъ комментаріяхъ ученыхъ и слѣдуя, какъ онъ выражается—«золотому правилу Гроберга, что въ исторіи, равно какъ и въ географіи, чувствуя себя сколько-нибудь способнымъ судить здраво, смѣло должно полагаться болѣе всего на свои собственныя свѣдѣнія, нежели на чужія». Правило, — заслуживающее полнаго признанія; но понятное, какъ я думаю, авторомъ одностороннее. Историко-этнографическія свѣдѣнія древнихъ темны и отрывочны, въ нихъ почти всегда смѣшаны факты и событія, дѣйствительно существовавшіе, съ мнѣніями, взглядами или поня-

тіямъ о нихъ писателей историковъ и географовъ, съ субъективнымъ пониманіемъ ихъ... Раздѣлѣть эти два начала, т. е. правильно освѣтить и установить фактъ — вообще дѣло очень не легкое, иногда просто невозможное; необходима критика и притомъ — очень разносторонняя, неисполнимая для усилій единичныхъ. Полагаться на свои собственные свѣдѣнія, на свое непосредственное знакомство съ текстами — значитъ во многихъ случаяхъ уклоняться отъ правильнаго пониманія дѣла, т. е. ученой критики или обработки текста и заключающихся въ немъ извѣстій. Я не сомнѣваюсь, что при вниманіи къ трудамъ Цейсса, Укерта, Вивіена-Сентъ-Мартена, Ганзена, Нейманна, Дифенбаха, Куно, Реслера и нѣкоторыхъ другихъ изслѣдователей — историко-этнографическое изложеніе автора приняло бы болѣе упорядоченный видъ, даже и тогда, когда общая мысль его о преобладаніи славянской стихіи въ жизни кочевниковъ осталась бы въ своей неприкосновенности. При вниманіи къ этимъ трудамъ онъ напр. не обошелъ бы вопроса о народности скивоовъ-сколотовъ и сумѣлъ бы свою, впрочемъ очень удачную, картину ихъ быта — дополнить любопытнѣйшими подробностями; онъ непременно остановился бы на тѣхъ результатахъ, какіе дала для исторіи арійскихъ народовъ наука языковеданіе, онъ удѣлилъ бы среди нихъ мѣсто и Литвѣ и, конечно, не сталъ бы вовсе упоминать о томъ старомъ, ничего не стоящемъ мнѣніи, которое роднило геруловъ съ литовцами (с. 309) и которое, по его мнѣнію, будто бы столь же удачно, какъ и мнѣніе о германствѣ геруловъ. Чтобы выбраться изъ лучины «загадочныхъ племенъ, темныхъ и отрывочныхъ показаній, и по большей части несообразныхъ толкованій — по мнѣнію автора — необходимо держаться крѣпко за землю, т. е. за исторію имени, а больше всего за исторію страны, по которой время отъ времени проходили эти различные имена» (с. 267). Если я правильно понимаю выраженную здѣсь мысль автора и ея дальнѣйшее развитіе, то они таковы: въ странѣ съ незапамятныхъ временъ, сидитъ племя одной народности, до слуха исторіи достигаетъ оно

разными частями или сторонами въ разное время, а потому и подъ разными именами. Поверхностному наблюденію эти различные имена представляются различными народностями, различными племенами; но держась исторіи земли, убѣждаешься, что это вѣтвь одного и того же генеалогическаго древа, болѣе или менѣе близкіе родственники или потомки одного родоначальника. Такимъ образомъ устанавливается родственная преемственность и филіація между славянскими племенами, начиная съ первыхъ свидѣтельствъ исторіи (Геродота) даже «доднесь». Скифы — земледѣльцы, по мнѣнію автора, были несомнѣнно — славяне; на той же мѣстности въ 9 — 10 в. живутъ славяно-русскія племена, стало быть всѣ другія племена, наполняющія своими племенами исторію южной Руси съ 5 с. до Р. Х. были славяне, по крайней мѣрѣ таковы племена важнѣйшія: роксолане, бастарны и въ особенности гунны. Такъ дѣйствительно и должно было быть, если бы исторія завѣдомо не знала о движеніи кочевыхъ племенъ изъ средней Азіи въ Европу, движеніи, послѣднимъ значительнымъ актомъ котораго было памятное намъ татарское нашествіе XIII в. Если же движеніе кочевыхъ ордъ на западъ не подлежитъ сомнѣнію, то появленіе въ черноморскихъ степяхъ и въ странахъ карпатскихъ и при-дунайскихъ такихъ племенъ, какъ роксолане, гунны, болгаре, бастарны и т. д. требуетъ разъясненій, а такая или иная генеалогія ихъ — доказательство. Прежняя историко-этнологическая наука пыталась разрѣшить эти вопросы путемъ исторической и этнографической критики свидѣтельствъ, въ помощь къ ней появилась потомъ лингвистика и по большей части подтвердила прежнія заключенія. Неяснаго, нерѣшеннаго здѣсь, разумѣется, еще очень много; но нельзя сомнѣваться, что есть не мало и такихъ рѣшеній, которыя, при современномъ состояніи науки, не могутъ быть пока замѣнены ничѣмъ болѣе удовлетворительнымъ и потому, во всякомъ случаѣ, заслуживали бы большаго вниманія, чѣмъ то, какое уделено имъ г. Забѣлинымъ. Не понимая ихъ доводовъ во многихъ случаяхъ нѣже единымъ словомъ, онъ возобновляетъ ста-

принимая мнѣнія о славянствѣ выше названныхъ народовъ. Доказательства его едва ли смогутъ поколебать установившееся противоположное мнѣніе: они сводятся главнымъ образомъ къ идее прикрѣпленія славянъ къ землѣ, идея хотя и вѣрной, но вовсе не исключавшей пребыванія и движенія по этой же землѣ инородныхъ кочевниковъ. Этимологіи, идущія на помощь славянской теоріи автора, и выводы изъ нихъ и другія доказательства генетической связи кочевыхъ народовъ со славянами — скорѣе усилятъ, чѣмъ устранятъ недоумѣніе къ утвержденіямъ автора: такъ въ объясненіе имени роксоланъ снова являются балтійскіе *рогип-роги*, *роксы*, *россы* и даже *аорсы*; «языги» объясняются словомъ «языкъ», *бастарны* — именемъ *быстрицъ*, отъ рѣки *Быстрицы*, гдѣ жили они (замѣтимъ, что извѣстія о великомъ и славномъ племени *бастарновъ* мало подходятъ подъ такое объясненіе отъ незначительной рѣчки); *сабири* — *сѣверянами*, *аспарухъ* — *спорами* и т. д. Придерживаясь идеи о родственной преемственности, авторъ, какъ указано выше, не задумался соединить извѣстіе Геродота о неврахъ съ преданіемъ *лѣтописи* о приходѣ *радимичей* и *вятичей* отъ *яховъ*. Какъ будто, это дѣло стагочное, чтобы народная память могла удержать такое событіе на пространствѣ полуторы тысячи лѣтъ! Одна идея автора, идея не столько доказываемая, сколько выражаемая догматически — на мой взглядъ, заслуживаетъ полнаго вниманія, это — гипотеза о *исконномъ существованіи и дѣйствіи дружинъ сородныхъ народностей*. Стоило бы заняться ближайшимъ разсмотрѣніемъ того вопроса, такъ какъ отъ рѣшенія его зависитъ и много частныхъ рѣшеній исторической этнографіи такъ наз. эпохи переселенія народовъ. Съ особенною энергіею г. Забѣлины стоятъ за «славянство» *гунновъ*. Это этнологическое мнѣніе образуетъ для него исходный пунктъ для рѣшенія многихъ вопросовъ и потому требуетъ съ нашей стороны вниманія, болѣе чѣмъ обыкновеннаго... *Славянство гунновъ*, начиная съ манифестовъ *пок. Великина*, время отъ времени подымается въ наукѣ... Это свидѣ-
ельствуетъ, что общепринятое рѣшеніе вопроса не имѣетъ пол-

ной убѣждающей силы и во многихъ частяхъ еще недостаточно; но—скажемъ прямо—каждый разъ славянская теорія гунновъ выступаетъ съ такими доводами, съ доказательствами, что наша мысль, забывая недостатки общепринятыхъ историко-этнологическихкихъ о семъ предметѣ понятій—невольнo склоняется къ нимъ, какъ къ единственно вѣрнымъ въ научномъ отношеніи и добытымъ правильнымъ ученымъ методомъ. То же испытываетъ и слѣдователь и послѣ рѣшеній г. Забѣлина... Урало-алтайское, не аріійское, а туранское (?), монгольское или тюркское происхожденіе гунновъ основывается, сколько знаемъ, на слѣдующихъ историческихкихъ данныхъ и соображеніяхъ: а) появленіе гунновъ въ 2—3 ст. въ приволжскихъ, придонскихъ степяхъ (у Меотиды) и у Кавказа и движеніе ихъ въ Европу 5 ст. стоитъ въ несомнѣнной этнологической связи съ періодическимъ движеніемъ народовъ съ востока, составляетъ только одно кольцо въ цѣпи движенія урало-алтайскихъ племенъ на западъ; б) гунны явились въ Европѣ съ характеромъ племени совершенно новаго, внезапно надвинувшагося, нравственно и физически отличнаго отъ прежнихъ, другъ другу знакомыхъ обитателей страны... Даже допустивъ всякаго рода преувеличеніе въ разсказахъ о нихъ,—нельзя въ концѣ концовъ не прійти къ заключенію, что расовый типъ гунна былъ не европейскій, а равно ихъ образъ жизни и характеръ, кочевой, дикій, азіатски-стадный и разрушительный; в) наименование гунновъ встрѣчается въ китайскихъ лѣтописяхъ въ примѣненіи къ одному урало-алтайскому или монгольскому племени, образъ жизни его по тѣмъ же источникамъ весьма близко отвѣчаетъ образу жизни гунновъ у Иорнанда и Аммиана Марцелина. Въ вопросѣ о народности гунновъ еще имѣютъ значеніе и слѣдующія несомнѣнныя историческія данныя: въ своемъ движеніи съ востока на западъ гунны захватывали съ собою многія на пути лежавшія племена; оттого въ полчищахъ ихъ нельзя не замѣтить ясныхъ слѣдовъ разныхъ этнологическихкихъ элементовъ: славянскихъ, готскихъ, м. б. кельтскихъ и иныхъ. Этихъ, конечно, объясняются нѣкоторыя черты во внутренней исторіи

гунновъ, всниѣющія кочевого характера урало-алтайскихъ племенъ. Всѣ эти разноплеменные полчища, однако, собирались подъ общимъ именемъ *гунновъ*, именемъ, которое осталось за ними и долго спустя по распаденіи Аттиловой державы: гуннами тогда называются славяне, готы, другія нѣмецкія племена, авары, мадьяры и пр. Имя утратило точность этнологическаго чекана, вывѣтрилось и стало нарицательнымъ. Этому не мало способствовало и вліяніе поэзіи, которая слила чисто-народныя преданія германскихъ и романскихъ племенъ съ гуннскими отголосками и усвоила себѣ Аттилу... При рѣшеніи вопроса о *первоначальной, коренной* народности гунновъ всѣ позднѣйшія варіаціи, мнѣнія, толкованія и преданія о гуннахъ имѣютъ очень малую цѣну, почти что никакой... Они важны въ исторіи поэзіи и этнографическихъ воззрѣній, но рѣшать по нимъ вопросъ о народности гунновъ — невозможно... Все, что даютъ они въ этомъ смыслѣ положительнаго — это повременамъ глухія указанія на чужую азіатскую народность гунновъ... Такъ полагаемъ мы; но не такъ думаетъ г. Забѣлинъ. Онъ (с. 329) не даетъ никакой цѣны показаніямъ древнихъ писателей о происхожденіи гунновъ: для него—это «только басни, догадки и темные слухи». Основываясь на позднѣйшихъ синкретическихъ показаніяхъ о гуннахъ, онъ гадаетъ, «что имя унновъ получила сѣверная дружина славянскихъ племенъ, призванная на помощь южными племенами, при изложеніи владычества готовъ, и собравшаяся въ Кіевѣ... Можетъ-быть, и имя Кіева звучитъ въ имени хунновъ или унновъ...» (с. 337) Это «догадка...»; но она немедленно утверждается имъ: *славянство* гунновъ становится для автора *историческимъ фактомъ*, которому онъ находитъ подтвержденіе въ очень темномъ географическомъ показаніи Иорнанда, въ показаніяхъ Приска и во многихъ другихъ болѣе позднихъ свидѣтельствахъ... Къ балтійскому славянскому происхожденію гунновъ мы будемъ еще имѣть случай возвратиться при разборѣ II т. «Исторіи русской» жизни, здѣсь же скажемъ только о славяно-гуннской теоріи автора вообще. На нашъ взглядъ ни одно изъ

положеній ученія объ урало-алтайскомъ (монгольскомъ или тюркскомъ—не вхожу въ разсмотрѣніе) происхожденіи гунновъ авторомъ не опровергнуто, ни даже не поколеблено: онъ ограничивается однимъ только отрицаніемъ «заученныхъ», по его мнѣнію, выводовъ и рѣшеній, и вовсе не входитъ въ обстоятельное разсмотрѣніе ихъ; съ другой стороны — ни одно изъ приводимыхъ авторомъ доказательствъ славянства гунновъ не имѣетъ твердой убѣждающей силы историческихъ данныхъ: тексты Прокопія и Иорнанда (с. 328 — 331) не даютъ рѣшительно никакого права считать гунновъ *коренными туземцами* Русской страны: изъ сихъ текстовъ выходитъ только, что гунны занимали земли южной Руси въ V вѣкѣ; славянской комментарий автора къ Прискову сказанію (с. 345 сл.), при всемъ своемъ безотносительномъ интересѣ, ничего не даетъ въ пользу «славянства» гунновъ. По такому способу можно столь же хорошо доказывать и *иное* происхожденіе ихъ... Да и принявъ въ извѣстіяхъ Приска славящину, нельзя не видѣть, что этотъ доводъ имѣетъ въ вопросѣ о происхожденіи малую этнологическую цѣну: славяне—нѣтъ сомнѣнія—составляли существенную часть Аттилова воинства...

Противъ «славянства» гунновъ, скажемъ въ заключеніе — кромѣ всего прочаго, мы имѣемъ одно главное возраженіе: не странно ли, Аттила и гунны — славяне, они являются въ историко-поэтическихъ преданіяхъ почти всѣхъ европейскихъ народовъ, за исключеніемъ только — самихъ славянъ.. Всѣ помнятъ о грозномъ величіи славянъ, одни славяне ничего не знаютъ объ этомъ, являясь народомъ, «непомнящимъ родства»!!

Заклучу разсмотрѣніе «третьей» главы нѣсколькими частными замѣчаніями. Мнѣ кажется, авторъ удѣлилъ слишкомъ мало мѣста извѣстіямъ древнихъ о природѣ страны и произведеніяхъ ея. Это важно въ томъ отношеніи, что нынѣшнее состояніе страны не во всемъ таково, какъ было въ древности и, разсуждая о вліяніи природы на исторію, должно непремѣнно имѣть въ виду какъ нынѣшнее, такъ и древнее состояніе первой. Для разсмотрѣнія

этихъ извѣстій удобнѣйшее мѣсто представляла первая глава, но не найдя ихъ тамъ, мы надѣялись по крайней мѣрѣ встрѣтить ихъ здѣсь. Скажемъ здѣсь, что и матеріалы для разсмотрѣнія сего вопроса весьма обстоятельно собраны у Луд. Георгія, въ его сочин. «Европейская Россія въ ея древнѣйшихъ состояніяхъ» (*Das Europäische Russland in seinen ältesten Zuständen*, St. 1845), въ «Сквоин» Укерта (составляющей второе отд. третьяго тома его «*Geographie der Griechen und Römer*, w. 1846) и въ указанныхъ выше, стр. 4 примѣч. 2, сочиненіяхъ Эйхвальда и Гавзена. Бóльшаго вниманія заслуживали бы болгаре, которымъ отведено едва нѣсколько строкъ (369 стр.): для автора, признающаго славянство гунновъ, этнологическій вопросъ о болгаряхъ въ особенности долженъ былъ бы быть важенъ, ибо съ одной стороны этотъ народъ связывается съ гуннами, съ другой же — со славянами. Запасъ матеріаловъ для рѣшенія вопроса объ этнологіи болгаръ въ послѣднее время получилъ значительныя приращенія, благодаря трудамъ оріенталистовъ: Хвольсона («Извѣстіе... Ибнъ-Даста,» 1869), Гаркави («Сказанія мусульманскихъ писателей...» Спб. 1870), разысканіямъ А. А. Кунника («Извѣстія Ал-Бекри I, Спб. 1878») и отчасти Реслера («*Römische Studien*» 1871). Не была бы потому излишняя попытка новаго пересмотра сей важной статьи европейской этнологіи. То, что сдѣлано въ отношеніи «болгарскаго вопроса» Л. Дифенбахомъ, въ его послѣднемъ трудѣ «*Völkerkunde Ost-Europas*» Dag. 1880, ч. II стр. 97 — 122 — едва ли удовлетворитъ кого-нибудь изъ изслѣдователей. Разсмотрѣніе чертъ древне-славянскаго быта (стр. 407 слѣд.) носитъ на себѣ чрезъ мѣру популярный характеръ: оно ограничивается выдержками изъ Прокопія и Маврікія и нѣкоторыми «разсужденіями» по поводу отмѣченныхъ ими особенностей образа жизни славянъ. Нельзя не желать, чтобы были приняты во вниманіе извѣстія и другихъ писателей, византійскихъ и западныхъ, и чтобы они были изслѣдованы съ большею обстоятельностью. И кому же исполнить это,

какъ не нашему автору, столь навывкшему въ подобнаго рода историческихъ изслѣдованіяхъ!

При рѣшеніи вопроса о древне-славянскомъ бытѣ есть уже нѣкоторая возможность принять въ расчетъ и приобрѣтенія славянскаго языкознанія по отношенію къ возстановленію обще-славянской жизни на основаніи данныхъ языка. Сдѣлано здѣсь еще очень не много, но кое-что сдѣлано, и при томъ сдѣлано такъ, что можетъ быть усвоено и принято наукою, какъ неопровержимый фактъ... Древнѣйшія извѣстія о бытѣ славянъ идутъ съ Юга, отъ византійцевъ, стало быть—главнымъ образомъ вытекаютъ въ виду южныхъ славянъ. Выдѣлять изъ этихъ извѣстій черты обще-славянскія — возможно только при пособіи сравнительнаго славянскаго языкознанія...

Каковы бы ни были, однако, вольные и невольные недостатки историко-этнологическаго отдѣла изслѣдованій автора, нельзя не отнестись съ признательностью къ его попыткѣ дополнить скудныя страницы этой древности матеріаломъ совершенно новымъ, впервые добытымъ чрезъ могильныя изслѣдованія или раскопки. Этому посвящено особое «Приложеніе» (стр. 613 — 647), носящее названіе: «Древнія Скиѳія въ своихъ могилахъ». Такъ какъ эти страницы по предмету своему относятся именно къ третьей главѣ книги, то я нахожу уместнымъ рассмотреть ихъ здѣсь съ нѣкоторою подробностью. Скиѳскія могилы съ ихъ содержаніемъ впервые стали предметомъ случайнаго изслѣдованія еще въ концѣ прошлаго вѣка (раскопка Мельгунова, отчетъ о которой помѣщенъ въ журналѣ Миллера: «Ежемесячныя сочиненія» 1764, декабрь стр. 497—515), затѣмъ также случайно Дюбрюксомъ, въ 1831 году, была открыта знаменитая Куль-обская могила и, благодаря статьѣ о нѣкоторыхъ предметахъ изъ нея Рауль-Рошета («Notice sur quelques objets en or trouvés dans un tombeau de Kertsch... Extr. du Journal des Savans 1862, Janv.»), скиѳскія древности обратили на себя общее вниманіе европейской науки. Оно усилилось послѣ выхода въ свѣтъ зриматажнаго изданія: «Antiquités du Bosphore Cimmérien, conser. au Musée Im-

périal de l'Érmitage». S.-Pb. 1854—5. 3 v. — хотя и не вполне удовлетворительнаго въ ученomъ отношеніи, но представлявшаго подробности кулобскаго открытія и превосходныя изображенія нѣкоторыхъ предметовъ скифско-босфорской древности. Систематическія раскопки скифскихъ кургановъ начались изслѣдованіемъ Луговой могилы (Александропольскаго кургана. Первое обстоятельное извѣстіе о раскопкѣ сего кургана, съ рисунками многихъ вещей — находимъ въ «Извлеченіи изъ отчета объ археологическихъ разысканіяхъ въ 1853 г.», Спб. 1855) и продолжался съ небольшими перерывами почти до послѣдняго времени. Разрыто было нѣсколько большихъ (царскихъ) и малыхъ могилъ, главнымъ образомъ трудами—г. Забѣлина. Особенно богатый, въ своемъ родѣ единственный матеріалъ дала его раскопка Чертомлыцкаго кургана. Накопилось такъ, образомъ не мало данныхъ, относящихся къ скифской древности и добытыхъ исключительно изъ кургановъ. Археологическая Комиссія предприняла изданіе этихъ новыхъ документовъ въ великолѣпномъ Сборникѣ: «Древности Геродотовой Скиѣи» (котораго доселѣ появилось два выпуска). Сводъ данныхъ и обработку ихъ для науки быто-вой древности—впервые представляетъ г. Забѣлинъ. Говоримъ *оперѣе*, потому что попытки Л. Швабе (Die Griechen und die griechische Kunst am Nordgestade des Schwarzen Meeres. R. 1867) и Ленормана Старшаго («Mémoire sur les Antiquités du Bosphore Cimmérien» въ Mémoires de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres... t. XXIV, I, P. 1661, стр. 101 — 265) основаны на очень недостаточномъ количествѣ матеріала: первый остановился преимущественно на данныхъ Чертомлыцкой могилы, а второй—Куль-Обской. Я не колеблюсь признать эти богатые по объему, но внутреннимъ содержаніемъ — страницы труда г. Забѣлина однимъ изъ капитальнѣйшихъ приобрѣтеній русской исторической науки: онѣ открываютъ совершенно новую область и дополняютъ сказанія Геродота такими живыми чертами и подробностями скифскаго быта, какихъ не найдемъ ни въ одномъ, доселѣ извѣстномъ источникѣ. Можно, конечно, пожелать боль-

шихъ подробностей, или, говоря точнѣе, большей остановки надъ разборомъ и объясненіемъ значенія нѣкоторыхъ предметовъ, а равно и большаго вниманія къ нѣкоторымъ древностямъ заведомо скифской культуры, открытымъ какъ въ Куль-обскомъ (см. вышеуказанную статью К. Ленормана), такъ и въ другихъ южно-русскихъ курганахъ; но и въ томъ видѣ, какъ она есть—статья г. Забѣлина не только удовлетворяетъ своей цѣли, но и представляетъ въ своемъ родѣ образцовый опытъ приложенія археологій къ рѣшенію вопросовъ бытовой исторіи и древности. Нужно желать, чтобы подобную работу г. Забѣлинъ предпринялъ относительно могилъ не скифскаго, не греческаго, а варварскаго и славянскаго происхожденія. Здѣсь задача сложнѣе и труднѣе, но за то сколько много пользы и успѣха приобрѣтетъ отсюда наука! Первымъ приготовительнымъ шагомъ къ такому труду должны, конечно, быть свѣдѣнія о могилахъ и распределеніе ихъ матеріала, подобное тому, какъ это сдѣлано въ нѣмецкой наукѣ К. Вейнгольдомъ (*Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland. W. 1859*).

Четвертая глава разсматриваетъ первое появленіе «Русь» въ исторіи и слухи о ней въ Византіи и на Западѣ, именно: первый набѣгъ русскихъ на Царьградъ, вызвавшій извѣстныя проповѣди патріарха Фотія, причину этого набѣга и его послѣдствія, первые слухи о Руси на Западѣ (въ Бертинскихъ лѣтописяхъ), при чемъ, по слѣдамъ г. Геденова—отвергается всякая историческая цѣнность выраженія: «Imperator comperit eos (Rhos) gentis esse Sueonum», и оно не безъ основанія толкуется, какъ частное соображеніе чиновниковъ канцеляріи Людовика Бл.; наконецъ—излагаются сказанія о странѣ и народѣ Русь—арабскихъ писателей, преимущественно Ибнъ-Фадляна. Въ общемъ сей отдѣлъ книги г. Забѣлина обработанъ съ большою отдѣлкою, ясностью и воздержаніемъ отъ смѣлыхъ гаданій, чѣмъ два предыдущіе, а потому онъ гораздо удовлетворительнѣе ихъ. Недостатки его условливаются главнымъ образомъ тѣмъ, что авторъ долженъ былъ пользоваться нѣкоторыми источниками въ

обработкѣ или мало удовлетворительной, или и совсѣмъ недостаточной. Такъ напр. Гомиліи патр. Фотія о Руси были доступны ему въ переводѣ и толкованіи пр. Порфирія: «Четыре бесѣды Фотія», пер. ар. П. Успенскаго. Спб. 1864 г., мало отличающимся филологическою точностью. Если бы авторъ послѣдовалъ исправному тексту, изданному акад. Наукомъ, какъ «Appendix» къ его «Lexicon Vindobonense», Petr. 1867, онъ, конечно, нѣсколько иначе представилъ бы себѣ причину перваго набѣга руси на Царьградъ и не призвалъ бы всуе какихъ-то «молотильщиковъ», о которыхъ въ текстѣ нѣтъ ни малѣйшаго упоминанія. Эти „молотильщики“ въ недобрый часъ явились изъ головы пр. Порфирія и доселѣ еще, какъ видно изъ обстоятельной «Исторіи русской Церкви» г. Голубинскаго, т. I, стр. 20 — 21 in potis — смущаютъ историческую науку. Посему мы находимъ нужнымъ представить здѣсь исправное чтеніе акад. Наука въ соотвѣтствіи съ фантастическимъ чтеніемъ пр. Порфирія:

Чтеніе и первифразъ ак. Нау-
ка

«πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων φιλαν-
θρωπῶς ἐλευθερωθέντες ὀλίγων
ἄλλους καὶ ἀφιλανθρωπῶς ἐδου-
λώσαμεν»

т. е. nos, quibus multa et gra-
via peccata per divini numinis
misericordiam condonata sunt,
levium delictorum poenas acer-
bas ab aliis exegimus...

Чтеніе и переводъ пр. Пор-
фирія.

«πολλῶν καὶ μεγάλων φιλαν-
θρωπῶς ἑλευθερωθέντων, ὀλί-
γους ἄλλους, ἀφιλανθρωπῶς
ἐδουλώσαμεν...»

т. е. многіе и великіе изъ
насъ получили свободу (изъ
плѣна) по челоуѣколюбію: а
мы не многихъ молотильщи-
ковъ безчелоуѣчно сдѣлали
своими рабами...

Или въ точномъ русскомъ переводѣ: «отъ многихъ же и ве-
ликихъ (прегрѣшеній) челоуѣколюбиво освобожденные, за немно-
гое другихъ и безчелоуѣчно порабоощаемъ... Есть и иныя отли-
чія исправнаго текста Фотіевыхъ гомилій отъ порфирьевскихъ,
которыя, подтверждая слова Наука, что «vir laudabili literarum

amore insignis, sed a minuta philologorum diligentia alienus, parum caute eam rem (sc. editionem homiliarum harum) suscipisset» (Prooem. ad Lex. Vind. p. XXX).

Объясненіе географическихъ и этнографическихъ извѣстій арабскихъ источниковъ вызвало со стороны автора не мало труда и остроумія. Но можно ли сказать, что онъ достигъ успѣха? Не думаю. До той поры, пока въ точности не будетъ опредѣлена система этно- и географическихъ воззрѣній и понятій арабовъ, пока извѣстія ихъ намъ извѣстны только въ отрывочныхъ выдержкахъ, до той поры — всякія попытки правильно воспользоваться арабскими источниками будутъ неточны и непрочны, а сужденіе нашего автора, что «какъ о руси, такъ и о славянахъ изъ арабскихъ писателей извлекаются только тѣ понятія, какія существуютъ въ нашей первой лѣтописи» — преждевременно.

Объясненіе болгаро-арабскаго сказанія о великанѣ (стр. 466—7) славянскимъ Волотомъ, а еще болѣе сдѣланный выводъ отсюда — явное увлеченіе автора въ пользу облюбованной мысли о приходѣ въ нашу страну варяговъ-велетовъ въ незапамятное для исторіи время. Такія толкованія ничего не прибавляютъ къ успѣху науки. Экскурсы изъ византійской исторіи IX в. (стр. 421—424) могъ быть бы опущенъ безъ малѣйшаго ущерба для дѣла. Догадка, что буртасы, сожигавшіе своихъ покойниковъ — были по всему вѣроятію русскіе славяне (стр. 446) основывается на недостаточныхъ данныхъ.

Пятая и послѣдняя глава разсматриваетъ «русскую лѣтопись и ея сказанія о древнихъ временахъ». Авторъ распространяется о томъ, какимъ путемъ и гдѣ, въ какой средѣ явились начатки русскаго лѣтописанія: вмѣстѣ съ другими современными изслѣдователями онъ полагаетъ, что первыя краткія лѣтописныя замѣтки о событіяхъ и лицахъ, почему либо памятныхъ, дѣлались церковными людьми въ церковныхъ книгахъ, гдѣ помѣщались пасхальныя таблицы или святцы, а также и на пустыхъ мѣстахъ или листахъ церковныхъ книгъ. Это обстоятельство, по мнѣнію автора, условило правду и историческую достовѣрность

записываемаго; ибо на страницу святой книги «надобно было заносить такую же святую правду, какою была исписана вся книга». Такимъ образомъ, по мнѣнію автора, «первые начатки нашей лѣтописи вполне самостоятельны, своеобразны, ни откуда не заимствованы, образовались и развились изъ собственныхъ потребностей и нуждъ, и воспроизведены собственными средствами». Выдѣленіе лѣтописныхъ извѣстій изъ календарей или пасхальныхъ таблицъ въ одно особое цѣлое, въ лѣтопись—совершилось позднѣе, когда самая Русская земля начала собираться въ одно цѣлое, т. е. около времени Ярослава I. Тогда появилась «Повѣсть временныхъ лѣтъ», опытъ собранія въ одинъ рассказъ разрозненныхъ хронологическихъ замѣтокъ о русскихъ дѣлахъ и мысляхъ, первая попытка написать исторію народа—какъ отвѣтъ на пытливые запросы общественной мысли—откуда и какъ, «пошла Русская земля». Хотя авторъ и усвоилъ «Повѣсть временныхъ лѣтъ» печерскому черниоризцу Нестору, но приписываетъ ей происхожденіе вовсе не строго-монастырское, а городское. «Городъ въ лицѣ княжеской военной дружины и въ лицѣ дружины торговой, гостинной—первый долженъ былъ почувствовать и сознательно понять, что онъ есть первая историческая сила Русской земли, дѣлшія которой поэтому достойны всякой памяти. Такъ въ городской средѣ возникла мысль составить и написать «Повѣсть временныхъ лѣтъ». Указавъ на просвѣтительное общественное значеніе Печерскаго монастыря, авторъ излагаетъ послѣдующую судьбу русскаго лѣтописанія, его отличительныя черты и воззрѣнія лѣтописцевъ, условившихъ внутреннюю правду и искренность ихъ повѣствованій, и затѣмъ переходитъ къ объясненію лѣтописныхъ сказаній о разселеніи славянъ, говоритъ о значеніи Кіева и преданій, соединенныхъ съ его основаніемъ, о родовомъ бытѣ, въ какомъ, по его мнѣнію, застаетъ исторія русскія племена, различіи патриархальнаго быта отъ родового и иныхъ условій и порядкахъ послѣдняго. Наконецъ, авторъ излагаетъ и обсуждаетъ теоріи ученыхъ относительно возникновенія и образованія городовъ и, не удовлетворяясь господствующею

щими понятіями, предлагаетъ свою теорію, свой взглядъ на образованіе города, какъ дружины, и на исторически промысловую жизнь его. Все изслѣдованіе заканчивается объясненіемъ образовъ города и городского быта, открывающихся въ богатырскихъ былинахъ и въ эпическомъ типѣ стольнаго кіевскаго князя Владимира. Уже изъ этого бѣглаго обзора содержанія «пятой главы» труда достаточно видно и богатство содержанія и высокій историческій интересъ его. При чтеніи этотъ интересъ возрастаетъ столько же оттого, что авторъ сумѣлъ коснуться предмета и нѣкоторыхъ новыхъ сторонъ, столько же и оттого, что отнесся къ нему съ необыкновенною теплотою — если такъ позволительно выразиться — археологически-патріотическаго воодушевленія, которое невольно сообщается и читателю. Достоинства изслѣдованій автора очень значительны, недостатки въ сравненіи съ ними маловажны. Особенно удачны и во многихъ отношеніяхъ новы тѣ сграницы, которыя посвящены русскому лѣтописанію: нужды нѣтъ, что авторъ принимаетъ принадлежность «Повѣсти временныхъ лѣтъ» Нестору — за дѣло рѣшенное и поконченное, что его характеристика наивныхъ, просто-душно искреннихъ и правдивыхъ воззрѣній древняго русскаго лѣтописца идеально преувеличена; — главное: постепенный ростъ русскаго лѣтописанія и отличительный характеръ его поняты правильно и представлены необыкновенно живо. Еще болѣе ученаго достоинства имѣютъ тѣ страницы, которыя относятся къ исторіи города, его постепеннаго сложенія, быта, порядковъ и стремленій его дѣятельности: въ предметъ темный, очень запутанный искусственными гипотезамъ, г. Забѣлинъ сразу вноситъ столько свѣта и естественнаго порядка, что его рѣшенія въ главныхъ своихъ частяхъ могутъ быть названы истиннымъ приобрѣтеніемъ науки. Правда, по направленію своего труда онъ склоненъ болѣе къ догматическому, чѣмъ къ историко-критическому изслѣдовательному изложенію; но нельзя не впдѣть, что догма у него есть только выводъ долговременныхъ предшествовавшихъ изслѣдованій и поисковъ. По важности предмета считаю нужнымъ

представить здѣсь основныя мысли автора, хотя только въ сухомъ, сжатомъ извлеченіи.

Семья, отдѣляя отъ себя новыя семьи, становится союзомъ семей или родомъ; родъ, образуя новыя роды, становится союзомъ родовъ, родовой общиной или племенемъ. Въ поземельномъ отношеніи семья отвѣчаетъ дворъ, единичное хозяйство; роду — хутора или деревни (въ древнемъ значеніи сего слова); родовой общинѣ — село = союзъ дворовъ и союзъ селъ или волость. Волость, власть имѣла необходимость въ твердомъ гнѣздѣ, какъ средоточіи, куда за судомъ и правдой тянули родичи, и какъ твердой защитѣ и убѣжищу отъ набѣга враговъ и внутреннихъ смутъ... Такъ возникаетъ община, родовой, волостной *городокъ*, мѣсто б. или м. укрѣпленное. Въ городкѣ сосредоточивается власть, постоянная стража (дружина). Удобства, соединенныя въ жизни съ городкомъ, привлекали подъ его стѣны населеніе, въ особенности если оно занималось торговлей и промысломъ... Такииъ обр., городокъ или городъ въ древнемъ смыслѣ является головою волости, выразителемъ ея земскаго единства... Съ размноженіемъ вѣтвей рода, ставшаго волостью — ослаблялось родовое начало; а вмѣстѣ съ тѣмъ въ городкѣ должны были произойти перемѣны: въ немъ собиравлись уже люди не одного рода, какъ прежде, но разнo — родные, выходившіе изъ различныхъ обособившихся родовъ, если и не совсѣмъ чужіе другъ другу по происхожденію отъ одного корня, за то совсѣмъ другіе для каждаго отдѣльнаго родства: возникаетъ общество, которое, какъ союзъ другихъ, вполнѣ равныхъ товарищей или друзей — называется *дружиною*. Городъ становится средоточіемъ дружинныхъ и общинныхъ союзовъ и связей... Дружинная связь распредѣляетъ людей по иному порядку, чѣмъ прежняя родовая: послѣдняя слѣдовала здѣсь степенямъ родства, первая — «боевому дѣлу»; боевые ряды послужили основаніемъ для рядовъ дружинныхъ, т. е. общественныхъ, иначе сословныхъ. Городокъ въ сущности былъ военной защитой, въ немъ первое мѣсто принадлежитъ людямъ «боеваго поля», и между ними первому — князю, который

водилъ и строилъ полки, творилъ судъ и расправу. За княземъ слѣдовали *передніе мужи*, бояре, потомъ—*дѣтскіе, тридѣ...* Торговый и промышленный людъ, селившійся подъ защитой города, подобно военному—несъ также повинности городской защиты: городъ, какъ военное мѣсто, дѣлалъ каждого жителя воинномъ. Горожане, купцы и промышленники въ отношеніи своего воинскаго и вообще городского тягла дѣлились на десятки, сотни, тысячи; во главѣ каждой изъ сихъ собирательныхъ единицъ стояли десятскій, сотскій и тысяцкій (старшій изъ бояръ)... Распространеніе малаго городка въ большой зависѣло отъ выгодъ мѣстности. Наибольшее расширеніе находилъ городъ, стоящій у удобныхъ путей, удобный для торговаго промысла: онъ привлекалъ людей промышленныхъ во всѣхъ видахъ; вблизи его стѣнъ разводились *слободки* (т. е. жилища людей, независящихъ отъ городского тягла), *концы*, въ общемъ составлявшіе *посадъ*, съ населеніемъ смѣшаннымъ изъ всякихъ людей, которое въ существенномъ смыслѣ и завязывало узелъ перваго гражданства...

Въ общемъ—какая ясная и правдивая въ своей простотѣ и естественности картина!... Но—одно замѣчаніе:

Какъ и въ прежнихъ своихъ трудахъ, такъ и теперь, авторъ является рѣшительнымъ послѣдователемъ теоріи родового быта, началамъ котораго онъ подчиняетъ всю русскую жизнь до-историческаго времени, и отчасти даже историческаго. Доктрина родового быта проведена и примѣнена авторомъ къ русской жизни съ строгою послѣдовательностью, онъ даже сумѣлъ прибавить къ ней отъ себя любопытныя наблюденія о значеніи и дѣйстви «обратнаго начала» въ родѣ... Тѣмъ не менѣе я позволяю себѣ думать, что теорія родового быта г. Забѣлина не есть непосредственный плодъ самостоятельныхъ наблюденій надъ жизнью вообще и русской народностью въ особенности, а принята и усвоена имъ готовою и примѣняется къ объясненію данныхъ русской бытовой исторіи въ такой исключительной, строгой формѣ, какую едва ли одобрятъ и сами послѣдователи сего ученія. Нельзя отрицать въ древнемъ русскомъ бытѣ присутствія и дѣй-

ствія родового начала: оно есть и требуетъ внимательнаго объясненія; но распространять его на всю жизнь, считать родовой быть такою абсолютною, общею формою жизни, которая когда-то господствовала повсюду и единовластно, определяя всё условія и порядки быта—нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній, не говоря уже о данныхъ. Это — чистая фикція и притомъ, какъ показываютъ современныя изслѣдованія древнѣйшей бытовой исторіи человѣчества—вовсе не необходимая. Теорія «чистаго» родового быта возникла въ русской исторической наукѣ въ то время, когда сравнительное языкознаніе только что пробовало свои силы надъ воссозданіемъ древнѣйшаго быта племенъ и установкой ихъ генеалогіи; тогда естественно было слова лѣтописи о древнѣйшемъ бытѣ русскихъ племенъ понимать въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, выводить отсюда полное господство родового быта, отчужденность и разрозненность родовъ, — объяснять этимъ брачную умышку и т. д.; тогда можно было не замѣчать, что принимая все это за истину, должно будетъ существованіе и возрастъ славянскихъ племенъ считать двумя-тремя сотнями лѣтъ. Теперь—нѣтъ сомнѣнія — эта увлекательная теорія (объяснившая, впрочемъ, очень многое частное въ исторіи Руси) — требуетъ новаго пересмотра, и перестройка должна быть измѣнена согласно съ успѣхами лингвистики, археологіи и этнологіи. Нельзя сомнѣваться, что при этомъ во многомъ измѣнится и тѣ историческіе взгляды и объясненія, которые прямо вытекали изъ прежней теоріи родового быта. Замѣтимъ здѣсь, что во второмъ томѣ «Исторіи русской жизни» г. Забѣлинъ значительно отходитъ отъ теоріи родового быта, которую онъ пытался приложить въ томѣ первомъ. Но этого я коснусь далѣе, при разборѣ относящейся сюда части «Исторіи»...

Многочисленныя бытовые объясненія, какія даетъ авторъ «Трояну» Слова о Полку Игоревѣ, будто бы выражающему «идею трехъ-братняго рода» и стоящему въ связи съ «несомнѣнными наследниками тѣхъ же мифическихъ созерцаній» тремя братьями скифскими, кievскими и варяжскими — едвали могутъ быть при-

няты: имъ недостаетъ прочнаго основанія; но принадлежность «трехъ братьевъ» къ области народнаго поэтическаго творчества авторомъ указано вѣрно и подтверждается народной сказкой. Мысль автора, что былинный князь Владимиръ есть эпическій образъ стольнаго города, — есть предположеніе, основанное на чертахъ внѣшняго совпаденія. Притомъ же объясненія бездѣйствія, безсилія и трусости былиннаго Владимира (578—9) стоитъ въ рѣшительномъ противорѣчій съ тѣмъ, что авторъ вообще говоритъ о доброй дѣятельности города и князя.

Этимологическаго сопоставленія словъ: князя съ конь, *Кія* — съ именемъ *Хумовъ* или *Хоановъ*, бояре со словомъ *бой* — ничего, конечно, не прибавляютъ къ достоинствамъ труда.

Приложенія, кромѣ вышеуказанной статьи о «Скифскихъ могилахъ», содержатъ въ себѣ выдержки изъ Космографіи «Меркатора» о Ругіи и Поморьѣ и сборникъ славянскихъ и нѣмецкихъ мѣстныхъ именъ, извлеченный изъ одной старой карты. Ономастиконъ, выбранный изъ поморскихъ, мекленбургскихъ и бранденбургскихъ грамотъ и изъ книги Фидицина «Territorien d. Mark Brandenburg» былъ бы, конечно, болѣе полезенъ и желателенъ.

II.

Переходя къ разсмотрѣнію *второго тома* труда г. Забѣлина, невольно чувствуешь какую-то перемѣну исторической атмосферы: чѣмъ болѣе отодвигаются въ глубь темныя судьбы темныхъ народцевъ, пребывавшихъ когда-то на Русской землѣ, чѣмъ менѣе встрѣчается надобность въ гуннахъ, роксоланахъ, бастарнахъ и т. д., тѣмъ увеличиваются и растутъ достоинства изложенія автора; чѣмъ менѣе представляется надобность въ норманно-варяжскомъ вопросѣ и такъ назыв. «нѣмецкихъ теоріяхъ» происхожденія Руси, тѣмъ спокойнѣе, а потому и осмыслительнѣе становится изслѣдованіе автора. Мѣстами еще появляются «послѣднія тучи разсѣянной буря»; но только мѣстами...

Первая глава второго тома посвящена изложенію «заселенія Русской страны славянами». Авторъ идетъ отъ твердой точки, отъ знаменитаго фотіевскаго упоминанія о народѣ Рѣсѣ, въ которомъ справедливо видятъ русско-славянское племя, а не норманскую дружину... На вопросъ о томъ, что было до этого — отвѣчаютъ, по его мнѣнію, *преданія*, находящіяся въ лѣтописи. Спору нѣтъ, что сіи «преданія» имѣютъ не малую этнографическую важность; но едва ли они должны быть принимаемы безъ критическаго разбора: преданіе преданію рознь, и я сомнѣваюсь, чтобы, по разборѣ дѣла, въ числѣ народныхъ преданій историческаго содержанія могли быть удержаны рассказы, что христіанство «было проповѣдываемо славянскому языку еще самими апостолами», что «россы прозвались своимъ именемъ отъ нѣкоего храбраго Росса, послѣ того, какъ имъ удалось спастись отъ ига народа, овладѣвшаго ими и «угнетавшаго ихъ»... Последнее — несомнѣнно псевдoисторическій вымыселъ византійца, а проповѣдь Андрея — несомнѣнно «странствующая повѣсть», только приобрѣтшая мѣстный колоритъ. Можно сомнѣваться также, что рассказъ о расселеніи славянскихъ племенъ съ Дуная долженъ быть понимаемъ въ смыслѣ обще-славянскаго, а не частнаго преданія: переселиться отсюда могло какое-нибудь племя, или нѣсколько мелкихъ племенъ, но чтобы отсюда пошли всѣ славяне, это — не только невѣроятно, но даже немыслимо. Переходя къ разсмотрѣнію древности славянскихъ поселеній на русской землѣ (съ цѣлью узнать старую исторію *новаго* города), г. Забѣлинъ прежде прочаго останавливается на «историческихъ результатахъ Сравнительнаго Языкознанія» по отношенію къ первобытнымъ аріійцамъ и славянамъ. Онъ руководствуется здѣсь почти исключительно «Краткимъ Очеркомъ» Шлейхера и сочиненіемъ Воцеля: «*Pravěk země české*»... Какъ ни живо представляетъ сей бѣглый очеркъ, — онъ все же недостаточенъ и нуждается въ поправкахъ и пополненіяхъ. На это въ наукѣ существуютъ уже и достаточныя средства. Возраженія автора Шлейхеру на счетъ чужеземности словъ: *«князь, хмель, стькло»*,

плннзъ» (стр. 17—19) слишкомъ неопредѣленны и не убѣдятъ никого въ славянскомъ ихъ происхожденіи. Мнѣніе, что разселеніе арійцевъ «вѣроятно происходило еще въ тѣ времена, когда Аральское, Каспійское, Азовское и Черное море составляли одно средиземное море между Европою и Азіей» (стр. 10), не имѣетъ ровно никакихъ основаній. Я не упомянулъ бы, впрочемъ, объ этой частности, если бы она въ послѣднее время не дала поводъ къ одной фантастической попыткѣ опредѣлить «мѣсто первоначальнаго обособленія славянскаго племени и направленіе его движеній по отношенію къ Черному морю»¹⁾—попыткѣ, будто бы «основанной на данныхъ филологіи», на самомъ же дѣлѣ рѣшительно не имѣющей съ послѣдними ничего общаго... Съ большою вѣроятностью первоначальнымъ обиталищемъ обособившихся славянъ авторъ считаетъ мѣстность Южной Руси и преимущественно днѣпровскаго бассейна. Есть данныя, говорящія прямо въ пользу сей мысли. Одно, между прочимъ, очень любопытное, было указано въ послѣднее время проф. Гатталой, именно постоянство во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ выраженія «черна-земля», указывающее, что оно принадлежало славянамъ еще въ эпоху ихъ нераздѣльности и образовалось въ «полостъ чернозема», т. е. въ Южной Руси (см. «Brus jazyka českého» р. 23—27). Кромѣ *попті́йской* — *основною вѣтвью* первоначальныхъ славянъ авторъ считаетъ и *балті́йскую*... Правда, на балті́йскомъ поморьѣ славяне являются со временъ незапамятныхъ; но утверждать, что древность ихъ балті́йскаго мѣстопробыванія равняется древности мѣстопробыванія попті́йскаго — запрещаютъ многія обстоятельства, которыхъ никакъ нельзя устранить проницательными отзывами о «притязаніяхъ нѣмецкой учености» (стр. 27)... Не подлежитъ сомнѣнію, что рѣшеніе Шафарика, Шельца и др. насчетъ относительно позднягозанятія славянами балті́йскихъ земель — нуждается во многихъ поправкахъ, ограниченіяхъ и вообще въ пересмотрѣ, но нельзя

1) Рѣчь А. Некрасова. Каз. 1879.

сомнѣваться и въ томъ, что нѣмецкое заселеніе европейскаго сѣвера, Даніи, Скандинавскаго полуострова и даже Литвы — случилось ранѣе пришествія славянъ въ балтійскія земли. Древнѣйшія извѣстія о торговлѣ янтаре — по своей неопредѣленности — ничего не даютъ для утвержденія глубокой древности славянъ на балтійскомъ поморьѣ, кромѣ одного имени венетовъ, имени не славянскаго и не всегда обозначаващаго славянъ. Да и не странно-ли: славяне съ незапамятныхъ временъ ведутъ торговлю янтаре, а между тѣмъ не имѣютъ даже собственнаго термина сему предмету, ибо всѣ извѣстныя наименованія янтара принадлежатъ или грекамъ (*ήλεκτρος*), или нѣмцамъ (*glacsum, glas, Bernstein brennstein*), или Литвѣ (*jentaras*), или народамъ востока, но не славянамъ, которые пользовались названіемъ литовскимъ... Вообще, дѣло съ «славянскимъ янтаре» заслуживало бы такого тщательнаго пересмотра, каковъ сдѣланъ былъ Мюлленгофомъ относительно «янтара нѣмецкаго»¹⁾; а до той поры для науки выгоднѣе будетъ воздержаться отъ рѣшительныхъ заключеній отъ янтара къ «славянской древности».

«Глубокая древность славянскихъ поселеній на Балтійскомъ морѣ, по словамъ автора (стр. 33), больше всего можетъ подтверждаться скандинавскими сагами, которыя много разсказываютъ о ванахъ и всенадахъ, впляхъ — велетахъ, о странѣ «ванагаймъ... Впослѣдствіи героями скандинавскихъ и нѣмецкихъ преданій становятся гуны съ ихъ царемъ Аттилой. По свѣдѣніямъ видимостямъ — это была только перемѣна звука въ имени «тѣхъ же вавовъ — всеновъ, ибо Гуналандъ — земля гунновъ помещается точно также на востокѣ Балтики, гдѣ находилось царство Аттилы, содержавшее въ себѣ 12 сильныхъ королевствъ. «Все принадлежало ему отъ моря до моря», какъ говорятъ саги, «подтверждая извѣстіе Приска, что Аттила бралъ дань съ острововъ оксана, т. е. Балтійскаго моря. Славянство гунновъ ни-

«тѣмъ не можетъ быть лучше подтверждено, какъ именно эти «сѣверными сагами» (стр. 33).

Здѣсь цѣлый рядъ неточно переданныхъ историческихъ данныхъ и невѣрныхъ отсюда заключеній. «Славянство» вановъ есть чистая гипотеза Суровецкаго и Шафарика, основанная единственно на случайномъ созвучіи словъ Vanig и Vindr. Мнѣніе Я. Гримма (DM. 199), что образы вановъ въ Эддѣ слишкомъ ярко отмѣчены мифологическимъ характеромъ, чтобы допускать историческое объясненіе — должно остаться во всей своей силѣ. Свидѣтельства скандинавскихъ сагъ о виодахъ, вильцахъ — велятахъ не могутъ служить свидѣтельствами глубокой древности славянъ на балтійскомъ поморьѣ, потому что относятся и указываютъ на очень позднее время, на X—XII столѣтія, почти никогда — на время болѣе раннее. Въ ложной постановкѣ является роль Аттилы и гунновъ въ скандинавскихъ и нѣмецкихъ преданіяхъ: по мысли автора — эти «герои» замѣнили собою прежнихъ вановъ — вендовъ, слегка измѣнившись въ имени... Для такого утвержденія столь же мало основанія, сколько и для самой этимологіи автора.

Ваны не стоятъ ни въ какой связи съ гуннами. *Нѣмецкія и скандинавскія преданія* не только не указываютъ на славянство гунновъ вообще и балтійское ихъ славянство въ частности, но во многихъ статьяхъ свидѣлствуютъ прямо противъ такого взгляда, потому что съ одной стороны прикрѣпляютъ родъ Аттилы и его царство къ Нидерландамъ и Фризіи, съ другой распространяютъ ихъ и на другія страны, придунайскія и даже италійскія¹⁾. Это географія и этнологія — мифическія, рожденныя и выросшія подъ вліяніемъ преданій о грозномъ Аттилѣ и его царствѣ. Понятно, что именами «Hunaland», «Chunigard» могли обозначаться и страны, заселенныя славянами, и русскій

1) Мѣста изъ нѣмецкихъ и сѣверныхъ источниковъ о Hunaland'ѣ собраны въ сочиненіи Петерсена: «Ueber die geographische Kenntniss der alten Bewohner des Nordens» въ Ludde's Zeitschrift für Erdkunde, Bd. VII, стр. 81 эк.

Кіевъ и вся Русь; «quod ibi — какъ объяснялъ схолиастъ къ Адаму (IV, II) — sedes Hunnorum primo fuit»... но пользоваться такимъ наименованіемъ для утвержденія славянства гунновъ — будетъ большою историческою ошибкою, ибо тогда съ одинакимъ правомъ можно было бы напр. утверждать, что русскіе славяне — *происхожденія греческаго*, ибо въ сѣверныхъ источникахъ и у Адама Бременскаго Русь иногда именуется Греціей... Вообще говоря, я не вижу, чѣмъ разъяснять балтійско-славянскую и въ частности русскую исторію это привлечение къ родству гунновъ: неизвѣстное и темное объясняется еще менѣе извѣстнымъ и темнѣйшимъ, — и въ выводѣ, конечно, получается искусственная гипотеза, столь же темная, запутанная и непужная...

Древнѣйшіе пути вендскихъ колонистовъ по русской странѣ, поселеніе руси на Нѣманѣ — опредѣляются авторомъ на основаніи извѣстныхъ историческихъ данныхъ и свидѣтельствъ: онъ только даетъ имъ иное направленіе, сообразное съ своимъ понятіемъ, такъ сказ. иначе приспособливаетъ ихъ.

Для утвержденія мнѣнія, что область нижняго Нѣмана была заселена славянами, можно требовать болѣе твердыхъ доказательствъ, чѣмъ одни голыя указанія на топографическія наименованія отъ корня *рус*; равнымъ образомъ — позволительно считать «вѣрное» (по автору) толкованіе имени «*пруссозъ*», «*Пруссимъ*» — этимологіей «*поруссозъ*», «*Порусья*» — не только невѣрнымъ, но и совсѣмъ ложнымъ: выпаденіе звука *о* шло бы противъ стремленія языка къ облегченію выговора, а наименованіе со звукомъ *о* не встрѣчается ни въ одной документально засвидѣтельствованной формѣ сего слова; вездѣ стоитъ Pruzzi, Pruzia, Prussia, Prussi, Prutia, Pruci, пруссы, Пруссія и т. д. (Наименованіе Borussia — сюда не идетъ: оно не народное, а книжно-ученое). *Поросы* — форма правильная, но порусы — въ смыслѣ племенномъ — неслыханная и не возможная¹⁾.

1) Mahn: Etymologische Untersuchungen:.. «Ueber die Ursprung und die Bedeutung der Namens Preussen», B. 1856, c. 1—16.

Колонизація балтійскими славянами Новгородскаго края намъ представляется предположеніемъ весьма вѣроятнымъ, хотя едва ли можно утверждать, что такимъ путемъ произошло общее заселеніе края: промышленно-торговое населеніе шло съ запада, съ моря, а сельское, земледѣльческое — съ юга, по твердой землѣ.

Новѣе и во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія попытка г. Забѣлина опредѣлить пути, по которымъ шло славянское расселеніе отъ Нѣмана до Бѣлоозера. Указаніе мѣстныхъ именъ славянскаго происхожденія, для правильныхъ историческихъ выводовъ, конечно, имѣютъ нужду еще въ хронологическомъ распредѣленіи, такъ какъ они представляютъ, такъ сказать, сумму многовѣковаго движенія славянскихъ колонистовъ; но во всякомъ случаѣ попытка заслуживаетъ добраго признанія, и цѣна ея несомнѣнно возрастетъ, если авторъ — хотя впослѣдствіи — нанесетъ на географическую карту тѣ вѣхи, которыя онъ поставилъ и отмѣтилъ теперь лишь на письменномъ листѣ.

Заключительныя соображенія автора о промышленно-торговомъ характерѣ дѣятельности русскаго сѣвера (ст. 63—79) въ высокой степени замѣчательны и интересны, даже и по отношенію къ варяго-славянскимъ гипотезамъ автора. Основная мысль указывалась въ русской исторической наукѣ, но сколько знаемъ — нигдѣ съ такою ясностью изложенія и здравымъ толкомъ-разумомъ, какъ у г. Забѣлина. Потому я нахожу не излишнимъ отмѣтить и привести тѣ изъ его соображеній, которыя представляются особенно важными или мѣтными.

Въ дѣятельности промысловой общины скрывается, по мнѣнію г. Забѣлина, наша истинная исторія, начавшаяся очень рано, неизмѣнно продолжавшаяся и въ послѣдующее время, но невидимо «закрытая неугомоннымъ, но для страны бѣдственнымъ шумомъ княжескихъ мелкихъ дѣлъ, старательно изображаемыхъ лѣтописью и припимаемыхъ нами за голосъ самой всеародной жизни».

Великимъ и могущественнымъ типомъ промысловаго города

въ теченіе всей нашей древней исторіи является Новгородъ. Онъ же былъ и зародышемъ нашей исторической жизни. Мы думаемъ, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ полнымъ выразителемъ тѣхъ жизненныхъ бытовыхъ началъ, которыя съ теченіемъ вѣковъ постепенно нарастали и развивались отъ вліянія проходившихъ черезъ нашу равнину торговыхъ связей. Онъ былъ славнымъ дѣтищемъ незнаемой, но очень старой исторіи, прожитой русскою страню безъ всякаго такъ называемаго историческаго шума.

Исходную точку торговой и промышленной дѣятельности русскаго сѣвера авторъ находитъ не на новгородской почвѣ и не у норманновъ, а на южномъ побережьи Балтійскаго моря, у вендскихъ славянъ, которые принесли къ намъ и начала гражданственности совершенно иныя, чѣмъ приносили обыкновенно норманны.

«Исторія Новгорода показываетъ, что этотъ промышленный нравъ, эта необыкновенная предпримчивость и горячая бойкая подвижность едва ли могли народиться и воспитаться внутри страны, выйти, такъ сказать, изъ собственныхъ домашнихъ пеленокъ».

«Ильменскій словѣнникъ постоянно думаетъ о моряхъ и, живя вблизи Балтійскаго моря, хорошо знаетъ дорогу и въ Черное, такъ что увѣковѣчилъ своими племенами даже Дѣлпровскіе пороги, по которымъ слѣдовательно плавалъ, какъ по давнишнему прото-ренному пути. Онъ больше всего думаетъ о Царе-Градѣ, о всемірной столицѣ тогдашняго времени; но не меньше думаетъ и о хозарахъ, гдѣ арабы сохраняютъ его имя въ названіи главной славянской рѣки (Волги, а также и Дона), въ названіи даже черноморской страны славянскою, при чемъ и волжскіе болгары и самые хозары являются какъ бы на половину славянами. Такъ широко распространялось славянское имя и по Каспійскому морю. Вообще должно сказать, что морская предпримчивость славянъ уже въ IX в. обнимаетъ такой кругъ торговаго промысла, который и въ послѣдующія столѣтія не былъ обширнѣе,

и затѣмъ постепенно даже сокращался. Ясно, что это добро было нажито многими вѣками прежней, незнаемой исторіи. Возможно ли, чтобы эта обширная мореходная предприимчивость зародилась сначала только въ предѣлахъ Ильменя озера и оттуда перешла на ближайшія, а потомъ и на далекія моря, распространившись вмѣстѣ съ тѣмъ и по всей равнинѣ. Намъ кажется, что этотъ морской нравъ ильменскихъ славянъ, которымъ ознаменованы всѣ начальныя предпріятія русской земли, зародился непосредственно гдѣ-либо тоже на морскомъ берегу, или по крайней мѣрѣ воспитывался и всегда руководился самыми близкими и постоянными связями съ моремъ. Большое озеро или большая рѣка внутри равнины, каковы были Ильмень для Новгорода и Днѣпръ для Кіева, если и развиваютъ въ людяхъ извѣстную отвагу и предприимчивость, то все-таки ограничиваютъ кругъ этой предприимчивости предѣлами своей страны. Все, что могъ выразить Кіевъ въ своемъ положеніи, это — только служить проводникомъ къ морю, что онъ и исполнилъ съ великою доблестью. Но морская жизнь въ ея полномъ существѣ не была ему свойственна, не могла въ немъ развить характеръ истиннаго поморянина. То же должно сказать и о Новгородѣ.

«Поэтому весьма трудно повѣрить, чтобы русская морская отвага первыхъ вѣковъ народилась и развивалась изъ собственныхъ, такъ сказать, материковъ началъ жизни. Поэтому очень естественнымъ кажется, что первыми водителями русской жизни были именно норманны, какъ говорятъ, единственные моряки во всемъ свѣтѣ и во всей средневѣковой исторіи... Но исторія на ряду съ норманнами, очень помнитъ другое племя, ни въ чемъ имъ не уступавшее, и даже превосходившее ихъ всѣми качествами не разбойной, но промышленной, торговой и земледѣльческой жизни.

«Какъ на западѣ были важны норманны, въ той же степени велики были для востока — варяги-славяне, обитатели южнаго балтійскаго побережья.

«И тамъ и здѣсь люди моря, отважные мореходы, вносятъ

новыя начала жизни. Но только въ этомъ обстоятельствѣ и оказывается видимое сходство историческихъ отношеній. Затѣмъ, во всѣхъ подробностяхъ дѣла идетъ полнѣйшее различіе. Тамъ — эти моряки завоевываютъ землю, дѣлятъ ее по феодальному порядку, вносятъ самодержавіе, личное господство и коренное различіе между завоевателемъ и завоеваннымъ, образуютъ два разряда людей — господъ и рабовъ, совсѣмъ отдѣляютъ себя отъ городского общества, и на этихъ основахъ развиваютъ дальнѣйшую исторію, которая даже и въ новыхъ явленіяхъ осязательно раскрываетъ свои начальные корни.

«Наши русскіе варяги, какъ славяне, наоборотъ, вовсе не приносятъ къ намъ этихъ благъ норманскаго завоеванія. Они являются къ намъ съ своимъ славянскимъ добромъ и благомъ. Какъ отважные моряки, они приносятъ намъ промысловую и торговую подвижность и предпріимчивость, стремленіе проникнуть съ торгомъ во всѣ края нашей равнины. Это добро главнымъ образомъ и служитъ основаніемъ для пристройки русской народности и русской исторіи. Затѣмъ, они приносятъ однородный нравъ и обычай, однородный языкъ, однородный порядокъ всей жизни; никакого дѣленія земли, никакого раздѣленія на господъ и рабовъ, никакой обособленности отъ городской общины и т. д. Все это, какъ однородное и хотя бы по характеру мѣстъ нѣсколько различное, сливается въ одну общій историческій потокъ и пришельцы совсѣмъ исчезаютъ въ немъ, не оставляя яркихъ слѣдовъ и способствуя только быстротѣ развитія первоначальной русской славы и исторіи» (стр. 63—73).

Изъ всего сказаннаго мною доселѣ ясно, что историческое достоинство *первой главы* II т. сочиненія г. Забѣлна — неравномѣрно: тамъ, гдѣ авторъ имѣетъ дѣло съ отдаленною древностью, онъ является не столько изслѣдователемъ, сколько адвокатомъ своей теоріи, подбирающимъ все то, что, по его мнѣнію, свидѣтельствуетъ въ пользу ея, при чемъ не всегда имѣетъ въ виду требованія исторической и лингвистической критики: есть неправильныя объясненія свидѣтельствъ, есть невозможныя

этимологиѣ (кромѣ указанныхъ выше: *вар-я-тъ* производится отъ *вар-ia-ю* (34, 66), несмотря на несогласную разницу въ звукахъ; *свесы* этимологически отождествляются со *славянами* (51), *анты* съ *вендами*, *вятичами* = *унами* = *ванами* (стр. 61). Въ пучинѣ темныхъ народовъ и смѣшеніи языковъ авторъ видимо теряется, а потому и изложеніе его производитъ смутное, затрудняющее впечатлѣніе...; но какъ скоро онъ изъ царства тѣней и мрака выходитъ на болѣе твердую дорогу, какъ въ только что приведенныхъ нами его созерцаніяхъ, такъ мы снова встречаемся съ тою ясностью мысли и изложенія и съ тѣми историческими достоинствами, которыя русская наука давно и достойно оцѣнила въ авторѣ «Домашняго быта русскихъ царей» и иныхъ многихъ замѣчательныхъ историческихъ изслѣдованій...

Со второй главой авторъ выходитъ въ положительную исторію: онъ разсматриваетъ «начало русской самобытной исторической жизни»: поселеніе Новгорода и его топографію (разумѣется, сообразно съ теоріей славяно-варяжской колонизаціи его), говорить объ устройствѣ новгородской жизни до призванія князей и отсюда прямо выходитъ къ «изгнанію» варяговъ и «призванію» варяго-русовъ. По его мнѣнію «изгнанные варяги» были—оботрпы, а «призванные»—ругенцы—велеты... «Призваніе» вытекало изъ требованій *суда* и *ряда* и власти. Передавая свѣдѣнія о томъ, какъ должны были идти начальныя дѣла перваго времени, «лѣтопись въ лицѣ Рюрика рисуетъ свои понятія о значеніи для земли князя, о его правахъ владѣть землею, о его обязанностяхъ воевать, городки рубить, сажать въ нихъ своихъ мужей, раздавать волости мужамъ...» Съ Аскольдомъ и Диромъ авторъ переходитъ на югъ, въ Кіевъ, указываетъ на важное значеніе мѣстности для исторической жизни Руси, особенно въ отношеніи торговой и промышленной дѣятельности, какъ центра или сборнаго мѣста промысловой жизни всего сѣвера, мѣста, «передвигавшаго эту жизнь и прямо на югъ, въ греческій Царьградъ и на юго-востокъ къ древнему Тапавсу-Воспору и къ берегамъ

Каспія въ страну хозарь...» Съ образованіемъ или «усѣстомъ» варяжской дружины въ Кіевѣ, послѣдній обнаруживаетъ «затки совѣтъ много развитія, чѣмъ было прежде въ родовомъ или промысловомъ городкѣ»; въ немъ появляется «то завоевательное, военно-дружинное начало, которое впоследствии охватило всю землю и покрыло своею славою прежнія, только союзныя и промысловыя отношенія земли, какія развивались съ давняго времени по преимуществу одинъ Новгородъ...» Старѣйшина Новгородъ не могъ остаться равнодушнымъ къ усиленію Кіева и самостоятельному отчужденію его: это мѣшало свободному теченію всей сѣверной жизни, а потому, выражался словами автора, онъ «собравши варяговъ и военныя дружины подвластныхъ или союзныхъ городовъ чуди, славянъ, мери, веси, кривичей—переселился торжественнымъ походомъ на южный конецъ большой дороги, поближе къ тому великому всемірному торжищу, къ которому и былъ проложенъ этотъ завѣтный путь «изъ варягъ въ греки»...

Знакомый съ дѣломъ замѣтитъ, что сей отдѣлъ «Исторіи русской жизни» не бѣденъ новымъ содержаніемъ, конечно не въ отношеніи матеріала, а въ объясненіи его... Мною представленъ лишь общій сухой скелетъ его; но есть у автора не мало частныхъ мыслей — соображеній, которыя на мой взглядъ очень удачны и составляютъ «приращеніе» русской исторической науки... Они заслуживаютъ быть указаны.

Таково, прежде прочаго, мнѣніе, что «Кіевъ не былъ городомъ какого-либо одного племени, а родился (я сказалъ бы: выросъ) изъ сборища всякихъ племенъ, изъ прилива вольныхъ промышленниковъ и торговцевъ отъ всѣхъ окрестныхъ городовъ и земель... Авторъ нѣсколько переходитъ границу исторической дѣйствительности, когда говоритъ, что такимъ Кіевъ былъ «сз самого своего зарожденія»; но мысль его—совершенно вѣрна въ отношеніи эпохи роста и расширенія города.

Хотя и трудно согласиться съ тѣмъ аллегорическимъ голкованіемъ, какое даетъ авторъ преданію «о перевозчикѣ

Киѣ»¹⁾, но высказанныя имъ по этому поводу соображенія о су-
доходной, рѣчной и морской дѣятельности русскихъ племенъ, жив-
шихъ по Днѣпру — вполне справедливы: «всѣ морскіе походы,
говоритъ нашъ авторъ, вызывались самымъ положеніемъ мѣсто-
сти, на которой онъ жилъ и, конечно — торговыми связями съ гре-
ками, равно какъ и враждебными отношеніями и къ грекамъ и дру-
гимъ приморскимъ сосѣднимъ народамъ...; во всей той исторіи, та-
нувшейся болѣе тысячи лѣтъ, норманнамъ вовсе не остается ни-
какого мѣста. Если въ 9 и 10 вв. они и плавали по нашимъ рѣ-
камъ, то все-таки при посредничествѣ нашихъ же пловцовъ и въ
полной зависимости отъ нашихъ же хозяевъ земли. При томъ пла-
ванье на лодкахъ по морю еще не столько отважно и значительно,
какъ переправа съ большимъ караваномъ именно чрезъ днѣпров-
скіе пороги. Здѣсь была необходима особая школа, которая могла
возродиться только вѣками и усиліями цѣлаго ряда поколѣній.
Никакая вновь пришедшая дружина норманновъ и какихъ бы то
ни было мореходовъ — не могла руководить этою переправою, по
простой причинѣ — по незнанію всѣхъ мѣстныхъ подробностей и
обстоятельствъ плаванія. Знакомство же съ этими обстоятель-
ствами приобрѣталось не иначе, какъ опытомъ цѣлой жизни, при
помощи всякаго наѣла отъ старыхъ пловцовъ, при помощи жи-
выхъ преданій отъ поколѣнія къ поколѣнію... Кто же другой
могъ быть такимъ знающимъ вождемъ въ этой (трудной) пере-
правѣ, какъ не живущее здѣсь же племя туземцевъ...? «Какой
другой мореходный народъ» могъ знать всѣ камни и омуты и всѣ
извилистыя быстрины этого порожистаго потока, какъ не тотъ
самый, для котораго переправа чрезъ пороги съ незапамятнаго

1) «Сказаніе о перевозникѣ, быть-можетъ, еще вѣрнѣе обозначаетъ древ-
нѣйшее значеніе Киѣва для всей Русской страны. Какъ перевозникъ, Киѣвъ
былъ посредникомъ сношеній западной стороны Днѣпра съ восточною, то есть
съ Дономъ, Волгою и Каспіемъ; но въ то же время, какъ перевозникъ, онъ и
самомъ дѣлѣ былъ посредникомъ и пособникомъ въ сношеніяхъ далекаго сѣ-
вера съ черноморскимъ югомъ и, въ качествѣ такого посредника — всегда
былъ принимаемъ въ Цареградѣ съ немалою почестью»... (стр. 98).

времени составляла задачу существованія, главнымъ образомъ задачу промышленной и торговой жизни?

«Въ этомъ смыслѣ преданіе о первомъ человѣкѣ Кіева справедливо разумѣть въ немъ перевозчика на тотъ берегъ и къ Каспію отъ западныхъ земель, и къ Цареграду отъ нашихъ верхнихъ земель. Въ этомъ смыслѣ, какъ перевозчикъ Кіевъ приобретаетъ особое значеніе для древне-русской жизни вообще. Онъ является главнѣйшимъ посредникомъ торговыхъ сношеній сѣвера съ югомъ и запада съ востокомъ по той особенно привычкѣ, что въ своихъ рукахъ держитъ всю работу опасной переправы къ Царьграду, что несетъ на своихъ плечахъ всѣ тягости этой трудной переправы и свободно отворяетъ ворота изъ всей русской земли въ самый Царьградъ...»

Объясненіе мѣстнаго преданія о *Кіи перевозчикѣ* такимъ широкимъ и притомъ ясно сознаннымъ смысломъ объ историческомъ значеніи Кіева имѣетъ, конечно, болѣе поэтический, чѣмъ научный характеръ (едва ли напр. можно думать о какомъ-нибудь участіи кіевлянъ въ переправѣ черезъ пороги); но главная мысль автора отъ этого не страдаетъ и не теряетъ своей цѣнности.

Въ меньшей степени можно раздѣлить мысль автора о томъ, что съ развитіемъ походовъ чрезъ пороги въ Кіевѣ необходимо должна была возникнуть и военная дружина, потому что кіевскіе лодочники-перевозчики необходимо должны были къ своему товариществу весла присоединить и товарищество меча... Последнее вполне справедливо, но вовсе не составляло необходимаго условія для перваго: дружина въ Кіевѣ могла образоваться и независимо отъ этого, для цѣлей ли защиты отъ обидящихъ соседей, или съ цѣлями добычи, приобретаемой сухими путями.

Еще менѣе причиною согласиться съ предположеніями автора о томъ, что «варяги изгнанные» были оботриты, а «варяги призванные» — велеты... Для такого утвержденія нѣтъ никакихъ данныхъ, и тѣ «наведенія», какими руководствуется авторъ, вытекаютъ изъ необходимости какъ-нибудь объяснить дѣло, а не изъ

историческихъ данныхъ: что велеты съ половины 9-го вѣка «умолкають» на Западѣ,—это вовсе не потому, что дружины ихъ ушли на Востокъ, и сосредоточились въ Кіевѣ, а потому что западные лѣтописцы чаще называютъ ихъ не частнымъ, а общимъ именемъ «славянъ» или «венедовъ», да къ тому же они вовсе и не «умолкають», а много разъ упоминаются въ X, XI, XII вв. Далѣе — мнѣніе, что рюгенцы принадлежали къ племени велетовъ, также не имѣетъ исторической опоры: скорѣе всего это были *поморяне*, племя отличное отъ велетовъ и отличаемое въ источникахъ. Такимъ образомъ одно изъ двухъ: или «призванные варяги» были отъ велетовъ, тогда рюгенцы — не при чемъ, а съ ними и авторовы руги, роги, росы, русы; или были призваны послѣдніе,—тогда разысканія о велетахъ напрасны.

Столь же мало состоятельно мнѣніе, что въ числѣ причинъ для новгородскаго занятія Кіева и убійства Аскольда и Дира было христіанство послѣднихъ и ихъ мнимое руководство въ распространеніи новой вѣры (стр. 113). Кажется, что предъ авторомъ здѣсь незамѣтно носился образъ религіозной нетерпимости у балтійскихъ славянъ..., но тамъ была на то уважительная политическая причина, а у новгородцевъ ея не было и быть не могло... Безъ особыхъ причинъ—язычество вообще не бывало нетерпимымъ...

Изложеніе топографіи Новгорода не мало выиграло бы, если бы пояснялось приложеніемъ плана. Здѣсь, къ слову о топографіи Новгорода, не могу не высказать одного недоумѣнія: «варяжское» мѣсто въ Новгородѣ очень незначительно, почти незамѣтно... Какимъ образомъ могло стать это, когда весь Новгородъ, по предположенію автора, былъ *варяжскій*, т. е. основанъ славянскими варяго-руссами?! Одно изъ указаній противъ славянства варяговъ...

Глава третья излагаетъ дѣла Олега и Игоря и главнымъ образомъ ихъ отношенія къ грекамъ; походы въ Византію, договоры съ нею, рассматриваетъ тексты послѣднихъ въ смыслѣ историческихъ памятниковъ (источниковъ) русской гражданствен-

ности, т. е. на сколько отражаются въ нихъ черты общественнаго и политическаго быта Руси той эпохи; говорить о походахъ и набѣгахъ руси на востокъ, на уличей и на древлянгъ и заканчиваетъ смертью Игоря.

Изложеніе представляетъ критикѣ менѣ поводовъ къ разногласіямъ общаго характера, но въ частности она найдетъ ихъ довольно, и иногда такихъ, къ которымъ должна отнестись съ неодобреніемъ. Укажемъ важнѣйшее. Таково — прежде прочаго — объясненіе именъ *Олегъ* и *Игорь*. Олегъ, по его мнѣнію, значитъ «освободитель», «ибо его корень лег-кій, лъгъ-чити, о-лъгъ-чити, означаетъ лъг-оту, во-лг-оту въ смыслѣ свободы, об-лег-ченія отъ тягостной жизни податной, покоренной; облегчение отъ даней, отъ налоговъ, отъ работы (стр. 124). Авторъ, какъ кажется, думаетъ, что Олегъ былъ такъ названъ за свои дѣянія... Оставляя, пока, въ сторонѣ эту особенность (ибо имя вездѣ и у всѣхъ дастся или при рожденіи, или малый періодъ времени спустя), я спрошу: что за грамматическая форма «Олегъ» съ точки зрѣнія русской этимологіи автора? Звукъ о, по его мнѣнію, есть приставка, предлогъ..., а лъзъ что такое? По смыслу слѣдовало бы ожидать причастія дѣйствительнаго или «имени дѣйствователя», а стоитъ чистый корень, осложненный предлогомъ... Во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ мы не знаемъ ничего аналогическаго такому явленію, а потому имѣемъ право признать эту этимологію невозможною, фантастическою. Еще несостоятельна попытка объяснить имя «Игоря» «по смыслу многихъ, очень важныхъ обстоятельствъ его жизни» фантастическимъ наименованіемъ «Горяя», которымъ будто бы «прозывали у насъ людей несчастливыхъ, злосчастныхъ» (стр. 142). Если бы книга автора не была изъ конца въ конецъ пропитана задушевною искренностью, мы подумали бы, что онъ допустилъ здѣсь пропію или шутку; ибо если Игорь былъ такъ названъ за свою несчастную судьбу, то выходитъ, что ему нарекли имя по его смерти; ибо нельзя же полагать, что наименованіе сіе (а равно и

наименованіе Олега) были только народными прозвищами, а не настоящими собственными именами.

Мало вѣроятна мысль, что Олегъ былъ прозванъ «*отцомъ*» — болѣе всего за мирный договоръ свой съ греками: «вѣдовство» обозначаетъ иную мудрость, чѣмъ мудрость купца-воина. Гораздо ближе думать, что это прозвище взято изъ области народного поэтического творчества объ Олегѣ, творчества, разбросанные слѣды котораго въ лѣтописи не подлежатъ сомнѣнію.

Нѣтъ рѣшительно, по нашему мнѣнію, надобности для объясненія *укладовъ на города русскіе* (положенныхъ Олегомъ на грековъ) призывать «времена Роксоланскія» и думать, что это преданіе присвоено народной былинной отъ Роксоланъ — Олегу (стр. 137)... Ничто не препятствуетъ видѣть въ сихъ укладахъ историческую дѣйствительность.

Изложеніе быта и русской гражданственности по договорамъ получило бы, на нашъ взглядъ, болѣе цѣны и ясности, если бы авторъ вмѣсто переводныхъ извлеченій съ толкованіями — представилъ бы историческія данныя въ сводномъ, распределенномъ, систематическомъ порядкѣ, подобно тому, какъ это сдѣлано въ извѣстномъ изслѣдованіи пок. Срезневскаго.

Мнѣніе, что «договоръ Олега носятъ въ себѣ слѣды того договора, какой могъ быть заключенъ еще при Аскольдѣ» (стр. 139) — оригинально, и само по себѣ — вѣроятно; но для утвержденія своего имѣетъ нужду въ иныхъ доказательствахъ, чѣмъ указаніе на общее соотвѣтствіе историческаго факта, отмѣченнаго Фотіемъ съ первою статьею договора. Впрочемъ, быть-можетъ, я приписываю автору то, чего онъ не думалъ: я разумѣю его выраженіе о договорѣ при Аскольдѣ въ смыслѣ существованія *письменнаго юридическаго акта*... Если же онъ думалъ здѣсь о простыхъ устныхъ условіяхъ какихъ, то они несомнѣнны и по ходу дѣлъ, и изъ Фотіева «окружнаго посланія».

Главы четвертая и пятая содержатъ въ себѣ весьма одушевленно изложенное повѣствованіе объ Олегѣ и Святославѣ. И здѣсь, какъ прежде, къ общезвѣстному авторъ сумѣлъ при-

бавить нѣсколько новыхъ чертъ и соображеній, которыя заслуживаютъ полного признанія. Въ изображеніи Ольги — за лѣтописью авторъ слѣдуетъ народному преданію и не пытается отдѣлать строго-историческую дѣйствительность отъ поэзіи, которою народное чувство и фантазія облекли «русскую женщину первыхъ временъ....» По нашему пониманію — пріемъ вполне правильный: ибо допустивъ даже почти невозможное, именно что исторической критикѣ удастся высвободить нагую дѣйствительность изъ-подъ поэтической оболочки, — мы получимъ въ выводѣ очень немного: сухой скелетъ дѣйствительности, образъ историческаго формализма, но не образъ живой исторіи, какую переживаютъ общества и народы. Отыщите изъ повѣсти объ Ольгѣ народное историко-поэтическое начало, и вы не выиграете ничего для историческаго знанія; мало того — вы нарушите высшую историческую правду народнаго пониманія. Впрочемъ, это вопросъ общихъ историческихъ принциповъ, поставленный со временъ Нибура, но едва ли и въ настоящее время могущій назваться окончательно рѣшеннымъ.... Я коснулся его только затѣмъ, чтобы выразить справедливое одобреніе пріемамъ автора, который дастъ силу народному преданію, хотя бы оно и отсвѣчивалось поэтической окраской.... Но сходясь въ общемъ, признавалъ и мѣткость многихъ бытовыхъ объясненій автора, я рѣшительно долженъ разойтись съ нимъ въ двухъ-трехъ частныхъ примѣненіяхъ сего историческаго пріема. Такъ напримѣръ, онъ допускаетъ слѣдующую романтическую прибавку къ древнему преданію: «Древлянскій князь, въ ожиданіи невѣсты (т. е. Ольги, по отпращиваніи втораго посольства къ ней), устраивалъ веселіе къ браку и часто видѣлъ сны: вотъ приходитъ къ нему Ольга и даритъ ему многоцѣнный одежды, червленныя, всѣ унизаны жемчугомъ, а одѣла червленныя съ зелеными узорами, и лады осмоленныя, въ которыхъ понесутъ на свадьбу жениха и невѣсту....». Или, Ольга говоритъ у него древлянамъ: «Вы изнемогли въ осадѣ. Идѣте у васъ теперь ни меду, ни мѣховъ. Хочу взять отъ васъ дань на жертву богамъ, а мнѣ на исцѣленіе головной бо-

лѣзни, — дайте отъ двора по три голубя и по три воробья. Тѣ птицы у васъ есть, а по другимъ мѣстамъ я повсюду собираю, да нѣтъ ихъ! И то вамъ будетъ дань изъ рода въ родъ....» Всѣ сѣи романическія раскрасы и прибавки, совершенно не извѣстныя древней лѣтописи, взяты авторомъ изъ «Лѣтописца Переяславля Суздальскаго», т. е. изъ произведенія, основа котораго хотя и древняя, но тотъ видъ и та форма, въ какихъ онъ изданъ кн. Оболенскимъ (М. 1851), несомнѣнно принадлежать къ позднѣйшему времени литературно-романическихъ украшеній. Вносятъ изъ такого источника въ древнее преданіе прибавки, будутъ ли онѣ привлекательны и вѣроятны, какъ сны кн. Мала, будутъ ли онѣ чудовищно нелѣпы, какъ ссылка Ольги на головную болѣзнь свою и на то обстоятельство, что другія племена не имѣютъ воробьевъ и голубей — одинаково невозможно. Иначе, почему же не внести и всякія другія прибавки, въ которыхъ нѣтъ недостатка въ русской исторической литературѣ XVII—XVIII в.? Утверждать, то лѣтописецъ Переяславля Суздальскаго сохранилъ древнія черты преданія — нѣтъ ни малѣйшаго основанія.... Равнымъ образомъ, не вижу я, чѣмъ руководился авторъ, утверждая, что въ *великую и глубокую яму*, куда ввергнуты были первые послы древлянъ — *анасыпанъ былъ юрящій дубовый уголь....*. Объ этомъ, сколько знаю, не упоминается ни въ одномъ источникѣ. Къ такому утвержденію автора подвигли, какъ кажется, *нѣкоторыя* данныя «могильной древности»; но не говоря уже о томъ, что сѣи данныя или сей обычай самъ нуждается въ правильномъ объясненіи, — заставлятъ Ольгу слѣдовать сему обычаю въ мѣсти древлянамъ — совершенно произвольно.... Это — снова *раскраска*, только — изъ археологическаго источника!

Обстоятельства, чѣмъ находимъ мы у другихъ русскихъ историковъ, описаны зданія и устройство цареградскаго двора и пріемъ въ немъ русской княгини.... Желательно было бы только имѣть въ указаніе на источники въ описаніи перваго....

Не должна пройти незамѣченною и слѣдующая любопытная археологическая замѣтка автора: «Въ числѣ бытовыхъ поряд-

ковъ, сопровождавшихъ разныя обстоятельства этого событія, обращаетъ вниманіе ношеніе дорогихъ гостей въ лодкахъ. Мы не думаемъ, чтобы эти ладьи являлись здѣсь только сказочною прикрасою. Видимо, что онѣ употреблялись, какъ и сани, въ качествѣ почетныхъ носилокъ, когда требовалось дѣйствительно оказать кому-либо высокую почесть. Могло случаться, что, при особомъ торжествѣ, въ лодкахъ вносились прямо съ берега въ городъ любимые люди и особенно любимые князья. Лодками дарила Ольга князя Мала, какъ онъ видѣлъ во снѣ, и именно для того, чтобы въ нихъ нести его съ невѣстою на бракъ. Изъ этой отыѣтки видно, что лодка и въ свадебномъ обрядѣ занимала свое мѣсто. У людей, проводившихъ большую часть жизни на водѣ, жившихъ постоянно въ лодкѣ, каковы были первые руссы, лодка очень естественно въ необходимыхъ случаяхъ могла замѣнять сухопутную колесницу или носимый чертогъ и потому могла получить обрядовое значеніе. Въ лодкѣ же язычники руссы хоронили (сожгали) своихъ покойниковъ, какъ видѣлъ арабъ Ибнъ-Фоцланъ. Можно полагать, что память о языческихъ обрядахъ погребенія заставляла уже въ христіанское время покрыть убитаго и брошеннаго между двумя колодами князя Глѣба тоже лодкою, что соответствовало какъ бы исполненному погребенію» (стр. 177—8).

Въ (очень обстоятельномъ) изображеніи дѣятельности Святослава обращаетъ на себя вниманіе толкованіе, какое даетъ ей авторъ. Приведя слова Святослава о Переяславцѣ: «не люблю ни есть въ Кіевѣ быти» и т. д....., онъ говоритъ, что «Кіевскій князь, быть-можетъ, повторяетъ рѣчи новгородскаго князя Олега, точно также не полюбившаго Новгородъ и переселившагося въ среду Русской земли, въ Кіевъ; теперь Новгородъ хочетъ переселиться на Дунай въ *среду* земли своей.... Чья это мысль? Одного ли Святослава, или общая мысль Руси, искавшей лучшаго гнѣзда для торговли? Повидимому здѣсь высказывается старозавѣтная задача русской жизни — идти туда, гдѣ сильный торгъ и промыслъ. И потому еще неизвѣстно, былъ ли Свято-

славъ завоевателемъ, или онъ былъ орудіемъ другихъ идей, распространявшихъ себѣ поле дѣйствія сначала на Днѣпрѣ, потомъ на Каспѣ, на Киммерійскомъ Воспорѣ, и наконецъ на устьяхъ Дуная, которыя оказываются даже середию чьей-то земли? (стр. 114). «Кто же отыскиваетъ эту середину своей земли? Можно было бы приписывать это только мечтамъ Святослава, если бы передъ нимъ впередъ не прошелъ по тому же направленію Олегъ. Мы думаемъ, что эта мысль отыскать середину для своей земли на самомъ выгодномъ торговомъ перекресткѣ принадлежитъ самому народу, той его предприимчивой долѣ, которая стояла впереди и смотрѣла съ Кіевскихъ горъ дальше, чѣмъ смотрѣли другіе. Дунайская среда приближалась къ самому средоточію тогдашней всемірной торговли, къ Византіи; слѣдовательно она не въ мечтѣ, а на самомъ дѣлѣ была бы истиннымъ средоточіемъ торговыхъ и промышленныхъ дѣлъ Руси. Кому нужны были торговые договоры съ греками, тѣмъ же людямъ необходимы были не только чистые пути во всѣ стороны, но и выгоднѣйшіе перекрестки или средоточія этихъ путей. Въ этомъ случаѣ Святославъ вовсе не былъ рядовымъ завоевателемъ, но былъ только достойнымъ выразителемъ далекихъ стремленій и смѣлыхъ побужденій самой земли....» (стр. 245—6). «Вся жизнь его была однимъ непрерывнымъ походомъ, но напрасно думаютъ, что это былъ искатель приключеній, зазорный вояка, въ родѣ какого-нибудь славнаго разбойника по норманскому образцу. Его войны были исполнены великаго значенія для Русской земли. Онъ воевалъ для утвержденія русской силы, для распространія русскаго могущества, именно на торговыхъ путяхъ.... Онъ прочищалъ торговые дороги, широко отворялъ ворота русскому промыслу. Въ самой Болгаріи ему особенно полюбилось только устье Дуная, гдѣ находились торговые ворота отъ богатыхъ прикаспійскихъ и придунайскихъ земель. Онъ не хотѣлъ забираться внутрь болгарской страны, чего не оставилъ бы безъ вниманія простой, такъ сказать рядовой завоеватель. Ему главнымъ образомъ надобенъ былъ берегъ моря, хорошая, безопасная, скрытая отъ

враговъ пристань. А таковъ и былъ Дунайскій Переяславецъ» (стр. 244).

Этимъ словами автора, на нашъ взглядъ, опредѣляется очень вѣрно историческій смыслъ и значеніе дѣятельности Святослава.... Но одно ограниченіе—допустить необходимо: это, такъ сказать, бессознательное отношеніе кіевскаго князя къ такой политикѣ: ничто не обличаетъ въ немъ торгово-политическихъ расчетовъ, и если онъ дѣйствовалъ для нихъ, то въ полномъ смыслѣ слова, какъ бессознательное орудіе земской силы.... По своей природѣ онъ всего менѣе былъ политикъ и всего скорѣе «совершенный образецъ....» — если не норманна, то вообще *воина* въ сѣверномъ смыслѣ.... Преданіе, заставляющее его презирать золото и греческіе дары и облюбить оружіе — прямо указываетъ въ немъ не политика-торговца, а воина, хотя онъ и не былъ равнодушенъ къ «благамъ» міра того.... Самъ г. Забѣлинъ признаетъ, что Святославъ былъ выразителемъ стремленій и побужденій самой земли, но, кажется, онъ при этомъ даетъ ему значеніе «выразителя сознающаго, руководящаго....». А такую роль трудно согласить съ историческими данными.... Во всякомъ случаѣ, мысль г. Забѣлина очень замѣчательна и, при указанномъ ограниченіи, превосходно объясняетъ стремленіе Руси къ Дунаю.... Постановку кумировъ русскихъ боговъ въ Кіевѣ авторъ наклоненъ объяснить какимъ-то видимымъ выраженіемъ торжества языческой религіи и мысли, подъемомъ языческой жизни.... Этимъ же объясняется, по его мнѣнію, и жертвенное убійство двухъ варяговъ.... Для такой догадки я не вижу достаточныхъ основаній.... Боже вѣроятною мнѣ представляется догадка (которую, надѣюсь, раздѣлитъ авторъ), что постановка кумировъ въ Кіевѣ была только устроеніемъ религіознаго культа по тѣмъ образцамъ, которые Владимиръ могъ видѣть у балтійскихъ славянъ, а жертвоприношеніе варяговъ, быть-можетъ, подражаніемъ тѣмъ же образцамъ.... Впрочемъ, я не могу вчистую отвергнуть и того объясненія, которое видятъ здѣсь книжный вымыселъ: мнѣ кажется, что рассказъ о двухъ варягахъ можетъ

быть понимаемъ, какъ старое *варяжское преданіе*, перенесенное на русскую почву и переданное въ русской книжной оболочкѣ. Жертвы людьми у озлобленнаго племени балтійскихъ славянъ были не рѣдки: припомнимъ только, что въ 1066 году въ Мекленбургѣ были принесены въ жертву Редигасту многіе христіане и во главѣ ихъ архіепископъ, носившій *то же самое* имя, что и нашъ варягъ, имя *Ивана* (Adami brem. Ges. III, 50). Въ заключеніе разбора *пятой* главы «Исторія русской исторія» не могу не дать мѣста одному картинному сопоставленію, гдѣ авторъ съ искусствомъ истиннаго художника и съ тонкимъ историческимъ пониманіемъ разсуждаетъ о Византіи и Руси по поводу свиданія Святослава съ Цимпскіемъ....

«На берегу Дуная съѣхались посмотрѣть другъ на друга двѣ власти, руководительницы двухъ различныхъ земель. Одна уже создавшая и державшая громадное и богатѣйшее государство, раззолоченная и обремененная ласкательствомъ и поклоненіемъ, акп Богу, вѣчно колеблющаяся, вѣчно трепещущая отъ заговоровъ и предательства, изхитренная до послѣдней мысли, вполне зависимая отъ своихъ милостивцевъ, робкая; но кровожадная, никогда не разбирающая никакихъ злодѣйскихъ средствъ къ своему достиженію.... Другая — еще только искавшая землю для созданія государства и потому съ Ильмена озера перескочившая на Днѣпръ, а теперь овладѣвшая-было Дунаемъ; еще бѣдная, неодѣтая, въ одной сорочкѣ, но безъ обмана, прямая и твердая, вполне зависимая отъ той мысли, что она у своего народа только передовой работницъ, для котораго мечъ, какъ и весло — собственное дѣло, лишь бы достигнута была народная цѣль; власть, ничѣмъ себя не отличающая отъ народа, не имѣющая и понятія о божественномъ себѣ поклоненіи, простодушная, какъ послѣдній селянинъ ея земли, жившая въ братскомъ довѣріи къ дружинѣ и ко всей «Землѣ» (стр. 244).

Характеристика поразительно вѣрная! Она нѣтными чертами дополняетъ прежде представленныя авторомъ образы Руси торговой и промышленной....

Глава шестая разсматриваетъ «языческое въропаніе древней Руси». Въ началѣ очень подробно говорится объ основныхъ источникахъ языческихъ воззрѣній и вѣрованій, потомъ опредѣляется значеніе русскихъ божествъ, плп, какъ выражается авторъ: «боговъ Кіевского холма»; затѣмъ обстоятельно разсматривается годовой кругъ языческаго поклоненія плп религіозной практики, п въ заключеніе дается мѣсто нѣкоторымъ общимъ соображеніямъ о нравѣ п нравственности язычника....

Изъ всѣхъ отраслей науки русской древности — «русское язычество», т. е. русская мифологія п языческая религія находятся въ самомъ неразработанномъ, можно сказать, хаотическомъ видѣ. Много темнаго, недостаточнаго представляютъ п области бытовая, культурная, юридическая; но ни одна изъ нихъ — столько, сколько мифологически-религіозная, потому, что ей недостаетъ самаго необходимаго, самаго существеннаго, безъ чего невозможны научные выводы, т. е. правпльнаго метода изслѣдованія.... Въ матеріалѣ чувствуется недостатокъ только въ такомъ, который былъ бы современенъ плп близокъ къ эпохѣ самаго язычества; архаическихъ же данныхъ — довольно, даже много, болѣе, чѣмъ наша изслѣдовательность одолѣть можетъ. А метода, плп начала, слѣдуя которому можно было бы дать порядокъ п историческое освѣщеніе этому запасу фактовъ — нѣтъ.... И онъ объявится лишь тогда, когда ясно опредѣлятся *источники русского язычества* плп, говоря вѣрнѣе, источники того комплекса народныхъ вѣрованій, понятій, взглядовъ, суевѣрной практики п т. д., которому мы теперь несвойственно даемъ огульное имя — «язычества». Когда разобрано будетъ, что откуда идетъ, тогда станетъ возможно п примѣненіе къ этому матеріалу историко-мифологическаго метода. Доселѣ къ нему (т. е. къ объясненію данныхъ народнаго быта) примѣняемо было илп «мифологическое» (бытовое) толкованіе, какъ у Я. Гримма п его послѣдователей, плп же толкованіе «психологическое», какъ у послѣдователей такъ назыв. «мифологіи природы».... При всемъ томъ, что для мощныхъ поэтическихъ созерцаній, догадокъ п идей Гримма не

всегда находились *надежныя* правильныя основанія, его пониманіе и объясненіе «язычества» имѣло характеръ *историческаго знанія*, потому что любило держаться бытовой почвы, пыталось указать соотвѣтствіе данныхъ религіозно-поэтической жизни съ бытомъ и жизнью историческою.... Экзегезъ «мифологіи природы» (= «сравнительной мифологіи») совершенно оставилъ въ сторонѣ историческую задачу изслѣдованія и безраздѣльно отдался разысканію *происхожденія мифическихъ образовъ и вѣрованій и ихъ первоначальнаго значенія или смысла*, т. е. сталъ преслѣдовать задачу *психологическую*. Результаты были успѣшны, но опять только по отношенію къ общечеловѣческой психологіи: историческая жизнь мифовъ и вѣрованій, отмѣчаемая извѣстными историко-бытовыми помѣтами по стадіямъ или періодамъ, — сливалась въ одну нераздѣльную массу и потому можно сказать совершенно исчезала.... Типическій примѣръ такого состоянія мифологической науки мы имѣемъ въ почтенномъ, своего рода классическомъ — трудѣ пок. А. Н. Афанасьева «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу», 3 т. Здѣсь мы находимъ богатѣйшіе запасы *всякаго рода* данныхъ, заимствованныхъ главнымъ образомъ изъ быта и литературы славянъ; не видно только одного: религіозно-мифическаго быта самыхъ славянъ въ его историческихъ видопзмѣненіяхъ, т. е. *нѣтъ исторіи*.... Къ книгѣ, вмѣсто заглавія: «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу» — вѣрнѣе шло бы обозначеніе: «О происхожденіи и первоначальномъ смыслѣ мифическихъ вѣрованій, образовъ, понятій и воззрѣній — на основаніи психологическихъ и иныхъ данныхъ, представляемыхъ славянскими источниками». Изслѣдуя психологическую задачу, Афанасьевъ, естественно, относился съ нѣкоторымъ невниманіемъ къ задачамъ историческимъ и рѣшительно пренебрегъ исторической критикой источниковъ.... Для опредѣленія происхожденія и первоначальнаго смысла какого-нибудь образа и представленія — нѣтъ надобности разбираться его историческаго родословія; достаточно будетъ посредствомъ сравненія доказать, что первоначально онъ возникъ отъ дѣйствія такого или иного явленія на

душу человѣка, т. е. имѣеть тотъ или иной природный смыслъ. Дать древняя русская письменность указаніе на какой-нибудь фантастическій образъ или суевѣрный обычай....; она заимствовала эти указанія изъ «книгъ отреченныхъ», изъ источника чужеземнаго, — Афанасьевъ не колеблется причислить и эти данныя къ *славянскому язычеству*, ибо «отреченная литература» выросла на языческомъ міровоззрѣніи, и указанные данныя имѣють первоначально природный источникъ.... Приѣмъ изслѣдованія, очевидно — могущій быть пригоднымъ въ *психологии*, но рѣшительно негодный для *историческихъ цѣлей*....

Я нѣсколько распространился объ ученѣ изслѣдованіи «русскаго язычества» и въ частности о трудѣ Афанасьева затѣмъ, чтобы показать, какъ въ этой области «историкъ русской жизни» предоставленъ еще одиѣмъ собственнымъ силамъ. Воспользоваться онъ можетъ, пока, очень немногимъ, болѣе частностями, чѣмъ общимъ.... И г. Забѣлинъ воспользовался этимъ, какъ нашелъ нужнымъ, но съ обычною ему добросовѣстностью и талантомъ, пополняя кое-какіе пробѣлы по своему крайнему разумѣнію. Такъ, вполнѣ удачнымъ должно назвать его изображеніе языческой годовой практики, т. е. обычаевъ и обрядовъ, сопровождавшихъ теченіе языческой жизни, чествованіе боговъ въ самомъ кругу годовыхъ временъ, «въ этомъ чередованіи свѣта и мрака, тепла и холода, оживанія всей природы и ея замранія до новаго тепла и свѣта» ¹⁾.... Какъ въ объясненіяхъ народной годовщины, такъ и въ разсмотрѣніи данныхъ, относящихся къ языческимъ божествамъ, авторъ слѣдуетъ началамъ *природнаго толкованія*, но болѣе въ томъ смыслѣ, какъ оно понималось въ школѣ Гримма, чѣмъ у мифологовъ - натуралистовъ послѣ-

¹⁾ Не могу, хотя въ выноскѣ, не отмѣтить прекрасныхъ страницъ (286—289) о характерѣ русской природы по отношенію къ образованію поэтико-мифическихъ воззрѣній ея обитателей, т. е. иными словами — вліянія природы русскаго края на поэтическую мифологію и вѣрованіе. Авторъ коснулся здѣсь въ высокой степени важнаго этнографическаго вопроса и сумѣлъ, хотя въ общихъ очертаніяхъ, представить нѣсколько соображеній и замѣчаній, очень цѣнныхъ....

дующаго времени. Способъ изложенія автора скорѣе можетъ быть названъ систематическимъ, чѣмъ историческимъ: онъ не отваживается на попытку построения постепенныхъ историческихъ измѣненій въ языческихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ, а излагаетъ данныя въ томъ видѣ, въ какомъ они, по его мнѣнію, были предъ введеніемъ христіанства.... Неудовлетворительно въ историческомъ отношеніи такое изложеніе; но имѣя въ виду неудовлетворительное состояніе самой науки, — вправѣ ли мы требовать отъ автора «Исторіи русской жизни» новыхъ разысканій и изслѣдованій о предметѣ? Конечно — нѣтъ! Онъ добросовѣстно, и мѣстами увлекательно, передалъ изъ добытаго наукою то, что нашелъ для себя необходимымъ или пригоднымъ.

Теперь — нѣсколько частныхъ замѣчаній.

Въ одушевленномъ, хотя нѣсколько неопредѣленномъ и болѣе художественно-литературномъ, чѣмъ научномъ — очеркѣ происхожденія наивныхъ вѣрованій народа нашъ удивила встрѣча со многими выдержками изъ такъ назыв. «Травниковъ». Авторъ думаетъ найти въ этихъ произведеніяхъ «сказанія древнихъ чародѣевъ», записанныя хотя и въ позднія времена, но вполне сохранившія въ себѣ, такъ сказать, языческій типъ и ясно показывающія, какъ язычникъ разумѣлъ вообще природу, и какъ онъ относился ко всѣмъ ея дарамъ и образамъ.... Мнѣніе, имѣющее на нашъ взглядъ только внѣшнее подобіе справедливости, но въ основѣ — совершенно невѣрное. Подобно средневѣковымъ Физіологамъ, Бестиаріямъ, Ляпидаріямъ — Травникъ есть плодъ той «чудесной» учености, которая жила и дѣйствовала въ Европѣ, какъ въ наукѣ природы, такъ и въ наукѣ исторіи (на Востокѣ наука доселѣ имѣетъ такой фантастическій характеръ) часто до нашихъ дней. Эти фантастическія зоологіи, ботаники, минералогіи сложились путями долгаго процесса: быть-можетъ, въ основѣ ихъ лежатъ дѣйствительно «сказанія чародѣевъ», но исторически намъ извѣстно одно, что такія воззрѣнія на природу были въ общемъ распространены еще въ классической древности, что ими овладѣла потомъ греческая и латинская ученость

среднихъ временъ и переработала ихъ въ систематическія «руководства къ познанію природы», встрѣчающіяся въ знатномъ количествѣ — въ старо-нѣмецкой, французской, итальянской и испанской литературѣ, переведенныя позднѣе и на многія славянскія нарѣчія и между прочимъ — на русскій.... *Травники* — плодъ баснословной науки, но никакъ не наивнаго первобытнаго вѣрованія, которое присутствуетъ въ нихъ только въ качествѣ составного, сильно измѣненнаго матеріала. Спору нѣтъ, что природный анимизмъ лежитъ въ основѣ и наивныхъ воззрѣній младенствующаго человѣчества, и воззрѣній, распространенныхъ въ Травникахъ, по вѣдь онъ одинаково лежитъ въ основѣ и многихъ воззрѣній нашей современности, а въ особенности нашего языка.... Потому, приводить такія произведенія искусственной мудрости, какъ Травники въ поясненіе наивныхъ мировоззрѣній младенческаго народа — едва ли можетъ быть признано удачнымъ.

Трудно согласиться съ авторомъ, что «*ряженье*» во время святокъ служило олицетвореніемъ неживущаго міра, который подъ видомъ различныхъ оборотней, женщинъ переодѣтыхъ въ мужчинъ, и мужчинъ, переодѣтыхъ въ женщинъ, особенно страшницъ въ шкурахъ звѣрей, медвѣдей, волковъ и т. п. явился въ среду живыхъ и, ходя толпою по улицамъ, совершалъ свою законную вакханалію-русалю (?) , воспѣвая пѣсни, творилъ безчинный говоръ, плясаніе, скаканіе» (стр. 313). Для такого мнѣнія я не вижу основаній: то, по мнѣнію автора — «довольно ясное указаніе на такое пониманіе оборотней», какое онъ видитъ въ извѣстной апокрифической статьѣ: «о двѣнадцати опрометныхъ лицахъ» — совершенно не ясно и не даетъ ни малѣйшаго повода къ такому выводу.... Съ большимъ вѣроятіемъ смыслъ обычая «переряживания» объясняется Аванасьевымъ: Поэт. Воз. I. 17—9. Замѣтимъ здѣсь кстати и одинъ частный недосмотръ автора: онъ понимаетъ выраженіе: «*суженый-ряженный*» въ смыслѣ *переряженный*, тогда какъ это — тавтологическая формула, обозначающая «опредѣленнаго (рядъ=постановленіе, при=и

уговоръ) *судьбою*», и потому совершенно не относящаяся къ переряживанью....

Объясненіе имени «Свѣтовита» балтійскихъ славянъ (стр. 305) прилагательнымъ *сѣтосчитый* — невѣрно, такъ какъ во всѣхъ древнихъ источникахъ здѣсь мы находимъ носовой звукъ = ап: *Suanteuitus*...

На стр. 333 авторъ весьма неодобрительно отзывается о «суемудріи» нѣкоторыхъ новѣйшихъ филологовъ, доказывающихъ, что Слово о Полку Игоревѣ въ сущности есть книжная и стало быть мертвая компиляція и въ мысляхъ и въ словахъ, собранная изъ какаго-то невѣдомаго и самымъ филологамъ болгарскаго источника. Авторъ, напротивъ, видитъ въ «Словѣ» міръ живыхъ мнѣческихъ воззрѣній и созерцаній, который указываетъ «на существованіе цѣлаго и полнаго круга русскихъ мнѣовъ, носившихся живою жизнью даже надъ сознаніемъ, воспитаннымъ уже христіанскими идеями». Я готовъ раздѣлить основное воззрѣніе автора; но все же позволю себѣ думать, что и «суемудріе филологовъ» не столь *сумудро*, какъ онъ полагаетъ. Неудача объясненія предполагаемыми болгарскими источниками *стиля* «Слова» еще не уничтожаетъ предположенія о литературно-художественномъ происхожденіи памятника (это признаетъ и г. Забѣлинь) и о томъ, что мнѣологическое начало его не есть начало живое, дѣйствовавшее въ русской жизни въ концѣ XII в., а художественно-литературное украшеніе, основа котораго, безъ сомнѣнія, шла отъ «старыхъ словесъ» языческой эпохи; но жизненной силы сихъ «словесъ» уже не имѣла.... Употребленіе мнѣологическаго элемента въ такомъ значеніи нисколько не препятствуетъ «Слову» быть произведеніемъ художественнымъ, какъ не препятствуютъ художественности величественнаго христіанскаго храма образы античной мнѣологии, которыми онъ украшается. Гипотеза Вс. О. Миллера только недостаточно доказана (почему и вызвала *недоразумѣніе*, будто бы авторъ ея считаетъ «Слово» мертвой *компиляціей*), но никакъ не принадле-

жить къ царству суемудрія, напротивъ — заслуживаетъ вниманія во многихъ отношеніяхъ.

За изложеніемъ религіозной и мифологической стороны языческой жизни мы желали бы найти такое же разсмотрѣніе языческой бытовой жизни, обычаевъ и обрядовъ, относящихся къ рожденію и юности человѣка, женитьбѣ и погребенію; но взаимно этого авторъ предлагаетъ намъ нѣсколько общихъ разсужденій о нравственности язычника, о мести и хитрости.... Правда, еще въ главѣ V, с. 204 — авторъ касается обычая «постригъ», но касается къ случаю, мимоходомъ, да къ тому же усваиваетъ имъ характеръ торжества по преимуществу дружиннаго, тогда какъ польскіе источники (Mart. Gallus, Ch. I, 27) указываютъ прямо, что постриги были въ ходу и между простыми земледѣльцами, какими были Пясть и жена его Рѣпка....

Глава седьмая озаглавлена: *«Круговоротъ жизни въ языческое время»*. Остановившаяся на такихъ общественныхъ предпріятіяхъ, какъ призваніе князей, походы на грековъ, авторъ приходитъ къ мысли, что такія явленія не могутъ быть иначе изъяснены, какъ признаніемъ существованія и дѣйствій цѣлаго руководящаго общества, выразителями интересовъ котораго были послы и купцы, а задачею — свободный торгъ съ Царегородомъ и основаніе государства. Последнее обстоятельство ведетъ автора къ разсмотрѣнію состоянія русскаго общества въ эпоху призванія князей, при чемъ онъ яснѣе, чѣмъ въ I т., опредѣляетъ значеніе началъ родового быта въ то время и прямо уже утверждаетъ и доказываетъ, что русскую исторію нужно начинать не родовымъ, а *городовымъ* бытомъ. Далѣе онъ подробно разсматриваетъ торговый трудъ и движеніе по «пути греческому», чрезъ дѣпровскіе пороги, а потомъ, по закупкѣ товаровъ въ Греціи и возвращеніи домой — торговлю съ другими племенами внутри страны и вообще «промысловый торговый кругъ жизни», подробно и основательно останавливается на вещественныхъ доказательствахъ распространенія торговой промышленности по странѣ, т. е. на кладахъ арабскихъ, греческихъ,

западно-европейскихъ и иныхъ монетъ, находимыхъ по русской землѣ, перечисляетъ предметы торговли или товары (при этомъ особенно важно разысканіе о бисерѣ или «стеклянныхъ глазкахъ» лѣтописи), извлекаетъ любопытнѣйшія данныя о торговыхъ связяхъ русской земли съ отдаленнѣйшими странами — изъ могилъ (впрочемъ, какъ я замѣчалъ уже, изъ однихъ только мерянскихъ), при чемъ вообще могильными источниками возстановляетъ картину жизни мерянъ въ 9—11 вв. Глава заключается общемою картиною образованности русскаго общества того времени и указаніемъ нѣкоторыхъ иноземныхъ вліяній въ древней русской культурѣ....

Таково — обильное содержаніе этого отдѣла «Исторіи русской жизни», отдѣла, который я не колеблюсь признать самымъ важнымъ въ трудѣ, наиболѣе обработаннымъ, наиболѣе заключающимъ въ себѣ новыхъ и вѣрныхъ замѣчаній....

Предложимъ, однако, и здѣсь нѣсколько частныхъ замѣчаній....

Быть *родовой и уродовой*.... Я уже имѣлъ случай сказать, что во *второмъ* томѣ своего труда авторъ значительно отклонился отъ тѣхъ понятій о родовомъ бытѣ, которыя высказывалъ въ *первомъ*. Дѣйствительно, если въ первомъ томѣ находимъ, что «жизнь родомъ, владѣніе родомъ — заключали въ себѣ первоначальную основу русскаго быта» (I, 513), что «родъ былъ въ эпоху древнѣйшей лѣтописи господствующею формою общежитія, такъ точно, какъ теперь господствующая форма нашего общежитія есть общество» (ib., 514—15), что «такой памятникъ общественнаго права, какъ Русская Правда указываетъ на господство родового быта, на то, что общественная власть принадлежала роду или колѣну братьевъ» (стр. 524—5), — то въ томѣ *второмъ* встрѣчаемъ другое, именно: «Родовой бытъ, изображеніемъ котораго необходимо начпнать чтать нашу исторію, вліяніе котораго чувствуется въ ней на каждомъ шагу, въ сущности есть только стихія жизни и притомъ стихія жизни *частной*, домашней, жизни въ отдѣльномъ дворѣ или въ нѣсколькихъ дворахъ, — въ деревнѣ. Состояніе жизни у домашнего очага въ об-

щемъ обликъ въ начальное время (?) дѣйствительно было исполнено порядками первичныхъ родовыхъ отношеній и связей. Частный бытъ и до сихъ поръ еще руководится такими порядками. Но такъ ли было на высотѣ сознанія народомъ общихъ цѣлей и задачъ жизни, въ дѣяніяхъ и движеніяхъ жизни общей, посреди общихъ стремленій и интересовъ, какими собственно и начинается наша исторія? Былъ ли, напримѣръ, способенъ родовой бытъ связать въ одно цѣлое цѣлую волость, цѣлую землю, хотя бы и одного племени? Могъ ли онъ выработать особую политическую форму быта, какую необходимо предполагать, если народъ жилъ раздѣльными, но самостоятельными и независимыми другъ отъ друга волостями и землями? Скажутъ, что это были отдѣльные племена, народившіяся и жившія на своемъ мѣстѣ, владѣвшія родомъ своимъ. Но какаѣ же форма связывала отдѣльное племя въ одну общую и самостоятельную жизнь? Въ частномъ быту такой формой былъ родъ, во главѣ котораго стоялъ старшій, или самъ родоначальникъ или старшій въ родѣ. Но большое или малое племя составляло уже новую ступень родового быта. Въ какой же формѣ обнаруживала свои дѣянія и дѣйствія эта новая ступень родового развитія, что служило ей главою и средоточіемъ, въ чьихъ рукахъ находилась власть и владѣніе всего племени? На это очень ясно отвѣчаетъ самъ начальный лѣтописецъ. Указывая на жизнь *родомъ*, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ упоминаетъ о городкѣ въ уменьшительномъ видѣ, какъ о зародышѣ городского быта, затѣмъ называетъ нѣсколько городовъ...., средоточій племенныхъ волостей или областей, или же называемыхъ княженіями....

«И такъ, заключаетъ авторъ, если до призванія князей, по точному свидѣтельству начальной лѣтописи, у насъ существовали племенные княженія и самые города, безъ которыхъ княженія не могли и существовать, то какое же мѣсто въ этихъ княженіяхъ мы дадимъ родовому быту? Городъ, какъ форма народной жизни, не есть родовая форма. Это уже община и притомъ община весьма разнороднаго состава, населенная разными людьми

не только отъ разныхъ родовъ, но и отъ разныхъ племенъ, столько же отъ инородцевъ.... Такимъ образомъ городъ мы должны почитать новымъ основаніемъ для развитія страны, тѣмъ основаніемъ, на которомъ построилось не только призваніе князей, но и самое государство. Поэтому и *родовой бытъ* мы должны удалить на известное или неизвестное разстояніе отъ начала нашей исторіи и начинать ее не родовымъ, а *городовымъ бытомъ* (стр. 349—351).

Замѣчанія, соображенія и выводы, вполне согласные и съ историческими данными, и съ историческою логикой! Имъ на нашъ взглядъ — теорія чистаго, строгаго родового быта, какъ явленія, бывшаго когда-то общей абсолютной формою русской жизни, не только «удаляется на известное или неизвестное разстояніе отъ начала нашей исторіи», но и совершенно устраняется. Разумѣется, я говорю о чистой формѣ родового быта, единовластно обнимающей всѣ славянскія и русскія племена, а не объ отдѣльныхъ возможныхъ случаяхъ сожитій въ родовыхъ союзахъ: послѣдніе заведомо были у всѣхъ славянскихъ племенъ, но всегда составляли только часть бытовой исторіи славянъ, были только однимъ изъ элементовъ ея, а не полнымъ ея содержаніемъ. Равнымъ образомъ нельзя отрицать важнаго значенія (авторъ говоритъ *основнаго* — чтó, кажется, допущено вѣдь для соглашенія прежнихъ своихъ понятій о родовомъ бытѣ съ нынѣшними) *родовой стихіи* во всей русской исторіи, даже я доднесъ....; но заключать отсюда объ исключительномъ, повальномъ нѣкогда господствѣ родового быта у славянъ, когда будто бы все это племя жило отдѣльными разрозненными родами, вѣтъ всякаго союза племенного и общиннаго — представляется рѣшительною невозможностью: ничего подобнаго въ этомъ смыслѣ не знаетъ никакая исторія! Ей известны родовые союзы, естественные и искусственные, возникающіе при известныхъ условіяхъ и отъ известныхъ условій, но они известны ей лишь, какъ частныя историческія явленія, какъ формы, которыя могла принять жизнь, но которыя вовсе не были для нея неизбежны и необходимо обя-

зательны.... Пусть допускающіе бывшее господство чистаго родового быта, удивленную разрозненность родовъ и ихъ отношеній — попытаются объяснить явленіе стройнаго общаго движенія внутренней *народной* или племенной исторіи въ языкѣ, религіи, нравахъ, обычаяхъ и т. д., — они должны будутъ признать, что надъ частнымъ семейнымъ родовымъ началомъ возвышалось иное, болѣе сплненное, болѣе объединяющее начало, племенное, общественное....

Здѣсь, конечно, не мѣсто пускаться въ разсмотрѣніе значенія и пространства родового начала въ нашей исторіи: это требуетъ спеціальныхъ, подробныхъ изслѣдованій, но я не могу не замѣтить, что выдвигая на первый планъ господство *городового быта* въ древнѣйшей русской исторіи, объясняя его условія съ такою ясностью и естественной простотой, г. Забѣлина не только вноситъ въ науку русской исторіи новый объяснительный элементъ, но значительно способствуетъ устраненію того, что по нашему крайнему разумѣнію относится къ области историческихъ предразсудковъ или, по крайней мѣрѣ — недоразумѣній.... Разсужденіе г. Забѣлина о городѣ и городомъ бытѣ представляетъ прекрасное дополненіе къ тому, что сказано имъ о семъ предметѣ въ I томѣ «Исторіи», и отличается такими же достоинствами.

Греческій торгъ, а также торги Каспійскій и Балтійскій — возбуждали, по словамъ автора, «въ русской равнинѣ то промышленное и торговое движеніе, которое создало не только большіе и малые торговые города, но и способствовало объединенію общихъ выгодъ по всѣмъ угламъ равнины.... Оно создало государство, которое потому носитъ на себѣ типъ болѣе всего промышленный, городской или гражданскій, но не военный или феодальный, завоевательный, хищническій».... Авторъ слѣдитъ движеніе промышленно-торговой жизни по «греческому пути»: переправа русскихъ судовъ чрезъ днѣпровскіе пороги даетъ ему случай коснуться снова сихъ «камней преткновенія» варягоборческой науки. Авторъ тоже дѣлаетъ попытку объяснить *спер-*

ныя наименованія нѣкоторыхъ пороговъ — русско-славянскими этимологиями, и съ такимъ же успѣхомъ, какъ и его предшественники, т. е. совершенно произвольно, по вышнему созвучію. На мой взглядъ, такія искусственныя, натянутыя попытки во что бы то ни стало ославянить тѣ наименованія днѣпровскихъ пороговъ, которыя Константинъ Багрянородный называетъ *рускими*, даже и въ интересахъ ученія о славянствѣ варяговъ — совершенно ненужны: слова К — на Багр. вовсе не имѣютъ основного, рѣшающаго значенія въ вопросѣ о *норманствѣ Руси*: это просто на просто такое же частное мнѣніе, каковыя являются и мнѣніе канцеляриста Лудовика бл. о томъ, что русы были шведы. Мнѣ представляется дѣло такимъ образомъ: багрянородный этнографъ получилъ свѣдѣнія о двойныхъ наименованіяхъ пороговъ, одни шли отъ русскаго — словѣнна, другіе — отъ норманна; зная только словѣнъ и русь, онъ и помѣтилъ ихъ слѣды знакомыми именами. Выраженія: *русскій, по-русски* являются здѣсь только въ отличіе отъ своего двойника: *славянскій, по-славянски*, а потому и не имѣютъ никакой этнографической цѣны....

Сближеніе поздняго наименованія острова Хортица съ именемъ божества Хорса (364) слишкомъ смѣло, да и едва ли можно признать, что имя Хорсъ было въ народномъ употребленіи.... Любопытно мнѣніе автора о «*полюдьѣ*»: сборы полюдьѣ, говоритъ онъ, отличаются отъ даней и состоятъ преимущественно изъ даровъ. Въ началѣ 12 в. (1125 г.) оно прямо и называется *осеннимъ полюдьемъ даровымъ*. Такіе дары были въ употребленіи въ средніе вѣка (Grimm D. Rechtsalt. 245—6). Едва ли, однако, слѣдуетъ согласиться съ авторомъ, что «дары въ первоначальномъ значеніи должны означать любовный промѣнъ товаровъ и что полюдьѣ *составляло* обычный способъ такого промѣна» (с. 368). Оба предмета, какъ кажется, были по существу независимы другъ отъ друга, но соединялись въ исполненіи: князь съ дружиной отправлялся въ объѣздъ или обходъ, въ полюдьѣ, а къ нимъ присоединялись торговцы-промышленники ради

своихъ цѣлей. Быть-можетъ, торговлей занимались и самые дружинники.... Обстоятельное изложеніе мерянской жизни и культуры по матеріаламъ курганныхъ раскопокъ (с. 383—394) вызываетъ сожалѣніе, что авторъ не предпринялъ того же и относительно нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей: отведенная для нихъ страница (514—5) «Примѣчаній» слишкомъ скудна.... Правда, для мерянъ онъ имѣлъ превосходный и полный трудъ гр. А. С. Уварова, для другихъ же мѣстностей — только случайныя замѣтки и частныя раскопки; но все же и здѣсь, какъ напр. для мѣстностей московской, тверской и вятской—кое-какія обобщительныя заключенія были возможны....

Указанія иноземныхъ вліяній въ русской древней культурѣ, — очень замѣчательны, въ особенности указаніе на восточное происхожденіе русской длиннополой одежды.... Впрочемъ, въ этой важной статьѣ «Исторіи русской жизни» авторъ ограничился лишь случайными отрывочными замѣтками, а посему не вошелъ въ разсмотрѣніе очень многихъ предметовъ восточной и западной культуры, издавна усвоенныхъ Русью.... Для нихъ, какъ извѣстно, основной матеріалъ заключается въ языкѣ, т. е. въ лексиконѣ чужеземныхъ словъ...

Восьмая и заключительная глава второго тома говоритъ о водвореніи на Руси христіанства. Развитіе городской жизни въ Кіевѣ и Новгородѣ, сношенія съ иными землями, отчасти особенная энергія христіанскаго и мухаммеданскаго прозелитизма той эпохи условили принятіе новой религіи. Авторъ даетъ вѣру лѣтописнымъ рассказамъ о посольствахъ отъ разныхъ народовъ съ предложеніями принятія вѣры и испытанію послѣдней посредствомъ особыхъ нарочитыхъ людей. Первое, впрочемъ, онъ разсматриваетъ, какъ преданіе, «въ которомъ историческая дѣйствительная правда заключается лишь въ томъ, что ко Владимиру приходили послы отъ народовъ, выхваляя каждый свою вѣру, и указывали мудрому князю, что именно мудрому-то человѣку жить въ язычествѣ не слѣдуетъ». Равнымъ образомъ и въ порядкѣ изложенія вѣры и въ ходѣ исторіи самаго крещенія авторъ *точно*

слѣдуетъ лѣтописному повѣствованію. Въ изображеніи христіанскаго житія князя Владимира авторъ дѣлаетъ замѣтку, которая, если бы оправдалась—могла бы имѣть важное значеніе въ исторіи русской народной поэзіи, именно, что «въ лѣтописныхъ чертахъ Владимира-христіанина узнается Владимиръ народныхъ пѣсень, ласковый князь Владимиръ Красное Солнышко» и «что первый лѣтописецъ, составляя повѣсть временныхъ лѣтъ, пользовался этими пѣснями, чтобы изобразить въ живомъ образѣ своего идеальнаго князя Владимира»... Желательно бы видѣть такое мнѣніе подтвержденное иными доказательствами, кромѣ указанія на праздничные пиры князя... Вся дальнѣйшая исторія Владимира, Святополка и Ярослава состоитъ изъ пересказа лѣтописнаго повѣствованія съ объяснительнымъ толковымъ комментариемъ. Въ заключеніе приводятся данныя о книжномъ ученіи и просвѣтительной вообще дѣятельности Ярослава и его сподвижниковъ и помѣщаются подробныя выдержки изъ древнихъ собраній поучительныхъ словъ съ цѣлью показать направленіе и содержаніе христіанской морали того времени. Краткое извѣстіе о Русской Правдѣ заканчиваетъ II томъ «Исторіи русской жизни»...

Въ общемъ, изложеніе автора не представляетъ повода къ замѣчаніямъ и разногласіямъ: оно живо передаетъ лѣтописный рассказъ и толково объясняетъ его... Но есть двѣ частности, на которыхъ критика не можетъ не остановиться, хотя, сказать откровенно, ей желательно было бы признать ихъ скорѣе корректурными недосмотрами, чѣмъ ошибками... На стр. 454—5 авторъ поминаетъ знаменитаго воеводу «Якупа Слѣпого», который—будто бы—«носилъ на глазахъ луду (lodix, повязку или покрывало), золотомъ пестканную» и потерялъ ее въ битвѣ при Ливенѣ... Примемъ ли мы, что Якупъ былъ слѣпъ, или представимъ его *красавцемъ* (— «бѣ Якупъ съ лѣпъ») — все равно, только не подлежитъ сомнѣнію, что *луда*, которую онъ носилъ, была вовсе не *повязка на глаза*, а *верхняя одежда*, плащъ, шитый золотомъ, англо-саксон. *loda*, скандинав. *lodhi*, *lodha*, др.-

нѣм. *lodo* = *sagum chlamys*... Въ такой *лудъ*, какъ говорится въ лѣтописи (в. 6582) и Патерикѣ, прохаживался въ печерской церкви «бѣсъ во образѣ ляха, носяща въ *приполѣ* цвѣтки»...

Другое замѣчаніе наше касается частности болѣе важной, имѣющей и нѣкоторое принципиальное значеніе.

Приводя выдержки изъ сборника древнихъ поученій съ признаками русскаго или славянскаго происхожденія, авторъ останавливается на выраженіяхъ ихъ: «преплывше дни поста»..., «какъ *пучину* моря постное время преидохомъ»..., «въ чистотѣ препроводимъ *пучину* постную», и замѣчаетъ при этомъ: «Эта *пучина* моря можетъ служить указаніемъ, что проповѣдь имѣла въ виду людей, для которыхъ трудъ плаванья по морю составлялъ наиболѣе замѣтный и очень знакомый подвигъ жизни и потому служилъ лучшимъ объясненіемъ трудовъ великаго покаянія, именно для людей еще необуздавшихъ въ себѣ языческое воздержаніе и не совсѣмъ понямавшихъ для чего оно нужно. Если мы припомнимъ рассказъ Константина Багрянороднаго о русскомъ плаваньи въ Царьградъ, то можемъ допустить, что поученія, поставившія въ примѣръ *пучину* моря, были говорены именно кievской Руси» (стр. 471). Такія любопытныя объясненія извлекаются авторомъ изъ одного выраженія: «*пучина моря*»... Мнѣ кажутся они крайностью увлеченія автора въ пользу мореходства русскихъ: слово «*пучина*» — ровно ни на что не указываетъ, это — обыкновеннѣйшій терминъ старославянскаго языка, какъ въ юго-славянскихъ, такъ и въ русскихъ памятникахъ, имъ почти всегда переводятся греческіе термины моря и пути, и нѣтъ рѣшительно никакихъ причинъ полагать, что слово «*пучина*» въ поученіи указывала бы на что-нибудь специально русское, а не употреблялось въ обыкновенномъ своемъ стилистическомъ значеніи, обусловленномъ греческими образцами. Далѣе, авторъ останавливается на словахъ другой проповѣди, гдѣ мытарь и фарисей представляются въ образахъ двухъ конниковъ, состязавшихся на ристалищѣ. Конь мытаря — это конь добродѣтели, молитвы, поста и милостыни; конь фарисея — это конь гордости.

величанія, осуженія.... Пок. А. В. Горскій, первый обратившій вниманіе на сія памятники, сдѣлалъ къ этому мѣсту слѣдующее общее, но не совсѣмъ ясное замѣчаніе: «Такое сравненіе не чуждо характера того общества, среди котораго вправѣ мы представлять себѣ славянскаго проповѣдника, въ первыя времена христіанства у насъ»¹⁾.... Г. Забѣлинъ далъ сему совершенно особый и — сознаемся — мало для насъ ожидаемый смыслъ. «Для русской кіевской паствы, говоритъ онъ, эти два конника, какъ очевидный примѣръ, не могли быть достаточно понятны, ибо изображали обстоятельство коннаго ристалища, едва ли существовавшего въ древнемъ Кіевѣ. Но если мы припомнимъ четыре коня и двѣ статуи, взятые Владимироу въ Корсунѣ и поставленные за церковью Богородицы..., то можемъ допустить, что поученіе о мытарѣ и фарисеѣ указывало прямо на эти памятники, въ полной мѣрѣ изъяснившіе простому уму смыслъ поучительнаго примѣра» (стр. 474—5). Мы же полагаемъ, что такое сравненіе ровно ни на что иное не указываетъ, какъ на свой византійскій образецъ, который дѣйствительно утверждался на почвѣ положительной, имѣлъ въ основаніи гипподромъ.... Да и непонятно, чѣмъ могли четыре мѣдныхъ коня «изъяснить простому уму смыслъ поучительнаго примѣра»....

Конечно, эти мелочи могли бы остаться нами не отмѣчены, такъ какъ историческая истина отъ нихъ мало — что терпитъ убытка; но отмѣтить ихъ мы все же находили не бесполезнымъ въ виду того, что въ нихъ замѣчается нѣкоторое отступленіе отъ принципіальныхъ приемовъ правильнаго историческаго употребленія источниковъ....

Окончивъ критическія замѣчанія мои на первые два тома «Исторія русской жизни» г. Забѣлина, считаю нужнымъ извѣстъ

1) «О древнихъ словахъ на св. Четырдесятницу» въ Прибавленіяхъ къ Твор. св. отцовъ, ч. XVII, кн. I, стр. 37—8.

изъ нихъ общее заключеніе о достоинствахъ и недостаткахъ сего труда....

Г. Забѣлинъ взялся за задачу трудную: онъ предположилъ изслѣдовать ту часть русской исторической науки, въ которой менѣе, чѣмъ въ прочихъ, еще возможны строгіе и точные выводы и заключенія, гдѣ на десятокъ темныхъ и нерѣшенныхъ вопросовъ приходится едва одинъ, удовлетворительно освѣщенный. Трудности «предмета по существу» авторъ увеличилъ для себя еще и тѣмъ, что, за немногими исключеніями, почти вовсе оставилъ въ сторонѣ и не принялъ во вниманіе тѣхъ успѣховъ, какіе сдѣлала уже историко-лингвистическая и этнологическая наука нашего времени; а равно отчасти и тѣмъ, что отнесся къ предмету съ такой долей особаго увлеченія, какая не способствуетъ правильному спокойному изслѣдованію и нерѣдко переноситъ его на чуждую наукѣ почву....

Эти обстоятельства условили *недостатки* труда:

а) *неровность изложенія*, смѣшивающаго разсказъ, толкованіе, изслѣдованіе и обличительную полемику, вдающагося въ частыя отступленія, развивающаго одні стороны вопроса и нерѣдко оставляющаго въ тѣни другія, столь-же или еще болѣе важныя;

б) съ одной стороны — *пренебреженіе къ законамъ науки языкознанія*, выразившееся рядомъ несостоятельныхъ этимологическихъ толкованій, съ другой — *полное довѣріе къ этимологіямъ*, изъ которыхъ, безъ страха и сомнѣній, выводятся не только догадки, но и прямые утвержденія настоящихъ историческихъ данныхъ;

в) *предрасположеніе къ объясненію народности и быта племенъ, кочевавшихъ на сѣверъ и западъ отъ Чернаго моря — началами народности славянской*, при чемъ доказательствамъ *противнаго* не оказывается должнаго вниманія и разбора, доказательствамъ же *своей теоріи* не сообщается должнаго развитія: она выражается догматически.

Всѣ сіи *недостатки*, какъ невольные, условенные совре-

меннымъ состояніемъ науки, такъ и вольные, завистьшіе отъ автора — блѣднѣютъ предъ многими *существенными достоинствами* труда.

Замѣчанія: а) о вліяніи природы русской страны на исторію, б) о происхожденіи, начаткахъ и характерѣ русскаго лѣтописанія, в) о возникновеніи и развитіи городовъ, ихъ устройствѣ, порядкахъ, дѣятельности и о городовомъ бытѣ вообще, г) сводъ данныхъ о скифскихъ и мерянскихъ могилахъ и возстановленіе скифскаго и мерянскаго быта по открытымъ вещественнымъ памятникамъ, д) въ особенности же превосходное, обстоятельное, во многихъ отношеніяхъ новое изложеніе промысловой торговой дѣятельности русской земли — суть истинныя приобрѣтенія русской исторической науки въ трудѣ г. Забѣлина, приобрѣтенія новыя, остроумно, толково и нерѣдко увлекательно изложенныя. Я не говорю о многихъ частныхъ замѣчаніяхъ, соображеніяхъ и догадкахъ, сметливыхъ, если не всегда убѣждающихъ, то всегда будящихъ мысль, вызывающихъ на новые поиски!...

Все это даетъ «Исторію русской жизни» г. Забѣлина право на весьма видное мѣсто въ русской исторической литературѣ, какъ произведенію важному во многихъ отношеніяхъ, своеобразному въ сужденіяхъ, и въ формѣ и въ приемахъ изложенія...

Крптивѣ остается заключить пожеланіемъ, чтобы почтенный авторъ не замедлялъ продолженіемъ своего предпріятія: онъ вступилъ теперь въ область жизни чисто исторической; а въ ней, какъ извѣстно каждому, его здравый, трезвый умъ и обширныя знанія умѣютъ находить такой просторъ для доброй дѣятельности на пользу отечественной науки...

Металлы и ихъ обработна въ доисторическую эпоху у племенъ индо-европейскихъ.

1865.

Много народовъ и еще болѣе поколѣнїи проходили по землѣ, вѣряя ей памятники своей жизни, своей матеріальной и нравственной культуры. Часто безъ опредѣленнаго имени, безъ роду и племени, какими-то историческими спротами—представляются эти памятники взору археолога, стремящагося разгадать загадку ихъ существованія. Матеріалъ смутный, неопредѣленный, но все же матеріалъ дѣйствительный и несомнѣнный: въ этой массѣ вещей, не помѣченныхъ опредѣленнымъ временемъ и родовымъ именемъ—еще рѣдко бываютъ возможны прочные, положительные выводы и заключенія; но пытливость изслѣдователя хотя до нѣкоторой степени удовлетворится догадкой, болѣе или менѣе вѣроятнымъ гаданіемъ о судьбѣ этихъ нѣмыхъ свидѣтелей опочившей жизни человѣка, ихъ эпохѣ и этнологической генеалогіи. На первый разъ и это—не мало: по крайней мѣрѣ изслѣдователь можетъ разсчитывать на будущіе успѣхи науки, которые, быть-можетъ, оправдаютъ и его посильные труды, по крайней мѣрѣ его не смутятъ мысль о совершенной бесплодности его стремлений: гдѣ существуетъ законная возможность догадки, тамъ еще нечего отчаиваться за успѣхъ!

Но гдѣ нѣтъ и этихъ памятниковъ, гдѣ народы переживаютъ цѣлыя тысячелѣтія, не оставляя, повидному, никакихъ слѣдовъ своей былой жизни и культуры—неужели тамъ положенъ пре-

дѣлѣ историческому знанію, предѣлѣ, перешагнуть который не властна осторожная археологическая наука? Нѣтъ, если археологія не захочетъ произвольно сузить свой объемъ, ограничить его лишь такъ наз. вещественными памятниками, она найдетъ много неподкупнаго свидѣтеля этихъ темныхъ эпохъ, свидѣтеля, предлагающаго богатый и благодарный матеріалъ для мысли археолога и историка. Я разумѣю—языкъ. «Языкъ, по словамъ величайшаго ученаго нашей эпохи, есть полное дыханіе человѣческой души: гдѣ раздается онъ, или гдѣ только существуютъ памятники его — тамъ исчезаетъ всякое сомнѣніе объ отношеніяхъ народа, имъ говорящаго, къ своимъ сосѣдямъ. Въ древнѣйшей исторіи, гдѣ изсякаютъ всѣ другіе источники, или сохранившіеся остатки ихъ оставляютъ изслѣдователя въ неразрѣшимомъ недоумѣніи, его выручаетъ только тщательное изслѣдованіе сродства и отклоненій языковъ и нарѣчій въ мельчайшихъ подробностяхъ ихъ внутренняго строя» ¹⁾. Языкъ—это не мигли жизни опочившей, окончившейся, а живое хранилище, куда слагаетъ народъ всѣ элементы своей протекшей и настоящей нравственной и матеріальной жизни. Слово человѣческое явилось не съ воздуха, безъ всякаго повода и причины: прежде чѣмъ существовать названію предмета, долженъ былъ существовать самый предметъ, дѣйствительный или фантастическій, но припимаемый за дѣйствительный. Вотъ почему языкъ можетъ быть названъ вѣрнымъ показателемъ матеріальнаго и нравственнаго быта извѣстнаго народа, такъ сказать — археологическимъ складомъ предметовъ его культуры. Въ этой области археологу нечего опасаться ни того алчнаго святотатства, которое нарушаетъ покой могилъ съ корыстною цѣлью, ни того вольнаго или невольнаго вандализма, который мѣрять дорогіе памятники старины лишь мѣрою узкой практической пользы или воображаемаго вреда: въ области языка частная воля человѣка не властна что-либо измѣнить или уничтожить; измѣненія совершаются сами

1) Jacob Grimm. Gesch. d. deutsch. Sprache. 2 auf. I. стр. 4.

собою, силою времени и историческихъ условий, измѣненія часто сильныя, рѣшительныя, но не такія, чтобы они смутили изслѣдователя и заставили его отказаться отъ попытки археологической реставраціи. Сравнительный методъ изслѣдованія языковъ показалъ, что есть возможность до нѣкоторой степени воскресить утраченное, возстановить измѣненное и обезображенное, возвратить ему первобытный видъ. Отсюда видно, какой неисчерпаемый источникъ представляетъ языкъ для древнѣйшей археологіи: тамъ, гдѣ, повидимому, прерывается всякая путеводная нить археолога и онъ отказывается идти впередъ, опасаясь заблудиться въ лабиринтъ догадокъ и предположеній, тамъ онъ встрѣчаетъ лингвиста, который смѣло и прочно ведетъ его далѣе, даже до предѣла таинственнаго возникновенія народовъ... Давно уже признано высокое значеніе языка, какъ источника исторической науки. Существуютъ даже счастливыя попытки въ этомъ отношеніи: на основаніи языка ученые возсоздаютъ картину быта народовъ, лежащаго далеко впереди за предѣлами всякаго письменнаго или монументальнаго свидѣтельства. Эта археологія языка, или, какъ называютъ ее, лингвистическая палеонтологія, оставляетъ необходимую часть общей археологической науки и, нѣтъ кажется—первою, начальную часть ея, съ изученія которой долженъ начать каждый, кто дорожитъ историческою достоверностью своихъ послѣдующихъ разысканій. Едва ли умѣстно удѣлять указывать здѣсь на несовершенства этой науки, происходящія и отъ ея молодости и отъ личныхъ ошибокъ и увлеченій чуждыхъ: дѣло идетъ ни о какихъ-нибудь частныхъ недостаткахъ—отъ нихъ не свободна никакая наука,—а о законности существованія цѣлой науки вообще, правильности ея приемовъ и основного метода; а съ этой точки зрѣнія она стоитъ вѣдь всего недовѣрія и всякихъ сомнѣній самаго взыскательнаго скептика.

Имѣя въ виду все это, я думаю, что не нарушу закона осторожной археологической крѣптки, когда рѣшаюсь предложить нѣкоторые лингвистическія справки объ употребленіи и обработкѣ

металловъ у племенъ индо-европейскихъ въ доисторическую эпоху ихъ жизни. Въ археологической наукѣ предметъ этотъ тѣмъ важнѣе, что безъ посильнаго объясненія его нельзя рѣшить и вопроса объ этнологическомъ распредѣленіи орудій каменнаго и бронзоваго вѣка дохристіанской Европы, т. е. нельзя опредѣлить: какому народу принадлежатъ тѣ или другіе памятники; а безъ этого условія археологія внесетъ въ историческую науку лишь одни общія гадательныя и во многомъ невѣрныя очертанія.

1. Какому народу принадлежатъ орудія каменнаго вѣка въ Европѣ.

Разсѣянные во множествѣ по всей Европѣ, орудія такъ называемаго каменнаго вѣка—какому племени или народу принадлежатъ они? Въ прежнее время археологи не слишкомъ заботились этимъ вопросомъ: они приписывали орудія каменнаго вѣка тому народу, который былъ исторически извѣстенъ за древнѣйшаго обитателя страны, гдѣ пропозшла находка. Пока сравнительное языкознаніе не уяснило вопроса о переселеніи индо-европейскихъ племенъ изъ равнинъ средней Азіи въ Европу—такая мысль представлялась очень вѣроятною: не зная ничего о происхожденіи и доисторическихъ движеніяхъ кельтовъ, германцевъ и славянъ, естественно было признать ихъ за первобытныхъ обитателей Европы, за ея аборигеновъ, естественно было думать, что и памятники каменнаго вѣка принадлежатъ этимъ племенамъ и знаменуютъ первый періодъ ихъ нравственной жизни и борьбы съ природою. Это предположеніе вышло за собою столько очевидныхъ, убѣждающихъ доказательствъ, что археологическая наука приняла и безпрепятственно признала его за несомнѣнную истину: не только каменные орудія, но и циклопическія каменные сооруженія, встрѣчающіеся въ Англіи, Франціи, Даніи, Скандинавіи и Германіи и извѣстныя подъ названіемъ: *менгировъ*, *кромеховъ*, *дольменовъ*, *могилъ гунновъ*, *каменныхъ комнатъ*, или *житищъ великановъ* — оказались плодомъ религіозной и матеріальной культуры племенъ кельтскихъ, пѣмекскихъ и даже сла-

вляскихъ. Мысль эта пустила такіе прочные корни въ наукѣ, что ни успѣхи сравнительнаго языкознанія, указавшаго, что кельты, иѣмцы и славяне не аборигены, а позднѣйшіе колонисты Европы, ни успѣхи описательной археологіи, открывшей существованіе подобныхъ памятниковъ въ различныхъ мѣстахъ Европы, Азии и Африки, гдѣ никогда не жили племена индоевропейскаго корня—не могли поколебать ее; и теперь еще она находитъ многихъ послѣдователей и защитниковъ!

Циклопическія каменные постройки преимущественно усвоивались кельтамъ: исследователи объясняли ихъ возникновеніе погребеніями богослуженія друидовъ, ихъ религіозныхъ вѣрованій, обрядовъ и обычаевъ, въ нихъ видѣли жертвенники языческихъ кельтовъ, мѣста ихъ торжественныхъ судилищъ; а нѣкоторые англійскіе археологи заходили такъ далеко, что, вопреки извѣстіямъ древнихъ историковъ и географовъ, отрицали существованіе кельтскихъ поселеній въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ не замѣчалось *кромеховъ, дольменовъ, менгировъ* и т. д. ¹⁾. Решительный ударъ этому мнѣнію былъ нанесенъ извѣстнымъ датскимъ археологомъ Ворсд (Worsaae) ²⁾. Онъ лично осмотрѣлъ большую часть мѣстъ, гдѣ находятся циклопическія каменные

1) Weinhold — Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland, Wien, 1859, Heft 1, pag. 16—18 (или Sitzungsberichte der philos. hist. classe d. k. Akademie der Wissenschaften. Band XXIX, 1858, December pag. 180—2). Изъ числа многихъ защитниковъ кельтскаго происхожденія каменныхъ циклопическихъ построекъ укажемъ только на извѣстнаго Генриха Шрейбера. Кромѣ многихъ отдѣльныхъ монографій археологическаго содержанія, онъ издалъ 5 томовъ Сборника, посвященнаго преимущественно разработкѣ кельтскихъ древностей: *Aschenbuch für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland*. Freib. 1839 — 1846 5 vol. Мысли его о назначеніи каменныхъ циклопическихъ сооружений изложены въ 5 томѣ Сборника стр. 39 — 91 и въ отдѣльномъ сочиненіи: *Die Stein in Europa. Eine historisch-archeologische Monographie*. Freib. im Breisgau. 1842. 4^o, стр. 1 — 36 Труды Шрейбера давно оцѣнены наукою, а равно и его сужденія всездѣ и во всемъ видѣтъ кельтовъ. Grimm's. Mithol. 2-e Ausg. p. XVI.

2) Worsaae. Zur Alterthumskunde des Nordens. Leipz. 1847, 4^o, pag. 49 — et passim. Сравни также его письмо къ Меримѣ, L'Athenaeum français 1853, 17 (23 Avril).

сооруженія, со вниманіемъ изслѣдовавъ предметы, въ нихъ находящіяся, и пришелъ къ заключенію, что эти постройки не принадлежать кельтамъ, а относятся къ эпохѣ, предшествовавшей кельтской колонизаціи, и должны быть приписаны неизвѣстнымъ доисторическимъ обитателямъ Европы. Еслибы циклопическія сооруженія принадлежали кельтамъ, то необходимо долженъ былъ бы существовать переходный періодъ, отдѣлявшій древнѣйшій каменный вѣкъ отъ болѣе поздняго — бронзоваго, но такого перехода нельзя замѣтить ни въ постройкѣ гробницъ, ни въ находящихся въ нихъ издѣліяхъ: огромная бездна отдѣляетъ гробницы каменнаго вѣка, когда трупы хоронились несожженными, въ сидячемъ или согнутомъ положеніи и безъ присутствія металлическихъ орудій — отъ гробницъ бронзоваго и послѣдующихъ періодовъ, гдѣ замѣчается сожженіе и изобиліе металлическихъ орудій и совершенно иныя формы ихъ. Равнымъ образомъ географическое распространеніе циклопическихъ построекъ самымъ очевиднымъ образомъ противорѣчитъ ихъ кельтскому происхожденію: онѣ должны были бы находиться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, уже на глазахъ исторіи — по указаніямъ древнихъ историковъ и географовъ — обитали кельты, но ни въ Австріи, ни въ южной Германіи, ни въ другихъ странахъ, гдѣ проходили или жили кельты — такихъ каменныхъ сооруженій не встрѣчается. Ясно, что эти памятники принадлежатъ какому-то иному племени, которымъ населена была Европа до пришествія индо-европейскихъ колонистовъ. Замѣчательно и то обстоятельство, что каменные сооруженія находятся по преимуществу въ приморскихъ странахъ: въ южной Швеціи, Даніи, Сѣверной Германіи, Голландіи, большой Бретани, Ирландіи, Западной Франціи, Португаліи, Корсикѣ и т. д., ихъ нѣтъ ни въ Скандинавіи (въ тѣсномъ географическомъ смыслѣ), ни въ Шотландіи, ни въ средней Европѣ: какъ будто эти первобытные обитатели не смѣли долго останавливаться въ лѣсахъ и при болотахъ центральной Европы: у нихъ не было средствъ покорить дикую лѣсную природу страны, они проходили по ней и стремились къ странамъ открытымъ, гдѣ

море и ихъ нехитрыя орудія могли обезпечить ихъ существованіе; здѣсь думали они основаться и долго прожить, потому и сооружали такія прочныя жилища дорогому праху отшедшихъ отцовъ ¹⁾. Напрасно! Постепенный притокъ арійскихъ колонистовъ вытѣснялъ ихъ и отсюда: отодвигаемые все далѣе на западъ они, наконецъ, совершенно исчезаютъ изъ исторіи. Вотъ почему высшія по отдѣлкѣ каменные орудія находятся на самомъ крайнемъ западѣ Европы, въ Ирландіи и Бретани: оттѣсненные въ эту мѣстность, европейскіе аборигены успѣли усовершенствовать свою культуру и своимъ орудіямъ сообщить болѣе искусную отдѣлку.

Къ соображеніямъ, выказаннымъ Ворсѣ противъ мысли о кельтскомъ происхожденіи циклопическихъ каменныхъ построекъ, можно прибавить еще остроумную и ученую критику извѣстнаго Эдельстана дю-Мері (du Ménil): онъ подробно рассмотрѣлъ положенія защитниковъ этой мысли и нашелъ, что ни одна изъ нихъ не выдерживаетъ строгой критики и что нѣтъ никакихъ причинъ считать кельтскими—такъ называемыя кельтскія сооруженія: ни въ попятінхъ, условившихъ ихъ возникновеніе, ни въ названіяхъ этихъ построекъ, ни въ предметахъ, въ нихъ находимыхъ,—нельзя видѣть ничего исключительно кельтскаго ²⁾.

Въ послѣднее время Бертранъ снова подвергъ этотъ вопросъ тщательному изслѣдованію: рассмотрѣвъ географію кельт-

1) Основываясь на отсутствіи сооруженій каменнаго вѣка въ средней Европѣ, Ворсѣ находитъ возможнымъ допустить мысль, что первобытные обитатели Европы никогда не жили въ средней части ея: «при своемъ переселеніи изъ Азіи въ Европу — говоритъ онъ — кажется, они были раздѣлены на двѣ волны: одна шла по берегамъ Средиземнаго моря, другая слѣдовала сѣверо-западному пути и по рѣкамъ сѣверной Россіи достигла сначала береговъ Балтики, потомъ Сѣвернаго моря и наконецъ Атлантическаго океана». Zur Alterthumskunde des Nordens. p. 49—50. Но не вѣрнѣ ли будетъ предположить, что эти народы проходили и по средней Европѣ, тѣмъ болѣе, что они, какъ увидимъ, оставили здѣсь несомнѣнные слѣды своего существованія.

2) Edéstand du Ménil — Mélanges archéologiques et littéraires. Paris 1850, статья: Essai sur l'origine, la destination et l'importance historique des monuments connus sous le nom de celtiques. Стр. 95—147.

скихъ племенъ, на сколько извѣстна она изъ указаній историковъ и географовъ: онъ сличилъ ее съ географіей такъ называемыхъ—*кельтскихъ* построекъ и замѣтилъ, что эти послѣднія лежать именпо внѣ странъ, гдѣ обитали кельтскія племена¹⁾. Въ общихъ результатахъ Бертрапъ сходится съ Ворсѣ, также отрицаетъ кельтское происхожденіе циклопическихъ каменныхъ построекъ, относя ихъ къ европейскимъ аборигенамъ, но думаетъ, что Ворсѣ былъ не совсѣмъ правъ, когда утверждалъ, что дольмены исключительно принадлежатъ каменному вѣку и всегда служили могилами. Бертранъ пока обнародовалъ только общіе результаты своихъ изслѣдованій, но изъ нихъ уже ясно, что мысль о кельтскомъ происхожденіи каменныхъ циклопическихъ построекъ должна навсегда устраниваться изъ науки.

Итакъ не кельты, а первобытные обитатели Европы соорудили эти громадныя жилища *великановъ*: кельты нашли ихъ уже готовыми и, немудрено, что пораженные ихъ внѣшнею громадностью, они приняли ихъ за дѣло рукъ нечеловѣческихъ и отнеслись къ нимъ съ суевѣрнымъ страхомъ и поклоненіемъ. Что создается самымъ народомъ на глазахъ всѣхъ и каждого, то бываетъ слишкомъ близко къ нему, чтобы такъ сильно запугать его воображеніе и заставить его призвать великановъ и фей на мѣсто обыкновенныхъ смертныхъ строителей. Такое суевѣрное чествованіе предметовъ, созданныхъ чужою неизвѣстною рукою, не составляетъ исключенія въ археологической наукѣ; довольно указать на *каменные бабы* южно-русскихъ степей: къ нимъ и теперь простолюдинъ относится со страхомъ и мольбой, а онѣ поставлены рукою не его кровныхъ благочестивыхъ предковъ, а чужимъ неизвѣстнымъ и, можетъ-быть, враждебнымъ народомъ! Кельты и иные племена могли употреблять эти каменные постройки для своихъ матеріальныхъ, или религіозныхъ по-

1) «Les monuments primitifs de la Gaule Monuments dits celtiques, dolmens et tumulus». Revue archéolog. 1863. (Avril) p. 217 — 237. Ibidem. 1864 (Aout) p. 144—154.

требностей: торжественныхъ празднествъ, богослуженія, народныхъ судилищъ ¹⁾; но было бы слишкомъ поспѣшно заключать отсюда, что таково и было ихъ первоначальное назначеніе и что съ этою цѣлью онѣ были воздвигнуты именно кельтами; напротивъ, все, отъ вѣшняго вида этихъ памятниковъ до предметовъ, находимыхъ внутри ихъ — убѣждаетъ, что это были *могилы* ²⁾, скрывавшіе прахъ какого-то неизвѣстнаго племени съ грубою культурою, стоявшею далеко назадъ развитаго быта аріійскихъ колонистовъ!

Вопросъ о томъ, какому племени принадлежать *каменные орудія* — гораздо сложнее предыдущаго: съ одной стороны и письменныя свидѣтельства и народныя преданія говорятъ, что каменные орудія имѣли свое значеніе въ бытѣ индо-европейскихъ переселенцевъ, употреблялись ³⁾ ими и стало быть были плодомъ ихъ народной культуры, съ другой — почти повсемѣстное распространеніе этихъ орудій по Европѣ и даже въ тѣхъ мѣстахъ, куда аріійскіе колонисты проникли очень поздно, находки каменныхъ издѣлій въ такихъ слояхъ земли, которые указываютъ на эпоху глубочайшей древности и первобытнаго дикаго состоянія челоуѣка ⁴⁾, наконецъ очевидное сходство формъ и отдѣлки этихъ орудій, вышедшихъ какъ бы изъ одной мастер-

1) Bouché de Cluny—Les Druides. Par. 1944. p. 134—137. Caumont — Cours d'antiquités monumen. t. 1. Par. 1830 p. 74—111 et passim. Villemarqué—La Légende celtique. Par. 1859. p. 18. 274. Preusker—Blicke in die vaterländ. Vorzeit, L. 1841—4, t. I, 100—15; II, 16—133, 207; III, 196—207 et passim. Kol-lar, Výklad ku Slávy Dceře. Pr. 1861. pag. 74—77. Срезневскій, Святинища и обряды языческаго богослуженія древ. славянъ. Хар. 1846, p. 29—31.

2) Эта мысль первоначально высказана Борсё, Бертранъ также находить ее согласною съ фактами: cf. Revue archéologique 1863, Avril, p. 226 — 7, 130—7.

3) Schreiber's—Taschenbuch etc. I, 145 et seq. Kirchner — Thor's Don-kerkeil.. Neu Strelitz. 1853 p. 85 — 88. Grimm's — Deut. Mythol. 2-te Ausg. p. 166—1172. Preusker—Blicke in d. vat. Vorzeit, I, 160—176. Wocel—Grund-üge d. böhmisch. Alterthumskunde Pr. 1845. p. 16—19, 47—8.

4) Baer — Ueber die frühesten Zustände der Menschen in Europa (въ при-оженіи къ петербур. иѣмецк. иѣсяцеслову на 1854 г.) стр. 8—16. Sacken — ber die vorchristlichen Culturepochen Mitteleuropa's. Wien, 1862, p. 26. et. seq.

ской — дѣлають возможнымъ предположеніе, что орудія каменнаго вѣка относятся ко времени, предшествовавшему появленію нидо-европейскихъ племенъ въ Европѣ, и принадлежать неизвѣстнымъ, первобытнымъ ея обитателямъ. Съ той поры, какъ археологія обратила серіозное вниманіе на важность этнологическихъ опредѣленій, эти кажущіяся противорѣчія породили между учеными два противоположныя мнѣнія: одни считаютъ каменные орудія произведеніемъ культуры первобытныхъ обитателей Европы; другіе полагають, что и нидо-европейскія племена не пережили на европейской почвѣ свой каменный вѣкъ, прежде чѣмъ вступили въ бронзовый; потому первые не позволяютъ себѣ никакихъ заключеній о культурѣ нидо-европейскихъ племенъ на основаніи археологій каменнаго вѣка; вторые же, по естественной послѣдовательности, не отступаютъ предъ такою попыткою. Рѣшительнымъ и рѣзкимъ защитникомъ позднѣйшаго происхожденія каменныхъ орудій выступилъ не такъ давно пасторъ Кирхнеръ: его возраженія направлены противъ мнѣнія, что каменные издѣлія возникли въ эпоху, предшествовавшую знакомству съ металлами, и употреблялись для обыкновенныхъ житейскихъ цѣлей: онъ старался доказать, что эти орудія обязаны своимъ происхожденіемъ не недостатку въ металахъ, а особымъ религіознымъ потребностямъ, потому и предназначались только для религіозныхъ цѣлей, какъ жертвенные молоты, ножи, амулеты или орудія религіозныхъ игръ; по теоріи Кирхнера — эти орудія выдѣланы посредствомъ металлическихъ инструментовъ и употреблялись въ жизни нѣмецкихъ племенъ даже до XII-го вѣка нашей эры, одновременно съ бронзовыми и вообще металлическими ¹⁾. Крайность и несостоятельность такого мнѣнія очевидна для каждаго, кто знакомъ съ успѣхами доисторической археологій, но тѣмъ не менѣе — мысль объ относительно позднемъ

1) E. Kirchner — Thor's Donnerkeil und die steinernen Opfergeräthe des nordgermanischen Heidenthums. Neu Strelitz. 1853. cf. также Schreiber's Taschenbuch etc. t. I. p. 145—149, и возраженія ему у Борсё: Zur alterthumsk. d. Nordens, p. 58.

происхожденіи орудій каменнаго вѣка раздѣляютъ еще многіе основательные археологи. Такъ, по мнѣнію графа Евст. Тышкевича ¹⁾, каменные орудія, встрѣчающіяся въ Литвѣ и Руси литовской, принадлежатъ нынѣшнимъ туземцамъ страны, литовцамъ или славянамъ, самые же способы обработки камня и формы орудій были первоначально заимствованы ими у скандинавовъ. Предположеніемъ этой связи почтенный польскій археологъ хочетъ объяснить сходство или тождество каменныхъ орудій, находимыхъ въ Литвѣ и западной Руси, съ подобными орудіями скандинавской территоріи; если такъ, то приходится сдѣлать весьма невыгодное заключеніе о доисторической культурѣ славянъ и литвы, которые не сумѣли даже самостоятельнымъ путемъ дойти до искусства обрабатывать камни; а такая мысль станетъ въ противорѣчіе со всѣмъ, что намъ извѣстно о доисторическомъ бытѣ этихъ народностей, и притомъ, какъ извѣстно, каменные издѣлія литовско-русской территоріи тождественны не только съ орудіями, находимыми въ Скандинавіи, но и со всѣми вообще, какія до сихъ поръ встрѣчались во всей Европѣ, Азіи и даже Америкѣ, такъ что становится невозможнымъ допустить мысль о вѣншнемъ заимствованіи ихъ отъ скандинавовъ только на основаніи сходства вѣншнихъ формъ и обработки. Другой польскій писатель-археологъ г. Крашевскій, излагая исторію славянскаго искусства, также начинаетъ ее съ построекъ и орудій каменнаго вѣка ²⁾. Очевидно, что наука не пришла еще къ определенному взгляду на этотъ предметъ, итъ даже сколько-нибудь замѣчательныхъ попытокъ уяснить вопросъ точнымъ сравнительнымъ разборомъ фактовъ и ученыхъ мнѣній: все дѣло ограничивается лишь личными и притомъ равнодушными взглядами, не-

1) Eus. Hr. Tyszkiewicz — Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuk i rzemiosł... Wilno, 1850, pag. 85—91.

2) Kraszewski. Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej. Wilno, 1860, p. 15—45. Кажется, что и Боцель раздѣляетъ это мнѣніе, см. Archäologische Parallelen I, p. 24, или Sitzungsber. der Acad. т. XI, p. 737.

имѣющими обязательнаго ученаго значенія; кажется даже, что съ той точки зрѣнія, съ которой смотритъ археологическая наука на вопросъ объ этнологіи каменныхъ орудій—окончательное рѣшеніе его едва ли возможно. Въ самомъ дѣлѣ, народныя преданія и письменныя свидѣтельства говорятъ намъ объ употребленіи каменныхъ орудій въ житейскомъ бытѣ арійскихъ колонистовъ Европы—предположимъ, что они, владѣя искусствомъ обработки металловъ и вообще металлическими орудіями, употребляли каменные лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ и обстоятельствахъ житейскаго обихода, гдѣ камень вполне могъ замѣнить металлъ; допустимъ, что употребленіе металловъ—общій законъ, а камня—частное явленіе, и тогда—исчезнутъ ли сомнѣнія, можно ли будетъ прийти къ какому-нибудь вѣрному выводу? Нѣтъ: съ одной стороны тождественное сходство формъ каменныхъ орудій еще не дастъ права заключать, что они принадлежатъ одному племени: это сходство могло быть слѣдствіемъ одинакихъ потребностей и условій жизни, въ какихъ находятся народы, совершенно различные по происхожденію, съ другой—нѣтъ причины не допустить, что и племена индо-европейскаго корня должны были, подобно прочимъ, когда-то пережить свой періодъ каменныхъ орудій, а потому и нѣтъ прочныхъ доказательствъ для мысли, что орудія изъ камня, находимыя на европейской почвѣ, принадлежатъ исключительно первобытнымъ обитателямъ страны: съ равнымъ правомъ ихъ можно будетъ отнести и къ индо-европейскимъ пришельцамъ. Вообще, до тѣхъ поръ, пока археологическая наука будетъ опираться лишь на одни такъ называемые вещественные памятники—сомнѣнія и недоразумѣнія не устранятся: необходимо призвать на помощь много археологическаго свидѣтеля—и мы найдемъ его въ языкѣ. Если будетъ доказано, что арійскіе колонисты вступили на европейскую почву съ умѣніемъ добывать металлы и сообщать имъ искусственную обработку, тогда каменные орудія несомнѣнно должны быть отнесены къ періоду предшествующему, къ первобытнымъ обитателямъ страны, ибо невозможно предположить, чтобы арійскіе переселенцы

ленцы, разъ достигши, обладанія металлами, впоследствии утратили это великое искусство и, пришедши въ обѣтованную землю, спустились въ матеріальномъ развитіи на цѣлую огромную стадію ниже, принялись снова за грубую обдѣлку камня и каменнымъ вѣкомъ снова начали свою новую, европейскую жизнь. Рѣшить этотъ вопросъ можно только посредствомъ языка, такъ какъ никакой иной свидѣтель не достигаетъ до такой отдаленной древности. Послѣдующее изложеніе, надѣюсь, докажетъ раннее, до-европейское знакомство арійскихъ племенъ съ металлами, но теперь, позволю себѣ еще на нѣкоторое время остаться въ предѣлахъ каменнаго вѣка и напередъ прійму какъ несомнѣнную истину то положеніе, что *каменный вѣкъ и его орудія относятся не къ племенамъ индо-европейскимъ, вышедшимъ изъ равнинъ средней Азіи и постепенно заселившимъ Европу, а къ какому-то неизвѣстному племени, обитавшему въ Европѣ до пришествія индо-европейскихъ колонизаторовъ.* Спрашивается — что это было за племя? И здѣсь, какъ въ предыдущемъ, мнѣнія ученыхъ различны: одни относятъ каменные орудія къ древнѣйшему финно-чудскому населенію Европы, остатки котораго представляютъ нынѣшніе лапландцы ¹⁾, другіе приписываютъ ихъ баскамъ, или пберамъ ²⁾. Заключенія эти главнымъ образомъ основываются или на совершенно личныхъ предположеніяхъ, или на изслѣдованіи формы и строенія череповъ, что для археологической науки тоже имѣютъ цѣну не болѣе личныхъ предположеній. Вѣришь, однако же, будетъ оставить каменный вѣкъ за пберами. Народъ каменнаго вѣка не былъ въ строгомъ смыслѣ слова кочующимъ номадомъ: номады не создаютъ подобныхъ прочныхъ каменныхъ сооружений и безслѣдно исчезаютъ изъ страны, если она не можетъ дать прочной и постоянной поддержки ихъ существованію,

1) Weinhold. Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland. 1 Heft. Wien. 1859, p. 17 и 131 d. Sitzungsberichte. d. k. acad. vol. XXIX (Decemberheft).

2) Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, XIV Jahrg. Schw. 1849, p. 301, et seq.

потому — едва ли вѣроятно, что постройки и орудія каменнаго вѣка принадлежать финнамъ-лапонцамъ, которые и теперь не имѣютъ прочной осѣлости и еще менѣе должны были имѣть ее въ эпоху отдаленнѣйшей древности. Трудно также, какъ полагаютъ нѣкоторые ученые, допустить мысль, что лапонцы изъ первобытной осѣлости обратились къ кочевью вслѣдствіе приплыва пидо-европейскихъ колонистовъ: это значило бы отрицать идею историческаго развитія; притомъ же каменные орудія, встрѣчающіеся въ сѣверной Скандинавіи, гдѣ, какъ извѣстно, обитали лапонцы, во многомъ не походятъ на орудія южной Скандинавіи и остальной Европы: они выдѣланы изъ иного камня, не такъ художественно обработаны и вообще обнаруживаютъ гораздо низшую степень культуры противъ той, какую можно усмотрѣть изъ орудій такъ называемыхъ первобытныхъ обитателей Европы. Повсемѣстное распространеніе финновъ-лапонцевъ по Европѣ не встрѣчаетъ никакого подтвержденія со стороны историческихъ свидѣтельствъ и противорѣчитъ извѣстному широкому распространенію пберовъ; главная масса обитателей каменнаго вѣка сосредоточивалась на Западѣ, а финны сдѣлали на Востокѣ; замѣчательно также, что во всей Норвегіи и сѣверной Швеціи, гдѣ обитали финны, не встрѣчается ни каменныхъ построекъ, ни каменныхъ могилъ ¹⁾. Впрочемъ, Ворсô сомнѣвается и въ иберійскомъ происхожденіи построекъ и орудій каменнаго вѣка: онъ предпочитаетъ назвать этотъ народъ общимъ именемъ доисторическаго обитателя Европы ²⁾. Дѣло не въ имени, а въ томъ, что благодаря памятникамъ этого народа, наука до нѣкоторой степени уяснила вопросъ о *ходѣ заселенія Европы*, который безъ каменныхъ памятниковъ опочившаго народа навсегда остался бы для насъ темною, закрытою страницей.

1) Worsaae—Zur Alterthumskunde des Nordens. L. 1847. p. 50—3. Weinhöld — Die Heidnische Todtenbestattung in Deutschland. 1 Heft W. 1859, p. 17—18.

2) Op. cit., p. 55.

2. Названія металловъ у индо-европейскихъ племенъ.

Археологическіе выводы отсюда.

За каменнымъ вѣкомъ въ Европѣ непосредственно слѣдуетъ бронзовый, оставившій по себѣ многочисленныя и глубокія слѣды. Естественно возникаетъ вопросъ: какому племени принадлежитъ этотъ важный шагъ впередъ въ исторію человѣчества, кто былъ виновникомъ открытія металловъ, кто впервые сумѣлъ примѣнить ихъ къ удовлетворенію нуждъ и потребностей человѣка? Сами ли первобытные обитатели Европы, путемъ постепеннаго развитія, пришли къ такому великому приобрѣтенію и естественнымъ порядкомъ смѣнили камень на бронзу, или это совершили новые пришельцы, которымъ суждено было заключить періодъ дикой первобытной жизни и начать тотъ новый порядокъ вещей, изъ котораго вышла современная европейская культура! Уже по тому, что было замѣчено выше о перерывѣ, существующемъ между культурой каменнаго и бронзоваго вѣковъ, объ отсутствіи преемственности во внѣшнихъ формахъ каменныхъ и бронзовыхъ орудій — можно утверждать, что не первобытные неизвѣстные обитатели, а новые колонисты основали культуру бронзоваго вѣка въ Европѣ. Намъ не можетъ въ этомъ миѣніи остановить и то обстоятельство, что въ могилахъ каменнаго вѣка иногда встрѣчаются металлическія издѣлія изъ бронзы и даже желѣза: старыя могилы нередко раскрывались за тѣмъ, чтобы принять въ себя останки новыхъ племенъ и народовъ, и если въ дѣйствительной тревожной жизни новый пришелецъ совершенно уничтожилъ и поглотилъ стараго аборигена, то за дверями гроба они вѣрно покоились другъ возлѣ друга, или другъ на другѣ, не споря болѣе за право обладанія мѣстностью.

Еще не принимая во вниманіе свидѣтельствъ языка, всѣ изслѣдователи, съ рѣдкимъ согласіемъ, относятъ бронзовый вѣкъ къ первымъ пришельцамъ великаго индо-европейскаго племени: съ появленіемъ бронзы обнаруживается большее чувство изящнаго, болѣе развитый навыкъ въ искусствѣ, другой стиль въ украше-

ніяхъ и вообще высшее состояніе культуры; вмѣсто огромныхъ каменныхъ комнатъ съ несожженными тѣлами и простыми каменными орудіями — вдругъ появляются земляные холмы, могильныя помѣщенія, въ которыхъ почти всегда лежатъ сожженные трупы и при нихъ изящное вооруженіе и другія художественныя издѣлія изъ бронзы и золота. Вещей грубыхъ, которыя знаменовали бы естественный переходъ отъ каменной культуры къ бронзовой — не встрѣчается вовсе; словомъ — все указываетъ на иной, пришлый народъ, который замѣнилъ прежнихъ обитателей и принесъ съ собою новую развитую культуру! ¹⁾ Ни одно свидѣтельство, ни одинъ памятникъ, никакой даже простой намекъ — не говорятъ, что этотъ народъ былъ происхожденія не индо-европейскаго, напротивъ, многое свидѣтельствуешь объ его арійскомъ источникѣ: если бы индо-европейскіе колонисты населили Европу позднѣе, въ эпоху, когда гадательная бронзовая культура туземцевъ окрѣпла и развилась, то отъ столкновенія ея съ культурой пришлецовъ необходимо образовался бы особый художественный типъ, отличный отъ прежняго бронзового; а въ памятникахъ нѣтъ и слѣда такой борьбы: бронзовые издѣлія разнообразны и по своимъ формамъ и по орнаментовкѣ, но это разнообразіе есть необходимое слѣдствіе нравственнаго и матеріальнаго развитія индо-европейскихъ племенъ, уже успѣвшихъ раздробиться и образовать особыя народности, каждая съ болѣе или менѣе особымъ характеромъ — и, при всемъ томъ, это разнообразіе издѣлій не таково, чтобы изъ-за него нельзя было не видѣть родственныхъ ихъ происхожденія, ихъ общей колыбели, изъ которой они только самостоятельно выросли и развились. Съ бронзовой культуры начинается настоящая исторія художественной обработки металловъ въ Европѣ: съ этой эпохи можно слѣдить постепенность въ развитіи формъ и украшеній металлическихъ издѣлій; потому что нигдѣ нельзя уже замѣтить

1) Worsaae—Zur Alterth d. Nord p. 54, 56. Baer—Ueber d. frühest. Zustände der Menschen in Europa... p. 35—39.

такого перерыва, какой отдѣляетъ каменный вѣкъ отъ бронзового ¹⁾. Одно уже это представляетъ достаточное ручательство въ индо-европейскомъ происхожденіи бронзового періода.

Вопросъ переносится теперь въ сферу болѣе частную: спрашивается, когда и какимъ путемъ достигли арійскія племена знакомства съ металлами, извѣстна ли была обработка ихъ въ эпоху первоначальнаго единства, или они приобрѣли это важное для успѣховъ жизни искусство по своему раздѣлу на отдѣльныя группы, во время своего движенія въ Европу и въ самой Европѣ, было ли это искусство туземное, самоприобрѣтенное, или оно пришло извнѣ, отъ иныхъ племенъ чуждаго происхожденія? Академикъ К. М. Бэръ, не довѣряя выводамъ и сближеніямъ извѣстнаго лингвиста-археолога Ад. Пиктѣ, находившаго у первичнаго индо-европейскаго племени почти всѣ употребительные металлы, полагаетъ болѣе вѣроятнымъ обратное заключеніе и думаетъ, что знакомство съ металлами приобрѣталось съ разныхъ сторонъ и что индо-европейскія племена, по крайней мѣрѣ отчасти, узнали эти металлы во время своихъ странствованій... «Если бы этимъ племенамъ, говоритъ К. М. Бэръ, были извѣстны всѣ металлы прежде развѣтвленія, то бронза не могла бы долго употребляться у нихъ для рѣзущихъ инструментовъ. Тогда не существовало бы отдѣльнаго періода бронзы» ²⁾. Не такъ рѣшительно говоритъ противъ знакомства первичнаго арійскаго племени съ металлами ученый знатокъ эранскихъ нарѣчій, Г. Лерхъ: въ своей замѣчательной статьѣ объ орудіяхъ каменнаго и бронзового вѣка въ Европѣ ³⁾ онъ, по крайней мѣрѣ, допускаетъ, что

1) Мы разумѣемъ здѣсь обработку легкоплавныхъ металловъ, но отнюдь не желѣза, грубый матеріалъ котораго естественно долженъ былъ обусловить возникновеніе грубыхъ вещей. Вотъ почему нѣкоторые изслѣдователи не замѣчаютъ послѣдовательности, между бронзовымъ и желѣзнымъ вѣкомъ; но не слѣдуетъ, кажется, упускать изъ виду трудности, сопряженной съ добычею и обработкою желѣза: и самый образованный народъ, владѣющій художественною обработкою мѣди, познакомся впервые съ желѣзомъ, могъ начать лишь съ грубыхъ издѣлій.

2) Über die frühest. Zustände d. menschl. in Europa, pag. 37.

3) Извѣстія Императ. Археологич. Общества т. 4-й Спб. 1863 г. стр. 149.

первоначальныя индо-европейскія названія металловъ у разныхъ племенъ могли быть замѣнены современемъ новыми, стало быть въ эпоху индо-европейскаго единства могли существовать и свои собственныя имена, могла быть пзвѣстна и обработка металловъ ¹⁾. Безъ подобныхъ предположеній не обходится еще пока никакая историческая наука, но въ настоящемъ случаѣ они едва ли необходимы: ни одинъ осторожный лингвистъ не сомнѣвается нынѣ въ томъ, что арійцамъ была пзвѣстна обработка и употребленіе металла—и сомнѣваться можно лишь па счетъ того, какой металлъ обозначался общимъ именемъ.

Остановимся на именахъ важнѣйшихъ металловъ у индо-европейскихъ племенъ и потомъ сдѣлаемъ нѣкоторые общіе археологическіе выводы.

Для обозначенія *металла* вообще—санскритъ употребляетъ слово *ayas*, въ другихъ родственныхъ языкахъ—отъ одного корня произошли слова, обозначающія то *мѣдь*, то *железо*, таковы: латинское—*aes* (вмѣсто *aīs* пзъ *ayas*, или же, какъ сокращеніе, пзъ *ahes*, *aheneus*), готское *aīs* и (*eisarn*), древ. вер.-нѣмецкое *ēr* (и *isarn*), ново-нѣмецкое—*er-z*, древне-нрландское—*jarn* (пзъ * *isarn*), англо-саксонское—*ār*, англійск.—*ore*. Трудно, почти невозможно думать, что сходство этихъ названій есть дѣло случая или виѣшняго заимствованія: они идутъ отъ одного корня, вылиты по одной первичной формѣ и въ теченіе многихъ столѣтій испытали лишь легкія видоизмѣненія; потому предположеніе, что арійскія племена въ эпоху до-историческаго единства были знакомы съ употребленіемъ металла—получаетъ силу достовѣрнаго историческаго явленія. Иной вопросъ, какой родъ металла обозначался этимъ названіемъ. Въ санскритѣ оно почти исклю-

1) Въ своей послѣдней статьѣ (ibid. т. V вып. 4, стр. 217) Г. Лерхъ уже прямо говоритъ, что, по его мнѣнію, «индо-европейскіе народы, при переселеніи своемъ въ Европу, не были знакомы съ обработкою металловъ». Такая опредѣленность произошла, по всему вѣроятію, вслѣдствіе мыслей, высказанныхъ К. М. Бэрромъ и Нильсономъ.

чительно употреблялось для обозначенія *жельза*, въ латинскомъ и нѣмецкихъ нарѣчійхъ оно значило первоначально *мѣдь*, а потомъ тотъ металлъ, который въ древности употреблялся предпочтительно для практическихъ цѣлей, помѣсь мѣди съ оловомъ или цинкомъ, *бронзу*. Максъ Мюллеръ думаетъ, однако, что и въ санскритѣ *ayaz* первоначально значило *металлъ*, т. е. *мѣдь*, а когда мѣсто мѣди заступило желѣзо, это слово получило другое специальное значеніе, значеніе *жельза*. Въ Атарва-Ведѣ (XI, 3, 1, 7) и въ *Vājasaneyisaṇhitā* (XVIII, 13) встрѣчается мѣсто, гдѣ дѣлается различіе между *Syāmat ayas* = *темный, черноватый металлъ*, и *loham* или *lohitam ayas* = *сѣтлый металлъ*, такъ что первое значить *мѣдь*, второе же — *жельзо*. Мясо животныхъ сравнивается съ мѣдью, кровь уподобляется желѣзу. Это показываетъ, что исключительное значеніе *ayaz* = *жельзо* — позднѣйшаго происхожденія и дѣлаетъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что, подобно племенамъ латинскимъ и нѣмецкимъ, индусы первоначально съ словомъ *ayaz* соединяли понятіе о металлѣ *par excellence*, т. е. о *мѣди*. Въ греческомъ *ayaz* перешло бы *és*, но оно не удержалось и было замѣнено словомъ *χαλκός*: это слово тоже первоначально значило *мѣдь*, а позднѣе получило значеніе *металла вообще* и *χαλκεύς* = *ковачь мѣди* встрѣчается въ Одиссѣѣ (12, 391) въ значеніи *кузнеца вообще*, или работника желѣза, *σιδηρεύς*. Ясно, что греческая народность уже существовала до открытія желѣза. Даже въ греческой поэзіи сохранилась память о періодѣ, когда мѣдь была единственнымъ металломъ, употреблявшимся для приготовленія оружія, военныхъ доспѣховъ и мирныхъ орудій: Гезіодъ говоритъ о третьемъ поколѣніи людей, «которое имѣло мѣдное оружіе, мѣдные дома, мѣдью работало плахало) и не знало чернаго желѣза». Въ поэмахъ Гомера — ножи, концы коній, доспѣхи — приготовлялись все еще изъ мѣди... Можно думать, что древніе знали способъ придавать твердость тому мягкому металлу... Латинское *cuprum* очень поздняго происхожденія: оно вошло въ общее употребленіе не ранѣе III—IV в.

Было лишь простымъ сокращеніемъ двухъ словъ *aes cuprium*.

Жельзо называлось по-латыни — *ferrium*¹⁾. Въ готскомъ словѣ *aiz* передается греческое *χαλκός*, но въ древ. верх.-нѣмецкомъ — *chuphar* является съ болѣе специальнымъ значеніемъ и *er* получаетъ значеніе бронзы. Это *er* утратилось въ новомъ нѣмецкомъ, за исключеніемъ прилагательной формы *chern*, и для обозначенія металла вообще образовалось новое слово, др. вер.-нѣм. *ar-ml*, ново-нѣмецк. — *ers*. Какъ въ санскритѣ — *ayas* получило специальное значеніе *жельза*, такъ и въ нѣмецкомъ названіе *жельза* было произведено отъ древнѣйшаго названія мѣди: готское *ei-sarn* = *жельзо* Як. Гриммъ разсматриваетъ, какъ производную форму отъ *aiz*, *ei-sarn* измѣнилось въ древне-верхне-нѣмецк. въ *isarn*, позднѣе — въ *isan* = ново-нѣмец. *eisen*, между тѣмъ, какъ англо-саксонское *isern* служить переходомъ въ *ircn* и *iron*.

Летто-славянскіе языки для обозначенія двухъ названныхъ металловъ употребляютъ свои особыя имена, стоящія внѣ грамматическаго родства съ именами прочихъ индо-европейскихъ племенъ Церк.-слав. — мѣдь, рус. — мѣдь, чешск. *měd'*, польск. — *miedź*, сербск. — *mjed*, литов. — *varas* (?). Названіе *бронзы* — позднѣйшаго, и притомъ чужаго, происхожденія. *Жельзо* въ цер.-сл., рус., чеш., серб., — *жельзо*; польск., — *zelazo*, литовское — *jeležis*, какъ очевидно — одно и то же слово даже безъ особыхъ фонетическихъ измѣненій.

Названія драгоценныхъ металловъ, *золота* и *серебра*, не могутъ уже быть съ такою очевидностью возведены къ эпохѣ доисторическаго единства племенъ: можно сблизать между собою названія этихъ металловъ (санскр. *radžata*, греческ. — *ἀργύρος*, латин. *argentum*, кельт. — *airgiod*, санскр. *hiranyam*, Zendск. — *gata*, готск. — *gulth*, слав. — *злато*, литов. — *sel'ts*, греческ. — *χρυσός*); можно отсюда *предполагать* о знакомствѣ первобытныхъ аріевъ съ благородными металлами, но несомненнымъ остается покамѣстъ лишь то, что золото и серебро были извѣстны

1) Max Müller Lectures on the science of language. II (L. 1864) p. 230—1.

племенамъ индо-европейскимъ въ ту эпоху ихъ жизни, когда они раздѣлились и составили большія группы, изъ которыхъ потомъ вышли болѣе дробныя нынѣшнія индо-европейскія народности; такъ, не можетъ подлежать сомнѣнiю, что оба благородные металла были въ употребленiи у племена славяно-летто-нѣмецкаго: золото носило названiе *garta-m* (вмѣсто первонач. *ghar-la-m*, отъ корня *ghar* = блестятъ), отсюда съ небольшими фонетическими измѣненiями: готск. — *gulth*, слав. — золото, леттск. — *selts*. У нѣкоторыхъ другихъ индо-европейскихъ племенъ названiя золота могутъ быть также произведены отъ того же корня *ghar*: древ. санск. — *hir-an'a-m*, *hir-an'ja-m*, древне-бактр. — *sara*, *zairi*, т. е. **zuri*, греческ. — χρῦσσος; но сильныя грамматическiя отклоненiя позволяютъ предполагать, что эти названiя образовались впоследствии, путемъ независимымъ, хотя и отъ того же корня, обозначавшаго блескъ. Такимъ образомъ, древнѣйшее знакомство съ золотомъ и существованiе его обработки у племена греко-итало-кельтскаго еще не можетъ быть доказано путемъ языка; напротивъ того — серебро было извѣстно и славяно-летто-германцамъ и тому племенн, изъ котораго вышли греко-итало-кельты и индо-эранцы: у первыхъ — серебро называлось *sarabdra-m*, откуда юздиѣ образовались: готское — *silubr*, слав. — сребро, древ. прус. — *sirabla*, литовск. — *sidabra*; у втораго же племена, давшаго происхожденiе индо-эранцамъ и греко-итало-кельтамъ — но носило названiе *rag-anta* или *arg-anta* = блестящее (корень *ag*, *arg* = блестятъ и притомъ — бѣлымъ блескомъ), отсюда: анскр. — *rag'-ala-m*, древне бактрийское — *erez-ale-m*, латинск. — *rg-entu-m*, осское — *arageto-m*, греческ. — ἄργυρος, кельтск. — *irgiad* ¹⁾). Такое сходство въ названiяхъ металловъ не можетъ,

1) Мы почерпнули наши сближенiя изъ слѣдующихъ сочиненiй: Grimm — *sch. d. deutsch. Sprache*, 1, p. 6—10 (или 9—14 1-го изд.); Pictet — *Les Origines Indo-Européennes*. Par. 1863, t. 1. pag 152—184; Schleicher въ журналѣ Либбранда: *Jahrbücher für nationalökonomie*. 1863, 4 вып., стр. 410—11; и въ журналѣ Штейнтала и Лазаруса: *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*, т. 1-й (Berl. 1860) стр. 510—513), т. 2-й. (1861) стр. 120—

не должно быть объясняемо случайностью созвучія или вѣншимъ заимствованіемъ; многія изъ племенъ арійскаго корня по раздѣленіи и пришествіи своемъ въ Европу — оставались чужды другъ другу и не имѣли между собою никакихъ исторически извѣстныхъ сношеній и столкновеній и потому не могли передать другъ другу этихъ названій. Это сходство родственное, идущее изъ эпохи единства индо-европейскихъ племенъ: выдѣляясь изъ общаго племеннаго потока, становясь на собственные ноги, каждый народъ забралъ съ собою и запасъ словъ, образовавшійся въ эпоху этнологическаго единства; съ теченіемъ времени старыя слова забывались, замѣнялись новыми, или же видоизмѣнялись подъ вліяніемъ новыхъ природныхъ и историческихъ условій. Намъ неизвѣстны въ точности внутреннія причины этихъ видоизмѣненій, но существованіе законовъ, по которымъ совершались эти измѣненія — не подлежитъ сомнѣнію: на это указываетъ постоянство и правильность фонетическихъ измѣненій въ языкахъ, и если взглянуть на приведенныя мною названія металловъ у различныхъ племенъ съ точки зрѣнія законовъ, дѣйствовавшихъ въ языкахъ индо-европейскаго корня, то всѣ названія окажутся не только *сходными*, но и родственными, идущими отъ одного корня, органически правильно измѣнившими свою фонетику; потому, я думаю, съ увѣренностью можно заключить, что арійскимъ племенамъ — еще до расселенія ихъ — было извѣстно употребленіе металловъ: золота, серебра и мѣди въ болѣе или менѣе чистомъ состояніи: санскритъ, латинскій, нѣмецкій и кельтскій языки *сходятся* въ названіяхъ мѣди или бронзы; славянскій, литовскій и нѣмецкій — въ названіяхъ золота и серебра; санскритъ, zendъ, греческій, латинскій, кельтскій — въ названіяхъ серебра.

Не всѣ, какъ видно, племена удержали древнія названія трехъ металловъ: золота, серебра и мѣди: иные образовали новыя на-

званія; но такое явленіе ничего не говоритъ противъ основной мысли объ исконномъ знакомствѣ арійскихъ племенъ съ употребленіемъ металловъ: на долгомъ пути отъ равнинъ средней Азіи въ Европу народы могли на нѣкоторое время быть лишены употребленія нѣкоторыхъ металловъ: это обуславливалось и переходнымъ, непосѣднымъ бытомъ ихъ и металлургическою природою странъ, проходимыхъ ими,—такъ съ утратой предметовъ утратились и имена ихъ; но устѣвшись на прочныя жилища, они скоро воротили утраченное и естественно должны были образовать новыя названія, какъ для новоотысканныхъ металловъ, такъ и для искусства ихъ обработки.

Въ противоположность названіямъ мѣди, золота и серебра, названія желѣза различны въ каждой изъ главныхъ отраслей арійской семьи — и если вспомнимъ, что санскритское *ayas* первоначально значило то же, что латинское — *aes*, готское *aiz*, а потомъ стало обозначать *жельзо*, что нѣмецкое названіе желѣза произведено отъ готскаго *aiz* и что греческое *χαλκός*, сперва обозначавшее мѣдь, употреблялось потомъ въ значеніи металла вообще, а иногда и въ значеніи желѣза—то можно, кажется, съ достовѣрностью заключить, что индо-европейскіе языки существовали прежде открытія желѣза, что отдѣльныя племена арійской семьи познакомились съ этимъ полезнѣйшимъ металломъ послѣ своего разселенія, потому-то каждое племя образовало названіе этого металла изъ своихъ собственныхъ средствъ, наложивъ на него свой національный отпечатокъ, между тѣмъ какъ названія золота, серебра и мѣди были вынесены изъ общей сокровищницы ихъ прародины. Первобытное арійское племя не только было знакомо съ металломъ, но и умѣло обрабатывать его, придавать ему извѣстную форму для извѣстныхъ цѣлей: нѣкоторыя изъ орудій, служащихъ и теперь для мирныхъ и воинственныхъ цѣлей, удержали свои первоначальныя названія: *серпъ* греч. *ἄσπις* (вм. *σάσπις*), латинск. — *sarco* = очипщать, обрѣзывать, франц. — *serpe* = орудіе, которымъ обрѣзываютъ вѣтви, нѣмецк. — *sarf* (изъ *scarf*) — могъ быть только изъ металла, рав-

нымъ образомъ изъ металла должны были быть и острые рѣзущія и колющія орудія, какъ *топоры, ножи, мечи, копья, стрѣлы, буравы*, для которыхъ также существуютъ общія названія во многихъ индо-европейскихъ языкахъ. Замѣчательно, что и термины *кузнечная дѣла, ковки, литыя* одинаковы у самыхъ отдаленныхъ народовъ арийскаго корня ¹⁾. Индо-европейское племя не было народомъ кочевымъ: оно имѣло прочныя жилища, обрабатывало землю *плугомъ и сохой*, знало различные роды зернового хлѣба; а при такихъ условіяхъ быта почти нельзя представить народа, не знающаго употребленія и пользы металловъ, еслибы даже и не сохранилось никакихъ иныхъ свидѣтельствъ о такомъ знакомствѣ ²⁾.

Языкъ предложилъ намъ вѣрное свидѣтельство о знакомствѣ древнѣйшихъ арийскихъ племенъ съ металлами. Не излишнимъ будетъ теперь съ точки зрѣнія добытаго вывода еще разъ осмотрѣть этнологію орудій бронзоваго и желѣзнаго вѣка въ Европѣ. Для полнаго и окончательнаго результата недостаетъ лишь средняго термина, неизвѣстнымъ остается употребленіе металловъ въ эпоху переселенія арийскихъ племенъ: оставивъ арийскую прародину, непрерывно-ли сохранили эти племена искусство обработки металловъ, сами ли они, путемъ самостоятельнымъ — принесли это искусство въ Европу, или позабывъ однажды приобрѣтенное, научились ему лишь впоследствии отъ народовъ чуждаго происхожденія, иными словами: принадлежитъ ли бронзовый вѣкъ къ самобытной культурѣ арийскихъ переселенцевъ, или онъ

1) Ad. Pictet, *Les origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs*. Par. 1863, 2 т. стр. 103 — 39. Здѣсь представленъ подробный лингвистическій разборъ этихъ наименованій и терминовъ, хотя, конечно, никто не назоветъ его вполне рѣшающимъ дѣло: Пикте недостаетъ основательнаго знакомства съ литовскими и славянскими нарѣчіями. Боле осторожный, чѣмъ Пикте — А. Веберъ также полагаетъ, что арийское племя знало употребленіе *меди* или *бронзы* (*ergz*) и изъ нея выдѣлывало свои орудія: *мечи, ножи, копья и стрѣлы*. v. *Indische Skizzen*. B. 1857, p. 9 sq.

2) Pictet—*Les origines*, II, p. 87—98, 235 sqt., 309 sqt. Kuhn—*Zur ältest. Gesch. d. Indo-german. Völker* (1845) p. 12—18 и Justi—*in Historisch. Taschenbuch* v. Raumer. Leip. 1862. p. 317—323.

возникъ подъ вліяніемъ чуждой, иноземной культуры, съ которой арійцы ознакомились въ эпоху своихъ переселеній въ Еврону?... Въ пользу послѣдняго предположенія, сколько мнѣ извѣстно, нельзя найти ни одного прочнаго археологическаго указанія; а противъ него — говорить многое: еслибы арійскіе колонисты заимствовали обработку металловъ отъ чужихъ народовъ, то они не удержали бы собственныхъ древнихъ названій металловъ: чтó приносится извнѣ, то почти всегда отмѣчается чужимъ именемъ и долго, по крайней мѣрѣ — носить на себѣ печать чуждаго происхождения. Ни того, ни другаго нельзя сказать объ орудіяхъ и издѣліяхъ бронзоваго вѣка Европы. Въ могилахъ этого вѣка, правда, пахотятся издѣлія, обнаруживающія близкое сходство съ вещами чуждыми, финикійскими и вообще восточными, но количество этихъ вещей всегда останется незначительнымъ сравнительно съ огромнымъ запасомъ издѣлій самобытнаго европейскаго происхожденія или, по крайней мѣрѣ, такихъ, которыя должно признать за самобытныя, потому что нельзя признать за заимствованныя. Многіе ученые отрицаютъ самобытное происхожденіе европейскихъ бронзовыхъ издѣлій ¹⁾, но ни одинъ изъ нихъ еще не указалъ полнаго тождества между предметами европейской и азіатской (фино-чуждой, финикійской или юго-азіатской) бронзы: замѣчаютъ лишь сходство въ нѣкоторыхъ частностяхъ, указываютъ мелкія однородности въ стилѣ формъ и украшеній, приводятъ и тождество между немногими вещами, но все это далеко отъ того полнаго сходства или тождества, которое одно можетъ дать прочную опору для мысли о внѣшнемъ заим-

1) Nilsson — Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens. Hamb. 1863, а также и прибавленіе къ этому сочиненію (Nachtrag), издан. въ нѣмецк. переводѣ въ нынѣшнемъ году, ibid. 64 стр. Лерхъ полагаетъ, что «индо-европейскіе народы, занявшіе Балканскій и Апеннинскій полуострова, познакомились съ обработкою металловъ (сначала мѣди) чрезъ жителей передней Азіи. Въослѣдствіи южная Европа передала умѣнье обрабатывать мѣдь и желѣзо западной части сѣверной Европы, снабжаяши ее передъ тѣмъ долгое время готовыми металлическими произведеніями». Извѣстія Археол. общ. т. 5, вып. 4 (1884), стр. 217.

ствованіи¹⁾. Зная раннія торговыя сношенія Европы съ Азіей, было бы странно, если бы въ почвѣ ея не отыскалось слѣдовъ этихъ сношеній, восточныхъ монетъ, металлическихъ издѣлій; но заключать отсюда о круговомъ, повальномъ заимствованіи бронзовыхъ вещей съ Востока—несогласно съ осторожною археологическою критикой; потому нѣтъ, кажется, причинъ относить происхожденіе европейской бронзы къ внѣшнему заимствованію, гораздо вѣроятнѣе признать ея самобытное арійское происхожденіе: съ одной стороны эта мысль находитъ поддержку въ несомнѣнномъ раннемъ—и при томъ непрерывномъ—знакомствѣ индо-европейскихъ племенъ съ употребленіемъ мѣди, золота и серебра; съ другой ее подкрѣпляетъ то явленіе, что во многихъ мѣстахъ Швейцаріи, Франціи, Англіи, Германіи и Скандинавіи вмѣстѣ съ бронзовыми орудіями нерѣдко находятъ и литейныя модели и формы, неоконченные, или неудавшіеся опыты, литыя и возлѣ нихъ грубые куски металла, предназначенные для расплавки²⁾.

Итакъ должно принять, что индо-европейскія племена вступили въ Европу съ умѣніемъ обрабатывать мѣдь, золото и серебро. Имъ, а не инымъ какимъ народамъ, принадлежитъ культура бронзоваго вѣка въ Европѣ, потому и археологъ имѣетъ полное право воспользоваться матеріаломъ бронзоваго періода для поясненія древнѣйшей жизни и быта арійскихъ колонистовъ на европейской почвѣ.

Не вдругъ, однако же, произошло заселеніе Европы: племена шли не въ одно время и не сплошною массою, а дробными высылками, постепенно заселяя страну и подвигаясь все далѣе къ западу вслѣдствіе новаго притока колонистовъ; порядокъ этого движенія опредѣляется какъ географіей племенъ, такъ и

1) Полное тожество формъ встрѣчается только въ орудіяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ *цельто*, но это орудіе остается до сихъ поръ загадкою въ археологій: ученые несогласны между собою на счетъ его происхожденія и употребленія.

2) Worsaae—Zur Alterthumskunde des Nordens. p. 60—1.

изслѣдоваіемъ средства и взаимныхъ отношеній языковъ: первыми на почву средней Европы должны были вступить кельты, за ними шло племя нѣмецкое, потомъ латва и славяне¹⁾. Какому же изъ этихъ народовъ принадлежать орудія бронзоваго вѣка? Большинство ученыхъ археологовъ оставляетъ ихъ за кельтами²⁾, но гораздо вѣроятнѣе думать, что бронзовый вѣкъ принадлежалъ столько же кельтамъ, сколько и другимъ индо-европейскимъ племенамъ, населившимъ Европу: бронза не была исключительно собственностью кельтовъ, непрерывное употребленіе и обработка ея, какъ мы видѣли, были извѣстны и племенамъ нѣмецкимъ, и при всемъ сходствѣ орудій и издѣлій бронзоваго вѣка въ разныхъ мѣстахъ средней Европы, между ними нельзя не замѣтить и глубокой разницы въ стилѣ и украшеніяхъ, разницы, которая можетъ быть объяснена не иначе, какъ различіемъ въ народностяхъ; потому слишкомъ смѣло поступаютъ тѣ археологи, которые рѣшаются говорить о кельтскомъ заселеніи сѣверной Германіи и Скандинавіи лишь на основаніи бронзовыхъ издѣлій, тамъ находимыхъ: бронзовый вѣкъ обнимаетъ не одну какую-нибудь народность, а цѣлый періодъ времени, вмѣщавшій въ себя рядъ племенъ и народовъ индо-европейскаго погоса³⁾. Археологической наукѣ предстоитъ здѣсь важная, хотя и трудная работа: она должна опредѣлить особый бронзовый стиль, принадлежащій каждой народности. Только послѣ этого историкъ культуры въ должной и законной мѣрѣ можетъ воспользоваться богатымъ матеріаломъ бронзоваго вѣка.

Бронзовый вѣкъ былъ только переходнымъ періодомъ въ жизни индо-европейскихъ племенъ: бронза господствовала лишь въ тѣхъ поръ, покаместъ они пассивно завладѣвали землею и по-

1) Schleicher—Die ersten Spaltungen des Indo-germanischen Urvolkes, въ Allgem. Monatsschrift für Literatur und Wissenschaft, 1853, стр. 786 — 7. Eiseke—Die Deutsche Sprache. St. 1860, p. 71—84.

2) Worsaae — Dänemark's Vorzeit, Коп. 1844, p. 110 et seq. Schreiber's Taschenbuch f. Geschichte und Alterth. passim.

3) Worsaae—Zur Alterthumsk. des Nordens. p. 58—63. Weinhold—Die teutonische Todtenbestattung. 1. p. 20 (или 134, тома Sitzber).

коряги дикую, лѣсную природу, приучая ее къ удовлетворенію потребностей осѣдлой земледѣльческой жизни; но съ первыхъ дѣйствительнымъ выходомъ народа на сцену исторіи, мы видимъ его обладателемъ *железа*. Открытіе *железа* знаменуетъ новый періодъ въ исторіи міра: оно не находится, подобно *жиду*, *золоту* и *серебру*, въ безпримѣсномъ состояніи, *железная руда* требуетъ поисковъ, изслѣдованія и процессъ выдѣленія изъ нечистаго металла не совсемъ легокъ, потому *железо* появилось позднѣе прочихъ общеупотребительныхъ металловъ: арійское племя въ эпоху единства не знало употребленія *железа*, оно стало извѣстно лишь впоследствии, когда главнѣйшія племена раздробились и обособились въ отдѣльныя народности, и можно полагать, что каждая народность познакомилась съ *железомъ* путемъ самостоятельнымъ и притомъ уже на новыхъ европейскихъ своихъ жилищахъ, иначе, скажемъ мы съ акад. Бэромъ — не существовало бы особаго періода бронзы въ Европѣ, не было бы и такого рѣзкаго несходства въ названіяхъ *железа* и *железныхъ орудій* у разныхъ народовъ. К. М. Бэръ полагаетъ, что сѣверныя племена могли заимствовать обработку *железа* отъ финновъ, извѣстныхъ и по скандинавскимъ, и по туземнымъ преданіямъ за искусныхъ ковалей¹⁾; но есть причины сомнѣваться, что слава эта приобрѣтена ими за художественную обработку *железа*: раскопки фино-чудскихъ могилъ показываютъ лишь весьма слабую часть *железныхъ орудій* сравнительно съ богатою обработкою мѣдныхъ и бронзовыхъ. Сверхъ того, какъ показалъ Шёгрентъ²⁾, финны извлекали *железо* изъ болотъ и не пользовались горными залежами, а одно изъ финскихъ словъ, обозначающихъ *железо*, заимствовано изъ языковъ славянскихъ: *rauta* = *руда*, потому что въ языкахъ индо-европейскихъ (латинск. — *rudus*, литовск. — *rūda*, *rauda* = красная краска, *rudas* = темно-красный, русск. — *руда* въ смыслѣ крови, *рудый* =

1) Baer—Ueber die frühest. Zustände d. Menschen in Europa. p. 37.

2) Sjögren's—Zur Metallkunde der alten Finnen und anderer tschudischer Völker—въ его Gesammelte Schriften. S.-Pb. 1861, t. I. стр. 625—638.

красно-желтый) это слово имѣть свой корень и смыслъ, въ финскомъ же представляется безъ особеннаго знаменованія, хотя и получило весьма широкое распространеніе и даже перешло въ мѣстные названія. Гораздо болѣе залоговъ истины имѣть за собою мнѣніе Ворсё, который полагаетъ, что обработка желѣза въ средней и сѣверной Европѣ возникла подъ вліяніемъ римской культуры ¹⁾: дѣйствительно, сходство формъ скандинавскихъ военныхъ орудій съ римскими указываетъ на прямое и рѣшительное заимствование, но едва ли вліяніе классической культуры было такъ широко, чтобы исключительно ему одному можно было приписать возникновеніе желѣзнаго вѣка: оно могло сообщить толчокъ, вызвать искусство обрабатывать желѣзо, выдѣлять его изъ соединенія съ прочими металлами, но *повсемѣстная* культура желѣза не была занесена съ юга и должна была возникнуть самостоятельно, путемъ постепеннаго, туземнаго знакомства съ этимъ металломъ: уже въ самыхъ издѣліяхъ бронзоваго вѣка замѣчается значительная примѣсь желѣза ²⁾, въ могилахъ Даніи, южной Швеціи, всей Европы при бронзѣ находятся и желѣзо: бронза преобладаетъ, но не отсутствуетъ и желѣзо. Все это указываетъ на возможность самостоятельнаго знакомства съ желѣзомъ, на постепенность въ ознакомленіи съ нимъ, нужно было лишь прійти къ убѣжденію въ высокомъ значеніи этого металла для жизни, чтобы начать новую эпоху европейской культуры, эпоху *желѣза*.

Можетъ-быть, такое убѣжденіе и было плодомъ сближенія съ культурою классическаго міра!

3. Металлы у скифовъ. Общіе результаты изслѣдованія.

Не можемъ обойти еще одного важнаго для насъ вопроса, употребленія металловъ у скипскихъ племенъ. Не безъ основанія нѣкоторые изслѣдователи ³⁾ считаютъ скифовъ за племя индо-ев-

1) Zur Alterthumsk. des Nordens. p. 63 et seqt.

2) Wocel—Archäologische parallelen, I, p. 9, 12—14, 36.

3) Grimm—Gesch. d. deutsch. Sprache I p. 5213. Bergmann—Les Scythes..
Journ. 1858. Ch. Lenormand—Les Antiquités du Bosphore Cymmerien. Par. 1861.

ропейскаго происхожденія. У древнихъ историковъ, географовъ и поэтовъ — названія: Скиеія, скифы не имѣютъ строгаго географическаго и этнологическаго смысла. Скиеія — это обширныя области, лежавшія на сѣверъ и востокъ отъ Чернаго моря, скифы — это собирательное имя народовъ, занимавшихъ эти страны. Нѣтъ сомнѣнія, что въ составъ скифовъ входили и кочевники чудскаго или монгольскаго происхожденія и племена индо-европейскія. Полукочевая-полуосѣдая стоянка скифовъ на равнинахъ южной Руси стоитъ въ видимой связи съ великимъ движеніемъ племенъ изъ средней Азіи въ Европу. Физическій обликъ скифовъ, образъ жизни, религія, нравы, обычаи ихъ, на сколько они извѣстны изъ неполныхъ и неточныхъ историческихъ указаній, находятъ многочисленныя аналогіи въ жизни индо-европейскихъ племенъ, германцевъ, славянъ, литвы и взаимно другъ другомъ объясняются ¹⁾, потому намъ необходимо коснуться вопроса объ употребленіи металловъ у скифскихъ племенъ: скифы служатъ единственнымъ представителями того переходнаго періода жизни индо-европейскихъ племенъ, которымъ замыкается древняя азіатская эпоха и начинается новая, европейская!

По извѣстіямъ Геродота, золото и желѣзо были употребительнѣйшими металлами у скифовъ: золото находилось въ большомъ количествѣ на западной границѣ и на сѣверѣ, гдѣ Ариамасы тайно похищали его у грифовъ стражей золота (iv, 27). массагеты употребляли его для украшенія вооруженія головы, плечъ и самага туловища (i. 215); желѣзо служило для военнаго оружія: желѣзный мечъ, символъ бога войны, находятъ въ каждой области (iv, 62, 71), впрочемъ у собственныхъ скифовъ и сарматовъ желѣзо не было обыкновеннымъ металломъ: по замѣ-

40. Šafarik. Slovanské Starozitnosti. Pr. 1837 p. 227 et sq. Hansen—Ost-Europä nach Herodot... Dorp. 1844.

1) Неполный и недостаточный опытъ сближенія скифскихъ нравовъ, обычаевъ и образа жизни съ индо-европейскими былъ сдѣланъ мною въ журн. «Литюписи русской литературы и древности», изд. Н. С. Тихонравова, т. (1-й, вып. 1-й, М. 1859 стр. 121—144.

чанію Павзанія (I, 21, 8) — савроматы не знали искусства обрабатывать желѣзо, а массагеты вовсе не употребляли его, и почва, ими обитаемая, не заключала желѣза, но за то была неисчерпаемо богата золотомъ и мѣдью, изъ которой они вырабатывали копья и военныя сѣкеры (I, 215). Хотя въ одномъ мѣстѣ своей исторіи (IV, 71) Геродотъ и замѣчаетъ, что мѣдь не была въ употребленіи у скивовъ, но, описывая (VI, 81) исполнинскій сосудъ, сдѣланный изъ оконечностей стрѣлъ, онъ называетъ его *χαλκήιον—мѣднымъ*, такъ что мы имѣемъ право предположить, что скивы пользовались мѣдью для приготовленія стрѣлъ. Серебро не употреблялось вовсе ни у собственныхъ скивовъ, ни у массагетовъ (I, 215, IV, 71)¹). Изъ этихъ нѣсколько разнорѣчивыхъ извѣстій можно однакоже сдѣлать тотъ достовѣрный выводъ, что скивскимъ племенамъ было извѣстно употребленіе всѣхъ важнѣйшихъ металловъ, за исключеніемъ серебра, болѣе всего употреблявъ золото и желѣзо. Если, послѣ этого, мы обратимся къ мопламъ, скоронившимъ остатки нѣкогда славныхъ скивовъ, то найдемъ полное подтвержденіе древнихъ извѣстій: въ двухъ важнѣйшихъ и безспорно скивскихъ курганахъ — Александровскомъ и Чертомлыкѣ находки состояли въ вещахъ изъ золота, серебра, мѣди и желѣза; въ другихъ, менѣе замѣчательныхъ южныхъ курганахъ, относимыхъ не безосновательно къ скивскимъ — также найдены были вещи всѣхъ четырехъ родовъ металла²). Отсутствіе точныхъ и подробныхъ описаній скивскихъ раскопокъ не позволяетъ еще сдѣлать вывода на счетъ количествен-

1) Hansen. Ost-Europa nach Herodot, Dorp. 1844, p. 63—64. — Ukert Skytien... N. 1846 г., p. 246—7. — Eichwald — Alte Geographie des Kaspiisch. Meeres. Ber. 1833, p. 18—19 et passim.

2) Журналъ Минист. Народ. Просв. 1853, № 7 (ч. LXX, IX, отд. II) стат. Терещенка. «Насмни могилиныя въ Южной Россіи», стр. 1—36. Извлеченіе изъ всепод. отчета объ археол. разысканіяхъ въ 1853, Сиб. 1855, стр. 47—66. Сравни также: стат. Zwick'a: «Die gräber in den Caucasiachen Don.» въ Dorpater Jahrbücher 1835, № 10, стр. 285—290; таблицы кургановъ, разрытыхъ Корнисомъ въ «Bulletin scient. de L'Academie de Spb». 1845, № 37 и стат. Кёнигса: «Sur quelques tumulus dans la Russie meridionale», ibid. 1838, № 18—19 IV-го тома.

наго отношенія найденныхъ металлическихъ вещей, но можно думать, что скифскія могилы заключать въ себѣ серебра относительно менѣе, чѣмъ золота, желѣза и мѣди. Этимъ хотя отчасти объясняется извѣстiе Геродота, что скифы не употребляли серебра вовсе.

Допустивъ мысль объ индо-европейскомъ происхожденiи скифскихъ племенъ, невольно останавливаемся на важномъ извѣстiи, что имъ было знакомо употребленiе *железа*, невольно приходимъ къ убѣжденiю, что индо-европейскiя племена лишь въ Европѣ познакомились съ этимъ полезнѣйшимъ металломъ. Въ то время, какъ западныя колонiи арийскихъ племенъ, кельты и народы гѣмецкiе — пользуются лишь *бронзовыми орудiями*, юго-восточныя, скифы, быть можетъ родоначальники литвы и славянъ — уже владѣютъ *железомъ* и умѣютъ искусно употреблять его для удовлетворенiя своихъ нуждъ и потребностей. Самы ли они выработали это искусство, или заимствовали его, своихъ сосѣдей: сѣверной чуди, издавна занимавшейся обширнымъ металлическимъ производствомъ ¹⁾, или отъ классическихъ народовъ, съ которыми стояли въ такихъ близкихъ сношенiяхъ, сказать трудно, но во всякомъ случаѣ — скифы первые изъ всѣхъ народовъ центральной Европы начали эпоху европейскаго *железнаго вѣка*.

Этимъ я окончу замѣтки объ употребленiи металловъ въ древнѣйшую эпоху жизни индо-европейскихъ племенъ, не коснувшись многихъ входящихъ сюда вопросовъ, какъ напр. вопроса о мѣстѣ и времени появленiи бронзы, т. е. сплава мѣди съ оловомъ и позднѣе съ цинкомъ.

Въ заключенiе позволю себѣ собрать въ одно цѣлое общiе выводы, слѣдующiе изъ моего изложенiя.

Умѣнiе обрабатывать и пользоваться металлами восходитъ къ отдаленной эпохѣ доисторическаго единства индо-европей-

1) Эйхвальдъ — «О Чудскихъ копяхъ», Записки Импер. Археологическаго Общества, т. ix, вып. 2-ой, стр. 270—280.

скихъ племенъ: еще до раздробленія на отдѣльные вѣтви—арійцы знали употребленіе *мѣди* и, можетъ-быть, двухъ благородныхъ металловъ—*золота* и *серебра*. Несомнѣннымъ представляется употребленіе *мѣди* и *серебра* у вѣтви греко-итало-кельтской и идо-эранской, *мѣди*, *золота* и *серебра*—у вѣтви латто-славяно-нѣмецкой. На европейскую почву всѣ эти племена вступили съ умѣніемъ обрабатывать металлы: мѣдь (бронзу), золото и серебро, и потому бронзовая культура средней Европы была самобытнымъ произведеніемъ первыхъ колонистовъ арійскаго племени: кельтовъ и народовъ нѣмецкихъ. Въ исторіи употребленія *мѣди* у племенъ латто-славянскихъ замѣчается нѣкоторый переломъ, заставившій ихъ образовать собственныя, отличныя отъ прочихъ родственныя—названія этого металла; происходилъ ли этотъ переломъ вслѣдствіе временной утраты знакомства съ мѣдью, или это была простая замѣна стараго названія новымъ,—рѣшить, пока, невозможно. Юго-восточная часть Европы не знала строгаго бронзоваго періода: уже древнѣйшіе ея поселенцы—скифы владѣютъ желѣзомъ въ богатомъ количествѣ; позднѣе, въ первые вѣка по Р. Х., и вся сѣверная и средняя Европа мѣняетъ бронзу на желѣзо, постепенно достигнувъ искусства его обработки. Чужеземныя вліянія на культуру бронзоваго и желѣзнаго вѣка въ средней Европѣ не могутъ быть указаны съ полною отчетливою достовѣрностью: если они и были, то далеко не въ такой рѣшительной степени, чтобы имъ однимъ можно было приписать возникновеніе бронзовой и желѣзной культуры. Вообще есть гораздо болѣе причинъ принимать самостоятельное возникновеніе и образованіе этой культуры, чѣмъ думать о внѣшнемъ заимствованіи. По всему этому исторію идо-европейской культуры въ Европѣ должно начинать не съ каменныхъ построекъ и орудій, принадлежащихъ первобытнымъ обитателямъ страны, а съ періода бронзы для сѣверной и средней Европы и совмѣстнаго употребленія бронзы и желѣза для юго-восточной.

Вотъ все, что можно сказать о такой отдаленной древности,

опираясь на свидѣтельство языка, исторіи и нѣмые монументальные документы!

Итти ли далѣе, за предѣлы первобытнаго арійскаго племени, къ первоначальной колыбели народовъ? Утверждать ли, подобно одному археологу, замѣчательному сколько обширною ученостью, столько и мистическимъ взглядомъ на предметы, что арійцы сами переняли искусство пользоваться металлами отъ другихъ верхне-азійскихъ племенъ, что поэтому существовагъ у нихъ презираемый ими культъ металловъ, страшныя божества металловъ.... ¹⁾.

Младенчествующій человекъ населигъ свою исторію многими мнѣніями мечтаніями и грѣзами: есть у него и свое золотое время и свои безгрѣшные люди-прародители; но наука имѣетъ дѣло лишь съ дознаннымъ фактомъ, она прибѣгаетъ къ догадкамъ лишь тогда, когда существуютъ достаточныя основанія для нее....

Вотъ почему здѣсь должно пока остановиться!

Скандинавскій корабль на Руси.

Въ числѣ памятниковъ, достойныхъ вниманія и мысли археолога, представляющихъ не малую добычу для его соображеній, по всей справедливости можно назвать и произведенія устной народной словесности. Даже записанныя въ позднѣйшее время и въ позднѣйшей формѣ, они часто хранятъ въ себѣ драгоцѣнныя черты старины, которыя остались бы вовсе неизвѣстны намъ, если бы ихъ не сберегла благодарная память народа.

Особыя исключительныя условія древне-русскаго образованія не дозволили произведеніямъ народной словесности войти въ

1) L'Athenaeum français III, 1854, № 33, p. 577 — 8. «Des origines de la metallurgie» par baron Eckstein.

письменность и получать литературную обработку: какъ были, такъ и оставались они устнымъ достояніемъ простаго народа до поры, когда наука захотѣла обезпечить ихъ отъ дальнѣйшей порчи и утраты рукою умѣлыхъ собирателей и приняла ихъ подъ защиту, какъ свое законное достояніе. Оттого у насъ вовсе нѣтъ пѣсенъ, о которыхъ можно было бы сказать, что онѣ исключительно принадлежатъ пзвѣстной эпохѣ и сохранились въ своемъ первобытномъ видѣ, еще не тронуты порчею и позднѣйшими приприсеніями. Передъ нами лежитъ лишь огромная масса разновременнаго матеріала, части котораго сплотились между собою въ разнообразныя причудливыя сочетанія: возлѣ воспоминаній — если такъ можно выразиться, вчерашняго дня — стоятъ и воспоминанія глубокой старины, и стоятъ не какъ внѣшняя механическая прибавка, но соединенныя между собою простодушіемъ и правдою народнаго чувства, не требующаго строгой исторической или хронологической достовѣрности, не смущающагося никакими сомнѣніями. Кто привыкъ вникать въ исторію народа, въ развитіе его быта, тотъ не удивится этой помѣси анахронизмовъ и противорѣчій, наполнявшихъ и наполняющихъ его существованіе. Съ той поры, какъ человѣкъ перешагнулъ непосредственное природное состояніе и выступилъ на сцену исторической дѣятельности — противорѣчія и анахронизмы стали необходимыми дѣйствующимъ началомъ его жизни и исторіи: отъ нихъ не свободны ни образованныя общества, ни высокоразвитыя отдѣльныя личности, — и какъ часто много историческія событія своимъ происхожденіемъ бываютъ обязаны противорѣчію между сознаннымъ убѣжденіемъ и роковымъ, безсознательнымъ впечатлѣніемъ къ поступку! Можно даже сомнѣваться, что это дѣятельное историческое начало когда-нибудь исчезнетъ предъ общеопправдующею сплою образованія и науки, что жизнь, однажды нарушенная вторженіемъ противорѣчій, подведетъ итогъ всѣмъ своимъ анахронизмамъ, нравственнымъ и матеріальнымъ — и вступить въ послѣдовательное ровное теченіе! Сѣтовать ли на такое, повидному болѣзненное движеніе исторіи, ставить ли ей

въ упрекъ обиліе противорѣчій, густыми слоями скопившихся отъ разныхъ періодовъ жизни и во многомъ препятствующихъ успѣхамъ просвѣщенія? Но это значило бы сѣтовать на всю исторію, отнимать у нея живой характеръ борьбы, сводить ее къ осуществленію безплотнаго закона формальной логической необходимости! Относительно русской науки, мнѣ кажется, скорѣе должно сѣтовать на то, что до сихъ поръ она такъ мало извлекла пользы изъ этого качества исторіи, не воспользовалась имъ въ должной мѣрѣ для поясненія русской древности.... Известно, какія любопытныя и важныя данныя для исторіи древне-русскаго быта, вѣрованій, обычаевъ, нравовъ, костюма — извлечены гг. Срезневскимъ и Буслаевымъ изъ народныхъ пѣсенъ, нищенскихъ стиховъ, пословицъ и поговорокъ. Попытку объясненій подобнаго рода слѣдовало бы сдѣлать относительно всего археологическаго матеріала русской народной поэзіи, и я имѣю твердыя основанія думать, что такой трудъ вознагражденъ бы полнымъ успѣхомъ и во многихъ отношеніяхъ прояснилъ бы исторію древне-русскаго быта, торговли, промышленности, ремеслъ и искусствъ. Нужно умѣть лишь привести въ связь письменныя свидѣтельства съ свидѣтельствами устной народной словесности, внести хотя приблизительный хронологическій порядокъ въ послѣднія, однимъ словомъ — разложить сочетаніе анахронизмовъ въ достовѣрные историческіе факты.

Позволяю себѣ на этотъ разъ остановиться на разборѣ извѣстій, сообщаемыхъ нашими былинами о *кораблѣ*. Въ былинѣ о Соловьѣ Будимировичѣ изображается, какъ изъ-за моря-глухоморя зеленаго, отъ славнаго города Леденца, отъ царя заморскаго — выбѣгали-выгребали тридцать кораблей и одинъ корабль славнаго гостя богатаго, Соловья Будимировича:

«Хорошо корабли изукрашены,
Одинъ корабль лучше всѣхъ:
У того было Соколъ у корабля
Вмѣсто очей было вставлено

По дороге каменю по яхонту;
 Вмѣсто бровей было прибivano
 По черному соболу якутскому —
 И якутскому — вѣдь сибирскому;
 Вмѣсто уса было воткнуто
 Два острые ножика булатные;
 Вмѣсто ушей было воткнуто
 Два остра копья мурземецкія,
 И два горпостая повѣшены,
 И два горпостая, два зяніе.
 У того было Соколъ у корабля—
 Вмѣсто гривы прибivano
 Двѣ лисцы бурнастыя;
 Вмѣсто хвоста повѣшено —
 На томъ было Соколъ корабль,
 Два медвѣдя бѣлые заморскіе;
 Носъ-корма по туриному,
 Бока взведены по звѣрниному....» (Кир. Дан. № 1).

На этомъ Соколъ-корабль былъ сдѣланъ муравленъ чердакъ,
 а въ чердакѣ — *бесѣда-дорогъ рыбій зубъ*, подернутая рыгтымъ
 бархатомъ. По другой редакціи былинны (Рыб. 1, 318) — этотъ
 корабль передомъ бѣжитъ, какъ соколъ летитъ, высоко его го-
 ловка призаздынута, носъ-корма у него была по звѣрниному, а
 бока сведены по туриному, того ли тура заморскаго, заморскаго
 тура литовскаго; самъ корабль-червленый, у него паруса-флаги
 крупчатой (хрущатой) каикки, спасты и кодолы (канаты) шелко-
 вые, шелку шемахинскаго, якори у него булатные, желѣза си-
 бирскаго, поморскаго; *середѣ* корабля стоялъ муравленый зе-
 лень чердакъ, потолокъ его обить чернымъ бархатомъ, стѣны
 покрыты чернымъ соболемъ, изнаивѣшанъ зеленъ чердакъ кун-
 цамъ и лисцямъ, печерскимъ и сибирскимъ, ушистымъ и пуши-
 стымъ.... Въ другихъ варіантахъ былинны говорится, что носъ-
 корма корабля были *расписаны* по змѣрниному — по звѣрниному,

вмѣсто рукъ было повѣшено по дороге заюшку заморскому,
вмѣсто личика повѣшено по дорогой лисицѣ по заморскія, вмѣсто
очей вращено по дороге по соколу заморскому, пролетному....,
вмѣсто лба было вращено по дороге камешку самоцвѣтному,
вмѣсто кудрей было повѣшено по дороге бобру, по заморскому,
на чердакахъ бестѣдочки сидѣльныя.... (Рыб. II, 185—6). Въ
былинѣ о Садкѣ богатомъ, этотъ знаменитый новгородскій гость
строилъ себѣ черленъ корабль,

«Корму въ емъ строилъ по *тусиному*,
А носъ въ емъ строилъ по орлиному,
Въ очи вкладывалъ по камешку
По славному по камешку по яхонту.... (Рыб. I, 364).

Другіе его кораблики великіе имѣють снасточки шелковыя,
кормы-то писаны по звѣриному, а носъ-то писанъ по змѣиному
(Рыб. I, 368). Подобно кораблю Соловья Будимировича и ко-
рабль Садки называется *Соколомъ*, вообще корабли его черныя,
они летятъ какъ соколы; а самъ соколъ какъ бѣлъ кречеть ле-
титъ, паруса у нихъ полотняные.... (Кирѣев. V, 34, 41—3, 46).
Въ былинѣ объ Ильѣ Муромцѣ также называется *Соколъ-ко-*
рабль, носъ его съ кормою выгнуть по звѣриному, а киль его
сдѣланъ по змѣиному, вѣялъ парусъ, какъ орлиное крыло
(Кирѣев. I, 22—3).

Вотъ поэтическое, живописное изображеніе древне-русскаго
богатаго корабля!

Откуда взять этотъ образъ? Вымыселъ ли это фантази
пѣвца, или сказателя былинны, желавшаго изобразить роскош-
ный корабль богатаго гостя, или это образъ дѣйствительный,
почерпнутый прямо изъ жизни? Ничто не вызывало пѣвца на по-
добный вымыселъ: роскошь и богатое убранство корабля сами
по себѣ — еще не причина, они были бы живописуемы инымъ
образомъ, иными чертами, если бы сама дѣйствительность не
предлагала достаточнаго повода къ созданію поэтическихъ очер-

таній именно — *корабля-зѣтры*; сверхъ того и эпическое постоляство, съ какимъ былина каждый разъ повторяетъ это описаніе, и самая опредѣленность очертаній, трезвая, чуждая всего невозможно-фантастическаго — прямо указываютъ на дѣйствительный фактъ народной жизни. Нельзя, конечно, сказать, что всѣ приведенныя нами подробности корабельной орнаментовки взяты съ дѣйствительности: многія изъ нихъ обязаны своимъ происхожденіемъ лишь идеальному настроенію поэта, но цѣлый образъ не вымысленъ, — онъ взятъ — чтобъ не сказать срисованъ — съ роскошной житейской обстановки древне-русскихъ богатыхъ гостей-мореходцевъ, и потому, я думаю — наука русской древности безопасно можетъ занести на свои страницы фактъ существованія въ древней Руси кораблей *зѣтринаго символическаго стиля*.

Но для науки — этого мало: она спрашиваетъ объ источникѣ этого стиля, хочетъ знать — откуда и почему явился онъ, былъ ли онъ самобытнымъ плодомъ русской культуры, или заимствованъ отъ другихъ народовъ, и имѣетъ лишь цѣну блѣднаго подражанія полному смыслу оригиналу! Отъ рѣшенія вопроса, въ ту или другую сторону, зависитъ степень археологической цѣнности факта, но въ обоихъ случаяхъ русскій зооморфическій корабль заслуживаетъ вниманія изслѣдователей отечественной древности, какъ несомнѣнный памятникъ почтенной старины.

Нельзя не признать, что тѣ украшенія корабля, подробно сти которыхъ переданы намъ былинами — не украшенія одной роскоши и комфортныхъ стремленій богатаго мореходца сибарита, но имѣютъ и смыслъ положительный, если можно такъ выразиться — *символическій*: корабль рисуется, какъ живое существо, какъ какой-то морской звѣрь съ опредѣленными формами: головы, глазъ, ушей, гривы, боковъ, хвоста...

Только народъ, всецѣло отдавшійся интересамъ морской жизни, нашедшій въ ней не одно лишь средство къ удовлетворенію нуждъ и практическихъ стремленій, но и высокую прелесть поэзіи, народъ, для котораго море стало отчизною, которому оно

внушало и любовную тоску въ разлукѣ и поэтическое вдохновеніе, только такой народъ могъ почувствовать необходимость надѣлать корабль атрибутами живаго существа: морская жизнь была слишкомъ близка его сердцу, чтобы онъ могъ оставаться равнодушнымъ къ своему кораблю и видѣть въ немъ лишь механическую постройку, лишнюю дыханія жизни. Любовь къ морю создала образъ *корабля-звѣря*!

Но существовалъ ли поводъ къ созданію подобнаго образа у русскихъ славянъ? Сколько помнитъ исторія — славянскія племена (за вычетомъ славянъ балтійскихъ) некогда не отличались въ мореходномъ дѣлѣ: по выдѣленіи своемъ изъ общаго славяно-летто-нѣмецкаго потока, обособившись въ отдѣльное племя, они заняли страну, природа которой не допускала развитія мореходства: древнѣйшій лѣтописецъ говоритъ только о расселеніи славянъ по рѣкамъ и озерамъ, вовсе не упоминая, чтобы какое-нибудь племя (кроме поморянъ) заняло приморье. Правда, народныя славянскія пѣсни называютъ и мифическія, и дѣйствительныя имена морей, но не надо забывать, что пѣсня есть плодъ *всей* исторической жизни народа, что она, въ томъ видѣ, какъ мы ее имѣемъ, не слѣдуетъ точному отличію историческихъ эпохъ и беззаботно сближаетъ и князя Володимира съ татарами и Ермака Тимофеевича съ княземъ Володимиромъ, она роднитъ самыхъ отдаленныхъ лица, ставитъ рядомъ самыхъ разновременныхъ и изъ разныхъ источниковъ почерпнутыя событія, и поэтому не представляетъ надежнаго речательства для мысли, что русскіе славяне искони занимались обширнымъ мореходствомъ; сверхъ этого древняя народная пѣсня представляетъ такія смутныя, неопредѣленныя очертанія моря, что не остается сомнѣнія въ томъ, что оно было вѣдомо народу не по собственному опыту, а по разсказамъ тѣхъ немногихъ странствователей, которые «многихъ племенъ города посѣтили и обычая зрѣли» ¹⁾. Собственное дѣ-

1) Къ этимъ единичнымъ предпріятіямъ должны быть, по нашему мнѣнію, отнесены свидѣтельства лѣтописей и арабскихъ путешественниковъ и.

ствіе, происшествія и похождения героевъ русской былины никогда не совершаются на морѣ, но всегда на твердой землѣ, на рѣкахъ. Еще рѣшительнѣе въ пользу континентальнаго характера первоначальнаго быта русскихъ славянъ свидѣтельствуеъ языкъ: у нихъ вовсе не существуетъ собственныхъ древнихъ словъ и терминовъ мореходнаго дѣла, они забыли и древнее аріійское названіе корабля (санскр. — *наи*, греческ. — *νεως*, латин. — *navis*, др. вер. нѣм. *nahho*, англо-сакс. — *наса*, древне-сѣверн. — *nockvi*, средн.-вер. нѣм. — *nache*), сохранившееся у всѣхъ прочихъ индо-европейскихъ племенъ, которыми судьба отвела въ удѣлъ приморское житіе, заимствовали отъ чуждыхъ народовъ, (отъ грековъ?) самое слово *корабль* (греч. *κάραβος*, *κάραβιῶν* лат. — *carabus*, роман. — *corbita*, *corbeta*), прии́мивъ его къ легкому рѣчному судну.... Вообще всѣ русскіе термины судоходства относятся исключительно къ судоходству рѣчному, морскіе же явились очень поздно и обнаруживаютъ несомнѣнно чуждое происхожденіе.

Народъ материковаго быта, удаленный отъ моря, знакомый съ нимъ лишь по рассказамъ немногихъ предприимчивыхъ купцовъ, не пылъ ни причины, ни повода украшать мореходное судно зооморфическими живыми атрибутами, съ какими выступаетъ образъ Сокола корабля нашихъ былинъ, — и дѣйствительно, въ произведеніяхъ древне-русскаго искусства намъ нигдѣ не удалось замѣтить изображеній корабля-звѣря: миниатюры нашихъ рукописей (какъ напр. въ знаменитомъ Сильвестровскомъ сборникѣ XIV в.) рисуютъ намъ русскій насадъ — простое рѣчное судно на подобіе глубокой ладьи съ возвышеннымъ носомъ и кормою, но безъ всякихъ украшеній зооморфической орнаментовки.

Возможно еще одно предположеніе: можно думать, что вслѣдствіе существованія нѣкоторыхъ чисто-мифологическихъ пред-

ставленій о кораблѣ, вынесенныхъ изъ эпохи доисторическаго единства племенъ, *дѣйствительному* кораблю сообщали тотъ образъ, тѣ атрибуты и украшенія, какими народное воображеніе надѣляло корабль фантастическій. Дѣйствительно, сравнительная мифологія свидѣтельствуешь, что у племенъ индо-европейскихъ очень обыкновенно было представленіе неба, какъ моря-пустыни, а тучъ, какъ кораблей, плывущихъ по морю: наивное міросозерцаніе первобытныхъ людей представляло себѣ движущіяся, причудливо-разнообразныя облака — въ формахъ различныхъ животныхъ: для него эго были — небесныя кони, коровы или быки, змѣи и драконы, лебеди и спящія хищныя птицы, живущіе и дѣйствующіе въ небесной сферѣ. При ближайшемъ ознакомленіи съ морскою жизнью, быстрыя облака, по сходству впечатлѣнія, были приняты за небесныя корабли и естественно получили въ народномъ воображеніи зооморфическіе формы и атрибуты: уже въ Ведахъ облака называются *ndruah*, т. е. *корабли небеснаго океана*, у грековъ водная нимфа *Ναϊάς, Νηϊάς* — *ndrua* — первоначально принималась за плывущую богиню облака ¹⁾; въ мифѣ Аенны корабль также имѣетъ смыслъ облака; у нѣмецкихъ племенъ, начиная съ Эдды, гдѣ облако носитъ названіе *корабля ветра* (*vindflot*), и до поговорокъ, живущихъ въ устахъ современнаго народа, можно замѣтить яркіе слѣды мифическаго представленія тучи, облака въ образѣ корабля ²⁾.... Но какъ индусы, такъ и греки и племена нѣмецкія могли во всей свѣжести удержать этотъ первоначальный образъ, потому что сама обстановка жизни, сближавшая ихъ съ моремъ, поддерживала и такъ сказать питала это воззрѣніе; но у славянъ, удаленныхъ отъ моря, слѣды подобныхъ представленій очень слабы: только въ какой-нибудь сказкѣ, отъ которой народъ не ждетъ и не требуетъ изображенія дѣйствительной жизни, гдѣ-нибудь въ темной загадкѣ ³⁾ тускло свѣтитъ мифическій образъ

1) Kuhn—Zeitschr. für vergleich. Sprachforsch. t. I, p. 535.

2) Mannhardt—Germanische Mythenforsch. B. 1898 p. 37—41, 366.

3) Худяковъ—Великорусскія Загадки (2-го изд.). № 607, 919, 1503.

живого *зѣря-корабля*; но въ практической обрядовой сторонѣ народнаго быта нѣтъ никакихъ признаковъ воспоминанія о такомъ образѣ, потому нельзя и думать, чтобы изъ области фантазіи онъ былъ перенесенъ въ жизнь практической дѣйствительности и вызвалъ появленіе корабля-зѣря нашихъ былинъ. Причина весьма попятна: несмотря на всю привязанность народа къ обрядовой старинѣ, на упорную стойкость его стародавнихъ представленій и обычаевъ, онъ невольно покоряется природѣ страны, имъ занятой, и мало по малу утрачиваетъ память, забывая то, что противорѣчитъ этой природѣ и ея условіямъ. Такимъ образомъ, уступая неотразимому вліянію природы, блекнутъ тѣ образы и представленія, которые, при иныхъ территориальныхъ условіяхъ, могли бы устоять и сохраниться во всей свѣжести, какъ и дѣйствительно сохраняются они у другихъ родственныхъ народовъ, территорія которыхъ благопріятствовала ихъ процвѣтанію. Еще въ началѣ X вѣка, по свидѣтельству Ибнъ-Фослана — русскіе славяне (?) сжигали тѣла усопшихъ въ лодкѣ на рѣкѣ, по воспоминанію о первоначальномъ способѣ погребенія на морѣ въ кораблѣ или ладѣ; но уже въ эпоху начальной кievской лѣтописи этотъ обычай исчезаетъ: сожженіе тѣлъ совершается на твердой землѣ, и только могилы, воздвигаемыя надъ прахомъ усопшихъ по берегамъ *рѣкъ*, позволяютъ догадываться, что связь воды, моря и загробнаго существованія еще слабо мерцала въ сознаніи народа. Видна эта связь и въ обычаѣ, уже совершенно *безсознательномъ*, современнаго простолюдина, когда въ такъ называемый *Навскій Великій день* (*наве*, *навѣ*, готск. *naus* — *мертвецъ*; срав. санскр. *naus*, греческ. *νεως*, *ναῦς*, латин. *navis*, франц. — *nef* и т. д. — *ладья*, *корабль*) онъ бросаетъ въ *воду* скорлупы красныхъ яицъ, которыя *прилипаютъ* къ берегамъ живущъ *мертвыхъ праотцевъ* въ тотъ день, когда они начинаютъ праздновать Свѣтлое Воскресенье! Сообразивъ такой законъ исчезновенія и измѣненія народныхъ мифическихъ представленій и обычаевъ, естественно прійти къ заключенію, что нѣкогда извѣстный образъ *морского зѣря-ко-*

рабля, въ фантастическихъ представленіяхъ русскихъ славянъ, почти незнакомыхъ съ морскою жизнью — ослабѣлъ, не получилъ поддержки и развитія, а потому и не могъ перейти въ жизнь дѣйствительную, не могъ быть поводомъ къ тѣмъ звѣрнымъ украшеніямъ, съ какими выступаетъ въ нашихъ былинахъ славный Соколъ-корабль Соловья Будимировича или Садки богатаго. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что настоящее море не играетъ никакой роли ни въ мифологіи, ни въ быту древнихъ русскихъ славянъ: у нихъ нѣтъ ни опредѣленныхъ морскихъ божествъ, ни морскихъ мифовъ, какъ у прочихъ родственныхъ племенъ; а всюду только одни лѣсные, рѣчные, озерные, болотные и т. д.

Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что образъ славнаго Сокола-корабля не обязанъ своимъ происхожденіемъ древнерусскому народному міросозерцанію: оно не предлагало къ этому никакихъ прочныхъ основаній, никакого матеріала; остается допустить, что устройство, а главнымъ образомъ украшенія этого корабля — были заимствованы отъ другихъ народовъ. Изъ всѣхъ сосѣдей русскихъ славянъ только одинъ народъ отиѣтилъ себя въ исторіи славнымъ мореходствомъ, отважными морскими походами. Это — скандинавы. Еще не справляясь съ исторіей, теоретически только можно утверждать, что при постоянныхъ торговыхъ и военныхъ сношеніяхъ скандинавовъ съ русскими Сѣверомъ, они не могли не имѣть вліянія на развитіе судоходства и морской торговли новгородцевъ. Быть-можетъ, даже колонизаціонныя стремленія Новгорода, неустанно дѣйствовавшія во все продолженіе древняго періода русской исторіи — своимъ происхожденіемъ отчасти обязаны вліянію той жажды смѣлыхъ предпріятій и опасностей, какую приносили съ собою заморскіе выходцы! Здѣсь не у мѣста приводить свидѣтельства исторіи о постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ сѣверныхъ нѣмецкихъ племенъ съ Новгородомъ, Псковомъ, Смоленскомъ: эти связи слишкомъ извѣстны и не могутъ болѣе быть предметомъ сомнѣнія или кривотолка. Русская былина съ своей стороны предлагаетъ не только полное подтвержденіе ихъ, но и довольно яркое доказательство вліянія

сѣльных сѣверныхъ мореходцовъ на самое устройство и украшеніе русскаго торговаго корабля.

Куда ни обращалъ взоры сѣверный германецъ въ своихъ поискахъ чести, славы и богатства, вездѣ онъ встрѣчался съ моремъ, потому, сколько помнитъ исторія, море было для него отечествомъ: купецъ и мореплаватель обозначались у скандинавовъ однимъ и тѣмъ же словомъ — *farmadr*. При такихъ условіяхъ жизни сѣверный житель не могъ отнестись равнодушно къ своему кораблю: послѣдній былъ для него богѣе, чѣмъ обыкновенное перевозное судно, онъ — его ближайшій другъ и товарищъ, какъ у звѣролова-охотника другомъ бываетъ собака, а у воина-богатыря — вѣрный конь его; оттого корабль въ глазахъ германскихъ мореходцовъ былъ живымъ, одушевленнымъ существомъ, морскимъ звѣремъ, онъ носилъ собственное имя, къ нему обращался герой съ просьбой въ минуту опасности, съ благодарностью или прощальною рѣчью, и корабль — говорятъ преданія — понималъ своего господина.... Устройство и украшенія корабля соотвѣтствовали этому понятію о немъ; по свидѣтельству Спорри Стурлесона — суда строили заостренные съ обоихъ концовъ и давали имъ видъ драконовъ, змѣй, буйволовъ и другихъ животныхъ, передняя часть судна была головою и шеей животного, задняя — хвостомъ его. Всего обыкновеніе сравнивали такой корабль съ конемъ, оленемъ, медвѣдемъ, волкомъ, быкомъ или хищною птицею; цѣлый особый отдѣлъ кораблей носилъ названіе *драконовъ* (*drekar*): передняя часть корабля (носъ — корма) украшалась изображеніемъ головы и гривы этихъ животныхъ, а задняя — хвоста животного, рыбаго или змѣянаго. Всѣмъ этимъ изображеніямъ приписывали сверхъестественную силу. Какъ живыя существа, корабли — подобно нашему Соколу, имѣли собственные имена: буйвола, коршуна, орла, ворона.... Широкіе брусстеры окружали корабль, въ срединѣ стояла подвижная мачта, въ средней же части помѣщалась *бесѣда*, шатеръ, покрытый сукномъ или бархатомъ. На выдающихся частяхъ вѣшались кольца, вбивались гвозди, золоченыя бляхи, помѣщались и

другія рѣзные или раскрашенныя украшенія ¹⁾. Изображенія подобныхъ кораблей не рѣдки: на знаменитыхъ коврахъ Матильды (XI вѣка) представленъ цѣлый рядъ норманскихъ военныхъ кораблей, у всѣхъ у нихъ носъ-корма украшена огромными изображеніями звѣриныхъ и человѣчьихъ головъ, на одномъ же изъ плывущихъ кораблей позади кормы привѣшено два длинныхъ щита на подобіе крыльевъ летящей птицы и, вѣроятно, съ цѣлю изобразить это подобіе, вмѣсто хвоста обыкновеннаго украшенія задней оконечности корабля — помѣщается человѣческая фигура, дующая въ трубу на развертывающійся парусъ (символическое изображеніе вѣтра) и съ флагомъ въ правой рукѣ ²⁾. Въ описаніи древней Англіи Іосифа Штрутта находится изображеніе древняго англо-саксонскаго корабля: остовъ его очень коротокъ, но съ высокими бортами, корма украшена высокою лошадиною головою на длинной шеѣ, съ которой идетъ волнистая грива, задняя часть корабля оканчивается небольшимъ хвостомъ ³⁾. На печати вольнаго города Любека также изображено мореходное судно, на обѣихъ оконечностяхъ котораго представлены двѣ звѣрипыя головы на длинныхъ шеяхъ ⁴⁾....

Если сравнить устройство и украшенія скандинавскаго корабля съ описаніемъ Соколя-корабля нашихъ былинъ, и вспомнить при этомъ, что купеческій корабль, отличаясь отъ военнаго большею роскошью, могъ имѣть и *бесиду* (чердакъ, мезонинъ) — *дорогъ рыбий зубъ* (моржевая кость), подернутую рытымъ бархатомъ и богато-украшенныя скамьи и прочія украшенія, принадлежавшія къ необходимымъ условіямъ всякаго богатаго сканди-

1) Weinhold—Altnordisches Leben. В. 1856, p. 125—135. Стрингольмъ—Походы Викинговъ... рус. перев. Читенія въ Обществѣ исторіи и древ. 1860, кн. 3-я, стр. 248—252. Wackernagel—статья въ журн. Гаута: «Zeitschrift für deutsche Alterth. IX, стр. 572 et seq.

2) Falke—Deutsches Schiff und deutsche Flotte im Mittelalter въ журналі Вестермана Jahrbuch d. Illust. deutsch. Monatsh. t. XIII. 1863, стр. 22—23.

3) Ibidem, стр. 20.

4) Kurd v. Schlözer — Die Hansa etc. 1851. Печать оттиснута на заглавной страницѣ.

навскаго дома, — то нельзя не замѣтить ихъ поразительнаго сходства: разница лишь въ матеріалѣ украшеній (соболь якутскій, лисицы, куницы, шелкъ шемахинскій, желѣзо сибирское, копые мурзаметское и т. д.), но не въ общемъ характерѣ ихъ, и кажется дѣйствовала одна и та же мысль, одни и тѣ же понятія и побужденія при созданіи такой сходственной причудливо-роскопной орнаментовки; кажется, что и скандинавскіе корабли и нашъ Соколъ-корабль вышли изъ одной мастерской, созданы по одной мысли и по одному плану, по крайней мѣрѣ *такого* сходства нельзя объяснить случайностью: оно могло явиться или какъ слѣдствіе одинакихъ условій жизни, взглядовъ и понятій двухъ различныхъ народностей, или какъ простое выѣшнее заимствованіе, какъ подражаніе. Ни условія быта, ни протекавшія отсюда понятія русскихъ славянъ не указываютъ возможности самостоятельнаго созданія художественнаго образа корабля-звѣря: у нихъ не было поводовъ къ подобному созданію, не было почвы, питался соками которой представленіе могло постепенно сложиться и вылиться въ цѣльный художественный образъ. Въ обстановкѣ русскаго быта богато изукрашенный зооморфическій корабль является лишь прихотливою игрушкою, лишенною внутренняго смысла и значенія, и невозможно понять, почему стремленія русскаго купца къ роскоши и пышеству выразились въ такихъ глубоко задуманныхъ образахъ, а не въ иныхъ какихъ-либо пустыхъ украшеніяхъ. Только принявъ чужеземное, скандинавское происхожденіе нашего корабля-звѣря, — можно будетъ объяснить и появленіе его на Руси и его историческое значеніе; а не принять этого нельзя уже и потому, что сама былина свидѣтельствуешь о его чужеземномъ происхожденіи: одинъ изъ хозяевъ Соколъ-корабля — Соловей Будимировичъ былъ изъ-за моря, отъ царя заморскаго и славнаго города Леденца, другой — Садко богатый гость новгородскій, странствователь-купецъ, много бѣдившій по чужимъ морямъ!

Если достоверно, что скандинавскій корабль послужилъ образцомъ для Соколъ-корабля нашихъ былинъ, то къ запасу исто-

рическихъ свѣдѣній о вліяніи морскихъ витязей на сѣверно-русскій бытъ прибавляется еще одно немаловажное свидѣтельство, и именно для той стороны его, на которую доселѣ менѣе всего было обращено вниманіе, для стороны житейской обстановки, удобствъ и роскоши ея. Кажется, что вліяніе сѣверныхъ мореходцевъ на русскую жизнь не ограничивалось областью суровой практической — торговой или военной — дѣятельности; оно шло глубже, вторгаясь въ житейскій обиходъ и производя тамъ нѣкоторые измѣненія и привычки въ новомъ духѣ *заморской моды*.

Корабли Соловья Будимировича и Садки богатаго были произведеніями этой заморской моды въ житейской обстановкѣ древняго русскаго гостя-мореходца!



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Русское періодическое изданіе Академіи Наукъ.....	1
Палеографическіе списки съ греческихъ и славянскихъ рукописей Московской синодальной бібліотеки VI—XVII вѣковъ (Изданъ Самва, епископъ Можайскій).....	6
Слово о послѣдней дѣятельности Общества любителей россійской словесности.....	13
Публичное заступаніе Московскаго Общества любителей россійской словесности, 17-го ноября 1863 г.....	22
Русскія народныя сказки. (Народныя русскія сказки А. Н. Афанасьева).....	27
Поминка о С. В. Ешевскомъ.....	60
Замѣтка о значеніи гончарныхъ знаковъ.....	65
Славяне и Русь древнѣйшихъ арабскихъ писателей.....	73
На память будущимъ бібліографамъ. (Замѣтка о бібліографіи въ отношеніи науки о русской старинѣ и народности).....	109
Замѣтка о трудахъ Ѳ. Н. Глинка по наукѣ русской древности.....	119
Некрологъ профессора Иванова.....	128
Исторія русскаго права. (Сочиненіе Ѳ. Леонтовича).....	132
Сравнительное языковѣдѣніе.....	—
I. Очеркъ исторіи языковѣдіа. Филологія и лингвистика.....	138
II. Сравнительно-историческое языковѣдѣніе. Его приемы и задачи. Исторія языковъ.....	154
III. Индо-европейская вѣтвь языковъ и ея подраздѣленіе.....	168
IV. Языкъ и исторія народовъ. Теорія поэзій. Прилож. 1. Шлейхеръ очеркъ исторіи славянскаго языка. 2. Сравнительно-историческое языковѣдѣніе въ Россіи).....	178
Исторія всеобщей литературы въ Россіи. 1. Исторія литературы древняго и новаго міра, составленная по I. Шерру, Шюсеру, Геттнеру, Ф. Шлегелю, Ю. Шмидту, Р. Готтшалу, изд. подъ редакцію. А. Милюкова. 2. Очерки литературы древнихъ народовъ, составл. Гарусовичъ. I. Поэзія драматическая.....	212

Основной элементъ русской богатырской быliny (по поводу соч. А. Майкова: О былинахъ Владимірова цикла).....	стр. 243
Разборъ сочиненія А. Лезписева: «Поэтическіе воззрѣнія славянъ на природу. Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ преданій и вѣрованій, въ связи съ мнѣстескими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ».....	256
Обзоръ успѣховъ славяновѣдѣнія за послѣдніе три года. (I, Эпоха до-славянская. Литва. II. Изданія древнихъ текстовъ и ихъ описанія).....	359
Успѣхи славяновѣдѣнія за послѣднее время.....	382
Иско Шафарикъ. (Некрологъ).....	393
Известіе Ивановичъ Григоровичъ. Приложение. Рѣчь В. И. Григоровича о Борисѣ-Михаилѣ Болгарскомъ, ираотцѣ славянскаго просвѣщенія.....	395
Библиографическія свѣдѣнія о новыхъ книгахъ: 1) Ивашичевъ: Сочиненія, изданныя изданіемъ университета Св. Владиміра подъ редакціей проф. Романовича-Славатинскаго и библ. Царскаго. 2) Арсентій Марковичъ: Юрій Крижанецъ и его литературная дѣятельность. 3) Галаховъ: Исторія русской словесности древней и новой. Т. II.....	411
Историческія пісани малорусскаго народа, съ объясненіями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. I.....	416
Синъ Максимовичъ Бодяпскій. (Историко-библиографическая поминка).....	432
Забѣлипа: «Исторія русской жизни съ древнѣйшихъ временъ».....	444
Сталли и ихъ обработка въ доисторическую эпоху у племенъ индоевропейскихъ.....	522
Кандишавскій корабль на Руси.....	555



2036

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 05539 4616

The KALMBACHER
BOOKBINDING CO.
CERTIFIED
LIBRARY BINDERY
TOLEDO, OHIO

Digitized by Google

